Джек ЛОНДОН

ДЖЕРРИ-ОСТРОВИТЯНИН
МАЙКЛ, БРАТ ДЖЕРРИ
СЫН СОЛНЦА

Свыше ста иллюстраций
А. О. Фишера, Х. Г. Вильямсона,
С. У. Эшли

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Джек Лондон
(1876–1916)

Джек ЛОНДОН

ДЖЕРРИ-ОСТРОВИТЯНИН
МАЙКЛ, БРАТ ДЖЕРРИ
СЫН СОЛНЦА

(Рассказы южных морей)

Переводы с английского
В. Онегина, Н. Жуковской,
М. Ковалевской, Е. Уткиной

Иллюстрации
А. О. Фишера, Х. Г. Вильямсона, С. У. Эшли

творческое объединение
Алькор

Совместный проект издательства СЗКЭО
и переплетной компании
ООО «Творческое объединение „Алькор“»

Санкт-Петербург
СЗКЭО

ББК 84(7)-4
УДК 821.111(73)-93
Л76

Первые 100 пронумерованных экземпляров
от общего тиража данного издания переплетены мастерами
ручного переплета ООО «Творческое объединение „Алькор“»

Классический европейский переплет выполнен
из натуральной кожи особой выделки растительного дубления.
Инкрустация кожаной вставкой с полноцветной печатью.
Тиснение блинтовое, золотой и цветной фольгой.
6 бинтов на корешке ручной обработки

Использовано шелковое ляссе, золоченый каптал из натуральной кожи,
форзац и нахзац выполнены из дизайнерской бумаги Malmero
с тиснением орнамента золотой фольгой. Обработка блока
с трех сторон методом механического торшонирования
с нанесением золотой матовой полиграфической фольги горячим способом.
Оформление обложки пронумерованных экземпляров
разработано в ООО «Творческое объединение „Алькор“»

Л76 **Лондон Джек. Джерри-островитянин. Майкл, брат Джерри. Сын солнца.** —
Санкт-Петербург: СЗКЭО, 2023. — 528 с.: ил.
Сборник включает две повести знаменитого американского писателя Джека Лондона о приключениях собак в далекой Океании и в цирках США. «Джерри-островитянин» печатается в переводе В. Онегина, а «Майкл, брат Джерри» — в переводе Н. Жуковского. В книгу включены также девять рассказов Лондона в переводах М. Ковалевской и Е. Уткиной, объединенных под общим названием «Сын солнца». В конце издания приведен краткий очерк о жизни и творчестве американского художника Антона Отто Фишера, чьи великолепные рисунки украшают большинство произведений этой книги.

ISBN 978-5-9603-0950-9 (7БЦ)
ISBN 978-5-9603-0951-6 (Кожаный переплет)
© СЗКЭО, 2023

ДЖЕРРИ-ОСТРОВИТЯНИН
(Джерри с Соломоновых островов)

Перевод *В. Онегина*

ПРЕДИСЛОВИЕ.

К несчастью для некоторых авторов фантастических произведений, фантастика и неправдоподобие сливаются в уме среднего человека в одно понятие. Несколько лет назад я выпустил роман, действие которого развертывается на Соломоновых островах. Критики и рецензенты признали в нем в высшей степени ценный плод воображения. Что касается жизненной правды, то ее, по их мнению, не было и в помине. Ведь всем известно, что на земной поверхности не существует больше косматых людоедов, которые бегали бы нагишом, закусывая от времени до времени чьей-либо головой, подчас даже головой белого.

А теперь слушайте. Я пишу эти строки в Гонолулу, на Гавайях. Вчера на берегу у Вайкики со мной заговорил незнакомый мне человек. Он назвал имя нашего общего друга, капитана Келлара. Когда я потерпел крушение у Соломоновых островов на вербующем чернокожих судне «Минота», меня спас капитан Келлар, хозяин вербующего судна «Евгения». «Черные сняли голову капитану Келлару», — сказал мне незнакомец. Он знал это. Он представлял интересы матери капитана Келлара при передаче ей оставшегося после него имущества.

Слушайте. На днях я получил письмо от мистера С. М. Вудфорда, резидента на Британских Соломоновых островах. Он возвратился на место своей службы после долгого отпуска в Англии, куда он ездил, чтобы поместить своего сына в Оксфорд. Почти в каждой библиотеке вы можете найти книгу под заглавием: «Естествоиспытатель среди людоедов». Мистер С. М. Вудфорд и есть этот естествоиспытатель, он же — автор этой книги.

Возвращаюсь к его письму. Говоря о своей текущей повседневной работе, он кратко и вскользь упоминает об одном достопримечательном деле, которое он только что закончил. Дело затянулось из-за его отъезда в Англию. Дело заключалось в том, чтобы совершить карательную экспедицию на соседний остров и попутно отыскать головы наших общих друзей — одного белого промышленника, его белой жены, детей и белого клерка. Экспедиция увенчалась полным успехом, и мистер Вудфорд заключает свой отчет об этом происшествии следующими знаменательными словами: «Меня особенно поразило отсутствие страдания и ужаса на их лицах, которые, казалось, скорее носили отпечаток

покоя и умиротворенности»,— и это, заметьте, о мужчинах и женщинах его собственного племени, которых он прекрасно знал и которые не раз обедали с ним в его собственном доме.

Много других друзей, с которыми мне приходилось делить трапезу в бурные доблестные дни на Соломоновых островах, погибло с тех пор таким же образом. Я отправился под парусами на кетче «Минота», шедшем в Малаиту вербовать чернокожих, и взял с собой жену. Над дверьми нашей крошечной офицерской каюты еще виднелись грубые следы топора, напоминая о происшествии, случившемся за несколько месяцев до того. Происшествие это состояло в том, что капитану Мекензи, тогдашнему хозяину «Миноты», сняли голову. Когда мы подходили к Ланга, британский крейсер «Кэмбриан» разводил пары после бомбардировки одного селения.

Нет нужды перегружать дальнейшими подробностями это введение к моей повести, хотя могу вас уверить, что у меня нет в них недостатка. Сказанное, надеюсь, послужит достаточной гарантией того, что приключения собаки, героини моей повести, реальные приключения в очень реальном каннибальском мире.

На борту «Миноты» мы с женой нашли очаровательного ирландского щенка терьера, такого же гладкошерстого, как Джерри; его звали Пегги. Не будь Пегги, книга эта не была бы написана. Он принадлежал великолепному шкиперу «Миноты». Признаюсь, я сознательно и бесстыдно сделался соучастником преступления моей жены. Мы так полюбили Пегги, что после крушения «Миноты» и украли его. Милый, благородный, доблестный песик. Он покоится в море у восточных берегов Австралии.

Я должен прибавить, что Пегги, как и Джерри, родился на берегу Мэринговой лагуны, на Мэринговой плантации, то есть на острове Изабелла, ближайшем к северу от острова Флорида, где находится резиденция правительства и где имеет жительство английский резидент мистер С. М. Вудфорд. В заключение я должен добавить, что хорошо узнал отца и мать Пегги и часто ощущал в сердце теплую волну при виде того, как эта верная чета бегает бок о бок по берегу. Его настоящее имя было Терренс. Ее звали Бидди.

Джек Лондон.
Берег Вайкики. Гонолулу, Оагу, Т. Х.
5 июня 1915 г.

ГЛАВА I

До той минуты, пока мистер Хаггин не сунул его резким движением под мышку и не вошел с ним на корму ожидающего его вельбота, Джерри и в голову не приходило, что ему угрожает какая-либо неприятность. Мистер Хаггин был любимым хозяином Джерри, его любимым хозяином в течение всех шести месяцев жизни Джерри. Он не знал мистера Хаггина, как «хозяина», потому что слово «хозяин» отсутствовало в словаре Джерри — гладкого, золотисто-коричневого ирландского терьера.

Но в словаре Джерри «мистер Хаггин» в точности обладало всей глубиной и значением, которыми обладает слово «хозяин» в словаре людей по отношению к их собакам. «Мистер Хаггин» было созвучием, которое Джерри всегда слышал от Боба, клерка, и Дерби, главного надсмотрщика плантаций, когда они обращались к его хозяину. Кроме того, Джерри постоянно слышал, как изредка появлявшиеся двуногие человеческие существа, приезжавшие на «Аранджи», также называли его хозяина мистером Хаггин.

Но собаки, оставаясь собаками, в своем смутном, бессловесном, беззаветном поклонении человеку-герою, думают о своих хозяевах и любят своих хозяев больше, чем полагалось бы. «Хозяин» значит для них, как означал «мистер Хаггин» для Джерри, больше и много больше, чем для людей. Человек считает самого себя хозяином своей собаки, тогда как собака считает своего хозяина «богом».

Однако, слово «бог» отсутствовало в словаре Джерри несмотря на то, что он обладал уже точным и довольно обширным словарем. «Мистер Хаггин» было созвучие, означавшее «бог». В голове и сердце Джерри, в таинственном центре всей его жизнедеятельности, который называется сознанием, звук «мистер Хаггин» занимал то же место, которое «бог» занимает в человеческом сознании. По своему смыслу и значению слова «мистер Хаггин» вызывали в уме Джерри то же представление, что «бог» у поклоняющихся богу людей. Коротко говоря, мистер Хаггин был «богом» Джерри.

Итак, когда мистер Хаггин или бог, с властной решительностью подхватив Джерри, сунул его под мышку и вошел в вельбот, черная команда которого тотчас же нагнулась к веслам, Джерри немедленно нервно почуял, что необы-

чайное началось. Никогда прежде он не бывал на борту «Аранджи», которая теперь все росла и росла на его глазах, приближаясь с каждым свистящим взмахом весел.

Прошло не больше часа с тех пор, как Джерри, выйдя из плантаторского дома, спустился на берег, чтобы присутствовать при отплытии «Аранджи». За полгода жизни ему уже два раза выпадало это приятное развлечение. А что может быть приятнее, чем бегать взад и вперед по белому берегу, покрытому истолченным в песок кораллом, и, под мудрым руководством Бидди и Терренса, не только принимать участие в суете на берегу, но даже и способствовать ей?

Тут можно было, кстати, поохотиться за черными. Джерри был рожден негроненавистником. Первые впечатления в этом мире, когда он был еще пискливым щенком, внушили ему, что мать его Бидди и отец его Терренс ненавидят черных. Черный был чем-то, на что следовало набрасываться, кусать его и рвать, как только он дерзал переступить границу усадьбы. Так поступала Бидди. Так поступал Терренс. Делая это, они служили своему богу — мистеру Хаггину. Черные были низшие двуногие существа, рабы, которые трудились на своих двуногих белых господ, живя вдали в рабочих бараках, и были при этом настолько ниже и ничтожнее белых богов, что не смели даже близко подходить к их жилищу.

Однако, преследование черных было рискованным предприятием. Джерри узнал это, едва научившись ходить. Всякий пользуется своим счастьем. Пока мистер Хаггин, Дерби или Боб находились неподалеку, черные принимали преследование, как должное. Но случалось, что белых господ не было поблизости. Это означало: — черный, не зевай! — На охоту можно было отваживаться только приняв должные предосторожности, потому что иначе, вне поля зрения белых господ, черные, вместо того чтобы просто хмуриться и бормотать угрозы, накидывались на четвероногих собак с камнями и дубинами. Однажды Джерри видел, как его мать была оскорблена таким образом и, не успев еще научиться осторожности, сам был избит в траве дубиной чернокожего Годарми, носившего на груди фарфоровую дверную ручку на шнурке из плетеных кокосовых волокон. Больше того, Джерри помнил еще одно приключение в высокой траве, когда он и его брат Майкл сражались с Оуми, другим черным, которого можно было отличить по болтавшимся на его груди зубчатым колесам от будильника; Майкл получил такой сильный удар по голове, что его левое ухо навсегда осталось после этого больным и сморщилось в причудливо ссохшийся, торчащий вверх гребешок.

Еще больше. У него был брат Патси и сестра Кетлин, которые исчезли два месяца назад, уничтожились, перестали существовать. Великий бог, «мистер Хаггин», в ярости перевернул вверх дном всю плантацию. Обыскали заросли, высекли полдюжины черных, но мистеру Хаггину все же не удалось разрешить тайны исчезновения Патси и Кетлин. Однако Бидди и Терренс знали. Точно так же, как знали Майкл и Джерри. Четырехмесячные Патси и Кетлин попали

в кухонный котел в бараках, а их мягкие щенячьи шкурки были уничтожены огнем. Джерри знал это так же, как его отец, мать и брат, потому что они безошибочно почуяли запах жженого мяса; и Терренс в ярости, вызванной этой уверенностью, даже бросился на Могома, прислуживавшего в доме, за что получил выговор и шлепок от не чуявшего запаха и потому ничего не понимавшего мистера Хаггина, который считал своим долгом держать в строгой дисциплине все существа, обитавшие под его кровлей.

Но на берегу, когда черные, срок службы которых истекал, со своими ящиками на головах сходили на берег, чтобы отплыть на «Аранджи», охота на них не представляла опасности. Тут можно было свести старые счеты, и это была последняя возможность, потому что черные, уезжавшие на «Аранджи», никогда больше не возвращались... Для примера, в это самое утро Бидди, храня воспоминание о тайных побоях, полученных от Леруми, вонзила зубы в его голую икру и сбросила его в воду, где он растянулся вместе с ящиком и всеми своими пожитками, а затем она расхохоталась над ним, уверенная в безопасности под защитой мистера Хаггина, который усмехался, глядя на это.

К тому же на «Аранджи» обычно находилась по меньшей мере одна дикая собака, на которую Джерри и Майкл могли вволю налаяться с берега. Однажды Терренс, который был почти так же велик, как эйрдельский пес и совершенно так же отважен,— Терренс Великолепный, как называл его Том Хаггин,— поймал такого дикого пса, осмелившегося пробраться на берег, и задал ему восхитительную трепку, в которой Джерри, Майкл, Патси и Кетлин (они были еще живы в то время) приняли участие пронзительным визгом и острыми зубами. Джерри никогда не мог забыть наслаждения от неповторяемого запаха собачьей шерсти, наполнившей его рот при одном удачном укусе. Дикие собаки были собаками — он узнавал в них свой род, но они все же чем-то отличались от его собственной благородной породы и уступали ей точно так же, как черные в сравнении с мистером Хаггин, Дерби и Бобом.

Но Джерри перестал смотреть на приближающуюся «Аранджи». Бидди, умудренная прежними горькими разлуками, уселась на самый край песка, опустила передние лапы в воду и принялась изливать свое горе. Джерри знал, что это относится к нему, потому что ее горе жестоко, хотя и безотчетно, разрывало его чувствительное, нежное сердце. Он не мог понять, что это предвещает, но чувствовал, что это относится к какому-то несчастью, катастрофе, связанной с ним. Оглянувшись назад на мохнатую, убитую горем Бидди, он увидел Терренса, озабоченно бродившего вокруг нее. Терренс тоже был мохнатым, как Майкл и погибшие Патси и Кетлин. Джерри был единственным гладкошерстым членом семьи.

Кроме того, хотя Джерри и не знал этого, а Том Хаггин знал, Терренс был великолепным любовником и преданным супругом. С самых ранних дней Джерри хранил воспоминание о том, как Терренс и Бидди, с улыбающимися от удовольствия мордами, пробегали бок о бок целые мили вдоль берега или по аллеям кокосовых деревьев. Но так как это были единственные собаки, ко-

торых видел Джерри, если не считать его братьев, сестер и нескольких вторжений диких собак, то ему не приходило в голову, что между собаками, женатыми и верными самцами и самками, могут существовать какие-либо другие отношения. Но Том Хаггин знал, что это редкость.

— Настоящая привязанность! — говорил он, и говаривал не раз теплым голосом, с влажными от умиления глазами. — Этот Терренс сущий джентльмен, настоящий четвероногий человек, джентльмен от головы до каждой из своих четырех пяток. И сильный к тому же, клянусь богом! В его крови чистая порода тысячи поколений. У него хладнокровная голова и нежное мужественное сердце!

Терренс не изливал вслух своего горя, если он вообще испытывал горе, но его блуждание вокруг Бидди выражало тревогу за нее. Майкл однако, зараженный горем матери, уселся рядом с ней и начал сердито лаять на увеличивающуюся полосу воды, как залаял бы на всякую опасность, зашевелившуюся и зашуршавшую в джунглях. Это также дошло до сердца Джерри, и усилило тяжесть безошибочного предчувствия, говорившего ему, что над ним навис безжалостный рок.

Для своих шести месяцев Джерри знал очень много и в то же время очень мало. Он знал, не задумываясь над этим, не зная, что он это знает, почему Бидди, настолько же умная, насколько и мужественная, несмотря на всю тоску, которую изливала ее сердце, ничего не предпринимала. Почему она не бросилась в воду и не плыла за ними? Она, как львица, защищала его, когда большая риачка (что, в словаре Джерри, включая хрюканье и визг, представляло комбинацию звуков или слово для обозначения свиньи) пыталась сожрать его, прижатого к стене под выстроенным на высоких сваях плантаторским домом. Точно львица набросилась Бидди на черного поваренка, который ударил Джерри палкой, чтобы выгнать его из кухни; без единого звука приняла она удар палки плашмя, затем сбила черного с ног и принялась трепать его среди горшков и кастрюль, пока мистер Хаггин не оттащил ее без всякой журьбы (только тут заворчавшую), выбранив при этом поваренка за то, что тот осмелился поднять руку на четвероногого пса, принадлежащего богу.

Джерри знал, почему мать его не бросилась за ним в воду. На соленом море так же, как и на лагуне, служившей продолжением соленого моря, лежало табу. «Табу», как слово или звук, отсутствовало в словаре Джерри, но его содержание или значение хранились в самой оживленной части его сознания. У него было неясное, смутное, но категорическое представление о том, что это не просто нехорошо, но в высшей степени гибельно; что для собаки, для всякой собаки, войти в воду, где скользят, плавают и бесшумно ворочаются, — иногда на поверхности, иногда выступая из глубины, — огромные чешуйчатые чудовища с огромными челюстями и ужасными зубами, которые хватают и проглатывают собак в одно мгновение, точь-в-точь, как куры мистера Хаггина хватают и проглатывают зерна или семена, — значило приблизиться к туманно мерцающему предчувствию последнего конца.

Он часто слышал, как его отец и мать, стоя в безопасности на песке, лаяли и рычали от ненависти к этим ужасным морским обитателям, когда они, точно плавающие бревна, показывались на поверхности близ берега. Слово «крокодил» не входило в словарь Джерри. Это был образ, образ плавающего бревна, которое отличалось от всех других бревен тем, что было живое. Джерри, который слышал, запоминал и узнавал много слов, служивших ему такими же орудиями мышления, как и людям, был по происхождению лишен от природы членораздельной речи и потому не мог произносить этих многочисленных слов; однако, в своих мыслительных процессах он пользовался образами точно так же, как обладающие членораздельной речью люди пользуются в своих собственных умственных процессах словами. Да ведь и люди, владеющие членораздельной речью, в мышлении волей-неволей пользуются образами, которые соответствуют словам и дополняют их.

Быть может, в мозгу Джерри всплывающий на поверхность сознания образ плавающего бревна вызывал более интимное и полное представление предмета, о котором он думал, чем слово «крокодил» и сопровождающий его образ на поверхности человеческого сознания. Потому что Джерри действительно знал о крокодилах больше обыкновенного человека. Он чуял крокодила на большем расстоянии и более тонко, чем любой человек, будь это даже приморский черный или бушмен. Он узнавал, когда крокодил, выплыв из лагуны, лежал без движения и звука, быть может, спящий, на расстоянии ста шагов в камышах джунглей. Он знал о языке крокодилов больше любого человека. У него было больше возможностей и способов, чтобы узнать это. Он умел разбираться во множестве похожих на фырканье и храпенье шумов, которые издавали крокодилы. Он различал среди них сердитые звуки; звуки, выражавшие страх, звуки голода и звуки любви. И эти звуки крокодилов служили ему орудиями при мышлении. При помощи их он взвешивал, судил и намечал собственный план действий, как всякий человек. Или, совершенно так же, как всякий человек, лениво отказывался от всяких действий, просто отмечая и запоминая чистое восприятие чего-то, что совершалось вокруг него и не требовало с его стороны соответственных поступков.

И однако Джерри не знал очень многого. Он не имел представления о величине мира. Он не знал, что эта лагуна Мэринджа, огражденная сзади высокими лесистыми горами и защищенная спереди цепью коралловых островов, не вмещала в себе целого мира. Он не знал, что это была всего-навсего одна из составных частей острова Изабеллы, одного из тысячи островов (из них многие были больше его), входивших в Соломоновы острова, которые люди отмечали на картах группой точек в просторе крайнего запада Полинезии.

Правда, он смутно сознавал, что есть еще какое-то нечто, что-то по ту сторону. Но чем бы это ни было, оно было тайной. Оттуда внезапно появлялись предметы, которых раньше не было. Куры, свиньи и кошки, которых он никогда не видел прежде, имели обыкновение внезапно появляться таким образом на плантации Мэриндж. Раз там очутились даже странные четвероногие, ро-

гатые, мохнатые существа, образ которых, запечатлевшийся в мозгу Джерри, можно было бы отождествить в человеческом мозгу с тем, что люди называют «козами».

То же самое происходило и с черными. Они появлялись из неизвестного, из «где-то» и «по ту сторону», слишком неопределенного для Джерри, чтобы он мог установить какие-либо признаки его, появлялись уже вполне взрослыми, расхаживали по плантации Мэринджа с поясами вокруг бедер и с костяными шпильками в носах и ставились мистером Хаггином, Дерби и Бобом на работу. Представление о связи между их появлением и приходом «Аранджи» возникло в мозгу Джерри, как нечто само собой разумеющееся. Дальше он над этим не задумывался, сознавая только, что существует еще и другая подобная же связь, а именно, связь между их периодическим исчезновением в неизвестное и отплытием «Аранджи».

Джерри не задумывался над этими появлениями и исчезновениями. В его золотисто-рыжую голову никогда не приходила мысль полюбопытствовать насчет этого или попробовать разгадать тайну. Он принимал все это приблизительно так же, как принимал влажность воды и жар солнца. Таков был известный ему закон жизни и мира. Это смутное представление было лишь представлением о чем-то и, между прочим, очень напоминало смутное представление среднего человека о тайне рождения, смерти и о потустороннем мире, о которых он не имеет никакого определенного понятия.

Что бы ни стали возражать люди, но промысловое судно «Аранджи», занимающееся вербовкой и перевозкой черных на Соломоновых островах, могло представляться сознанию Джерри такой же мистической лодкой, плавающей между двумя мирами, какой представлялась некогда человеческому уму путешествовавшая по Стиксу лодка Харона. Люди появлялись из ничего. В ничто они уходили. И они появлялись и исчезали всегда на «Аранджи».

И на «Аранджи», в это раскаленное добела тропическое утро, отправлялся на вельботе Джерри, под мышкой у мистера Хаггина, в то время как на берегу Бидди изливала свое горе, а Майкл, еще сохранивший всю свою цельность, бросал лаем вечный вызов юности Неизвестному.

ГЛАВА II

От вельбота до низкого борта «Аранджи» и через ее шестидюймовые перила тикового дерева на тиковую же палубу был только один шаг, и Том Хаггин сделал его легко, продолжая держать Джерри под мышкой. На палубе галдела взволнованная толпа. Взволнованной толпа показалась бы неопытным цивилизованным людям, и взволнованной она показалась Джерри; но для Тома Хаггина и капитана Ван Горна это было самое обычное явление повседневной жизни.

Палуба была мала, потому что и сама «Аранджи» была мала. Это была яхта из тикового дерева, первоначально выстроенная одним джентльменом для

увеселительных поездок, украшенная бронзой, скрепленная медью, окованная железом, уложенная в медную оболочку, с бронзовым килем в виде плавника. Затем ее продали промышленникам Соломоновых островов для ловли и преследования черных. Однако, для закона это занятие носило облагораживающее название «вербовка».

«Аранджи» было судном для набора рабочих, развозившее новобранцев, чёрных людоедов с отдаленных островов, на работу по новым плантациям, где белые люди превращали топкие ядовитые болота и джунгли в прекрасные стройные кокосовые рощи. Мачты «Аранджи», сделанные из орегонского кедра, гладкого и блестящего, горели в солнечных лучах, словно два смуглых опала. Исключительная парусность позволяла ей носиться с быстротой ведьмы и по временам давала капитану Ван Горну, его белому помощнику и 15-ти черным судовой команды столько узлов, со сколькими они в состоянии только были справиться. Она имела 60 футов длины и поперечные бимсы ее верхней палубы не были ослаблены палубными каютами. Единственными отверстиями, для которых тоже не пришлось прорезать бимсы, были: светлый люк главной каюты, входной люк, светлый люк впереди над крошечным баком и маленький люк, тоже в передней части, ведший вниз в кладовую.

И на этой маленькой палубе, кроме команды, толпились «обратные» с трех далеко заброшенных плантаций. «Обратными» назывались черные, контракт которых на три года работы истек и которых, согласно договору, транспортировали домой в родные деревни, на дикий остров Малаиту. Двадцать из них, все знакомые Джерри, были из Мэринджа; тридцать из Бухты Тысячи Кораблей на Руссельских островах, а остальные двенадцать из Пэнндюффрина, на восточном берегу Гвадалканара. Кроме них (а все они толкались на палубе, болтая и визжа странным, почти неправдоподобным фальцетом) там были капитан Ван Горн и его помощник датчанин Боркман, что составляло в общем итоге 79 душ.

— Я думал, что у вас в последнюю минуту не хватит мужества, — приветствовал их капитан Ван Горн, причем в глазах его, как заметил Джерри, зажегся радостный свет.

— Я был, конечно, недалек от этого, — ответил Том Хаггин. — Во всяком случае я сделал это только для вас. Джерри — лучший из щенят, исключая, конечно, Майкла; это единственные, которые остались мне; и те, что пропали, были не лучше их. Хотя Кетлин была бы прелестной собакой, вылитой Бидди, если бы осталась жива. Вот, возьмите его.

Резким движением он передал Джерри в руки капитана Ван Горна и зашагал обратно по палубе.

— И если с ним случится что-нибудь дурное, я никогда не прощу вам этого, шкипер, — грубо бросил он через плечо.

— Им придется прежде снять с меня голову, —засмеялся шкипер.

— И это совсем не так уж невероятно, мой храбрый молодец, — проворчал Хаггин.— Мэриндж должен Сомо четыре головы, за трех умерших от дизентерии

и одного, убитого на прошлой неделе упавшим деревом. Этот был к тому же еще сыном вождя.

— Да, и «Аранджи» тоже должна Сомо две головы сама по себе, —подтвердил Ван Горн. — Вы помните, там, на юге, в прошлом году погиб на своем вельботе молодчик по имени Гоунсли, переплывший через Арлейский пролив?

Хаггин, вернувшись снова, утвердительно кивнул головой.

— Двое людей из команды его судна были с Сомо; я набрал их для плантаций Уджи. С вашими выходит, что «Аранджи» должна шесть голов. Но что из этого? Есть тут одна приморская деревушка, по ту сторону, на наветренном берегу, которой «Аранджи» должна 18 голов. Я набрал их для Аоло и, так как они были приморские жители, то их поставили на «Сендфлей», которая погибла по дороге в Веракрус. Они устроили там пульку на наветренном берегу. Честное слово, парень, которому удастся раздобыть мою голову, сделается вторым Карнеги. Деревня собрала 150 свиней и бесконечное количество монет-раковин для молодца, который поймает меня и выдаст им.

— И это не удалось им... еще?— фыркнул Хаггин.

— Будьте покойны, — был веселый ответ.

— Вот также говорил обыкновенно Арбукль,— упрекнул его Хаггин.— Я много раз слышал, как он подшучивал над этим. Бедный старина Арбукль! Самый положительный и осторожный малый из всех, кто когда-либо работал с неграми. Он никогда не ложился спать, не рассыпав предварительно по полу целый ящик гвоздей, а если это были не гвозди, то смятые газеты. Я хорошо помню, как раз ночью,— мы жили с ним тогда под одной крышей

Джерри снова излил всю глубину своего горя в вопле.

во Флориде,— большому коту вздумалось поохотиться в газетах за тараканом. Раздалось блим-блям-блим — шесть раз подряд в двойном количестве, из двух больших седельных револьверов. Дом был пробуравлен, как решето, и тут же лежал мертвый кот. Арбукль мог стрелять в темноте, совершенно не видя цели: он нажимал курок вторым пальцем и давал направление первым пальцем, положив его прямо вдоль ствола. Да, сэр, храбрец мой, это был молодчик хоть куда! Не было такого негра на свете, который осмелился бы поднять перед ним голову. И все-таки они припечатали его. А ведь он продержался 14 лет! Это был его поваренок.

Зарубил его перед завтраком. И я хорошо помню наш второй поход в джунгли за его останками.

— Я видел его голову, когда вы передали ее уполномоченному в Туладжи, — добавил Ван Горн.

— Это мирное, спокойное, обычное лицо, с почти той же знакомой улыбкой, какую я видел тысячу раз. Она так и застыла на лице в дыму костра. Но они все же прикончили его, хотя на это потребовалось 14 лет. Много молодцов являются со своими головами на Малаиту, их головы много лет не трогают, но в конце концов они все же теряют их. Знаете, повадился кувшин...

— Ну, я-то их изучил,— настаивал капитан.— Когда назревает смута, я прямо отправляюсь к ним и говорю им, в чем дело. Они не могут сообразить, в чем тут штука, и уверены, что я владею какими-то могущественными бесовскими чарами.

Том Хаггин решительно протянул руку в знак прощания и отвел глаза, чтобы не увидеть Джерри в чужих руках.

— Следите за моими обратными, — предостерег он, спускаясь через борт, — пока не высадите их до последнего. У них нет причин любить Джерри и его породу, а мне будет очень тяжело, если с ним приключится что-нибудь дурное от руки негра. В темные ночи он очень легко может послать вам прощальный привет из-за борта. Не сводите с него глаз, пока не отделаетесь от последнего из них.

Видя, что его мистер Хаггин оставляет его и удаляется в вельбот, Джерри начал рваться и выражать свою тревогу тихим, плачущим визгом. Капитан Ван Горн крепче прижал его к себе, лаская свободной рукой.

— Не забудьте договора, — крикнул Том Хаггин через расширяющуюся полосу воды, — если с вами что-нибудь случится, Джерри возвращается ко мне.

— Я составлю бумагу об этом и положу ее с корабельными документами, — ответил Ван Горн.

Среди многих слов, которыми владел Джерри, было его собственное имя. В разговоре обоих мужчин он несколько раз узнавал его и понимал, что речь идет о том неясном и невообразимо ужасном, что происходит с ним. Он стал рваться еще решительнее и Ван Горн опустил его на палубу. Джерри прыгнул к борту со стремительностью, которой нельзя было ожидать от шестимесячного щенка, и быстрая попытка Ван Горна удержать его вряд ли удалась бы. Но Джерри отступил перед открытой водой, бившейся о борт «Аранджи». На ней лежало табу. Образ бревна,— которое было не бревном, а чем-то живым,— ярко запечатлевшийся в мозгу Джерри, удержал его. Это было следствием не рассудительности, а запрещения, превратившегося в привычку.

Он уселся на свой куцый хвост, поднял желтую морду к небу и издал длинный щенячий вопль ужаса и горя.

— Будет, Джерри, старина! Подтянись и будь мужчиной! — успокаивал его Ван Горн.

Но Джерри оставался безутешен. Это был несомненно белый бог, но не его бог. Его богом был мистер Хаггин, и притом высшим богом. Даже он, не рассуждая, понимал это. Его мистер Хаггин носил панталоны и башмаки, этот же бог, рядом на палубе, был скорее похож на черного. Он не только не носил панталон и ходил босой и голоногий, но и поясница его, точь-в-точь, как у всякого черного, была обмотана ярким поясом, который, словно шотландская юбка, спускался почти до его загорелых колен.

Капитан Ван Горн был красивым человеком и внушительной наружности, хотя Джерри и не понимал этого. Если когда-либо голландец сходил с Рембрандтовского полотна, то это был капитан Ван Горн, несмотря на то, что он был уроженцем Нью-Йорка, как и его никкербокеры-предки, восходившие вплоть до того времени, когда Нью-Йорк был еще не Нью-Йорком, а Нью-Амстердамом. Его костюм дополняла широкополая войлочная шляпа, совершенно Рембрандтовского стиля, которая частью сидела у него на голове, а большей половиной на одном ухе; шестипенсовая белая бумажная рубаха покрывала его торс, а у пояса болтался кисет с табаком, нож в ножнах, полная сумка патронов и большой автоматический револьвер в кожаной кобуре.

На берегу Бидди, подавившая было свое горе, услыхав плач Джерри снова подняла вой, и Джерри, затихнув на минуту, чтобы прислушаться, узнал рядом с ней Майкла, бросавшего лаем свой вызов, и увидел, сам не сознавая этого, сморщенное ухо брата с его упорно торчащим вверх завитком. Пока капитан Ван Горн и его помощник Боркман отдавали приказания, а грот и контр-бизань поднимались по мачтам, Джерри снова излил всю глубину своего горя в вопле, который Дерби, беседуя с Бобом на берегу, назвал «великолепнейшим вокальным эффектом», какой ему когда-либо приходилось слышать от пса, выразив при этом мнение, что Джерри, кроме разве некоторой жидкости тембра, ничем не уступает Карузо. Но вокализация эта была слишком тяжела для Хаггина, который высадившись тотчас же подозвал свистом Бидди и зашагал прочь от берега.

Увидев, что Бидди исчезает, Джерри пустил еще более сильные карузовские эффекты, чем доставил большое удовольствие обратному из Пэнндюффрина, который стоял около него. Он скалил зубы и насмехался над Джерри, заливаясь своим фальцетом, напоминавшим скорее некоторых тварей, живущих на деревьях в джунглях,— полуптиц, полулюдей,— чем человека, целиком человека и потому бога. Это подействовало на Джерри, как превосходное отвлекающее средство. Увидев, что простой черный смеет насмехаться над ним, он пришел в ярость и в следующий момент его остро отточенные как иголки щенячьи зубы покрыли голые икры изумленного негра длинными параллельными царапинами, из которых тотчас полилась кровь. Черный в страхе отпрыгнул в сторону; но в жилах Джерри текла чистая кровь Терренса Великолепного. И точно так же, как сделал бы это отец его, он пустился в погоню, покрывая красным узором вторую икру черного.

В этот момент, когда якорь был уже поднят и передние паруса начинали надуваться, капитан Ван Горн, зоркий глаз которого не упустил ни одной подробности инцидента, повернулся, чтобы похвалить Джерри, отдавая в то же время приказания черному рулевому.

— Так его, Джерри, — ободрял он. — Возьми его! Повали! Потрепи его хорошенько! Возьми его! Возьми!

Черный защищаясь хотел ударить Джерри ногой, но тот, вместо того чтобы отскочить, прыгнул на него, — еще одна черта, унаследованная от Терренса, — и, уклонившись от голой ноги, запечатлел новый красный ряд параллельных линий на темной икре. Это было слишком, и черный, испытывая больше страха перед Ван Горном, чем перед Джерри, повернулся и побежал к передней части, взобравшись там для безопасности на восемь ли-энфильдовских ружей, сложенных на светлом люке каюты и охраняемых одним из матросов. Джерри принялся бушевать у люка, бросаясь вверх и падая назад, пока капитан Ван Горн не отозвал его.

— Славный охотник на негров, этот песик, славный охотник! — поделился Ван Горн с Боркманом, нагибаясь, чтобы погладить Джерри и воздать ему заслуженную похвалу. И Джерри под лаской руки бога, хотя и не носившего панталон, забыл на минуту поразившее его горе.

— Молодчина пес — больше смахивает на эйрдейля, чем на ирландского терьера, — продолжал Ван Горн, обращаясь к своему помощнику и продолжал ласкать Джерри. — Поглядите, какой он уже большой, взгляните на его кость. Вот так грудь! Он должен быть здорово вынослив. Уж это будет собака, когда вырастет.

Джерри как раз в эту минуту вспомнил свое горе и бросился по палубе к борту, чтобы поглядеть на Мэриндж, который становился все меньше, отдаляясь с каждой секундой. Вдруг порыв юго-восточного муссона ударил в паруса и заставил «Аранджи» нырнуть носом. Джерри покатился, скользя по палубе, скошенной в этот момент на 45°, тщетно цепляясь когтями за гладкую поверхность, чтобы удержаться. Он задержался у основания бизань-мачты в то время, как капитан Ван Горн, окидывая взглядом коралловые рифы под носом судна, отдавал приказание: лево на борт.

Боркман и черный рулевой повторили его команду и, когда руль переложили, «Аранджи» со стремительностью ведьмы обошла ветер и достигла на мгновение ровного киля, чтобы выбрать передние паруса и переменить передние шкоты.

Джерри, все еще прикованный к Мэринджу, воспользовался тем, что палуба выровнялась, чтобы прийти в себя и пробраться к борту, но его остановил грохот блоков грота-шкота на крепком бугеле в то время, как грот, выпустив ветер с одной стороны и наполнившись с другой, переносился с бешеной стремительностью над его головой. Джерри уклонился от опасности диким прыжком (хотя прыжок, сделанный Ван Горном, чтобы выручить его, был не менее диким) и очутился как раз у главного утлегаря, под громоздким парусом, грозз-

но нависшим над ним, точно собираясь вот-вот упасть и раздавить его. Это было первое столкновение Джерри с парусами всех видов. Он не знал зверей, тем более их обычаев, но в его яркой памяти с того времени, когда он был еще крошечным щенком, горело воспоминание о ястребе, который упал на него с неба среди усадьбы. Джерри припал к палубе под угрозой страшного удара. Точно стрела, из синевы устремлялся на него сверху крылатый ястреб невообразимо более мощный, чем тот, с которым ему пришлось столкнуться когда-то. Но в позе Джерри не было и намека на трусость. Сжимаясь, он собирался весь, соединял все члены под начало своего духа, чтобы прыгнуть вверх и встретить на полпути это чудовищное угрожающее существо.

Но в следующую долю мгновения, — так что Джерри, прыгнув, не успел даже задеть его тени, — грот с новым грохотом блоков на бугеле перенесся через него на другой галс.

Ван Горн не упустил ни одной подробности из этой сцены. Ему случалось прежде видеть молодых собак, которые пугались до настоящих припадков при первой встрече с закрывающими небо, затмевающими высь, свисающими вниз парусами. Это была первая собака, которая на его глазах, не смутившись, прыгнула с оскаленными зубами, чтобы схватиться с огромным неизвестным. В невольном восхищении Ван Горн поднял Джерри с палубы и сжал его в своих объятиях.

ГЛАВА III

Джерри совершенно забыл Мэриндж для текущей жизни. Он хорошо помнил, что у ястреба был острый клюв и когти. Это хлопающее по ветру, грохочущее, как гром чудовище нельзя было упускать из виду. И Джерри, сжимаясь для прыжка и не переставая делать усилия, чтобы сохранить равновесие на скользкой покатой палубе, не спускал глаз с шкота и издавал тихое рычание при малейшем намеке на движение с его стороны.

«Аранджи» лавировала между коралловыми рифами узкого пролива под дувшим навстречу сильным муссоном. Это требовало частых галсов, так что грот то и дело переносился над головой с галса левого борта на правый и снова обратно, производя в воздухе шум, напоминавший свист крыльев, выбивая концами своих рифов резкое ра-та-та и оглушительно грохоча гарделем по бугелю. Когда парус проносился над головой, Джерри несколько раз бросался на него, раскрыв рот для хватки, обнажив свои чистые щенячьи зубы, блестевшие на солнце, точно украшения из слоновой кости.

Терпя при каждом прыжке неудачу, Джерри пришел к одному убеждению. Мимоходом следует заметить, что это убеждение было достигнуто путем определенного процесса размышления. После ряда наблюдений над предметом, который угрожал ему всегда одним и тем же образом, он обнаружил, что предмет этот не только не повредил ему, но даже не пришел с ним в соприкосновение.

Следовательно, предмет этот не был опасной разрушительной вещью, как он решил вначале. С ним, правда, не мешало быть поосторожнее, хотя он и успел уже занять место в его классификации среди вещей, которые казались страшными, но не были страшными. Так он научился в свое время не пугаться ветра, шумевшего в пальмах, в то время как он уютно лежал на веранде плантаторского дома, или штурма волн, шипевших и грохотавших, обращаясь на берегу у его ног в безвредную пену.

Много раз в течение дня Джерри задорно и пренебрежительно с почти комической уверенностью задирал голову перед гротом, когда тот делал внезапное колебательное движение, расслабляя или натягивая свой грохочущий привод. Но он больше не делал стойку, чтобы прыгнуть на него. Это был первый урок, быстро усвоенный.

Покончив с гротом, Джерри мысленно вернулся в Мэриндж. Но Мэринджа не было. Не было и Бидди, Терренса и Майкла на берегу, не было и мистера Хаггина, Дерби и Боба, не было берега, не было земли с пальмами вблизи и с горами вдали, вечно подымающими свои зеленые вершины к небу. Повсюду, у правого борта и у левого, у носа и за кормой, где он ни останавливался, опираясь передними лапами на шестидюймовые перила и всматриваясь вдаль, Джерри видел только океан, изрытый и бурный, но все же равномерно катящий под напором муссона свои увенчанные белыми гребнями волны. Если бы он обладал зрением человека, поднимающегося над палубой почти на два ярда выше его, если бы это были к тому же опытные глаза мужчины и моряка, то Джерри мог бы увидеть на севере низкое пятно Изабеллы, а на юге — Флориды, очертания которой выступали все яснее по мере того, как «Аранджи», круто приведенная к ветру, с хорошим наполнением, неслась на левом галсе под юго-восточным муссоном. Если бы он мог, кроме того, воспользоваться морским биноклем, при помощи которого капитан Ван Горн увеличивал зоркость своих глаз, то увидел бы к востоку далекие вершины Малаиты, вздымающиеся над каймой моря, розовые, покрытые живыми тенями облачные вершины.

Но для Джерри настоящее было очень непосредственно. Он рано усвоил железный закон непосредственного и научился принимать то, что есть, раз оно уже существует, отбрасывая все другие стремления к недостижимому. Море было. Земли больше не было. «Аранджи» несомненно была, вместе с жизнью, которая кипела на ее палубе. И он начал знакомиться с тем, что было. Короче говоря, узнавать окружавшую обстановку и приспособляться к ней.

Его первое открытие было восхитительно — дикая собака, щенок из джунглей Изабеллы, которого вез с собой на Малаиту один из обратных. Они были одного возраста, но породы их были различны. Дикая собака была тем, чем была — дикой собакой, раболепствующей и пресмыкающейся, с вечно опущенными ушами, вечно болтающимся между ног хвостом в вечном ожидании новых злоключений и обид, вечно боящаяся и озлобленная. Отражая грозящий удар, она злобно приподнимала губу над клыками и пресмыкалась под удара-

ми, выражая воем свой страх и боль, всегда готовая при этом на предательский удар, если счастье и безопасность благоприятствовали ей.

Дикая собака была развитей Джерри, тело ее было крупнее, и ум изощреннее в злобе; но Джерри был голубой крови, правильного подбора и полон доблести. Дикая собака происходила от такого же сурового подбора. Но это был другого рода подбор. Ее предки, жившие в джунглях, уцелели благодаря подбору, основанному на страхе. Они никогда добровольно не сражались против врагов и нападали в открытых местах только тогда, когда добыча была слаба и беззащитна. Они удерживались не мужеством, а тем, что пресмыкались, убегали и скрывались от опасности. Они были слепо подобраны природой в жестокой и неблагородной обстановке, где право на существование добывалось, по общему правилу, лукавством трусости и лишь в редких случаях отчаянной защитой прижатого к стене существа.

Но Джерри происходил от подбора, основанного на любви и мужестве. Его предки разумно и тщательно подбирались людьми. Эти люди когда-то, в давно забытом прошлом, взяли дикую собаку и превратили ее в существо, которое рисовалось им в мечтах, которым они восхищались и в которое желали превратить ее. Она не должна была больше драться в углу, как крыса, потому что не должна была больше уподобляться крысе и скрываться в углу. Отступление должно было стать немыслимым для нее. В далеком прошлом собаки, отступавшие перед врагом, были отброшены человеком, они не сделались предками Джерри. Собаки, избранные в предки Джерри, были мужественны; это были те собаки, которые сопротивлялись и нападали, которые бросались в самую опасность, боролись и умирали, но никогда не уступали. И так как породе свойственно воспроизводить породу, то Джерри вышел таким же, каким был до него Терренс и какими были предки Терренса в течение долгого отошедшего прошлого.

Вот почему, когда Джерри случайно наткнулся на дикую собаку, укрывшуюся от ветра на подветренной стороне между грот-мачтой и люком, он не остановился, чтобы рассмотреть, не больше ли и не свирепее ли она, чем он сам. Он знал только, что это его старинный враг — дикая собака, которая не ужилась у очага человека. С диким воплем радости, который привлек всеслышащее ухо и всевидящий глаз капитана Ван Горна, Джерри бросился в атаку. Дикий щенок со всех ног пустился наутек, улепетывая с невероятной быстротой, но был сбит стремительным полетом тела Джерри и несколько раз перевернулся по покатой палубе. Барахтаясь, он хрипел и рычал, чувствуя, как острые зубы вонзаются в него, и перемешивал рычание с воем и визгом, выражавшими страх, боль и отвратительную покорность.

Джерри был джентльменом, то есть благородной собакой. Так он был подобран. Раз это существо не дралось, раз оно пресмыкалось и визжало, раз оно беспомощно барахталось под ним, он прекратил нападение. Он не думал о том, что делает. Он сделал это потому, что был уже так создан. Джерри остановился на ныряющей палубе, испытывая полное удовлетворение во рту и сознании от

По-видимому, Джерри и сам испытывал гордость, потому что походка его казалась чуточку напряженней, а поворот головы немного назад через плечо, на визжащего дикого пса, выражал вполне членораздельно: — Ну, кажется, на этот раз я достаточно задал тебе.

восхитительного запаха шерсти дикой собаки, а в ушах и сознании — от похвальных окриков капитана Ван Горна.

— Молодчина Джерри, молодчина. Ну и собака, ну и пес!

По-видимому, Джерри и сам испытывал гордость, потому что походка его казалась чуточку напряженней, а поворот головы немного назад через плечо, на визжащего дикого пса, выражал вполне членораздельно:

— Ну, кажется, на этот раз я достаточно задал тебе. Вперед уж постарайся не попадаться мне на дороге!

Джерри продолжал исследование своего нового крошечного мира, который никогда не знал покоя, вечно поднимаясь, накреняясь и колеблясь на волнующейся поверхности моря. Там были обратные из Мэринджа; он задался целью опознать их всех и тотчас принялся за дело, отвечая задорными выпадами и угрозами на ворчание и нахмуренные лица, которыми его встречали. Благодаря воспитанию, он, который ходил на четырех ногах, был выше их, ходивших на двух, потому что всегда жил и двигался под щитом великого двуногого и «обрюченного» бога, мистера Хаггина. Там были еще и незнакомые обратные из Пэнндюффрина и Бухты Тысячи Кораблей. Он упорно хотел познакомиться со всеми ними. Это знакомство могло пригодиться ему когда-нибудь в будущем: однако об этом Джерри не думал. Он просто накоплял в себе сведения об окружающем без всякой мысли о предусмотрительности и без всяких забот о будущем. При помощи своего собственного метода приобретения знаний он быстро обнаружил, что точно так же, как на плантации черная прислуга отличалась от черных полевых рабочих, так и на «Аранджи» существо-

вала группа черных, отличавшаяся от обратных. Это была команда судна; пятнадцать черных, входивших в ее состав, были ближе к капитану Ван Горну, чем остальные негры. Они как будто непосредственно принадлежали «Аранджи» и ему. Они работали для него и по его команде: управляли рулем, натягивали и распускали канаты, поднимали из-за борта воду на палубу и мыли и скребли ее пол.

Точно так же, как мистер Хаггин научил Джерри относиться к прислуге терпимее, чем к полевым рабочим, появлявшимся в усадьбе, так и капитан Ван Горн внушил ему, что он должен относиться к команде судна терпимее, чем к обратным. Он пользовался меньшей вольностью по отношению к первым, чем ко вторым. До тех пор, пока сам капитан Ван Горн не изъявлял желания преследовать свою судовую команду, Джерри считал своим долгом не преследовать ее. С другой стороны, он все же никогда не забывал, что он собака белого бога. Он мог не преследовать этих именно черных, но не допускал и мысли о какой-либо фамильярности с ними. Он не спускал с них глаз. Не раз уже приходилось ему видеть, как мистер Хаггин выстраивал таких же вот терпимых черных и задавал им порку. В общей схеме живых существ они занимали посредствующее место, и за ними следовало следить на случай, если они перестанут сохранять свое место. Он соглашался предоставить им место, но не допускал для них равенства. В лучшем случае он мог относиться к ним с холодной терпимостью.

Он тщательно исследовал судовую кухню — примитивное сооружение без кровли на открытой палубе, не защищенное от ветра, дождя и бури, состоявшее из маленькой печурки, на которой двое черных кое-как умудрялись готовить еду для 40 человек, находившихся на борту. Затем его заинтересовало странное занятие судовой команды. В край борта «Аранджи» ввинчивались вертикальные трубки, которые служили подпорками для трех рядов колючей проволоки, обегавшей вокруг всего судна, прерываясь лишь у сходень на небольшое расстояние в 15 дюймов. Джерри почувствовал без всякой хотя бы мимолетной мысли, что это мера предосторожности от какой-то опасности. Всю свою жизнь, с момента первых жизненных впечатлений, он провел в самом сердце опасности, вечно грозившей со стороны черных. В усадьбе Мэринджа немногочисленные белые люди всегда косились на многочисленных черных, которые работали на них и подчинялись им. В жилых комнатах, где находился обеденный стол, бильярд и фонограф, стояли винтовки с амуницией, и в каждой спальне, за каждой кроватью имелись наготове револьверы и ружья. Точно так же мистер Хаггин, Дерби и Боб, выходя из дому, чтобы отправиться к черным, всегда прятали в свои пояса револьверы.

Джерри знал, что эти производящие шум предметы — орудия разрушения и смерти. Он видел, как они уничтожали живые существа, вроде свиней, козлов, птиц и крокодилов. При помощи таких штук белые боги, по своему желанию, переносились через пространство, не пересекая его своими телами, и уничтожали живые существа. Вот ему, Джерри, чтобы причинить вред какому-нибудь

существу, нужно раньше перейти пространство своим телом и схватить его. Он, Джерри, не такой. Он ограничен. Все невозможное было возможно для неограниченных двуногих белых богов. Эта способность их уничтожать через пространство являлась в некотором роде как бы дальнейшим развитием когтей и клыков. Не задумываясь над этим, не отдавая себе отчета, он принял это, как принимал и все остальное из окружавшего его таинственного мира.

Раз, кроме того, Джерри видел, как его мистер Хаггин вызвал смерть на расстоянии другим шумным способом. Он смотрел с веранды, как мистер Хаггин бросал снаряды со взрывчатым динамитом в визжащую толпу негров, устроивших набег из Потустороннего мира в длинных военных пирогах, заостренных и черных, украшенных резьбой и выложенных перламутром, которые они выволокли на берег у самого Мэринджа.

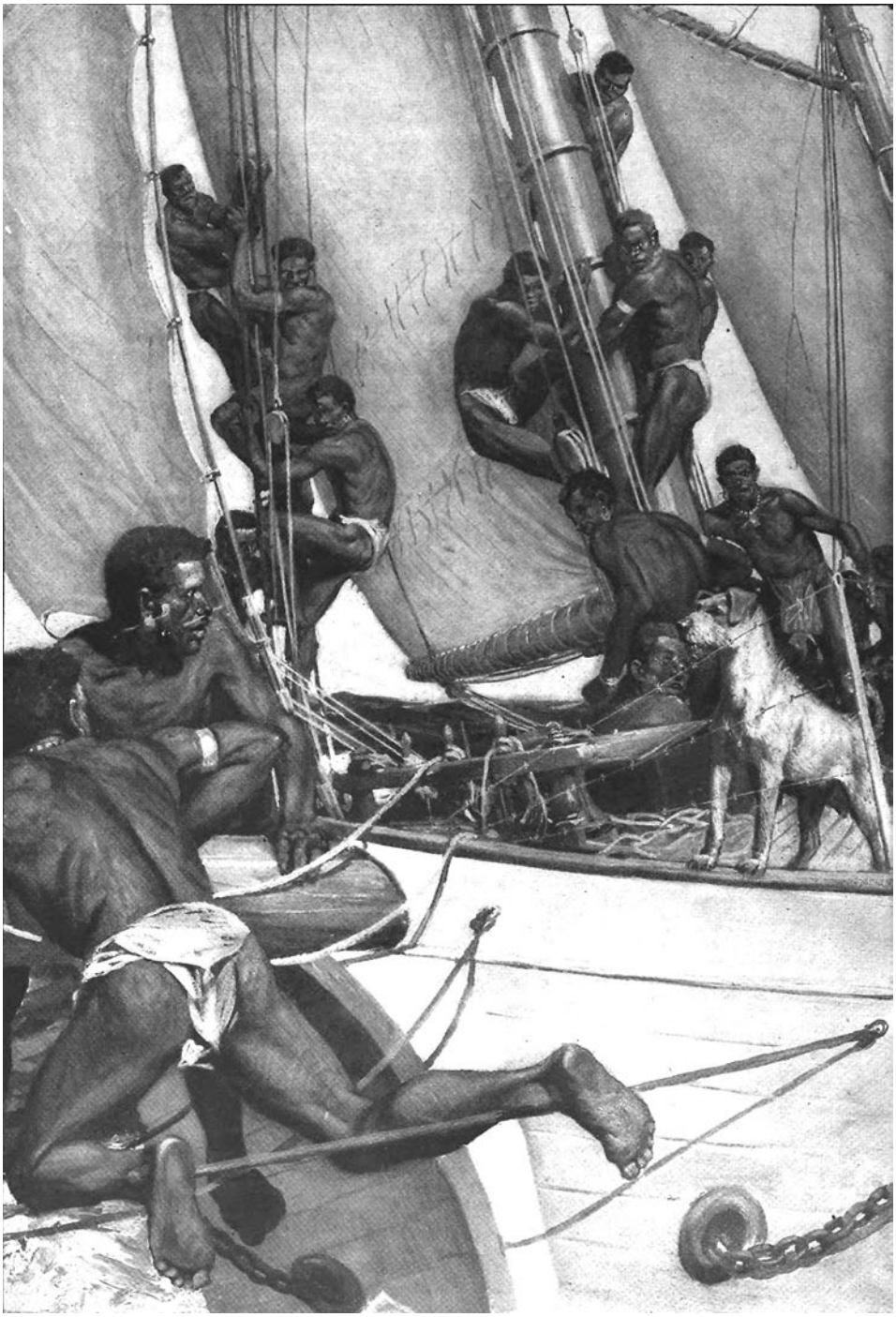
Джерри был знаком со многими предосторожностями белых богов и поэтому, — почти неощутимо почуяв это, — принял заграждение из колючей проволоки на плавучем мире как несомненный знак постоянной опасности. Несчастие и смерть бродили где-то поблизости, поджидая случая, чтобы наброситься на жизнь и уничтожить ее. Жизнь должна быть очень оживленной, чтобы не погибнуть. Это был закон, давно извлеченный Джерри из того небольшого жизненного опыта, которым он располагал.

Следя за оснасткой колючей проволоки, Джерри наткнулся на новое приключение. Он встретился с Леруми, тем самым обратным из Мэринджа, которого Бидди в это утро при посадке сбросила вместе со всем его скарбом в воду. Встреча произошла у светлого люка со стороны левого борта, где Леруми, глядя на себя в дешевое зеркальце, расчесывал самодельным деревянным гребнем свои курчавые волосы.

Джерри, едва сознавая присутствие Леруми, бежал мимо по направлению к корме, где Боркман следил за тем, как матросы прикрепляли колючую проволоку к стойкам. И Леруми, бросив взгляд вдоль борта и убедившись, что движение, которое он собирался сделать ногой, будет скрыто от наблюдения, наметил пинок в сына своего четвероногого врага. Его голая нога попала в чувствительный конец недавно обрубленного хвоста, и Джерри, оскорбленный, полный сознания совершенного над ним святотатства, тотчас же пришел в ярость.

Капитан Ван Горн стоял в это время на левой четверти кормы, устанавливая несоответствие между направлением ветра и движением руля в руках черного рулевого. Он не видел Джерри, заслоненного от него люком, но глаза его уловили движение плеч Леруми, вызванное балансированием на одной ноге, пока другая нога давала пинок. И из того, что последовало, он догадался о том, что произошло раньше.

Джерри, издав отчаянный вопль оскорбленного щенка, растянулся, завертелся, прыгнул и вцепился в черного. Он впился в щиколотку, получил при этом второй пинок в воздухе и скатился по покатости палубы прямо в шпигаты, оставив, однако, на черной ноге красные следы своих иголок-зубов. Продолжая



Под конец палуба осталась за Джерри, не считая судовой команды, потому что он уже научился выделять ее.

визжать от негодования, он взобрался, цепляясь, обратно по крутому деревянному подъему. Но тут Леруми, убедившись при помощи нового взгляда, что за ним следят, решил, что ему не следует доводить дело до крайности. Он побежал вдоль светлого люка, чтобы скрыться вниз в каюту, но был задержан острыми зубами Джерри, вонзившимися в его икру. Джерри, слепо нападая, попал под ноги черного. Леруми, спотыкаясь и путаясь, пробежал еще немного, пока внезапный прилив ветра в парусах не ускорил его падения. Тщетно пытаясь подняться, он наткнулся на три ряда колючей проволоки на борту.

Полная палуба толпившихся черных громкими криками выразила свое удовольствие, и Джерри,— ярость которого нисколько не уменьшилась, когда его непосредственный противник вышел из боя,— приняв по ошибке смех на свой счет, бросился на черных, терзая и кусая множество ног, побежавших перед ним. Они устремились по спуску в каюту и бак, выбежали за бушприт и попрыгали на снасти, покуда не повисли повсюду в воздухе, как чудовищные птицы. Под конец палуба осталась за Джерри, не считая судовой команды, потому что он уже научился выделять ее. Капитан Ван Горн веселым громким голосом выразил свое одобрение, подозвав к себе Джерри и дружески похлопывая его в восторженном восхищении. Затем он повернулся к своим многочисленным пассажирам с речью на беш-де-мер, ломаном английском языке, приспособленном для понимания черных.

— Эй, вы, ребята! Слушай большое слово. Этот собака — мой собака. Один ваш молодец ударил мой собака. Мой много-много сердит. Верно говорю. Мой будет его драть! Ваш смотрел за ваши ноги. Мой смотрел за мой собака. Поняли?

И пассажиры, все еще сверкая в воздухе своими черными глазами, обменялись друг с другом ворчливым чириканьем и приняли закон белого человека. Даже Леруми, сильно оцарапанный колючей проволокой, не хмурился и не бормотал угроз. Вместо этого он провел по ноге пальцами, исследуя свои царапины и пробормотал: «Верно говорю. Большой собака этот собака», вызвав этим громкий смех товарищей и искру удовольствия в глазах капитана.

Не то, чтобы Джерри был жесток. Как Бидди и Терренс, он был свиреп и бесстрашен, эти свойства были переданы ему по наследству; и, как Бидди и Терренс, он обожал преследование черных, что в свою очередь было делом воспитания. С самого раннего детства ему внушали одно и то же. Негры были неграми, а белые люди были богами; и белые боги научили его преследовать черных и удерживать их на отведенном им в мире низшем месте. Белый человек держал весь мир в своей руке. Черные — что же, разве он не видел, что они всегда вынуждены оставаться на своем низшем месте? Разве он не видел, как иногда белые боги привязывали их к пальмовым деревьям усадьбы Мэринджа и превращали плетками их спины в лохмотья? Не удивительно, что породистый ирландский терьер, любовно выращенный руками белого бога, смотрел на черных глазами белого бога и вел себя в отношении к ним так, чтобы заслужить благодарность и похвалу белого бога.

Это был хлопотливый день для Джерри. Все на «Аранджи» было ново и чуждо, да к тому же сама она была так переполнена, что он то и дело наталкивался на новые волнующие приключения. У него произошла еще одна встреча с дикой собакой, которая предательски напала на него сбоку за засады. Беспорядочно наваленные ящики с пожитками черных оставляли в нижнем ярусе узкое отверстие между двумя сундуками. Когда Джерри проходил мимо, отвечая на зов шкипера, дикая собака выскочила из этого углубления и, вонзив свои острые зубы в желтую бархатную шкуру Джерри, поспешно скрылась обратно в свою нору.

Снова чувства Джерри были оскорблены. Он понимал еще нападение с фланга. Они с Майклом часто играли таким образом, хотя тогда это все-таки была только игра. Но отступить без боя от затеянной драки было чуждо привычкам и характеру Джерри. В справедливом гневе он устремился за врагом в углубление. Но тут-то дикая собака могла драться с наибольшим успехом. Прыгнув в узкое отверстие, Джерри ударился головой о верхний ящик и в следующий момент почувствовал нажим зубов противника на свои зубы и челюсть, сопровождаемый рычанием.

Тут не было никакой возможности ухватить дикую собаку, броситься на нее с открытым мужеством, отдаваясь всем существом атаке. Все, что Джерри мог делать, это ползком, извиваясь, пробираться вперед, повсюду натыкаясь на рычащую оскаленную пасть. Но даже в этих условиях он одолел бы в конце концов дикую собаку, если бы Боркман, проходя мимо, не вытащил его за заднюю ногу. Снова послышался зов капитана Ван Горна, и Джерри послушно побежал на кормовую часть.

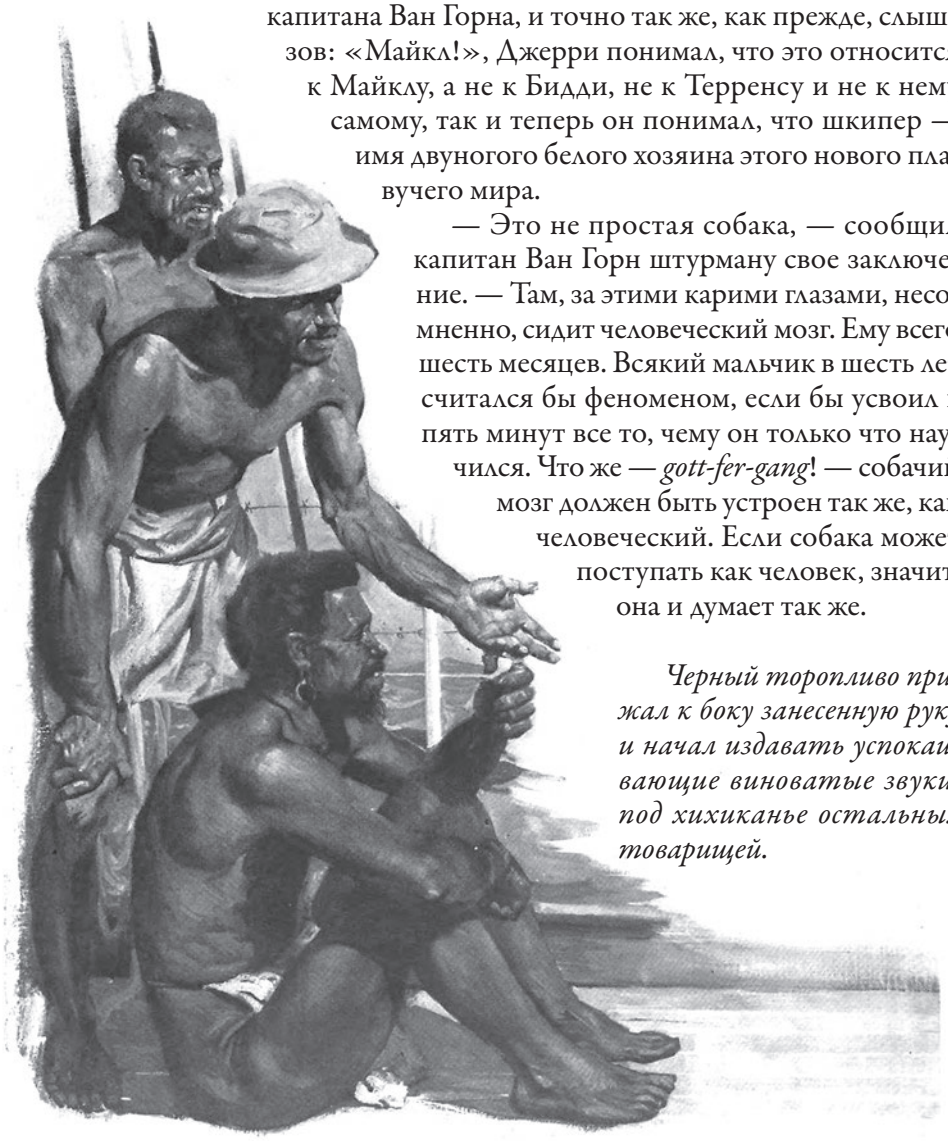
Обед был подан на палубе под тенью контр-бизани, и Джерри, сидя между обоими мужчинами, получил свою долю. К тому же времени он успел уже прийти к заключению, что из них двух капитан был высшим богом, отдававшим много приказаний, которым штурман повиновался. Штурман со своей стороны приказывал черным, но никогда не приказывал капитану. Капитан начинал все больше нравиться Джерри, и он придвинулся поближе к нему. Когда Джерри сунул нос в тарелку капитана, его ласково отстранили но, когда он попробовал только понюхать чашку чая штурмана, тот угостил его щелчком по носу грязным указательным пальцем. Кроме того, штурман не давал ему есть.

Капитан Ван Горн дал ему прежде всего миску овсянки, щедро политой сгущенным молоком и подслащенной полной ложкой сахара. После этого он бросал ему от времени до времени кусочки хлеба с маслом и ломтики жареной рыбы, из которой предварительно тщательно вынимал крошечные косточки.

Его любимый мистер Хаггин никогда не кормил его со стола во время обеда, и Джерри был вне себя от восторга при этом новом восхитительном приключении. По молодости он позволил нетерпению овладеть собой, и скоро начал совершенно недопустимым образом требовать у капитана еще кусков рыбы и хлеба с маслом. Раз он даже выразил свое требование лаем. Это навело капитана Ван Горна на мысль, и он сейчас же начал учить Джерри «говорить».

Через пять минут Джерри научился «говорить» тихо и говорить только раз — мягким, похожим на звук колокола, тихим односложным лаем. Кроме того, в эти первые пять минут он научился отличать приказание «садись» от «ложись» и усвоил, что должен говорить сидя, не прыгая и не меняя сидячего положения, а потом дожидаться, пока ему дадут кусок.

При этом он прибавил к своему словарю три слова. Теперь уже «говорить» должно было навсегда означать для него «говорить», а «садись» должно было означать «сидеть», и никогда не «лежать». Третьим дополнением к его словарю было слово шкипер. Это было имя, которым штурман то и дело называл капитана Ван Горна, и точно так же, как прежде, слыша зов: «Майкл!», Джерри понимал, что это относится к Майклу, а не к Бидди, не к Терренсу и не к нему самому, так и теперь он понимал, что шкипер — имя двуногого белого хозяина этого нового плавучего мира.



— Это не простая собака, — сообщил капитан Ван Горн штурману свое заключение. — Там, за этими карими глазами, несомненно, сидит человеческий мозг. Ему всего шесть месяцев. Всякий мальчик в шесть лет считался бы феноменом, если бы усвоил в пять минут все то, чему он только что научился. Что же — *gott-fer-gang*! — собачий мозг должен быть устроен так же, как человеческий. Если собака может поступать как человек, значит, она и думает так же.

Черный торопливо прижал к боку занесенную руку и начал издавать успокаивающие виноватые звуки, под хихиканье остальных товарищей.

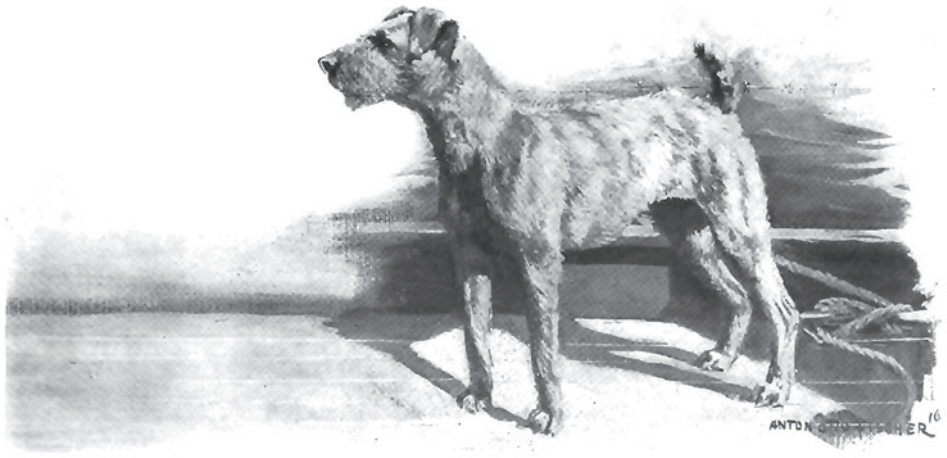
ГЛАВА IV

Спуск в главную каюту представлял собой крутую лестницу, по которой капитан после обеда снес Джерри вниз. Каюта была длинная комната, простиравшаяся во всю ширину «Аранджи» от кладовой в кормовой части до крошечной комнаты впереди. Перед этой комнатой находился отделенный плотной переборкой бак, где помещалась судовая команда. Крошечную комнату разделяли Боркман и капитан Ван Горн, тогда как главная каюта была занята тремя с лишним десятками обратных. Они сидели на корточках и валялись вокруг на полу и на длинных низких нарах, тянувшихся во всю длину каюты вдоль стен.

В маленькой офицерской каюте капитан сбросил в угол на пол одеяло и без большого труда дал понять Джерри, что это его постель. Да и Джерри, насытившемуся и утомленному обилием сильных впечатлений, не стоило большого труда немедленно заснуть.

Час спустя его разбудил приход Боркмана. Джерри завилял было обрубком хвоста и приветливо улыбнулся глазами, но штурман нахмурился на него и сердито пробормотал что-то про себя. Джерри не стал больше делать авансов и тихо лежал, наблюдая. Штурман пришел, чтобы выпить. В сущности, он просто крал вино из запасов Ван Горна, но Джерри не знал этого. Часто на плантации он видел, как белые люди пили. Но в том, как Боркман делал это, было что-то необычайное. Джерри смутно понимал, что тут что-то неладно. В чем это неладное, он не знал, но, чувствуя какую-то неправильность, недоверчиво следил.

Когда Боркман ушел, Джерри чуть было не заснул снова, как вдруг небрежно закрытая дверь с шумом распахнулась. Открыв глаза и приготовившись к любому вражескому вторжению из неизвестного, он начал следить за боль-



шим тараканом, который полз вниз по стене. Когда же Джерри, поднявшись на ноги, осторожно направился к нему, таракан, производя легкий журчащий шорох, бросился бежать и исчез в щели. Джерри всю свою жизнь имел дело с тараканами, но ему суждено было узнать о них много нового из наблюдений над особой породой, водившейся на «Аранджи».

Произведя поверхностный осмотр офицерской каюты, он прошел оттуда в главную каюту. Повсюду, растянувшись, лежали чернокожие, но Джерри, считая это своим долгом по отношению к своему шкиперу, решил во что бы то ни стало познакомиться с каждым из них. Они сердито жмурились и издавали тихие угрожающие звуки, когда он подходил вплотную, чтобы обнюхать их. Один осмелился даже замахнуться на него, но Джерри, вместо того чтобы убежать, оскалил зубы и приготовился прыгнуть. Черный торопливо прижал к боку занесенную руку и начал издавать успокаивающие виноватые звуки, под хихиканье остальных товарищей; и Джерри прошел своей дорогой. Ничего нового в этом не было. От негров всегда следовало ожидать удара, когда поблизости не было белого человека. Капитан и штурман были оба на палубе, и Джерри, хотя и не испуганный, осторожно продолжал свои изыскания.

Но у порога не имевшей дверей кладовой он пустил осторожность по ветру и устремился внутрь, преследуя новый запах, проникший в его ноздри. В низком темном помещении находилось какое-то незнакомое существо, запаха которого он никогда еще не слыхал. На грубом травяном матрасе, растянутом на куче табачных ящиков и 50 фунтовых жестянок муки, лежала в одной рубашке молоденькая черная девушка.

В ней было что-то пугливое и притаившееся, и это не ускользнуло от внимания Джерри, давно уже усвоившего себе, что если негр прячется или скрывается, значит, что-нибудь неладно. Она вскрикнула от страха, когда Джерри, заливаясь тревожным лаем, кинулся на нее. Она не пыталась ударить его, хотя зубы Джерри, и царапали ее голую руку. Она даже перестала кричать; она сжалась, дрожа всем телом, и не сопротивлялась. Не разжимая зубов, вцепившихся в худую рубашку девушки, Джерри тряс и трепал ее, не переставая рычать и ворчать по ее адресу, в то же время изо всех сил взвизгивая, чтобы привлечь шкипера или штурмана.

Во время борьбы девушка потеряла равновесие на ящиках и жестянках, и вся груда развалилась. Это заставило Джерри поднять еще большую тревогу, в то время как черные, заглядывая из каюты, с жестокой радостью хихикали.

Когда пришел шкипер, Джерри завилял своим обрубленным хвостом, пригнул назад уши и стал еще пуще прежнего рвать и трепать ситцевую рубашку девушки. Он ожидал похвалы за свой поступок, но когда шкипер просто приказал ему отпустить, Джерри покорился, соображая, что это прячущееся, пораженное страхом существо, по-видимому, чем-то отличается от других прячущихся существ и заслуживает несколько иного обращения.

Она действительно была объята страхом в такой степени, какую людям редко удается, испытав, пережить. Ван Горн называл девушку своим «горем»

и стремился избавиться от этого «горя» с тем условием однако, чтобы оно не подверглось полному уничтожению. От такого уничтожения он и спас девушку, когда выкупил ее в обмен на жирную свинью.

Девушка эта, глупая, ни на что не пригодная, бестолковая, больная, лишенная всякой привлекательности в глазах молодых людей своей деревни, достигнув 12 лет, была предназначена разочарованными родителями для кухонного горшка. Когда капитан Ван Горн встретил ее в первый раз, она составляла центральную фигуру в мрачной процессии на берегах реки Балебули.

— Все что угодно, только не красавица, —такова была его оценка, когда он задержал процессию для переговоров. Истощенная, покрытая сухой коростой от болезни, называемой викиа, она была связана по рукам и ногам, как свинья, и подвешена к толстому шесту, который несли на плечах люди, собиравшиеся пообедать ею. Она была слишком прибита, чтобы надеяться на пощаду, и не взывала о помощи, хотя ужасный страх ясно отражался в ее дико-блуждающих глазах.

На универсальном *beche de mer* капитан Ван Горн узнал от ее спутников, что они смотрят на нее без особенного вожделения и собираются опустить ее вместе с шестом по горло в быструю воду Балебули. Но до этого они хотели еще вывихнуть ей суставы и перебить большие кости рук и ног. Это не было религиозным обрядом или жертвой для умилостивления жестоких богов джунглей, а просто вопросом гастрономии. Живое мясо, подвергавшееся такой обработке, делалось нежнее и вкуснее, а она, как указывали ее спутники, несомненно нуждалась в том, чтобы быть приготовленной таким образом. Два дня в воде, сказали они капитану, сделают свое дело. А тогда они убьют ее, сложат костер и пригласят несколько человек друзей.

После получасовой торговли, во время которой капитан Ван Горн настаивал на полной гастрономической непригодности жертвы, он купил жирную свинью, ценой в пять долларов, и выменял ее на девушку. Так как он заплатил за свинью товарами и так как товары были расценены из расчета 100% прибыли, то девушка обошлась ему, в сущности, в два с половиной доллара.

И тут-то начались заботы капитана Ван Горна. Ему никак не удавалось избавиться от девушки. Он слишком хорошо знал жителей Малаиты, чтобы высадить ее где-нибудь на острове среди них. Вождь Ишикола из Суу предложил за нее сто кокосовых орехов, а Бау, вождь в джунглях на берегу Малу, предложил двух куриц. Но это последнее предложение сопровождалось усмешкой и выражало презрение старой лисицы к худобе девушки.

Не встречая миссионерского брига «Западная Звезда», на котором она не была бы съедена, капитан Ван Горн был вынужден держать ее в набитом помещении «Аранджи» в ожидании проблематического будущего, когда он сможет передать ее миссионерам.

Но девушка не чувствовала к нему никакой благодарности, потому что у нее не хватало мозгов для уразумения. Она, которая была продана за жирную свинью, считала, что ее жалкая доля не изменилась в этом мире. Пищей она

была, пищей она осталась. Переменились только те, кому она предназначалась, и этот большой белый хозяин «Аранджи» будет несомненно тем, кому она предназначена, когда она достаточно потолстеет. Она сразу поняла его намерение, как только он попробовал подкормить ее. И она перехитрила его, решительно отказываясь есть больше, чем это было необходимо, чтобы только не умереть.

И вот в результате, прожив всю свою жизнь в джунглях и ни разу даже не ступив ногой в лодку, она качалась и носилась теперь без конца по широкому океану в вечном кошмаре страха. Чередующиеся смены пассажиров «Аранджи» убеждали ее на *beche de mer*, распространенном среди черных тысячи островов, говорящих на тысяче наречий, в неизбежности ее судьбы.

— Верно говорю, Мэри, — говорил ей кто-нибудь, — мало время, большой хозяин будет тебе кай-кай. — Или другой: — Большой хозяин кай-кай на тебя, верно говорю. Ему брюхо слишком много ходить кругом твой.

Кай-кай значило «есть» на *beche de mer*. Даже Джерри знал это. В его словаре не было слова «есть», но зато кай-кай имелось там, и оно значило столько же и даже больше, чем есть, служа одновременно именем существительным и глаголом. Но девушка никогда не отвечала на насмешки черных. Она вообще никогда ни с кем не говорила, и даже капитан Ван Горн не знал ее имени.

День уже приближался к концу, когда Джерри, после открытия девушки в кладовой, снова вышел на палубу. Не успел шкипер, поднявший Джерри по крутой лестнице на руках, опустить его на пол, как тот сделал новое открытие — землю. Он не видел ее, но чуял ее запах. Его нос поднялся вверх и испытующе повернулся навстречу несшему весть ветру; и он принялся читать воздух, как человек читает газету: соленые запахи морского берега и сырой грязи Монтиферских болот при отливе, пряные ароматы тропической растительности и слабый, едва ощутимый, едкий привкус дыма от разведенных костров.

Муссон, благополучно приведший «Аранджи» под защиту этого выдающегося мыса Малаиты, теперь ослабел, и судно колыхалось в мягкой зыби под грохот шкотов и талей и оглушительное хлопанье парусов. Джерри ограничился тем, что бросил дерзкий насмешливый взгляд на грот, колебавшийся над ним. Он уже знал пустую бессодержательность его угроз, но остерегался блоков грота-шкота и обошел бугель кругом вместо того, чтобы пересечь его.

В то время как капитан Ван Горн, пользуясь штилем, чтобы заставить команду судна поупражняться в стрельбе и обращении с оружием, раздавал ей ли-энфильдовские винтовки, Джерри внезапно пригнулся и сделал стойку. Но дикая собака, находившаяся в трех шагах от своей норы под товарными ящиками, не зевала. Она следила за ним и угрожающе рычала. Это было далеко не приятное рычание. Оно было также отвратительно и дико, как отвратительна и дика была вся ее жизнь. Многие маленькие существа пугались ее ворчания, но оно не в силах было остановить Джерри, который упорно продолжал приближаться к ней. Когда дикая собака прыгнула к дыре под ящиками, Джерри бросился за ней, упустив своего врага на каких-нибудь несколько дюймов. Капитан Ван

Горн, набросав за борт куски дерева, бутылки и пустые жестянки, приказал восьми нетерпеливым матросам своей команды, наделенным ружьями, открыть огонь. Джерри, взволнованный и восхищенный пальбой, присоединил к шуму свой щенячий визг. Когда пустые медные патроны были выброшены, обратные начали ползать за ними по палубе, считая их очень ценными предметами и засовывая их еще теплыми в пустые отверстия своих ушей. Их уши были пробуравлены множеством таких отверстий, из которых наименьшие вмещали патрон, а наибольшие выдерживали глиняные трубки, пачки табака и даже коробки спичек. Некоторые отверстия в мочках были настолько велики, что закупоривались резными деревянными цилиндрами до трех дюймов в диаметре.

Штурман и капитан носили на поясах автоматические револьверы; они открыли из них стрельбу, выпуская патрон за патроном, к неописуемому восторгу чернокожих, следивших, затаив дыхание, за необычайной быстротой огня. Среди матросов судовой команды далеко не все были приличными стрелками. Но Ван Горн, как всякий капитан на Соломоновых островах, знал, что приморские жители и обитатели джунглей стоят еще несравненно ниже их в этом отношении, и что на стрельбу судовой команды можно вообще полагаться лишь постольку, поскольку существует уверенность, что сама она в беде не повернется против корабля.

Сначала револьвер Боркмана дал осечку, и капитан Ван Горн сделал своему помощнику замечание на то, что тот по небрежности не чистит и не смазывает оружия. При этом он, подтрунивая, осведомился у Боркмана, сколько рюмок он успел пропустить и не в этом ли кроется причина неудачной стрельбы. Боркман объяснил, что у него приступ лихорадки, и Ван Горн не стал выражать своих сомнений. Но через несколько минут, присев на корточки в тени контр-бизани с Джерри на руках, он изложил ему суть дела.

— Вся беда с ним от виски, Джерри,— объяснил он.— *Gott-fer-dang*, из-за этого мне приходится выстаивать не только все свои, но еще и половину его вахт. А он говорит, что это лихорадка. Не верь, Джерри, это виски — просто и ясно. В-и-с-к-и, виски. А он хороший моряк, Джерри, когда трезв. Зато, когда накачается, тут уж ему море по колено, башка у него начинает ходить ходуном, и он превращается в опасного дурака. Тогда он готов храпеть в бурю и страдает бессонницей в мертвом штиле. Джерри, ты только еще начинаешь ступать этими четырьмя мягкими лапками по земле, так вот запомни совет мужчины, который это испытал, и не прикасайся к виски. Верь мне, Джерри, сынок — послушай своего отца — виски никогда не доведет до добра.

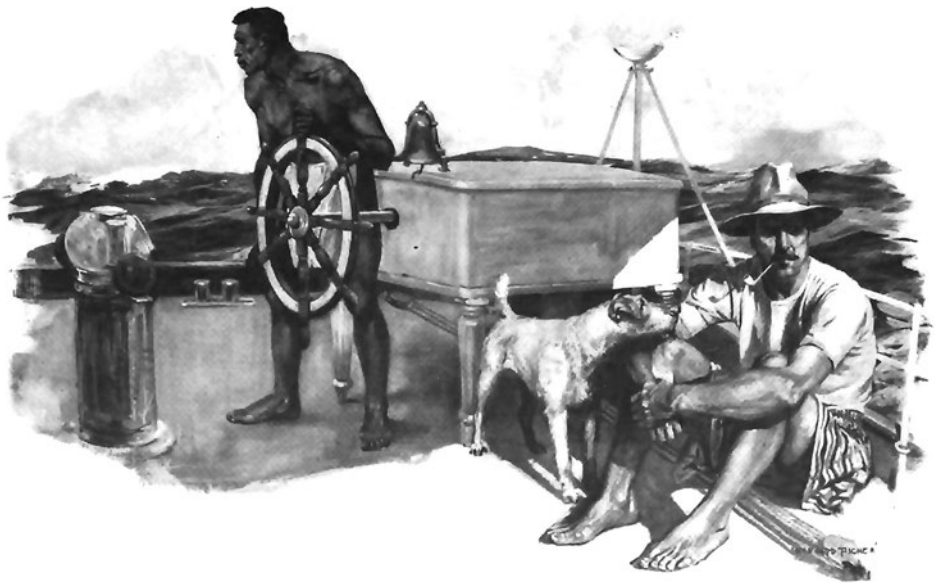
После чего, оставив Джерри подкрадывающимся на палубе к дикой собаке, капитан Ван Горн спустился вниз в крошечную офицерскую каюту и пропустил порядочное количество жидкости из той самой бутылки, которая снабжала Боркмана.

Под конец выслеживание дикой собаки превратилось для Джерри в игру. Так уж он был создан, что сердце его не умело хранить злобу и находило во всем большую радость. Кроме того, это вызвало в нем восхитительное сознание

собственного превосходства, ибо дикая собака неизменно спасалась от него бегством. В конце концов, поскольку дело касалось собачьего мира, Джерри сделался победителем палубы «Аранджи». Ему и в голову не приходило осведомиться о том, как отражалось его поведение на дикой собаке, хотя, по правде, он превратил жизнь этого существа в сплошную муку. За исключением того времени, когда Джерри был внизу, дикая собака ни за что не решалась отойти от своего убежища больше чем на несколько шагов и уныло бродила вокруг, дрожа от страха перед упитанным, жирным щенком, который не боялся ее рычания.

В конце дня Джерри, задав еще один урок дикой собаке, побежал на корму и нашел там шкипера, который сидел на палубе спиной к низким перилам, с поднятыми коленями, рассеянно глядя в подветренную сторону. Джерри обнюхал его голую икру не потому, чтобы он не мог без этого узнать шкипера, а просто ради удовольствия и как бы в виде дружеского приветствия. Но Ван Горн не обратил на него внимания, продолжая пристально смотреть вдаль через море. Он даже не заметил присутствия щенка.

Джерри положил во всю длину свой подбородок на колено шкипера и долго серьезно смотрел ему в лицо. На этот раз шкипер заметил его и почувствовал приятный трепет, но продолжал делать вид, будто не замечает Джерри. Джерри попробовал новый маневр. Полуоткрытая рука шкипера лениво спускалась с другого колена, на которое опирался локоть. Джерри до самых глаз засунул в полуоткрытую руку свою мягкую желтую морду и замер неподвижно. Если бы он мог посмотреть вверх, то заметил бы искру в глазах шкипера, которые, ото-



Джерри положил во всю длину свой подбородок на колено шкипера и долго серьезно смотрел ему в лицо.

рвавшись от моря, глядели теперь вниз на него. Но Джерри не мог их видеть. Он продолжал еще некоторое время сохранять неподвижность, потом сильно засопел.

Это было слишком для шкипера, и он расхохотался с такой неподдельной сердечностью, что шелковистые уши Джерри прижались назад и вниз в самоуничижении любви, точно умоляя позволить ему погреться в солнечном сиянии улыбки бога. Смех шкипера, кроме того, привел в неистовое движение хвост Джерри. Полуоткрытая рука сомкнулась в твердую хватку, собрав распущенную шкуру с одной стороны головы и щеки Джерри. Затем рука начала трясти его взад и вперёд с такой добродушной силой, что Джерри не мог не раскачиваться вслед за ее движением на всех четырех ногах.

Для Джерри это было блаженством. Нет, больше того, восторгом. Потому что Джерри знал, что в грубости тряски нет ни злобы, ни опасности для него, и что эта игра принадлежит к тем играм, которыми они забавлялись с Майклом. Иногда он играл таким образом с Бидди, любовно трепля ее. И в очень редких случаях также любовно трепал его сам мистер Хаггин. Для Джерри это была речь, полная безошибочного значения.

Когда тряска сделалась сильнее, Джерри начал испускать своё самое свирепое рычание, усиливая его свирепость по мере того, как возрастало неистовство тряски. Но это тоже была игра — сделать вид, что он хочет причинить боль тому, кого он слишком любил для этого. Он напрягался и изворачивался в руке шкипера, стараясь так вывернуть голову в мешке кожи, чтобы укусить его.

Когда шкипер быстрым движением выпустил и оттолкнул его, Джерри, ворча и скаля зубы, прибежал обратно, чтобы его снова схватили и потрясли. Игра продолжалась, и возбуждение Джерри все возрастало. Раз, будучи проворнее шкипера, он схватил его руку зубами, но они не сомкнулись. Они ласково нажали, вдавливаясь в кожу, но не оставляя укуса.

Возня становилась все оживленнее, и Джерри забылся в игре. Продолжая играть, он так увлекся, что все притворное превратилось в настоящее. Это была битва, борьба против руки, которая хватала, трясла его и отбрасывала в сторону. Притворная свирепость исчезла в его рычании и заменилась неподдельной. И когда, отброшенный рукой шкипера, Джерри снова бросался в атаку, он визжал в пронзительной щенячьей истерике. Капитан Ван Горн, поняв это, вдруг вместо того, чтобы схватить его, протянул широко раскрытую руку в знак мира, который так же стар, как и человеческая рука. В это же время голос его произнес одно только слово «Джерри». В нем была вся повелительность упрека и приказа и вся убедительная настойчивость любви.

Джерри понял и пришел в себя. Он тотчас же раскаялся, всем существом изображая нежное смирение, прижав назад уши с мольбой о прощении и выражением горячей трепещущей любви. В одно мгновение из разгоряченной борьбой собаки с открытой пастью и оскаленными клыками он распустился в комочек нежности и ласки, который, подойдя к открытой руке, принялся лизать ее языком, пылавшим между белых блестящих зубов, как розово-крас-

ный рубин. В следующее мгновение он был уже в объятиях шкипера, прижатый щекой к щеке, а язычок его снова двигался со всей гибкостью, доступной существу, лишенному речи. Это было настоящее торжество любви, одинаково дорогое им обоим.

— *Gott-fer-dang*,— проворчал капитан Ван Горн,— ты просто комочек нежнейшей чувствительности, с золотым сердцем в середине, обернутый золотой шкуркой. *Gott-fer-dang*, Джерри, ты золото, чистое золото, внутри и снаружи; и во всем мире никогда не было собаки, вычеканенной, как ты. У тебя золотое сердце, ты золотой пес! Будь ласков ко мне и люби меня так же, как я буду ласков к тебе и буду любить тебя во веки веков.

И капитан Ван Горн, управлявший «Аранджи», с босыми ногами, в поясе и шестипенсовой рубахе, развозивший взад и вперед черных людоедов, охотясь на них с автоматическим револьвером, ни днем, ни ночью не расставшийся с ним, капитан Ван Горн, лоб которого был изрезан шрамами, полученными в приморских деревнях и джунглях, считавшийся самым жестоким шкипером на Соломоновых островах, где только жестоким людям удавалось сохранить жизнь и репутацию жестокости, капитан Ван Горн вдруг почувствовал, что глаза его ослеплены влагой, и на минуту перестал видеть щенка, который, всем телом дрожа в его руках от любви, слизывал поцелуями соленую влажность его глаз.

ГЛАВА V

Быстрая тропическая ночь окутала «Аранджи» в то время как она попеременно то качалась в штиле, то, подхваченная шквалами, накренялась и ныряла вперед близ берегов каннибальского острова Малаиты. Затишье юго-восточного муссона делало погоду крайне неустойчивой, превращая приготовление пищи на открытой палубе в чистое горе и заставляя обратных, которым нечего было мочить, кроме своей кожи, кубарем скатываться вниз.

Первая вахта от 8-ми до 12-ти была штурмана. И капитан Ван Горн, которого пронизывающий ливень заставил спуститься вниз, взял Джерри спать с собой в крошечную каюту. Джерри был утомлен разнообразными впечатлениями самого богатого дня своей жизни; он заснул, брыкаясь и ворча во сне, прежде чем шкипер, с усмешкой бросив на него последний взгляд, пробормотал вслух, прикручивая лампу:

— Вот она дикая собака, Джерри! Возьми ее! Потряси, потряси ее хорошенько!

Дождь прекратился, унося из атмосферы последнее дыхание ветра и превратив каюту в дымящуюся удушливую печь. Но Джерри спал так крепко, что не услышал, как шкипер, задыхаясь от отсутствия воздуха, с пропитанной потом рубашкой и поясом, встал, сунул подушку и одеяло под мышку и отправился на палубу.

Джерри проснулся только тогда, когда огромный трехдюймовый таракан укусил его в чувствительную безволосую кожу между пальцев. Он проснулся, брыкаясь укушенной ногой, и посмотрел на таракана, который не бежал от него, а с достоинством удалялся. Джерри проследил, как таракан присоединился к другим тараканам, гулявшим на полу. Никогда он не видал такого множества тараканов в одно время и никогда не видал тараканов такой величины. Они все были одинаковых размеров и виднелись повсюду. Длинные вереницы их выливались из щелей в стенах и спускались вниз, чтобы присоединиться к товарищам на полу.

Все это было непристойно и, по крайней мере по мнению Джерри, совершенно нетерпимо. Мистер Хаггин, Дерби и Боб никогда не терпели тараканов, а их правила были его правилами. Таракан вечный враг на тропиках. Джерри бросился на ближайшего, стараясь наступить на него, чтобы раздавить лапой об пол. Но существо это сделало то, что никогда не делал на его глазах таракан. Оно поднялось в воздух, уверенно летая, как птица. И точно по сигналу все множество тараканов поднялось на крыльях и наполнило комнату своим кружением и порханием.

Джерри бросился на крылатого врага, прыгая в воздух, рыча на летающих червяков, стараясь сбить их вниз лапами. Раз случайно это удалось ему, и он уничтожил одного врага. Битва, однако, не кончилась до тех пор, пока все тараканы, словно по новому сигналу, не скрылись в многочисленные щели, оставив комнату за ним.

Его следующей мыслью тотчас же было: где шкипер? Он знал, что его нет в комнате, но все же поднялся на задние лапы и исследовал низкую койку, причем его маленький острый нос, чуя недавнее присутствие шкипера, трепетал от удовольствия и слегка посапывал от наслаждения. И то, что заставляло дрожать и сопеть его нос, заставило также завилять взад и вперед обрубок его хвоста.

Но где был шкипер? Эта мысль возникла в его мозгу с такой же остротой и определенностью, как если бы это был человеческий мозг; и у Джерри она точно также предшествовала действию. Дверь была оставлена незапертой, и Джерри вышел в каюту, где полсотни черных издавали во сне странные стоны, вздохи и храп. Они лежали вповалку, покрывая пол и длинные ряды нар, так что Джерри был вынужден пробираться по их обнаженным ногам. И поблизости не было белого бога, чтобы защитить его. Он знал это, но не испытывал страха. Убедившись, что шкипера нет в каюте, Джерри приготовился к опасному подъему по крутым ступеням, составлявшим почти целую лестницу. Но тут он вспомнил о кладовой. Он вошел туда и обнюхал спавшую девушку в ситцевой рубахе, которая думала, что Ван Горн съест ее, как только сумеет откормить.

Вернувшись к лестнице он посмотрел вверх и подождал немного в надежде, что шкипер появится оттуда и понесет его на руках. Он знал, что шкипер прошел по этой дороге, и знал это по двум причинам. Это был единственный путь, которым он мог пройти, и нос Джерри говорил ему, что он действительно прошел его. Первая попытка вскарабкаться по ступеням началась удачно. Он

поскользнулся и упал, пройдя уже целую треть пути вверх, когда «Аранджи» закачалась в волне и выпрямилась толчком. Два или три парня проснулись и начали следить за ним, приготовляя и жуя орехи бетеля и глину, завернутые в зеленые листья. Два раза, едва начав подниматься, Джерри скатывался вниз, и многие парни, разбуженные товарищами, тоже уселись и начали забавляться на его счет. При четвертой попытке он ухитрился добраться до середины лестницы, но снова споткнулся и тяжело упал на бок. Это было встречено громким смехом и жалобным чириканьем, которое вполне могло бы исходить из горла больших птиц. Джерри снова поднялся на ноги, нелепо взъерошил шерсть на плечах и негромко прорычал свое величайшее презрение к этим низшим двуногим существам, которые появлялись и исчезали, повинуясь приказаниям великих белых двуногих богов, как шкипер и мистер Хаггин.

Джерри, не обескураженный своим тяжелым падением, попробовал снова подняться на лестницу. Временное затишье качки благоприятствовало ему, и его передние ноги были уже по ту сторону высокого порога лестницы, когда подошел следующий большой вал. Джерри изо всех сил уцепился своими согнутыми передними лапами, перелез через порог и вышел на палубу.

На середине судна он обнюхал Леруми и несколько человек судовой команды, сидевших на корточках около люка. Он осторожно опознал их, сделав стойку, когда Леруми издал тихий, шипящий, угрожающий звук. Впереди у руля он нашел черного рулевого и около него штурмана, стоявшего на вахте. Но в тот момент, когда штурман заговорил с ним и нагнулся, чтобы погладить его, Джерри почуял где-то поблизости шкипера. Миролюбиво и виновато махнув хвостом, он направился по ветру и набрел на шкипера, который крепко спал, завернувшись в одеяло так, что видна была только одна голова.

Прежде всего Джерри почувствовал необходимость самым радостным образом обнюхать его и столь же радостно помахать хвостом. Но шкипер не просыпался, и тонкая пыль дождя, почти такая же тонкая, как туман, заставила Джерри свернуться и тесно прижаться в углубление между головой и плечом шкипера. Это, очевидно, разбудило того, потому что он пробормотал тихим мягким голосом: «Джерри», на что Джерри ответил прикосновением своего холодного, мокрого носа к его щеке. Тут шкипер снова заснул. Но Джерри нет. Он приподнял носом край одеяла и пополз через плечо, пока не оказался весь внутри. Это разбудило шкипера, и он в полусне помог Джерри устроиться; однако тот все еще не был доволен и вертелся кругом, пока не улегся в углублении руки шкипера, положив голову на его плечо. И только тогда, испустив глубокий вздох удовлетворения, он заснул.

Несколько раз шум, который производила команда, переставляя паруса в зависимости от изменения воздушных течений, будил Ван Горна, и всякий раз, вспомнив о щенке, он ласково прижимал его к себе согнутой рукой. И всякий раз во сне Джерри делал ответное движение и уютнее прижимался к нему.

Но, будучи замечательным щенком, Джерри все же был ограничен и никогда не смог бы понять, какое впечатление произвело на сурового капитана мягкое

прикосновение его бархатистого тела. Оно заставило Ван Горна вспомнить прошлое сквозь ряд отошедших лет, до собственной малютки-дочери, засыпавшей на его руках.

И так мучительны были эти воспоминания, что он совсем проснулся, и множество картин, начиная с малютки-девочки, начали жечь своей пыткой его мозг. Ни один белый человек на Соломоновых островах не знал того, что он носил в себе наяву и часто во сне. Ведь из-за этих картин он и попал на Соломоновы острова, тщетно пытаясь изгладить их из памяти. Сначала память, разбуженная мягким щенком, спавшим в его объятиях, воскресила перед ним девочку и мать в маленькой квартирке в Гарлеме. Маленькой правда, но так плотно насыщенной счастьем трех людей, превращавшим ее в рай!

Он снова видел, как желтовато-льняные волосы девочки постепенно темнели до золотого цвета матери, удлиняясь в кудри и кольца, пока, наконец, не выросли в две толстые, длинные косы. Борясь с этими воспоминаниями, он дошел до того, что начал задерживаться на них, лишь бы заполнить ими сознание и оградить его от одной картины, которой он не хотел видеть.

Он вспомнил свою работу, поврежденные вагоны, артель, работавшую под его началом, и ему захотелось вдруг узнать, что сталось с Кланси, его ближайшим помощником. Перед ним встал длинный день, когда его подняли с постели в три часа утра, чтобы извлечь вагон надземной железной дороги, врезавшийся в окна аптекарского магазина, и поставить его обратно на рельсы. Они проработали целый день, убирая обломки, и явились в депо в девять часов вечера, как раз в то время, когда пришло новое требование.

— Слава богу, — сказал Кланси, живший по соседству с ним. Ван Горн точно сейчас видел, как, говоря это, Кланси вытирал пот со своего перепачканного лица. — Слава богу, дело-то небольшое, да и по соседству с нами к тому же. Всего несколько кварталов. Как только кончим, так сейчас же и отправимся домой, и пусть уж там ребята из нижней части города доставляют вагон обратно в депо.

— Нам придется только приподнять его на минутку, — ответил Ван Горн.

— В чем дело? — спросил Билли Джефферс, тоже рабочий из артели.

— Кого-то переехали — не могут вытащить,— ответил Ван Горн, когда они тронулись в путь. Он снова вспомнил все подробности длинного пути, не упустив задержки, вызванной пожарной командой, которая мчалась с насосами и лестницами на пожар в противоположной части города. Вспомнил, как в это время он и Кланси поддразнивали Джефферса насчёт свиданий, назначенных различным вымышленным девицам, которых он вынужден будет обмануть из-за неожиданной ночной работы.

Потянулся длинный ряд остановившихся трамваев, толпа, полиция, удерживающая ее, две кареты скорой помощи, вызванные на место происшествия и ожидающие своего груза, и молодой полицейский, которому принадлежал этот участок, бледный, трясущийся, встретивший его словами:

— Это ужасно, эго просто невыносимо! Их там две. Мы не можем вытащить их. Я пробовал. Одна, кажется, была еще жива.

Но он, сильный и мужественный человек, привыкший к такой работе, утомленный тяжелым днем и видящий перед собой милый образ светлой маленькой квартирки, которая ожидает его в нескольких кварталах отсюда, когда работа будет кончена, — весело и уверенно заявил, что в одну минуту вытащит их оттуда. Говоря это, он нагнулся и пополз под вагон на руках и коленях.

Снова он увидел себя в ту минуту, когда, нажав кнопку своего электрического фонаря, оглянулся вокруг. Перед ним снова воскресли близнецы — косы тяжелых золотых волос, мелькнувшие, прежде чем большой палец опустил кнопку, оставив его в темноте.

— Одна-то хоть жива еще? — спросил трясущийся полицейский.

И вопрос был повторен, пока он боролся с собой, чтобы собрать достаточно силы и нажать свет. Он слышал, как ответил:

— Я скажу вам это через минуту.

Он снова вспомнил, как смотрел тогда. Он смотрел долго.

— Обе умерли, — ответил он спокойно. — Кланси, подсунь-ка рычаг № 3 и полезай сам под тот конец вагона с другим рычагом.

Он лежал на спине, глядя прямо вверх на единственную звезду, таинственно мерцавшую над головой сквозь утончающуюся ткань облаков. В горле его была старая боль, во рту и глазах знакомая резкая сухость. И он знал — чего не знал ни один человек — почему он был на Соломоновых островах шкипером тиковой яхты «Аранджи», почему преследовал негров, рискуя своей головой, и выпивал шотландского виски больше, чем полагалось любому человеку.

С той ночи он ни разу не посмотрел ласковыми глазами на женщину и был известен среди других белых, как человек вполне равнодушный к детворе и белых, и черных.

Но пережив последний ужас воспоминаний, Ван Горн вскоре снова почувствовал себя способным заснуть и, погружаясь в дремоту, все время сохранял восхитительное ощущение покоящейся на плече головы Джерри.

Раз, когда Джерри, увидав во сне берег Мэринджа с мистером Хаггином, Бидди, Терренсом и Майклом издал тихий визг, Ван Горн в достаточной степени пришел в себя, чтобы крепче прижать его к себе и угрожающе прошептать: «Пусть только какой-нибудь негр посмеет тронуть этого щенка...»

В полночь, когда штурман тронул его за плечо, Ван Горн, просыпаясь, но не совсем еще очнувшись, машинально и быстро сделал две вещи: он опустил правую руку вниз к револьверу на бедре и пробормотал:

— Пусть только какой-нибудь негр посмеет тронуть этого щенка...

— Там на траверсе будет мыс Копо, — объяснил Боркман, когда оба они, обернувшись в наветренную сторону, смотрели на высокие очертания земли. — Она сделала не больше десяти миль, и нет никакой надежды на мало-мальски устойчивую перемену.

— Там много чего скопляется наверху, если только оно собирается когда-нибудь пролиться вниз, — сказал Ван Горн, когда оба они перевели глаза на разорванные облака, проносившиеся через тусклые звезды.

Штурман едва успел принести себе снизу одеяло и устроиться на палубе, как с земли подул свежий устойчивый ветер, сразу отнесший «Аранджи» по гладкой воде на девять узлов. Джерри попытался было стоять на вахте со шкипером, но вскоре свернулся и задремал, улегшись частью на палубе, частью на голых ногах капитана.

Когда же шкипер перенес его на одеяло и плотно завернул в него, он быстро заснул снова. Однако, лишь только капитан зашагал взад и вперед по палубе, Джерри тотчас же проснулся, выскочил из одеяла и забегал вслед за ним. За этим последовал новый урок и в пять минут Джерри усвоил его. Шкипер желал, чтобы он, Джерри, оставался в одеяле: все обстоит благополучно и шкипер, шагая взад и вперед, все время будет около него.

В четыре штурман принял надзор за палубой.

— Отхватили 30 миль,— сказал ему Ван Горн,— но теперь опять неустойчиво. Следите за шквалами с берега. Спустите лучше фалы на палубу и поставьте около них вахту. Они, конечно, заснут, так пусть лучше уж спят на фалах и парусах.

Когда шкипер лег под одеяло, Джерри поднялся и снова свернулся между его рукой и боком, точно это было давно установившимся обычаем. После этого он радостно засопел, поцеловал холодным маленьким язычком шкипера, когда тот ласково прижался к нему щекой, и задремал.

Через полчаса, насколько это мог понять Джерри, наступило светопреставление. Его разбудил стремительный прыжок шкипера, от которого одеяло отлетело в одну сторону, а сам он в другую. Палуба «Аранджи» превратилась в стену, по которой Джерри скользил вниз, окруженный воющим мраком. Каждый канат и вант колотился и визжал, сопротивляясь свирепому напору шквала.

— Стой на главных фалах! — услышал он громкую команду шкипера и вслед за ним пронзительный звук грота-шкота, завизжавшего на шкивах, когда Ван Горн в темноте, обдирая себе ладони, быстро стравил парус одним поворотом утки.

В то время как все эти шумы, смешиваясь с другими звуками, визгом судовой команды и криками Боркмана, ударялись о барабанные перепонки Джерри, он продолжал скользить вниз по крутой палубе своего нового и неустойчивого мира. Однако его не отнесло к борту, о который он легко сломал бы свои хрупкие ребра. Вместо этого теплая вода океана, переливаясь через затопленный борт потоком бледно фосфоресцирующего огня, мягко устилала его путь.

И он плыл, плыл не для того, чтобы спасти жизнь и не оттого, что испытывал страх смерти. В голове его была только одна мысль: где шкипер? Это не была мысль о том, чтобы попробовать спасти шкипера или попытаться помочь ему, а просто сила любви, которая всегда влечет к любимому. Как мать при катастрофе старается добраться до своего ребенка, как грек, прощаясь с жизнью, вспоминает свой милый Аргос, как солдат на поле сражения умирает с именем возлюбленной на губах, так и Джерри при крушении мира стремился к шкиперу. Ураган стих так же внезапно, как и налетел. «Аранджи» судорожно выпря-

милась до ровного киля, оставив Джерри на мели в шпигатах правого борта. Он побежал по выровнявшейся палубе к шкиперу. Ван Горн, стоя на широко расставленных ногах и все еще не выпуская из рук петлю грота-шкота, восклицал:

— Ветер он уйти, дождь он не прийти!

Он почувствовал на своей голой ноге холодный нос Джерри, услышал его радостное фырканье и наклонился, чтобы приласкать его. В темноте он не мог разглядеть щенка, но сердце его согрелось от сознания, что хвост Джерри несомненно виляет.

Множество испуганных обратных столпилось на палубе; их жалобные, ноющие голоса напоминали сонные звуки птичьего насеста. Боркман подошел к Ван Горну, остановился около него, и оба они, созвучно настроенные напряженным ожиданием опасности, старались проникнуть взором сквозь окружающую темноту, в то же время изо всех сил напрягая слух, чтобы не упустить малейшей весточки стихий в море или воздухе.

— Где дождь? — спросил Боркман раздраженно.— Ведь обыкновенно сначала поднимается ветер, а за ним следует дождь, который убивает ветер. А дождя вот и нет.

Ван Горн продолжал смотреть и слушать, не отвечая.

Тревога обоих мужчин передалась Джерри, который и без того уже был возбужден. Он прижал свой холодный нос к ноге шкипера, и лижущие поцелуи оставили на его языке соленый вкус морской воды.

Шкипер вдруг нагнулся, решительно и быстро завернул Джерри в одеяло и сунул его в углубление между двумя мешками ямса, сброшенными на палубу за бизань-мачтой. Затем, подумав, он завязал одеяло куском каната так, что Джерри оказался точно в закрытом мешке. Не успел Ван Горн кончить это, как над головами их пронеслась контр-бизань: передние паруса, внезапно наполнившись, загрохотали, и большой грот перенесся на другую сторону и закрепился на галсе с толчком, который потряс судно и отчаянно накренил его на левый борт. Этот второй удар пришел с противоположной стороны и был еще сильнее первого.

Джерри услышал, как голос шкипера закричал, сначала обращаясь к штурману:

— Стой на фалах! Я позабочусь о галсе! — И затем к кому-то из судовой команды: — Ватто, твой травить тали контр-бизань. Ранга! Твой отдавать контр-бизань!

Но тут лавина обратных, заполнивших палубу при первом шквале, накатилась на Ван Горна, увлекая его за собой. Теснящаяся толпа, часть которой он составлял, налетела на колючую проволоку, скрытую под водой.

Джерри был так хорошо защищен в своем узле, что не двинулся с места. Но когда, перестав слышать команду шкипера, он через секунду уловил его проклятия, доносившиеся из колючей проволоки, то испустил пронзительный вопль и начал безумно царапать и рвать когтями одеяло, чтобы освободиться. Что-то случилось со шкипером. Он знал это. Это было все, что он знал, потому что мысль о самом себе не приходила ему в голову среди этого хаоса рушащегося мира.

Но он прекратил свой вой, чтобы прислушаться к новому шуму — грохочущему хлопанью парусины, сопровождаемому криками и возгласами. Он почувствовал, и почувствовал неверно, что это плохой знак, ибо не знал, что шум был вызван гротом, спустившимся на корму, когда шкипер перерезал своим ножом тали.

Так как пандемониум все увеличивался, Джерри присоединил к нему свой собственный вой, пока не почувствовал вдруг чью-то руку, ощупывающую одеяло снаружи. Он обнюхал ее снова и узнал человека. Это был Леруми, черный, которого Бидди, не далее как прошлым утром на его глазах свалила в воду; тот самый, который в еще более недавнем прошлом ткнул его в обрубок хвоста и всего неделю назад запустил в Теренса камнем.

Веревка ослабела и пальцы Леруми начали нащупывать Джерри внутри одеяла. Тот зарычал со всей злостью, на какую был способен. Это было святотатство. На нем, как на собаке белого человека, лежало табу для всех черных. Он рано усвоил правило, что ни один черный никогда не должен касаться собаки белого бога. И тем не менее Леруми, олицетворение зла, в этот момент, когда весь мир рушился вокруг них, осмеливался прикасаться к нему. И когда пальцы дотронулись до Джерри, зубы его сомкнулись вокруг них. Но в следующую минуту черный с такой силой отдернул его свободной рукой, что сомкнутые зубы, не разжимаясь, сквозь кожу и мясо сорвались с пальцев, освобождая их.

Джерри, рассвирепевший, как крошечный демон, был поднят за загривок, полузадушенный сильной рукой, и брошен в воздух; но и летя по воздуху, он все еще продолжал визжать от ярости. Он упал в море и пошел ко дну, отправив в легкие полный рот соленой воды, затем снова поднялся вверх, задыхаясь, но плавая. Плаванье было одной из вещей, о которых ему не приходилось думать. Ему незачем было учиться плавать, как незачем было учиться дышать. В сущности, ему скорее нужно было учиться ходить, но плавал он, как будто это делалось само собой.

Вокруг него завывал ветер. Летящая пена, поднимаемая его порывами, наполняла рот и ноздри Джерри и хлестала его по глазам, ослепляя и жаля. Чтобы дышать он, совершенно незнакомый со свойствами воды, высоко поднимал свою морду в воздух, стараясь вырваться из удушающей влаги. Но, барахтаясь таким образом, он вышел из горизонтального положения, движение ног перестало поддерживать его, и он погрузился перпендикулярно вниз под воду. Он выплыл снова, задыхаясь от нового прилива соленой воды в дыхательное горло. На этот раз, не рассуждая, а просто следуя по линии наименьшего сопротивления, которая являлась для него в то же время линией наибольшего удобства, он вытянулся в море и продолжал плыть так, чтобы сохранять это положение.

Сквозь темноту, по мере того как шквал утихал, до него доносилось хлопанье полуспущенного грота, резкие голоса судовой команды, проклятия Боркмана и, покрывавший все, голос шкипера, кричавший:

— Хватай шкаторину, ребята, налегай, тяни вниз сильнее, ребята!

ГЛАВА VI

Узнав голос шкипера, Джерри, барахтавшийся в жестком и морщинистом море, которое ветер вздымал вокруг него, разразился страстным и тоскливым воем, красноречиво выражавшим всю его любовь ко вновь обретенному возлюбленному. Но звуки вскоре замерли вдали, по мере того как «Аранджи» уносилась все дальше от него. Тогда, охваченный темнотой, совершенно одинокий на вздымавшейся груди моря, в котором он узнал еще одного смертельного врага, Джерри начал всхлипывать и жалобно плакать, как потерявшееся дитя.

Смутными темными путями интуиции он пришел к сознанию своей беспомощности в этом безжалостном море, где ни чье любящее сердце не могло защитить его от неизвестного, неясно, но с ужасом угадываемого — имя которому смерть. В отношении себя он не понимал смерти. Он, который ничего не знал о времени, когда он не существовал, не мог представить себе и того времени, когда перестанет существовать.

Однако она была тут, громко подавая свой предостерегающий голос через каждую клеточку его ткани, каждое трепетание его нервов и ощущение мозга. И все эти впечатления в целом предвещали величайшую жизненную катастрофу, о которой он решительно ничего не знал, но которую тем не менее ощущал, как самое грозное, заключительное бедствие. Не разбираясь, он сознавал это, однако, не менее мучительно, чем люди, которые знают и обобщают несравненно глубже и шире, чем простые четвероногие собаки.

Как бьется человек в муках кошмара, так бился и Джерри в сердитом, удушающем солью море. Он стонал и плакал, точно потерявшееся дитя, этот потерявшийся щенок, всего лишь полгода существующий на белом свете, таком резком в радости и страдании. И он желал шкипера. Шкипер был бог.

Когда неистовство ветра утихло и тропический дождь, прорвав облака, полился на палубу «Аранджи», облегченной спуском грота, Ван Горн и Боркман ощупью приблизились друг к другу в темноте.

— Двойной шквал,— сказал Ван Горн.— Налетел на нас и с правого, и с левого борта.

— Должно быть, раскололся надвое, как раз перед тем, как наскочить на нас.

— И приберег весь дождь на вторую половину...

Ван Горн с проклятием прервал самого себя:

— Эй, в чем там дело на руле? — крикнул он черному, стоявшему на штурвале.

Дело в том, что судно, шедшее под бизань-мачтой, только что выбранной втугую, опустошив свои задние паруса и дав передним наполниться по-другому галсу, начало двигаться назад, держась приблизительно того же курса, по которому оно только что прошло. И это означало, что «Аранджи» шла обратно к Джерри, барахтавшемуся в море. Таким образом весы, на которых колебалась его жизнь, склонились в его сторону, благодаря ошибке черного рулевого.

Держа «Аранджи» на новом галсе, Ван Горн поставил Боркмана убирать беспорядочно разбросанные на палубе канаты, а сам, присев под дождем, начал сплеснивать тали, которые он перерезал. Когда дождь сделался мельче и стук его по палубе ослабел, внимание Ван Горна привлек звук, доносившийся издали с воды. Он остановил работу, чтобы прислушаться и, узнав плач Джерри, вскочил на ноги, словно наэлектризованный.

— Щенок за бортом, — крикнул он Боркману, — кливер назад к ветру!

Он побежал к корме, расталкивая вправо и влево кучку обратных.

— Эй, команда! Брать бизань-парус, спускать вниз, молодцы!

Он бросил взгляд на нахтоуз и поспешно наметил границы пространства, из которого доносились звуки, издаваемые Джерри.

— Руль на низ,— приказал он рулевому, затем прыгнул к рулю и сам повернул его вниз, то и дело повторяя вслух: — Северо-восток на четверть к востоку. Северо-восток на четверть к востоку. Северо-восток на четверть к востоку.

Он снова заглянул в нахтоуз, тщетно прислушиваясь к новому крику Джерри, в надежде проверить свои первые поспешные соображения. Но он не стал долго ждать. Хотя «Аранджи», благодаря его маневру, и легла в дрейф, ветер и течение, как он знал, должны были быстро отнести ее от плавающего щенка. Он приказал Боркману пойти на корму и притянуть шлюпку, а сам бросился вниз за своим электрическим фонарем и шлюпочным компасом. «Аранджи» была так мала, что должна была буксировать свой единственный вельбот за кормой на длинных двойных фалинах. В ту минуту, когда штурман подтянул его под корму, Ван Горн был уже снова на палубе. Колючая проволока не остановила его. Одного за другим поднимал он своих черных матросов и перебрасывал их в шлюпку, и сам перепрыгнул туда последним, раскачавшись на гике, и отдавая последние наставления, пока сбрасывали фалины.

— Зажгите на палубе якорный огонь, Боркман! Держите ее в дрейфе. Не поднимайте грот. Уберите палубы и привяжите хват-тали.

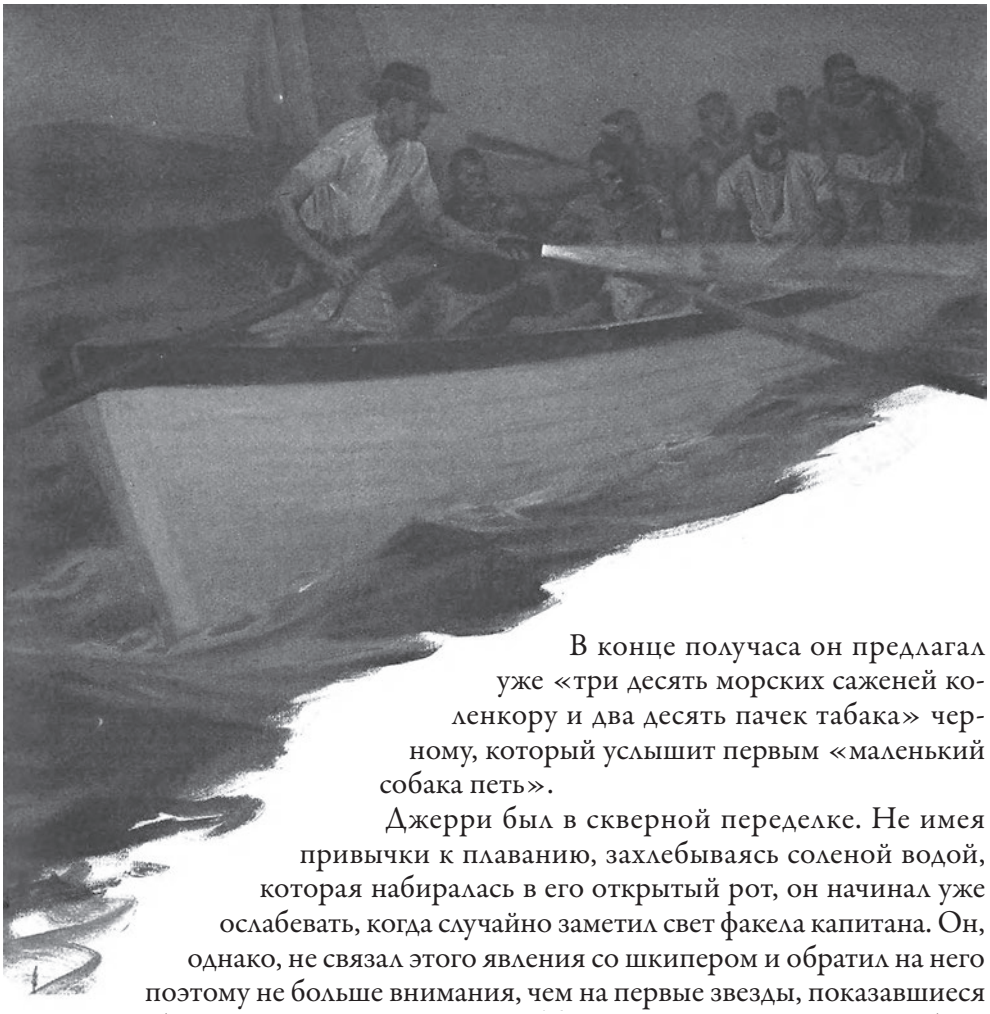
Он взялся за рулевое весло, то и дело подбодряя гребцов:

— Греби веселее, греби веселее!

Управляя рулем, он все время держал над компасом зажженный фонарь, чтобы не уклониться от северо-востока на четверть к востоку, но тут, вспомнив, что шлюпочный компас при таком курсе отклонился на целых два румба от компаса «Аранджи», соответственно изменил направление.

По временам он приказывал гребцам остановиться, чтобы прислушаться и позвать Джерри. Он заставлял их грести кругами, взад и вперед, против ветра и по ветру, на том участке темного моря, где по его соображениям должен был находиться щенок.

— Теперь твой слушать твоя уши, — обратился он к ближайшему. — Если твой слушать маленький собака петь, мой давать твой два десять морских саженей коленкор и десять пачки табак.



В конце получаса он предлагал уже «три десять морских саженей коленкору и два десять пачек табака» черному, который услышит первым «маленький собака петь».

Джерри был в скверной переделке. Не имея привычки к плаванию, захлебываясь соленой водой, которая набиралась в его открытый рот, он начинал уже ослабевать, когда случайно заметил свет факела капитана. Он, однако, не связал этого явления со шкипером и обратил на него поэтому не больше внимания, чем на первые звезды, показавшиеся в небе. Ему и в голову не приходила мысль о том, что это может быть звезда, а может быть и не звезда. Он продолжал всхлипывать, все больше захлебываясь соленой водой. Но услышав, наконец, голос шкипера, Джерри немедленно пришел в неистовство. Он попытался было встать и опереться своими передними лапами на голос шкипера, выходящий из темноты, как оперся бы на ноги шкипера, если бы был рядом. Результат получился плачевный. Выйдя из горизонтального положения, он погрузился вниз под воду и выплыл опять, едва не задохнувшись от нового спазма. Так продолжалось некоторое время, в течение которого удушье мешало ему отвечать на голос шкипера, не переставший долетать до него. Но когда Джерри оказался наконец в силах ответить, он разразился радостным воем. Шкипер пришел, чтобы спасти его из жалящего, кусающегося моря, которое слепило ему глаза и мешало дышать. Шкипер был истинным богом, его богом, наделенным божественной способностью спасать.

Тут Джерри, ослепленный светом факела, бившим ему в глаза, увидел, как вельбот с волшебной неожиданностью вынырнул из мрака рядом с ним.

Вскоре он услышал ритмическое щелканье весел в уключинах, и радость его собственного визга удвоилась от радости, звучавшей в голосе шкипера, который беспрестанно одобрял его, торопя в то же время гребцов.

— Все в порядке, Джерри, старина, все в порядке, Джерри, все хорошо! Веселей, веселей, ребята! Идем, Джерри, идем! Держись, старина, не сдавайся! Живей, живей, черт возьми. Вот и мы, Джерри, вот и мы! Подтянись, старина! Мы вытащим тебя. Легче... легче... стой.

Тут Джерри, ослепленный светом факела, бившим ему в глаза, увидел, как вельбот с волшебной неожиданностью смутно вынырнул из мрака рядом с ним. В ту же минуту, взвыв от радости, он почувствовал и узнал руку шкипера, которая схватила его за загривок и подняла в воздух.

Еще миг — и Джерри, мокрый и струящийся, прижимался к промокшей от дождя груди шкипера, бешено колотил обрубком хвоста о поддерживающую руку шкипера, извивался всем телом и как безумный облизывал языком всю кожу, рот, щеки и нос шкипера. И шкипер не чувствовал, что сам он промок насквозь и что у него первый приступ возвратной малярии, ускоренный сыростью и волнением. Он чувствовал только, что щенок, лишь прошлым утром подаренный ему, был снова в безопасности на его руках.

В то время как команда сгибалась над веслами он правил рулевым веслом, зажав его между рукой и боком, чтобы иметь возможность держать другой рукой Джерри.

— Ах ты, постреленок, — ласково бормотал он, повторяя снова и снова: —Ах ты, постреленок!

И Джерри отвечал поцелуями языком, всхлипыванием и плачем, как делают это потерявшиеся дети, которых только что нашли. При этом он неистово

дрожал. Но не от холода. Причиной этому были скорее его чересчур натянутые чувствительные нервы.

Очутившись снова на борту, Ван Горн высказал штурману свои соображения.

— Щенок не сам перемахнул через борт. Смыть его тоже не могло: я завернул его в одеяло и крепко завязал веревкой.

Он вошел в середину столпившейся судовой команды и трех десятков обратных, которые все теснились на палубе, и осветил своим факелом одеяло, все еще лежавшее на ямсе.

— Вот доказательство, веревка перерезана, узел все еще на ней. Ну, кто же из черных виноват?

Он оглянулся на круг темных лиц, освещая их своим фонарем; обвинение и ярость так ярко отражались в его глазах, что все другие глаза опустились перед ними или забегали в стороны.

— Если бы только щенок мог говорить, — посетовал он. — Он сказал бы, кто это сделал.

Он вдруг нагнулся к Джерри, который стоял у его ног так близко, как только мог, так близко, что его передние лапы опирались на голые ноги шкипера.

Джерри весь ожил в одно мгновение, прыгая и лая отрывистым, нетерпеливым голосом.

— Я думаю, что собака сможет указать мне его, — поделился Ван Горн со штурманом. — Ну-ка, Джерри, найди его, отыщи его, возьми! Где он, Джерри? Найди его, найди!

Джерри понимал только одно — что шкипер чего-то хочет. Он должен найти то, что нужно шкиперу, и он горел от нетерпения послужить ему. Некоторое время Джерри, полный готовности, бесцельно прыгал вокруг, в то время как поощрительные окрики шкипера увеличивали его волнение.

Наконец, его поразила одна мысль, и мысль очень определенная. Круг черных расступился, чтобы пропустить его, когда он устремился вперед вдоль правого борта, к крепко связанной груде товарных ящиков. Он сунул свой нос в отверстие, где ютилась дикая собака, и втянул воздух. Да, дикая собака была там. Изнутри тоже доносилось угрожающее рычание.

Он вопросительно посмотрел вверх на шкипера. Не хотел ли шкипер, чтобы он выследил дикую собаку? Но шкипер рассмеялся и помахал рукой, показывая, что он должен искать в другом месте и что-то другое.

Джерри ринулся дальше, обнюхивая другие подобные же места, где, как он знал по опыту, могли находиться тараканы и крысы. Однако, ему скоро стало ясно, что шкипер ищет не этого. Его сердце горело от желания послужить хозяину, и он без всякой определенной цели начал обнюхивать ноги черных.

Это вызвало более оживленные возгласы и понукания со стороны шкипера, которые довели Джерри почти до бешенства. Вот оно! Он должен опознать обратных и команду по ногам. Он поспешно выполнял задачу, быстро переходя от одного парня к другому, пока не дошел до Леруми.

Тут он забыл, что шкипер чего-то ждет от него. Он помнил одно: что это Леруми нарушил табу его священной особы, наложил на него руки и что это Леруми выбросил его за борт.

С криком ярости, сверкая белыми зубами, ощетинившись, он бросился на черного; Леруми помчался по палубе, и Джерри пустился за ним под смех всех черных. Несколько раз, обегая кругом палубу, он ухитрялся царапать икры Леруми зубами. Но тот взобрался на главный такелаж, оставив Джерри внизу на палубе в бессильной ярости. Черные на почтительном расстоянии столпились полукругом у этого места, а Ван Горн выступил вперед и стал рядом с Джерри. Он направил свой электрический фонарь на Леруми, цеплявшегося за такелаж, и увидел длинные параллельные ссадины на пальцах руки, которая проникла в одеяло Джерри. Он многозначительно указал на них Боркману, стоявшему за кругом так, чтобы ни один черный не мог зайти капитану за спину.

Шкипер поднял Джерри и успокаивал его, приговаривая:

— Славный парнишка, Джерри, ты отметил и припечатал его! Ты, славная, мужественная собака!

Он снова повернулся к Леруми, освещая его беспомощную позу на такелаже, и голос капитана звучал резко и холодно, когда он обратился к черному.

— Как звать? — спросил он.

— Мой Леруми, — раздался чирикающий, дрожащий ответ.

— Твой приходил из Пенндиффрин?

— Мой приходил из Мэриндж.

Капитан Ван Горн с минуту рассуждал, лаская щенка в руках. В конце концов это был обратный. Через день, самое большее через два, он высадит его и избавится от него окончательно.

— Верно говорю, — обратился он к нему. — Мой много, много сердит. Мой сердит на твой больше нельзя. Зачем твой пускал маленький собачка гулял по вода?

Леруми был не в силах ответить. Он беспомощно ворочал глазами и готовился к порке, которую, как он давно знал по горькому опыту, так охотно задавали белые господа.

Капитан Ван Горн повторил вопрос, и черный в ответ повторил беспомощное вращение глаз.

— За два пачка табак мой выколотит семь склянок с твой шкура, — бушевал шкипер. — Теперь мой говорил крепкий разговор. Если твой смотреть один глаз на мой собака, мой колотил на твой шкура семь склянок и целый первый вахта. Понимала?

— Мой понимал, — жалобно ответил Леруми, и инцидент был исчерпан.

Отпускные спустились вниз спать в каюту. Боркман и судовая команда подняли грот и направили «Аранджи» по курсу. А шкипер под сухим одеялом, принесенным снизу, улегся спать вместе с Джерри, который положил голову на его плечо в углубление руки.

ГЛАВА VII

В семь часов утра, лишь только шкипер, проснувшись, вытащил из-под него одеяло, Джерри отпраздновал новый день, загнав дикую собаку обратно в ее нору; чернокожие захихикали, когда он, ворча и скаля зубы, заставил Леруми отскочить на несколько шагов и уступить ему палубу.

Он разделил завтрак со шкипером, который, вместо того чтобы есть, проглотил с чашкой кофе пятьдесят граммов хинина, завернутых в папиросную бумагу; при этом он пожаловался штурману, что ему придется закутаться в одеяло и выгнать испариной приступ лихорадки. Несмотря на озноб, несмотря на дробь, которую начинали уже выбивать его зубы, в то время как жгучее солнце извлекало из досок палубы дымчатые спирали испарений, Ван Горн сжал Джерри в своих объятиях, величая его маленьким князем, принцем, королем и королевским сыном. Ван Горн часто выслушивал от Тома Хаггина рассказы о родословной Джерри, сидя за стаканом виски с содой, когда невыносимая жара мешала им лечь в постель. Эта родословная доказывала, что в жилах Джерри столько королевской крови, сколько ее может только быть в жилах ирландского терьера, порода которого, начиная с древних ирландских волкодавов, была создана и установлена человеком не меньше чем за два поколения людей.

В числе его предков был Терренс Великолепный, происходивший, как помнилось Ван Горну, от Мильтона Дролин, американской породы, потомка царицы графства Антрим Бреды Мэддлер; род этой царственной суки, как известно каждому, знакомому с родословными книгами, восходит чуть ли не до легендарного Спудса, без всяких легкомысленных отклонений в сторону черных с рыжими подпалинами килленейских псов или неродовитых валлийцев. И разве Бидди не происходила от Эрин, родоначальницы и славы породы, через посредство целого ряда предков, ведущих начало от Бреды Миксер, в свою очередь прабабки Бреды Мэддлер? Нельзя было также вычеркнуть из королевской родословной и более близкую прабабку Мойю Дулен.

Итак, Джерри в объятиях своего божества познал счастье любить и быть любимым; как ни мало понимал он значение слов «королевский сын» и «потомок королей», они тем не менее в представлении его так же несомненно означали любовь к нему, как шипящие звуки Леруми означали ненависть. Одно лишь Джерри знал (сам не сознавая этого), а именно, что за несколько часов, проведенных им со шкипером, он успел полюбить его больше, чем любил Дерби и Боба, единственных известных ему белых богов, кроме мистера Хаггина. Он не сознавал этого. Он любил и поступал просто по побуждению сердца, головы, или какой-то иной органической или анатомической части своего существа, рождавшей в нем этот таинственный, восхитительный, неутолимый голод, называемый «любовью».

Шкипер отправился вниз. Он шел, не обращая внимания на Джерри, который мягко трусил за ним по пятам, пока они не достигли лестницы, ведшей

в каюту. Шкипер не обращал на Джерри внимания из-за лихорадки, от которой содрогались его мышцы, леденели кости и голова, казалось, распухала до чудовищных размеров; лихорадка заволакивала внешний мир перед его блуждающим взором и заставляла его двигаться медленно и нетвердо, точно глубокого старика или пьяного. И Джерри чуял, что со шкипером что-то неладно.

Спускаясь по крутой лестнице шкипер испытал первые приступы бреда, чередовавшиеся с минутами просветления, во время которых он сознавал, что должен сойти вниз и лечь под одеяло. Джерри, всем существом стремясь за ним, сдерживался, однако и в полном молчании следил за медленными движениями шкипера в надежде, что тот, спустившись, поднимет руки и перенесет его вниз. Но шкипер был уже в таком состоянии, что забыл о самом существовании Джерри. Он брел, спотыкаясь и широко раскинув руки, чтоб не упасть, по направлению к койке в маленькой офицерской каюте.

В Джерри действительно текла королевская кровь. Ему хотелось подать голос и попросить, чтоб его взяли вниз. Но он не делал этого. Он сдерживался, сам не понимая зачем и лишь смутно сознавая, что шкипера надо почитать, как бога, и что теперь не время надоедать ему. Его сердце разрывалось от тоски, но он не издавал ни звука, продолжая томиться над порогом лестницы, прислушиваясь к удаляющимся шагам шкипера. Но даже для королей и их потомков существует предел, и Джерри через четверть часа почувствовал потребность нарушить свое молчание. С той минуты, как шкипер, по-видимому очень взволнованный, спустился вниз, дневной свет померк для Джерри. Он мог бы погнаться за дикой собакой, но не чувствовал никакой охоты сделать это. Леруми прошел мимо, не обратив на себя его внимания, хотя Джерри знал, что ему ничего не стоит запугать черного и заставить его ретироваться. Тысячи запахов с берега раздражали его чуткие ноздри, но он не замечал их. Даже полощущий, ослабленный грот над покачивающейся в штиле «Аранджи» не удостоился его насмешливого внимания. Но в ту минуту, когда Джерри почувствовал наконец настоятельную необходимость сесть на задние лапы, поднять морду кверху и выразить звуками свою душераздирающую печаль, ему пришла в голову одна мысль. Невозможно объяснить, откуда явилась эта мысль. Это так же трудно объяснить, как то, почему человек сегодня за завтраком выбирает зеленый горошек и отвергает стручковые бобы, когда только вчера он предпочитал стручковые бобы и презирал зеленый горошек. Не легче объяснить и то, почему судья-человек приговаривает преступника к восьми годам тюрьмы, вместо пяти или девяти лет, одновременно промелькнувших в его мозгу, и почему он категорически решает, что именно восемь лет явятся справедливым и достойным наказанием. Но раз даже люди, почти полубоги, не в силах разгадать тайну возникновения мыслей и велений выбора, появляющихся в их сознании в форме мыслей, то как же ожидать от простой собаки, чтоб она понимала причину зарождения мыслей, побуждающих ее к определенным поступкам для достижения определенных целей?

Так же обстояло дело с Джерри. Только что собравшись завыть, он понял, что там, в самом сокровенном средоточии его живой сообразительности, есть мысль, совершенно другая мысль, со всей присущей ей категоричностью. Он подчинился этой мысли, как марионетка веревкам, и помчался по палубе в поисках штурмана.

Он должен обратиться с просьбой к Боркману. Боркман был также двуногим белым божеством. Боркману ничего не стоило снять его с крутой лестницы, что без посторонней помощи являлось для Джерри табу, нарушение которого грозило бедствиями. Но в душе Боркмана не хватало настоящей любви, чтобы понять его. К тому же он был занят. Наблюдая за постоянным приноравливанием «Аранджи» к ее морскому пути, следя за переменой парусов, отдавая приказания рулевому и надзирая за командой, занятой мытьем палубы и чисткой котлов, он в то же время не переставал прикладываться к украденной у капитана бутылке виски, запрятанной им между двумя мешками ямса позади бизань-мачты.

Боркман как раз направлялся туда для нового глотка, пообещав черному у штурвала выколотить из него семь склянок и 10 заповедей за плохое управление, когда перед ним появился Джерри и преградил ему путь к предмету его вожделения. Правда, Джерри блокировал Боркмана не так, как если бы это был, например, Леруми. Он не оскалил при этом зубов и не ощетинился. Напротив, Джерри являл собой в эту минуту воплощенное миролюбие и призыв, всю нежность мольбы существа, хотя и лишенного речи, но полного выразительности, начиная с помахивающего хвоста и виляющих боков, до опущенных ушей и глаз, которые, казалось, говорили внятным языком всякому человеку, способному понять.

Но Боркман увидел на своем пути только четвероногое существо, скотину, которую он, по свойственной ему заносчивой грубости, считал более грубым животным, чем был сам. Вся прелесть, которой веяло от этого ласкового щенка, инстинктивно ищущего сочувствия, дышащего нежной мольбой, пропала для него. Он видел перед собой всего лишь четвероногое животное, которое ему надлежало отшвырнуть в сторону со своего царственного двуногого пути к бутылке; она одна была способна пробудить фантазию в его мозгу, усыпить его мечтами о том, что он принц, а не мужик, повелитель судеб, а не раб их.

И Джерри был отброшен в сторону пинком грубой голой ноги, такой же жестокой и беспощадной в борьбе, как бешеный морской прибой, ударяющийся о береговой выступ бесчувственной скалы. Джерри едва не растянулся на скользкой палубе, и, найдя вновь равновесие, остановился неподвижно, глядя на белого бога, так бесцеремонно обошедшегося с ним.

Низость и несправедливость этого поступка не заставила Джерри ответить угрожающим рычанием, которым он наградил бы Леруми или любого из черных. В его мозгу не мелькало мысли о мести. Ведь это был не Леруми, а высшее божество, двуногое, с белой кожей, как шкипер, мистер Хаггин и еще пара известных ему верховных божеств. Он только почувствовал боль, такую же,

какую испытывает ребенок от удара беспечной или нелюбящей матери. К боли присоединилась обида. Он остро чувствовал, что грубость бывает двух родов: существует добродушная грубость любви, как в тот раз, когда шкипер хватал его за загривок, тряс до того, что у него начинали стучать зубы и отбрасывал в сторону, явно приглашая вернуться за новой встряской. Такая грубость была райским блаженством для Джерри. Это была интимная шутка со стороны любимого божества, которое избирало такой способ для выражения взаимной любви.

Но грубость Боркмана была совсем другого рода. Это был тот другой вид грубости, в котором нет и намека на теплую привязанность и сердечную любовь. Джерри не совсем ясно понимал это, но он чуял разницу и возмущался жестокостью и несправедливостью такого отношения, не проявляя, однако, своего возмущения действием. Найдя равновесие, он остановился и, тщетно стараясь понять в чем дело, стал серьезно наблюдать за тем, как штурман опрокинул бутылку горлышком себе в рот, а донышком к небесам, производя при этом горлом глотательные движения и звуки. И он так же серьезно продолжал наблюдать за штурманом, когда тот, вернувшись на корму, снова пригрозил черному рулевому выколотить из него «Песнь Песней» и весь остальной Ветхий Завет. Чернокожий в ответ так же смиренно, кротко и стыдливо скалил зубы, как делал это Джерри, обращаясь с мольбой к штурману.

Покинув этого нелюбимого и непонятного бога, Джерри грустно пошел обратно к лестнице и вытянул над рубкой голову по тому направлению, куда скрылся шкипер. Его душу сверлило и мучило желание быть подле шкипера, с которым творилось что-то неладное, приключилась какая-то беда. Он стремился. Он желал шкипера. Он желал быть около него прежде всего и острее всего потому, что любил его, а затем, и уже более смутно, потому что мог оказаться полезным ему. И, стремясь к шкиперу, он, при своей беспомощности и недостаточном знании мира, начал выть и плакать, изливая свое сердце над рубкой люка. Горе его было так искренно и глубоко, что даже черные, хихикавшие на палубе и внизу, издеваясь над ним, не в силах были отвлечь его и вызвать вспышку гнева.

От края рубки до пола каюты было семь футов. Всего несколько часов назад он взобрался по крутой лестнице, но спуститься по ней,— и он это знал,— было для него невозможно. И все же в конце концов он решился на это. Но его сердечное влечение во что бы то ни стало пробраться к шкиперу было так настойчиво; и он в то же время так ясно сознавал невозможность спуститься с лестницы головой вперед, без напряжения мускулов ног, помогавших ему при подъеме, что даже не попытался испробовать это. Он бросился вперед и вниз одним великолепным и любовно-героическим прыжком. Он понимал, что нарушает этим одно из табу жизни так же, как он нарушил бы его, прыгнув в лагуну Мэринджа, где плавали чудовищные крокодилы. Великая любовь всегда способна проявиться в подвиге и самопожертвовании. И только из любви, а не по какой-либо менее важной причине, мог решиться Джерри на этот прыжок.

Он ударился боком и головой. От первого удара у него захватило дыхание; второй оглушил его. Но даже в бессознательном состоянии, лежа на боку и вздрагивая, он продолжал делать быстрые, судорожные движения, будто бежал дальше к шкиперу.

Черные смотрели на него и смеялись, и когда ноги его перестали вздрагивать и биться, они продолжали смеяться. Они родились дикарями, прожили дикарями всю жизнь, не зная ничего другого, и чувство юмора в них, вполне понятно, соответствовало общему развитию. Для них вид оглушенного и, может быть, мертвого щенка, представлял собой необычайно забавное и смехотворное зрелище.

И все же в конце концов он решился на это.

Прошло не меньше четырех минут, прежде чем Джерри, придя в сознание, смог подняться на ноги, и с блуждающим взором, широко расставив лапы, приспособиться к движению «Аранджи». Но с первым проблеском сознания к нему с прежним упорством вернулась мысль, что он должен добраться до шкипера.

Черные? В этом состоянии тревоги, заботы и любви они утратили для него всякое значение. Он попросту игнорировал хихикавших, ухмылявшихся, издевавшихся черных парней, которые, не будь Джерри под покровительством большого белого господина, с наслаждением убили и съели бы щенка, проявлявшего, в процессе выучки, такие способности по части преследования черных. Не поворачивая головы и глаз, с высокомерием аристократа, подчеркивая, что они не существуют для него, Джерри затрусил дальше и вошел в офицерскую каюту, где, лежа на своей койке, безумно бредил шкипер.

Джерри, никогда не хворавший малярией, не понимал, в чем дело. Но сердцем он чуял, что шкиперу плохо. Шкипер не узнал его, не узнал даже тогда, когда Джерри, вскочив на койку, прошелся по вздымавшейся груди шкипера

и слизал с его лица едкий лихорадочный пот. Напротив, размахивавшие руки шкипера оттолкнули его и швырнули о бок койки.

Эта грубость не была любовной грубостью, но она не была и грубостью Боркмана, отбросившего его пинком ноги. Эта грубость была частью беды, приключившейся со шкипером. Джерри не дошел до этого вывода путем рассуждения. Но поступил на основании его так, как будто он явился следствием рассуждения. В сущности, из-за неточности одного из самых точных языков в мире, приходится сказать только, что Джерри почуял в этой грубости новый оттенок.

Он уселся в стороне от одной из беспокойных, размахивающих рук, испытывая мучительное желание приблизиться и еще раз лизнуть лицо божества, хотя и не узнававшего, но все же — он знал это — нежно любившего его; при этом он весь трепетал от сочувствия, переживая вместе со шкипером все его муки.

— Эй! Кланси! — бормотал шкипер. — Славно поработали сегодня. Нет лучше артели, чтобы исправлять грехи вожатых... Третий номер рычага, Кланси. Полезай под передний конец!

И дальше по мере того, как призраки кошмара менялись:

— Тише, милочка, перестань так говорить с папой и учить его, как причесывать твои прелестные золотые волосы. Точно я не знаю, как это делается, после того как расчесываю их вот уже семь лет—лучше твоей матери, дорогая, лучше твоей матери. Я заслужил золотую медаль за расчесывание прелестных волос своей прелестной дочки...

— ...Она прорвалась! Положи на руль! Кливер-фалы и марсель-фалы! Держи полнее! Славное наполнение... О, она одолевает, моя сказочная морская красавица... Я только перебью тебя — право, в последний раз. Блэки, если ты намерен, чтобы увидеть мои карты, заплатить столько же, сколько и я, чтобы увидеть твои, поверь мне, что ты увидишь кое-что стоящее...

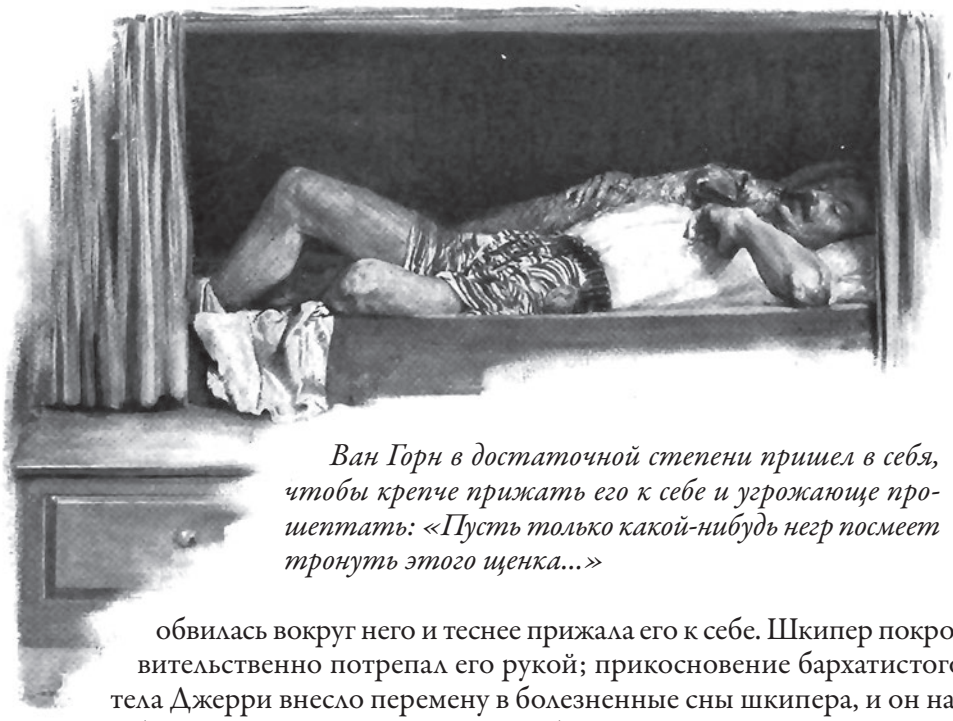
Итак, путаница бессвязных воспоминаний продолжала срываться с уст шкипера, тело которого приподнималось, а руки били по воздуху. А Джерри в это время, присев у края койки, без конца оплакивал свое горе и бессилие помочь. Все происходившее выходило за пределы его понимания. Он знал об игре в покер не больше, чем о мореплавании, или о помощи при трамвайных катастрофах в Нью-Йорке, или о расчесывании длинных белокурых волос любимой дочки в Гарлемском домике.

— Обе умерли, — сказал шкипер, когда бред принял другое направление.

Он объявил это спокойно, словно сообщал, который час, но потом застонал:

— О! Эти милые, милые косы золотых волос!

Он некоторое время лежал неподвижно, изливая в рыданиях всю боль разбитого сердца. Теперь настало время для Джерри. Он подполз под взметнувшуюся руку, прижался к боку шкипера, положил голову к нему на плечо, дотрагиваясь холодным носом до его щеки, и почувствовал, как рука шкипера



Ван Горн в достаточной степени пришел в себя, чтобы крепче прижать его к себе и угрожающе прошептать: «Пусть только какой-нибудь негр посмеет тронуть этого щенка...»

обвилась вокруг него и теснее прижала его к себе. Шкипер покровительственно потрепал его рукой; прикосновение бархатистого тела Джерри внесло перемену в болезненные сны шкипера, и он начал бормотать с холодной, едкой злобой:

— Пусть только какой-нибудь черный попробует тронуть этого щенка...

ГЛАВА VIII

Через полчаса у Ван Горна появилась обильная испарина, что означало перелом в приступе малярии. Он почувствовал сильное физическое облегчение и остатки бредового тумана испарились из его мозга. Но припадок оставил после себя легкую слабость, и шкипер, сбросив одеяло и узнав Джерри, погрузился в здоровый, освежающий сон.

Он проснулся только через два часа и поднялся, чтоб пойти на палубу. Поднявшись до середины лестницы, он высадил Джерри на палубу, а сам вернулся в офицерскую каюту за забытой бутылкой хинной настойки. Но он не скоро вернулся к Джерри. Длинный ящик под койкой Боркмана привлек его внимание. Деревянная задвижка, которая удерживала его закрытым, отлетела, и ящик, высунувшись далеко наружу, висел на углу, прижавшем его и мешавшем ему упасть на пол. Дело было серьезное. Шкипер не сомневался в том, что, если бы ящик, во время вчерашнего шквала, упал на пол, от «Аранджи» не осталось бы следа, а из ее экипажа — ни одной души. Дело в том, что ящик был наполнен разнокалиберной смесью динамитных снарядов, коробок с взрывчатыми капсюлями, пачками гранатных трубок, свинцовыми гирями, желез-

ными инструментами, множеством коробок с патронами для винтовок, револьверов и пистолетов. Он рассортировал, привел в порядок разнообразное содержимое ящика и, с помощью отвертки и более длинного винта, прикрепил задвижку на место.

В это время Джерри на палубе наткнулся на новое и не совсем приятное приключение. Поджидая шкипера, он случайно увидел дикую собаку, нагло расположившуюся на палубе, в двенадцати шагах от своей норы в товарных ящиках; Джерри, согнувшись, подкрался к ней. Успех казался обеспеченным, так как дикая собака, лежа с закрытыми глазами, по-видимому, спала.

В эту минуту штурман, проходивший по палубе по направлению к бутылке, показался между мешками ямса и заметно осипшим голосом крикнул: — «Джерри!» — Джерри в ответ опустил свои уши, напоминавшие по форме лесной орех, и помахал хвостом, но выказал намерение продолжать атаку на врага. При звуке голоса штурмана дикая собака метнула взгляд быстро открывшихся глаз в сторону Джерри и кинулась в свою нору. Там она немедленно обернулась и высунула голову, оскалив зубы с торжествующим и вызывающим рычанием.

Лишившись из-за неосмотрительности штурмана победы, Джерри побежал обратно к рубке лестницы, чтоб подождать там шкипера. Но штурман, голова которого вследствие многократных возлияний виски была уже затуманена, уцепился за ничтожную мысль, как это часто бывает с пьяным. Он дважды повелительно позвал к себе Джерри, и Джерри со смиренным видом, опустив уши и виляя хвостом, дважды добродушно выразил свое нежелание подойти. Затем он вытянул голову над рубкой по направлению к каюте, высматривая шкипера. Боркман вспомнил свою первую мысль и снова обратился к бутылке, многократно переворачивая ее донышком к небесам.

Но вторая мысль при всей своей незначительности прочно засела в нем. Он несколько раз покачнулся, бормоча себе что-то под нос, сделал попытку разглядеть невидящими глазами направление резкого свежего ветра, наполнявшего паруса «Аранджи» и кренившего ее палубу, и затем, нелепо попробовав придать на страх рулевому орлиную зоркость своему затуманенному взору, прокрался на середину корабля, подбираясь к Джерри.

Первым указанием на его близость был жестокий и мучительный щипок в бок и ребро, который заставил Джерри завизжать и закружиться от боли. После этого штурман, видевший не раз, как шкипер играл с Джерри, схватил щенка за загривок и тряхнул его так, что у того застучали зубы; это было совсем непохоже на грубую, но любовную встряску шкипера. Голова и тело Джерри тряслись, зубы мучительно стучали и с грубейшей из грубостей он был отброшен по скользкой покатой палубе.

Джерри был джентльменом. Он следовал всем правилам вежливости по отношению к равным и высшим. В конце концов даже по отношению к низшим, вроде дикой собаки, он никогда сознательно не стремился использовать свои преимущества и никогда не заходил чересчур далеко. Нападая на дикую

собаку, он всегда оставался честным и пылким бойцом, а не заносчивым хвастуном. Но с высшим, двуногим белым богом, как Боркман, от него требовалось еще больше самообладания, выдержки и обуздания первобытных инстинктов. Джерри не хотелось играть с ним в игру, которой он восторженно предавался со шкипером, ибо штурман, хоть он и был двуногим белым богом, не вызывал в нем столь сильной симпатии.

Но все же Джерри был воплощенной кротостью. Он вернулся обратно, слабо подражая тому горячему порыву, с которым кидался к шкиперу. Он, по правде говоря, играл роль, стараясь делать то, к чему не чувствовал сердечного влечения. Он делал вид, что играет, и издавал притворное ворчание, которому не хватало правдоподобия симуляции. Он добродушно и дружески помахивал хвостом, свирепо и дружески ворчал. Но штурман с прозорливостью пьяного заметил разницу и смутно почуял актерство, обман. Джерри обманывал из деликатности. Боркман спьяна почуял обман, но не понял доброго намерения. В ту же минуту он превратился во врага. Забыв, что сам он всего лишь животное, штурман решил, что перед ним просто-напросто четвероногое, с которым он пытается играть так же по-товарищески, как и шкипер.

Кровавая стычка была неизбежна, но зачинщиком ее должен был стать не Джерри, а Боркман. Боркман испытывал непреодолимое побуждение зверя — взять по-звериному верх над этим четвероногим зверем. Джерри почувствовал, что его загривок и челюсть сжимаются еще грубее и резче; затем с еще большей грубостью и резкостью его отшвырнут в противоположный конец палубы, которую усилившиеся порывы ветра превратили в крутой и скользкий холм.

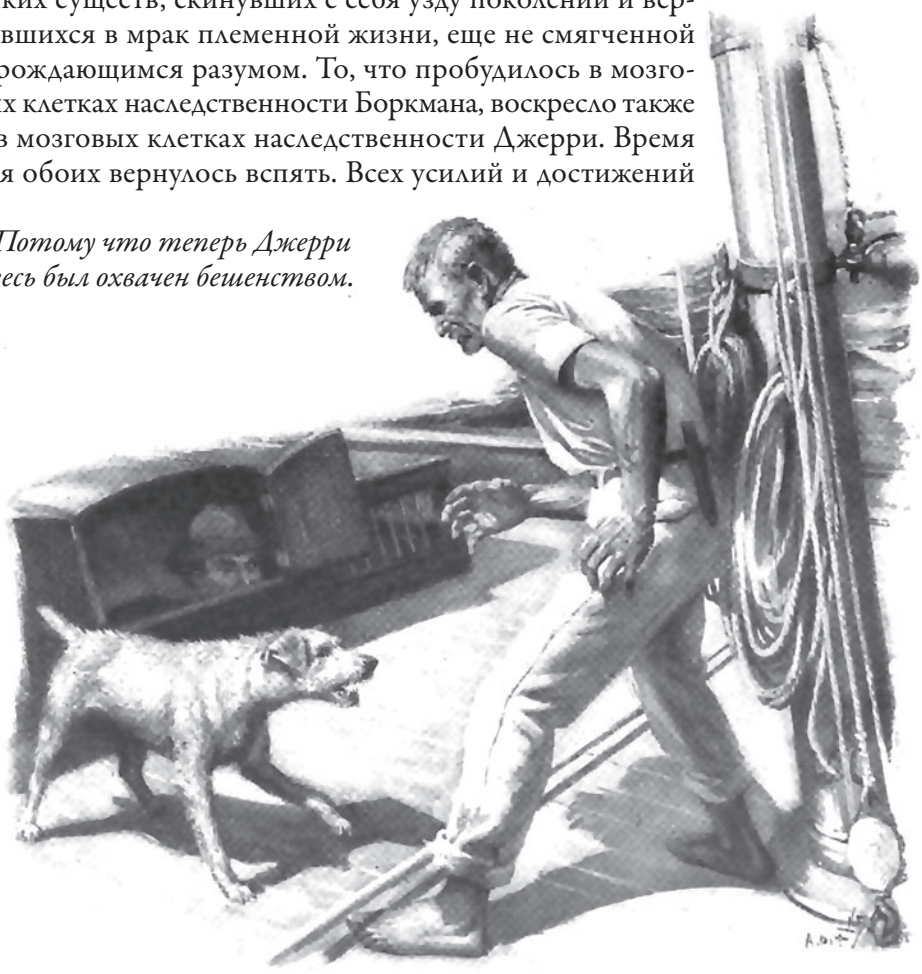
Отчаянно цепляясь, он поднялся по наклонной плоскости, которая не давала опоры его ногам. Но на этот раз он вернулся уже не ради жалкой попытки изобразить свирепость, а побуждаемый первыми вспышками настоящей ярости. Он этого не сознавал. Если он вообще думал в этот момент, ему должно было казаться, будто он играет так же, как играл со шкипером. Короче, он начинал находить интерес в игре, но диаметрально противоположный тому, который испытывал, играя с Ван Горном.

На этот раз его зубы быстрее и с большей злобой оскалились на руку, сжимавшую его загривок; но ему не удалось схватить ее, и штурман отбросил его по гладкому спуску еще сильнее и дальше, чем прежде. Карабкаясь обратно, он начал приходить в ярость, но все еще не сознавал этого. Однако штурман, будучи все же человеком, хотя и пьяным, почувствовал разницу в атаках Джерри, прежде чем самому Джерри пришло вообще в голову, что что-то изменилось. И это не только бросилось Боркману в глаза, но послужило стимулом к его возвращению в первобытное звериное состояние; он стал бороться, чтоб покорить щенка, как боролся, должно быть, первобытный человек, по иным побуждениям, с членами первого выводка, похищенного из волчьей норы среди скал.

Родословная Джерри восходила также далеко. Его древние предки были ирландскими овчарками, и задолго до этого прародители овчарок были вол-

ками. Характер рычания Джерри изменился. Незабытое и неизгладимое прошлое звенело в связках его горла. Его зубы блеснули с яростным остервенением, стремясь как можно глубже вонзиться в руку человека, чтоб удовлетворить свое бешенство. Потому что теперь Джерри весь был охвачен бешенством. Он также быстро вернулся к темной мощной грубости первобытного мира, как и Боркман. На этот раз его зубы попали в цель, содрав тонкую чувствительную кожу внутренней стороны с первых двух суставов пальцев правой руки Боркмана. Зубы Джерри кололи, как иголки, и штурман, ухватив щенка за челюсть, с такой силой отбросил его, что тот едва не ударился о низкий борт «Аранджи», прежде чем успел зацепиться когтями ног.

А Ван Горн, окончив укладку и починку ящика с взрывчатыми веществами под койкой штурмана, поднялся по лестнице, увидел битву и остановился, спокойно наблюдая. Но миллион лет отделял его от этих двух диких существ, скинувших с себя узду поколений и вернувшихся в мрак племенной жизни, еще не смягченной зарождающимся разумом. То, что пробудилось в мозговых клетках наследственности Боркмана, воскресло также и в мозговых клетках наследственности Джерри. Время для обоих вернулось вспять. Всех усилий и достижений



Потому что теперь Джерри весь был охвачен бешенством.

десяти тысяч поколений словно не бывало, и Джерри боролся со штурманом, как некогда волк с дикарем. Ни один из них не заметил шкипера, стоявшего в рубке так, что глаза его приходились на уровне последней.

Для Джерри Боркман не был уже больше богом, как и сам он не был больше простым ирландским терьером с гладкой шерстью. Оба они забыли о миллионе лет, запечатлевшемся в их наследственности слабее, менее устойчиво, чем то, что было запечатлено до этого миллиона лет. Джерри не имел понятия о пьянстве, но он отлично понимал несправедливость, и она приводила его в бешеную ярость. Боркман приготовился отразить нападение Джерри, но промахнулся, и зубы щенка быстро оцарапали обе руки, прежде чем штурман успел отбросить его.

Но Джерри вернулся снова. Как всякий визжащий обитатель джунглей, он выражал свое возмущение истерическим воплем. Но при этом он не всхлипывал, не вздрагивал и не корчился под ударами. Он слепо нападал, не избегая удара, а стараясь, напротив, встретив его, отразить зубами. В последний раз он оказался отброшенным с такой силой, что больно ударился боком о перила. И тут Ван Горн крикнул:

— Перестань, Боркман! Оставь щенка в покое!

Штурман оглянулся, пораженный тем, что за ним подсматривали. Резкий, повелительный окрик Ван Горна прозвучал, как призыв сквозь миллион лет. Боркман сделал смешную попытку изобразить на своем перекошенном от злобы лице виноватую, баранью усмешку, и пробормотал:

— Мы ведь только играли.

Но в эту минуту Джерри вернулся, подскочил вверх и впился зубами в руку оскорбителя. Обезумевший Боркман немедленно вернулся в прошлое, перескочив через миллионы лет. Он попытался лягнуть Джерри, но ссадил себе щиколотку. Изрыгая свой гнев и боль, штурман нагнулся и наградил Джерри сильнейшим ударом по голове и шее. Джерри, как раз подскочивший в эту минуту, получив удар, перекувырнулся прежде, чем удариться спиной о палубу. Вскочив как можно скорей на ноги, он снова бросился в атаку, но шкипер остановил его приказанием:

— Джерри! Довольно! Сюда!

Джерри повиновался, но лишь ценой громадного усилия и, проходя мимо штурмана, ощетинился и оскалил зубы. Из его горла впервые послышалось всхлипывание; но он всхлипывал не от страха или боли, а от обиды и желания продолжать борьбу; но, по приказанию шкипера, он старался подавить в себе это желание.

Выйдя на палубу, шкипер взял Джерри на руки и принялся гладить и успокаивать его, в то же время выражая штурману свое мнение.

— Как вам не стыдно, Боркман! Право, стоило бы пристрелить вас за это или оторвать вам башку. Ведь это щенок, маленький щенок, едва отнятый от груди. Я не дорого взял бы, чтоб самому расправиться с вами. Подумать только! Маленький щенок, маленький сосунок. Я рад, что ваши руки искусаны. Вы

заслужили это. Надеюсь, что у вас будет заражение крови. Ко всему прочему вы еще пьяны. Спуститесь вниз и не смейте возвращаться сюда, пока не протрезвитесь. Поняли?

А Джерри, после дальнего странствия по путям жизни и всемирной истории, старался победить бездонную тину первобытных инстинктов любовью, зародившейся и ставшей альфой и омегой его существования в гораздо более поздние времена; древняя злоба все еще слабо клокотала в его горле, словно раскаты проходящего грома, но, несмотря на это, охваченный широкой, горячей волной чувства, он сознавал все величие и справедливость своего шкипера. Шкипер был действительно богом, он поступал правильно и честно, защищал его и властно приказывал тому, другому, низшему богу, ускользнувшему от гнева Джерри.

ГЛАВА IX

Джерри и шкипер разделили вместе продолжительную дневную вахту, причем последний то и дело усмехался, восклицая:

— *Gott-fer-dang*, Джерри, поверь мне, ты славный боец и настоящий пес! Вот так собака! Сущий лев. Пари держу, что не родился еще тот лев, который содрал бы с тебя шкуру!

Хотя Джерри и не понимал из речей шкипера ни единого слова, кроме своего имени, но все же чуял в них щедрую похвалу и теплую привязанность.

А когда шкипер наклонялся и щекотал его за ушами, или подставлял ему пальцы для поцелуя, или сжимал его в объятьях, сердце Джерри, казалось, готово было разорваться. Ибо разве возможно для какого бы то ни было создания большее блаженство, чем любовь божества?

В этом именно и заключалось блаженство Джерри. Перед ним был бог, осязаемый, настоящий бог о трёх измерениях, опоясанный у бедер и голоногий, который двигался вокруг и правил своим миром; и этот бог любил его, издавал воркующие звуки горлом и губами, обнимал его двумя широко раскрытыми руками.

В четыре часа, бросив взгляд на вечернее солнце и определив быстроту движения «Аранджи» по отношению к близости Су, Ван Горн спустился вниз и, грубо встряхнув штурмана, разбудил его. В ожидании их возвращения Джерри один сторожил палубу. Но если бы не тот факт, что белые боги находились внизу и могли вернуться каждую минуту, Джерри недолго остался бы на палубе, ибо по мере того, как число миль, отделявшее обратных от Малаиты, уменьшалось, настроение их становилось все возбуждённее.

Предвкушая возвращение былой независимости, Леруми, как и многие другие из его товарищей, чувствовал, что у него при виде Джерри буквально текут слюнки от острых вкусовых ощущений, и разглядывал щенка с точки зрения пищи и мести, вполне совпадавших в его представлении.

«Аранджи», собранная втугую под резким ветром, быстро приблизилась к берегу. Джерри высунулся через колючую проволоку, нюхая воздух, в то время как шкипер, стоя рядом с ним, отдавал приказания штурману и рулевому. Груды багажных ящиков были теперь развязаны, и черные начали открывать и закрывать их. Особенное наслаждение доставлял им звонок, прилаженный к каждому ящику, и звонивший, как только крышка поднималась. Этот механизм, что-то вроде игрушки, приводил их в детский восторг, и каждый черный то и дело возвращался к своему ящику, чтоб открыть его и услыхать звонок.

Пятнадцать черных должны были высадиться в Су; с дикими движениями и криками они узнавали и указывали мельчайшие подробности единственной местности, известной им на земле до того дня, три года назад, когда отцы, дяди и вожди продали их в рабство.

Узкий пролив, менее ста ярдов в ширину, вел в крошечный, удлиненный залив. Берег, покрытый рощами мангровых деревьев и густой тропической растительностью, не носил никаких признаков жилья и людей. Но Ван Горн, вглядываясь в чащу джунглей такую близкую теперь, знал вполне достоверно, что десятки, а то и сотни человеческих глаз смотрят на него.

— Обнюхай! Обнюхай их, Джерри! — поощрял он собаку.

И Джерри, ощетинившись, начал лаять по направлению к стене мангровых деревьев, ибо безошибочный острый нюх говорил ему, что там прячутся черные.

— Будь у меня его нюх, — сказал капитан штурману, — я не боялся бы лишиться когда-нибудь головы.

Но Боркман ничего не ответил и угрюмо продолжал делать свое дело. В заливе было мало ветра, и «Аранджи», медленно войдя в него, бросила якорь на глубине тридцати морских сажен. Береговой откос у пристани был настолько крут, что даже при такой исключительной глубине корма «Аранджи» находилась на расстоянии ста футов от мангровых деревьев.

Ван Горн продолжал бросать тревожные взгляды на лесистый берег. Су пользовался дурной славой. С тех пор как шкуна «Красотка Хатавей», рекрутировавшая рабочие руки для плантаций Квинсленда, была пятнадцать лет тому назад захвачена туземцами, истребившими весь ее экипаж, ни одно судно, кроме «Аранджи», не отваживалось приблизиться к Су. И большинство белых людей порицали легкомысленную отвагу Ван Горна.

Далеко в горах, возвышавшихся на тысячи футов, теряясь вершинами в гонимых муссонами облаках, то и дело поднимались сигналы дыма, предупреждавшие о приближении судна. О появлении «Аранджи» было известно вдали и вблизи. И тем не менее из джунглей, до которых было рукой подать, доносились только крики попугаев и болтовня какаду.

Вельбот, управляемый шестью матросами, был притянут к борту, и пятнадцать черных из Су, вместе со своими ящиками, погрузились в него. Под полощущими парусами, вдоль шлюпочного банка, под рукой у гребцов, лежало пять ружей системы Ли-Энфильд. На палубе один человек из команды, вооружен-

ный винтовкой, охранял остальное оружие. Боркман принес свою винтовку, чтобы иметь ее под рукой. Винтовка Ван Горна лежала наготове под кормовыми парусами, а сам капитан стоял тут же рядом с Тамби, который управлял длинным рулевым веслом. Джерри тихо завыл, высовываясь через борт за шкипером. И тот, уступая мольбе, взял его в шлюпку. Центром опасности был вельбот, ибо восстание черных на «Аранджи» в этот момент являлось маловероятным. Будучи уроженцами Сомо, Наолы, Ланга-Ланга и далекого Малу, они испытывали благодетельный страх быть съеденными черными из Су, в случае если лишатся покровительства белых владык, точно так же как черные из Су, при подобных обстоятельствах, боялись бы пойти на закуску племенам Сомо, Ланга-Ланга или Наолы.

Опасность, которой подвергался вельбот, увеличивалась отсутствием второй лодки для прикрытия. Более значительные рекрутирующие корабли твердо держались неизменного обычая высылать на берег две лодки независимо от того, для чего они высылались. Пока одна причаливала к берегу, другая оставалась позади на некотором расстоянии, чтоб в случае опасности прикрывать отступление береговой части. Небольшие размеры «Аранджи» не позволяли поместить вельбот на палубе, а буксировать две шлюпки за кормой было неудобно. Таким образом, Ван Горн, самый отчаянный из вербовщиков, был лишен возможности принять эту важнейшую предосторожность.

Тамби, следуя приказаниям, которые Ван Горн отдавал ему вполголоса, держал курс параллельно берегу. Когда вельбот поравнялся с тем местом, где мангровые рощи прекращались и высокий берег с проторенной тропинкой спускался к самому краю воды, Ван Горн подал знак гребцам дать задний ход и лечь на весла. Высокие пальмы и могучие, широко раскинувшиеся деревья поднимались в этом месте над джунглями, и тропинка казалась входом в тоннель, среди сплошной зеленой стены тропической растительности.

Ван Горн, ощупывая взглядом берег в надежде обнаружить на нем какие-либо признаки жизни, зажег сигару и коснулся рукой верхнего края своего пояса, чтоб удостовериться, на месте ли динамитный снаряд, засунутый им между материей и телом. Он зажег сигару для того, чтобы в случае надобности поджечь трубку снаряда. Трубка была очень коротка и расщеплена на конце с таким расчетом, чтобы пропустить головку шведской спички, так что взрыв должен был последовать не позднее трех секунд после прикосновения зажженной сигары. Это требовало от Ван Горна хладнокровной решительности. В три секунды ему нужно было поджечь трубку и, прицелившись, бросить взрывающийся снаряд в цель. Однако он не рассчитывал воспользоваться снарядом, и держал его под рукой просто в виде меры предосторожности.

Прошло пять минут, а на берегу все еще царило глубокое молчание. Джерри обнюхал голую ногу шкипера, словно желая заверить Ван Горна, что не оставит его, чем бы ни грозило им враждебное молчание берега. Затем он поднялся на задние лапы, положив передние на шкафут, и снова принялся старательно, и громко принюхиваться, ерошить шерсть и тихо рычать.

— Верно, брат, они здесь,— поделился с ним шкипер, и Джерри, бросив в его сторону взгляд улыбающихся глаз, помахав хвостом и любовно прижав уши, повернул морду к берегу и снова принялся за чтение тайны джунглей, которая передавалась ему легкими колебаниями удушливого и почти спертого воздуха.

— Гей! — громко закричал вдруг Ван Горн. — Как звать? Показать мой твой голова!

Словно по мановению волшебства пустынные с виду джунгли внезапно наполнились жизнью, выбросив в одно мгновение сотню могучих дикарей. Они появлялись отовсюду, выскакивая из зарослей. Все были вооружены, одни винтовками Снайдера и пистолетами старинного образца, другие луками и стрелами, длинными метательными копьями, боевыми дубинами и томагавками с длинными рукоятками. Один из них с быстротой молнии вынырнул на открытое, залитое солнцем место, где тропинка встречалась с водой. Если не считать знаков отличия, он был наг, как Адам до грехопадения. Одинокое белое перо поднималось из массы вьющихся, блестящих черных волос. Полированная шпилька из белой окаменелой раковины с заостренными концами, просунутая в носовую перегородку между ноздрями, выступала на пять дюймов по обеим сторонам носа, пересекая его лицо. Вокруг шеи, на шнурке из крученых кокосовых нитей, висело желтовато-белое ожерелье из клыков дикого вепря. Подвязка из белых раковин-уживок обхватывала одну ногу ниже колена. Пламенно алый цветок кокетливо торчал над одним ухом, а через дыру в другом ухе был продет поросячий хвост, по-видимому, только что срезанный, ибо из него еще сочилась кровь.

Меланезийский денди, появившись в солнечном свете, прицелился из винтовки Снайдера, приставив ее к бедру и направив многообещающее дуло прямо на Ван Горна. Но Ван Горн действовал с не меньшей быстротой. С той же стремительностью он схватил свою винтовку и нацелился, приставив ее к бедру. Так они стояли лицом к лицу, на расстоянии сорока шагов, держа смерть под кончиками пальцев. Миллион лет, отделявший варварство от цивилизации, зиял между ними в этой узкой пропасти в сорок шагов. Современному, культурному человеку труднее всего забыть свои первобытные обычаи. Легче всего ему забыть свою современность и вернуться вспять через века в звероподобную эпоху.

Явная ложь, удар по лицу, прилив любовной ревности к сердцу способны в четверть минуты превратить философа двадцатого столетия в выпячивающего грудь, скалящего зубы, обезьяноподобного обитателя лесов с налитыми кровью глазами. То же происходило и с Ван Горном; однако с некоторой разницей. Он подчинил себе время. Он являлся в одно и тоже мгновение вполне современным и вполне непосредственно примитивным, был способным драться в кровавом тумане, пуская в ход зубы и когти, и в то же время стремиться остаться верным современности, чтоб подчинить себе силой духа комбинацию из эбеновой кожи и ослепительно белых украшений, угрожавшую ему. Долгие десять секунд длилось полное молчание. Даже Джерри, сам не зная отчего, перестал

рычать. Сотня жаждущих добычи людоедов на опушке джунглей, пятнадцать обратных черных из Су в лодке, семь черных из команды «Аранджи» и одинокий, белый человек, с сигарой в зубах, винтовкой у бедра и ощетинившимся ирландским терьером, прижавшимся к его голой ноге, хранили торжественный договор этих десяти секунд и никто из них не знал и не мог предвидеть, какова будет развязка. Один из обратных на носу вельбота сделал знак мира, протянув вперед безоружную ладонь, и начал лопотать на неведомом диалекте Су. Ван Горн выжидал с винтовкой наготове. Денди опустил свою винтовку Снайдера, и дыхание свободнее проникло в груди всех участников этой сцены.

— Мой хорош малый, — пропищал денди, тоненьким голосом не то птицы, не то эльфа.

— Твой большой дурак, — резко возразил Ван Горн, опуская винтовку на кормовые паруса и подавая знак гребцам и рулевому повернуть лодку.

При этом он с таким беспечным видом попыхивал сигарой, как будто здесь за минуту до этого не решался вопрос жизни и смерти.

— Верно говорю, — продолжал он, прекрасно имитируя гнев, — как звать твой ставить ружье на меня? Мой не будет есть твой. Твой не хотел, чтобы мой слопал ваша молодцы из Су? Люди Су — ваша люди, все равно ваш брат. Долго время, три муссона назад, мой говорил твой верно слово. Мой говорил через три муссона ваша люди вернулся к вам. Мой слово три муссона кончался; люди уходил со мной, вернулся назад.

В это время шлюпка поворачивалась кругом, меняя положение носа и кормы так, что Ван Горну приходилось вертеться, чтоб не терять из виду вооруженного снайдером денди. По новому сигналу капитана гребцы дали сначала задний ход, затем вогнали вельбот кормой вперед в твердый грунт тропинки. И каждый гребец, держа весло наготове на случай нападения, потихоньку шарил под парусиной, чтоб точно удостовериться, где спрятана винтовка.

— Ваша люди, ходить кругом, хорош люди? — спросил Ван Горн у денди, который ответил утвердительно, по обычаю Соломоновых островов, полузакрыв глаза и как-то забавно и фатовато кивая головой снизу вверх, — Су люди ходить кругом, твой не лопать наша люди?

— Не бойся,— ответил денди,— наши Су люди хорош люди. Верно говорю, наша не делать твой зло. Ишикола, большая черный господин на это место, говорить с твой через меня. Он говорил, пусть все скверный люди оставался в лес. Он говорил, пусть великий белый вождь не ходил сюда. Он говорил, пусть хороший большой белый вождь оставался на корабль.

Ван Горн равнодушно кивнул головой, будто это сообщение мало интересовало его, хотя он понял, что на этот раз Су не даст ему новых рекрутов. Он начал высаживать обратных, заставляя их проходить одного за другим на корму и оттуда на берег, не позволяя при этом остальным трогаться с места. Эта тактика была необходима на Соломоновых островах. Всякое скопление представляло опасность. Никогда не следовало допускать более или менее многочисленного сборища черных. И Ван Горн, с царственным равнодушием, поку-

ривая сигару, провожал глазами каждого черного, направлявшегося к корме с ящиком на плече и высаживавшегося на берег. Они исчезали один за другим в туннеле тропинки и, когда последний сошел на берег, Ван Горн скомандовал лодке вернуться к кораблю.

— На этот раз нам здесь делать нечего, — сказал он штурману. — Завтра утром мы снимемся с якоря и уйдем.

Короткие тропические сумерки быстро соединили день с ночью. Над головой выступили все звезды, по воде не проносилось ни малейшего колебания воздуха и насыщенный влагой зной покрывал лица и тела обоих мужчин обильным потом. Они вяло принялись за ужин, поданный на палубе, то и дело смахивая тыльной частью руки едкий пот, застилавший глаза.

— И угораздит же человека забраться на Соломоновы, в этакую чертовскую дыру, — жаловался штурман.

— И оставаться там, — дополнил капитан.

— Меня слишком заела лихорадка, — ворчал штурман. — Я умер бы, если бы уехал. Помните, я попробовал сделать это два года назад. Холодная погода выгоняет лихорадку наружу. Когда мы приехали в Сидней, я лежал, как пласт. Пришлось тащить меня в больницу в карете скорой помощи. Дело шло все хуже и хуже. Врачи сказали мне, что единственное спасение вернуться туда, где я схватил лихорадку. Если я сделаю это, то, пожалуй, протяну еще порядочно. А если застряну в Сиднее, пиши пропало. Они снова отвезли меня на корабль в карете скорой помощи. Вот и все, что мне пришлось увидеть в Австралии за свой отпуск. Не хотел бы я оставаться на Соломоновых, это сущий ад. Да ничего не попишешь, не то изволь подыхать.

Он отсыпал на глаз тридцать грамм хины в папиросную бумагу, свернул ее, с кислой миной смотрел минуту на получившуюся пилюлю, и проглотил ее одним глотком. Это послужило Ван Горну напоминанием; он взял бутылку и принял такую же дозу.

— Лучше бы покрыться одеялом, — предложил он.

Боркман приказал нескольким матросам натянуть тонкий брезент, нечто вроде занавески, вдоль обращенного к берегу борта «Аранджи». Это была предохранительная мера против какой-нибудь шальной пули из мангровых рощ, находившихся всего на расстоянии ста футов.

Ван Горн приказал Тамби спуститься вниз за маленьким фонографом и поставить дюжину поцарапанных скрипучих пластинок, уже тысячу раз побывавших под иголкой. В промежутке между пластинками Ван Горн вспомнил о девушке и велел привести ее из темной норы кладовой, чтоб послушать музыку. Она в ужасе повиновалась, уверенная в том, что час ее наступил. Она молча смотрела расширенными от ужаса глазами на великого белого господина; и еще долго после того, как он приказал ей лечь, не переставала дрожать всем телом. Фонограф не существовал для нее. Она испытывала только страх, страх перед этим ужасным белым человеком, который — она не сомневалась в этом — непременно съест ее.

Джерри на минуту оставил ласкающую руку шкипера, подошел к девушке и обнюхал ее. Он считал своим долгом снова ознакомиться с ней. Что бы ни случилось, сколько бы месяцев и лет ни прошло, он снова узнает ее и будет узнавать всегда. Он вернулся к шкиперу, и тот принялся опять ласкать его свободной рукой. В другой руке он держал сигару.

Влажная удушающая жара становилась все более томительной. Воздух, пропитанный запахами сырости и гнили, поднимавшимися из мангрового болота, вызывал дурноту. Скрипучая музыка пробудила у Боркмана воспоминания о портах и городах Старого Света, он улегся ничком на горячие доски, отбивая голыми пятками такт и бормоча сдавленным голосом бесконечный монолог проклятий. Но Ван Горн, чувствуя под рукой трепещущего Джерри, продолжал невозмутимо и философски курить, зажигая свежую сигару, как только кончалась предыдущая.

Он первый на борту услыхал слабый плеск весел. В сущности Ван Горна заставило прислушаться тихое ворчанье и ощетинившаяся шерсть Джерри. Вытащив снаряд динамита из-за пояса и взглянув на сигару, чтоб убедиться, что она не погасла, Ван Горн с неторопливой поспешностью поднялся на ноги и так же неторопливо, но быстро подошел к перилам.

— Как звать? — крикнул он в темноту.

— Мой Ишикола! — ответил дрожащий старческий фальцет.

Ван Горн, прежде чем заговорить снова, наполовину высвободил свой автоматический пистолет из кобуры и передвинул кобуру с бедра на живот, чтобы иметь ее еще ближе под рукой.

— Сколько молодцов твой брать с собой? — спросил он.

— Мой брать один десять молодцов, — ответил старческий голос.

— Тогда пусть твой идет ближе.

Не поворачивая головы, бессознательно опустив правую руку на ручку автоматического пистолета, Ван Горн отдал приказание:

— Эй, Тамби, твой приносил фонарь. Не приносил его сюда. Приносил на корма, вешал на проволока, и смотрел твой зоркий глаз.

Тамби повиновался, выставив фонарь в двадцати шагах от того места, где ходил капитан. Это давало Ван Горну преимущество перед людьми на воде, так как фонарь, довольно низко подвешенный над перилами между рядами колючей проволоки, должен был осветить находившихся в лодке, оставляя Ван Горна в полумраке и тени.

— Греби живее, — властно приказал он в то время, как люди в невидимой лодке все еще колебались.

Раздался плеск весел и вслед за тем в освещенную фонарем полосу воды вынырнул высокий черный нос боевой пироги, изогнутый, как у гондолы, и выложенный серебристым перламутром; за ним показалась сама длинная, стройная лодка без уключин и в ней блестящие глаза и блестящие черные тела сильных дикарей, которые гребли, стоя на коленях в лодке. Ишикола, старый вождь, сидел посередине на корточках; он не греб и держал вверх ногами в беззубых

деснах незажженную, пустую, короткую глиняную трубку. А на корме, в качестве рулевого, красовался денди, весь из черноты, наготы и белизны украшений, если не считать поросячьего хвоста в одном ухе и алого цветка ибиска, все еще пылавшего над другим ухом. Случалось, что чернокожие и в меньшем числе попадали на невольничье судно, управляемое не больше, чем двумя белыми, и рука Ван Горна сомкнулась вокруг ручки автоматического пистолета, не совсем вытащенного из кобуры; левой рукой он поднес сигару ко рту и сделал несколько затяжек, чтобы сильнее разжечь ее.

— Хэлло! Ишикола, цветущий старый плут! — приветствовал Ван Горн старого вождя, когда денди, опустив рулевое весло вдоль борта и подсунув его частью под дно лодки, привел ее бортом к «Аранджи», так что суда коснулись друг друга бортами.

Ишикола, освещенный фонарем, улыбался, глядя вверх. Он улыбался правым глазом, единственным, который у него имелся. Левый был уничтожен стрелой, когда он был еще молодым, во время одной стычки в джунглях.

— Верно говорю! — прозвучало ответное приветствие, — давно твой не приходил перед мой глаз.

Ван Горн начал подшучивать в понятных для него выражениях над последними женами, которых старик добавил к своему гарему, и расспрашивать, сколько он дал за них свиней.

— Верно говорю, — закончил он, — ваша много-много богатый здесь.

— Мой хотела идти на борт говорила с тобой, — кротко попросил Ишикола.

— Верно говорю, теперь ночь, не можно, — возразил капитан и прибавил, как бы делая исключение из известного правила, запрещавшего кому-либо подниматься на борт после наступления ночи:

— Твой поднимался на борт, молодцы оставался в лодке.

Ван Горн предупредительно помог старику взобраться на борт, перешагнуть через колючую проволоку и спуститься на палубу. Ишикола был грязным старым дикарем. Одно из его «тамбо» (тамбо означает на «трепангском» и меланезийском наречии «табу») заключалось в том, что вода никогда не должна касаться его кожи. Ишикола, живший у соленого моря, в стране тропических ливней, свято избегал прикосновения воды. Он никогда не плавал, не переходил вброд реки и спасался от ливней под какое-нибудь прикрытие. Это не касалось остальной части его племени и было специальным «тамбо», наложенным на него знахарями; на прочих членов племени знахари налагали другие табу: запрещали им есть акул, дотрагиваться до черепах, прикасаться к крокодилам и их выброшенным останкам, осквернять себя нечистым прикосновением к женщине или ее тени, пересекающей тропинку.

Поэтому Ишикола, «тамбо» которого была вода, оброс корой многолетней грязи. Он был весь покрыт струпьями, как прокаженный, с костлявым морщинистым лицом и при этом ковылял самым ужасающим образом: последствие давно полученного удара копьем в бедро, от которого торс его скрючился и потерял способность держаться вертикально. Но его единственный глаз ярко

и злобно сверкал, и Ван Горн знал, что он может помериться наблюдательностью с его парой глаз.

Ван Горн пожал ему руку, — честь, которую он оказывал только вождям, — и предложил ему присесть на корточки на палубе рядом с перепуганной девушкой; она снова начала дрожать, вспомнив, как Ишикола когда-то предложил сотню спелых кокосовых орехов за ее мясо для жаркого.

Джерри почувствовал крайнюю необходимость обнюхать этого безобразного, хромого, голого, одноглазого старика на случай, если понадобится когда-нибудь опознать его в будущем. Обнюхав его и отметив его специфический запах, Джерри издал устрашающее рычание и вызвал этим быстрый, одобрительный взгляд со стороны шкипера.

— Верно говорю, славный кушанье этот собака, — сказал Ишикола. — Мой давала пол-сажени раковин-деньги за этот собака.

Это была щедрая цена за маленького щенка, ибо пол-сажени местных денег,— раковин, нанизанных на крученую кокосовую нитку,— равнялась пол соверену английской валюты, двум с половиной американским долларам, а в переводе на валюту живых свиней соответствовало половине хорошо откормленной жирной свиньи.

— Один сажень раковин за этот собака, — возразил Ван Горн, зная в душе, что не продал бы Джерри ни за сто саженей, ни за какую угодно баснословную цену, предложенную каким бы то ни было чернокожим. Однако, он умышленно назвал такую низкую сумму, чтоб чернокожий не заподозрил, как высоко он ценит в действительности золотистую шкуру сына Бидди и Терренса.

Затем Ишикола заявил, что девушка сильно похудела, и что он, как опытный знаток мяса, не считает возможным предложить за нее более шестидесяти спелых кокосовых орехов.

После этого обмена любезностями белый и черный вожди углубились в беседу о всевозможных вопросах. При этом первый вкладывал в нее все превосходство интеллекта и познаний белой расы, а второй чутье и прозорливость первобытного государственного деятеля, каким он и являлся в действительности, стараясь облегчить равновесие жизненных и политических сил, боровшихся на территории подвластного ему Су. Территория эта занимала площадь в десять квадратных миль, ограниченных морем и межевыми линиями, которые были созданы племенной враждой, более древней, чем самый древний миф племени Су. Постоянно то одно, то другое племя одерживало временную победу, забирало врагов в плен и съедало их. Но прежние границы сохранились. Ишикола, на своем грубом *beche de mer,* старался выяснить общее политическое положение Соломоновых островов в отношении к Су, и Ван Горн не гнушался вести с ними ту же нечистую дипломатическую игру, которая ведется во всех посольствах мира.

— Верно говорю — сказал Ван Горн. — Ваша много-много худая люди здесь. Ваша брать много-много голова. Много-много кушать длинный свиней («длинными свиньями» назывались жареные человеческие туши).

— Как звать черные люди Су забрал много-много голова, как звать съела много-много длинный свинья? — спросил Ишикола.

— Верно говорю, — возразил Ван Горн, — много пропали на это место. Тут совсем близко большой военный корабль, он приходить в Су и колотить семь склянок из Су.

— Как звать корабль приходил на Соломоновы? — спросил Ишикола.

— Большой корабль звать «Камбриан», — солгал Ван Горн, прекрасно зная, что за последние два года ни один британский крейсер не заходил на Соломоновы острова.

Беседа начинала принимать несколько комический характер разглагольствований об отношениях, которые должны были бы существовать между государствами, независимо от величины их, когда ее прервал крик Тамби. Держа в руке другой фонарь, он опустил его за борт и сделал открытие.

— Шкипер, ружье он лежит в лодка, — закричал он.

Ван Горн одним прыжком очутился у перил и заглянул вниз через колючую проволоку. Ишикола, несмотря на свое скрюченное тело, позволил ему опередить себя всего лишь на несколько секунд.

— Как звать этот ружье он лежать в лодке? — спросил Ван Горн с негодованием.

Денди на корме, бросив небрежный взгляд наверх, попытался было поправить ногой зеленые листья, чтоб прикрыть высунувшиеся из-под них дула нескольких ружей, но только ухудшил дело, еще более обнажив их. Он нагнулся, чтоб сгрести листья рукой, но, услыхав окрик Ван Горна, быстро выпрямился.

— Смирно! Убирать твой лапа далеко большой кусок.

Ван Горн обернулся к Ишиколе с притворным гневом, в действительности нисколько не сердясь за старую, вечно повторяемую уловку.

— Как звать твой приходил сюда с ружьем в твой лодка? — спросил он.

Старый приморский вождь выкатил свой единственный глаз и заморгал им, отлично изображая тупость и невинность.

— Верно говорю, мой много сердит на тебя, — продолжал Ван Горн, — Ишикола, твой много-много скверный. Твой ступай к черту.

Старик заковылял по палубе, проявляя гораздо больше живости, чем при подъеме на борт; он перемахнул без посторонней помощи через колючую проволоку и также самостоятельно спустился в лодку, ловко опершись всей тяжестью на здоровую ногу. Он посмотрел, мигая, вверх с таким видом, словно просил прощения и снова заверял в своей невинности. Ван Горн отвернулся было, чтоб скрыть улыбку, но откровенно рассмеялся, когда старый плут, показывая пустую трубку, вкрадчиво попросил:

— Пусть твой подарил мой пять пачек табака!

Пока Боркман спускался вниз за табаком, Ван Горн читал Ишиколе проповедь на тему о святости обещаний и клятв. Потом перегнулся через колючую проволоку и передал ему пять пачек табака.

— Верно говорю, — пригрозил он, — придет день, Ишикола, мой покончит с твой. Твой плохой друг на соленой вода. Твой большой болван в лесу.

Когда Ишикола попытался возразить, он прервал его словами:

— Верно говорю, твой слишком много болтает.

Но лодка все еще медлила. Нога денди украдкой нащупывала стволы винтовок Снайдера под свежими листьями, а Ишикола не чувствовал желания отчалить.

— Греби живее! — внезапно раздался повелительный окрик Ван Горна.

И гребцы, не дожидаясь приказания вождя или денди, невольно подчинились команде, глубокими сильными ударами весел отогнав лодку в окружающую темноту. Ван Горн с такой же точно быстротой переменил место на палубе, отскочив на двенадцать ярдов, чтоб ни одна шальная пуля не могла попасть в него. Он скорчился как можно ниже, и стал прислушиваться к плеску весел, затихавшему вдали.

— Ладно, Тамби, — спокойно приказал он, — твой пускать музыка, ходил кругом.

И в то время, как граммофон выскрипывал хорошенькую банальную мелодию, он курил сигару, опираясь локтем о палубу и сжимая Джерри в нежном объятии.

Покуривая, он наблюдал за тем, как звезды вдруг затуманились ливнем, который направлялся в наветренную сторону или вернее в ту сторону, которую можно было смутно представить себе наветренной. Считая минуты до того времени, когда он сможет отправить Тамби с фонографом и пластинками вниз, Ван Горн заметил лесную девушку, взиравшую на него в немом страхе. Он кивнул головой в знак согласия, полузакрыв веки и подняв лицо, сопровождая свое позволение движением руки по направлению к лестнице в каюту. Она повиновалась, как побитая, упавшая духом собака и с трудом поднялась на ноги, снова начиная дрожать; при этом она бросала полные вечного ужаса взгляды на великого белого вождя, который, — она была убеждена в этом, — когда-нибудь съест ее. Ее поведение мучительно действовало на Ван Горна, который чувствовал себя не в силах передать ей свое доброе отношение через разделявшую их бездну веков. Она поплелась к лестнице и поползла вниз, ногами вперед, точно какой-нибудь огромный большеголовый червяк.

Отправив вслед за ней Тамби с драгоценным фонографом, Ван Горн продолжал курить, в то время как острые, словно иглы, брызги дождя успокоительно барабанили по его разгоряченному телу.

Дождь шел всего пять минут. Затем, когда звезды снова выступили на небе, палуба и мангровые болота начали, казалось, изливать запах пара, и удушливый зной окутал все вокруг. Ван Горн знал, чем это грозит, но болезни, за исключением лихорадки, никогда не беспокоили его; поэтому он не стал заботиться об одеяле, чтоб укрыться.

— Первая вахта ваша, — сказал он Боркману, — я хочу сняться завтра утром прежде, чем разбужу вас.

Он положил голову на правую руку, прижав согнутой левой Джерри к груди и заснул.

Таким образом, предприимчивые белые люди и чернокожие туземцы жили изо дня в день на Соломоновых островах, воюя и занимаясь торговлей: белые старались сохранить головы на плечах, а чернокожие, с тем же единодушием, пытались снять головы белых с плеч, сохраняя неприкосновенными собственные органы.

А Джерри, знакомый только с миром пролива Мэринджа, узнал, что новые миры, корабль «Аранджи» и остров Малаита, ничем не отличаются друг от друга и с проблесками понимания наблюдал беспрестанную борьбу между белыми и черными.

ГЛАВА X

Дневной свет застал «Аранджи» в пути; ее паруса тяжело висели в неподвижном воздухе, а команда надрывалась у весел вельбота, чтобы пробуксировать ее через узкий проход. В ту минуту, когда судно, подхваченное каким-то бродячим течением, подошло слишком близко к бурунам, негры на палубе столпились в страхе, похожие на кучу овец, услышавших вблизи волчий вой. Команда Ван Горна на вельбот: «Навались, навались, черт дери ваши души»,— была, оказалось, излишней. Гребцы отрывались при каждом ударе весел от своих скамеек, так они наваливались сами. Они знали, что их ожидает печальная участь, если коралловый риф под водой столкнется с килем «Аранджи». Их угнетал тот же страх, что и перепуганную девушку в кладовой. В прошлом Ланга-Ланги и Сомо не раз съедались на пиршествах черными Су, также как и Су в свою очередь пожирались Ланга-Лангами и Сомо.

— Верно говорю, — Тамби, стоявший у колеса, обратился к Ван Горну, когда напряженное состояние миновало и «Аранджи» вышла на безопасное место, — мой отец, его брат. Давно. Ходил сюда большой шхуна. Назад не ходил мой отец его брат. Ему Су ребята сделали кай-кай, скушали. Мой отец его брат.

Ван Горн вспомнил «Красотку Хатавей», которую Су пятнадцать лет назад ограбили и сожгли, истребив весь экипаж. Поистине Соломоновы острова в начале двадцатого столетия находились в самом диком состоянии, и поистине наиболее диким среди них считался большой остров Малаита.

Ван Горн окинул внимательным взглядом холмы острова, вплоть до путеводного пункта моряков, горы Колорат, сплошь одетой зеленым лесом до своей, уходящей на четыре тысячи футов в облака вершины.

Он заметил, что над холмами и менее значительными вершинами поднимаются тонкие струйки дыма, все увеличиваясь в числе.

— Верно говорю, — ухмыльнулся Тамби, — много-много глаз следит из джунглей.

Ван Горн кивнул. Он знал значение этой сигнализации дымом. От деревни к деревне, от племени к племени, передавалась весть, что судно вербовщиков находится у берега с подветренной стороны.

Все утро, при резком косом ветре, поднявшемся с восходом солнца, « Аранджи» шла к северу; и курс ее все время передавался болтовней дымовых сигналов над зелеными вершинами.

В полдень «Аранджи» двинулась навстречу ветру, чтобы пробить себе путь между двумя, поросшими пальмами, островками.

Ван Горн, со своим неизменным адъютантом Джерри стоял около рулевого и руководил им. Руководить было необходимо. Коралловые островки поднимались со всех сторон из бирюзовых глубин, разворачивая зеленую гамму от самого темного нефрита до самого бледного турмалина; море заливало их изменчивой игрой оттенков, то бледно-желтыми ленивыми волнами, то ярко белыми брызгами, пронизанными солнцем.

Струи дыма в горах становились все болтливее, и много раньше, чем «Аранджи» успела пройти через коридор между островами, весь остров с подветренной стороны, от берега с его дикарями-мореплавателями до самой гущи джунглей с населяющими их бушменами, знал, что судно вербовщиков направляется в Ланга-Ланга.

Не успела открыться лагуна, образованная цепью островков, отделившихся от берега, как Джерри уже учуял запах деревушек, расположенных на рифах. На гладкой поверхности лагуны появилось много лодок; некоторые из них шли под веслами, другие под парусами из пальмовых листьев.

Джерри угрожающе лаял на ближние лодки, щетинился и всячески старался изобразить из себя грозного защитника белого бога, стоявшего рядом с ним. И после каждого такого предостережения врагам он ласково терся холодной влажной мордой о разгоряченную солнцем кожу ноги шкипера.

В лагуне «Аранджи» наполнила паруса и, быстро пройдя полмили, бросила якорь на глубине пятидесяти футов; вода в этом месте была так прозрачна, что каждая большая раковина выделялась на коралловом дне. Не нужно было спускать вельбот, чтобы высадить на берег обратных Ланга Ланга. Сотни лодок ожидали по обеим сторонам «Аранджи» и каждый негр, со своим ящиком и звонком встречался приветственными кликами родных и друзей.

Ввиду такого сильного возбуждения Ван Горн не допустил на борт никого. Меланезийцы одинаково легко заражаются паникой нападения, как и паникой бегства. Двое из судовой команды были поставлены охранять винтовки. Боркман, работая с одной половиной команды, убирал паруса. Ван Горн с Джерри, не отставшим от него, следил за тем, чтобы никто не зашел ему за спину, руководил высадкой обратных и не сводил бдительного взгляда с другой половины команды, охранявшей колючую проволоку. Каждый негр из Сомо сидел на своем сундуке, чтобы какой-нибудь Ланга-Ланга не бросил его в ожидающую лодку. Через полчаса большая часть лодок ушла на берег. Только несколько лодок замешкались; в одной из них находился Нау-Хау, самый могущественный

вождь Ланга-Ланга. Ван Горн пригласил его на борт. В противоположность большинству великих вождей, Нау-Хау был молод и в противоположность большинству меланезийцев отличался приятной наружностью, даже красотой.

— Хэлло, царь Вавилонский! — приветствовал его Ван Горн, давший ему это прозвище за якобы семитический тип, соединенный с грубой мощью, отмечавшей его лицо и осанку.

Рожденный и воспитанный в наготе, Нау-Хау шел по палубе смело и нисколько не смущаясь. Единственным признаком одежды на нем был ремешок, обвязанный у него вокруг талии. Между ним и его кожей торчало обнаженное лезвие ножа длиной в десять дюймов. Его единственным украшением была белая фарфоровая глубокая тарелка с выдолбленным в ней отверстием, повешенная на кокосовой нити вокруг шеи; она покоилась на его груди, прикрывая отчасти его мощные, напряженные мускулы. Это было величайшей драгоценностью. Ни один туземец Малаиты, насколько ему было известно, никогда не обладал цельной глубокой тарелкой.

Тарелка не делала его смешным, так же как не казалась смешной его нагота. У него был царственный вид. Его отец был вождем до него, а он оказался еще более великим, чем его отец. Жизнь и смерть были в его руках, зависели от его воли. Он часто испытывал свою власть, приказывая своим подданным на языке Ланга-Ланга: — «Убей того» и «Убей этого», — «Умри!» и «Живи!»

Когда его отец, отрекшийся от власти год назад, сделал бессмысленную попытку вмешаться в дела управления, он призвал двух своих молодцов и велел им избить отца веревкой из кокосовой нити. Когда его любимая жена, мать его старшего сына, осмелилась, под влиянием глупой привязанности к нему, нарушить один из его царских «тамбо», он приказал убить ее и сам эгоистично и благоговейно съел все ее останки, вплоть до мозга ее раздробленных костей, не уделив ни куска своим лучшим друзьям.

Он был царственным от природы, по воспитанию и повелению. Он держал себя с сознанием царского величия, у него был царственный вид, какой бывает у великолепного жеребца или льва на фоне декорации обожженной солнцем пустыни. Это было такое же великолепное животное — эскиз блестящих завоевателей и правителей, которые появлялись в другие эпохи и в других странах, на более высокой ступени эволюции.

Движения его тела, груди, плеч, головы были царственными и царственным был ленивый, надменный взгляд, который он бросал из-под тяжелых век.

И в эту минуту на «Аранджи» он выказывал царственное мужество, хотя и знал, что ступает по динамиту.

Он знал по горькому опыту, что каждый белый так же насыщен динамитом, как таинственное смертоносное метательное орудие, которое он иногда употребляет.

В юношеские годы он был в одной из лодок, которые напали на судно, прибывшее за сандаловым деревом. Это судно было еще меньше «Аранджи». Нау-Хау никогда не мог забыть этой таинственной истории. Он увидел, как убили

двух из трех белых, и отрубили им головы тут же, на палубе. Третий, продолжая защищаться, убежал вниз. И тогда судно, со всем его грузом сандалового дерева, табака, ножей и ситца взлетело на воздух и вернулось в море в виде разрозненных частиц. Это была тайна динамита. И он, пронесшийся по воздуху невредимым, благодаря особому благоволению судьбы, догадался, что белые люди сами динамит, что они составлены из того же загадочного вещества, при помощи которого они глушат в море быстрые стайки голавлей, или взрывают, в случае крайности, себя и свои корабли, прибывшие из дальних краев. И, несмотря на это, он упорно наступал на это предательское и смертоносное вещество, из которого, по его убеждению, состоял Ван Горн, и решался, рискуя вызвать взрыв, напирать на него своею наглостью.

— Верно говорю, — начал он. — Как звать? Зачем долго держал мои ребята?

Это было основательное и справедливое обвинение, так как люди, которых ему только что вернул Ван Горн, пробыли в отсутствии три года с половиной, вместо трех.

— Верно говорю, будешь так говорить, мой сердиться будет, — отпарировал Ван Горн и, опустив руку в распиленный пополам ящик табака, дипломатично прибавил: — Верно говорю, кури табак и поговорим по-хорошему.

Но Нау-Хау величественным жестом руки отклонил дар, которого жаждал.

— Дома табак много-много, — сказал он. — Как звать? Один человек ушел, назад не вернул?

Ван Горн вытащил из-за пояса длинную тонкую записную книжку и начал ее перелистывать. Опять белый человек импонировал Нау-Хау своим динамитным превосходством; он умел хранить точные воспоминания на измазанных листках книжки, вместо того, чтобы держать их в своей голове.

— Сати, — прочел Ван Горн, остановив на этом месте свой палец и переводя внимательный взгляд с книжки на черного вождя и обратно; черный вождь в это время раздумывал и взвешивал свои шансы; не удастся ли ему проскользнуть Ван Горну за спину и одним испытанным ударам ножа перерезать ему спинной хребет у основания шеи.

— Сати, — прочел Ван Горн. — Прошлый муссон Сати крепко-крепко болеть живот. Сати — каюк. — Так Ван Горн перевел на трепангское наречие заметку в своей записной книжке: «Скончался от дизентерии 4 июля 1901 г.».

— Сати много работать, долго работать, — Нау-Хау подходил к главному вопросу. — Как звать? Сколько Сати деньги получить?

Ван Горн сделал мысленный расчет.

— Сати заработать шесть раз десять фунтов и два раза фунт золотом, — перевел он «шестьдесят два фунта жалованья», — я платил вперед его отцу один раз десять фунтов и пять раз один фунт. Сати получить всего четыре раза десять фунтов и семь раз фунт.

— Как звать? Куда девал четыре раза десять фунтов и семь раз фунт? — спросил Нау-Хау, осилив языком, но не мозгами, эту чудовищную цифру.

Ван Горн поднял руку.

— Не торопись, Нау-Хау. Он, Сати, купил сундук на плантации,— два раза десять фунтов и один фунт. Сати получить всего два раза десять фунтов и шесть раз фунт.

— Как звать? Куда девал два раза десять фунтов и шесть раз фунт?— непоколебимо продолжал Нау-Хау.

— У меня остались, — коротко ответил капитан.

— Дай мне два раза десять фунтов и шесть раз фунт.

— Черта я тебе дам! — ответил Ван Горн.

Черный вождь почуял в его синих глазах динамит, из которого, казалось, были сделаны белые; в его мозгу быстро пронеслось видение кровавого дня, когда он впервые испытал взрыв динамита и был подброшен на воздух.

— Как звать вон старика в лодке? — спросил Ван Горн, указывая на ближайшую лодку. — Это ведь отец Сати?

— Это отец Сати, — подтвердил Нау-Хау.

Ван Горн жестом приказал старику подняться на борт и, поручив Боркману надзор за палубой и Нау-Хау, спустился вниз, чтобы достать деньги из несгораемого ящика. Вернувшись, он обратился к старику, бесцеремонно игнорируя вождя.

— Как звать?

— Мой звать Пино, — последовал дрожащий ответ. — Сати мой сын.

Ван Горн взглянул на Нау-Хау, ища подтверждения; тот утвердительно покачал головой. По европейским понятиям это было бы знаком отрицания.

Ван Горн отсчитал в руку отца Сати двадцать шесть золотых соверенов.

Нау-Хау немедленно протянул руку и взял эти деньги. Он оставил у себя двадцать золотых монет, а шесть возвратил старику.

Ван Горн не считал нужным вмешиваться. Он исполнил свой долг — заплатил, что следовало. Насилие, произведенное вождем над его подданным, его не касалось.

Оба «вождя» — и белый, и черный — были довольны собой. Ван Горн заплатил кому следовало. Нау-Хау, основываясь на царской власти, похитил перед глазами Ван Горна деньги, заработанные Сати, у его отца. Но Нау-Хау хотелось поважничать.

Он отказался принять табак в подарок и, купив ящик табака и заплатив за него пять фунтов, попросил вскрыть его, чтобы он мог наполнить свою трубку.

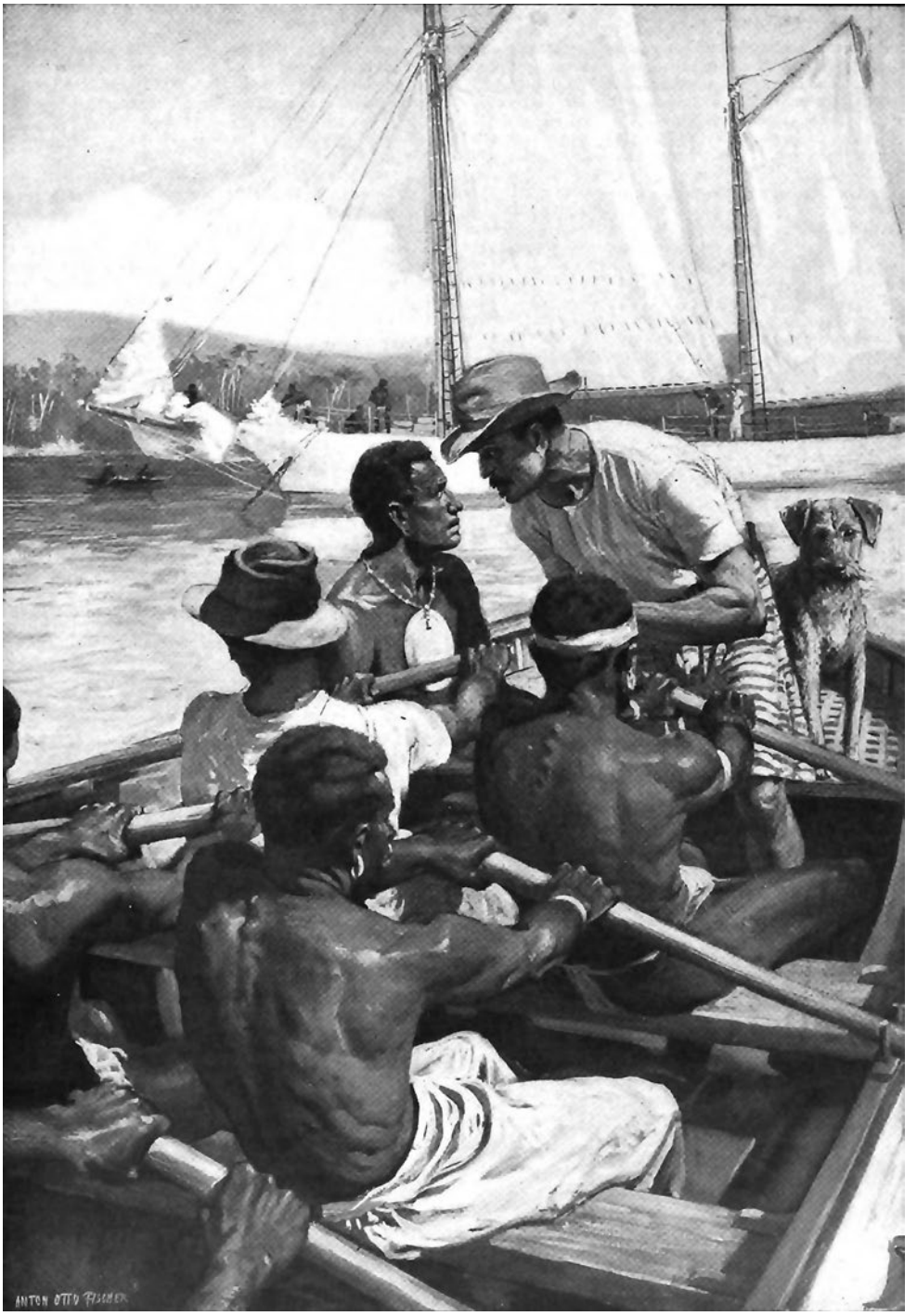
— Много хороших молодцов Ланга-Ланга? — спросил Ван Горн вежливо и спокойно, тоном светского разговора.

Царь Вавилонский усмехнулся, но не удостоил его ответа.

— Мой пойдет гулять на берег, — с некоторым вызовом сказал Ван Горн.

— Много-много худо может быть, — с вызовом же ответил Нау-Хау. — Много-много нехороший человек. Кай-кай тебе будет.

Ван Горн, сам того не сознавая, испытал при этом словесном поединке такое чувство, будто у него на черепе поднимаются волосы; это чувство испытывал Джерри, когда у него щетинилась шерсть на спине.



— Мой пойдет гулять на берег, — с некоторым вызовом сказал Ван Горн.

— Эй, Боркман, — закричал он. — Готовь вельбот!

Когда вельбот был подан, он сперва гордо спустился в него один, а потом предложил Нау-Хау сопровождать его.

— Верно говорю, царь Вавилонский, — шептал он на ухо вождю, в то время, как команда бралась за весла; — один нехороший человек делать худо, я тебя пристрелю. Когда я гулять, ты гулять со мной. Не будешь гулять со мной, убью! Каюк!

И одинокий белый человек, в сопровождении щенка ирландского терьера, с сердцем, переполненным любовью, и черного вождя, переполненного злобным почтением к динамитности белого человека, шел босоногий через дебри, населенные тремя тысячами душ; его белый пьяница-штурман стоял на палубе маленького судна, бросившего якорь вдали от берега, а команда вельбота с веслами наготове повернула лодку кормой к берегу в ожидании прыжка человека, которому они служили, не любя его, и чью голову они охотно сняли бы с плеч, если бы их не удерживал страх.

Ван Горн совсем не собирался сойти на берег, но сделал это по необходимости, вследствие дерзкого вызова черного вождя. Он бродил так около часа, держа все время правую руку на близком расстоянии от ручки револьвера, висевшего у него на боку и ни на минуту не спуская глаз с Нау-Хау, неохотно тащившегося рядом с ним. Нау-Хау, кипевший мрачной, вулканической яростью, готов был взорваться при малейшем поводе. Во время этой прогулки Ван Горну удалось увидеть то, что редко случалось видеть белым, так как Ланга-Ланга и родственные ему островки, прекрасные жемчужины, нанизанные вдоль подветренной стороны берега Малаиты и единственные в своем роде, почти не были исследованы.

Вначале эти островки были только песчаными мелями и коралловыми рифами, скрытыми под водой или лишь слегка прикрытыми ею. Только загнанное, жалкое создание, перенесшее невероятные невзгоды, могло решиться устроить себе здесь убогое существование. Но находились и такие загнанные, жалкие существа, оставшиеся в живых после погрома деревень, сбежавшие от гнева вождей или от котла для варки мяса; они поселялись здесь и переносили все испытания. До того они знали только лес, но здесь приучились к соленой воде и создали породу приморских дикарей. Они изучили обычаи рыб и моллюсков, придумали крючки, удочки, сети и западни для рыб, и все хитрые приемы, благодаря которым можно было добывать плавающее мясо из изменчивого, обманчивого моря.

Эти беглецы похищали женщин на материке, плодились и размножались.

С геркулесовыми усилиями, под палящим солнцем, они завоевали море. Они оградили свои коралловые рифы и песчаные мели коралловыми обломками, украденными на материке в темные ночи. Умелые каменщики, они, без содействия известки и резца, воздвигли стены для защиты от океанского прибоя. И подобно тому, как мыши крадут запасы в людских жилищах, когда люди

спят, они воровали с материка целые лодки, миллионы лодок жирной плодородной земли.

Прошли поколения и века, и вместо голых песчаных мелей, полузатопленных водой, появились окруженные стенами цитадели с выдолбленными отверстиями для прохода лодок, защищенные от материка лагунами.

Кокосовые пальмы, банановые деревья, высокие хлебные деревья давали им пищу и тень. Их сады процветали. Их длинные, стройные, белые лодки опустошали берега и мстили за предков потомкам тех, кто в свое время преследовал их и собирался съесть.

Подобно беглецам и отщепенцам, которые убежали на соленое болото Адриатики и выстроили там дворцы могущественной Венеции на глубоко ушедших в воду сваях, строили свое могущество и эти жалкие, загнанные чернокожие; строили, покуда не сделались господами материка и не завладели торговыми путями; они заставляли лесных жителей навсегда оставаться в лесах и запретили им приближаться к берегу.

И здесь-то, среди торжествующего благополучия и наглости приморских жителей, Ван Горн пробивал себе дорогу, положившись на счастье и отказываясь верить в то, что он может каждую секунду умереть; он знал, что он строит здание будущего, двигает вперед дело вербовки рабочих рук для плантаций, прокладывает путь на дальние острова другим предприимчивым белым людям, менее отважным, чем он.

И когда через час Ван Горн опустил Джерри на корму вельбота и последовал за ним, он оставил на берегу ошеломленного и недоумевающего черного вождя; Нау-Хау приобрел еще большее уважение к белым людям, насыщенным динамитом, которые доставляли ему пачки табака, ситца, ножи и топоры и неизменно выгадывали на этом деле.

ГЛАВА XI

Вернувшись на борт, Ван Горн немедленно привел «Аранджи» к ветру, наставил паруса, снялся с якоря и пустился в подветренную сторону по направлению к Сомо, находившемуся на расстоянии десяти миль. На пути он остановился в Бину, чтобы приветствовать вождя Джонни и высадить несколько негров Бину. Затем они направились к Сомо, конечной цели плавания для «Аранджи» и для ее многочисленных пассажиров.

Прием, встреченный Ван Горном в Сомо, ни в чем не походил на прием Ланга-Ланга. Как только обратные оказались высаженными на берег, — эта процедура окончилась к трем с половиной часам пополудни, — Ван Горн пригласил вождя Башти на борт. И вождь Башти явился, очень подвижной и энергичный, несмотря на свой почтенный возраст. Он был, по-видимому, очень добродушно настроен, настолько добродушно, что выразил желание привезти с собой на борт трех своих пожилых жен. Такое явление не имело прецеден-

та. Он никогда не позволял своим женам показываться белому человеку и Ван Горн был так польщен этим, что подарил каждой из них по красивой глиняной трубке и дюжине пачек табака.

Несмотря на поздний час, торговля шла оживленно, и Башти, забрав себе львиную долю жалованья, причитавшегося отцам двух умерших негров, щедро раскупал товары, привезенные на «Аранджи». Когда же Башти пообещал доставить большую партию новых рекрутов, Ван Горн, привыкший к изменчивому настроению дикарей, потребовал, чтобы сделка была завершена немедленно. Башти колебался и предложил отложить дело до следующего дня. Но Ван Горн стал настаивать на том, что более благоприятной минуты не представится, и настоял так удачно, что старый вождь послал на берег лодку за ребятами, выбранными им для отправки на плантации.

— Как вы думаете? — спросил Ван Горн Боркмана, глаза которого имели особенно сонное выражение. — Я никогда не видел старого плута таким приветливым. Не припрятан ли у него за пазухой камень?

Штурман посмотрел на множество выстроившихся лодок, обратил внимание на количество женщин и покачал головой.

— Когда они что-нибудь замышляют, то всегда прячут баб в кусты, — сказал он.

— С этими неграми ничего нельзя знать,— пробурчал капитан, — воображение-то у них как будто короткое, а все же, смотришь, нет-нет, да и выдумают что-нибудь новое. А Башти самый хитрый старый чернокожий, какого я когда-либо встречал. Что может помешать ему выдумать этакий вот фортель и разыграть игру как раз наоборот? То, что они всегда прятали женщин, когда затевалось недоброе, не значит, что они всегда будут продолжать так делать и впредь.

— Даже у Башти не хватит пороху выкинуть такую штуку — возразил Борк-ман. — Он просто-напросто в благодушном и щедром настроении. Он уже купил у вас на сорок фунтов товару. Вот причина, почему он не прочь всучить нам новую партию негров; он, ручаюсь вам, надеется, что добрая половина их передохнет, и даст ему возможность присвоить причитающееся ей жалованье.

Все это казалось очень разумным.

Все же Ван Горн покачал головой.

— Как бы там ни было, смотрите в оба,— предостерег он.— Помните, мы никогда не должны одновременно спускаться вниз, и чтобы виски не было и в помине, покуда мы не выберемся изо всей этой каши.

Башти был невероятно худ и чрезвычайно стар. Он сам не помнил, сколько ему лет, и знал только, что в племени его нет ни одного человека, который жил бы на свете в то время, когда он сам был юношей. Он помнил дни, когда некоторые старики, находившиеся еще в живых, появились на свет; не в пример ему, это были теперь дряхлые развалины, трясущиеся, с гноящимися глазами, беззубыми деснами, тугие на ухо, разбитые параличом. Он же сохранил все

свои способности в прекрасном состоянии и даже гордился несколькими попорченными коренными на верхней челюсти, которые все еще служили ему при еде. Утратив физическую выносливость юности, он все же сохранял прежнюю самобытность и ясность мысли. Племя Башти, благодаря уму своего вождя, усилилось с тех пор, как он стал им управлять. Это был, в маленьком масштабе, меланезийский Наполеон. Как военачальник, он, благодаря изворотливому уму, сумел отодвинуть границы бушменов. Шрамы на его морщинистом теле доказывали, что он сражался на совесть. Как законодатель, он достиг могущества и влияния среди своего племени. Как государственный деятель, он всегда умел обойти соседних вождей при составлении договоров и предоставлении льгот. В его все еще остром уме зародился план перехитрить Ван Горна и одурачить обширную Британскую империю, о которой он имел очень мало представления и еще меньше сведений.

У Сомо была своя история. Это была странная аномалия — приморские жители, обитающие там, где полагалось жить только бушменам. Предания Сомо бросают неясный свет в темную глубь веков.

В один прекрасный день, настолько отдаленный, что установить хронологически его дату не представляется возможным, некий Сомо, сын Лоти, вождя укрепленного острова Умбо, поссорился с отцом и скрылся от его гнева с толпой юношей в двенадцати лодках. Их одиссея длилась целых два муссона. Согласно мифу, они два раза объехали Малаиту и дошли по широкому морю до Уги и Сан-Кристобаль. После удачных битв они неизменно похищали женщин. В конце концов, Сомо, обремененный женщинами и потомством, высадился на берег материка, заставил бушменов отойти вглубь и построил морскую крепость Сомо. Она была выстроена на берегу моря по обычному образцу островной крепости; стены, выведенные из обломков коралловых скал, служили для защиты от моря и случайных морских пиратов и имели отверстия для спуска длинных лодок. В тылу, со стороны, обращенной к джунглям, крепость представляла из себя обыкновенную разбросанную лесную деревушку. Но Сомо, прозорливый родоначальник нового племени, перенес свои границы далеко в джунгли, на хребты небольших гор, и на каждом хребте построил по деревне. Только смельчакам Сомо разрешал присоединяться к новому племени. Слабых и трусов, прибегавших к нему, живо поедали.

Это племя, вместе с территорией и крепостью, в конце концов перешло по наследству к Башти, который в свою очередь постарался обогатить свое наследие и не отказывался от мысли еще больше обогатить его в дальнейшем. Он долгое время упорно и тщательно обдумывал выполнение плана, зародившегося в его мозгу. Три года назад, племя Ано-Ано, в нескольких милях по берегу, сумело захватить вербующее судно, уничтожило его вместе с экипажем и добыло таким путем сказочные запасы табака, ситца, бус, всевозможных товаров, винтовок и амуниции.

За это оно расплатилось не слишком дорогой ценой. Полгода спустя военный корабль ткнулся носом в залив, обстрелял Ано-Ано и загнал жите-

лей деревни вглубь джунглей. Десант тщетно преследовал их по тропинкам чащи и в конце концов удовлетворился тем, что зарезал сорок жирных свиней и срубил сотню кокосовых пальм. Не успел военный корабль выйти в открытое море, как жители Ано-Ано вернулись из джунглей в деревню. Орудийный огонь не особенно опасен там, где существуют только хрупкие тростниковые хижины. Несколько часов работы женщин поправили все дело. Что касается сорока убитых свиней, то все племя набросилось на их туши, зажарило их под землей на раскаленных камнях, и задало пир. Нежные верхушки срубленных пальм были также съедены, а тысячи кокосовых орехов очищены, расколоты, высушены на солнце и прокопчены для продажи первому торговому судну, которое зайдет к ним.

Таким образом, наложенная на них кара обратилась в пикник и пиршество.

Все это возбуждало жадный, расчетливый ум Башти. И что удалось Ано-Ано, должно было, по его убеждению, несомненно удаться и Сомо. Раз белые люди, плавающие под британским флагом, считали достаточным для погашения кровавого долга и отмщения за убийство перерезать свиней и срубить кокосовые пальмы, — но Башти не видел серьезных оснований к тому, чтобы самому этим не воспользоваться, как воспользовались Ано-Ано. Цена, которую пришлось бы заплатить в проблематическом будущем, до смешного не соответствовала богатству, приобретаемому в настоящем. К тому же прошло уже более двух лет с тех пор, как последний британский военный крейсер появлялся у Соломоновых островов.

Итак, Башти, занятый новой блестящей идеей, выразил кивком своей царственной головы согласие на то, чтобы его люди поднялись на борт торговать. Лишь очень немногие из них знали, в чем заключается его идея или что у него вообще есть какая-то идея. Торговля сделалась еще оживленнее, когда начали прибывать новые лодки и чернокожие мужчины и женщины наводнили палубу. Затем появились рекруты, только что захваченные молодые дикари, робкие, как олени, но покорные строгим родительским и племенным законам; они спускались друг за другом в каюту «Аранджи», в сопровождении своих семей, отцов, матерей и родственников, чтобы предстать перед великим белым вождем, который записывал их имена в таинственную книжку, заставлял их подписывать трехлетний рабочий контракт прикосновением правой руки к перу и уплачивал главе соответствующей семьи товарами за год вперед.

Старый Башти сидел поблизости, собирая свою обычную тяжелую дань с каждого аванса. Его три древние жены смиренно расположились на корточках у его ног и одним своим присутствием внушали Ван Горну доверие; он был в повышенном настроении из-за удачной торговли. Если дела пойдут таким темпом, его крейсирование у Малаиты скоро окончится, и он сможет отплыть с нагруженным кораблем.

На палубе,— где Боркман зорко сторожил малейший признак опасности,— все время слонялся Джерри, обнюхивая ноги множества чернокожих, которых

он встречал впервые. Дикая собака высадилась с обратными неграми, из которых только один вернулся на корабль. Это был Леруми. Джерри, проходя мимо него, несколько раз делал стойку и ерошил шерсть, но тот делал вид, что не узнает его. Холодно игнорируя Джерри, Леруми спустился вниз, чтобы купить ручное зеркало, и уведомил старого Башти взглядом, что все в порядке и готово разразиться в первый благоприятный момент.

Этот благоприятный момент доставил им на палубе Боркман. Все произошло из-за его небрежности и нарушения приказа капитана. Он не забыл о виски. Он не почуял того, что назревало вокруг. Кормовая часть палубы, где он находился, была почти пустынна. На середине и на переднем плане, болтая с командой, толпились чернокожие обоего пола. Боркман направился к мешкам ямса, брошенным позади бизань-мачты, и достал свою бутылку. Перед тем, как выпить, он все же, из предосторожности, оглянулся. Около него стояла безобидная женщина средних лет, жирная, приземистая, асимметричная, некрасивая; на ее бедре сидел верхом двухлетний ребенок и сосал ее грудь. С этой стороны, конечно, нечего было опасаться. К тому же она, несомненно, была безоружна, ибо не носила даже намека на одежду и, следовательно, не могла никуда спрятать оружия. Дальше у борта стоял Леруми и строил рожи, любуясь собой в только что купленном зеркале. Леруми увидел в зеркале, что Боркман нагнулся к мешкам ямса, снова выпрямился и откинул голову назад, прижимая губы к горлышку опрокинутой вверх дном бутылки. Леруми поднял руки вверх,— это было сигналом для женщины, сидевшей в соседней лодке. Она быстро нагнулась за каким-то предметом, который перебросила Леруми. Это был томагавк с длинной рукояткой; наконечник его представлял собой обыкновенный каменный топорик, а рукоятка туземной работы была сделана из куска полированного черного дерева, украшена грубой мозаикой из перламутра и оплетена кокосовыми нитями в том месте, за которое следовало держаться рукой. Острие топора было отточено, как лезвие бритвы.

Томагавк бесшумно перелетел по воздуху прямо в руку Леруми, и через минуту так же бесшумно перенесся из его руки в руку стоявшей позади штурмана жирной женщины с младенцем. Та сжала рукоять обеими руками, в то время как ребенок, сидевший верхом на ее бедре, держался сам, охватив ее, насколько мог, обеими ручонками.

Однако женщина мешкала нанести удар, потому что откинутая голова Боркмана не давала возможности перерезать спинной хребет у шеи. Много глаз следили за нарастающей трагедией. Джерри видел это, но не понимал, в чем дело. При всей своей ненависти к неграм, он не предугадал возможности воздушной атаки. Тамби, случайно находившийся вблизи светлого люка, увидел происходившее и схватил винтовку. Леруми заметил движение Тамби и шепотом приказал женщине торопиться. Боркман, так же мало сознававший последнюю минуту своей жизни, как и первую минуту рождения, опустил бутылку и поднял голову. Острый край топора вонзился в цель. Что почувствовал и подумал Боркман в молниеносное мгновение, когда его голова отделилась от туловища,

если он вообще что-нибудь думал или чувствовал,— останется навсегда неразрешенной тайной для живых людей.

Ни один из тех, кому перерезали спинной хребет таким образом, никогда не издал звука или шепота, которые могли бы свидетельствовать об его ощущениях и впечатлениях. Таким же быстрым, как удар топора, было спокойное падение тела Боркмана на палубу. Он не корчился, не вздрагивал. Он точно сразу выдохся, как внезапно опустошенный мешок, надутый ветром, как внезапно проткнутый воздушный шар. Бутылка выпала из его мертвой руки на мешки ямса, а остатки ее содержимого с легким бульканьем вылились на палубу.

Действие разыгралось так быстро, что первый выстрел из ружья Тамби пролетел мимо женщины раньше, чем Боркман вполне опустился на палубу. Тамби не успел выстрелить вторично, ибо женщина, уронив томагавк и придерживая обеими руками ребенка, бросилась к перилам и перескочила через борт, опрокинув в своем падении лодку, которая оказалась под ней.

Тут все одновременно пришло в движение. Над лодками, по обеим сторонам «Аранджи», пронесся сверкающий, мерцающий смерч томагавков, с рукоятками из перламутра; они попали в руки торгующих на палубе негров Сомо, в то время как находившиеся на палубе женщины, низко присев, выкарабкивались из свалки. В ту минуту, когда женщина, убившая Боркмана, прыгнула через перила, Леруми нагнулся, чтобы поднять брошенный ей томагавк, а Джерри, поняв, что кровавый бой начался, укусил его руку, потянувшуюся за оружием. Леруми выпрямился и громким воплем выразил всю накопившуюся у него за долгие месяцы ярость и ненависть к щенку.

Когда он выпрямлялся, Джерри кинулся к его ногам, и Леруми изо всех сил лягнул его; пинок пришелся Джерри как раз посередине туловища и подбросил его в воздух.

В следующую секунду или четверть секунды, в то время как Джерри перелетал через колючую проволоку за борт, а винтовки Снайдера передавались из лодок на корабль, Тамби быстро выстрелил вторично. Леруми, не успевший еще опустить на палубу лягнувшую Джерри ногу и уже снова нагнувшийся, чтобы поднять томагавк, получил пулю прямо в сердце; он упал, чтобы погрузиться вместе с Боркманом в покой смерти.

Но слава необычайно удачного выстрела Тамби померкла для него самого, ибо в ту минуту, когда он нажал собачку для этого удачного выстрела, томагавк пробил ему череп у самого основания мозга и затмил для него навеки яркое видение омытого морем, опаленного солнцем тропического мира. Так же быстро, почти одновременно, погибла вся команда, и палуба превратилась в бойню.

Услышав выстрелы из снайдеров и шум смертельной борьбы, Джерри высунул голову из воды. Рука мужчины протянулась из лодки и схватила его за загривок.

Хоть Джерри и рычал, и пытался укусить своего спасителя, в нем говорило не столько бешенство, сколько разумная тревога за шкипера. Он знал, не раздумывая над этим, что «Аранджи» постигло смутно ощущаемое им величайшее

бедствие в мире, которого инстинктивно страшится все живущее и которое только человек понимает и называет «смертью». Он видел, как убили Боркмана. Он видел, как свалился Леруми. А теперь он слышал выстрелы винтовок, вопли и крики торжества и ужаса.

Схваченный за загривок он продолжал беспомощно висеть таким образом в воздухе, лаять, визжать, хрипеть и кашлять до тех пор, пока возмущенный негр не швырнул его грубо на дно лодки. Джерри встал на ноги и сделал два прыжка; один на шкафут лодки, другой — безнадежный, отчаянный, в полном самозабвении — по направлению к борту «Аранджи». Его передние лапы на один ярд не долетели до перил, и он окунулся в море. Он выплыл, отчаянно барахтаясь, глотая соленую воду и захлебываясь, потому что все еще не переставал визжать, выть и лаять от тоски и желания быть на корабле со шкипером.

Но находившийся в другой лодке мальчишка лет двенадцати, бывший свидетелем первого приключения Джерри с черным, отбросив всякие церемонии, ударил его веслом по голове, сначала плашмя, а потом ребром. Тьма бессознательного заволокла маленький, светлый, любящий и страдающий разум Джерри, и черный мальчик втащил в свою лодку ослабевшего и неподвижного щенка.

В это время внизу, в каюте «Аранджи», до того, как подброшенный пинком Леруми Джерри успел упасть в воду и как раз в ту минуту, когда он еще летел по воздуху, Ван Горн в одно великое, глубокое, молниеносное мгновение познал смерть.

Старый Башти не даром прожил дольше всех людей своего племени и был самым мудрым из длинной серии правителей со времен Сомо. Если бы его судьба сложилась благоприятнее в отношении времени и места, он сделался бы, пожалуй, Александром, Наполеоном или смуглым Кахехамеха. При существующих условиях он действовал хорошо, исключительно хорошо в своем ограниченном маленьком царстве на подветренном берегу мрачного, населенного людоедами острова Малаиты.

И как действовал! Он улыбался Ван Горну с хладнокровным добродушием, строго придерживаясь своих прерогатив вождя; он дал свое царское соизволение подписать контракт на трехлетнее рабство молодых негров на плантациях и требовал свою долю из каждого годового аванса.

Аора, которого можно было назвать его первым министром и казначеем, получал проценты так же быстро, как их выплачивали, и наполнял ими большие, красиво сплетенные из кокосовых нитей, мешки.

За спиной Башти стройная тринадцатилетняя девушка с нежной кожей, присев на корточках на краю ящика, отгоняла мух с царской головы царским опахалом. У ног его сидели три старые жены, причем старшая из них, беззубая и слегка парализованная, протягивала ему при каждом кивке его головы корзинку грубо сплетенную из листьев.

Башти, навострив свои чуткие старые уши и напряженно прислушиваясь к первому подозрительному шороху с палубы, то и дело кивал головой и опускал руку в протянутую ему корзинку, доставая оттуда то орехи бетеля и не-

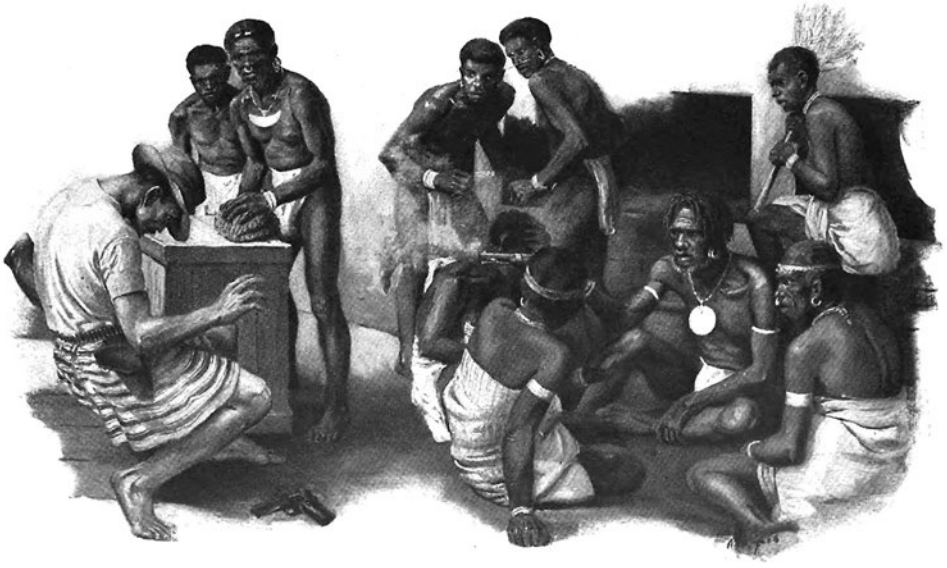
изменный зеленый лист, в который он завертывал их перед тем, как положить в рот, то табак и спички, чтобы набить и зажечь свою короткую глиняную трубку, которая, казалось, плохо тянула и постоянно гасла.

Корзинка до самого конца находилась у него под рукой, и, перед концом, он в последний раз опустил в нее руку. Это было в ту минуту, когда на палубе женщина убила Боркмана топором, а Тамби промахнулся, в первый раз выстрелив в нее из винтовки.

Старая морщинистая рука Башти, совершенно лишенная мяса, покрытая снаружи сетью крупных выпуклых вен, вытащила огромный пистолет, который, судя по образцу, смело мог бы принадлежать одному из круглоголовых Кромвеля или путешествовать с Квиросом или Лаперузом. Это было кремневое оружие длиной с человеческое предплечье, заряженное в этот день никем иным, как самим Башти.

Но как ни был проворен Башти, Ван Горн действовал почти так же быстро, однако все же недостаточно быстро. В ту минуту, когда рука его схватилась за современный автоматический револьвер, вынутый из кобуры и лежавший свободно у него на коленях, столетний пистолет выстрелил. Заряженный двумя жеребейками и круглой пулей, он действовал, как ружье.

И Ван Горн познал сверкание и мрак смерти в ту минуту, когда «*Gott-ferdang!*» замерло, недосказанное, на его устах, а пальцы, выпустив автоматический револьвер, уронили его на пол.



В ту минуту, когда рука его схватилась за современный автоматический револьвер, столетний пистолет выстрелил.

Перезаряженный порохом, старый пистолет произвел еще одно действие. Он взорвался в руке Башти. Когда Аора приступил к отсечению головы белого вождя, с помощью неизвестно откуда взявшегося ножа, Башти критически посмотрел на указательный палец своей правой руки, висевший на ниточке кожи. Он схватил его левой рукой, быстро дернул, перекрутил и оторвал прочь, потом, ухмыляясь, швырнул его, шутки ради, в корзинку, которую жена все еще держала перед ним одной рукой, схватившись другой за лоб, окровавленный осколком пистолета.

Одновременно с этим трое молодых рекрутов вместе с отцами и дядями одолевали и приканчивали единственного находившегося внизу матроса судовой команды. Башти, которого долгая жизнь сделала философом, мало обращающим внимания на боль и еще меньше на потерю пальца, хихикал и щебетал от удовольствия и гордости по поводу благоприятного исхода дела; а его старые жены, жизнь которых зависела от кивка его головы, ползали перед ним на полу в полном уничижении раболепного восхваления и обожания. Они долго прожили, и прожили долго только благодаря его царскому капризу. Они ерзали, тараторили и кривлялись у его ног, у ног властителя над жизнью и смертью, бесконечно мудрого, каким он был всегда и каким снова проявил себя в этот час. А тощая, перепуганная девушка, словно боязливый кролик, стоя на четвереньках у входа в свою нору, смотрела из кладовой на эту сцену, зная, что котел для варки мяса и конец мира близки для нее.

ГЛАВА XII

Джерри так никогда и не узнал, что произошло с «Аранджи». Он знал только, что погиб целый мир, ибо сам видел эту гибель.

Мальчик, ударивший его веслом по голове, крепко связал ему ноги и бросил его на берег, прежде чем забыть о нем, увлекшись ограблением «Аранджи».

Длинные лодки притащили на буксире красивую яхту из тикового дерева и причалили к берегу около того места где лежал Джерри, у основания коралловых стен. На берегу зажгли костры, корабль осветили фонарями и, среди всеобщего ликования, «Аранджи» была разграблена и опустошена. Все портативное было принесено на берег, начиная с болванок чугунного балласта и кончая снастями и парусами. Никто в Сомо не смыкал глаз в эту ночь. Даже самые маленькие дети прыгали вокруг праздничных костров или валялись пресыщенные на песке. В два часа утра, по приказанию Башти, подожгли остов корабля. А Джерри, измученный жаждой, навизжавшись и наплакавшись до полного изнеможения, лежал на боку беспомощный, со связанными ногами, и смотрел, как плавучий мир, с которым его связывало такое недолгое знакомство, обращается в пламя и дым.

При свете этого пожара старый Башти распределил добычу. Каждый член племени, как бы он ни был ничтожен, получил право принять участие в дележе.

Даже жалкие рабы-бушмены, которые, очутившись в плену, не переставали дрожать от страха быть съеденными, получили по глиняной трубке и по несколько пачек табака. Львиная доля товаров осталась не распределенной, и Башти отнес ее в свою собственную большую соломенную хижину. Все богатство оснастки было сложено в нескольких плавучих домах. Знахари в своих жилищах принялись обкуривать над медленным огнем многочисленные головы; кроме команды судна, среди них находилась добрая дюжина обратных из Коолы и несколько ребят с Малу, которых Ван Горн не успел водворить на место.

Однако не все они были убиты. Башти отдал строгие предписания против поголовного истребления. Но это было вызвано не добротой его сердца, а сообразительностью.

В конце концов они все будут умерщвлены. Башти никогда не видел льда, не подозревал, что он существует, и был совершенно не сведущ в искусстве замораживания. Единственным известным ему способом сохранения мяса было сохранение его живым. Поэтому всех пленников поместили в самый большой плавучий дом, мужской клуб, куда ни одна женщина не имела права войти под страхом быть замученной до смерти.

Связав и скрутив пленников, точно кур или свиней, их швырнули на твердый земляной пол, под которым лежали неглубоко зарытые кости прежних вождей; над их головами качались в тростниковых корзинках останки ближайших предшественников Башти; его отец, последний из них, качался уже таким образом на глазах двух вымерших поколений.

Там же находилась тощая девушка из кладовой, ибо табу утрачивало свою силу для приговоренных к варке; ее швырнули, связанную, на пол, среди множества чернокожих, которые прежде дразнили ее тем, что Ван Горн откармливает ее для обеда.

В этот плавучий дом принесли Джерри и бросили на пол вместе с остальными. Аньо, главный знахарь, наткнулся на него на берегу и, несмотря на протесты мальчика, объявившего Джерри своей личной находкой, приказал отнести собаку в плавучий дом.

Когда его проносили мимо праздничных костров, чуткие ноздри передали ему, в чем состояло пиршество.

Несмотря на новизну приключения он ощетинился и зарычал на своих товарищей по заключению. Приученный с рождения видеть в неграх вечных врагов и не отдавая себе отчета в их положении, он и теперь считал их виновниками катастрофы, постигшей «Аранджи» и шкипера.

Ведь Джерри был только маленькой собачкой, ограниченной, как все собаки, к тому же он был новичком на земле. Но Джерри недолго изливал на них свою ярость. Он как-то смутно почуял, что и они не слишком счастливы. Некоторые из них были тяжело ранены и не переставая стонали и охали. Неясно соображая, Джерри все же понял, что они находятся в таких же тяжелых условиях, как и он сам. Его положение было очень мучительным. Он лежал на боку; веревки, связывавшие ему ноги, были так крепко стянуты, что врезыва-

лись в его нежное тело, задерживая кровообращение. Кроме того, он погибал от отсутствия воды и задыхался с пересохшим языком и ртом в удушливой знойной атмосфере.

Печальным местом был этот плавучий дом, наполненный стонами и вздохами; трупы лежали под полом и входили в состав его; существа, которым скоро предстояло стать трупами, валялись на полу; вверху, в своих воздушных гробницах, качались трупы; длинные черные лодки, заостренные, точно клювы хищных чудовищ, смутно выступали в свете тусклого костра, у которого сидел один из патриархов племени Сомо, погруженный в бесконечную работу обкуривания головы бушмена. Морщинистый, слепой, дряхлый, он что-то бормотал и кривлялся, как огромная обезьяна, вертя и переворачивая подвешенную в едком дыму голову; при этом он то и дело подбрасывал в костёр горсть за горстью гнилые куски дерева.

Поднимаясь на шесть футов тусклый огонь освещал по временам темные поперечные балки, конек крыши, покрытый кокосовой плетенкой с черными и белыми варварскими узорами, принявшими от многолетнего обкуривания дымом однотонный грязно-коричневый цвет.

С высоких перекладин свешивались на длинных кокосовых плетеных шнурах головы врагов, захваченных во время набегов на джунгли и морских нападений. Все здесь дышало разрушением и смертью, и дряхлый, слабоумный старик, обкуривавший дымом эмблемы смерти, сам трясся в старческой немощи, приближаясь к разложению в могиле.

На рассвете толпы негров Сомо вытащили на берег еще одну большую военную лодку, с громкими криками волоча, поднимая и толкая ее. Они прокладывали себе дорогу руками и ногами, расталкивая, оттаскивая и отпихивая связанных пленников по обеим сторонам пространства, которое должна была занять лодка. Они далеко не мягко обращались с мясом, доставшимся им благодаря счастливому случаю и сообразительности Башти.

Они посидели немного, покуривая глиняные трубки, смеясь и болтая своеобразным тонким фальцетом о ночных событиях и происшествиях предыдущего дня. От времени до времени кто-нибудь из них вытягивался и засыпал, ничем не прикрываясь. Они со дня рождения привыкали спать голыми под лучами солнца.

Когда заря прорезала тьму не спали только тяжелораненые или слишком туго связанные пленники, да дряхлый патриарх, который был, однако, моложе Башти.

Когда мальчик, оглушивший Джерри ударом весла и заявивший на него право собственности, прокрался в плавучий дом, патриарх ничего не услышал, видеть же его он не мог, так как был слеп. Он, захлебываясь, продолжал безумно лепетать, поворачивая во все стороны головы бушменов и питая костер гнилушками.

Это было неподходящее ночное занятие для кого угодно, даже для него, давно непригодного ни на какое дело. Но общее возбуждение, вызванное рас-

правой с «Аранджи» передалось и его поврежденному мозгу. И он, со слабыми проблесками былой ликующей жизненной силы, исступленно разделял триумф племени Сомо, посвящая себя обкуриванию голов, которое само по себе являлось конкретным выражением победы.

Но двенадцатилетний мальчик, который прокрался сюда и осторожно шагая через спящих, прокладывал себе дорогу между рядами пленников, чувствовал, что у него душа уходит в пятки.

Он знал, какие «табу» он нарушает.

По возрасту он не имел даже права покинуть соломенную кровлю отцовского дома и провести ночь в плавучем доме для юношей, и еще того меньше переночевать в плавучем доме молодых холостяков.

Он знал, что, проникая в святую святых взрослых, зрелых, полноправных членов племени Сомо, он ставит на карту всю свою жизнь, со всеми ее смутно угадываемыми тайнами и дерзновениями.

Но ему нужен был Джерри, и он добыл его. Только связанная для варки тощая девушка, озиравшаяся вокруг широко открытыми, испуганными глазами видела, как мальчик схватил Джерри за его связанные ноги и унес подальше от склада говядины, часть которой составляла она. Героическое, мужественное сердечко Джерри заставило бы его зарычать, возмутившись подобным обращением, если бы он не был так истощен; при том же у него до такой степени пересохло в горле, что он не в силах был издать ни звука. Таким образом Джерри, — сам не свой, несчастный, беспомощный щенок во власти кошмара, — только смутно сознавал, словно пробуждаясь на мгновения между тяжелыми беспокойными снами, что его вынесли вниз головой из пахнущего смертью плавучего дома и понесли через деревню, едва начавшую затихать, вверх по тропинке, под высокими развесистыми деревьями, лениво шевелившимися при первом дуновении утреннего ветра.

ГЛАВА XIII

Мальчика, как узнал потом Джерри, звали Лумаи, и в дом Лумаи был отнесен Джерри. Эта хижина мало напоминала жилье даже наряду с соломенными лачугами людоедов. На земляном полу, пропитанном многолетней грязью, жили отец и мать Лумаи и четверо его младших братьев и сестер. Кровлей им служила протекавшая при каждом ливне тростниковая крыша, которую поддерживал шаткий столб. Стены еще легче пропускали дождь. В общем хижина Лумаи, отца мальчика, была самым убогим жилищем во всем Сомо.

Лумаи, хозяин дома и глава семьи, в противоположность большинству жителей Малаиты, отличался толщиной. Этой полноте он, казалось, и был обязан добродушием и связанной с ним ленью. Но его жена Ленеренго, первая ведьма во всем Сомо, вливалась ложкой дегтя в бочку меда его добродушной беспечности; она была настолько же худа, насколько он был толст; настолько же резка на

язык, насколько он сладкоречив; настолько же безмерно энергична, насколько он безмерно ленив, и привкус жизни во рту ее от рождения настолько же отдавал горечью, насколько был сладок для него.

Проходя мимо хижины на задний двор мальчик заглянул внутрь и увидел своих родителей, спавших неприкрытыми в противоположных углах, а посреди пола голых братьев и сестер, свернувшихся вместе в один клубок, словно выводок щенят. Вокруг хижины, которая, в сущности, едва превосходила по величине звериную нору, расстилался земной рай. Пряный, тяжелый, сладкий воздух был насыщен ароматом душистых трав и роскошных тропических цветов. Над головой три хлебные дерева переплетали свои благородные ветви. Банановые деревья и смоковницы сгибались под тяжестью огромных пучков созревающих плодов.

Крупные золотые дыни папайи, вполне уже спелые, вздувались прямо на тонких стволах деревьев, не имевших в обхвате и десятой доли объема своих плодов. Джерри больше всего восхитился журчанием и плеском ручейка, пробивавшего свою невидимую дорогу по мшистым камням, под прикрытием нежного тонкого папоротника. Ни одна королевская оранжерея не могла бы сравниться с первобытной роскошью этой пропитанной солнцем растительности.

Доведенный до безумия плеском воды, Джерри должен был сперва еще вынести ласки и объятия мальчика, который, сидя на корточках, качался взад и вперед, напевая своеобразную мелодичную песенку.

Джерри, лишенный членораздельной речи, не имел возможности сказать ему, что он умирает от жажды.

Вскоре Ламаи крепко привязал его плетенкой за шею и развязал веревки, которые врезывались в ноги щенка. Джерри так онемел от задержки кровообращения и был так слаб от недостатка воды в течение части тропического дня и целой тропической ночи, что, поднявшись сразу на ноги, зашатался, упал, снова попробовал встать и снова, зашатавшись, упал. Ламаи понял или, может быть, догадался. Он схватил выдолбленный кокосовый орех, привязанный к бамбуковой палке, окунул его в заросли папортника и подал Джерри скорлупу, наполненную до краев драгоценной влагой.

Джерри сначала пил, лежа на боку, пока вместе с влагой жизнь не влилась снова в его иссохшие жилы; тогда он вскочил, еще слабый и шатающийся, упершись всеми четырьмя широко расставленными лапами и снова принялся жадно лакать. Мальчик визжал и захлебывался от восторга при этом зрелище, и Джерри, оправившись и освежившись, получил возможность заговорить с ним на красноречивом языке собак.

Он извлек морду из скорлупы и лизнул руку Ламаи своим розовым языком. А Ламаи, в восторге от установившегося общего языка, снова подсунул скорлупу под морду Джерри, который тут же принялся снова пить.

Он пил не отрываясь, пил, пока его бока, запавшие от жажды, не раздулись, как стенки шара; однако промежутки между глотками постепенно становились

все длиннее, и он употреблял их на то, чтобы выразить свою благодарность, прикасаясь языком к черной коже руки Ламаи.

Все шло хорошо и продолжало бы идти так же хорошо, если бы не мать Ламаи Ленеренго. Внезапно проснувшись и перешагнув через свой черный выводок, она накинулась с визгом на старшего сына. Зачем он привел в дом лишний рот, который навлечет кучу осложнений в хозяйстве?

Вслед за этим началась перебранка человеческих голосов, слов которой Джерри не понимал, но смысл все же угадывал. Ламаи стоял за него. Мать Ламаи была против него. Она, взвизгивая, выражала пронзительным голосом свое твердое убеждение в том, что сын ее идиот, и даже хуже идиота, потому что от идиота все же можно ожидать деликатности и заботы об изнуренной работой матери. Она призвала на подмогу Ламаи; тот проснулся, тяжелый и жирный, и принялся бормотать на диалекте Сомо, что в этом мире отлично живется, что щенки и первенцы прекрасное изобретение, что он до сих пор еще с голоду не умирал, а покой и сон самые драгоценные блага для всякого смертного; в доказательство этого он вернулся к покою сна, уткнулся носом в мускулы своей руки вместо подушки и захрапел...

Но Ламаи, упрямо нахмурившись и возмущенно топая ногой, не выпускал щенка из рук, в полной уверенности, что ничто не помешает ему отскочить и убежать, если мать вздумает наброситься на него.

Наконец, после длинной речи о негодности отца Ламаи, она опять ушла спать.

Идеи рождают идеи. Ламаи видел, какую поразительную жажду обнаружил Джерри. Отсюда у него зародилась мысль, что щенок, может быть, в такой же мере и голоден. Поэтому он прибавил сухих веток к вытащенным из пепла очага тлеющим углям и сложил большой костер. Когда пламя разгорелось, он положил в костер несколько камней из ближайшей груды: камни эти, почерневшие от дыма, по-видимому не раз уже употреблялись для подобной цели. Потом он достал плетеный мешок, спрятанный под водой в ручейке, и вытащил оттуда труп жирного лесного голубя, которого накануне сам поймал в сеть. Он завернул его в свежие листья, окружил горячими камнями, вынутыми из костра, и прикрыл все это землей.

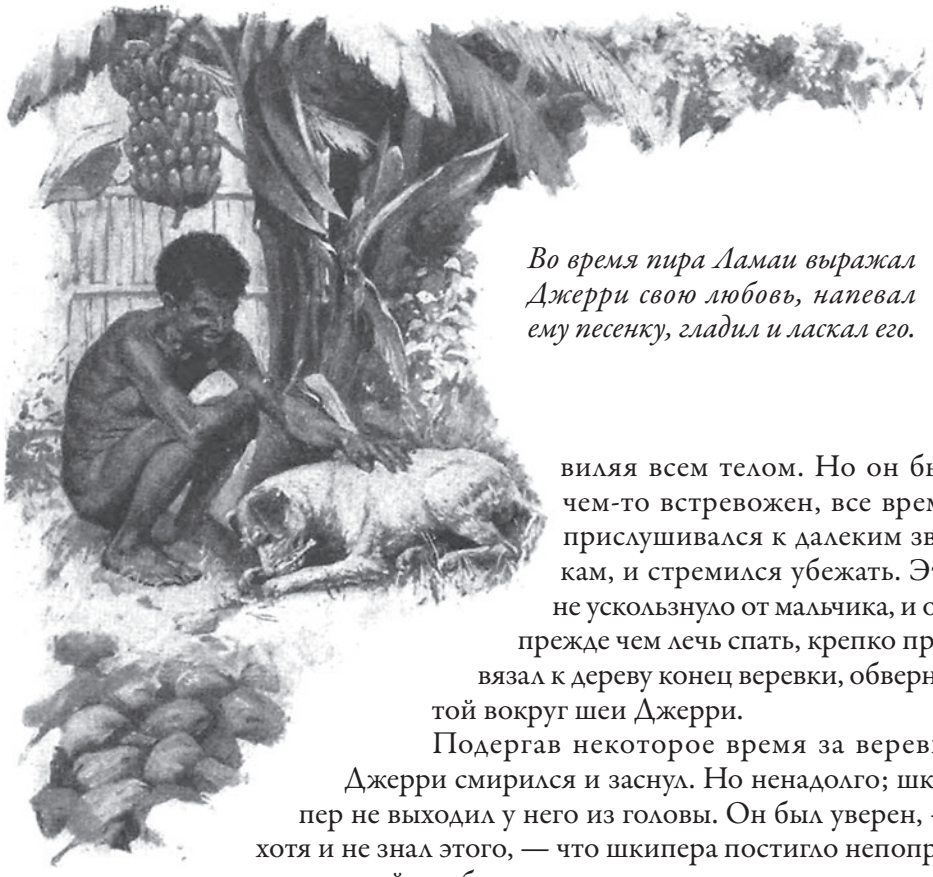
Когда, через некоторое время, вытащив голубя, он сорвал с него оболочку из листьев, от птицы пошел такой вкусный запах, что уши Джерри навострились и ноздри затрепетали.

Мальчик разорвал дымящееся жаркое, охладил его, и пиршество Джерри началось.

Оно кончилось лишь тогда, когда, оторвав и слизав с костей последние остатки мяса, он проглотил и кости, раскусив и раздробив их на кусочки.

Во время пира Ламаи выражал Джерри свою любовь, напевал ему песенку, гладил и ласкал его.

Джерри, со своей стороны, подкрепившись водой и мясом, не проявлял большой сердечности в ответ на любовь Ламаи. Он был вежлив и принимал ласки, мягко поблескивая глазами, помахивая хвостом и, по обыкновению,



Во время пира Ламаи выражал Джерри свою любовь, напевал ему песенку, гладил и ласкал его.

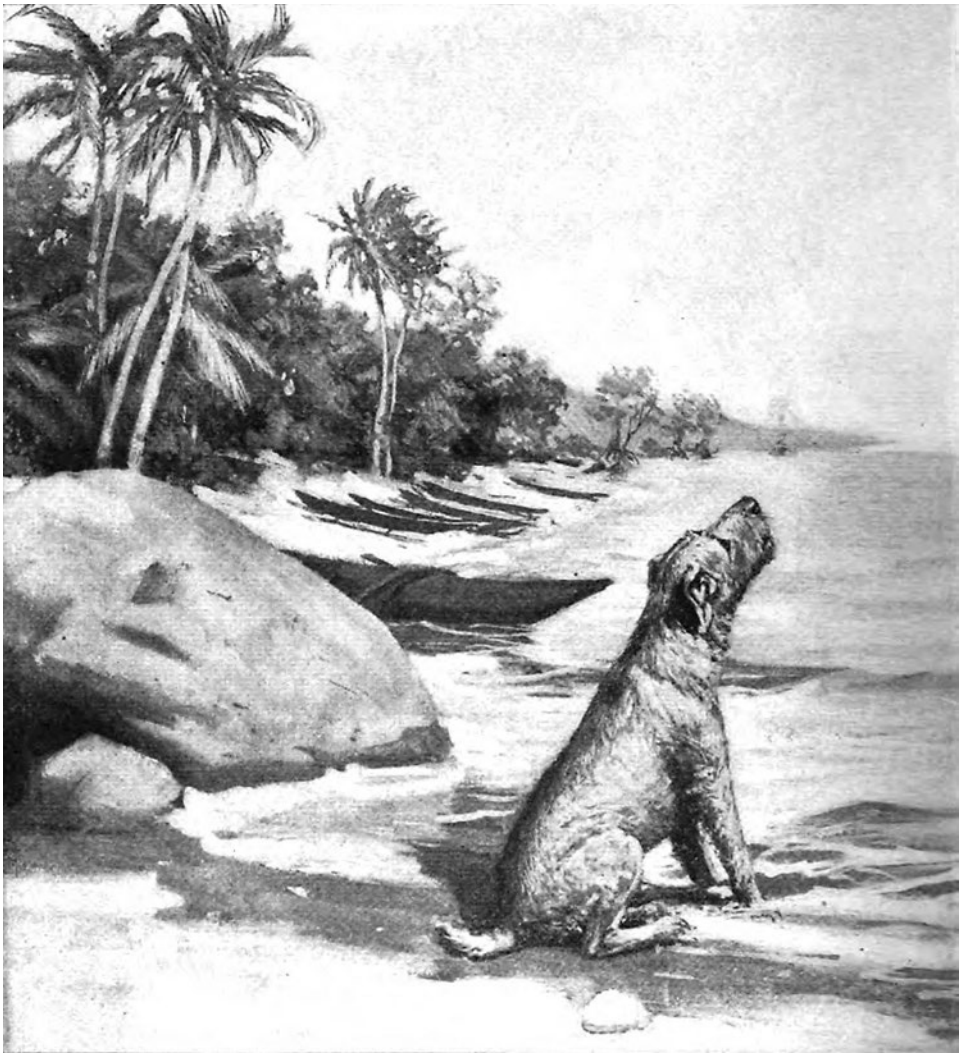
виляя всем телом. Но он был чем-то встревожен, все время прислушивался к далеким звукам, и стремился убежать. Это не ускользнуло от мальчика, и он, прежде чем лечь спать, крепко привязал к дереву конец веревки, обвернутой вокруг шеи Джерри.

Подергав некоторое время за веревку Джерри смирился и заснул. Но ненадолго; шкипер не выходил у него из головы. Он был уверен, — хотя и не знал этого, — что шкипера постигло непоправимое, величайшее бедствие.

Наконец, тихонько повизжав и поплакав, он вонзил в плетеную веревку свои острые передние зубы и стал грызть ее, пока она не разорвалась. Свободный, как возвращающийся домой голубь, он прямо, слепо бросился к берегу и соленому морю, где плавала «Аранджи», со шкипером, распоряжавшимся на палубе.

Сомо было довольно пустынным местом, и те, которые населяли его, сейчас были погружены в сон. Поэтому никто не задержал Джерри, в то время как он пробегал по извилистым тропинкам мимо множества хижин и зловещих памятников тотемической геральдики, изображавших вырезанные из цельного дерева человеческие фигуры в открытых пастях резных акул; ибо племя Сомо, начиная с его основателя Сомо, почитало бога акул и морских богов наравне с божествами лесов, болот и гор.

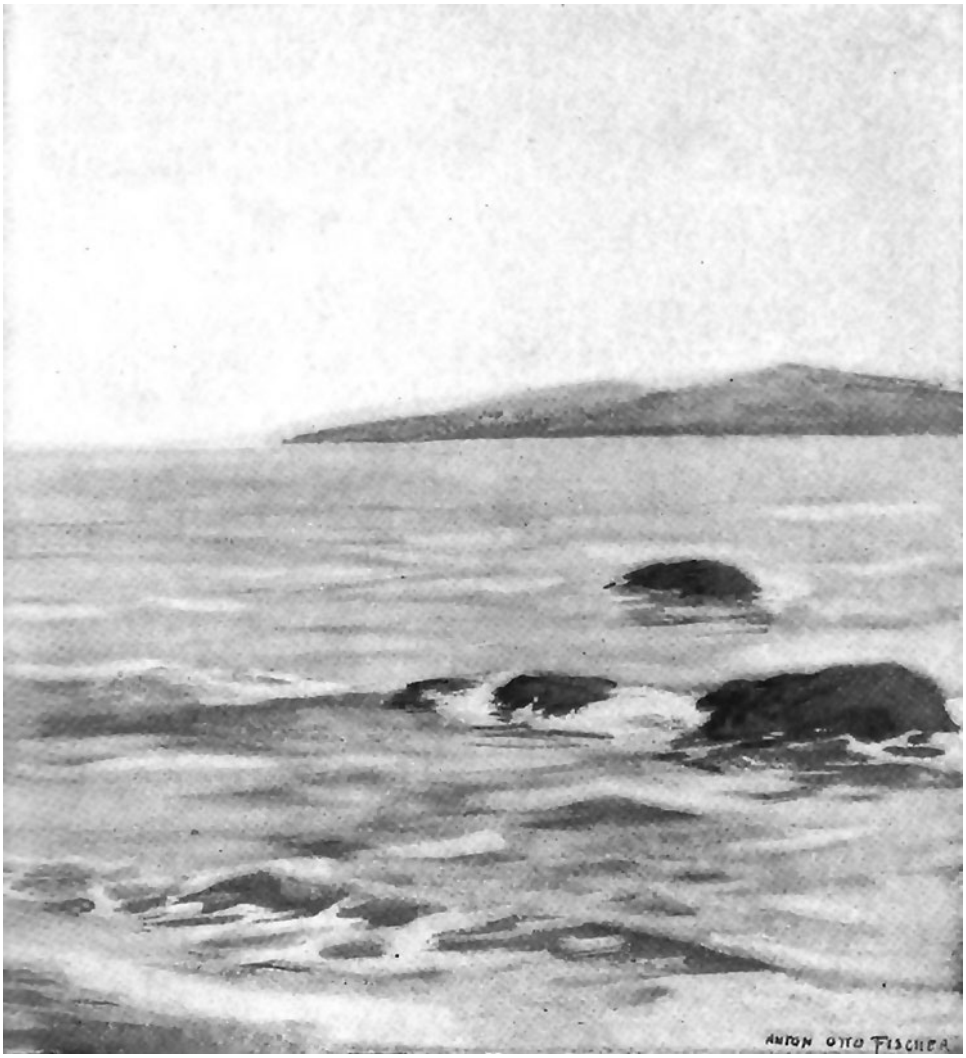
Повернув направо и обогнув приморскую стену, Джерри спустился к берегу. На гладкой поверхности залива не было и следа «Аранджи». Вокруг валялись остатки пира, и Джерри втянул дымные запахи угасающего огня и горелого мяса.



Многие из участников пира: мужчины, женщины, дети и целые семьи, не дав себе труда вернуться домой, спали тут же на песке, под утренним солнцем, на том месте, где их настиг сон.

Джерри уселся на самый край берега, так что его передние лапы очутились в воде. Сердце его рвалось к шкиперу, и он, подняв морду к небу и солнцу, завыл в тоске, как всегда воют собаки с тех пор, как пришли из диких лесов к очагам человека.

Здесь нашел его Ламаи; он убаюкал горе Джерри на своей груди, сжимая его в объятиях, и снова отнес его к тростниковой хижине у ручья. Он предложил ему воды, но Джерри не хотел больше пить. Он предложил ему свою любовь, но Джерри не мог забыть своей мучительной тоски по шкиперу.



Джерри уселся на самый край берега, так что его передние лапы очутились в воде.

В конце концов, возмущенный неблагоразумием щенка, Ламаи забыл о своей любви и в порыве мальчишеской жестокости ударил Джерри по голове, справа и слева; затем он привязал его так, как редко привязывают собак белых людей. Ламаи был в своем роде гением. Он никогда не видел, как это проделывают с собаками, но все же тотчас догадался привязать Джерри при помощи палки. Это была бамбуковая палка, длиной в четыре фута. Он туго привязал один конец ее к шее Джерри, а другой не менее туго к дереву. Зубы Джерри могли достать только палку, а сухой старый бамбук не боится собачьих зубов, каковы бы они ни были.

ГЛАВА XIV

Джерри, привязанный к палке, в течение нескольких дней оставался пленником Ламаи. Нельзя сказать, чтобы это было для него счастливое время, так как в доме Ламаи постоянно происходили ссоры и драки. Ламаи отчаянно сражался со своими братьями и сестрами за то, что те дразнили Джерри, и сражения неизменно заканчивались вмешательством Ленеренго, которая беспристрастно наказывала все потомство сразу.

После этого она обычно долго объяснялась с Лумаи, кроткий голос которого всегда проповедовал мир и спокойствие; в результате перебранки Лумаи всегда уходил дня на два в плавучий дом. Тут уж Ленеренго была бессильна. В плавучий дом мужчины не смела проникнуть ни одна женщина. Ленеренго никогда не могла забыть судьбы последней женщины, нарушившей это табу. Это случилось много лет назад, когда она была еще девочкой, но воспоминание о несчастной женщине все еще живо сохранилось в ней: преступница два дня провисела на солнце сначала на одной, потом на другой руке. Затем ее съели проживавшие в плавучем доме мужчины, и все женщины еще долго после этого разговаривали со своими мужьями чрезвычайно кротким шепотом.

Джерри обнаруживал некоторую склонность к Ламаи, но она не отличалась ни глубиной, ни страстностью. Она вытекала скорее из благодарности, так как один только Ламаи заботился о том, чтобы у него была пища и вода. Однако, этот мальчик не был ни шкипером, ни мистером Хаггин. Это не был даже Дерби или Боб. Он был низшим человеческим существом — чернокожим, а Джерри в течение всей его короткой жизни внушали закон, что белые люди — высшие двуногие божества.

Он, однако, не замедлил оценить ум и могущество, которым обладали чернокожие. Он не стал размышлять об этом, а просто принял, как факт. Они имели власть распоряжаться другим предметом, умели бросать в воздух палки и камни, могли превратить его самого в беспомощного пленника, привязав к палке. Как ни уступали они белым богам, все же это были тоже своего рода боги.

Первый раз в жизни Джерри был привязан, и это ему не понравилось. Напрасно он ломал себе зубы. Палка была сильнее его. Он еще не забыл шкипера, но острота потери смягчилась под влиянием времени, и теперь сильнее всего в нем было желание очутиться на свободе.

Однако, когда час освобождения настал, он не сумел воспользоваться им и удрать на берег. Случилось так, что его освободила Ленеренго. Она сделала это умышленно, желая избавиться от щенка. Но, когда она отвязала Джерри, тот остановился, чтобы выразить ей благодарность, махая хвостом и улыбаясь ей своими темно-ореховыми глазами. Она топнула на него ногой, чтоб он убрался, и прикрикнула на него грубо и угрожающе. Джерри этого не понял; страх был до такой степени чужд ему, что его нельзя было испугом обратить в бегство. Он только перестал вилять хвостом и продолжал смотреть на нее, подняв морду, но глаза его больше не улыбались. Ее поведение и издаваемые

звуки он определил, как недружественные, и он насторожился, готовясь отразить первый враждебный шаг, который она предпримет.

Она опять закричала и топнула ногой. Единственным результатом этого было то, что Джерри перевел взгляд с ее лица на ее ноги. Ленеренго, выведенная из себя его медлительностью, пихнула его ногой, и Джерри, обороняясь, укусил ее за лодыжку.

Бой развернулся тотчас же и весьма вероятно, что она в раздражении убила бы Джерри, если бы на поле битвы не появился вдруг Ламаи. Свободно лежащая на земле палка выдала ему измену Ленеренго. Распалившись гневом, Ламаи бросился между сражающимися и отклонил удар увесистого каменного пестика, который, наверное, раздробил бы Джерри голову.

Теперь один Ламаи подвергался опасности; он успел уже получить от матери здоровую пощечину, когда бедный Лумаи, разбуженный шумом, вышел, чтобы попытаться водворить мир. Ленеренго, по обыкновению, забыла все ради жестокого удовольствия задать головомойку своему мужу.

Кончилось происшествие довольно благополучно. Дети перестали плакать. Ламаи снова привязал Джерри к палке; Ленеренго, захлебываясь, изливала потоки брани, а Ламаи, оскорбленный в своих лучших чувствах, отправился в плавучий дом, где мужчины могли спать спокойно и где им не досаждали женщины.

В эту ночь, в дружеском кругу, Ламаи рассказал о своих неприятностях и о том, что причиной их является щенок с «Аранджи». Случилось так, что Агно, главный знахарь или верховный жрец, услышал рассказ и тотчас же вспомнил о том, как отправил Джерри вместе с другими пленниками в плавучий дом. Через полчаса он выяснил это дело с Ламаи. Без сомнения, он нарушил табу,— сказал ему знахарь с глазу на глаз; юноша задрожал, заплакал и повалился знахарю в ноги; он знал, что наказанием за это была смерть.

Это был слишком удобный для Агно случай получить власть над юношей, чтобы он упустил его из рук. Мертвый Ламаи был ему не нужен, но живой Ламаи, всецело ему подчиненный, Ламаи, жизнь которого он будет держать в своих руках, мог весьма и весьма пригодиться ему. Раз никто, кроме него, не знал о нарушенном юношей табу, он мог быть спокоен. Он приказал Ламаи сейчас же переселиться в плавучий дом для подростков и начать длинный искус, в результате которого, после целого ряда испытаний и церемоний, он сделается полноправным членом плавучего дома для молодых людей и приблизится к тому, чтобы быть признанным настоящим мужчиной.

Утром, повинуясь приказанию знахаря, Ленеренго связала Джерри ноги. Дело не обошлось без борьбы, во время которой он получил несколько ударов по голове, а руки Ленеренго оказалась исцарапанными. Она понесла связанного Джерри через деревню к дому Агно. По дороге, дойдя до открытого места в центре деревни, где стояла виселица, она положила щенка, чтобы принять участие в общем веселье.

Старый Башти был не только суровым законодателем, но и единственным в своем роде правителем. Он избрал этот день, чтобы в одно время наказать

двух ссорившихся между собой женщин, дать этим урок всем остальным и лишний раз доставить своим подданным случай поздравить себя с таким вождем.

Тига и Вивау были коренастые здоровые женщины и давно уже служили притчей во языцех, благодаря своим постоянным ссорам. Башти устроил для них состязание в беге. Но что за состязание! Можно было просто лопнуть со смеху. Даже престарелые матроны и длиннобородые старики, стоявшие одной ногой в могиле, визжали и кричали в восторге от предстоящего зрелища.

Путь для бега — с полмили — проходил по самой середине деревни от того места, где была сожжена «Аранджи», до берега у другого конца крепостной стены. Тиге и Вивау предстояло пробежать это расстояние туда и обратно, причем в том и другом случае одна из них должна была подгонять другую, а та стремиться к недостижимой быстроте.

Только голова Башти могла изобрести подобное зрелище. Во-первых, Тиге были даны два круглых коралловых камня, весом не меньше сорока фунтов каждый. Она была вынуждена вплотную прижимать их к своим бокам, чтобы не выронить на землю. Позади нее Башти поставил Вивау, вооруженную длинным легким бамбуковым шестом с прикрепленными на конце щетинами из бамбуковых лучинок. Лучинки эти были остры, как иглы, и действительно употреблялись в качестве игл при татуировке; помещенные на конце шеста, они должны были действовать на Тиги таким же образом, как бодила, употребляемые людьми, действуют на быков. Это не угрожало серьезными повреждениями, но должно было вызвать много мучений, что как раз входило в план Башти.

Вивау тыкала своим бодилом, а Тиги, пошатываясь и спотыкаясь, пускала в ход невероятные гимнастические приемы, чтобы двигаться быстрее. Достигнув берега, действующие лица должны были обменяться ролями. Вивау получала камни, а Тига бодило. И Вивау, зная, что Тига сторицей воздаст ей за то, что получит от нее, изо всех сил старалась всыпать той, как можно больше. Пот градом катился с лиц обеих.

Каждая имела в толпе своих сторонников, которые поощряли их и награждали взрывами смеха каждый удар.

Но под шутовским характером всей церемонии скрывался железный закон дикарей. Оба камня должны были быть донесены до самого конца. Женщина, погонявшая другую бодилом, должна была делать это проворно и добросовестно. Женщина, которую погоняли, должна была сдерживаться и не имела права вступать в драку со своей мучительницей. Башти предупредил их, что за нарушение правил, которые он установил, виновная будет привязана к рифу во время отлива и отдана на съедение акулам.

Когда состязающиеся подошли к тому месту, где стоял Башти со своим первым министром, Аорой, рвение их еще усилилось. Вивау с энтузиазмом работала бодилом, а Тига подпрыгивала при каждом уколе, рискуя уронить камни. За ними по пятам следовали ребятишки со всего селения и деревенские собаки; и все это визжало и гикало в сильнейшем возбуждении.

— Эй, Тига, тебе не скоро можно будет сидеть! — заорал Аора.

Башти загоготал.

После одного сильного удара Тига уронила камень; пока она, опустившись на колени, поднимала его, Вивау не прекращала работать бодилом.

Один раз, выведенная из терпения болью, Тига решительно остановилась и обратилась к своей мучительнице:

— Вот погоди... ты смотри... верно говорю... моя много, много сердита...— сказала она Вивау.

Но угроза осталась неосуществленной. Ревностно нанесенный удар поколебал ее стоицизм и заставил ее заковылять снова.

Рев толпы стал затихать вдали, но уже через несколько минут послышалось приближение обратной волны; на этот раз Вивау задыхалась под тяжестью камней, а Тига, возмущенная тем, что ей пришлось вынести, старалась отплатить сторицей.

Около того места, где сидел Башти, Вивау уронила один камень и, стараясь поднять его, выпустила и второй, который откатился футов на двенадцать от первого; Тига превратилась в фурию, и все Сомо точно обезумело. Башти схватился от хохота за свои тощие бока и слезы самого неподдельного веселья потекли по его щекам, обильно изборожденным морщинами.

Когда все кончилось, Башти обратился к своему народу со словами:

— Так будут драться все женщины, если они захотят слишком много драться!

ГЛАВА XV

Спустя некоторое время после окончания этой церемонии Башти остановился поболтать со своими приближенными, среди которых был и Агно. Ленеренго также была занята разговором со старыми приятельницами.

Так как Джерри, забытый ею, продолжал лежать на земле, то дикая собака, которую он задирал на «Аранджи», решилась подойти к нему и обнюхать. Сначала она обнюхивала его на почтительном расстоянии, готовясь немедленно пуститься в бегство. Потом с осторожностью приблизилась. Джерри следил за ней горящими глазами, и в ту минуту, когда нос дикой собаки коснулся его, он издал предостерегающее рычание. Дикая собака отскочила и бросилась бежать во все лопатки; только пробежав несколько десятков шагов она остановилась, убедившись, что за ней никто не гонится.

Затем она снова осторожно вернулась, пресмыкаясь так, что брюхо ее почти волочилось по земле. Она опускала и поднимала свои лапы с гибкостью и легкостью кошки и время от времени озиралась по сторонам, как будто ожидала нападения сбоку. Шумный взрыв мальчишеского смеха, раздавшийся на расстоянии, заставил ее сразу пригнуться еще ниже; когти ее вонзились в землю, ища опоры, мускулы натянулись и приготовились к прыжку в неизвестном направлении от неведомой опасности, которая могла грозить ей. Затем она разо-

бралась в шуме, поняла, что он не предвещает ей никакой беды, и снова стала ползком приближаться к ирландскому терьеру.

Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы взор Башти не остановился случайно в эту минуту на щенке — в первый раз со времени взятия в плен «Аранджи». В вихре событий Башти совершенно забыл о нем.

— Как звать? Что за собака? — резко спросил он, заставив этим дикую собаку снова припасть к земле.

Ленеренго, услышав вопрос, в страхе простерлась ниц перед грозным старым вождем и дрожащим голосом рассказала, в чем дело. Ее бездельник-сын, Ламаи, вытащил собаку из воды. Дома из-за этого было много неприятностей. Но теперь, когда Ламаи ушел жить с подростками, она понесла собаку к Агно по его приказанию.

— Как звать? Зачем собака? — обратился Башти непосредственно к Агно.

— Кай-кай, — был ответ. — Жирный собака. Хорош собака.

В старом, но живом еще мозгу Башти вспыхнула мысль, давно уже зревшая там.

— Хорош собака, — провозгласил он. — Кай-кай лучше вот плохой собака, — посоветовал он, показывая на дикую собаку.

Агно покачал головой.

— Лесной собака нехорош кай-кай.

— Лесной собака мало-мало хорош, — изрек свой приговор Башти. — Лесной собака много-много трус. Белый хозяин собака много-много храбрый.

Башти подошел к Джерри и разрезал веревки, связывавшие его ноги. Джерри, почувствовав себя на свободе, на этот раз не остановился для выражения своей благодарности. Он погнался за дикой собакой, нагнал ее на лету и стал катать по земле, поднимая облако пыли. Всякий раз, как дикая собака делала попытку удрать, Джерри снова настигал ее, валил на землю и кусал, а Башти выражал свое одобрение и призывал своих приближённых полюбоваться на зрелище.

К этому времени Джерри сделался похож на взбесившегося дьяволенка. Разъяренный всеми несчастьями, выпавшими на его долю, начиная с кровавого дня на «Аранджи» и утраты шкипера вплоть до последнего унижения — связанных ног, он вымещал на дикой собаке все пережитое. Хозяин собаки, обратный, имел неосторожность дать Джерри пинка, чтобы отогнать эго. Джерри тотчас же бросился на него, вонзил свои зубы в его икры и, очутившись в стремительности своей атаки между ног черного, повалил его на землю.

— Как звать? — в бешенстве крикнул Башти бедному малому, который лежал полумертвый от страха и, дрожа, ждал, какие дальнейшие слова сойдут с уст грозного вождя.

Но Башти уже корчился от смеха. Дикая собака спасала свою жизнь, удирая во все лопатки, а Джерри гнался за ней, поднимая облако пыли.

Когда собаки скрылись из виду, Башти изложил свою мысль. Когда люди выращивают банановые деревья, то снимают с них бананы. Когда они сажают

ямс, то собирают потом ямс, а не сладкую картошку или смокву, один только ямс, ничего кроме ямса. То же и с собаками. Так как все собаки черных трусливы, то все потомство от собак черных будет трусливым. Собаки белых храбрые бойцы. Если их разводить, они произведут храбрых собак. Вот у них есть собака белого человека. Было бы величайшей глупостью съесть ее и навсегда уничтожить мужество, которое имеется в ней. Гораздо умнее смотреть на эту собаку как на производителя, оставить ее в живых для того, чтобы следующие поколения собак Сомо унаследовали ее храбрость, которая сделалась бы, таким образом, общим достоянием всех собак Сомо, превратив их в сильных и храбрых животных.

В результате Башти приказал знахарю заботиться о Джерри и беречь его. Кроме того, он велел объявить всему племени, что Джерри отныне является табу. Ни один мужчина, ни одна женщина, ни один ребенок не смел метать в него дротиком или камнем, бить его палкой или томагавком, или вообще причинять ему вред каким бы то ни было способом.

С этого времени и до того момента, пока Джерри сам не нарушил одно из величайших табу, он вел счастливую жизнь в мрачной землянке Агно. Ибо Башти, не в пример прочим вождям, держал своего знахаря в ежовых рукавицах. Другие вожди, даже Нау-Хау из Ланга-Ланга, сами находились в подчинении у своих знахарей. Поэтому население Сомо было убеждено, что и Башти следует указке знахаря. Но люди Сомо не ведали о том, что делалось за кулисами, когда Башти, отъявленный безбожник, говорил со знахарями откровенно.

В этих частных разговорах он показывал им, что знает их фокусы не хуже их самих, и что он далеко не раб мрачных суеверий и грубого обмана, при помощи которых они держат народ в повиновении. Он исповедовал теорию, такую же древнюю, как сами жрецы и правители, что жрецы и правители должны действовать сообща, чтобы хорошо управлять народом. Он признавал, что люди должны верить тому, что богам и жрецам, являющимся вестниками воли богов, принадлежит решающее слово, но жрецы должны были знать, что в действительности решающее слово остается за ними. Как ни мало они верили в свои плутни, он заявлял им, что верит в них еще меньше.

Он знал, что такое табу и какая правда скрывалась за табу. Он объяснял свои личные табу и их происхождение. Он не должен есть известные сорта рыбы. Он их не любит. Старый Нипо, бывший верховный жрец до Анго, установил это табу по его же, Башти, секретному приказанию.

Так как он был старше самого старого из жрецов, то и назначил их в свое время. Они жили его милостью и должны были и впредь руководствоваться его указаниями, как делали это до сих пор, если вообще дорожили своим существованием. Пусть только вспомнят смерть Кори, знахаря, который считал себя сильнее своего вождя, и который, в наказание за такое свое заблуждение, целую неделю кричал под пыткой, пока не скончался.

В просторной землянке Агно было мало света, и она была полна таинственности. Но эта таинственность не существовала для Джерри; для него существо-

вали только те предметы, которые он знал, и он отнюдь не ломал себе головы над тем, чего не знал. Высушенные человеческие головы и другие засушенные заплесневелые человеческие останки производили на него не больше впечатления, чем высушенные аллигаторы и сушеные рыбы, украшавшие мрачное жилище Агно.

Джерри пользовался хорошим уходом. Женщины и дети не нарушали своим гамом тишину дома знахаря. Несколько старух, девочка лет одиннадцати, отгонявшая мух, и двое юношей, которые были переведены сюда из плавучего дома и изучали жреческое искусство, составляли весь штат жреца, и все вместе ухаживали за Джерри. К его услугам была лучшая пища. Как только Агно съедал первый кусок свинины, Джерри подавали следующий. Даже оба молодых ученика и девушка-опахальщица ели после него, предоставляя остатки старухам. Не в пример диким собакам, искавшим защиты от дождя под свисавшими выступами кровель, Джерри имел сухое место под крышей, откуда свешивались головы бушменов и белых промышленников, торговавших сандаловым деревом, пыльные внутренности акул, черепа крокодилов и скелеты крыс в две трети ярда длиной, считая от кончика носа до кончика хвоста.

Пользуясь неограниченной свободой, Джерри несколько раз прокрадывался через всю деревню к дому Ламаи. Но он никогда не встречал Ламаи, который, после шкипера, был единственным человеческим существом, нашедшим дорогу к его сердцу. Джерри никогда не появлялся открыто, а смотрел на дом из густых зарослей, покрывавших берег ручья, и нюхал воздух. Запаха Ламаи ему так и не удалось уловить, и, спустя некоторое время, он отказался от своих бесплодных посещений; он стал считать дом знахаря своим домом, а самого знахаря — своим хозяином.

Но он не питал любви к этому новому хозяину. Агно, всегда управлявший своим домом при помощи страха, не знал, что такое любовь. Чувство привязанности, искренность были чужды ему. Он не обладал чувством юмора и отличался холодной жестокостью. Агно был вторым после Башти по могуществу, и все дни его были отравлены сознанием, что он не первый. Он не питал нежности к Джерри и боялся причинить ему вред только из страха перед Башти.

Прошли месяцы, и у Джерри появились крепкие, массивные вторичные зубы, к тому же он значительно увеличился в объеме и в весе. Он был избалован, как только может быть избалована собака. Представляя собой табу, он быстро научился господствовать над племенем Сомо и давать волю всем своим наклонностям. Никто не смел в чем-либо перечить ему. Агно ненавидел Джерри и тот знал это; но он знал также, что Агно боится его и не посмеет причинить ему вреда. Но Агно был хладнокровным философом и выжидал своего времени; он отличался от Джерри тем, что, как человек, обладал способностью учитывать будущее и благодаря этому согласовать свои поступки с отдаленными целями.

С берега лагуны, в воды которой он никогда не осмеливался входить, помня табу крокодилов Мэринджа, Джерри бегал в деревни, разбросанные в джунглях

и находившиеся под властью Башти. Все давали ему дорогу. Все кормили его, когда он хотел есть. Ибо на нем было табу; он мог безнаказанно ложиться на их постели и есть из их посуды. Он мог задирать кого угодно, быть надменным до неприличия, и никто не смел остановить его. Башти издал даже приказ, чтобы жители Сомо защищали Джерри, если на него нападут взрослые местные собаки, отгоняя последних пинками и камнями. Таким-то путем его четвероногие сородичи познали на горьком опыте, что он был табу.

И Джерри процветал. Он легко мог бы ожиреть до отупения, если бы его не спасали от этого сильно натянутые нервы и ненасытная страстная любознательность. Пользуясь по всему Сомо полной свободой, он уходил за пределы территории племени, знакомясь с его границами и обычаями населявших леса и болота диких животных, не признававших табу.

Немало встречал он приключений. Он имел две стычки с лесными крысами, немногим уступавшими ему по величине; огромные, дикие и неистовые, они задали ему такое сражение, какого ему еще никогда не приходилось выдерживать. Одну из них он загрыз, не зная того, что это старая и слабая крыса. Но другая, в расцвете сил, так отомстила ему, что он, слабый и измученный, едва приполз назад в дом знахаря и в течение недели, лежа под сухими эмблемами смерти, зализывал свои раны, медленно возвращаясь к жизни и здоровью.

Он подкрадывался к дюгоням и забавлялся тем, что пугал этих глупых и кротких морских коров внезапными свирепыми нападениями; все это проделывалось только для видимости, и он смеялся от сознания хорошо разыгранной шутки. Он сгонял неперелетных тропических уток с их искусно свитых гнезд, осторожно бродил между крокодилами, вышедшими из воды, чтобы подремать на солнышке, забирался под своды джунглей и выслеживал там белоснежного наглого какаду, свирепого морского орла, тяжело летающего сарыча, райского попугая, зимородка и невероятно болтливого маленького карликового попугая.

Три раза, выходя за пределы Сомо, он встречал маленьких черных бушменов, которые больше походили на духов, чем на людей,— так бесшумно и незаметно они двигались; они подстерегали кабанов из джунглей, и все три памятных раза запускали в него дротиком, но без успеха. Эти двуногие хитрецы в сумерках джунглей так же научили его осторожности, как когда-то крысы. Он не вступал в драку с ними, несмотря на то, что те пытались пронзить его дротиками. Джерри очень быстро понял, что эти люди были не то, что жители Сомо, и на них его табу не распространялось; они при всем своеобразии тоже принадлежали к числу тех двуногих богов, которые носят в руках летающую смерть.

По селению Джерри слонялся так же свободно, как и по джунглям. Для него не существовало священного места. В доме знахаря, где перед лицом тайны мужчины и женщины ползали, дрожа от страха, он дерзал делать стойку и щетиниться; там были подвешены свежие головы, его глаза и чуткие ноздри подсказывали ему, что это те же самые головы, которые он видел живыми у чер-

нокожих на «Аранджи». В большой кумирне он наткнулся на голову Боркмана и зарычал на нее; зарычал потому, что вспомнил о драке, которую затеял с ним однажды этот пропойца на борту «Аранджи».

Но раз он натолкнулся в доме Башти на то единственное, что оставалось на земле от шкипера. Башти прожил очень долго, прожил мудро, и ясно сознавал, что жизнь его, даже значительно превосходя обычную продолжительность человеческой жизни, все же очень коротка. И он стремился уяснить себе смысл и цель жизни. Он любил мир, любил жизнь, в которую родился на счастье, он был доволен и своим здоровьем, и своим положением; он ведь занимал первое место над высшими жрецами и прочим людом. Он не боялся смерти, не размышлял о том, будет ли он жить снова. Он не верил в глупые россказни обманщиков-жрецов и чувствовал себя в высшей степени одиноким в этом хаосе запутанных проблем.

Ибо он прожил так долго и так счастливо, что ему пришлось наблюдать в себе постепенное отмирание всех самых мощных желаний и чувств вплоть до полного их исчезновения. Он знал в юношеском возрасте женщин, имел детей, испытал остроту голода. Он видел, как его дети стали взрослыми мужчинами и женщинами и, в свою очередь, сделались отцами и матерями, дедушками и бабушками. Но, познав женщин, узнав любовь, родительские чувства и радости желудка, он перешагнул через все это. Пища! Он так мало ел теперь, что едва сознавал ее значение. Голод, который терзал его внутренности и подгонял его, как шпоры подгоняют лошадь, когда он был молод и силен, давно уже перестал тревожить его. Он ел, подчиняясь сознанию необходимости, как бы исполняя обязанность, и мало думал о том, что ест; единственное исключение составляли яйца мегапода, которые эти птицы клали в его собственном, тщательно охраняемом табу, птичьем дворе для мегаподов. В этом заключалось его последнее сохранившееся чувственное наслаждение. Что касается всего остального, то он жил одним интеллектом, управляя своим народом, выбирая удобное время для введения новых законов, которые могли бы способствовать усилению его народа и обеспечить ему выживание.

Но он ясно понимал разницу между абстрактным понятием племени и самым конкретным изо всех — индивидуума. Племя продолжало жить, хотя члены его умирали. Племя было воспоминанием об истории и обычаях всех предшествовавших поколений, воспоминанием, которым живые поколения продолжали руководиться в своей жизни до тех пор, пока не умирали сами, отходя в свою очередь в область истории и воспоминаний и увеличивая собой неуловимый итог, носивший название племени. Он сам, как член племени, рано или поздно — а это «поздно» все приближалось — должен уйти и исчезнуть. Но куда? Вот тут-то и была загадка. Вот почему, бывало, он приказывал всем удаляться из своей большой соломенной хижины и, оставшись наедине со своей проблемой, снимал со стропил крыши одну из завернутых в циновки голов людей, которых он когда-то знал живыми и которые пребывали теперь в таинственном небытии смерти.

Не как скряга собирал он эти головы и не как скряга, тайно считающий свои сокровища, размышлял над ними, когда, освободив их из циновок, держал их в руках или клал к себе на колени. Он хотел знать. Он хотел знать то, что, как казалось ему, они должны были узнать, погрузившись во тьму, обволакивающую конец жизни.

Разнообразны были головы, которых вопрошал таким образом Башти в полумраке своей соломенной хижины, держа их в руках или на коленях, в то время как стоявшее над головой солнце опаляло землю и слабый юго-восточный ветерок играл листьями пальм и ветвями хлебного дерева. Тут была голова японца, единственного японца, которого он видел и о котором когда-либо слышал за всю жизнь. Она была взята его отцом еще до его рождения. Она плохо сохранилась и была поломана и повреждена от давности и небрежного отношения. Но он все же изучал ее черты, зная, что на этом лице некогда были губы, такие же яркие, как и у него, и рот такой же говорливый и жадный, каким был когда-то и его рот. Голова эта имела некогда два глаза, нос, густую шапку волос и пару ушей, похожих на его собственные; она обладала туловищем, ногами, испытывала желания и страсти. Пыл гнева и жар любви, думал он, были так же некогда знакомы ей в то время, когда владелец ее и не помышлял еще о смерти.

Одна голова в особенности интересовала его; происхождение ее было древнее эпохи его отца и деда; она принадлежала французу, хотя Башти не знал этого. Не знал он и того, что это была голова Лаперуза, доблестного мореплавателя старых времен, который оставил свои кости, кости своего экипажа и обломки своих двух фрегатов — «Астролябии» и «Буссоли» — на берегах каннибальских Соломоновых островов. Другая голова — Башти был страстным коллекционером — была на два столетия старше головы Лаперуза и относилась к эпохе испанца Альваро де Мендана; она принадлежала одному из оруженосцев Мендана, потерявшему ее на берегу в бою с одним из отдаленных предков Башти.

Была там и еще одна голова, окутанная тайной, — голова белой женщины. Какому мореплавателю была она женой — осталось неизвестным. Но золотые с изумрудами серьги еще болтались в высохших ушах, и волосы, фута в четыре длиной, золотым шелковистым пухом спускались со скальпа, покрывавшего то, что было некогда умом и волей женщины, которая — рассуждал Башти — в свое время, должно быть, быстро воспламенялась любовью в объятиях мужчины.

Обыкновенные головы, принадлежавшие бушменам, береговым дикарям или даже белым, вроде пьяницы Боркмана, он отправлял в плавучий дом или хижину знахаря. Ибо он тонко разбирался в этом деле. В его коллекции имелась еще одна странная голова — немца, особенно привлекавшая его. У нее была рыжая борода и рыжие волосы, но даже в высушенном виде она поражала суровостью черт и огромным лбом, говорившем о том, что владелец его знает тайну, недоступную для Башти. Он не знал, что голова эта принадлежала когда-то немцу, как не знал и того, что это был профессор астрономии,

мозг которого некогда вмещал глубокие познания о звездах в обширных небесных пространствах, о том, как направлять по ним путь кораблей, и о том, как движется среди них Земля в необъятном мировом просторе, в миллиарды миллионов раз превосходящем представление о пространстве, которыми обладал Башти.

Наконец, последней головой, наиболее занимавшей его мысли, была голова Ван Горна. Именно голову Ван Горна он держал у себя на коленях, в раздумьях созерцая ее, когда Джерри, пользовавшийся правом свободно ходить повсюду, вошел в его хижину. Он понюхал воздух и, узнав бренные останки шкипера, сначала жалобно заскулил от горя, а потом свирепо ощетинился.

Башти, занятый глубокомысленной беседой с головой Ван Горна, сначала не заметил этого. Всего несколько месяцев назад эта голова жила,— размышлял он,— отличалась быстротой ума, была прикреплена к двуногому туловищу, которое стояло прямо, храбрилось, носило повязку на бедрах и револьвер на поясе; оно было более могущественно поэтому, чем Башти, но уступало ему в уме, ибо разве не он, Башти, при помощи старинного пистолета впустил тьму в этот череп, где царил ум? И разве не он снял потом этот череп с внезапно ослабевшей подпорки из плоти и костей, к которой тот был прикреплен, чтобы попирать ногами землю и палубу «Аранджи»?

Что же стало с этим умом? Заключалось ли в нем все, чем был этот надменный, упорный Ван Горн и погас ли он так же, как угасает волнующееся пламя древесной лучины, когда она, сгорев, превращается в пушистую горку пепла? Неужели все, что делал Ван Горн, исчезло так же, как исчезает пламя от горящей лучины? Ушел ли он навсегда во тьму, куда уходят животные, куда уходит убитый копьем крокодил, пойманная на удочку макрель, попавшийся в сеть голавль, заколотая свинья, у которой такое жирное мясо? Напоминала ли тьма, в которую ушел Ван Горн, тьму мухи василька, которую его опахальщица давит на лету? Или ту, куда уходят москиты, знакомые с искусством полета, которых он, несмотря на это, почти бессознательно давит ударом ладони по своему затылку, когда они кусают его?

То, что было правдой по отношению к голове белого человека, еще недавно живого и властного, было, как знал Башти, справедливо и по отношению к нему самому. Все, что случилось с этим белым человеком после того, как он прошел сквозь темные врата смерти, случится с ним. Он вопрошал об этом голову, как будто ее немые губы могли говорить с ним из таинственной тьмы и растолковать ему значение жизни и смерти, которая неминуемо идет следом за жизнью.

Протяжный, горестный вопль Джерри, увидевшего и учуявшего то, что оставалось от шкипера, вывел Башти из задумчивости. Он взглянул на смелого золотисто-коричневого щенка и тотчас включил его в круг своих размышлений. Он был живой. Он был подобен человеку. Он испытывал голод, страдание, чувства гнева и любви. В жилах его, как у человека, текла кровь, которую удар ножа мог заставить вытечь, а за этим последовала бы смерть. Подобно людскому

племени ему подобные любили свой род, рожали и кормили свое потомство. И умирали. Да, умирали, ибо много собак, как и людей, он, Башти, поистребил на своем веку, в дни своей обжорливой юности, когда он признавал только движение и силу, и эти движение и силу питал пиршествами.

Но Джерри перешел от скорби к гневу. Он подходил на прямых, несгибающихся ногах, оскалив зубы, и вздыбившаяся на спине и шее шерсть его ходила волнами. И он подкрадывался не к голове шкипера, которую он любил, а к Башти, державшему эту голову на коленях. Подобно волку, подбирающемуся на горных пастбищах к кобыле с новорожденным жеребенком, подбирался Джерри к старому вождю. И Башти за всю свою долгую жизнь никогда не боявшийся смерти и обративший в шутку случай, когда кремневый пистолет, взорвавшись, оторвал ему палец, весело усмехнулся про себя. Ибо веселость его носила чисто интеллектуальный характер и выражала восхищение этим полувзрослым щенком, которого он удерживал на почтительном расстоянии, хлопая его деревянной палкой по носу. Как свирепо ни накидывался на него Джерри, он отражал его нападение палкой; при этом он громко смеялся, одобряя мужество щенка и изумляясь безрассудности инстинкта жизни, то и дело побуждавшего Джерри подставлять свой нос под удары палкой и, силой страстного воспоминания о мертвом, заставлявшего его снова и снова переносить боль.

Это тоже жизнь, размышлял Башти, ловко отгоняя палкой визжавшего щенка. Это четвероногая жизнь, молодая, глупая, горячая, стремительная, как у любого юноши, предающегося любви со своей подругой в полумгле сумерек, или как у того же юноши, когда он дерется насмерть с другим под влиянием страсти, уязвленной гордости или помехи своему желанию. Он понял, что точно так же, как в мертвой голове Ван Горна или какого бы то ни было другого человека, в этом живом щенке находится ключ к пониманию жизни, решение загадки.

Итак, он продолжал отгонять от себя Джерри, хлопая его по носу и удивляясь упорству жизненного начала, побуждавшего его бросаться на палку, которая причиняла ему боль и заставляла его отступать. Храбрость и стремительность, сила и безрассудство молодости — так он определял это, и, с грустью восхищаясь этими качествами, завидовал им, готовый не задумываясь отдать за них всю свою скудную седую мудрость.

Но старость первая утомилась от этой оригинальной игры, и Башти покончил с ней, нанеся Джерри сильный удар по голове за ухом так, что тот, оглушенный, растянулся на полу. Вид щенка, еще минуту назад живого и разъяренного, лежавшего теперь неподвижно, как труп, произвел сильное впечатление на размышления Башти. Эту перемену вызвал удар палкой. Куда девались гнев и сообразительность Джерри? Не являлось ли все это только пламенем горящей лучины, которое могло погасить случайное дуновение ветра? Был момент, когда Джерри злился и страдал, рычал и бросался, имел желания и управлял своими движениями. Одна минута — и он лежал съежившись, неподвижный,

в бессознательном состоянии, напоминавшем смерть. Башти знал, что через короткий промежуток времени сознание, чувство, воля и управление движениями вернутся снова в маленькое ослабевшее тело. Но куда же девались на это время, после прикосновения палки, и чувство и воля? Башти уныло вздохнул и принялся заворачивать в циновки головы,— все, за исключением головы Ван Горна; он поднял их наверх и повесил на стропила под крышей, чтобы они висели там, еще долго после того, как его уже не будет в живых, как некоторые из них висели там еще до рождения его отца и деда. Голову Ван Горна он оставил на полу, и, тихонько выйдя из хижины, приник к щелке, чтобы посмотреть, как станет вести себя щенок.

Джерри вздрогнул и через минуту с усилием, шатаясь, поднялся на ноги; и Башти, приникнув к щели, наблюдал чудо; как жизнь возвращалась по каким-то путям в неподвижное тело, как выпрямлялись ноги, и как, наконец, сознание, это чудо из чудес, проникло снова в костяную и покрытую шерстью голову, засветилось в открытых глазах, заставило губы зашевелиться и горло издать то рычание, которое прервалось, когда удар палкой окутал тьмой сознание щенка.

И еще больше увидел Башти. Сначала Джерри осматривался, ища глазами своего врага, ворча и щетинясь, но видя вместо врага голову шкипера, он подполз к ней и стал выражать свою любовь, облизывая языком твердые щеки, закрытые веками глаза, которых его нежность не в силах была открыть, неподвижные губы, которые не разомкнутся больше, чтобы излить на маленькую собачку поток ласковых слов.

В глубокой скорби Джерри уселся перед головой шкипера и, подняв морду кверху, жалобно и протяжно завыл. Потом, обессилевший и подавленный, он поплелся вон из хижины к дому своего хозяина знахаря; после этого он проспал целые сутки, то и дело просыпаясь и снова засыпая тяжелым кошмарным сном.

С тех пор Джерри всегда боялся соломенного дома Башти. Он не боялся самого Башти. Страх его не поддавался ни определению, ни объяснению. В этом доме находились останки того, что некогда было шкипером. Это был символ той жизненной катастрофы, страх перед которой трепетал в каждой фибре его существа, передаваясь по наследству из рода в род. Племя Сомо опередило Джерри в этом отношении и из созерцания смерти создало представление о душах умерших, которые продолжают жить в нематериальных, сверхчувственных сферах.

С той поры Джерри страстно возненавидел Башти как властелина жизни, который обладал останками шкипера и клал их себе на колени. Не то, чтобы Джерри дошел до этого путем размышления. Это было нечто смутное и туманное — чувство, эмоция, ощущение, инстинкт, интуиция — приложите какой угодно туманный термин из туманной номенклатуры той области, где слова одурачивают впечатлением точности и лгут мозгу, вызывая в нем обманчивую иллюзию знания, которым он не обладает.

ГЛАВА XVI

Прошло еще три месяца; северо-западный муссон, дувший в течение полугода, уступил место юго-восточному, а Джерри по-прежнему продолжал жить в доме Агно и бегать по деревне. Он прибавился в весе, увеличился в объеме и под защитой табу стал самоуверенным и почти высокомерным. Но он так и не находил себе хозяина. Агно никогда не возбуждал в нем сердечного трепета. Да Агно и не пробовал заслужить его расположение и лишь хладнокровие позволяло ему ничем не проявлять своей ненависти к Джерри.

Ни старухам, ни двум аколитам знахаря, ни опахальщице не приходило и в голову, что знахарь ненавидит Джерри. Этого не подозревал и сам Джерри. В его глазах Агно был безразличным существом, одним из тех людей, с которыми не стоит считаться. В людях, составлявших домашний штат Агно, Джерри видел только его рабов и слуг и, когда они кормили его, он понимал, что пища, которую ему дают, идет от Агно, и что она принадлежит Агно. Кроме самого Джерри, находившегося под защитой табу, все боялись Агно, и его дом был насыщен атмосферой страха, в которой не могла расцвести любовь к заблудшему щенку. Одиннадцатилетняя девочка могла бы вызвать к себе привязанность со стороны Джерри; но с самого начала Агно остановил ее, строго-настрого запретив раз на всегда трогать или ласкать собаку, находящуюся под покровительством такого высокого табу.

Выполнение заговора, составленного Агно против Джерри, отсрочивалось тем обстоятельством, что сезон кладки яиц мегоподами совпадал с периодом юго-восточного ветра. И Агно, давно задумавший план, с присущим ему терпением выжидал свое время.

Мегапод Соломоновых островов является дальним родственником австралийской дикой индейки. Величиной не больше крупного голубя, он кладет яйца, не уступающие по размерам яйцам домашней утки. Мегаподу чуждо чувство страха и при своей глупости он был бы уже истреблен несколько столетий назад, если бы не табу, которое налагали на него жрецы и вожди. Вождям приходилось очищать для мегаподов песчаные площадки и загораживать их заборами от собак. Мегаподы закапывают свои яйца на глубину двух футов и всецело возлагают задачу высиживания на солнце. И вот мегаподы раскапывают песок и кладут яйца, а чернокожий, притаившись в двух-трех шагах, выкапывает их — и мегаподы не обращают на него никакого внимания. Площадка, на которой птицы клали яйца, принадлежала Башти. В течение всего сезона кладки он питался почти исключительно этими яйцами. В редких случаях для него даже резали пару мегаподов, которые переставали нестись. Это была не более как прихоть; ему льстило гордое сознание, что, не в пример обыкновенным людям, он может позволить себе и такое исключительно редкое лакомство. По правде же говоря, он любил мясо мегаподов ничуть не больше, чем всякое иное мясо. Все сорта мяса имели теперь для него одинаковый вкус, и способность наслаждаться вкусовыми ощущениями

отошла в область давно отошедших радостей, хранившихся только в сокровищнице его памяти.

Но яйца он любил. Это была единственная пища, которую он ел с удовольствием. Они доставляли ему забытые вкусовые восторги далекой юности. При виде приготовляемых яиц мегапода он испытывал настоящий голод, и почти иссякшие источники слюны и желудочного сока начинали снова выделять обильные соки. Вот почему он один изо всего племени Сомо ел яйца мегаподов, сурово охраняемые табу. И, так как табу было установлением религиозным, — религиозная обязанность охранять пуще зеницы ока королевский птичий двор и была возложена на Агно.

Но Агно тоже не был молод. Радости желудка давно уже перестали существовать и для него; он также ел из чувства необходимости, и все кушанья имели для него одинаковый вкус. Только яйца мегапода оживляли в нем вкусовые ощущения и вызывали прилив желудочного сока. Таким образом случилось, что он нарушил им же наложенное табу и тайно, когда ничей глаз, будь то мужчины, женщины или ребенка, не мог его видеть, ел яйца, украденные с птичьего двора Башти.

Таким образом, как только наступило время кладки, и оба они — и Башти, и Агно — преисполнились острого нетерпения, ожидая после полугодового воздержания яиц, Агно повел Джерри по запретной тропинке между деревьями мангиферы. Они перескакивали с корня на корень через пласты перегноя, беспрерывно дымившегося и отравлявшего зловонием стоячий воздух, который никогда не приводился в движение ветром.

Заветная тропинка эта, по которой человеку приходилось идти широкими шагами по корням, а собаке беспрестанно прыгать, была совершенно незнакома Джерри. В своих странствиях по селениям Сомо он ни разу не попадал еще на такую необычайную тропинку. То, что его вел Агно, было тоже необычно и приятно для Джерри, который, не размышляя на эту тему, смутно чувствовал, что, может быть, Агно хоть отчасти сможет заменить ему хозяина, а он ведь не переставал своей собачьей душой искать себе господина.

Выбравшись из болотистых зарослей мангиферы, они вышли на песчаную площадку, которая была все еще до такой степени негостеприимна и насыщена солью морских осадков, что ни одно большое дерево не принималось на ней и не простирало своих ветвей между нею и жгучим солнцем.

На площадку вела примитивная калитка, но Агно не пропустил Джерри через нее. Поощряя его и причмокивая, он заставил Джерри вырыть нечто вроде туннеля под грубой изгородью. Агно собственными руками помогал ему выгребать песок, стараясь при этом, чтобы Джерри оставил несомненные следы собачьих когтей и зубов.

И когда Джерри проник через этот туннель на площадку, Агно, прошедший туда через калитку, научил его вырывать из земли яйца. Но Джерри не понимал вкуса в яйцах. Восемь яиц Агно высосал сырыми, а два спрятал под мышки, чтобы снести к себе домой. Скорлупу высосанных яиц он расколол на маленькие

кусочки, как могла бы это сделать собака, и, чтобы дополнить картину, которую давно уже рисовало ему воображение, размазал содержимое одного яйца по морде Джерри, и не по щекам, где он мог бы слизнуть его языком, а повыше глаз, чтобы оно осталось там надолго и послужило живой уликой против щенка.

Хуже того, он святотатственно подбил Джерри напасть на самку мегапода в то время, как та клала яйцо. И, когда Джерри загрыз ее, Агно, зная, что кровожадный инстинкт, раз пробудившись, понудит его и впредь убивать глупых птиц, покинул птичий двор и, не теряя ни минуты, побежал по засаженному мангиферами болоту и представил на рассмотрение Башти свои религиозные сомнения. Табу, наложенное на собаку, — так объяснял он, — помешало ему вступиться, когда собака-табу душила птиц-табу, клавших яйца. Он находился в полном недоумении, какому табу следует отдать предпочтение. И Башти, который в течение полугода не пробовал ни разу яиц мегапода и который был так сильно привязан к единственной радости, воскрешавшей в нем волнение далекой юности, поспешил через мангиферовое болото, делая такие огромные шаги, что далеко оставил позади своего жреца, бывшего на несколько лет моложе его.

Он явился на птичий двор и увидел там Джерри с окровавленными лапами и окровавленной мордой, уничтожавшего уже четвертую птицу; свежие пятна яичного желтка, которые размазал по его морде Агно, желтели вокруг и над его глазами до самого лба. Напрасно Башти старался найти хоть одно яйцо. Джерри, поощряемый Агно, махал перед Башти хвостом, как бы требуя награды за свою храбрость, и всей своей мордой, выпачканной красными и желтыми пятнами, изображал улыбку.

Башти не обнаружил гнева, как сделал бы это, если бы был один. Ему не хотелось унизиться на глазах своего верховного жреца до подобной вульгарности. Так бывает всегда с людьми, занимающими высокое положение; им приходится сдерживать свои естественные желания и вечно маскировать свою заурядность личиной бесстрастия. Поэтому Башти, убедившись, что его аппетит не получит удовлетворения, не выказал досады. Агно меньше владел собой и не сумел скрыть яркого блеска глаз. Башти заметил этот блеск, но не угадал истинного значения его; он ошибочно приписал блеск глаз своего жреца простому любопытству. Это может послужить доказательством для двух положений в отношении высокопоставленных людей: первое, что они могут дурачить людей, стоящих ниже себя; второе, что они могут быть сами одурачены теми, кто стоит ниже их.

Башти с улыбкой смотрел на Джерри, точно дело шло о пустяке, и, бросив искоса рассеянный взгляд на Агно, подметил выражение разочарования в глазах жреца.

«Ха, ха», — подумал Башти, — я одурачил его».

— Какое табу выше? — спросил Агно.

— Как ты можешь спрашивать? Конечно, мегапод.

— А собака? — был второй вопрос Агно.

— Должна расплатиться за нарушение табу. Это высокое табу. Это мое табу. Оно было установлено старейшим прародителем Сомо и первым нашим правителем и с тех пор всегда было табу вождей. Собака должна умереть.

Он замолчал, обдумывая положение, и, когда Агно попытался остановить Джерри, снова занявшегося выкапыванием яиц, Башти помешал ему:

— Оставь, — сказал он, —пусть собака сама обличит себя на моих глазах.

И Джерри изобличил себя: он выкопал два яйца, разбил их и слизал ту часть их драгоценного содержимого, которая не пролилась и не исчезла в песке. Глаза Башти стали совсем тусклыми, когда он спросил:

— Сегодня готовят собак для деревни?

— Завтра, в полдень, — ответил Агно. — Собак уже привели. Их будет по меньшей мере пятьдесят штук.

— Пятьдесят одна, — изрек Башти, кивая головой в сторону Джерри.

Жрец сделал быстрое движение, намереваясь схватить Джерри.

— Зачем сейчас? — спросил Башти. — Тебе придется тащить его по болоту. Пусть он добежит домой на собственных ногах, и, когда он подойдет к плавучему дому, свяжи ему там ноги.

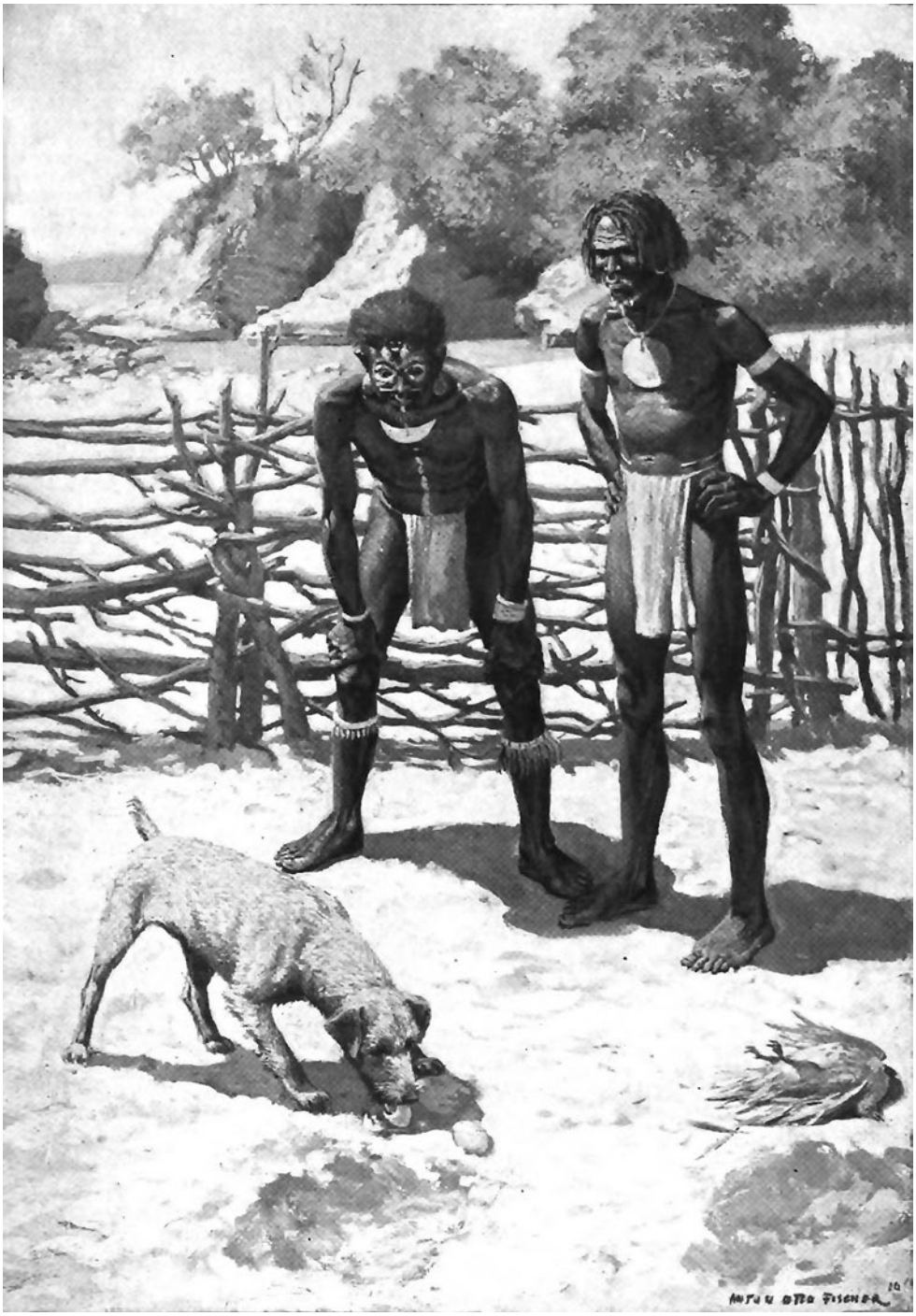
Весело перебирая лапами, Джерри в самом счастливом настроении бежал следом за людьми; когда они приблизились к плавучему дому, он услышал жалобный визг множества собак, выражавший несомненную скорбь и страдание.

Тут у него сразу возникло подозрение, которое, впрочем, не относились непосредственно к его судьбе. В тот момент, когда уши его насторожились, а нос пытался получить дальнейшие сведения по этому предмету, Башти схватил его за шиворот и поднял на воздух. В то же время Агно связал ему ноги.

Джерри не завизжал и не выказал ни малейшего страха; он лишь злобно зарычал да выпустил когти. Но собака, схваченная за шиворот, не в состоянии справиться с двумя мужчинами, наделенными человеческим интеллектом и ловкостью, и обладающими двумя руками с пальцами, умеющими схватывать и зажимать.

Ему связали вместе передние и задние ноги и бросили его на землю, где он очутился среди десятков других собак, так же связанных и таких же беспомощных, как и он. Хотя был уже полдень многие из них лежали в таком положении под палящими лучами солнца с раннего утра. Это все были дикие собаки, и они были так трусливы, что даже страдания, вызванные жаждой, веревками, слишком туго стягивавшими сосуды, и смутным предчувствием ожидавшей их судьбы, заставляли их только скулить и жалобным воем выражать свои муки и отчаяние.

Следующие тридцать часов были мучительны для Джерри. Молва о том, что табу с него снято, быстро разнеслась, и ни у ребятишек, ни у взрослых не нашлось достаточно благородства, чтобы пощадить его. До самой ночи вокруг Джерри толпились люди, мучившие и дразнившие его. Они разглагольствовали по поводу его падения, зубоскалили и издевались над ним; с пренебрежением толкали его ногами, выкапывали в песке глубокую яму, из которой он не мог



— Оставь, — сказал он, —пусть собака сама обличит себя на моих глазах.

бы выползти, и опускали его туда на спину, так что связанные ноги его унизительно торчали в воздухе. И все, что он в состоянии был сделать — это рычать и злиться на свою беспомощность. Ибо, не в пример прочим собакам, он не скулил и не жаловался на свои страдания. Ему был теперь год, за последние шесть месяцев он возмужал, а бесстрашие и стоицизм были основными свойствами его породы. И как ни учили его белые хозяева презирать и ненавидеть черных, ненависть эта за последние тридцать часов стала еще более острой и глубокой.

Его мучители не останавливались ни перед чем. Они привели даже дикую собаку и натравливали ее на Джерри. Но природе дикой собаки было несвойственно нападать на врага, неспособного двигаться, даже если этим врагом был Джерри, так часто задиравший и валявший ее по палубе. Если бы Джерри сломал себе ногу, но сохранил бы при этом способность двигаться, дикая собака загрызла бы его, может быть, до смерти. Но эта полная беспомощность меняла дело. Таким образом ожидаемое представление не удалось. Когда Джерри зарычал и оскалил зубы, дикая собака испустила ответное рычание, но никакие подстрекания черных не могли заставить ее вонзить свои зубы в тело Джерри.

Место бойни перед домом-пирогой представляло собой какой-то бедлам. Время от времени приносили новых связанных собак и бросали их на землю. Кругом стоял неумолчный визг; в особенности громко скулили собаки, пролежавшие на солнцепеке с раннего утра, не получив ни капли воды. По временам к ним присоединялись и остальные вплоть до самых спокойных, самообладание которых исчезало, сломленное волной возбуждения и страха, судорожно прокатывавшейся над всеми ими. Этот вой, то затихавший на мгновение, то снова поднимавшийся, но никогда не смолкавший вполне, продолжался всю ночь, так что к утру все собаки начали изнемогать от невыносимой жажды.

Солнце, ослепительно сверкавшее на белом песке и чуть не поджаривавшее несчастных животных, принесло им еще большие мучения. Кучка мучителей снова столпилась вокруг Джерри, выражая ему свое презрение за то, что он утратил табу; но не удары и физические мучения доводили Джерри до бешенства, а смех. Собаки вообще не любят, чтобы над ними смеялись, а Джерри меньше других был склонен сдерживать свой гнев, когда над ним открыто глумились и зубоскалили.

Хотя он ни разу не взвизгнул, но голос его от рычания и жажды совершенно охрип, а слизистая оболочка во рту настолько высохла, что он утратил способность издавать какие-либо звуки, разве только под влиянием особенно коварной провокации. Язык его свешивался изо рта, и утреннее солнце начинало понемногу обжигать его.

В это время какой-то мальчишка жестоко подшутил над ним. Он вытащил Джерри из ямы, в которой тот пролежал всю ночь на спине, перевернул его на бок и поднес ему маленькую выдолбленную тыкву, наполненную водой. Джерри с таким неистовством накинулся на нее, что только через минуту заметил обман: мальчишка насыпал в воду красного перца. Круг его мучителей радост-

но загоготал; прежняя жажда была ничто в сравнении с той, которую Джерри испытывал сейчас, когда перец разрывал ему глотку.

Следующим событием — и событием важным для Джерри — был приход Наласу. Наласу был слепой старик лет шестидесяти. В руке он держал огромный шест, которым нащупывал дорогу. Свободной рукой он нес поросенка, связанного по ногам.

— Я слышал, что собаку белого человека собираются съесть, — сказал он на языке Сомо. — Где собака белого человека? Покажите мне ее.

Агно, только что подошедший к ним, стал позади слепого, в то время как тот, нагнувшись над Джерри, начал ощупывать его своими пальцами. Джерри не выражал намерения ни укусить, ни даже зарычать на старика, хотя руки слепого не раз приходились около его зубов. Джерри не чувствовал враждебности в пальцах, которые так мягко скользили по его телу. Кроме того, Наласу вертел в руках поросенка и несколько раз, как бы соображая что-то, попеременно трогал то одного, то другого.

Наласу, наконец, поднялся и высказал свое суждение:

— Поросенок так же мал, как собака. Они оба одинаковой величины, но у поросенка больше мяса, годного для еды. Возьми поросенка, а я возьму собаку.

— Нет, — сказал Агно. — Собака белого человека нарушила табу. Она должна быть съедена. Бери другую собаку и оставь поросенка: бери большую собаку.

— Я хочу иметь собаку белого человека, — настаивал Наласу. — Только собаку белого человека и никакой другой.

Переговоры стояли на мертвой точке, когда Башти, случайно наткнувшись на эту сцену, стал прислушиваться.

— Бери собаку, Наласу,— сказал он под конец.— Поросенок славный, и я сам отведаю его.

— Но она нарушила табу, твое высокое табу, и должна быть съедена, — быстро вмешался Агно.

«Слишком быстро!»— подумал Башти, и в уме его зародилось смутное подозрение.

— Табу должно быть искуплено кровью и огнем, — продолжал Агно.

— Очень хорошо, — сказал Башти.— Я буду есть поросенка. Перережу ему горло, и пусть его туша жарится на огне.

— Я говорю о законе, охраняющем табу. За нарушение табу платятся жизнью.

— Есть другой закон, — криво усмехнулся Башти.— Он существует давно, с тех пор, как Сомо вывел эти стены; это закон о том, что одна жизнь искупает другую.

— Это когда дело касается мужчины или женщины, — объяснил Агно.

— Я знаю закон, — твердо продолжал Башти. — Сомо установили закон. Никогда еще не было сказано, что жизнью животного нельзя выкупить жизнь другого животного.

— Так никогда не делалось, — отпарировал знахарь.

— И понятно, почему, — возразил старый вождь. — Никогда еще не было такого глупого человека, который отдал бы поросенка за собаку. Это молоденький поросенок и мясо у него нежное и жирное. Бери собаку, Наласу. Бери сейчас.

Но знахарь не был удовлетворен.

— Ты говорил, о, Башти, в твоей великой мудрости, что эта собака носит в себе семена силы и храбрости. Повели убить ее. Когда она будет изжарена на огне, мы разрежем ее тушу на мелкие кусочки, чтобы каждый мужчина, скушав такой кусок, получил вместе с ним свою долю силы и мужества.

Но Башти не питал злобы против Джерри. Он прожил слишком долго и слишком мудро, чтобы налагать на собаку наказание за нарушение табу, о котором она не имела понятия. Разумеется, собак часто убивали за нарушение табу. Но он разрешал это делать просто потому, что сами собаки нимало не интересовали его; смерть их только подкрепляла представление о святости табу. Между тем Джерри успел довольно глубоко заинтересовать Башти. После того, как щенок бросился на него из-за головы Ван Горна, Башти часто размышлял над этим случаем. Как ни был он обманчив — ведь обманчивы все проявления жизни — он дал ему пищу для размышлений. Он восхищался мужеством Джерри и тем непонятным в нем, что не позволяло ему кричать от боли, когда его били палкой. И, хотя старый вождь не думал о красоте, но все же красота окраски и форм Джерри вызывала в нем приятное ощущение. На Джерри приятно было смотреть.

Была еще и другая причина поведения Башти. Он старался разгадать, почему его знахарь так страстно желает смерти простой собаки. Собак было много. В таком случае, почему этой именно собаки? Было очевидно, что тут кроется какая-то особенная причина, но в чем она заключалась, Башти не мог догадаться; вот разве только месть, задуманная в тот день, когда Башти запретил Агно съесть собаку? Если причина крылась в этом, то Башти не мог допускать подобных умонастроений ни в ком из членов своего племени.

Необходимо было проучить жреца и еще раз показать ему, кому принадлежит в Сомо решающее слово.

— Я долго жил на свете и съел много свиней. Но кто осмелится сказать, что эти свиньи вошли в меня и сделали из меня свинью?

Он остановился и бросил вызывающий взгляд на присутствующих. Никто не произнес ни слова. Некоторые застенчиво улыбались и беспокойно переминались с ноги на ногу, а лицо Агно выражало твердую уверенность в том, что в его вожде нет ничего свиноподобного.

— Я съел много рыб, — продолжал Башти. — И никогда на моей коже не появлялась рыбья чешуя, а в горле не вырастали жабры. И все вы можете убедиться собственными глазами, что на спине у меня нет ни одного плавника. Наласу, бери собаку. Ага, снеси поросенка ко мне в дом. Я буду его есть сегодня. Агно, начни собачью бойню.

Он повернулся, готовясь уйти, и вдруг перескочил на «трепанг».

— Верно говорю! — грозно закричал он Агно через плечо. — Много, много сердит буду.

ГЛАВА XVII

Слепой Наласу медленно уходил, с трудом передвигая ноги, нащупывая палкой дорогу и держа Джерри за связанные задние лапы головой вниз. Когда они отошли от места бойни, Джерри услыхал вдруг, что дикое завывание собак усилилось: как раз в это время началось избиение и бедные животные поняли, что им угрожает смерть.

Но не в пример мальчику Ламаи, который не сумел придумать ничего лучшего, старик не стал мучить Джерри таким образом до самого дома. У первого же ручья, протекавшего между двумя невысокими холмами, он остановился и спустил Джерри, чтобы дать ему напиться. И Джерри насладился влажной прохладой, освежившей не только его язык, но также весь рот и глотку. При этом он инстинктивно чувствовал, что это был самый добрый черный из всех, встреченных им в Сомо, добрее Ламаи, Агно и Башти. Напившись досыта, он в благодарность лизнул руку Наласу, — не так тепло и восторженно, как если бы это была рука шкипера, — но все же с должной признательностью за живительную влагу. Обрадованный старик засмеялся, окунул измученное жарой тело щенка в воду и, придерживая его голову над поверхностью, стал втирать воду в его сухую шкуру, позволив ему провести в воде несколько долгих блаженных минут.

От ручья до дома Наласу было довольно далеко, и Наласу продолжал нести Джерри со связанными лапами, но уже не вниз головой, а прижимая его одной рукой к груди. Старику хотелось, чтобы собака привязалась к нему. Наласу, проведя долгие одинокие годы в темноте, гораздо больше передумал об окружающем его мире и знал его гораздо лучше, чем если бы имел возможность видеть его. Собака была нужна ему для особой цели. Он испробовал несколько местных собак, но они мало ценили его доброту и неизменно убегали. Однако он слыхал, что собаки белых не таковы. Они никогда не убегают в страхе и, как говорят, гораздо умнее собак Сомо.

Слух об изобретенном Ламаи способе привязывать Джерри к палке разнесся по селению. И в доме Наласу Джерри также стали привязывать к палке. Но с некоторой разницей. Слепой никогда не раздражался и ежедневно просиживал целыми часами на корточках рядом с Джерри, лаская его. Но если бы он и не делал этого, Джерри, получавший от него корм и начинавший привыкать к перемене хозяев, признал бы его своим господином. Кроме того, Джерри ясно представлял себе, что Агно перестал быть его хозяином после того, как связал и бросил его на избиение вместе с другими беспомощными собаками. И Джерри, никогда не остававшийся без хозяина с первых дней своего существования, чувствовал настоятельную потребность иметь такового.

Таким образом, когда его отвязали от палки, он по доброй воле остался в доме Наласу. Как только старик убедился, что Джерри не убежит, он начал учить его. Ученью сначала уделялось немного времени, но затем ему стали посвящаться целые часы.

Прежде всего Джерри изучил свое новое имя — Бал, и он должен был отвечать на него на постоянно увеличиваемом расстоянии, как бы тихо оно ни произносилось; а Наласу произносил его с каждым разом все тише и тише, пока оно не перешло в шепот. Слух у Джерри был острый, но и у Наласу от долгого упражнения он был почти так же остер.

Часами просиживая около старика или стоя в отдалении от него, Джерри приучался ловить малейший звук или шорох в кустах.

В дальнейшем Наласу старался выработать у Джерри еще большую остроту слуха. Часами просиживая около старика или стоя в отдалении от него, Джерри приучался ловить малейший звук или шорох в кустах. Затем он научился различать звуки в кустарнике и разнообразным рычанием предупреждать Наласу. Если раздавался шорох и Джерри узнавал, что его производят свинья или цыпленок, он совсем не ворчал. Если он не мог определить происхождение шума, то ворчал потихоньку. Если шум производился мужчиной или мальчиком, идущим осторожно, а следовательно вызывающими подозрение, Джерри начинал громко рычать; если же шум был громкий и производился без мер предосторожности, Джерри ворчал мягче.

Джерри никогда не задавался вопросом, зачем его учат всему этому. Он просто делал это потому, что таково было желание его настоящего хозяина. Наласу ценой большого труда и терпения обучил его всему этому и еще многому другому, обогатив его словарь, так что они вскоре могли вести на расстоянии быстрый и вполне определенный разговор.

Таким образом Джерри на расстоянии пятидесяти шагов тихим «У-уфф» сообщал, что он слышит какой-то незнакомый шум, и Наласу различным свистом и шипением приказывал ему стоять смирно, ворчать тише, бесшумно подойти к себе, пойти в кусты и исследовать причину странного шума, или с громким лаем броситься в атаку.

Если же тонкий слух Наласу самостоятельно улавливал с противоположной стороны посторонний звук, он запрашивал Джерри, слышит ли тот его. Джерри же быстро вскакивал на ноги, прислушивался, и, варьируя продолжительность или характер своего ворчания, объяснял Наласу, что он не слышит, затем сообщал ему, что он слышит, и в конце концов, что шум вызван чужой собакой, лесной крысой, мужчиной или мальчиком; и все это передавалось звуками тихими, как вздохи, и такими краткими, что весь разговор носил характер какой-то словесной стенографии.

Наласу был странный старик. Он жил один в маленькой соломенной хижине на краю селения. Ближайшее жилье находилось на порядочном расстоянии оттуда, его же собственное стояло на расчищенном месте в густых джунглях, которые ни с одной стороны не подходили к нему ближе, чем на шестьдесят шагов. И он постоянно очищал это пространство от быстро растущей растительности. Он, по-видимому, не имел друзей. По крайней мере, никто никогда не посещал его. Много лет прошло с тех пор, как он отбил охоту у последнего, решившегося на это. У него не было родственников. Жена его давно умерла, а трое еще не женатых сыновей сложили свои головы во время набега в джунглях, на высоких горах, за пределами Сомо, и были съедены своими убийцами — бушменами.

Он был очень деятелен для слепого. Он ни у кого не просил помощи и сам содержал себя. На расчищенном месте около дома он разводил ямс, сладкий картофель и таро. В другом расчищенном месте, — так как в его расчеты не входило иметь деревья около дома, — им были насажены смоковницы, бананы

и полдюжины кокосовых пальм. Он обменивал в селении фрукты и овощи на мясо, рыбу и табак.

Он тратил очень много времени на обучение Джерри, а в свободные часы выделывал луки и стрелы, которые очень ценились его соплеменниками и имели постоянный сбыт. Редкий день проходил без того, чтобы он сам не упражнялся в стрельбе из лука. При этом он руководствовался только направлением звука, и всякий раз, как в джунглях раздавался шум или шорох и Джерри извещал его о происхождении последних, он пускал по направлению их стрелу. На обязанности Джерри лежало разыскать и осторожно принести обратно стрелу, если она не попадала в цель.

Одной из странностей Наласу было то, что он спал не более трех часов в сутки, никогда не спал ночью, да и днем не ложился спать дома. В самой густой части окрестных джунглей находилось своего рода гнездо, к которому не вела ни одна тропинка. Он никогда не входил туда и не выходил оттуда той же дорогой, так что богатая тропическая растительность, редко приминавшаяся, немедленно сглаживала малейший след его прохода. Когда он спал, Джерри должен был бодрствовать и сторожить его.

Наласу имел более чем достаточно причин для таких предосторожностей. Старший из его сыновей убил во время ссоры Ао, одного из шести братьев семейства Анно, живущего в одном из верхних селений. Согласно закону Сомо семья Анно имела право взыскать долг крови с семьи Наласу; однако этому помешала смерть трех сыновей Наласу. А раз закон Сомо требовал крови за кровь, а из семейства Наласу остался в живых он один, то все племя было вполне уверенно, что семья Анно не успокоится до тех пор, пока не лишит жизни слепого.

Однако Наласу был знаменит не только как отец трех воинственных сыновей, но и как боец. Дважды Анно пытались получить свой долг, в первый раз когда Наласу обладал еще зрением. В тот раз Наласу открыл вражескую засаду, обошел ее и, встретив в тылу самого Анно-отца убил его, удвоив этим долг крови. Затем с ним случилось несчастье. В то время, как он набивал уже много раз бывшие в употреблении патроны Шнейдера, взрыв пороха уничтожил оба его глаза. Сейчас же после этого, пока он еще залечивал свои раны, Анно напали на него. Он ожидал нападения и принял необходимые меры. В эту ночь двое дядей и другой из братьев, наколовшись на ядовитые колючки, умерли в страшных мучениях. Таким образом, число жизней, на которые имели право Анно, увеличилось до пяти, а для уплаты оставался только один слепой.

С тех пор Анно слишком боялись колючек, чтобы снова отважиться на нападение, хотя их жажда мести не умирала, и они жили надеждой увидеть когда-нибудь голову Наласу на шесте своей кровли.

Существовавшее с того времени положение вещей можно было скорее сравнить с патом в шахматной игре, чем с перемирием. Старик ничего не мог предпринять против них, а они боялись предпринимать что-либо против него. Желанный день настал уже после усыновления Джерри, когда один из Анно сделал изобретение, подобного которому никогда не существовало на Малаите.

ГЛАВА XVIII

Между тем месяцы проходили, юго-восточный муссон затих и сменился другим, а Джерри прибавилось шесть месяцев не только по времени, но и по весу, росту и толщине костей. Эти шесть месяцев жизни у слепого были спокойным временем, несмотря на то что Наласу строго соблюдал дисциплину и ежедневно обучал Джерри, гораздо продолжительнее, чем это обыкновенно выпадает на долю собак. Никогда Джерри не получил от него ни одного удара, ни одного грубого слова. Этот человек, убивший четверых Анно — притом троих уже будучи слепым — умертвивший много людей во времена своей буйной молодости, ни разу не возвысил в гневе голоса на Джерри и, в качестве самого строгого наказания, пускал в ход только ласковую воркотню. Это воспитание, полученное Джерри в период, когда он был подрастающим щенком, развило его умственные способности на всю его жизнь. Быть может, ни одна собака на свете не могла бы так объясняться голосом, как он, и для этого были три причины: его собственный ум, педагогический гений Наласу и долгие часы, посвященные упражнениям.

Его стенографический словарь был поразителен для собаки. Можно смело сказать, что он мог разговаривать с человеком часами, хотя отвлеченности, которых они могли касаться при этом, были очень немногочисленны и просты. Их беседы очень мало затрагивали конкретное ближайшее прошлое и почти совсем не затрагивали конкретного ближайшего будущего. Джерри ничего не мог рассказать ему о Мэриндже, об «Аранджи», о своей великой любви к шкиперу или о причине своей ненависти к Башти. Точно так же и Наласу не мог передать Джерри о кровавой вражде с Анно и о том, как он потерял зрение.

Практически все их разговоры сводились к настоящей минуте, хотя они могли все же захватывать и кое-что из очень недавнего прошлого. Наласу давал Джерри целый ряд поручений, например, отправиться одному на разведку или пойти к гнезду, обойти его на большом расстоянии, дойти до места, где росли фруктовые деревья, пройти сквозь чащу к главной тропе и идти по ней к селению до большого бананового дерева, потом вернуться по малой тропинке домой к Наласу. Все это Джерри исполнял самым точным образом и, вернувшись, делал доклад. Например: в гнезде ничего необычного, кроме, разве, присутствия сарыча по-соседству; во фруктовом саду упало три кокосовых ореха — Джерри умел безошибочно считать до пяти; между садом и главной тропой четыре свиньи; на главной тропе он обогнал собаку, более пяти женщин и двух детей; а на малой тропинке на пути домой он заметил какаду и двух мальчиков.

Но он не мог передать Наласу то душевное состояние, которое мешало ему быть вполне довольным своим настоящим положением. Наласу был не белым, а всего лишь черным богом. А Джерри ненавидел и презирал всех черных, за исключением двоих — Ламаи и Наласу. Их он выносил, а к Наласу питал даже чувство спокойной и нежной привязанности. Но он не любил его и не мог полюбить.

Это все были, в лучшем случае, только второстепенные боги, а он не мог забыть великих белых богов, как шкипер, мистер Хаггин, Дерби и Боб. Они были чем-то другим, чем-то лучшим и чем-то отличным от этой черной дикости, которая окружала его теперь. Они были над ней и вне ее в недосягаемом раю, который он живо помнил и к которому стремился, но не знал дороги. Смутно чуя существование конца, который неизбежен для всего, он представлял себе, что этот рай тоже перешел уже в небытие, поглотившее и шкипера, и «Аранджи».

Напрасно старался старик заслужить любовь Джерри. Он не мог бороться с его воспоминаниями, удерживавшими собаку от этой любви, хотя слепому и удалось завоевать ее полнейшую преданность и верность. Джерри с полной готовностью вступил бы в бой на смерть за Наласу, однако без той страстности, которую он вложил бы, если бы дело касалось шкипера. Старику и в голову не приходило, что сердце Джерри не вполне принадлежит ему.

Пришел, наконец, день Анно, когда один из них сделал свое изобретение, заключавшееся в крепко сплетенных сандалиях для защиты подошвы ног от отравленных колючек, благодаря которым Наласу отнял у них три жизни. Это произошло не днем, а ночью, черной ночью, такой темной от туч, скопившихся на небе, что на расстоянии одной восьмой дюйма от собственного носа невозможно было разглядеть ствол дерева. И Анно спустились к жилищу Наласу, целых двенадцать человек, вооруженные снайдерами, пистолетами, томагавками и дубинами; они шли осторожно, несмотря на толстые сандалии, опасаясь колючек, которых Наласу больше не сажал.

Джерри, сидя между колен Наласу, дремал. Он дал первое предостережение Наласу. Они находились перед хижиной, и слепой, с широко раскрытыми глазами, напряженно прислушивался, как проделывал это уже много лет, просиживая так все ночи напролет. В течение нескольких долгих минут он прислушивался еще напряженнее, но ничего не услышал; при этом он шепотом справлялся у Джерри, приказывая ему отвечать как можно тише. Джерри ворчанием и всеми стенографическими способами разговора, которым был обучен, сообщил ему, что приближаются люди, много людей, больше пяти человек.

Наласу взял лежавший рядом лук, натянул тетиву и стал ждать. Наконец, его собственные уши стали улавливать то там, то тут тихий шорох, приближавшийся к ним со всех сторон. Все еще требуя тишины, он попросил подтверждения у Джерри, шерсть которого поднималась дыбом под чувствительными пальцами Наласу и который в настоящую минуту носом и ушами расшифровывал ночной воздух. И Джерри так же тихо, как и Наласу, сообщил ему опять, что это люди, много людей, больше пяти.

Со старческим терпением Наласу продолжал неподвижно сидеть до тех пор, пока вблизи, на самом краю джунглей, в шестидесяти шагах от себя, не различил шума, производимого отдельным человеком. Тогда он натянул лук, выпустил стрелу и был вознагражден вздохом и стоном. Он не пустил Джерри отыскивать стрелу, зная, что она попала в цель; затем он снова натянул лук.

Прошло пятнадцать минут молчания; слепой сидел, как каменное изваяние, собака дрожала от нетерпения под прикосновением его пальцев, внятно приказывавших ей не подавать голоса. Джерри так же, как и Наласу, понимал, что в окружающей темноте шелестит и подстерегает их смерть. Опять послышалось тихое движение, на этот раз ближе, чем прежде; но спущенная стрела не попала в цель. Они услышали ее стук о ствол дерева и множество разнообразных коротких звуков, вызванных поспешным отступлением мишени. После нескольких минут молчания Наласу тихонько приказал Джерри отыскать стрелу. Джерри долго обучался и был хорошо обучен. Даже до слуха Наласу, который был тоньше, чем у зрячих людей, не долетело ни малейшего шороха, пока Джерри шел по направлению стрелы, ударившейся в дерево, и нес ее обратно во рту.

Наласу обождал, пока опять не послышался шорох, означавший, что круг врагов суживается еще больше. Тогда, сопровождаемый Джерри, захватив все свои стрелы, он беззвучно двинулся в противоположную сторону. Как только они тронулись, раздался выстрел из снайдера, направленный на только что покинутое ими место.

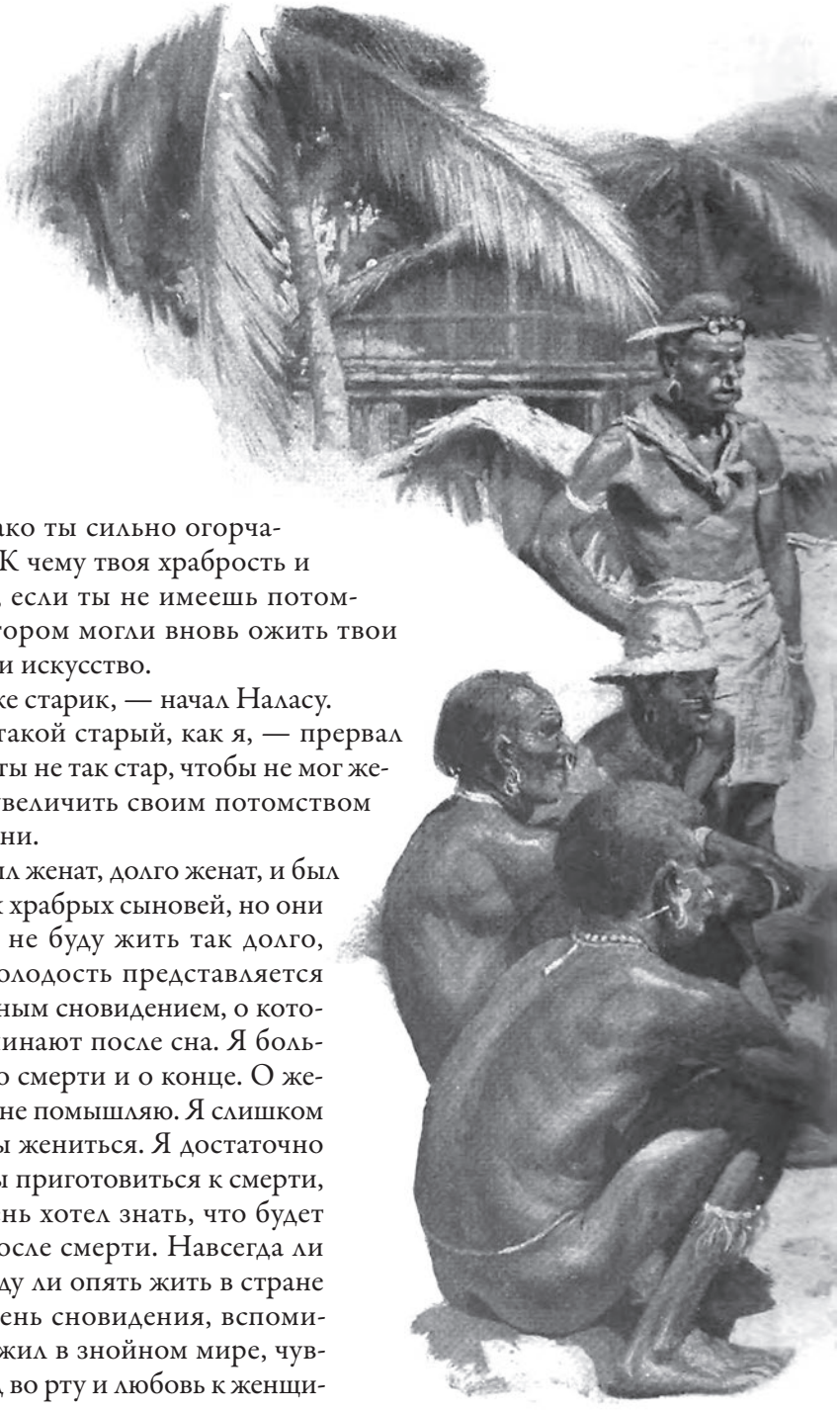
От полуночи до рассвета слепой и собака успешно отражали двенадцать человек, снабженных грохочущим порохом и далеко летящими и глубоко вонзающимися грибообразными пулями из мягкого свинца. Слепой защищался только луком и сотней стрел. Он выпустил много сотен стрел, которые Джерри приносил ему обратно, и которые он пускал снова и снова. Джерри хорошо и мужественно помогал ему, прибавляя к острому слуху Наласу свой еще более острый слух, бесшумно обходя вокруг дома и докладывая о приближении опасности с той или другой стороны.

Много драгоценного пороха израсходовали Анно, ибо все дело напоминало игру невидимых духов. Ничего не было видно, кроме ружейных вспышек. Ни разу они не заметили Джерри, хотя скоро узнали о его маневрах около них в то время, как он разыскивал стрелы. Раз один из них, нагнувшись за стрелой, упавшей около него, задел рукой спину Джерри и с диким криком ужаса ощутил остроту его зубов. Они старались стрелять по направлению, откуда доносился звон тетивы, но Наласу, выпустив стрелу, неизменно тотчас же менял свое место. Несколько раз, предупрежденные о близости Джерри, они стреляли в него и даже раз слегка опалили его нос порохом.

Когда день начался той быстро проходящей серой полумглой, которая в тропиках отмечает переход от мрака к солнцу, Анно отступили. Наласу же, укрывшийся от света в дом, все еще сохранял, благодаря Джерри, восемьдесят стрел. В результате Наласу насчитывал одного убитого и неизвестное количество раненых его стрелами людей, которые смогли уйти.

Полдня просидел на корточках Наласу, лелея и лаская Джерри за то, что тот сделал для него. Потом он отправился вместе с ним в деревню и рассказал там о сражении. Башти посетил его в тот же день и имел с ним серьезный разговор.

— Я обращаюсь к тебе, как старик к старику, — так начал Башти, — я старше тебя, о, Наласу; я всегда был бесстрашен, но я никогда не был храбрее



тебя. Однако ты сильно огорчаешь меня. К чему твоя храбрость и искусство, если ты не имеешь потомства, в котором могли вновь ожить твои храбрость и искусство.

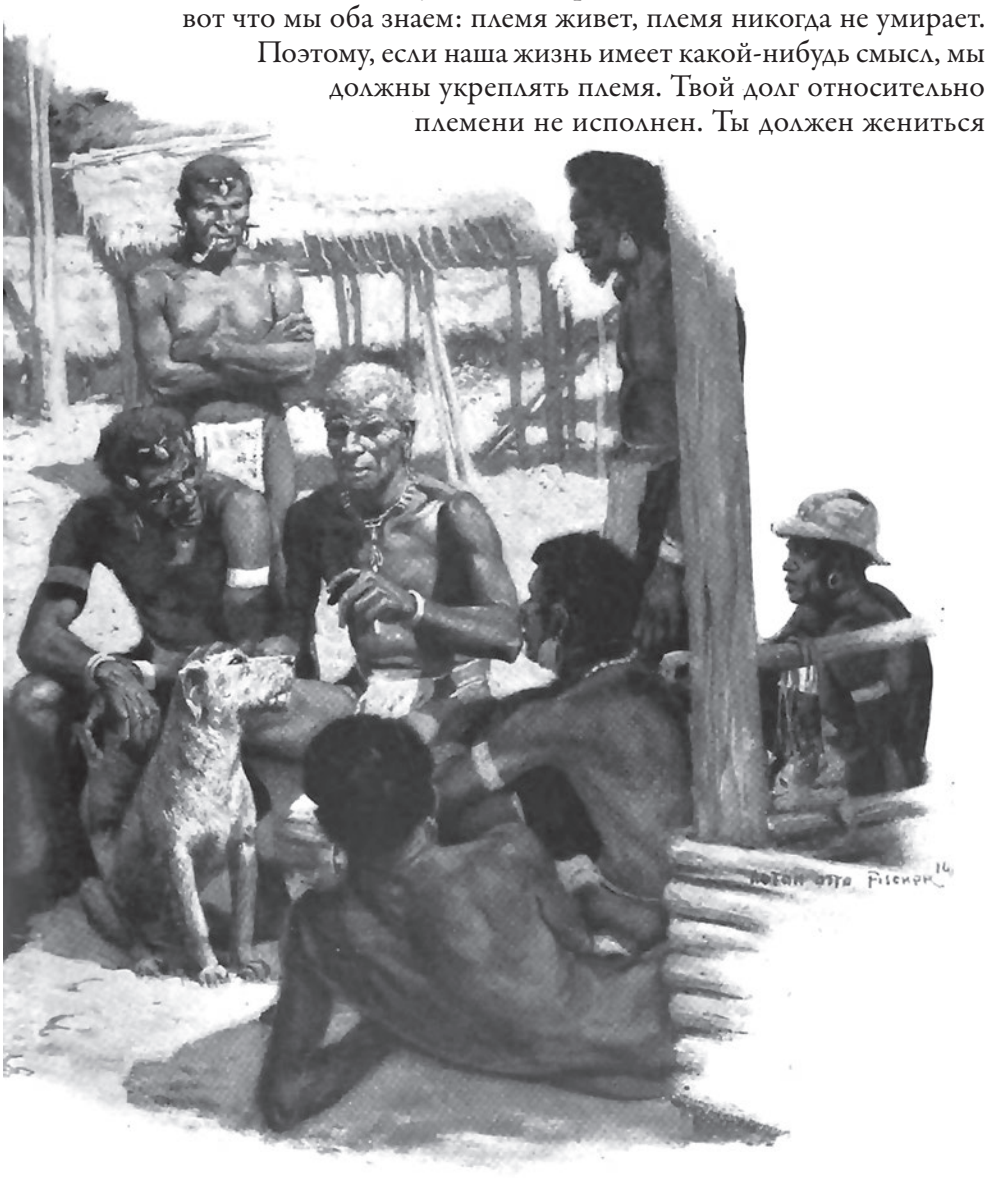
— Я уже старик, — начал Наласу.

— Не такой старый, как я, — прервал Башти, — ты не так стар, чтобы не мог жениться и увеличить своим потомством силу племени.

— Я был женат, долго женат, и был отцом трех храбрых сыновей, но они умерли. Я не буду жить так долго, как ты. Молодость представляется мне приятным сновидением, о котором вспоминают после сна. Я больше думаю о смерти и о конце. О женитьбе я и не помышляю. Я слишком стар, чтобы жениться. Я достаточно стар, чтобы приготовиться к смерти, и я бы очень хотел знать, что будет со мной после смерти. Навсегда ли я умру? Буду ли опять жить в стране грез, как тень сновидения, вспоминая, как я жил в знойном мире, чувствуя голод во рту и любовь к женщине в груди?

Башти пожал плечами.

— Я тоже много думал об этом,— сказал он,— но ни к чему не пришел. Я ничего не знаю, ты ничего не знаешь. Мы ничего не узнаем, пока не умрем, если мы вообще сможем что-нибудь знать, перестав быть тем, что мы есть. Но вот что мы оба знаем: племя живет, племя никогда не умирает. Поэтому, если наша жизнь имеет какой-нибудь смысл, мы должны укреплять племя. Твой долг относительно племени не исполнен. Ты должен жениться



Потом он отправился вместе с ним в деревню и рассказал там о сражении.

для того, чтобы твое искусство и твоя храбрость остались жить после тебя. У меня есть для тебя жена — нет, две жены, так как дни твои коротки, и я, наверное, увижу тебя висящим вместе с моими предками на кровельном шесте дома-пироги.

— Я не стану платить за жену, — протестовал Наласу. — Я не буду платить ни за какую жену. Я не дал бы табачного корешка или треснувшего кокосового ореха за лучшую женщину в Сомо.

— Не беспокойся, — спокойно сказал Башти. — Я заплачу вместо тебя за жену, за двух жен. Возьми Бубу. Я куплю ее для тебя за пол-ящика табака. Она плотная и широкоплечая, с круглыми ногами, широкими бедрами, роскошно развитой грудью. Затем есть еще Нэна. Ее отец дорого хочет за нее — целый ящик табака. Я ее куплю для тебя. Твой век короток. Мы должны спешить.

— Я не женюсь, — истерично возразил слепой.

— Ты женишься, я так сказал.

— Нет, я уже сказал и говорю опять: нет, нет, нет, нет. Жены обуза. Они молоды, и головы их набиты пустяками. Их языки болтают праздные речи. Я стар, живу спокойно, огонь жизни потух во мне, я предпочитаю сидеть один в темноте и думать. Слышать вокруг себя болтовню молодых созданий, в головах и на языках которых нет ничего, кроме накипи и пены, свело бы меня с ума. Это несомненно довело бы меня до того, что я стал бы плевать в каждую двустворчатую раковину, строить рожи луне, перекусил бы себе вены и начал выть.

— А что из того, если ты все это и сделаешь? Лишь бы твоя порода не погибла. Я заплачу за жен их отцам и пришлю их к тебе через три дня.

— Я ничего не буду иметь с ними общего! — яростно заявил Наласу.

— Будешь,— спокойно настаивал Башти.— Иначе ты должен будешь заплатить мне. Это будет мучительный, жестокий долг. Я выверну все твои суставы, и ты будешь, как медуза, как жирная свинья, из которой вынуты все кости; и я привяжу тебя к столбу на самой середине площади, где убивают собак, чтобы ты на солнце распух от боли. А то, что останется от тебя, я брошу собакам на съедение. Твое семя не должно пропасть для Сомо. Это говорю тебе я, Башти. Через три дня я пришлю тебе твоих двух жен.

Он остановился и между ними водворилось продолжительное молчание.

— Что же? — переспросил Башти. — Жены или стояние у столба на солнце с вывихнутыми суставами? Выбирай, но подумай хорошенько, прежде чем выбрать выворачивание суставов.

— В мои годы, когда волнения юности уже далеко позади... — жаловался Наласу.

— Выбирай. Ты найдешь, что в центре двора, где убивают собак, есть волнения пренеприятные, особенно когда солнце начнет подпекать твои больные суставы до тех пор, пока сало твой худобы не закипит ключом, точно нежный жир молочного поросенка.

— Так присылай мне жен, — с трудом выговорил Наласу после долгого молчания, — но присылай их через три дня, не через два и не завтра.

— Нет, я уже сказал и говорю опять: нет, нет, нет, нет. Жены обуза. Я стар, живу спокойно, огонь жизни потух во мне, я предпочитаю сидеть один в темноте и думать..

— Хорошо, — с важностью кивнул Башти. — Ты жил только благодаря тем, которые были раньше тебя и давно удалились во мрак, которые трудились, чтобы племя жило и чтобы ты мог существовать. И ты существуешь. Они заплатили дань за тебя. И ты в долгу. Ты родился с этим долгом. Ты заплатишь долг раньше, чем перестанешь существовать. Это закон. Это очень хорошо.

ГЛАВА XIX

Если бы Башти ускорил на день или два присылку жен, Наласу вступил бы в матримониальное чистилище, которого так опасался. Но Башти сдержал слово, а на третий день он был занят разрешением более важной задачи, чем посылка Бубу и Нэны старому слепцу, тревожно ожидавшему их прибытия. На утро третьего дня все вершины подветренной стороны Малаиты заговорили дымом. Военный корабль у берега — такова была весть. Большой военный корабль проходил между коралловыми островами Ланга-Ланга. Далее передавали: корабль не остановился у Ланга-Ланга, корабль не остановился у Бину. Он направлялся на Сомо.

Слепой Наласу не мог видеть этого дыма в воздухе. Вследствие уединенности его жилища никто не пришел сказать ему об этом. Первую весть об этом ему принесли полные невыразимого страха пронзительные голоса женщин, крики детей и плач младенцев, доносившиеся со стороны главной тропы, которая вела от селения к нагорной границе Сомо. Уловив в этих звуках испуг и панику, он сделал заключение, что селение бежит в свои горные укрепления, но причины этого бегства он не знал.

Наласу подозвал Джерри и послал его к большой индийской смоковнице, где большая тропа сходилась с тропинкой Наласу, приказав ему все разведать и доложить. Джерри, сидя под смоковницей, наблюдал всеобщее бегство населения Сомо. Мужчины, женщины, дети, молодые и старые, грудные младенцы и патриархи, опирающиеся на палки и посохи, проходили перед его глазами, обнаруживая величайшую поспешность и тревогу. Деревенские собаки также были перепуганы и бежали с воем и визгом. Паника начинала заражать и Джерри. Он почувствовал желание присоединиться к этому бегству от какого-то угрожающего, невыразимо катастрофического события, возбуждавшего в нем интуитивное предчувствие смерти. Но он подавил в себе это желание чувством преданности слепцу, который кормил и ласкал его в эти долгие шесть месяцев.

Вернувшись к Наласу и усевшись между его колен, он сделал свой доклад. Он не мог считать дальше пяти, хотя знал, что бегущее население во много раз превосходило это число. Поэтому он сообщил: пятеро мужчин и больше, пять женщин и больше, пятеро детей и больше, даже о свиньях он сообщил: пять и больше. Уши Наласу сказали ему, что их было во много-много раз больше, и он спросил его об именах: Джерри знал имена Башти, Агно, Ламаи и Лумаи. В том, как он произносил эти имена, не было ни малейшего сходства с их обычным звуком, но он произносил их стенографическим способом вздохов и рычания, которому научил его Наласу.

Наласу назвал много других имен, которые Джерри знал по слуху, но не мог выразить звуком, и на большинство из них он отвечал да, одновременно наклоняя голову и выставляя правую лапу. При некоторых именах он оставался неподвижен, в знак того, что не знал их. При других именах, которые он узнавал, но владельцев которых не видел, он отвечал: нет, выдвигая левую лапу.

Наласу, поняв, что им угрожает что-то ужасное, гораздо более ужасное, чем набег какого-либо из соседних приморских племен, который Сомо легко мог отразить за своими стенами, догадался, что это было давно ожидаемое карательное военное судно. Несмотря на свои шестьдесят лет, он никогда не испытал бомбардировки селения. Он слыхал смутные рассказы о том, что происходило при этом в других селениях, но сам имел очень смутное представление о бомбардировке, догадываясь только, что пули должны быть при этом гораздо крупнее, чем пули снайдера, и могут соответственно лететь дальше по воздуху.

Но ему суждено было узнать перед смертью, что такое бомбардировка. Башти, давно ожидавший прибытия крейсера, который придет, чтобы отомстить за гибель «Аранджи» и головы двух белых, и давно уже вычисливший все убытки, дал приказ своему народу бежать в горы. В авангарде шли двенадцать молодых людей, которые несли завернутые в циновки тюки с головами; когда последние запоздавшие беглецы этого исхода прошли мимо, Наласу, сжимая в руке свой лук и восемьдесят стрел, в сопровождении Джерри сделал первый шаг, чтобы следовать за ними, но в эту минуту над головой его раздался ошеломляющий звук.

Наласу сразу сел. Это был первый снаряд в его жизни, и он был в тысячу раз сильнее, чем он представлял себе. Это был звук, от которого, казалось, раскалываются небеса, словно космическое сооружение раскалывалось на части руками какого-то могущественного бога. Это походило на самое резкое раздирание простынь, толстых, как одеяло, обширных, как земля, и широких, как небо.

Наласу не только сел у своей двери, но пригнул голову к коленям и заслонил ее руками. И Джерри, который никогда не слышал бомбардировки и еще менее представлял себе, на что она похожа, испытал также невыразимый ужас. Он видел в ней естественную катастрофу, такую же, какая случилась с «Аранджи», когда бушующий ветер накренил ее набок. Но, верный своей природе, он не припал к земле от пронзительного шума первого снаряда. Наоборот, он ощетинился и зарычал, угрожая оскаленными зубами чему-то, так явно присутствующему, но еще невидимому.

Когда разорвался следующий снаряд, Наласу согнулся еще ниже, а Джерри снова зарычал и ощетинился. Оба они повторяли свои движения при каждом новом снаряде, ибо хотя последние и не ревели громче, но разрывались в джунглях все ближе к ним. Наласу, прожившему долгую жизнь, сохраняя бесстрашие среди опасностей, которые ему пришлось испытать, суждено было умереть трусливой смертью от страха перед неизвестным,— перелетающими химическими снарядами белых властителей. По мере того, как падающие снаряды разрывались все ближе и ближе, он утрачивал способность владеть собой. Его панический ужас дошел до того, что он готов, был перекусить себе вены и завыть. С безумным криком вскочил он на ноги и бросился внутрь дома, как будто тростниковая крыша в самом деле могла защитить его голову от таких огромных и страшных снарядов. Он стукнулся о косяк двери и, прежде чем

Джерри успел последовать за ним, завертелся кругом и упал на середине пола, как раз вовремя, чтобы получить прямо на голову следующий снаряд.

Джерри подошел к порогу в ту минуту, когда снаряд разорвался. Жилище разлетелось на мелкие куски, и Наласу вместе с ним. Стоявший на пороге Джерри был отброшен силой взрыва на расстояние в 20 футов. В одну и ту же небольшую долю секунды землетрясение, морской прилив, вулканическое извержение, гром небес и огненный блеск молнии с неба поразили его и лишили сознания.

Он не имел представления о том, сколько пролежал. Прошло пять минут, прежде чем лапы его начали судорожно двигаться и, когда он, спотыкаясь и качаясь, как одурманенный, поднялся на ноги, у него не было и мысли о том, сколько прошло времени.

Его горло и легкие были переполнены едким и удушливым пороховым дымом, ноздри — землей и пылью, и он неистово храпел и чихал, прыгая и падая, словно пьяный, опять подпрыгивал в воздух, с трудом поднимался на задние лапы, бил себя передними по носу, опустив голову вниз, и даже терся носом о землю. У него не было другой мысли, как только вырвать жгучую боль из носа и рта и ощущение удушья из легких.

Он каким-то чудом избежал летающих осколков свинца и благодаря своему крепкому сердцу не умер от сотрясения при взрыве. Не раньше, как после пяти минут безумных усилий, в течение которых он вел себя, словно только что обезглавленный цыпленок, жизнь снова показалась ему терпимой. Когда удушье и страдания стали проходить, он, будучи еще слаб и с трудом держась на ногах, все же направился, шатаясь, к дому и Наласу. Но ни дома, ни Наласу больше не было — на их месте были только перемешанные остатки от того и другого.

Пока снаряды продолжали реветь и разрываться, то приближаясь, то удаляясь, Джерри исследовал происшедшее. Так же верно, как исчез дом, исчез и Наласу. Обоих поглотило конечное небытие. Весь окружающий мир казался ему обреченным на небытие. Жизнь, по-видимому, была где-то в другом месте, на высоких горах, в отдаленных кустах, куда уже бежало племя. Он был предан своему пепелищу, своему хозяину, которому он так долго повиновался, несмотря на то что он черный, хозяину, который столько времени кормил его и к которому он был действительно привязан. Но этого хозяина больше не было.

Джерри отступил, но его отступление не было поспешно. Вначале он отвечал рычанием на вой каждого снаряда, проносившегося в воздухе, и на каждый взрыв в кустах. Но через некоторое время, хотя неприятное сознание их близости не покидало его, шерсть на его шее все же перестала щетиниться; он больше не огрызался и не скалил зубы.

И, расставшись с тем, что было и перестало быть, он не завизжал и не бросился бежать, как дикие собаки. Напротив того, он ровным шагом, с достоинством, направился по тропинке. Когда он вышел на главную тропу, она была пустынна. Прошли последние беглецы. Дорога, на которой с раннего утра до наступления темноты не прекращалось движение и которую он так недавно еще

видел запруженной людьми, своей пустотой вызывала в нем глубокое впечатление неизбежности конца для всего в этом гибнущем мире. Поэтому он не сел под смоковницей, но продолжал путь, направляясь к далекому тылу племени.

Он носом читал повествование о бегстве. Только раз он натолкнулся на нечто, говорившее об ужасе этого бегства. Это была целая группа, уничтоженная снарядом. Там находились: пятидесятилетний старик на костылях — ногу его отгрызла акула, когда он был еще мальчиком, мертвая женщина с мертвым младенцем на груди, мертвый ребенок лет трех, вцепившийся в ее руку, и две мертвые свиньи, огромные и жирные, которых женщина намеревалась отвести в безопасное место.

Нос Джерри указал ему, как поток беглецов раскололся и, обойдя эту группу с двух сторон, дальше слился опять. Он встречался с разными мелкими эпизодами бегства: обгрызенный кусок сахарного тростника, оброненный каким-то ребенком; глиняная трубка с чубуком, укороченным после ряда поломок; одно перо, выпавшее из волос какого-нибудь юноши, и тыква, наполненная жареным ямсом и сладким картофелем, бережно поставленная у дороги какой-нибудь женщиной, которой тяжесть ее оказалась не по силам.

Пока Джерри шел, бомбардировка прекратилась; вскоре он услышал ружейный огонь десанта, убивавшего домашних свиней на улицах Сомо. Но он не слыхал, как рубили кокосовые деревья, и не вернулся взглянуть, какой ущерб нанесли топоры.

В это время с Джерри произошла удивительная вещь, которую не разъяснили мыслители всего света. В его собачьем мозгу обнаружилась независимая пытливость духа, благодаря которой все поколения метафизиков усиленно доказывали существование бога, а все философы-детерминисты были одурачены, несмотря на свое твердое заявление, что это лишь иллюзия. Джерри сделал то, что сделал. Он не знал, как и почему он это сделал, как ни один философ не знает, как и почему он решает позавтракать маисовой кашей со сливками вместо пары яиц всмятку.

Джерри всего-навсего подчинил свои действия мозговому импульсу, который побуждал его сделать не то, что казалось более легким и обычным, а то, что казалось более трудным и необычным. Легче вынести то, что известно, чем бежать к неизвестному; в несчастье и страхе лучше не быть одному, поэтому, казалось бы, самым легким выходом для Джерри было последовать за племенем Сомо в его укрепления. Вместо этого Джерри уклонился от линии, по которой совершилось отступление, и направился на север; он перешел границы Сомо, продолжая по-прежнему держать путь на север, в чужую ему страну неведомого.

Если бы Наласу не перешел в конечное небытие, Джерри остался бы. Это верно, и тому, кто стал бы обдумывать его поступок, могло бы показаться, что Джерри так и рассуждал; он действовал под влиянием импульса. Он мог сосчитать пять предметов и назвать их по их именам и по числу, но он не в состоянии был рассуждать о том, что остался бы в Сомо, если бы Наласу был жив, и ушел бы из Сомо, если бы Наласу умер. Он просто покинул Сомо потому,

что Наласу умер, и ужасный огонь снарядов в его сознании быстро отошел в прошлое, а настоящее стало живым и ярким, как это свойственно настоящему. Почти на цыпочках прошел он по следам диких бушменов, остерегаясь притаившейся смерти, которая, как он знал, царила на этих дорогах; насторожив уши, он ловил каждый звук в джунглях, стараясь при этом глазами распознать, что производит эти звуки.

Колумб, отправляясь на поиски неизвестного, не был более дерзок и отважен, чем Джерри, пустившийся в темноту джунглей черной Малаиты. И этот чудесный подвиг, этот в своем роде великий акт он совершил, подобно многим людям, обошедшим весь мир, только под влиянием бессознательного стремления к передвижению и работы фантазии.

Хотя Джерри никогда больше не увидел Сомо, Башти со своим племенем вернулся туда в тот же день. Он скалил зубы и смеялся, когда выяснил размеры убытков. Лишь немногие соломенные хижины пострадали от снарядов. Лишь несколько кокосовых деревьев было срублено; из убитых свиней, боясь порчи мяса, он устроил большой пир. Один снаряд пробил стену его жилища, выходившую к морю. Он увеличил дыру, пока она не стала пригодной для спуска пирог, обложил бока этого спуска обломками коралловых скал и приказал построить добавочную пристань. Единственно, что было ему неприятно, это смерть Наласу и исчезновение Джерри, являвшихся объектами для его опытов примитивной евгеники.

ГЛАВА XX

Целую неделю провел Джерри в кустарнике, потому что бушмены, постоянно подстерегавшие беглецов, мешали ему проникнуть в горы. Плохо пришлось бы ему с пищей, если бы на второй день ему не попалась одинокая маленькая свинья, очевидно отбившаяся от своего выводка. Это была его первая охота с целью добыть пропитание, и она послужила препятствием к дальнейшему путешествию, так как, верный своему инстинкту, он оставался около своей добычи, пока не съел ее почти всю.

Он, правда, бродил далеко вокруг, тщетно ища другой пищи, которую он мог бы захватить. Но он всегда возвращался к убитой свинье, пока она не была съедена. Однако он не был счастлив своей свободой. Он слишком привык к домашней жизни и был слишком цивилизован. Слишком много тысячелетий прошло с тех пор, как его предки свободно бегали в диком состоянии. Он не мог существовать без человека. Слишком долго он и его предки до него прожили в тесном общении с двуногими богами. Слишком долго его род любил человека, терпел от него из любви, умирал за него из любви и в награду был отчасти оценен, еще меньше понят и грубо любим.

Одиночество Джерри было так тяжело для него, что он готов был примириться даже на черном двуногом боге, так как белые боги давно уже исчезли

во мраке прошлого. Если бы он умел строить выводы, то на основании своих сведений заключил бы, что единственные существовавшие белые боги погибли. Приняв предпосылку, что лучше черный бог, чем полное отсутствие бога, он, доев своего поросенка, повернул налево и спустился с горы вниз по направлению к морю. Сделал он это, опять-таки не рассуждая, просто потому, что в сложном процессе, происходившем в его мозгу, одержал верх опыт. Опыт говорил ему, что он всегда жил около моря; все его встречи с людьми до сих пор происходили около моря, а спуск с горы неизменно вел к морю.

Он вышел на берег огражденной рифами лагуны, где разоренные соломенные дома указали ему на то, что здесь раньше жили люди. Джунгли на этом месте были очень густы. Вокруг него росли шестидюймовые деревья с ожерельями из гнилых остатков тростниковых крыш, через которые они пробились к солнцу. Быстро выросшие деревья бросали тень на виселицы, так что идолы и домашние боги, сидевшие в резных челюстях акул, казалось, наивно и жестоко усмехались, созерцая сквозь покрывавший их мех и пестрые грибовидные наросты ничтожество человека. Маленькая жалкая стена вдоль берега моря, и в лучшие времена не отличавшаяся крепостью, лежала в развалинах от корней кокосовых пальм до спокойного моря. Бананы, смоквы и плоды хлебного дерева гнили на земле. Кругом валялись кости, человеческие кости, и Джерри, обнюхав их, узнал в них эмблемы ничтожества жизни. Черепов он не встречал, так как черепа, принадлежавшие разбросанным костям, украшали дома знахарей в горных бушменских селениях.

Запах морской соли радовал его ноздри, он фыркал от удовольствия, вдыхая зловонные испарения мангрового болота. Но, как второй Крузо, случайно нашедший отпечаток ноги второго Пятницы, его нос, а не глаза, — потряс его точно электрическим током, учуяв на земле свежий след живого человека. Это была нога негра, но она была живая, побывала здесь недавно. Пройдя по этому следу около двадцати ярдов, он набрел на другой след ноги, несомненно, принадлежавший белому человеку.

Если бы здесь очутился посторонний зритель, он подумал бы, что Джерри внезапно взбесился. Он то бешено кидался вперед, то возвращался и кружился на месте, то зарывал морду в землю, то поднимал ее кверху; при этом он так же бешено визжал, как и бегал, внезапно подпрыгивая под прямым углом, когда до него доходил новый запах, бросаясь во все стороны, точно играя в пятнашки с каким-то невидимым партнером.

Но он прочел полностью все, что множество людей написало на земле. Он узнал, что здесь был один белый человек и много черных. Здесь черный влезал на кокосовое дерево и сбрасывал с него орехи. Там с банана были сорваны грозди фруктов, дальше в таком же виде стояло хлебное дерево. Одно только смущало его — какой-то новый запах, не принадлежавший ни белому, ни черному человеку. Его сбивал с толку незнакомый запах пудры. Он остро чувствовал его носом, но ему никогда не приходилось еще встречать подобного запаха

Единственный плавучий мир, который он знал, был окрашен в белый цвет «Аранджи». А раз — в чем у него не было и тени сомнения — это была «Аранджи», значит, на борту ее находился его возлюбленный шкипер.

с того самого времени, как он в первый раз обнюхал след человека. К нему присоединились еще другие, более слабые запахи, одинаково незнакомые Джерри.

Он недолго интересовался этой тайной. Он почуял след белого человека и в лабиринте других следов, не упуская, последовал за ним через пролом морской стены на размельченный и омываемый морем коралловый песок. Здесь сходились самые свежие следы многих ног. Здесь, в том же месте, где лодка причалила к берегу, где люди высадились и снова сели в нее, он вынюхал все, что произошло здесь, и, войдя по плечи в воду, стал смотреть через лагуну туда, где след терялся для его чутья.

Если бы он пришел на полчаса раньше, то увидел бы лодку без весел, с бензиновым мотором, прорезавшую тихие воды. Но теперь он увидел — «Аранджи». Правда, эта «Аранджи» была больше той, которую он знал, но она была белая, длинная, у нее были три мачты, и она также плавала на поверхности моря. У нее были три мачты, поднимающиеся

к небесам, и все одного размера. Но его наблюдательность не была настолько развита, чтобы видеть разницу между ними и одной длинной, а другой короткой мачтами на «Аранджи». Единственный плавучий мир, который он знал, был окрашен в белый цвет «Аранджи». А раз — в чем у него не было и тени сомнения — это была «Аранджи», значит, на борту ее находился его возлюбленный шкипер. Если «Аранджи» могла воскреснуть, то и шкипер мог воскреснуть. И в полной уверенности, что голова, которую он видел в последний раз на коленях Башти, опять присоединилась к своему туловищу и к своим двум ногам, и что он найдет ее на палубе выкрашенного в белый цвет плавучего мира, Джерри, пройдя вброд до предельной глубины, смело пустился вплавь.

Это была большая смелость, потому что, отваживаясь пуститься в море, он нарушал одно из самых ранних и главных табу, которым его научили. В его словаре не было слова «крокодил»; однако в его воображении, таким же властным, как и всякое произносимое слово, вставал образ ужасающей силы — образ страшного плавучего бревна, которое было не бревном, а чем-то живым, которое могло плавать на поверхности и под поверхностью воды, вылезать на сушу, имело огромные зубы, мощный желудок и являлось верной смертью для плывущей собаки.

Но он бесстрашно продолжал нарушать табу. В противоположность человеку, который может одновременно думать о двух разных вещах и который, плывя, сознавал бы и страх, и высокую степень отваги, благодаря которой он

Его чуть не втянуло в водоворот, образовавшийся при проходе этого существа и вызванный движением его хвоста.

преодолевает этот страх, у Джерри, пока он плыл, была только одна мысль, что он плывет к «Аранджи» и шкиперу. В минуту, предшествовавшую первому удару его лап по воде, он понимал весь ужас табу, которое он сознательно нарушал. Но, бросившись в воду после принятого решения, избрав линию наименьшего сопротивления, он искренне и чистосердечно был убежден, что отправляется к шкиперу.

Как ни мало был он опытен в искусстве плавания, он плыл изо всех сил, точно воспевая при этом визгом свою пылкую любовь к шкиперу, который, наверное, находится на белой яхте, на расстоянии полумили. Его маленькая песнь любви, полная острой душевной тревоги, долетела до ушей мужчины и женщины, лежавших под навесом на палубных стульях. Быстроглазая женщина первая увидела золотистую голову Джерри и закричала:

— Спускай лодку, Муж-Мужчина, — скомандовала она. — Это маленькая собачка. Нельзя допустить, чтобы она утонула.

— Собаки не так-то легко тонут, — последовал ответ Мужа-Мужчины. — Он прекрасно справится сам. Но что может здесь делать собака?

Он поднес морской бинокль к глазам и минуту всматривался.

— И к тому же собака белого человека?

Джерри бил лапами по воде и упорно подвигался вперед, напряженно всматриваясь в увеличивающуюся яхту, как вдруг почувствовал приближение непосредственной опасности. Табу поражало его. То, что двигалось по направлению к нему, не было плавучим бревном, но живым орудием гибели. Часть его он видел на поверхности, где она лениво двигалась, и прежде, чем эта выдающаяся часть успела погрузиться, у него мелькнула мысль, что она как будто отличается от плавучего бревна.

Затем мимо него прошло нечто щетинистое, что он встретил рычанием и плесканием передних лап. Его чуть не втянуло в водоворот, образовавшийся при проходе этого существа и вызванный движением его хвоста. Это была акула, а не крокодил, и она не удалилась бы так скромно, если бы не была вполне насыщена только что съеденной огромной морской черепахой, которая от старости не в силах была спастись.

Хотя Джерри не мог видеть, но он почувствовал, что его подстерегает нечто — орудие уничтожения. Не видал он также и того, как спинной плавник разрезал поверхность, приближаясь к нему сзади. Он услыхал с яхты быстро последовавшие один за другим ружейные выстрелы. Сзади до его слуха донесся панический всплеск. Это было все. Опасность миновала и была забыта. Он не отождествлял ружейных выстрелов с исчезновением опасности. Он не знал, и не суждено ему было когда-нибудь узнать, что человек, известный людям как Гарлей Кэннан, которого женщина называла «Муж-Мужчина», а он ее в свою очередь «Жена-Женщина» — владелец трехмачтовой яхты «Ариэль», спас ему жизнь, пробив пулей основание плавника акулы.

Но Джерри суждено было узнать Гарлея Кэннана и узнать его очень скоро, так как именно Гарлей Кэннан, спущенный с борта «Ариэля» двумя матроса-

ми с булинем вокруг тела, схватил за шиворот гладкошерстного ирландского терьера, который, оставляя за собой лужи и не обращая ни на кого внимания, жадно всматривался в ряд лиц, стоявших вдоль борта, отыскивая между ними одно лицо.

Когда его опустили на палубу, он не остановился, чтобы выразить свою благодарность, а вместо того побежал, инстинктивно встряхиваясь на бегу, разыскивать на палубе шкипера. Муж и жена смеялись, глядя на него.

— Он точно с ума сошел от радости, что спасен, — заметила миссис Кэннан.

Мистер Кэннан отвечал:

— Нет, это не то. У него, должно быть, развинтился где-нибудь винтик. Может быть, он одно из тех созданий, у которых задерживающий ремешок соскользнул с двигательного зубца. Возможно, что он не может остановиться, пока не свалится.

Тем временем Джерри продолжал бегать вверх по левому борту и вниз по правому, от кормовой до носовой части яхты и обратно, помахивая обрубленным хвостом и дружелюбно улыбаясь встречавшимся ему многим двуногим богам. Если бы он подумал в эту минуту о подобной отвлеченности, он был бы поражен количеством белых богов. Их было по меньшей мере тридцать, не считая других богов, ни белых, ни черных, но все же двуногих, стоявших на двух ногах и одетых, а, следовательно, несомненно принадлежавших к богам. Точно также, будь он способен на подобное обобщение, он решил бы, что не все белые боги перешли в небытие. Он сознавал все это, сам не отдавая себе отчета в том, что сознает это.

Но шкипера не было. Он обнюхал люк на баке, обнюхал кухню, где два повара-китайца пробормотали ему что-то непонятное, обнюхал трап и капитанскую каюту, обнюхал стеклянную крышу машинного отделения и впервые познакомился с машинным маслом и бензином, но, как он ни обнюхивал, куда бы ни бегал, он не находил запаха шкипера. Полный отчаяния, он готов был сесть на корме у руля и завыть от раздирающего сердце разочарования, если бы с ним не заговорил белый бог, очевидно из начальствующих, в обшитой золотом белой парусиновой фуражке. Оставаясь всегда джентльменом, Джерри тотчас улыбнулся, опустив из вежливости уши, помахал хвостом и подошел к нему. Рука этого высокого бога готова была погладить его голову, когда с палубы раздался голос женщины, произносивший слова, которых Джерри не понял. Слова и выражения были непонятны ему. Но он почувствовал в них силу приказания, что тотчас же подтвердилось быстрым отдергиванием руки бога в белой с золотом одежде, который почти приласкал его. Этот бог мгновенно застыл, как от прикосновения электричества, и, указывая Джерри вдоль палубы, поощряя и понукая его, о чем Джерри мог только догадываться, направил его к той, которая приказала это, говоря:

— Пошлите его, пожалуйста, ко мне, капитан Уинтэрс.

Джерри всем телом изогнулся от восторга, что он исполняет приказание, и лояльно подставил бы голову под ее протянутую для ласки руку, если бы странность и непонятность в ней не удержала его. Он остановился на полдороге и, скаля зубы и ворча, отскочил от ее развеваемого ветром платья. Единственными человеческими существами женского пола, которых он знал, были голые черные леди. Эта юбка, развевающаяся по ветру, как парус, напомнила ему угрожающий грот на «Аранджи», когда тот скрипел, трещал и метался над его толовой. Звуки, выходившие изо рта женщины, были мягкие и приятные, но страшная юбка не переставала хлопать от ветра.

— Ах ты, чудная собака, — засмеялась она, — ведь я не укушу тебя!

Но муж ее протянул твердую уверенную руку и привлек к себе Джерри. Джерри затрепетал от восторга при ласке бога и поцеловал его руку красным, дрожащим языком. Потом Гарлей Кэннан направил его к сидящей на палубном стуле женщине, которая, нагнувшись, протянула ему руку для приветствия. Джерри повиновался. Он придвигался с опущенными ушами и улыбающимся ртом, но как только она попробовала дотронуться до него, ветер опять зашевелил ее юбку и Джерри с рычанием попятился назад.

— Он не тебя боится, Вилла, — сказал ее муж, — а твоей юбки. Он, может быть, никогда не видал юбок.

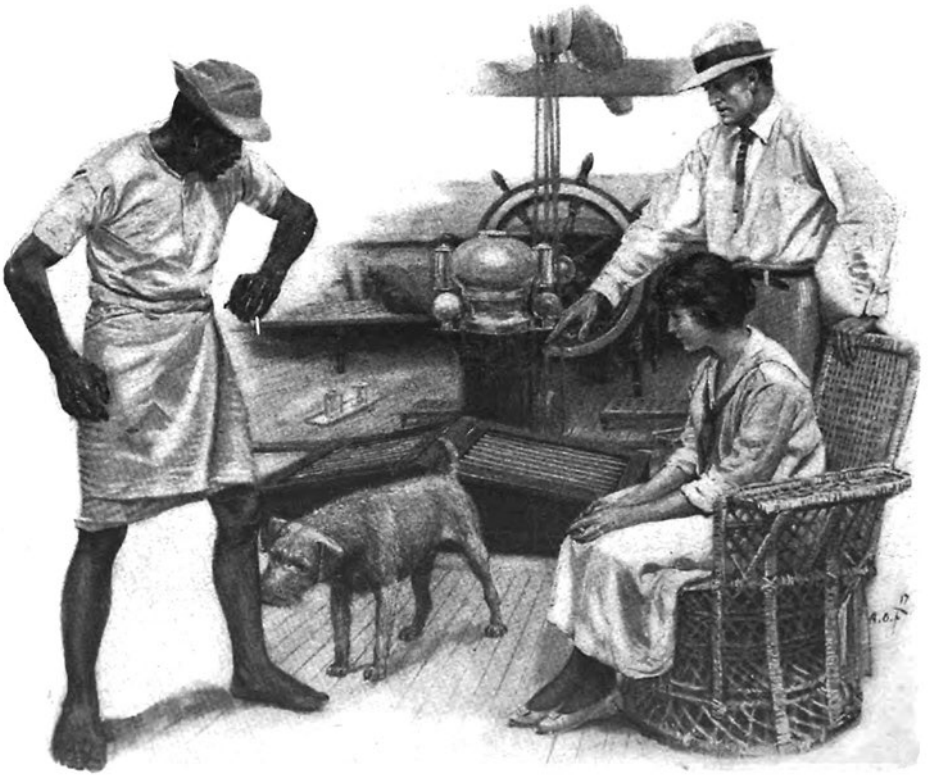
— Ты хочешь сказать,— возразила Вилла Кэннан,— что эти охотящиеся за головами людоеды, живущие здесь на берегу, хранят родословные собак и содержат псарни, потому что этот глупый искатель приключений, несомненно, такой же чистокровный ирландский терьер, как «Ариэль»— шхуна, обитая досками из орегонской сосны.

Гарлей Кэннан засмеялся в знак согласия. Вилла Кэннан также засмеялась, и Джерри, поняв, что они оба счастливые боги, сам засмеялся с ними. Он, по собственной инициативе, подошел снова к женщине-богу, привлеченный душистым тальком и другими не столь сильными ароматами, которые он уже отождествил с незнакомыми ему запахами, встреченными раньше на берегу. Но несчастный муссон снова колыхнул ее юбку, и он опять отскочил — на этот раз не так далеко; при этом шерсть на его шее и плечах взъерошилась уже не так сильно, а вместо рычания он ограничился тем, что наполовину оскалился.

— Он боится твоей юбки, — настаивал Гарлей, — посмотри на него. Ему хочется подойти к тебе, но юбка удерживает его. Подсунь ее под себя, чтобы она не развевалась. Что из этого выйдет?

Вилла Кэннан исполнила этот совет, и Джерри осторожно подошел к ее руке, нагнул голову и, выгибая спину, обнюхал ее ноги, обутые в чулки и башмаки, и признал в них ноги, ступавшие босыми по разрушенным тропинкам берегового селения.

— Нет сомнения в том, что он родился у белых, вскормлен и воспитан белым человеком, — сказал Гарлей. — У него есть своя история. Ему знакомо самое настоящее приключение. Если бы он мог рассказать свою историю, мы



Уши Джерри не прижимались к голове и рот не улыбался дружественно, пока он осматривал Джонни и обнюхивал его ноги, собирая сведения, полезные в будущем.

бы целыми днями с восторгом слушали его. Будь уверена, что он не всю жизнь провел с черными. Давай, сделаем пробу на Джонни.

Джонни, которого подозвал Кэннан, был одолжен им у полномочного дипломатического представителя в Туладжи на Британских Соломоновых островах, и отправился с Кэннаном скорее в качестве лоцмана и проводника, чем философа и друга. Джонни подошел, оскалив зубы, а поведение Джерри немедленно изменилось. Его тело застыло под рукой Виллы Кэннан, он отошел от нее и на напряженных лапах приблизился к черному. Уши Джерри не прижимались к голове и рот не улыбался дружественно, пока он осматривал Джонни и обнюхивал его ноги, собирая сведения, полезные в будущем. Будучи кавалером до мозга костей, он, после краткого осмотра, вернулся к Вилле Кэннан.

— Что я говорил, — торжествующе сказал ее муж. — Он различает цветных. Он принадлежал белому и был тренирован в этом.

— Верно говорю, — заговорил Джонни, — мой знает этот собака. Мой знает папа-мама этот собака. Большой человек, белый хозяин, мистер Хаггин, он жить в Мэриндже; этот собака папа-мама тоже жить в Мэриндже.

Гарлей издал резкое восклицание.

— Конечно! — вскричал он. — Наш представитель говорил мне об этом. «Аранджи», взятая в плен жителями Сомо, вышла в последний раз с Мэринджской плантации. Джонни узнал в ней собаку, принадлежащую к той же породе, что и собаки мистера Хаггина в Мэриндже. Но это было давно. Он, вероятно, был тогда щенком. Это, конечно, собака белого человека.

— А ты не заметил главное доказательство этого, — поддразнивала Вилла Кэннан. — Собака носит это доказательство на себе.

Гарлей внимательно осмотрел собаку.

— Неоспоримое доказательство, — настаивала она.

После вторичного длительного осмотра Кэннан покачал головой.

— Убей меня, если я вижу тут что-нибудь достаточно неоспоримое, чтоб исключить необходимость каких-либо предположений.

— Хвост, — проговорила его жена. — Туземцы наверняка не обрубают своим собакам хвостов. Что вы скажете, Джонни? Что, черные люди, живущие в Малаите, обрубают хвосты своим собакам?

— Черные люди он не обрубать, — согласился Джонни. — Мистер Хаггин в Мэриндже он обрубать. Верно говорю, он обрубать хвост этот собака.

— Значит, он единственный, оставшийся в живых с «Аранджи», — заключила мисс Вилла Кэннан. — Согласны вы с этим, мистер Шерлок Холмс Кэннан?

— Преклоняюсь перед вами, миссис Шерлок Холмс, — любезно согласился муж. — Вам теперь остается прямым путем довести меня до головы самого Лаперуза. Историки утверждают, что он оставил ее где-то на этих островах.

Им и в голову не приходило, что Джерри находился в дружеских отношениях с неким Башти, который в эту самую минуту, сидя в своей соломенной хижине, размышлял над лежащей на его иссохших коленях головой, некогда принадлежавшей великому мореплавателю.

ГЛАВА XXI

Красивая трехмачтовая шхуна «Ариэль», совершающая кругосветное плавание, находилась уже год в пути, когда Джерри вошел на нее. Как мир, в особенности как мир белых богов, она показалась ему несравненной. Она не была мала, как «Аранджи», и не была забита с одного конца до другого, сверху и донизу, целым племенем негров. Единственный черный, которого нашел на ней Джерри, был Джонни, и все ее пространство было, главным образом, наполнено двуногими белыми богами.

Он находил их всюду: у руля, на вахте, за мытьем палубы, за чисткой меди, бегущими наверх, тянущими паруса и корабельные снасти по шести человек за раз.

Но между ними была разница. Были боги и боги, и Джерри скоро понял, что в небесной иерархии этих белых богов «Ариэли» матросы и слуги стояли много ниже капитана и его двух одетых в белое с золотом помощников. Эти в свою очередь были ниже Гарлея и Виллы Кэннан; он скоро понял, что ими повелевает Гарлей Кэннан. Но была, однако, одна вещь, которой он не знал и которую ему не суждено было никогда узнать, а именно, кто был главным, высшим богом на «Ариэли». Хотя он никогда не задумывался над этим, не обладая способностью загадывать так далеко,— ему так и не пришлось узнать, Гарлей ли Кэннан командует над Виллой или Вилла Кэннан командует над Гарлеем. Не затрудняя себя разгадкой этой проблемы, он признал их двойственное верховное владычество. Ни тот, ни другая не были выше. Они, казалось, управляли на равных началах, а все остальные преклонялись перед ними.

Кормить собаку еще не значит завоевать ее сердце. Никогда ни Гарлей, ни Вилла не кормили Джерри, а между тем их, а не слугу японца, аккуратно кормившего его, он и избрал теми, кому хотел принадлежать, кого хотел любить и кому хотел служить. В этом отношении Джерри, как и всякая другая собака, был способен отличать дающего пищу от источника этой пищи. Он инстинктивно понимал, что не только его питание, но и питание всех, находящихся на судне, имело источником мужчину и женщину. Они всех кормили и всем управляли. Капитан Уинтэрс мог давать приказания матросам, но сам получал приказания от Гарлея Кэннана. Джерри знал это наверное и действовал сообразно с этим, хотя это никогда не возникало в его голове, как результат сознательного понимания.

По усвоенной с детства привычке, точно так же как это произошло с мистером Хаггином, шкипером и даже с Башти и главным знахарем в Сомо, он привязался теперь к высшим богам, и в свою очередь стал пользоваться вниманием богов, стоявших ниже их. Как шкипер на «Аранджи» и Башти в Сомо объявляли табу, так мужчина и женщина на «Ариэли» ограждали Джерри разными табу. Только из рук Сано, японского слуги, получал Джерри пищу. Ни от одного матроса вельбота или баркаса он не должен был принимать ее; было строго запрещено предлагать ему кусочки бисквита или приглашать его на берег прогуляться. И они не предлагали ему этого. Всякая интимность с ним также не допускалась; им не разрешалось играть и бегать с Джерри и даже подзывать его свистом на палубе.

Так как Джерри был однолюб по натуре, то все это было совершенно приемлемо для него. Допускались, разумеется, некоторые оттенки, но никто так деликатно и определенно не понимал этих оттенков, как сам Джерри. Так, двум помощникам капитана позволялось приветствовать его, говоря: «Хэлло», или «С добрым утром», и даже быстро и дружески потрепать его по голове. Капитану Уинтэрсу разрешалась большая фамильярность. Капитан Уинтэрс имел

право чесать ему уши, поднимать его лапу, тереть ему спину и даже грубо ловить его за челюсти. Но капитан Уинтэрс неизменно отпускал его, когда мужчина и женщина появлялись на палубе.

Что касается вольностей, восхитительно веселых вольностей, один только Джерри на всем судне мог позволить их себе с мужчиной и женщиной, и, с другой стороны, только им одним он разрешал вольности по отношению к себе. Трепеща от радости принимал он все оскорбления, какие изобретала для него Вилла Кэннан; так, например, она заворачивала ему уши внутрь, так что они торчали, в то же время заставляя его сидеть прямо, беспомощно махая, для равновесия, в воздухе передними лапами, пока она шаловливо дула ему в морду и в ноздри. Не лучше была и проделка Гарлея Кэннана, который, застав его сладко спящим на краю юбки Виллы, принимался щекотать его между пальцами, заставляя его невольно брыкаться во сне, пока он не просыпался, под смешки и фырканье, раздававшиеся по его адресу.

В свою очередь ночью на палубе, когда Вилла шевелила пальцами ног под мохнатым ковром, делая вид, будто там находится какое-то неведомое ползучее существо, Джерри имел храбрость симулировать, что он одурачен, и совершенно разрывал постель Виллы своими бешеными, яростными атаками на то, что, он прекрасно знал, было ее пальцами. При взрывах смеха, смешанного иногда с неподдельными криками тревоги, когда он почти хватал зубами ее пальцы, Вилла всегда кончала тем, что брала его на руки и смеялась в его опущенные от радости и любви уши. Кто другой из находящихся на борту «Ариэли» осмелился бы так непочтительно обращаться с постелью леди-бога?

Ему никогда не приходило в голову задать себе такой вопрос, однако он очень хорошо знал, что пользуется исключительной благосклонностью.

Другая его умышленная проделка раскрылась однажды случайно. Протягивая к ней любовно свою морду, он нечаянно так сильно уткнулся в ее лицо своим мягким и упругим маленьким носом, что она вскрикнула и отшатнулась. Когда это случайно повторилось, он сообразил, какое это производит на нее действие; и впоследствии, когда она становилась слишком бешено-бурной и неудержимо-шаловливой в своей задорно-веселой любви к нему, он приближал к ее лицу свою морду и заставлял ее откидывать назад голову, чтобы избежать его носа. Через некоторое время он заметил, что, когда он упорствует, она спасает положение тем, что берет его на руки и начинает нашептывать ему в уши, и он поставил себе за правило играть свою роль до тех пор, пока не доведет дела до восхитительной сдачи врагу и достижения величайшей радости.

Никогда, даже случайно, в этой заранее обдуманной игре он не задевал ее подбородка или щеки так сильно, как свой нежный нос, но и в самом ушибе он находил больше наслаждения, чем боли. Все это была забава, все от начала до конца, и вдобавок это была забава, полная любви. Такой ушиб был больше, чем забава. Такая боль была сердечной радостью.

Все собаки поклоняются богам. Более счастливый, чем большинство собак, Джерри получил двух богов, которые, как бы много они ни требовали

от него, все же любили его еще больше. Хотя его нос и грозил подчас причинить сильную боль щеке обожаемого божества, он скорее излил бы из своего сердца весь поток любви, составлявший его жизнь, чем причинил бы ей действительную боль. Он жил не ради пищи, не ради кровли, не ради удобного местечка среди тьмы, окружавшей всякое существование, он жил ради любви. И как радостно он жил ради любви, так же радостно он готов был умереть ради любви.

В Сомо у Джерри не скоро ослабело воспоминание о мистере Хаггине и шкипере. Жизнь в селении людоедов слишком мало удовлетворяла его, в ней было слишком мало любви. Только любовь может сгладить воспоминание о любви, или, вернее, боль от потерянной любви. На «Ариэли» такое сглаживание произошло быстро. Джерри не забыл мистера Хаггина и шкипера. Но в те минуты, когда он вспоминал о них, грусть, сопровождавшая эти воспоминания, становилась все менее тяжелой и болезненной. Промежутки между этими минутами увеличивались, и мистер Хаггин и шкипер уже не так часто и не так реально являлись ему в сновидениях; а сны, как это свойственно собакам, он видел часто и ясно.

ГЛАВА XXII

«Ариэль» не спеша держала курс к северу вдоль подветренного берега Малаиты, пересекая блещущую буйными красками лагуну, лежавшую между береговыми и внешними рифами, отваживаясь проходить такими узкими и заполненными коралловыми островами проходами, что у капитана Уинтэрса, по его словам, каждый день прибавлялось по тысяче седых волос. Они бросали якорь у всякого защищенного проливца между внешними рифами и у всякого мангиферового болота на материке, сулившего встречу с людоедами. Гарлей и Вилла Кэннан не торопились. Пока путь был интересен они не заботились о продолжительности его.

В это время Джерри получил новое имя или, вернее, целую серию имен. Это произошло вследствие отвращения Гарлея Кэннана к переименованию существ, уже раз получивших свое имя.

— У него должно было быть имя, — доказывал он Вилле. — Хаггин наверное дал ему имя прежде, чем он отплыл на «Аранджи». Поэтому он должен быть безымянным, пока мы не вернемся в Туладжу и не узнаем его настоящего имени.

— Что тебе в имени, — начала подзадоривать Вилла.

— Все, — возразил ее муж. — Подумай о себе; если бы ты потерпела кораблекрушение, и твои спасители стали бы называть тебя «м-сс Ригга» или «мадемуазель де Мопен» или просто «Топси», а меня стали бы называть «Бенедикт Арнольд» или «Джедас» или... или... «Эмэн». Нет, пусть он остается без имени, пока мы не узнаем его настоящего имени.

— Но надо же как-нибудь называть его, — возразила она. — Я не могу думать о нем без имени.

— Тогда называй его многими именами, но никогда не употребляй одного и того же два раза подряд. Зови его сегодня «Дог», завтра «Мистер Дог», на следующий день еще как-нибудь.

Таким образом Джерри, скорее по выражению и по стечению обстоятельств, чем по чему-либо другому, начал неясно отождествлять себя с такими именами, как: «Дог», «Мистер Дог», «Авантюрист», «Полезный», «Синг Сонг Силли», «Безымянный» и «Трепещущее от любви сердце». Это несколько имен из числа данных ему Виллой. Гарлей, в свою очередь, называл его: «Мужчина-собака», «Неподкупный», «Медный гвоздик», «Кто-то», «Грех золота», «Сатрап Южного моря», «Нимврод», «Молодой Ник» и «Истребитель львов». Короче сказать, муж и жена соперничали друг перед другом в придумывании все новых имен, не повторяя прежних. И не по звуку или слогам, а по той сердечности, которая слышалась в их голосах, научился Джерри узнавать себя, с каким бы именем они ни обратились к нему. Он больше не думал о себе, как о Джерри, но как о всяком звуке, звучащем приятно и любовно.

Большое разочарование (если можно назвать разочарованием несознаваемую неудачу в исполнении ожидаемого) испытал он, попытавшись заговорить. Никто на судне, даже Гарлей и Вилла, не говорили на языке Наласу. Весь обширный словарь Джерри, все искусство его, которое могло бы выделить его из среды остальных собак, было бесполезно для людей на «Ариэли». Они не умели так говорить и не догадывались о существовании стенографического языка, которому научил его Наласу и который, по смерти Наласу, знал на всем свете один только Джерри.

Еще бы не старался он объясняться на нем с леди-богом! Сидя на задних лапах, вытянув вперед голову, которую она держала обеими руками, он говорил и говорил — и никогда не получал от нее ни слова в ответ.

Маленькими вздохами, тонким взвизгиванием, стонами и разнообразными гортанными ворчливыми звуками старался он рассказать ей хотя бы что-нибудь из своей истории.

Она выказывала трогательную симпатию, так близко придвигая ухо к его морде, что он почти задыхался в аромате ее развевающихся волос, но все же не понимала ничего из того, что он говорил, хотя ясно чувствовала сердцем его намерение.

— Господи помилуй, Муж-Мужчина, — вскрикивала она. — Собака говорит. Я знаю, что она говорит. Она рассказывает мне о себе. Если б я только могла понимать, я знала бы историю ее жизни. Она изливает ее в мои жалкие, неспособные уши, а я не могу понять ее.

Гарлей скептически относился к этому, но ее женская интуиция угадывала верно.

— Я в этом убеждена,— уверяла она мужа.— Я говорю тебе, что он мог бы рассказать о всех своих приключениях, если бы мы только могли понимать его.

Ни одна собака не говорила так со мной. Тут целое повествование. Я чувствую его оттенки. Иногда я почти знаю, что он рассказывает о радости, о любви, о большом подъеме или о сражении. А иногда слышится негодование, боль от оскорбления, отчаяние и грусть.

— Понятно,— спокойно согласился Гарлей.— Собака белого, попавшая к людоедам Малаиты, должна была испытать все подобные ощущения. И понятно, что жена белого человека, Жена-Женщина, дорогая, восхитительная женщина, Вилла Кэннан, может сама придумать собаке переживания и принять издаваемые ею глупые звуки за рассказы об этом, не узнав в них отражения своего собственного прелестного, чувствительного, симпатичного «я». Песня моря в устах раковины. Песнь, которую сами люди слагают о море и приписывают раковине.

— Все равно...

— Всегда все равно, — любезно прервал он. — Ты всегда права, особенно когда сильнее всего ошибаешься. Не в мореплавании, разумеется, и не в таких вещах, как таблица умножения; но права правдой, находящейся за правдой на пути к правде более высокой, чем обычная правда, а именно — интуитивной правдой.

— Ты смеешься надо мной со своим высшим мужским умом, — возразила она. — Но я знаю...

Она остановилась, ища необходимых ей сильных слов, но слова покинули ее и быстрое движение, которым она поднесла руку к сердцу, сделало лишними всякие слова.

— Мы пришли к соглашению, низко кланяюсь, — весело засмеялся он. — Это как раз то, о чем я говорил. Наши сердца почти всегда сговорятся поверх наших голов и, что всего лучше, наши сердца всегда правы, несмотря на статистику, гласящую, что они большей частью ошибаются.

Гарлей Кэннан не поверил и после никогда не верил тому, что говорила его жена о рассказах Джерри. До окончания дней своих он смотрел на это как на красивую фантазию.

Но четвероногий гладкошерстый ирландский терьер Джерри обладал способностью речи. Если он не умел научить языкам других, но зато мог научиться им сам. Легко, быстро, без всякого учения, он начал усваивать язык «Ариэли». К несчастью, это не было доступным собакам языком вздохов и рычания, вроде придуманного Наласу. Хотя Джерри понимал многое в разговорах на «Ариэли», но сам ничего не мог говорить. Он знал три имени леди-бога: «Вилла», «Жена-Женщина» и «Миссис Кэннан», ибо он слышал, как ее называли так. Но сам не мог называть ее так. Это был настоящий язык богов, на котором могли говорить только одни боги. Это не походило на язык, изобретенный Наласу, который являлся средним между речью богов и речью собаки, так что и собака могла разговаривать на этом общем им языке.

Он также узнал, что бога-мужчину зовут: «Мистер Кэннан», «Гарлей», «Капитан Гарлей» и «Шкипер». Только в тесном кругу, когда они бывали

втроем, Джерри слышал, как его называли: «Муж-Мужчина», «Муж мой», «Терпеливый», «Дорогой муж», «Возлюбленный» и «Отрада этой женщины». Но Джерри никоим образом не мог выговорить этих имен, даваемых единственному мужчине, так же, как и множества имен, даваемых единственной женщине. А между тем, как часто в тихую безветренную ночь шептал он Наласу под деревьями имена на расстоянии сотни шагов.

Однажды, склонившись над ним, с летающими вокруг него волосами (они сохли после купанья в соленой воде), единственная женщина притянула голову Джерри обеими руками так близко, что лентообразный язык его чуть-чуть не лизнул ее в нос, напевая:

— Не знаю, как его назвать, но знаю, что он похож на розу.

На другой день она повторила это и тихо спела ему на ухо большую часть песни. Когда она допела до середины, Джерри поразил ее. Да по правде он и сам был удивлен. Никогда до сих пор не делал он сознательно ничего подобного. И сделал он это помимо своего желания. Он не имел намерения сделать это. По-видимому, именно то, что он сделал, и понудило его сделать это. Как он не мог воздержаться от встряхивания воды со спины после купанья или вздрагивания во время сна, когда ему щекотали ноги, точно так же не мог он не исполнить этого властного требования.

В то время, как ее поющий голос тихо раздавался в ее ушах, ему стало казаться, что он начинает видеть ее неясно, как бы в тумане, и под влиянием проникающей песни почувствовал себя как будто в другом месте. И ему казалось, что он был в другом месте, что он совершил этот удивительный поступок. Он внезапно сел, почти каталептически высвободил голову из ее рук и из-под опутавших ее волос и, подняв нос под углом в сорок пять градусов, стал вздрагивать и отчетливо дышать в ритм песне. Быстрым каталептическим движением морда его устремилась к зениту, рот открылся и оттуда полился поток звуков, быстро несшийся ввысь *crescendo*[1] и медленно падавший и затихавший вдали.

Этот вой послужил началом всему и привел к тому, что Джерри стали звать «Певчий глупыш». Потому что Вилла Кэннан ухватилась за этот вой, вызванный ее пением, и решила развить его. Джерри никогда не старался улизнуть, когда она садилась, приветливо протягивала ему руки и звала: — Иди сюда, «Певчий глупыш». Он подходил к ней, садился, вдыхая любимое благоухание ее волос, прикладывал свою голову к ее голове, задирал морду выше ее уха и почти немедленно начинал подтягивать ее тихому пению. Его особенно возбуждал минорный тон и, раз уже начав, он пел с ней, сколько она желала.

Это было настоящее пение. Восприимчивый ко всем видам речи, он скоро научился владеть и смягчать свой вой, который стал делаться мягким и приятным. Он даже мог заставить свой голос замирать до шепота, усиливаться и стихать, ускорять и замедлять, следуя за ее голосом и в унисон с ним.

---

[1] Крещендо — музыкальный термин, обозначающий постепенное увеличение силы звука

Джерри любил пение, подобно тому, как курильщик опия любит свои грезы. И он тоже грезил, смутно и неясно, с широко раскрытыми глазами, окутанный облаком душистых волос леди-бога, сливавшей плачущий голос с его голосом. Его сознание погружалось в грезы об иных местах, грезы, навевавшиеся на него пением и сами бывшие для него пением. Воспоминание о горе оживало в нем, но о горе, так давно позабытом, что оно уже не было больше горем, и навевало лишь чарующую грусть.

Ибо в такие минуты его посещали видения. Ему казалось, что в холодной темноте ночи он сидит на обнаженной горе и посылает свой вой звездам, а из темноты, откуда-то издалека, до него доносится ответный вой. И вой доносился из ближних и дальних мест, пока ему не начинало казаться, что сама ночь звучит голосами его породы. Это была его порода. Не понимая этого, он знал, что это привет далекого «Там».

Обучая его языку ворчаний и вздохов, Наласу сознательно обращался к его уму; Вилла же, не ведая того, что творит, прямо коснулась его сердца, сердца его наследственности, затрагивая глубочайшие струны древних воспоминаний и заставляя их звучать в ответ. Так, например, ему иногда являлись из тьмы смутные образы и туманные формы и в то время, как они призрачно мелькали перед ним, он слышал, точно во сне, лай охотничьей своры; его пульс ускоренно бился и собственный охотничий инстинкт пробуждался в нем, пока сдерживаемый тихий вой его песни не переходил в страстный визг. Он освобождал голову от покрывавших ее волос женщины, ноги его начинали производить судорожные, беспокойные движения, как во время бега; он вне времени переносился из действительности в грезу, и мчался среди этих туманных форм, связанный охотничьим порывом со сворой.

И подобно тому, как люди жаждали порошка мака и сока конопли, так Джерри жаждал своих радостей, когда Вилла Кэннан открывала ему объятия, окутывала его своими волосами и песней уносила его за пределы времени и пространства в грезы его древней породы.

Не всегда, однако, переживал он подобные ощущения, когда они пели вместе. Обыкновенно, не имея видений, он переживал лишь какие-то неопределенные ощущения, печальные и сладкие; они были только призраками воспоминаний. В другое время вызванные этой грустью образы шкипера и мистера Хаггина вставали перед ним, а с ними вместе образы Терренса, Билли, Майкла и остальной, давно прошедшей жизни на плантации Мэринджа.

— Дорогая моя, — сказал раз Гарлей Вилле по окончании такого пения, — счастье его, что ты не дрессировщица животных или, я думаю, вернее было бы назвать, дрессировщица дрессированных животных, так как иначе твое имя венчало бы афиши мюзик-холлов всего света.

— Если бы это было так, — возразила она, — я знаю, что он с удовольствием стал бы проделывать это со мной.

— Это был бы совершенно невероятный случай, — остановил ее Гарлей.

— Ты хочешь сказать...

— Что только в одном случае из ста животное любит свой труд или любимо своим дрессировщиком.

— Я думала, что с жестокостью давно уже покончено, — возразила она.

— Так думает публика и ошибается в девяносто девяти случаях из ста.

Вилла глубоко вздохнула и сказала:

— Тогда я думаю, что мне придется отказаться от этой многообещающей и прибыльной карьеры, именно теперь, когда ты открыл ее для меня. А все-таки афиши с моим именем, написанным громадными буквами, выглядели бы великолепно.

— Вилла Кэннан, певица с горлышком дрозда, и «Поющий глупыш», ирландский терьер-тенор, — воспроизвел ей муж верхние строки афиши.

И Джерри с бегающими глазами и высунутым языком присоединился к их смеху не оттого, что понимал, над чем они смеются, но оттого, что смех этот говорил о том, что они счастливы, а любовь побуждала его быть счастливым вместе с ними.

Джерри нашел то, чего так страстно желала его натура, — любовь бога. Признавая двойственность их господства на «Ариэле», он любил их обоих; но все же, может быть потому, что она глубже проникла в его сердце своим волшебным голосом, который переносил его в страну «Там», — он любил леди-бога больше всех, кого знал когда-нибудь, не исключая даже шкипера.

ГЛАВА XXIII

Одну вещь Джерри очень скоро узнал на «Ариэли», а именно, что охота на негров запрещена. Стараясь угодить и послужить своим новым богам, он воспользовался первым удобным случаем, чтобы наброситься на черных, приплывших на пироге к яхте. Окрик Виллы и приказание Гарлея заставили его остановиться в удивлении. Вполне уверенный в том, что он ошибся, Джерри возобновил яростное нападение на одного из черных, которого он выбрал. На этот раз голос Гарлея не допускал сомнений, и Джерри подошел к нему, помахивая хвостом и изгибая туловище, как бы прося извинения, а розовая полоска его языка лизнула руку Гарлея, погладившую его в знак прощения.

Затем Вилла подозвала его к себе. Близко прижав его обоими руками — глаза в глаза и нос к носу — она горячо говорила о грехе преследования негров. Она объяснила ему, что он не простая бушменская собака, а кровный ирландский джентльмен и что ни одна собака джентльмена никогда не стала бы преследовать безвредных черных людей. Он выслушал все это немигающими, серьезными глазами, мало понимая умом то, что она говорила ему, но постигая все чутьем. «Дурной» — было слово, которому он уже выучился на языке «Ариэля», и она часто его употребляла. «Дурной» для него значило «нельзя» и было выражением табу.

Если таковы были их обычаи и их воля, то кем же был он,— так мог спросить себя Джерри,— чтобы не повиноваться их правилам или рассуждать. Если не следует гоняться за неграми, он не будет гоняться за ними, несмотря на то что шкипер поощрял его в этом. Джерри не стал рассуждать об этом в подобных выражениях; но он по-своему согласился с выводами.

В его глазах любовь к богу требовала служения ему. И Джерри нравилось угождать служением. А краеугольным камнем служения в данном случае было послушание. Но ему стоило больших усилий не зарычать и не схватить зубами чужих и самонадеянных черных, проходивших мимо него по белой палубе «Ариэли».

Но времена меняются, как ему вскоре пришлось узнать, и настало время, когда Вилла Кэннан пожелала выкупаться в настоящей свежей дождевой проточной воде и когда Джонни, черный лоцман, сделал ошибку. Береговая карта показывала только одну милю реки Сули от того места, где она впадает в море. Она показывала только одну милю потому, что ни один белый не исследовал ее дальше. Когда Вилла предложила выкупаться, муж ее посоветовался с Джонни. Джонни покачал головой.

— На этот места никто не ходить, — сказал он. — Твой не беспокойся. Лесной люди много-много далеко отсюда.

Итак, баркас направился к берегу и, пока его экипаж расположился в тени береговых кокосовых пальм, Вилла, Гарлей и Джерри пошли по течению реки на четверть мили вглубь страны до первого красивого прудка.

— Никогда нельзя быть вполне уверенным, — сказал Гарлей, вынимая из кобуры автоматический револьвер и кладя его поверх сложенного в кучу платья. — Какая-нибудь бродячая толпа черных может застать нас врасплох.

Вилла вошла по колени в воду, взглянула на темный свод джунглей высоко над их головой, лишь случайно пропускавший луч солнца, и вздрогнула.

— Славное место для темного дела, — улыбнулась она, потом зачерпнула полную горсть воды и брызнула в мужа, который бросился догонять ее.

Некоторое время Джерри сидел около их платья и смотрел на их забаву. Затем его внимание привлекла движущаяся тень огромной бабочки, и вскоре он побежал через джунгли по следу лесной крысы. Это был не очень свежий след. Он хорошо понимал это, но в нем глубоко сидел инстинкт старинной дрессировки — инстинкт охоты, бродяжничества, преследования живых существ, словом, инстинкт игры добывания самому себе пищи, хотя уже в течение многих лет пищу для него и для других ему подобных добывал человек.

Таким образом, упражняя способности, которые перестали быть нужными, но которые все еще жили в нем и требовали упражнения, он побежал за давно скрывшейся лесной крысой со всей мягкой вкрадчивой ловкостью охотника за мясом, тонко распознавая по пути встречные запахи. След этот пересекал свежий след, очень свежий, только что образовавшийся. Голова его, точно ее держали за веревку, внезапно образовала прямой угол с туловищем. Он безошибочно почуял черного... И это был неизвестный ему черный, так

как Джерри не мог отождествить его ни с одним из тех, которые сохранились в его памяти.

Он забыл старую лесную крысу, идя по новому следу. Его побуждало любопытство. У него и мысли не было об опасности для Виллы и Гарлея, даже когда он дошел до того места, где черный, очевидно испуганный звуком их голосов, остановился в раздумье, оставив за собой сильный запах. С этого места след поворачивал прямо к прудку. Нервно оживленный, напряженный до крайности, но все еще не встревоженный, Джерри пошел за ним, забавляясь преследованием.

С прудка часто долетали крики и смех, и каждый раз, когда они достигали ушей Джерри, он испытывал приятный трепет. Если б его спросили и он был бы в состоянии выразить эти эмоции словами, то сказал бы, что самый приятный звук на свете — это звук голоса Виллы, а следующий по приятности звук — звук голоса Гарлея Кэннана. Их голоса заставляли его трепетать, напоминая ему всегда о его любви к ним и о том, что он любим ими.

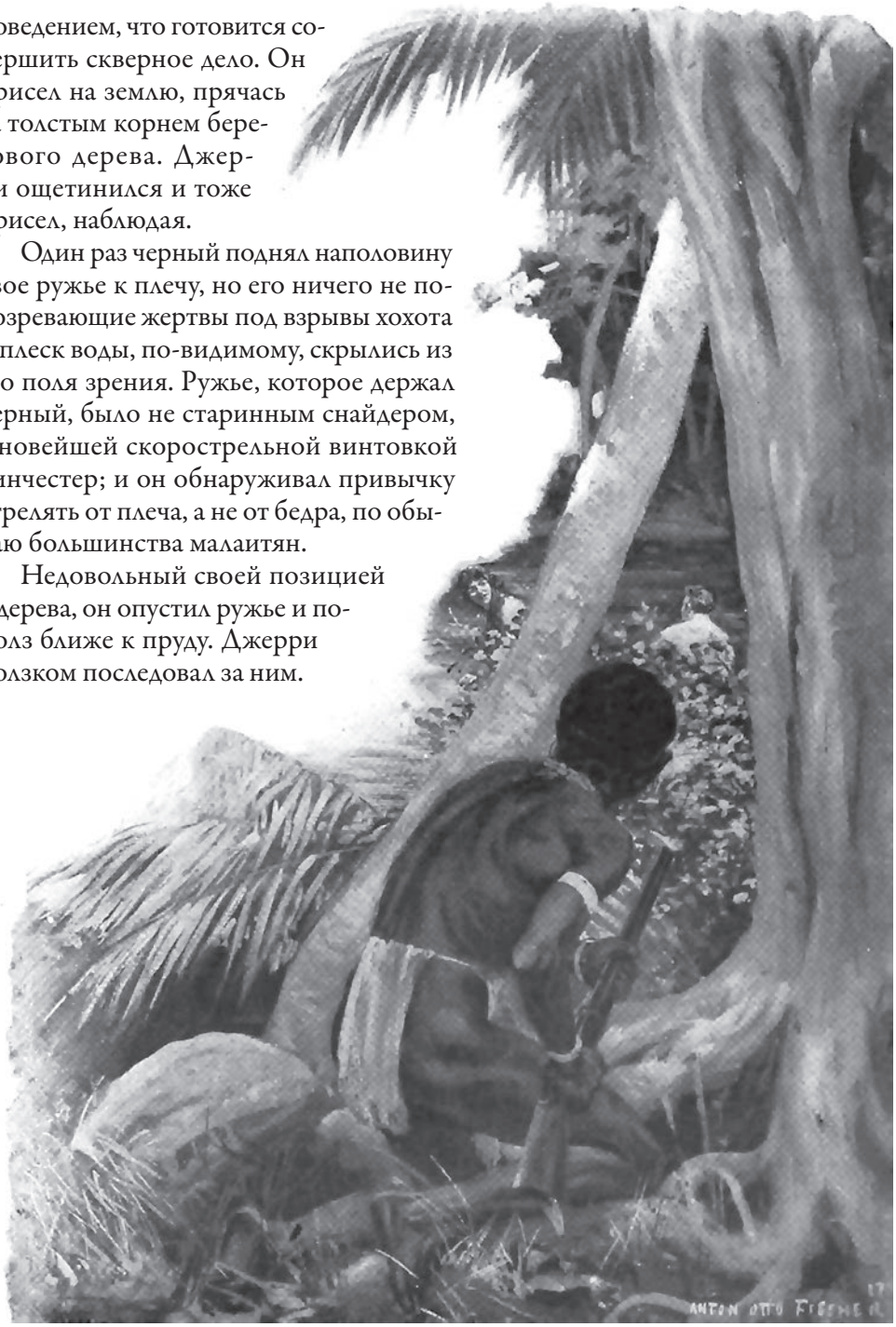
При первом взгляде на черного, около пруда, у Джерри зародилось подозрение. Он вел себя не так, как должен был бы вести себя обыкновенный черный, не замышляющий дурного. Он, напротив, выказывал своим

Джерри собирался напасть, как только подползет достаточно близко.

поведением, что готовится совершить скверное дело. Он присел на землю, прячась за толстым корнем берегового дерева. Джерри ощетинился и тоже присел, наблюдая.

Один раз черный поднял наполовину свое ружье к плечу, но его ничего не подозревающие жертвы под взрывы хохота и плеск воды, по-видимому, скрылись из его поля зрения. Ружье, которое держал черный, было не старинным снайдером, а новейшей скорострельной винтовкой винчестер; и он обнаруживал привычку стрелять от плеча, а не от бедра, по обычаю большинства малаитян.

Недовольный своей позицией у дерева, он опустил ружье и пополз ближе к пруду. Джерри ползком последовал за ним.



Он прыгнул в то время, когда ружье уже поднялось к плечу.

Он пригнулся так низко, что его горизонтально вытянутая вперед голова оказалась гораздо ниже плеч, забавно выдававшихся, являясь самой высокой частью его туловища. Когда черный останавливался-останавливался и Джерри, как бы мгновенно застывая. Когда черный подвигался-подвигался и Джерри, немного быстрее, постепенно сокращая расстояние между ними. В продолжении всего этого времени ощетинившаяся шерсть на его шее и плечах ходила ходуном от злобы и ярости. Это не была теперь золотистая собака с прижатыми ушами и смеющимся языком в объятиях леди-бога, не «Певчий Глупыш», воспевающий старинные воспоминания, окутанный облаком ее волос, а воинственное четвероногое животное, снабженное клыками убийцы, готовое растерзать и уничтожить врага.

Джерри собирался напасть, как только подползет достаточно близко. Он не сознавал больше табу «Ариэля», воспрещающего охоту за неграми. В эту минуту табу не было места в его сознании. Он думал только о том, что мужчине и женщине грозит зло и что зло это замышляет негр.

Джерри настолько приблизился к своей добыче, что когда черный снова присел для выстрела, он решил, что расстояние позволяет ему напасть. Он прыгнул в то время, когда ружье уже поднялось к плечу. Несмотря на быстроту своего прыжка, он не произвел ни малейшего шума, и жертва его получила первое предостережение только тогда, когда туловище Джерри, метнувшееся словно снаряд, ударило ее между плечами. В ту же минуту зубы Джерри впились сзади в тело, однако слишком близко от основания плечевых мускулов, чтобы позволить клыкам проникнуть до спинного хребта.

В первую минуту испуга и неожиданности палец черного нажал курок, а из горла его вылетел нечеловеческий вопль. Упав вперед лицом, он сцепился с Джерри, который искусал ему скулу, щеку и разодрал ухо; ибо ирландские терьеры кусают быстро и часто, не держа жертву мертвой хваткой, как бульдоги.

Когда Гарлей Кэннан, голый, как Адам, с револьвером в руках, подбежал к месту схватки, он застал собаку и человека сцепившимися и катающимися по лесной, покрытой плесенью земле, которую они взрывали в борьбе. Черный, с залитым кровью лицом, старался задушить Джерри, ухватив его обеими руками за шею. А Джерри фыркал, задыхался, храпел и царапался когтями задних лап, защищая свою жизнь. Это не были уже когти щенка, а здоровые когти взрослой собаки, усиленные и подкрепленные твердыми мускулами. И он раздирал обнаженную грудь и живот негру во всех направлениях.

Гарлей не рискнул стрелять, так тесно сплелись борцы. Вместо этого он, подойдя вплотную, ударил негра рукояткой револьвера по голове. Освободившись из рук оглушенного черного, Джерри с быстротой молнии бросился на обнаженное горло и только рука Гарлея, опустившаяся на его шею, и резкое приказание заставили его прекратить нападение и стать смирно. Он дрожал от ярости и продолжал свирепо скалить зубы, прерывая это, однако, для того чтобы с прижатыми ушами и виляющим хвостом взглянуть на Гарлея всякий раз, когда тот произносил: «Молодчина».

— Знаешь ли, что этот негодяй хотел подстрелить нас, — сказал Гарлей, когда Вилла, полуодетая, продолжая одеваться, подошла к ним.

Он знал, что «молодчина» — похвала и знал также без всякого сомнения, что раз Гарлей часто повторяет это, значит он послужил ему и послужил хорошо.

— Знаешь ли, что этот негодяй хотел подстрелить нас,— сказал Гарлей, когда Вилла, полуодетая, продолжая одеваться, подошла к ним.— Тут не было и пятидесяти шагов, и он не мог бы промахнуться. Посмотри на его винчестер. Не старинный гладкоствольный. А раз у малого ружье, значит, он знает, как с ним обращаться.

— Отчего же он не сделал этого? — спросила она.

Муж указал ей на Джерри.

Вилла тотчас же поняла, в чем дело, и глаза ее заблестели.

— Ты хочешь сказать... — начала она.

Он кивнул.

— Именно это. Синг-Сонг-Силли победил его. — Он нагнулся, перевернул лежащего и показал разодранную шею. — Вот, откуда он набросился прежде всего; а тот, вероятно, держал в это время палец на собачке, целясь в тебя и меня; по всей вероятности, сначала в меня. Синг-Сонг-Силли нарушил его расчеты.

Вилла слушала его только наполовину; она взяла Джерри на руки, называла его «благословенной собакой» и старалась успокоить его рычание, приглаживая его ощетинившуюся шерсть.

Но Джерри опять оскалился и выразил желание прыгнуть на черного, когда тот беспокойно зашевелился и сел, словно одурманенный.

Гарлей снял нож с его пояса.

— Как звать? — спросил он.

Но негр не видел ничего, кроме Джерри; он с удивлением продолжал смотреть на него, пока происшедшее частично восстанавливалось в его начинающих проясняться мыслях, и ему наконец стало ясно, что такое маленькое, ничтожное животное испортило его игру.

— Верно говорю, — сказал он Гарлею, оскаливая зубы, — этот собака много-много царапал меня.

Он ощупал ранения на шее и лице и увидел, что ружье его находится в руках белого властелина.

— Твой отдать мой ружье, — дерзко сказал он.

— Мой давал тебе тумака по голове, — последовал ответ Гарлея.

— Мне кажется, что он не настоящий малаитянин, — сказал он, обращаясь к Вилле. — Во-первых, откуда мог бы он достать такое ружье? А затем, какое самообладание! Он, вероятно, видел, как мы бросили якорь, знал, что наш баркас у берега. И, однако, он шел за нашими головами, чтобы унести их с собой в кустарники.

— Как звать? — снова спросил он.

Но он узнал это тогда только, когда Джонни и остальной экипаж прибежали, запыхавшись. Глаза Джонни заблестели, когда он увидал пленника, и он обратился к Кэннану с видимым волнением.

— Твой отдать мне этот парень, — просил он. — А? Твой мне отдать этот парень.

— Как звать? Зачем твой хотел?

Джонни ответил не тотчас, а лишь когда Кэннан сказал ему, что тот не нанес ему вреда и он намерен отпустить его. Джонни горячо протестовал против этого.

— Лучше пусть твой вести его главный управление Туладжи. Главный Управление давал твой двадцать фунтов. Много-много плохой парень. Звать Макавао. Много-много плохой парень, много-много плохой. Он из Квинслэнда.

— Это обратный из Квинслэнда, — передал Гарлей жене. — Когда Австралия вся стала «белой», квинслэндские плантации должны были вернуть всех своих черных птиц. Этот Макавао, по-видимому, из них и очень плохой человек, если верно, что болтает Джонни о двадцати фунтах, назначенных за него. Это очень высокая плата за черного.

Джонни продолжал свои объяснения, которые в переводе на обыкновенный разговорный язык сводились к тому, что Макавао всегда отличался плохим нравом. Он провел четыре года в тюрьме, в Квинслэнде, за кражи, разбои и покушения на убийства. Возвращенный на Соломоновы острова австралийским правительством, он нанялся на плантации Були с целью, — как это выяснилось впоследствии, — добыть оружие и боевые припасы. За покушение на убийство надсмотрщика он получил пятьдесят уларов плетьми в Туладжи и просидел год в тюрьме. Возвращенный на плантации Були для окончания работы, он успел убить владельца в отсутствие управляющего и бежать на вельботе.

Он взял с собой на вельбот все оружие и боевые припасы, украденные на плантации, голову убитого им владельца, десять малаитских рекрутов и двух из Сан-Кристобаля — последних двух потому, что они были приморские жители и умели управлять вельботом. Он сам и десять малаитян, будучи бушменами, слишком мало были знакомы с морем, чтобы рискнуть совершить долгий путь.

По дороге он совершил набег на маленький остров у Дори, ограбил лавку и снял голову с одинокого, добродушного, полукровного торговца с острова Норфолк. Прибыв благополучно в Малаиту, он и его земляки, не нуждаясь больше в двух сан-кристобальских парнях, сняли с них головы и съели их тела.

— Верно говорю, он много-много плохой человек, — окончил Джонни свой рассказ. — Главный управление Туланджи много-много довольна, давал за него двадцать фунтов.

— О, ты благословенный Глупыш, — прошептала Вилла на ухо Джерри. — Если бы не ты...

— Макавао тащил бы теперь наши головы через кустарник, отправляясь домой в горы, — окончил за нее Гарлей. — Верно говорю, этот собака — молодец-собака, — весело прибавил он. — А я-то на днях задал ему за преследование негров; выходит, что он лучше меня знает свое дело.

— Если кто-нибудь попробует только тронуть... — с угрозой сказала Вилла.

Гарлей кивком подтвердил ее невысказанную мысль.

— Во всяком случае, — улыбаясь сказал он, — одно было бы утешительно, если бы твоя голова отправилась в страну бушменов...

— Утешительно! — воскликнула она в негодовании.

— Ну, да, то, что тогда и моя голова отправилась бы вместе с твоей.

— О, ты дорогой, благословенный Муж-Мужчина,— прошептала она, и на ее глазах появились слезы; она обняла его глазами, продолжая прижимать к себе Джерри, который, чувствуя торжественность этой минуты, целовал ее душистую щеку своим лентообразным любящим языком.

ГЛАВА XXIV

Когда «Ариэль» покинула Малю, на северо-западном берегу Малаиты, остров опустился за линию горизонта; для Джерри он опустился навсегда — еще один исчезнувший мир, разделивший в его сознании выпавшее на долю шкипера последнее «небытие». По тому, что знал Джерри, хотя он не размышлял над этим, Малаита являлась целым миром, голова которого была снята и положена на колени какого-нибудь задумавшегося низшего божества, в свою очередь гораздо более существенного, чем Башти, на чьих коленях покоилась высушенная на солнце и прокопченная голова шкипера; этот низший бог был раздосадован и искал разъяснение двойной тайне — близнецам времени и пространства, движения и материи, которых он чувствовал и угадывал сверху, снизу, вблизи и вдали от себя.

Что же касается Джерри, то он и не старался разгадать проблему, не подозревая о существовании подобных тайн. Он просто считал, что Малаита еще один мир, переставший существовать. Он помнил о ней, как помнил сны.

Сам он был существо здоровое и крепкое, обладающее весом и объемом, бесспорная действительность; он двигался среди пространства и места бытия конкретный, твердый, быстрый, неопровержимый, как положительное «нечто», окруженное мраком и тенями постоянно меняющейся фантасмагории «ничто».

Он воспринимал свои миры один за другим. Один за другим его миры испарялись, поднимались выше его поля зрения, как пары в горячем перегонном кубе солнца, или погружались навсегда под плоскую поверхность моря, нереальные и проходящие, как сновидения. Весь объем мелочного, простого мира людей, столь микроскопический и ничтожный по сравнению со звездной вселенной, был недоступен ему, как звездная вселенная недоступна самым блестящим догадкам и глубочайшим измышлениям человечества.

Джерри не суждено было опять увидеть мрачный остров дикого варварства, хотя во сне он часто являлся ему в живых видениях, заставляя его переживать проведенные там некогда дни от гибели «Аранджи» и каннибальской оргии на берегу до бегства из разрушенного снарядами дома, где осталось тело Наласу. Эти сны составляли для него новую страну «далекого там», таинствен-

ную, недействительную, мимолетную, как облако, бегущее по небу, или пузыри, принимающие радужные цвета и лопающиеся на поверхности моря. Это были барашки и пена, быстро исчезавшие после того, как он просыпался, не существующие, как шкипер и голова шкипера на сухих коленях Башти, в его обширной соломенной хижине. Настоящая Малаита, конкретная и исследованная, исчезла и погрузилась навсегда, как Мэриндж и шкипер, в «небытие».

Из Малаиты «Ариэль» направилась на северо-запад к Онгтонгу, Язе и Тасмании — большим коралловым островам, изнемогающим от жары под экватором, не вполне покрытым водой в громадном пространстве Юго-Западной части Тихого океана. После Тасмании их ожидал еще один большой морской переход к высокому острову Бугенвиль. Отсюда, держась главным образом юго-восточного направления и медленно подвигаясь вследствие утомительного лавирования, «Ариэль» бросала якорь почти в каждой гавани Соломоновых островов, от островов Шуазель и Рононго до островов Кулямбангра, Вангуну, Павуву и Новая Георгия. Она даже простояла в печальном одиночестве на якоре в Бухте Тысячи Кораблей.

В конце пути, поскольку дело касалось Соломоновых островов, якорь ее тихо прошуршал и опустился на коралловое дно гавани Туладжи, у берега острова Флориды, где жил и управлял уполномоченный резидент.

Гарлей Кэннан, как и следовало, передал уполномоченному Макавао, которого в ожидании суда за многочисленные преступления заключили в тщательно охраняемую тростниковую тюрьму и заковали в кандалы. А лоцман Джонни, вернувшийся на службу к уполномоченному, получил крупную долю из выданных за Макавао двадцати фунтов, которые Кэннан разделил между экипажем баркаса, прибежавшим через джунгли на выручку, когда Джерри схватил Макавао сзади за шею и заставил его спустить курок плохо нацеленного ружья.

— Я вам скажу, как его зовут,— сказал уполномоченный, когда они сидели на широкой веранде в его бунгало.— Это один из терьеров Хаггина из лагуны Мэринджа. Отец его Терренс, а мать Бидди. Его самого зовут Джерри; я присутствовал на его крестинах, в то время когда у него еще не открылись глаза. А еще лучше, я покажу вам его брата. Имя его брата Майкл. Он охотник за неграми на двухмачтовой шкуне «Эжени», которая стоит на рейде рядом с вами. Шкипером на ней капитан Кэллар. Я попрошу его привести Майкла на берег. Вне всякого сомнения, это Джерри, единственный оставшийся в живых с «Аранджи».

— Когда у меня будет свободное время и достаточное количество денег, я сделаю визит вождю Башти, но не по программе британского крейсера. Я зафрахтую пару торговых судов, возьму свою собственную черную охрану и столько белых, сколько их пожелает ехать добровольцами. Я не стану бомбардировать тростниковые хижины. Я высажу на берег свой десант и, войдя вглубь, зайду Сомо в тыл, а мои суда постараются одновременно подойти к Сомо с моря.

— Вы ответите убийством за убийство? — возразила Вилла Кэннан.

— Я отвечу законом на убийство, — ответил уполномоченный. — Я научу Сомо закону. Надеюсь, что дело обойдется без несчастных случаев, и что ни с той, ни с другой стороны не погибнет ни одной жизни. Я знаю, однако же, что найду голову капитана Ван Горна и его штурмана Боркмана и перевезу их в Туладжи для христианского погребения. Я возьму старого Башти за загривок и заставлю его посидеть, пока не накачаю в него законности и честности в отношениях.

Уполномоченный — аскетического вида человек, имеющий Оксфордскую ученую степень, узкогрудый, пожилой, с усталыми глазами, в очках, как подобает ученому, пожал плечами.

— Конечно, могут произойти некоторые неприятности, если они окажутся неподатливы; кое-кто может пострадать при этом и с нашей, и с их стороны. Но так или иначе, конец будет один. Старый Башти убедится в том, что ему выгоднее оставлять головы белым людям на плечах.

— Но как же он убедится в этом? — спросила Вилла Кэннан. — Если у него хватит ума не сражаться с вами, и он будет просто сидеть и выслушивать ваши английские законы, это покажется ему шуткой. За все творимые им жестокости он заплатит только тем, что прослушает лекцию.

— Напротив, дорогая миссис Кэннан. Если он миролюбиво выслушает мою лекцию, я обложу его пеней всего в сто тысяч кокосовых орехов, шестьсот фунтов денег из раковин и двадцать жирных свиней. Если же он откажется выслушать лекцию и выберет воинственный путь, тогда, как бы это ни было мне неприятно, я прежде всего вынужден буду отколотить его и его племя, а затем я утрою пеню и вобью в него закон более кратким способом.

— А предположите, что он не станет драться, заткнет уши, чтобы не слушать лекций и откажется платить? — настаивала Вилла Кэннан.

— Тогда он сделается моим гостем в Туладжи, пока не изменит своих помыслов и чувств, пока не выплатит пени и не выслушает полного курса лекций.

Итак, Джерри опять услышал свое прежнее имя из уст Виллы и Гарлея и свиделся со своим родным братом Майклом.

— Не говори ничего, — прошептал Гарлей жене, когда они заметили красноватую шерсть Майкла, внимательно смотревшего через корму подходившего к берегу баркаса. — Мы сделаем вид, что ничего не знаем и даже не следим за ними.

Джерри, с притворным интересом углубившийся в рытье ямы в песке, как будто он напал на свежий след, не подозревал о близости Майкла. В сущности, Джерри так хорошо притворялся, что утратил представление об игре; он с неподдельным интересом радостно пофыркивал и посапывал на дне ямы, которую выкопал. Она была так глубока, что позволяла видеть одни только его задние ноги, спину и выразительный торчащий кверху обрубок хвоста.

Немудрено, что он и Майкл не увидали друг друга. И Майкл, соскочив с необычайной живостью с тесной палубы «Эжени», помчался в безумном восторге по берегу, вдыхая на бегу хорошо знакомые запахи суши, делая экс-

центричные прыжки, останавливаясь на мгновение, чтобы добродушно полаять на попадавшихся ему под кокосами крабов, которые или поспешно спасались в воде, или поднимались и грозили ему своими могучими клешнями, с треском выпуская пену из покрытых чешуей ртов.

Берег имел ограниченную длину. Конец его упирался в шероховатую стену, окружавшую обработанное поле, и, пока уполномоченный представлял капитана Кэллара мистеру и миссис Кэннан, Майкл примчался назад по крепкому, сырому песку. Он так всем интересовался, что не обратил внимания на спину Джерри, видневшуюся над поверхностью берега. Но слух предупредил Джерри, и Майкл столкнулся с ним в ту самую минуту, когда он поспешно выскочил из ямы. Так как Джерри опрокинулся, а Майкл упал прямо на него, то оба стали свирепо ворчать и рычать. Они поднялись на ноги, ощетинились и показали друг другу зубы; осторожно приближаясь на напряженных ногах и сохраняя при этом величие и достоинство осанки, собаки начали угрожающе обходить друг друга.

Вдруг, точно сговорившись, они пустились по берегу взапуски, улыбаясь друг другу и подталкивая один другого плечом.

Но оба они только притворялись, что сердятся, и чувствовали немалое смущение. В мозгу их ярко вставали картины дома и плантации, усадьбы и берега Мэринджа. Они узнали друг друга, но не признавались в этом. Перестав быть уже щенками и смутно гордясь степенностью, свойственной зрелости, они старались напустить на себя и гордость, и степенный вид, в то время как чувство побуждало их в безумном восторге броситься друг к другу.

Майкл, имевший меньше жизненного опыта, чем Джерри, и по природе не такой сдержанный, первый пустил эту игру в достоинство по ветру и с пронзительным взволнованным визгом, изгибаясь от радости всем туловищем и высунув любящий язык, сильно двинул брата плечом, стремясь стать к нему поближе.

Джерри так же пылко ответил ему поцелуем языка и прикосновением плеча; затем оба, отскочив друг от друга, осторожно, вопросительно и даже несколько вызывающе стали осматривать друг друга.

Джерри вопросительно навострил уши, а Майкл так же вопросительно поднял свое единственное целое ухо, тогда как его ссохшееся ухо продолжало неизменно сохранять на верхушке морщинистый, смешной, петушиный гребешок. Вдруг, точно сговорившись, они пустились по берегу взапуски, улыбаясь друг другу и подталкивая один другого плечом.

— Никакого сомнения, — сказал уполномоченный. — Их родители бегали совершенно так же. Я много раз видел это.

Но после десяти часов общей товарищеской жизни наступила разлука. Это был первый визит Майкла на «Ариэль», и они с Джерри полчаса прорезвились на ее белой палубе, среди шума и сотрясения, вызванного поднятием шлюпок, парусов и якоря. Когда «Ариэль» начала двигаться по воде, накреняясь под свежим муссоном, наполнившим паруса, уполномоченный и капитан Кэллар простились и стали спускаться по трапу в ожидавшие их баркасы. В последнюю минуту капитан Кэллар подхватил Майкла под мышку и спрыгнул с ним на корму своего баркаса.

Отдали фалы и на кормах каждого баркаса поднялись одинокие фигуры белых людей, посылавших последние прощальные приветствия с непокрытыми головами, в расчете на милосердие тропического солнца.

Майкл, увлеченный заразительным волнением, лаял и лаял, как будто присутствовал на каком-то торжестве богов.

— Простись со своим братом, Джерри, — сказала ему на ухо Вилла Кэннан. Она посадила его на борт, придерживая обеими руками его трепещущие бока.

Джерри, не понимая ее слов, раздираемый противоречивыми желаниями, ответил на них, завиляв телом, быстро откинув назад голову и лизнув ее пылающим языком, а в следующую минуту, склонив голову через борт, он смотрел уже на быстро уменьшающегося Майкла и выл от горя и печали, подобно тому, как много дней назад выла на берегу в Мэриндже Бидди, когда он отплывал со шкипером.

Джерри знал, что такое разлука, и это, без всякого сомнения, было разлукой, хотя он не воображал себе, что опять встретит Майкла через много лет

и на другом краю света, в волшебной долине далекой Калифорнии, где они окончат дни на руках своих возлюбленных богов, сердечно любимые последними.

Майкл, положив передние лапы на шкафут, лаял удивленно и вопросительно, а Джерри в ответ выражал воем непередаваемую грусть. Леди-бог, успокаивая, прижимала его к себе, и он повернулся к ней, вопросительно прикоснувшись холодным носом к ее щеке. Одной рукой она прижала его к груди, а вторая свободная рука, полузакрытая, лежала на борту, словно белый цветок с розовой чашечкой.

Нос Джерри нащупал путь к ней. Отверстие казалось привлекательным. Всовываясь и ласково подталкивая, он слегка раздвинул пальцы и нос его проник в чарующую прелесть ее нежной руки.

Он успокоился, спрятав до самых глаз свою золотистую мордочку, и затих. Он забыл подгоняемую ветром «Ариэль», показывавшую солнцу свою медь, забыл Майкла, который становился все меньше и меньше, по мере того как уменьшалась корма баркаса. Вместе с ним затихла и Вилла. Оба они разыгрывали игру, для нее, по крайней мере, новую.

Она весело засмеялась. Пальцы ее сжались в ласке вокруг мордочки Джерри, почти причиняя ему боль. Другой рукой она так крепко прижала его к себе, что он едва не задохнулся.

Джерри продолжал сохранять спокойствие, покуда у него хватило сил. Но вдруг любовь его с неудержимой силой вырвалась наружу, и он засопел так же сильно, как когда-то очень давно засопел в углублении руки шкипера на палубе «Аранджи». И как тогда шкипер рассмеялся любящим смехом, то же сделала и леди-бог теперь. Она весело засмеялась. Пальцы ее сжались в ласке вокруг мордочки Джерри, почти причиняя ему боль. Другой рукой она так крепко прижала его к себе, что он едва не задохнулся. Но он продолжал доблестно помахивать обрубком хвоста и освободившись из этих блаженных объятий, с откинутыми назад опущенными шелковистыми ушами, лизнул алым языком ее щеку и, схватив зубами руку, сжал нежную кожу в любовном укусе, который не причинил боли.

Итак, Туладжи исчезла для Джерри вместе с бунгало уполномоченного на вершине горы, судами, спешащими стать на якорь в гавани, и Майклом, его родным братом. Он уже привык к таким исчезновениям. Так же исчезли, как сновидения, Мэриндж, Сомо и «Аранджи». Так же исчезали все миры, гавани, рейды и лагуны, в которых «Ариэль» поднимала свой выброшенный якорь, продолжая путь по широкому, все сглаживающему морскому простору.

МАЙКЛ, БРАТ ДЖЕРРИ

(За кулисами цирка)

Перевод *Н. Жуковской*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я с очень ранних лет невзлюбил представлений с дрессированными животными. Объясняется это, вероятно, моей природной, ненасытной любознательностью. Она-то и отравила мне такого рода развлечения навсегда, побудив меня приложить все старания для того, чтобы проникнуть за кулисы и узнать каким образом для подобных представлений дрессируют животных. И эта закулисная сторона дела оказалась ужасной. Оказалось, что это дело сопряжено с такой невероятной жестокостью, что, с моей точки зрения, ни один нормальный человек, имеющий малейшее понятие о том, как дрессируют животных для подобных представлений, не может находить в них удовольствие.

Я должен, однако, отметить тот факт, что я вовсе не какой-нибудь сентиментальный недотрога. Напротив, литературные критики и сентиментальные недотроги считают меня кровожадным животным и полагают, что я с особым удовольствием описываю кровопролития, насилия и всякие другие ужасы.

Не входя в обсуждение моей репутации, принимая эту оценку своей особы как таковую, считаю, однако, нужным сказать, что я прошел суровую школу жизни, и что мне больше, чем всякому другому, пришлось в жизни видеть и испытать на себе всякого рода бесчеловечность и жестокость. Я видел эту жестокость на судовых баках [1], в тюрьмах, в грязных закоулках и в пустынных степях; я видел ее в застенках, где творятся казни; я видел ее в убежищах для прокаженных; я видел ее, наконец, на полях сражения и в военных госпиталях. Я видел, как умирают страшной смертью; я видел, как страдают и мучаются ог ужасных ран и увечий. Я видел, как вешали дураков только потому, что они по глупости не сумели достать денег, чтобы нанять себе защитника. Я видел, как разбивалось сердце и надламывалось все существо сильных, мужественных людей. Я видел, как таких же мужественных и сильных людей жестоким обращением и отношением доводили до неизлечимого буйного помешательства. У меня на глазах умирали от голода старики, дети и женщины. На моих глазах женщин и мужчин били плетью, дубиной и просто кулаками. Я видел, как кожаным бичом стегали

---

[1] Бак — надпалубная постройка в носовой части судна

по обнаженному телу чернокожих мальчиков, с каждым ударом срывая с их спин целые полосы кожи. И, тем не менее, я должен сказать, что ничто не приводило меня в такой ужас, в такое возмущение, как вид гогочущей от удовольствия, наслаждающейся представлениями дрессированных зверей публики.

Человек со здоровым желудком и крепкой головой может мириться и терпеть бессознательную жестокость жизни, источником которой является или горячность, или тупость людская. Я обладаю и здоровым желудком и крепкой головой. Однако, холодная, сознательная, обдуманная жестокость и пытка, которой подвергается девяносто процентов дрессированных животных вызывают у меня головокружение и спазмы в горле. Искусство утонченной жестокости нигде не расцветало таким пышным цветом, как в мире дрессированных животных.

И вот я, человек со здоровым желудком и с крепкой головой, человек, которого жестокостью и грубостью трудно удивить, бессознательно нашел средство оградить себя от неприятных переживаний при лицезрении представлений дрессированных животных: когда наступал этот номер программы, я вставал и выходил из зрительного зала. Я говорю «нашел бессознательно», потому что тогда, когда я его нашел, мне и в голову не приходило, что это есть средство нанести смертельный удар всем подобным представлениям. Тогда я думал только о том, чтобы оградить себя от неприятных ощущений.

Но сложившееся у меня за последние годы понятие о человеческой природе вообще привело меня к заключению, что ни один здоровый, нормальный человек, — он или она безразлично, — не потерпел бы существования представлений дрессированных животных, зная, каким жестоким пыткам подвергается несчастное животное прежде, чем его научат выделывать всякие фокусы.

Вот почему я беру на себя смелость сделать здесь, сейчас же, три предложения:

Первое — пусть каждый сам убедится в том, каким ужасным пыткам подвергают животных, дрессируя их для представлений, так хорошо оплачиваемых публикой.

Второе — я предлагаю всем ознакомившимся с процедурой дрессировки зверей женщинам, мужчинам, девочкам и мальчикам записываться в местные организации Общества защиты животных от жестокого обращения.

Прежде чем высказать мое третье предложение, я должен сделать оговорку. И я, как сотни тысяч других людей, работал в другой области, старался организовать массовое движение в пользу улучшения тяжелых, часто ужасных, условий жизни человечества. Это было нелегко! Но еще труднее привлечь человека к организованной борьбе за улучшение существования низших существ — животных.

Лить кровавые слезы и потеть кровавым потом, слушая рассказы о том, каким жестокостям подвергают животных при дрессировке, мы готовы. Но едва ли среди нас найдется десять процентов людей, готовых активно, словом и делом, вести борьбу против жестокого обращения с животными.

А между тем у девяноста девяти, даже у ста процентов людей, при всей их слабости и пассивности, имеется одно очень простое средство бороться с дрессировкой зверей, которые в конце концов менее звери, чем сами люди. И средство это, в самом деле, очень простое. Тут не приходится нести никаких обязанностей, ни секретарских, ни корреспондентских — требуется только одно: вспомнить про это средство в тот момент, когда на подмостках театра или цирка появится дрессированное животное. Вспомнив его, надо решительно встать, выйти из зала, погулять и подышать чистым воздухом, пока на сцене идет этот номер программы, а когда он окончится снова вернуться в зал. Это будет явным, демонстративным проявлением не сочувствия публики к подобного рода представлениям и повлечет за собой снятие с программы представлений дрессированных животных.

Покажите антрепренеру, что подобного рода представления у публики успеха не имеют, и он сейчас же, в тот же день, снимет их с программы!

Джек Лондон.
Глен Эллен, Сонома Графство, Калифорния.
Декабрь 8. 1915.

ГЛАВА I

Так и не пришлось Майклу, хорошо натасканной на «чернокожих» собаке отплыть из порта Тулаги на «Евгении». Раз в пять недель в этот порт на пути из Новой Гвинеи в Австралию заходил пароход «Макамбо».

В тот вечер, когда он пришел с запозданием, капитан «Евгении» Келлар забыл Майкла на берегу. Это, собственно, была бы не большая беда, потому что в полночь капитан Келлар снова сошел на берег на поиски пропавшей собаки. Пока он сам карабкался на высокий холм, к резиденции комиссара колонии, команда его обшаривала всю местность, все дома и шалаши, но тщетно. Потому что, пока капитан Келлар сходил по сходням «Евгении», Майкл был водворен на пароход «Макамбо» через один из иллюминаторов, с моря.

Случилось это потому, что Майкл совсем не знал жизни и, кроме того, ожидал увидеть на пароходе Джерри. С этой собакой он увиделся на пароходе и очень с ней подружился. Дэг Дотри состоял стюардом[1] на пароходе «Макамбо». Он мог бы создать себе положение еще лучше, не будь он так обольщен своей крайне своеобразной репутацией. Он имел счастье родиться крепко сложенным, веселым человеком приятного характера. Особенность его репутации заключалась в том, что он за двадцать четыре года не пропустил ни одного служебного дня и не забыл осушить свои ежедневные шесть кварт пива, как это у него было положено. Он выпивал эти шесть кварт даже на Немецких островах, где в каждую бутылку, для предохранения потребителя от малярии, вливали десять граммов раствора хины.

Капитан парохода «Макамбо» (так же, как ранее капитаны всех других пароходов, на которых служил Дотри,— на пароходах «Морзби», «Масена» и «Сэр Эдвард Грей» и других, с самыми вычурными именами, судах компании-пароходства «Берн, Филип К°») имел привычку с гордостью указывать пассажирам на своего стюарда, как на исключительное, единственное в морских анналах явление. В такие моменты Дэг Дотри, продолжая заниматься своим делом на палубе, и, делая вид, что ничего не замечает, бросал косые взгляды на капитанский мостик, а грудь его гордо вздымалась, пото-

---

[1] Заведующий хозяйством на корабле.

му что он знал, что в это время капитан говорит: «Посмотрите на него, это какой то пивной бассейн этот Дэг Дотри. За двадцать лет он ни разу не был ни пьян, ни трезв. Он ежедневно выпивает шесть кварт пива. Глядя на него никак этого не подумаешь, а между тем это так, уверяю вас! Понять не могу, но восхищаюсь. И всегда он исполняет все, что положено, даже больше, чем полагается, иногда даже вдвое больше, чем полагается. У меня от одного стакана пива делается изжога и пропадает всякий аппетит, а он от шести своих кварт только расцветает».

И, зная, что о нем говорит капитан, Дэг Дотри раздувался от гордости и еще усерднее принимался за работу, и во славу своего крепкого сложения выпивал лишнюю седьмую кварту пива. Довольно необыкновенная это была репутация, такая же необыкновенная, как бывают необыкновенны и люди. Как бы там ни было, а Дэг Дотри в этой своей репутации находил весь смысл жизни. Вот почему все свои силы, физические и духовные, он направлял на то, чтобы поддержать эту свою репутацию человека, выпивающего шесть кварт пива в день. Ради этого, в свободное от служебных занятий время, он выделывал из черепахи гребенки и другие головные украшения, а также наловчился воровать чужих собак. Ведь за шесть кварт пива кто-то должен был платить, если же эти шесть кварт помножить на тридцать, то в месяц потребуется порядочная сумма денег!

А так как человеком, который должен был платить за эти кварты пива, был Дэг Дотри, ясно, что он считал совершенно правильным препроводить Майкла на пароход «Макамбо» через иллюминатор, со стороны моря.

В этот вечер на набережной Тулаги, раздумывающий о том, куда девался вельбот, на котором он видел Джерри, Майкл встретился с притаившимся толстым пожилым стюардом парохода «Макамбо». И сейчас же между ними установились самые симпатичные отношения. Из веселого, ласкового щенка Майкл превратился в веселую, ласковую собаку. Несмотря на то, что он знал очень мало белых людей, он был гораздо общительнее Джерри. Раньше всех он знал мистера Хаггинса, потом Дерби и Боба из Мэринджи, наконец капитана Келлара и штурмана парохода «Евгения», через которого он познакомился с Гарлеем Кеннаном и со всем офицерским составом судна «Ариэль». Он нашел, что все они совсем непохожи друг на друга и очаровательно непохожи на толпу этих «черных», которых его учили презирать и держать в своей власти.

Дэг Дотри, как и все «белые», произвел на него приятное впечатление сразу. Потому в ответ на его приветствие: «Хэлло, что ты тут делаешь, «белая» собачка, в негритянском царстве?» — он принял скромно-достойный вид, но в то же время зашевелил ушами, и глаза его посмотрели добродушно-приветливо. Все это не ускользнуло от опытного глаза Дэга Дотри, когда он осматривал собаку при слабом свете отблесков фонарей, которыми чернокожие мальчики светили занятым разгрузкой парохода людям. Дэг Дотри с первого взгляда оценил Майкла и признал в нем два несомненных достоинства: собака

— Сюда, собачка, сюда.

ласковая, веселого нрава и ценная. Эти два соображения заставили его быстро оглянуться кругом. Никто за ним не следил. Да тут поблизости были только чернокожие и те стояли к нему спиной, прислушиваясь к ударам весел во тьме, вещавшим им о том, что они должны быть готовы к принятию нового грузового судна. В некотором отдалении, при свете фонаря, клерк комиссара и старший грузовщик «Макамбо» горячо спорили о какой-то ошибке в накладной.

Дэг Дотри еще раз бросил быстрый взгляд на Майкла, у него созревал план действия. Он повернулся как ни в чем не бывало и пошел вдоль берега, вне полосы света фонарей.

— Двадцать фунтов и ни пенса меньше она стоит, — бормотал он про себя. — Щенок я буду, если не получу за нее двадцать фунтов со словами: «Благодарю вас, мадам». Или уж я терьера от борзой отличить не умею? Десять фунтов мне за нее сейчас, в любом трактире Сиднея, дали бы.

И сейчас же эти десять фунтов в его воображении обратились в кварты и бутылки пива, в мозгу его мелькнул чудесный образ целого пивоваренного завода.

Чуть слышный хруст песка и тихое посапывание заставили его насторожиться. Так он и ожидал. Собака сразу почувствовала к нему привязанность и побежала вслед за ним.

Дэг Дотри умел обращаться с собаками. Майкл это почувствовал, как только рука этого белого человека схватила его за шею у самого уха. В прикосновении этой руки не было ничего угрожающего; напротив, в нем чувствовалось дружелюбное доверие, на которое хотелось ответить полным доверием. Это была не ласка и не заигрывание, скорее грубое, но в то же время безболезненное прикосновение; эта рука не только не угрожала, она готова была защитить. И то, что эта рука совершенно чужого ему человека так бесцеремонно его схватила и тормошит, казалось Майклу самой естественной в мире вещью, как и то, что этот человек говорил ему: «Так, так, собачка, пристань ко мне, пристань и, может быть, еще в бриллиантах ходить будешь».

Никогда еще ни к кому не чувствовал Майкл такого влечения сразу. Очевидно, Дэг Дотри обладал специальным инстинктом привораживать к себе собак. Он от природы был человек не жестокий, никогда не был ни груб, ни чересчур ласков. И сейчас он не напрашивался на дружбу Майкла. Он искал этой дружбы, но искал так, что никто бы не догадался, что он этой дружбы ищет.

Чуть потрепав Майкла в виде первого приветствия, он отнял руку и, как будто совсем о нем забыв, стал закуривать трубку. Но закуривал он ее долго, истратил на это целых три спички, точно ветер их тушил, а между тем каждая из них догорала до самых его пальцев. При свете этих спичек его маленькие острые синие глазки из-под густых седеющих бровей разглядывали Майкла.

Майкл навострил уши и глядел прямо в глаза этого чужого человека, который, казалось, никогда не был ему чужд.

Если он и был чем-либо разочарован, так только тем, что этот очаровательный двуногий бог как будто не обращает на него внимания. Он попробовал даже вызвать его на более близкое знакомство приглашением поиграть, что выразилось в том, что он вдруг приподнял передние лапки, потом, опустив их, сильно вытянулся вперед, так что туловище его, сильно выгнувшись от приподнятого крестца, грудью коснулось земли; он добродушно замахал обрубком хвоста и взвизгнул, приглашая играть.

Белый человек, словно не замечая, продолжал попыхивать своей трубкой в наступившей, после догоревшей третьей спички, темноте.

Никогда еще никто не вел с таким законченным совершенством, основанном на самом низменном корыстном расчете, дела обольщения собаки так, как его вел шестиквартовый стюард, обольщая Майкла.

Когда Майкл, инстинктом почуяв притворство в безразличии к нему этого белого человека, сделал беспокойное движение уйти, Дэг Дотри тотчас же позвал его:

— Сюда, собачка, сюда.

Когда в ответ на это Майкл подошел и стал серьезно и долго обнюхивать его ноги, Дэг Дотри усмехнулся и, пользуясь близостью собаки, снова детально рассмотрел ее при свете раскуриваемой трубки.

— Каждая собака имеет свои достоинства, — изрек Дэг Дотри голосом, по которому можно было догадаться, что он осмотром доволен.

«Кто знает, собачка, может быть и ты могла бы взять премию на выставке. Один у тебя недостаток — ухо, да его я даже сам сумел бы исправить. Готов пари держать, что сумел бы!»

Он, как бы шутя, взял Майкла за ухо и кончиками пальцев стал ощупывать его у самых корней, в месте сращивания с туго натянутой на черепе кожей. Майклу это было только приятно. Никогда еще ни одна человеческая рука не касалась его так бесцеремонно, не причиняя ему в то же время никакой боли. Прикосновение этих пальцев, напротив, вызывало приятное физическое ощущение, ощущение настолько острое, что он никак не мог не реагировать на него и весь извивался и корчился от удовольствия.

Продолжая свой осмотр дальше, Дэг Дотри тихонько потянул ухо собаки вверх, пропуская его между пальцами до самого кончика, когда оно скользнуло и, красиво упав, приняло свое естественное положение. Эту манипуляцию Дэг Дотри проделал несколько раз поочередно, то с тем, то с другим ухом. И все время он бормотал слова, смысла которых Майкл понять не мог, но все же считал обращенными лично к себе.

«Морда, как полагается, плоская — пробормотал Дотри, провел по морде собаки пальцем и чиркнул спичкой, чтобы лучше рассмотреть ее. — Никаких морщинок... челюсть ладная, хороша для хватки, в скулах не выдается, на висках провалов нет».

Он засунул палец в пасть собаки и отметил ровность и крепость ее зубов. Затем он смерил ширину в плечах и вышину груди; приподнял одну лапу, еще раз чиркнул спичкой и осмотрел все четыре.

«Черные, каждый ноготок черен как смоль, — сказал он, и прибавил: — ни одна собака не ходила еще на таких породистых ногах... большой палец вытянут, изгиб, как полагается, не слишком велик и не слишком мал. Пари готов держать, что ваша мамаша и ваш дядюшка брали премии».

Этот продолжительный осмотр начинал Майкла волновать. Но в эту минуту Дотри, ощупав строение бедер и под коленями ногу, вдруг схватил его за хвост и принялся ощупывать, ощупывать у самого его основания, нажимая при этом на ближайшие позвонки спинного хребта и крутя этот хвост самым

бесцеремонным образом. От этих манипуляций Майкл пришел в окончательный экстаз и старательно прижимался задними своими частями к ласкающим его пальцам. Вдруг широкие ладони подхватили его сверху и снизу и приподняли на воздух; но прежде, чем он успел испугаться, он уже был снова на земле.

«Двадцать шесть или двадцать семь, во всяком случае, собачка, вы весите, больше двадцати пяти; пари держу на два шиллинга и пол пенса! Полный же ваш вес со временем будет тридцать фунтов,— заявил Майклу Дотри.— Ну что ж, многие знатоки стоят именно за тридцатифунтовую весовую марку! К тому же, в случае надобности, всегда можно скинуть несколько унций тренировкой. Вы самая настоящая собачка, строение скаковое, а вес боевика, и ни малейшего изъяна в лапках. Нет, ваша собачья милость, и вес ваш вам только на плюс; что же касается вашего уха, любой порядочный ветеринар сумеет его вам выгладить. Пари держу, что в Сиднее найдется больше сотни желающих заплатить двадцать фунтов за право называться вашим хозяином!»

И тут, как бы опасаясь, что Майкл от слов его зазнается, отвернулся, закурил трубку и, как будто совсем забыл о нем. Он не хотел, чтобы собака подумала, что он ищет ее дружбы, он хотел заставить ее искать его благосклонного отношения. Так оно и случилось. Майкл терся боками о его ноги, толкнул мордой под локоть, как бы приглашая белого бога еще немного потрепать его за уши и поиграть его хвостом. Вместо этого Дотри схватил его за голову и, качая ею вверх и вниз, говорил:

«Чья же вы собачка? Неужели ваш хозяин какой-нибудь негр? Это недопустимо. В самом деле, может быть какой-нибудь негр украл вас? Ведь это же было бы ужасно! Подумать только, как иногда может быть жестока к собаке судьба. Скандал, да и только! Нет, ни один белый человек не может терпеть, чтобы такая собака, как вы, оставалась во власти негра! И вот белый человек здесь налицо, и он этого не потерпит! Этого недоставало, чтобы такая собака как вы оставалась у негра, который понятия не имеет о том, как вас надо дрессировать! Тем более, что негр этот вас, конечно, просто украл. Попадись он мне сейчас, я бы ему все внутренности перевернул! Верно говорю, перевернул бы! Покажите мне его только, увидите, что я с ним сделаю. Подумать только, чтобы такая собака, как вы, служила, таскала вещи по приказу негра. Нет, ваша собачья милость, этому не бывать! Вы отправитесь со мной, и думаю, что принуждать мне вас к этому не придется».

Дэг Дотри встал и, как ни в чем не бывало, пошел дальше вдоль берега. Майкл посмотрел ему вслед, но не двигался. Ему хотелось это сделать, но он ждал приглашения. И, наконец, Дэг Дотри чуть слышно чмокнул губами. Он сделал это так тихо, что едва ли слышал сам; он скорей мог уловить этот звук по движению своих губ. Ни одно человеческое существо, находясь на том расстоянии, на каком от него находился Майкл, этого звука не услышало бы, но Майкл услыхал, восторженно скакнул и побежал вслед за ним.

ГЛАВА II

Дэг Дотри шел вдоль берега, Майкл бежал за ним по пятам и, от времени до времени, от избытка восторга, кружился у его ног. Дэг Дотри приостановился вне светлого круга, где темные фигуры разгружали вельбот и клерк комиссара спорил со старшим грузовщиком «Макамбо» относительно ошибки в накладной. Майкл сделал было движение бежать дальше, но Дотри сдержал его чуть слышным почмокиваньем.

Дэг Дотри был занят измышлением способа вернуться на судно незамеченным, потому что было вовсе неинтересно, чтобы его видели ворующим собаку. Он осторожно обошел круг света и направился к туземному селению. Как он и полагал, все работоспособное население ушло на разгрузку парохода и селенье казалось вымершим. Однако из камышового шалаша он услышал ворчливо визгливый оклик.

— Кто там?

— Я слишком много шел,— сказал Дэг Дотри на английском, так называемом *beche de mer* (на котором говорят на южных и западных берегах и островах Тихого океана) жаргоне.— Я с парохода, — продолжал он,— ты лодкой доставить меня на пароход, я тебе дать табак два пачки.

— Десять дай, тогда лодкой на пароход, — на том же жаргоне ответил голос из шалаша.

— Я дать пять, — торговался Дотри, — не хочешь пять, ступай к дьяволу!

Голос не отвечал.

— Хочешь пять? — настаивал Дотри, обращаясь в темноту по тому направлению, откуда говорил голос.

— Хочешь, — ответил голос и, вслед за тем из темноты выплыло тело, выплыло с таким странным шумом, что Дэг Дотри зажег спичку, чтобы посмотреть в чем дело.

Перед ним, раскачиваясь на одном костыле, стоял старец с больными, гноящимися глазами. Эти глаза были наполовину подернуты наросшей болезненной пленкой; неприкрытая же часть их была красна и воспалена. Его голова, с торчащими кое-где седыми клочьями волос, была покрыта коростой. Кожа на лице была вся в морщинках, полосках и пятнах, синевато-красноватая, она была местами покрыта серым налетом, который казался на этом лице нарисованным, на самом же деле составлял его неотъемлемую часть.

«Тронут проказой», — подумал про себя Дотри, и взгляд его перебежал от глаз на руки и ноги, где он ожидал увидеть следы разрушительной болезни в отсутствии суставов и больших пальцев. Но в этом отношении старец еще не был затронут и только на единственной его ноге, между коленом и бедром был провал, свидетельствовавший об изъяне на ноге.

Дотри указал на пустоту в ноге и спросил:

— Черт возьми! Куда это у тебя девалось?

— Большой акула утащил, — засмеялся старец, открывая страшное отверстие своего беззубого рта.

— Я очень старик большой, — сказал одноногий Мафусаил, — и я долго, слишком долго без табак. Что если бы белый господин дал курить сейчас, потом лодкой на пароход.

— Еще что! Нет, — раздраженно ответил Дотри, которому не терпелось ехать.

В ответ на это старец повернулся на своем костыле и поскакал в темноту, по направлению своего шалаша.

— Ладно, дам курить, — крикнул ему вслед Дотри, сунул руку в боковой карман, вытащил оттуда пачку прессованного табака и оторвал от нее щепотку.

Старец весь преобразился, жадно протянул руки к табаку и издал звук, похожий на какое-то журчание, прерываемое вскриками, точно от боли; этим он выражал свой восторг. Он вытащил из уха глиняную трубку и дрожащими руками стал крошить и набивать в нее сухие листья дешевого виргинского табака, притискивая их большим пальцем. Набивая свою трубку, он бросил на землю костыль, поджал под себя свою единственную ногу и теперь казалось, что стоит человек с одним туловищем, без ног. Из маленькой, висевшей на его иссохшей груди плетеной кокосовой сумочки он вынул кремень, огниво и трут и, несмотря на то, что терявший терпенье Дотри протягивал ему коробку спичек, высек искру, подхватил ее на фитиль, раздул и стал закуривать трубку.

После первой же затяжки он стих и стал успокаиваться. Дотри мог наблюдать, как постепенно переставали дрожать у старика руки, подергиваться губы, течь слюна из углов рта и даже прояснялась, неприкрытая пленкой, часть воспаленных глаз.

О чем грезил этот старец в наступившей тишине, Дотри угадать не старался, он был слишком занят своими собственными мыслями. Он думал о том, как ужасно быть таким стариком, о том, что таким, быть может, будет когда-нибудь и он сам. Жить вот в таком пустом грязном шалаше, ворчать, что-то лопотать и пускать слюни при виде щепотки табака, но самое ужасное, это не иметь не только шести кварт, но и ни единого глотка пива.

Майкл при слабом свете огонька трубки рассматривал двух стариков: сидящего в темноте на корточках негра, и, только что понявшего всю трагедию старости, Дотри; сам он сознавал только одно: необычайную привлекательность этого двуногого белого бога, прикосновение пальцев которого к его хвосту, ушам и позвонкам завоевало всю его собачью душу.

Докурив свою трубку, чернокожий старец с поразительной быстротой вскочил при помощи своего костыля на свою единственную ногу и, прихрамывая, заковылял к берегу. Дотри пришлось помочь ему сдвинуть с песчаного берега старую облезлую, как и ее хозяин, лодчонку. Чтобы не перевернуть ее, Дотри, когда он в нее садился, пришлось вымочить одну ногу по щиколотку, другую по колено. Старец в лодку прямо скатился, и так ловко он это сделал, что в ту

минуту, когда, казалось, лодка перевернется, он уже очутился на другой ее стороне и телом своим удержал равновесие.

Майкл стоял на берегу, ожидая приглашения. Если у него и могли быть сомнения, достаточно было легкого почмокиванья белого бога, чтобы он, не задумываясь, прыгнул в лодку: все дело было за этим ожидаемым знаком. И Дэг Дотри дал этот знак и сделал это так тихо, что старец не слышал, Майкл же одним прыжком, прямо с берега, очутился в лодке, не замочив при этом ни одной лапы. Он скакнул на плечо Дотри, с которого скользнул на дно лодки. Дотри опять чмокнул губами, и Майкл тотчас же обернулся, сел к нему лицом и положил свою морду к нему на колени.

— Я полагаю, что я смело на целой кипе библий могу поклясться, что эта собачка ко мне пристала, — шепнул он на ухо Майклу и рассмеялся.

— Работай веслом, работай, — прикрикнул он на старца.

Тот болтал веслом в воде, неровными толчками направляя лодку к ряду светящихся точек, отмечавших во тьме пароход «Макамбо». Сил у него было мало, он задыхался от усталости и отдыхал между каждым ударом весла. Наконец Дотри нетерпеливо выхватил у него весло и принялся им работать сам.

На полдороге старец перестал вздыхать и, показав на Майкла, сказал:

— Этот пес есть большой белому господину другого судна. Мне ты давать десять табак, — он помолчал и добавил: — тогда я будет молчать.

— Я давать тебе большого тумака, — ответил Дотри, рассмеялся и прибавил:

— Большой белый господин другого судна мне друг большой. Он сейчас в гостях там у меня на «Макамбо». Я ему собаку везу, — и на этом разговор оборвался.

Этот старец прожил много лет, но никогда никому не сказал он ни слова о том пассажире, которого он вместе с Майклом в полночь переправлял на «Макамбо». И это несмотря на то, что он слышал о той суматохе, какую поднял, перевернув вверх дном все Тулаги, капитан Келлар, разыскивая свою собаку. Что ему до этих белых людей, которые приезжают и уезжают, шатаются здесь и распоряжаются? Что ему вмешиваться в дела этих совершенно чуждых ему людей?

В этом отношении взгляды старца ничем не отличались от взглядов всех чернокожих меланезийцев. У этих «белых» людей, думали они, свои, совершенно для них, «чернокожих», непонятные обычаи, потребности. Они представляются им людьми другого мира, высшими существами, которые на отдалении разыгрывают что-то им непонятное, что-то, в чем для них, «чернокожих», нет ничего реального, реального, как они это реальное понимают. Они для них то же, что те привидения, которые являются им иногда во сне; они, как тени, двигаются в таинственном пространстве вселенной.

Так как с левой стороны парохода к берегу были перекинуты сходни, Дэг Дотри повернул и, обогнув пароход, подошел к одному из открытых иллюминаторов с правой стороны парохода.

— Принять только вот эту собаку, — шепотом сказал Дотри.

— Квэк, — тихо позвал он раз, потом еще раз.

После второго оклика светлое пятно иллюминатора заслонила чья-то голова, которая затем высунулась, сжатая узким отверстием.

— Что-нибудь принять, мастер?

— Принять только вот эту собаку,— шепотом сказал Дотри и прибавил так же,— дверь на запор и не выходить. Я сейчас приду.— Принимай! — И он в одно мгновение схватил, приподнял и передал Майкла в невидимые, протянутые вниз руки, затем Дотри снова заработал веслом и подвел лодку к тому открытому месту, где спускают в трюм грузы; запустив руку в карман, он выбросил старцу несколько пачек табака и оттолкнул лодку ногой, не заботясь о том, как доберется до берега этот беспомощный старец.

Старик не трогал весла. Он не заметил даже, как лодка, скользнув вдоль высокой стены парохода, завернула за корму его и очутилась во тьме. Он был слишком поглощен подсчетом своих табачных богатств. Подсчитать их было не так-то легко, ведь он умел считать только до пяти. Отсчитав пятерку, он принимался отсчитывать следующую, всех их оказалось три и сверх того еще две отдельные пачки, итак, в итоге этих сложных подсчетов, он оказался обладателем того числа пачек табака, которое у всех белых выражается цифрой семнадцать.

Их оказалось больше, гораздо больше, чем он ожидал. Но он не удивился. Ни один поступок «белого» не мог не удивить. Если бы вместо семнадцати пачек оказалось всего две, он тоже не удивился бы. Раз все, что бы ни сделали «белые» люди, его не удивляло, удивить его мог бы только их какой-нибудь неудивительный поступок.

Слабо работая веслом, вздыхая и то и дело отдыхая, он забыл думать о белых людях; для него чем-то реальным сейчас была только вырисовывающаяся, ясно очерченным на усеянном мигающими звездами небе темным силуэтом гора Тулаги, море, по которому он так медленно продвигает свою лодку, его слабеющие силы и смерть, к которой он приближается, и которой все кончится, наверно. Итак, чернокожий старец медленно плыл обратно к берегу.

ГЛАВА III

Между тем Майкл, приподнятый в воздух, переданный в чьи-то неведомые руки, которые протащили его через узкое, окаймленное медным кругом отверстие в светлую комнату, оглядывался кругом, рассчитывая найти тут Джерри. Джерри же в это самое время лежал, прижавшись к койке Виллы Кеннан, на палубе нарядного, маленького судна «Ариэль». Наполовину погруженное в воду, слегка накренившись и журча стекающей по желобу водой, катилось оно со скоростью одиннадцати узлов по направлению к Новой Гвинеи, к чему его побуждали быстроразвивающиеся торговые сношения с последней.

Вместо Джерри, с которым он в последний раз видался на пароходе, Майкл увидал Квэка.

Квэк? Ну, а Квэк — это Квэк, существо еще менее похожее на других людей, чем другие люди похожи друг на друга. Никогда еще по морю житейскому не носилось такое затерянное, такое странное живое существо.

По человеческому летосчислению ему было всего семнадцать лет, но глядя на его иссохшее, испещренное глубокими, особенно на лбу, морщинами лицу, с провалившимися висками и глубоко запавшими глазами ему можно было дать сто. Его тоненькие, на вид хрупкие, как пустая соломинка ноги, казались засунутыми в футляр из висящей, не подбитой мускулами кожи, и на этих ножках держалось увесистое тело толстого, жирного человека. Громадный, выдающийся живот поддерживали широкие бедра. Плечи у него были, как у Геркулеса, если глядеть на него прямо, при взгляде же сбоку, поражало отсутствие глубины как в плечах, так и в груди; казалось, что эта часть его тела была построена всего в двух измерениях. Руки его были так же тонки, как и ноги. Майклу с первого взгляда он должен был показаться большим, черным, надутым пауком.

Квэк стал одеваться. Это было делом двух секунд. Он скользнул в грубые полотняные штаны и надел рубашку из такого же полотна; и то, и другое было грязно и поношено.

На левой руке Квэка два пальца были согнуты и не разгибались и опытный человек сразу сказал бы, что он тронут проказой. Несмотря на то, что Квэк был такой же неотъемлемой собственностью Дотри, как если бы он купил его за деньги и имел на него счет, последний и не подозревал, что эти согнутые пальцы свидетельствуют о разрушении нервов и о том, какая страшная болезнь угрожает его рабу, а вместе с тем и ему самому.

Приобрел Квэка Дотри очень просто. Дело было на одном из Адмиралтейских островов, по названию Король Вильгельм, где Квэк, несмотря, на подтачивающую его болезнь, сумел сделать такой прыжок, что сразу попал в объятия Дотри.

Прогуливаясь на опушке чащи вдоль берега, Дэг Дотри по своему обыкновению выискивал, что бы можно было здесь подобрать, и подобрал Квэка, подобрал в ту минуту, когда последнему грозила смертельная опасность. Преследуемый двумя проворными, вооруженными стальными копьями молодыми людьми, Квэк бежал на своих дрожащих тоненьких ножках, с совершенно необычной для себя скоростью и, наконец, выбившись из сил, изнеможденный упал к ногам Дотри, обращая к нему взгляд затравленного оленя. Смертельно боявшийся всякой заразы и бацилл, Дэг Дотри довольно грубо спросил, в чем дело, но в этот момент на него ринулись проворные молодые люди с копьями. Он выхватил копье у одного, оглушил ударом по челюсти другого так, что тот без чувств повалился на землю; в следующий момент и первый, тот, у которого он выхватил копье, лежал рядом с уже поверженным.

Как человек основательный, Дэг Дотри не удовольствовался приобретенными таким образом копьями и в то время, как Квэк продолжал стонать и бормотать слова благодарности у его ног, он стал обирать поверженных молодых людей. Платья с них взять было нельзя, потому что они были голы, но он

снял с их шеи ожерелья из зубов дельфина, за них ведь можно взять соверен в любых меновых знаках. Из волос одного он вынул частый гребень тонкой ручной работы с инкрустациями из перламутра; этот гребень он продал продавцу редкостей в Сиднее за восемь шиллингов. Он выдернул также костяные и черепаховые украшения из носов и ушей и снял полумесяцы из жемчужных раковин, висевшие на груди у каждого из лежавших в беспамятстве проворных молодых людей. За эти полумесяцы, из которых каждый имел по четырнадцать дюймов в поперечнике, ему где угодно должны были дать не менее пятнадцати шиллингов. Копья он продал по пять шиллингов туристам в порту Морсби. Вот какой ценой поддерживается репутация шестиквартового человека.

Когда он собирался идти дальше, молодые люди только что пришли в сознание и смотрели на него разъяренными глазами диких зверей. Квэк последовал за ним, наступая ему на пятки и рискуя опрокинуть его. Дотри нагрузил его своей добычей и пустил идти вперед по дорожке к морю.

На пароходе Дэг Дотри — он плавал тогда на «Кокспьюре» — уговорил капитана принять Квэка в качестве помощника стюарда с жалованьем десять шиллингов в месяц. Тут он узнал обо всем, что в этот день с Квэком приключилось.

Все произошло из-за свиньи. Проворные молодые люди, два брата, жили в соседней деревне, и свинья принадлежала им — так рассказывал свою эпопею Квэк — на ужаснейшем английском, так называемом «beche de mer» жаргоне. Он, Квэк, эту свинью никогда не видал и даже не подозревал о ее существовании до тех пор, пока она не околела. Молодые люди очень свою свинью любили. Но что же из этого? Какое это имело отношение к Квэку, который о существовании этой свиньи не подозревал? Услышал он о ней в первый раз, уверял он, тогда, когда по его деревне пошли слухи о том, что свинья околела и по этому случаю кто-нибудь должен будет умереть. Таков уж у них обычай, пояснил он удивленному Дотри. Когда у кого-нибудь умирает свинья, он должен, согласно обычаю, кого-нибудь убить, все равно кого. Конечно, справедливее будет, если он убьет того, кто заклятиями напустил на свинью болезнь, от которой она погибла, но раз этого человека налицо нет, надо убить первого попавшегося. Вот почему Квэк и оказался жертвой возмездия.

Дэг выпил седьмую кварту пива, потому что был слишком потрясен этим романтическим рассказом из темной жизни дикой чащи, где человек способен убить человека, и даже чужеземца только потому, что у него околела свинья.

Береговые разведчики, рассказывал дальше Квэк, принесли известие, что осиротевшие молодые люди, владельцы околевшей свиньи, бегут к ним в деревню, и все сейчас же кинулись в чащу и влезли на деревья. Один Квэк на дерево вскарабкаться не мог. «Клянусь вам,— сказал в заключение Квэк,— что я на эту свинью никаких заклинаний не делал».

— Черт возьми, — проговорил Дотри. — Очень вы уж вашей свинье большое значение придаете, носитесь, как с нечистой силой какой. Заболеть можно, на вас глядя. Мне и то не по себе.

У Дотри вошло в обыкновение, допив шестую кварту пива, звать Квэка и слушать этот его рассказ о свинье. Это ему напоминало детство, когда он с замиранием сердца слушал рассказы о людоедах и далеких странах и мечтал когда-нибудь попасть туда сам и видеть все своими собственными глазами. И вот он в этих далеких странах слушает рассказ своего собственного раба о настоящих людоедах.

И, конечно, Квэк был такой же его раб, как те, которых продавали на торгах. Переходя с одного парохода компании «Берн, Филип и К°» на другой, Дотри всегда настаивал на том, чтобы Квэк оставался при нем и получал свои десять шиллингов в месяц. Желание и нежелание Квэка при этом в рассчет не принимались. Но если бы даже у Квэка и родилась мысль бежать в одном из австралийских портов, Дотри его сторожить не пришлось бы, потому что об этом заботится «исключительно белая» полиция Австралии. Ни один темнокожий человек, будь он малаец, японец, или полинезиец не может ступить на берег, не уплатив государству залога в сто фунтов. Но и другие острова, к которым подходил «Макамбо», не возбуждали в Квэке желания бежать. Он все острова мерил на аршин единственного острова, на котором ему пришлось жить, острова Короля Вильгельма. А раз на этом острове были людоеды, значит они есть и на всех других островах.

Что же касается его родного острова Короля Вильгельма, к которому делавший те же рейсы, что и «Кокспьюр», «Макамбо» подходил через каждые десять недель, то быть ссаженным на этом острове было для Квэка самой страшной угрозой, которую Дотри употреблял только в самых крайних случаях, потому что на острове проворные молодые люди все еще оплакивали свою свинью. Они даже ввели в обычай: каждый раз, как подходил «Макамбо», выезжать к нему на лодке и строить Квэку страшные гримасы, на которые последний отвечал такими же, стоя на недосягаемом расстоянии у борта парохода. Дотри даже поощрял подобный обмен приветствиями и любезностями, рассчитывая, что это убьет в его рабе какое-либо желание когда-либо вернуться на родной свой остров.

Вот почему у Квэка не было намерения покинуть своего господина, тем более что последний обращался с ним хорошо, относился справедливо и ни разу не поднял на него руку. С морской качкой он быстро освоился; переболев сразу, он уже больше от нее не страдал и, так как он никогда не сходил на землю, морская болезнь у него не возобновлялась, и он считал, что живет в каком-то земном раю. Здесь ему не угрожала никакая опасность, а потому не приходилось и жалеть о том, что он не может лазать по деревьям. Кормили его регулярно и как кормили! Он мог есть сколько угодно и все что угодно. У них в селении никому и во сне не снились все те деликатесы, которые он поглощал ежедневно. Это, отчасти, и помогало ему справляться с легкими припадками тоски по родине, которые на него находили, впрочем, очень редко и, в общем он себя чувствовал счастливейшим из плавающих по океанам людей.

И вот этот-то самый Квэк и втащил Майкла через иллюминатор в каюту своего господина, появления последнего через дверь, он теперь ожидал...

Окинув быстрым взглядом каюту, понюхав деревянную койку, под койкой, Майкл, окончательно убедившись в том, что Джерри здесь нет, обратил свое внимание на Квэка. Последний попытался было завести с ним дружбу и както закудахтал, желая этим звуком выразить ему свое приветствие; но в ответ на это Майкл зарычал на этого «черного», который осмелился касаться его своими черными руками, что, согласно воспитанию Майкла, было величайшей дерзостью, а теперь еще пробует с ним заигрывать, с ним, с собакой, которая привыкла обращаться только с «белыми» богами.

Квэк принял этот отказ глупым смешком и сделал шаг к двери, чтобы быть наготове открыть ее своему господину; но, едва он приподнял ногу, Майкл кинулся к нему, готовый в эту ногу вцепиться. Квэк тотчас же остановился. Майкл успокоился, но не спускал с него сторожащих глаз. Что он знал об этом «черном»? Кроме того, что это «черный» а, в отсутствии «белого» господина, он, Майкл, должен всех «черных» сторожить. Квэк попробовал было сделать шаг, незаметно скользнув ногой по полу, но этот прием был Майклу известен, и он тотчас же ощетинился и заворчал.

На этом, входя в свою каюту, застал их Дэг Дотри. Он хотел рассмотреть Майкла при ярком освещении и сразу догадался в чем дело.

— Квэк, сделай шаг, — приказал он, чтобы убедиться в том, что не ошибается.

Опасливый взгляд, брошенный Квэком на Майкла, был довольно красноречив, тем не менее Дотри повторил приказание.

Квэк нерешительно повиновался, но, едва он двинул ногой, как Майкл бросился и он замер на месте. Майкл и рычал, и кружился вокруг его ног.

— Эге, пригвоздил к полу, — расхохотался Дотри. — Он несомненно натасkан на «чернокожих». Квэк, две бутылки холодного, — снова приказал он самым надменным, повелительным тоном.

Квэк смотрел на него умоляюще и не двигался, он не двинулся даже тогда, когда Дотри повторил приказание еще более строгим тоном.

— Черт возьми! — заорал наконец Дотри. — Если сейчас тут не будут две бутылки я тебя... я тебя высажу на острове Короля Вильгельма.

— Я не могу... этот собака глаза меня так... я не любит, когда собака глаза так меня...— растерянно лопотал Квэк.

— Ты собаки боишься? — спросил Дотри.

— Боюсь... я очень бояться его.

Дэг Дотри был в восторге и, так как после своей прогулки чувствовал большую жажду, решил прекратить эту игру.

— Эй, собачка, слушай: этот мальчик хороший мальчик. Понимаешь, мальчик хороший, — старался он объяснить Майклу.

Майкл зашевелил хвостом и опустил уши, выражая этими движениями, что он старается понять. Когда же Дотри погладил Квэка по плечу, он подошел к прикованным к полу ногам последнего и обнюхал их.

— Теперь иди, — приказал Квэку Дотри, — только осторожно, — прибавил он.

Но это предостережение было уже лишним. Майкл слегка ощетинился, но дал Квэку сделать первый нерешительный шаг, когда же тот сделал второй, он вопросительно посмотрел на Дотри.

— Все в порядке, — кивком головы успокоил его Дотри и прибавил, указывая на Квэка, — этот мальчик, — потом указал на себя и докончил, — мой, он хороший, уверяю тебя, собачка, хороший, — повторил он еще несколько раз.

Майкл улыбнулся, давая понять, что он понял в чем дело и отошел обнюхивать открытый ящик на полу, в котором валялись пластинки черепахи, напильники и наждачная бумага.

— А теперь, — сказал Дотри, развалившись в кресле с бутылкой пива в руках, в то время как Квэк расшнуровывал ему ботинки, — теперь вопрос в том, господин пес, чтобы найти подходящее твоей особе имя.

ГЛАВА IV

Когда ирландские терьеры достигают зрелого возраста, они отличаются не только своей смелостью, привязчивостью и преданностью, но и большим хладнокровием и самообладанием. Их не так-то легко рассердить и вывести из себя. Они даже в пылу драки слушаются голоса своего хозяина и никогда не впадают в истерическое, столь свойственное, например, фокстерьерам, состояние.

У Майкла не было ни малейшего признака истеричности, хотя по своему темпераменту он был живее и вспыльчивее своего брата по крови Джерри, по сравнению с которым родители их в своей молодости могли бы считаться совсем смиренной парой. Достигший зрелого возраста, Майкл оказался гораздо живее и игривее достигшего зрелого возраста Джерри. Легко возбудимый, он хватался за всякий повод, чтобы поиграть и при этом до того разыгрывался, что терял всякую меру и своими выходками мог надоесть даже щенку. Веселая душа был этот Майкл.

Слово «душа» употреблено здесь вполне сознательно. Потому что свойственные человеческой душе чувства: особая чуткость, восприимчивость, сознание своей личности — все эти чувства были свойственны и душе Майкла. Может быть в иной степени, но ему были знакомы все человеческие чувства. Майкл знал и любовь, и печаль, и гнев, и радость, и гордость и не лишен он был даже самомнения и известного юмора. Тремя же главными свойствами души человеческой: памятью, волей и сознанием он обладал несомненно. С миром, стоящим вне его, он, при помощи своих пяти чувств, общался совсем так же, как и человек. Как и у человека, у него при этом рождались впечатления и ощущения. Как и у человека впечатления эти, в свою очередь, рождали известную эмоцию, давали известное переживание. Он мог и действительно чувствовал, при этом в мозгу его кристаллизовались, формировались известные мысли и понятия. Конечно, все эти понятия не были так широки, так глубоки и сакраментальны, как понятия человеческие, но все же это были понятия.

Быть может, чтобы не оскорблять человека сравнением его сокровенных тончайших душевных переживаний с переживаниями собаки, следовало бы ограничиться сравнением его ощущения от укола иглой в ладонь с ощущением собаки от укола той же иглой в ее лапу. Но, с другой стороны, нельзя не допустить того, что мысль в мозгу собаки зарождается так же определенно и ясно, как и в мозгу человека. Потому, хотя он, Майкл, в своей жизни не установил ни одной гипотезы Евклида и не разрешил ни одного квадратного уравнения, он отлично понимал, что три кости — это больше чем две кости и что с двумя собаками драться легче, чем с десятью. Одного нельзя во всяком случае не допустить, и именно того, что Майкл был способен любить так же беззаветно, так же бескорыстно и преданно, как и человек. Он умел любить, умел не потому, что он был Майкл, а потому, что он был собакой.

Капитана Келлара Майкл любил больше своей собственной жизни и, также как и Джерри ради своего шкипера, и он ради капитана Келлара этой своей жизнью готов был пожертвовать без размышлений. И теперь, по мере того как проходило время, и ему становилось ясно, что капитан Келлар вместе с Мэринджи и Соломоновыми островами погрузился в какое-то неизбежное «ничто», ему было суждено такой же беззаветной любовью полюбить шестиквартового стюарда с его умением с ним обращаться и издавать это ласковое почмокиванье губами. А Квэк? Нет, Квэк — «черный». Майкл его к себе едва подпускал. Он для него был то же, чем для него была любая принадлежащая стюарду вещь, неотъемлемая собственность Дэга Дотри.

Но своего этого нового белого бога он знал не как Дэга Дотри. Квэк называл этого бога «господин», но Майкл и раньше слыхал, что так «черные» называют белых богов. И капитана Келлара черные люди называли «господин». Капитан же Денкан его белого бога называет «стюард». Так же называют его все офицеры и пассажиры, значит имя его «стюард». Так решил Майкл. И так навсегда он для него и остался «стюардом». Так он его знал, так и мысленно называл, когда о нем думал.

Но теперь являлся вопрос, как звать его самого? На другой же вечер по водворении его на пароходе, Дэг Дотри заговорил с ним на эту тему. Майкл сидел на задних лапах перед Дэгом Дотри, положив свою морду ему на колени; глаза его то открывались, то закрывались, то загорались каким-то светом; он то поднимал, то опускал уши, напряженно вслушиваясь и постукивая обрубком своего хвоста об пол.

— Так вот как, сынок, — говорил ему стюард, — отец и мать твои были ирландцы, этого ты, плутишка, отрицать не станешь.

Поощренный ласково шутливым тоном голоса Дотри, Майкл завертелся от восторга и еще чаще забил обрубком хвоста по полу. Он радовался не потому, чтобы хоть слово понял из того, что ему говорил стюард, а потому что в созвучии этих таинственных, непонятных ему слов, он уловил что-то, что делало стюарда, этого белого его бога, особенно для него привлекательным.

— Никогда не стыдись своих предков и помни, что бог ирландцев любит,— продолжал Дотри, затем, обернувшись к Квэку, крикнул: — Квэк, две бутылки пива и пусть малый не забудет охладить их,— затем, снова обращаясь к собаке, он сказал: — нет, милый мой, уж одна морда выдает в тебе чистокровного ирландца. — Тут хвост Майкла стал уже отбивать форменную зорю.— Нет, ты, брат, ко мне не подлизывайся, знаю я твои коварные приемы обольщения. Знай, братец, к моему сердцу не так-то легко пробраться, оно все насквозь пропитано пивом. Украл я тебя для того, чтобы продать, а вовсе не для того, чтобы с тобой любезничать тут и полюбить тебя. Когда-то давно я, быть может, и мог бы полюбить тебя, но это было до того времени, как я познакомился с пивом. Представься случай, я вот сейчас бы продал тебя за двадцать фунтов, деньги на стол. Я к тебе привязываться не намерен, это ты себе крепко на носу заруби.

— Но вот что я хотел тебе сказать, когда ты меня тут так грубо перебил своим этим подлизыванием.

Тут Дэг Дотри прервал свою речь, чтобы припасть ртом к принесенной Квэком бутылке пива. Допив ее, он вздохнул, обтер губы обратной стороной ладони, заговорил снова:

— А странная штука это самое пиво! Квэк, ты обезьяноподобный Мафузалем, строящий там гримасы, ведь ты вот принадлежишь мне. А я так вот принадлежу пиву, целой батарее бутылок, черт возьми, целым горам пива; такому количеству пива, в котором пароход целый утопить можно. Завидую я тебе, пес!

— Нашел наконец, — торжественно произнес он. — Киллени само по себе имя прекрасное, ты же будешь называться Киллени-Бой.

Вот сидишь себе, благодушествуешь и смекаешь, что твое-то нутро алкоголем не отравлено. Ты прав, мой милый. В этом убежден будет и тот, кому я тебя продам за двадцать соверенов. Горы пивных бутылок для тебя ничто, и ты им ничто, потому выходит, что ты, господин пес, свободнее меня, хоть я имени твоего еще и не знаю. Что-то мне, впрочем, припоминается...

Он выпил еще бутылку, оттолкнул ее к Квэку, давая понять, что тот должен откупоривать новую, и продолжал, обращаясь к Майклу.

— Имя твое, сынок, не так-то легко угадать. Ирландское, конечно, но какое именно? Пэдди? Ну как, кивнешь на это? Не нравится? Быть может, Беллимена? Не подходит, слишком женское, а ты ведь мальчик. Да, вот, конечно... Мальчик — Бой. Скажем, например, Бениш-Бой? Роттен-Бой или Лед, или Эрин...

Он кивнул головой в знак одобрения собственной мысли и принялся за другую бутылку. Он пил, размышлял, потом снова пил.

— Нашел наконец, — торжественно произнес он. — Киллени само по себе имя прекрасное, ты же будешь называться Киллени-Бой. Как это вам нравится, ваша милость? Звучит ведь гордо... Знатно... точно граф, или... или... какой-нибудь пивовар, нажившийся и от дел удалившийся. Многим таким я помог нажить состояние.

Он допил бутылку и, схватив Майкла обеими руками за морду, потер своим носом его нос. Майкл точно все понял и смотрел прямо в глаза своего белого бога. Что-то почти сознательное, проявляющийся дух засветился в глазах собаки, уже преданно обожающей своего седеющего белого бога, который болтал с ней на непонятном ей языке, но самый звук речи которого находил какой-то необъяснимый сладостный отзвук в ее собачьей душе.

— Эй, Квэк!

Квэк, сидевший на полу на корточках и полировавший начерно вырезанный и разрисованный его господином черепаховый гребень, взглянул в сторону последнего, готовый принять и исполнить приказание.

— Квэк, запомнить, крепко. Квэк должен запомнить, что имя этой собаки Киллени-Бой. Квэк, держать крепко в своей голове: собаку эту зовут Киллени-Бой. Когда Квэк говорит с этой собакой должен называть ее Киллени-Бой. Голова Квэка крепко должна помнить Киллени-Бой, а то я снесу Квэку его глупую голову. Поняла твоя глупая башка? Киллени-Бой! Киллени-Бой...

Когда Квэк, сняв с него сапоги, помогал ему раздеваться, он взглянул на Майкла сонными глазами и сказал, совсем собравшись лечь, но еще стоя:

— И имя я тебе, голубчик мой, нашел и аттестацию нашел: с норовом, но рассудительный; и идет к тебе и то и другое, как обои к стене.

— С норовом, но разумный, вот что вы такое, господин Киллени-Бой, разумный, но с норовом... — повторял он все время, пока Квэк помогал ему улечься на койке.

Квэк снова принялся полировать гребень. Работая, он что-то бормотал про себя и напряженно морщил лоб, точно стараясь что-то припомнить, потом вдруг, обращаясь к своему господину, спросил:

— Какое Квэк имя собаки в голове крепко помнить велел господин?

— Киллени-Бой, тупоголовый ты людоед. Киллени-Бой, Киллени-Бой, — совсем сонно повторял он и прибавил: — Квэк, чернокожий людоед, сбегай достань еще бутылку и похолодней.

— Нет бутылки господин, все бутылки выпивал господин, — дрожащим голосом ответил Квэк, ожидая, что сейчас в него чем-нибудь бросят.

— Все бутылок пустой, — прибавил он.

В ответ на это он услышал только храп своего господина.

Со скрюченными проказой пальцами и едва заметными признаками этого недуга на лбу, в виде утолщения кожи в полости глаз, чернокожий склонился над своей работой и, полируя гребень, все время шевелил губами, повторяя: «Киллени-Бой, Киллени-Бой».

ГЛАВА V

В течение нескольких дней Майкл не видел никого, кроме Дотри и Квэка. Его держали взаперти в каюте стюарда. Дэг Дотри отлично знал, что украл собаку «белого» человека и потому надеялся, сохранив в тайне присутствие собаки на пароходе, сбыть ее тотчас же по приходе «Макамбо» в Сидней.

Выдающиеся способности Майкла к восприятию всяких знаний Дотри почуял сразу. При кормлении ему иногда случалось давать ему цыплячьи кости и в два урока, которые, собственно, и уроками назвать нельзя, так как оба они происходили в течение пяти минут, причем каждый из них занял не больше полуминуты, Майкл прекрасно себе усвоил, что грызть кости можно только на полу и притом в углу, ближайшем к двери.

И как же ему было не понять. Он обладал способностью угадывать малейшее желание своего белого бога, в душе его было что-то, что заставляло его испытывать искреннюю радость и счастье в услужении своему стюарду. Ведь стюард был добрый бог, он Майкла любил. Майкл это чувствовал в его голосе, в движении губ, в каждом прикосновении его руки, чувствовал и потому, как он тер его нос, приподнимал его лапу. Такое любовное отношение всегда возбуждает желание услужить. Так это было и с Майклом. Если бы стюард приказал ему отнести кость в угол и не грызть ее, он бы ее и не тронул. Готовность весело и радостно бросить лакомый кусок и кинуться за своим хозяином, или для того, чтобы исполнить какое-нибудь приказание своего хозяина, есть свойство исключительно собачье.

Фактически Дотри теперь посвящал все свое свободное от службы время Майклу, сидя с ним взаперти. По его приказанию Майкл быстро научился не выть и не лаять. Вообще за эти часы в дружеской беседе со стюардом Майкл много чему научился. Самые первые познания: «да», «нет», «нельзя», «можно», «встань», «ложись» Майклом были обретены уже раньше. Дотри стал давать уже более сложные приказания, так, например: «Пойди, ляг на койку»,

«Пойди, ляг под койку», «Принеси одну туфлю», «Принеси две туфли». Он шутя выучил его кувыркаться, читать молитвы, сидеть на задних лапах с шляпой на голове и курить трубку; он научил его не только сидеть, но и ходить на задних лапах.

Проделывал он с ним и такие штуки с «нельзя» и «можно». На самый край своей деревянной койки он клал в уровень носа Майкла кусочек обольстительно пахнувшего мяса или сыра и говорил Майклу: «Нельзя». Майкл сидел перед лакомым куском, испытывал муки Тантала, но не трогал его до тех нор, пока стюард не кричал ему: «Можно». Иногда Дотри со словом «нельзя» уходил из каюты, и он мог пробыть на палубе не каких-нибудь полчаса, а целых шесть, все равно, вернувшись, он заставал кусочек мяса или сыра нетронутым, а Майкла спокойно спящим в головах койки, где он ему устроил постель. Однажды, когда, проделывая с ним этот самый фокус, стюард вышел со словом «нельзя» из каюты, а Майкл продолжал смиренно сидеть с лакомым куском на расстоянии нескольких дюймов от своего носа, шутливо настроенный Квэк вздумал утащить этот кусок; но, едва он коснулся его рукой, как почувствовал здоровый укус сразу осклабившегося Майкла.

Но ничего из того, что он так охотно проделывал для своего стюарда, Майкл ни за что не стал бы проделывать для Квэка, несмотря на то что последний с ним обращался хорошо. Дело в том, что Майкла, как только в нем пробудилось сознание, научили отличать «белых» от «черных». Он по опыту знал, что «черные» всегда должны служить «белым», знал, кроме того, что к «черным» всегда надо относиться с подозрением, потому что от них всегда можно ожидать какой-нибудь злой проделки, и, значит, с ними надо всегда быть настороже. Главная же обязанность собаки не спускать глаз со всякого подходящего к его «белому» хозяину «черного».

Кормить и поить себя Квэку Майкл позволял. Вначале только в отсутствии занятого службой стюарда, а потом и вообще, позволял потому, что понимал, что все, что ему дает Квэк, как и сам Квэк, принадлежит стюарду и значит все-таки исходит от его белого бога. Но Квэк на Майкла не обижался, он готов был прислуживать ему из обожания к своему господину, который спас ему жизнь на острове Короля Вильгельма, когда его хотели убить оплакивавшие свою свинью проворные молодые люди. Видя, как полюбил Майкла его господин, он сам полюбил его. Он любил Майкла так же, как любил все, что принадлежало его господину. Так же, как любил платье и сапоги, которые он каждый день ему чистил, и бутылки пива, которые он ежедневно для него ставил в холодильник.

По существу, дело было в том, что Квэк по природе своей был раб, Майкл же аристократ. Из любви к стюарду Майкл мог ему служить, но перед Квэком он чувствовал себя барином. Тогда как у Квэка самая душа была рабская, в душе Майкла было, пожалуй, еще менее рабского, чем в тех североамериканских индейцах, которых тщетно пытались обратить в рабов на плантациях Кубы. Но в том, что это было так, не было ни вины Квэка, ни заслуги Майкла. Достоинства Майкла были результатом сознательного векового подбора, кото-

рым занимался человек, вырабатывая именно эти свойства — надменность и преданность, в той породе собак, к которой принадлежал Майкл. Из этих же двух свойств надменности и преданности рождается чувство гордости, которая в свою очередь рождает чувство собственного достоинства, последнее же дает и сознание своего значения.

Новым достижением в образовании Майкла под руководством Дотри было уменье считать до пяти. Несмотря на исключительные способности Майкла, над этим пришлось им поработать порядочное количество часов. Прежде всего, надо было дать Майклу усвоить себе звуковое название каждой из пяти цифр, затем надо было научить его отличать глазами и в уме своем один предмет от группы нескольких, не свыше пяти предметов и, наконец, надо было добиться того, чтобы он умел координировать число видимых предметов с называемой Дотри цифрой.

При обучении Майкла счету Дотри пользовался бумажными, обмотанными веревкой, шариками. Он бросал под койку пять таких мячей и приказывал Майклу принести три, и Майкл приносил не четыре, не два, а именно три. Когда Дотри, бросив под койку три шарика, требовал у него четыре, Майкл приносил ему из-под койки три и принимался искать четвертый по всей комнате, не находя, он прыгал и махал хвостом перед стюардом и наконец бросался на койку, где и находил четвертый шарик, запрятанный где-нибудь под подушкой или одеялом. То же он проделывал и со всеми другими известными ему предметами, рубашками, наволочками, туфлями, все эти вещи счетом до пяти он приносил безошибочно, согласно приказу. Итак ясно, что между математическими познаниями и понятиями Майкла и негра, который в Тулаги считал пачки табака, откладывая их по пятеркам, было меньше разницы, чем между математическими познаниями Майкла и Дотри, который умел делать сложные умножения и деления. Еще больше различия было между познаниями Дэга Дотри и познаниями капитана Денкана, который вел пароход «Макамбо» по математическим вычислениям. Но еще большее расстояние отделило степень математических познаний капитана Денкана от познаний астронома, обследовавшего небо, по которому он плавал среди планет и звезд тысячи миллионов верст и, который капитану Денкану уделял одну щепотку своих познаний, все же дававшую капитану Денкану возможность знать каждый день и каждый час, в каком именно месте океана он со своим пароходом находится.

У Квэка было только одно средство на короткое время подчинять себе Майкла — это его варганчик [1], на котором он играл в те минуты, когда ему вдруг становилось скучно и тесно в ограниченном кругу жизни «Макамбо» и его службы стюарду. Звуки этого его национального инструмента переносили его на родной остров; а в то время, как он извлекал из своего первобытного инструмента чарующие его звуки и носился где-то далеко вне пространства и времени, Майкл пел, скорее выл, но этот вой его звучал еще мягче и нежнее,

[1] Первобытный музыкальный инструмент.

чем вой его брата Джерри. Все существо Майкла реагировало на музыку так, как реагируют в лабораториях химические реактивы. Вот почему он не мог, при всем желании не мог, не выть под музыку Квэка.

Но так как это пение или вытье Майкла могло обнаружить пребывание его в каюте стюарда, что было вовсе нежелательно, Квэку пришлось утешаться своей музыкой в решетчатом люке над самой кочегаркой, где можно было изойти потом.

Такому положению вещей на пароходе «Макамбо» продолжаться было не суждено. Был ли то слепой случай, или уж так было до сотворения мира начертано в книгах жизни, но с Майклом произошло нечто такое, что имело глубокое влияние на дальнейшую судьбу не только его, Майкла, но и Квэка и Дэга Дотри, заранее определив и место их кончины и место их погребения.

ГЛАВА VI

А происшествие с Майклом заключалось в том, что он самым решительным образом обнаружил всем и каждому на пароходе свое присутствие.

Виной тому, конечно, была небрежность Квэка, который недостаточно крепко закрыл дверь каюты. «Макамбо» шел, чуть покачиваясь, и дверь каюты стала хлопать, то открываясь, то закрываясь, но совсем захлопнуться она не могла.

Майкл переступил высокий порог с самым невинным намерением обследовать лишь ближайшие окрестности, но, едва он вышел, пароход качнуло сильней и дверь крепко замкнулась. Майкл кинулся назад к каюте, потому что он совсем не желал ослушаться своего белого бога, а он инстинктивно чуял, что стюард, раз он его держит взаперти в каюте, желает, чтобы он, Майкл, в этой каюте оставался всегда.

Он довольно долго сидел, уставившись на закрытую дверь, но не лаял; он был слишком умен, чтобы не знать, что с неодушевленными предметами разговаривать бесполезно. Он, еще будучи щенком, познал то, что словом можно привести в движение только предметы одушевленные, предметы же неодушевленные никогда не двигаются самостоятельно.

Безнадежно посидев перед дверью, он перебежал маленькую площадку в центре парохода, взглянул вдоль убегавшего к носу коридорчика, обернулся и посмотрел вдоль коридорчика, уходящего к корме. В течение часа затем он метался от закрытой каюты стюарда к коридорчикам и наконец решил, что раз дверь не открывается, а стюард и Квэк не возвращаются, он сам должен пойти их искать. Раз эта мысль ясно созрела в его мозгу, он, без малейшего колебания, стал приводить ее в исполнение и побежал по коридорчику. Завернув за угол, он, в том конце, где коридорчик кончался, наткнулся на узкую легкую лесенку, на ступеньках которой, среди всевозможных запахов, он учуял следы стюарда и Квэка и решил, что они прошли этим путем. Взобравшись

Он довольно долго сидел, уставившись на закрытую дверь, но не лаял.

по лесенке на палубу, он очутился среди пассажиров, но так как это все были «белые боги», он против того, что они с ним заговаривали, не возражал. Однако не стал с ними задерживаться и побежал к открытой палубе, где было еще гораздо больше обожаемых им «белых богов», но не было ни стюарда, ни Квэка. Узенькая лесенка поманила его вверх, и он очутился на верхней палубе, где под широким тентом было уже столько «белых богов», сколько их Майкл за всю свою жизнь не видал. Передняя часть этой палубы заканчивалась мостиком, который, против обыкновения, помещался не над верхней палубой, а как бы составлял ее продолжение. И вот, обежав рулевую будку, на подветренной ее стороне, Майкл наткнулся на свою судьбу.

Дело в том, что у капитана Денкана, здесь на пароходе, имелось два фокстерьера и большая персидская кошка, а у кошки этой был целый выводок котят, для которых она выбрала детской рулевую будку. Капитан Денкан не только ничего против этого не возражал, но подарил ей для котят ящик и обещал страшные кары дежурным рулевым, если кто-либо из них раздавит котенка.

Майкл обо всем этом ничего не знал. Персидская же кошка узнала о его существовании немного раньше, чем он о ее, так как он почувствовал ее существование в тот момент, когда она уже на него бросилась из открытой рулевой будки. Он почувствовал опасность прежде, чем осознал ее, шарахнулся в сторону и отбежал. Считая это ее нападение совершенно ничем с его стороны не вызванным, он смотрел на нее ощетинившись, так как он распознал в ней то, чем она была, то есть кошку. Она снова бросилась на него. Ее толстый, в толщину человеческой руки хвост, когти, все в ней выражало бешеную злобу.

Этого уже уважающий себя ирландский терьер стерпеть не может, и Майкл, когда кошка прыгнула на него во второй раз, пришел в полное возмущение. Он отскочил, уклоняясь от ее когтей, и приняв ее сбоку. Прежде, чем она опусти-

лась на землю, он в воздухе перекусил ей спинной хребет; еще момент и она лежала на палубе и билась в предсмертных судорогах.

Но это было только начало приключений Майкла в этот день. Скорей визгливый вой, чем лай, заставил Майкла обернуться, так как он почуял наличность новых врагов. Прежде чем он успел это сделать, на него сбоку налетели два здоровых фокстерьера и ударили его с такой силой, что он покатился по палубе. Эти фокстерьеры, к слову сказать, на «Макамбо» появились тоже при благосклонном участии Дэга Дотри, который принес их маленькими щенятами в кармане своей куртки, присвоив их себе своими обычными способами на набережной в Сиднее. Он их и продал капитану Денкану по гинее за каждого.

Между тем серьезно разгневанный Майкл вскочил на ноги. В самом деле все эти кошки, собаки посыпались на него без всякого к тому с его стороны повода. Он никого не задирал, он даже не подозревал о существовании всех этих врагов, пока они на него не набросились. Несмотря на свое истерическое состояние, фокстерьеры были храбрые собаки и потому, едва Майкл поднялся на ноги, они снова на него накинулись. Когти одного из фокстерьеров сцепились с когтями Майкла, и они разодрали друг другу губы; фокстерьер послабее отскочил, зато другому удалось вцепиться Майклу в бок и в кровь укусить его. Майкл, изогнувшись, непроизвольным движением высвободил свой бок, причем в зубах его противника остался клок его шерсти. В следующий момент челюсти Майкла сомкнулись на ухе фокстерьера. Фокстерьер взвизгнул от боли и рванулся с такой силой, что челюсти Майкла прочесали его ухо как гребнем и оно висело в лохмотьях. В это мгновенье вышедший из борьбы фокстерьер послабее снова кинулся на Майкла. Последний уже приготовился к схватке, когда совершенно неожиданно на сцену выступил еще новый враг, которого он, Майкл, опять-таки и не думал задирать. На этот раз это уже был сам капитан Денкан, пришедший в бешенство при виде своей растерзанной кошки. Носком ноги он так ударил Майкла в бок, что у того дух захватило и он взлетел в воздух, потом грохнулся на палубу. Оба фокстерьера тотчас же очутились на нем и, запустив в него зубы, клочьями рвали его шерсть. Пытаясь подняться, но еще лежа на боку, Майкл сомкнул свои челюсти на одной из топтавших его ног. Обладатель этой ноги взвизгнул и, подпрыгивая на остальных своих трех ногах, приподнимая прокушенную Майклом четвертую, удалился с поля сражения. Другого фокстерьера Майклу уже два раза удалось хватить зубами так, что тот пустился от него удирать. Преследуя его, Майкл описывал по палубе круги, которые вслед за ним описывал преследовавший его капитан Денкан. Сокращая расстояние, Майкл перебежал по диагонали и вцепился фокстерьеру зубами в бок около шеи. Он сделал это так неожиданно, что фокстерьер потерял равновесие и упал. Подоспевший в этот момент капитан Денкан с такой силой ударил ногой Майкла, что последний, отпрянув, разодрал своими сомкнутыми челюстями бок фокстерьера. Теперь Майкл все свое внимание обратил на капитана Денкана. Что же что он белый бог! Майкл был слишком взбешен нападением всех этих врагов, нападением совершенно несправедливым, потому

Он собирался нанести Майклу еще удар, но тот, вскочив на ноги, высоко подскочил в воздух, на этот раз метя уже не в ноги и не в плечо, а в горло капитана.

ведь он Майкл, никого не трогал и самым миролюбивым образом шел искать стюарда и Квэка. Нет, он был так возмущен, что не мог уже больше владеть собой. К тому же это был совсем чужой белый бог, он никогда раньше не видел его.

В начале сражения Майкл и ворчал, и рычал, но теперь дело было слишком серьезное, дело шло о схватке с белым богом. В полном безмолвии он прыгнул и вцепился в готовую нанести ему еще удар ногу капитана. Так же, как и в первой схватке с кошкой, он, уклоняясь от удара, кинулся сбоку и вцепился в белые полотняные штаны капитана сбоку. Такому приему его выучили, натаскивая его на чернокожих в Мэринджи и на «Евгении». Результатом этого маневра было то, что разгневанный капитан чуть не растянулся на палубе, споткнувшись о Майкла и, едва удержав равновесие, он пошатнулся и сел на палубу.

Как долго он просидел бы, стараясь отдышаться, неизвестно, ибо новый укус Майкла прямо в плечо заставил его вскочить со всей поспешностью, какую позволяла ему его полнота. Это движение заставило Майкла выпустить из

зубов плечо капитана, но он принялся рвать в клочья его штаны. Новый удар ногой подбросил Майкла в воздух; он описал дугу и со всего маху шлепнулся на спину на палубу.

До этого момента капитан Денкан держался положения наступательного и сейчас он собирался нанести Майклу еще удар, но тот, вскочив на ноги, высоко подскочил в воздух, на этот раз метя уже не в ноги и не в плечо, а в горло капитана. Но это все же было слишком высоко, и для него недосягаемо, потому зубы его сомкнулись на развязавшемся галстуке капитана, и он, своим весом, падая обратно на палубу, разодрал его в клочья.

Принять позицию оборонительную капитана Денкана заставили не столько дерзкие атаки Майкла, сколько его зловещее при этом, как смерть, молчание. Глядя широко раскрытыми, не мигающими глазами прямо в лицо капитана, Майкл молча делал прыжок за прыжком. Он не визжал даже тогда когда, попадало ему. Он не боялся ударов. Так как Том Хеггин часто хвалился храбростью в этом отношении его родителей, Бидди и Терренса, последние воспитали это свойство и в нем, и в Джерри. Они всегда, как сумасшедшие, бросались навстречу ударам и вели свою атаку упорно в полном, страшном, как смерть, молчании.

Совершенно так же вел теперь борьбу и Майкл. В то время, как капитан отступал, отбиваясь от него изо всех сил, он упорно на него кидался в глубоком безмолвии.

Выручил капитана матрос, подоспевший со шваброй. Вмешавшись в борьбу, он изловчился подсунуть в раскрытую пасть Майклу швабру. В первый раз зубы Майкла автоматически сомкнулись, но он тотчас же выплюнул изо рта швабру, отлично понимая, что это предмет неодушевленный, которому его зубы не могут нанести никакой боли, и больше уже швабру он в рот не брал. Матрос его тоже не интересовал, разве только настолько, насколько он ему мешал. Весь его интерес сейчас был сосредоточен на капитане Денкане, который стоял, облокотившись о борт парохода и едва переводя дыхание утирал струившийся по лицу его пот.

Хотя рассказ об этом сражении, начиная с того момента, когда была растерзана кошка до того, когда Майкл сплюнул подсунутую ему матросом швабру, занял довольно много времени; на самом же деле все это произошло так быстро, что вскочившие со своих мест пассажиры подоспели только к тому моменту, когда Майкл, ловко увернувшись от швабры матроса, ринулся на капитана Денкана и вцепился ему в икру так, что последний выкрикнул какое-то проклятие и застонал.

Удачным ударом Майкл был отброшен от капитана, что дало возможность матросу снова выступить со своей шваброй. Появившемуся в этот момент Дэгу Дотри представилась следующая картина. Его капитан, искусанный в кровь, в растерзанном платье, едва переводил дыхание.

Майкл, не помня себя, метался, избегая швабры; на палубе лежала распростертая персидская кошка с перегрызенным спинным хребтом.

— Киллени-Бой! — повелительно крикнул стюард.

Несмотря на то, что Майкл не помнил в этот момент себя от бешенства он услыхал голос хозяина. Он сразу остыл, опустил свои уши, шерсть его гладко легла, зубы прикрылись губой, и он обернулся.

— Киллени, сюда! — крикнул ему стюард.

Майкл повиновался, но он не пополз с видом напроказившей собаки, он весело и радостно подбежал к своему хозяину.

— Ляг! — приказал ему Дотри.

И Майкл лег, облегченно вздохнул и красным, похожим на стрелку язычком лизнул руку своего стюарда.

— Ваша собака? — голосом, в котором гнев боролся с одышкой, спросил капитан Денкан.

— Да сэр, собака моя. В чем дело, сэр? Что она тут натворила?

Вспомнив о том, что натворил Майкл, капитан Денкан окончательно взбесился и не будучи в состоянии произнести ни слова, только молча указал Дотри на растерзанную кошку, на свое изодранное платье и на зализывающих свои раны воющих фокстерьеров.

— Очень прискорбно, сэр, — начал Дотри.

— Слишком прискорбно, черт возьми, — перебил его капитан и крикнул: — боцман, собаку за борт!

— Есть, — ответил боцман, но взять собаку не решился.

У Дэга Дотри сделалось то каменное лицо, которое говорило о том, что человек этот медленно, но верно будет добиваться того, что хочет. Тем не менее он сделал над собой страшное усилие, чтобы заставить лицо свое принять обычное веселое выражение и довольно почтительно возразил капитану:

— Но это очень хорошая смирная собака, сэр, я не понимаю, что с ней случилось? Верно, ей дали повод...

— И дали, — вмешался кокосовый плантатор с Шортландских островов.

Дэг Дотри бросил ему взгляд, полный благодарности.

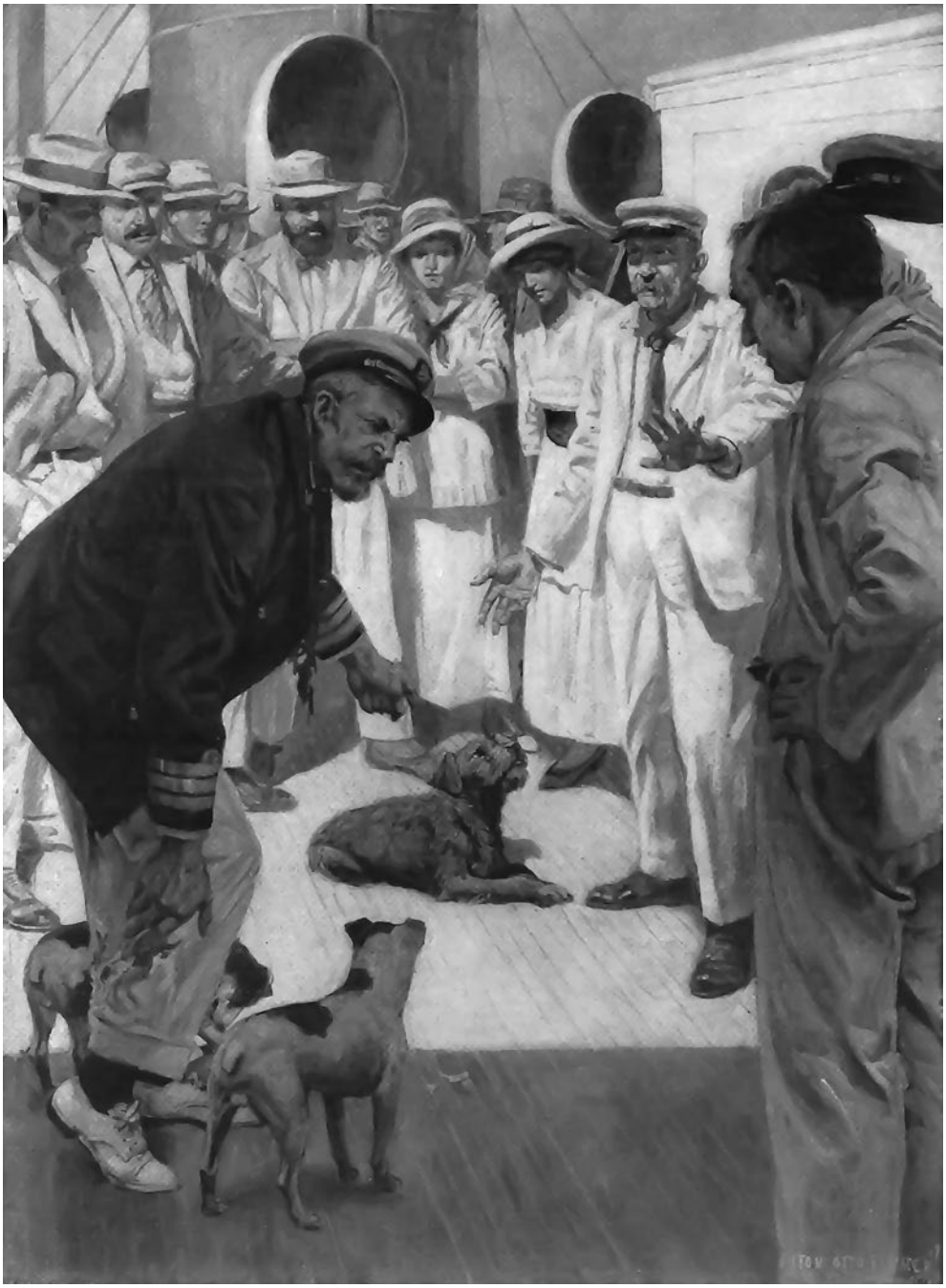
— Это очень хороший пес, ведь вы же видели, сэр, какой он послушный? В самом пылу схватки послушался моего оклика. Его как на веревочке водить можно. Вот, посмотрите, я сейчас заставлю его помириться с врагами.

Дотри подошел к фокстерьеру и подозвал Майкла. Положив одну руку на голову фокстерьера, другую на голову Майкла он внушительно сказал последнему:

— Киллени-Бой, — это хорошая собака, хорошая.

Фокстерьер завыл и прижался к ногам капитана. Между тем, совершенно утративший свой воинственный вид Майкл, медленно помахивая хвостом, подошел к фокстерьеру, обернулся, еще раз посмотрел на Дотри, как бы желая убедиться в том, что понял, чего от него тот желает, затем стал обнюхивать своего бывшего врага, и, наконец лизнул его в морду.

— Как видите, совсем незлопамятная собака, хороший породистый пес, он прекрасно все понимает, сэр, — сказал Дотри капитану, затем снова окликнул Майкла.



— Слишком прискорбно, черт возьми, — перебил его капитан и крикнул: — боцман, собаку за борт!

— Киллени-Бой, теперь надо и с другим врагом помириться, — он указал на фокстерьера с прокусанной лапой. — Ну, поцелуй его и помиритесь, вот так.

Раненый фокстерьер, пока Майкл только обнюхивал его, глухо истерически рычал, когда же Майкл лизнул его, он не выдержал и шлепнул его лапой по языку и носу.

— Хороший пес, хороший — поспешил успокоить недоумевающего Майкла Дотри.

Майкл помахал хвостом, потом приподнял лапу, слегка ударил ею фокстерьера, затем, играя, набросился на него и тяжестью своего веса перевернул носом к палубе. Проделав это, он, несмотря на то, что фокстерьер на него зарычал, преспокойно от него отошел и уставился на стюарда, ожидая знака одобрения.

Эта сцена сопровождалась взрывами смеха толпы пассажиров. Но смеялись они не только проделке Майкла. Натянутые нервы капитана Денкана наконец не выдержали, он даже привскочил от негодования.

— Не волнуйтесь, сэр, — уже более уверенным тоном успокаивал его Дэг Дотри. — я готов пари держать, что завтра в этот час и вы будете с ним в дружбе.

— Сегодня через пять минут он полетит за борт, — крикнул капитан, затем, обращаясь к боцману, приказал:

— Боцман, собаку за борт.

Боцман сделал шаг среди неодобрительного глухого протеста пассажиров.

— Посмотрите на мою кошку, посмотрите, на что я похож, — оправдывался перед своими пассажирами капитан Денкан.

Боцман сделал еще шаг, но угрожающий взгляд стюарда остановил его.

— Повинуйтесь команде, — крикнул капитан боцману.

— Постойте, — снова вмешался плантатор с Шортландских островов. — Будьте же к этой собаке справедливы, капитан. Ведь я все видел, все, с самого начала. Этот пес никого не задирал. Началось с того, что на него бросилась кошка; и в нее он вцепился не сразу, а только когда она бросилась на него вторично; ведь она могла ему выцарапать глаза. Затем на этого пса накинулись два фокстерьера, но он и их не задирал. Потом на него накинулись вы, вас ведь он тоже не трогал, и, наконец, явился еще матрос со своей шваброй, а теперь вы еще хотите, чтобы ваш боцман на него накинулся и выбросил его за борт. Надо быть справедливым. Ведь вся его вина только в том, что он защищался. Или, по-вашему, он должен был распластаться и предоставить всякой первой попавшейся чужой кошке и собакам топтать себя? Будьте справедливы, капитан, ведь и вы ему наносили здоровые удары, а он от вас только защищался.

— Я вижу у него нашелся защитник, — улыбнулся капитан, приходя в свое обычное благодушное настроение, осторожно ощупывая свое пораненное плечо и оглядывая свои изодранные штаны.

— Ну хорошо, стюард, — сказал он, обращаясь к Дотри, — если вам удастся примирить меня с ним в течение пяти минут, он останется на пароходе, но вам придется экипировать меня заново.

— С превеликим удовольствием, сэр, благодарю вас, сэр, — воскликнул Дотри, — и кошку новую я вам достану. Киллени-Бой, — позвал он Майкла.

— Киллени-Бой, этот большой господин, — Дотри указал на капитана, — хороший, понял, Киллени-Бой, хороший.

Майкл слушал своего стюарда без истерических визгов фокстерьеров и нервных вспышек, слушал спокойно, точно тут ничего не происходило, и никто не рычал, не кусался и не наносил ему тех ударов, от которых все еще ныло и горело его тело. Чуть-чуть ощетинился он только когда, подойдя обнюхать ноги капитана Денкана, почуял запах тех самых брюк, которые он только что так нещадно раздирал своими зубами.

— Погладьте его, сэр, — попросил Дотри.

И капитан Денкан, в котором уже восторжествовало его лучшее «я», не задумываясь, положил свою руку на голову Майкла. Он сделал больше: он почесал у него за ухом. И шерсть на спине добродушного Майкла, который умел сражаться как лев и прощать, и забывать, как человек, пригладилась, он замахал обрубком своего хвоста и лизнул ту самую руку, с которой только что сражался.

ГЛАВА VII

С этого времени Майкл получил право бегать по всему пароходу. Со всеми приветливый и ласковый, любил он, однако, только своего стюарда. Не прочь он был, впрочем, и поиграть с фокстерьерами.

— Это самая веселая, самая игривая, и в то же время умная собака, какую я когда-либо встречал.— Так рекомендовал Дэг Дотри Майкла шортландскому плантатору, которому он только что продал черепаховый гребень своей работы.— Некоторые собаки только и знают, что играть да возиться, и ни на что другое они и негодны. А Киллени-Бой — нет, он в одну секунду может сделаться серьезным. Хотите я покажу вам, как мы с ним понимаем друг друга без слов, по беспроволочному телеграфу. Прошу минуту внимания.

И стюард, не заставляя себя просить, начал демонстрацию. Он чуть заметно шевельнул губами, так незаметно, что даже сам не был уверен в том, что он это движение губами сделал. Не заметил этого движения конечно и шортландский плантатор. Майкл, в это время катаясь по палубе, и играя с фокстерьерами, лежал вверх ногами в двенадцати футах расстояния. Он этот неуловимый для человеческого уха звук уловил. Он тотчас же вскочил на все четыре свои лапы и, обернувшись к стюарду, насторожил уши и смотрел на него, ожидая приказания. Стюард повторил движение губами и опять его уловил только Майкл, тотчас же рванувшийся в сторону своего хозяина.

— Что скажете, какова собака? — с гордостью произнес Дэг Дотри.

— Но как же он понял, что вы к нему обращаетесь? Ведь вы его не звали? — спросил удивленный плантатор.

— Телепатия, сродство душ, гармония, — загадочно ответил стюард. — Мы с ним, — продолжал пояснять он — из одного теста сделаны, только формы различные. Он смело мог бы быть моим братом, а я — его. Просто тут какая-то ошибка природы вышла. А теперь я вам покажу, что он и по математике кое-что знает.

И, вынув из кармана бумажные шарики, Дэг Дотри, к великому удивлению и удовольствию собравшихся вокруг него пассажиров, продемонстрировал уменье Майкла считать до пяти.

— Вот как, господа! — закончив представление, сказал Дэг Дотри.— И знаете, что я вам скажу? Если бы, например, в каком-нибудь ресторанчике мне подали вместо заказанных пяти четыре кружки пива, Киллени-Бой устроил бы форменный скандал.

Теперь, когда присутствие Майкла на пароходе было обнаружено, Квэк возобновил свои с ним музыкальные сеансы и иногда, изредка, устраивал их даже в кают-компании. Как только раздавались дикие звуки его инструмента, Майкл начинал безнадежно подвывать. Это, собственно, был не вой, скорее замирающее пение, такое же нежное, как пенье Джерри.

И, в пределах определенного регистра, он точно и верно следовал за Квэком, то повышая, то понижая голос. Эти упражнения с Квэком Майкл не любил. Презирая «чернокожего», он с трудом переносил свою зависимость от него, хотя бы только в этой форме.

Все изменилось после того, как однажды стюард накрыл их с Квэком за музыкальным сеансом. Дэг Дотри достал свою заброшенную гармонию, которой он любил развлекаться на берегу, в трактирчике, между двумя бутылками пива. Он почти сразу установил, что самый верный способ заставить Майкла петь, это начать играть на гармонике какую-нибудь минорную мелодию. Раз затянув ее, Майкл, следуя за ритмом подвывал все время, пока музыка играла. За отсутствием инструмента Майкл мог завывать и под аккомпанемент своего стюарда, если последний затягивал что-нибудь протяжное, грустное, заунывное вроде своего «коу-коу», а потом переходил на какую-нибудь старую песню или балладу. Петь с Квэком Майкл ненавидел, петь со своим стюардом обожал, даже в тех случаях, когда последний, к великому удовольствию заливавшихся пассажиров, выносил его на палубу.

К концу этого рейса стюарду пришлось иметь два серьезных разговора: один с капитаном Денканом, другой — с Майклом.

— Вот что, Киллени, — как-то вечером обратился он к Майклу. Последний положил голову на колени своего стюарда и смотрел на него глазами полными восторга. Из тех слов, которые были им пока сказаны, он, конечно, не мог ничего понять, но он страстно любил самый проникновенный тон, которыми эти слова были произнесены его белым богом.

— Я украл тебя, — продолжал стюард,— ради денег на пиво, потому что, увидав тебя тогда вечером на берегу, я сразу понял, что могу за тебя выручить не меньше десяти соверенов. А десять соверенов — это чертовски большая

сумма. У янки это выходит пятьдесят долларов, а в Китае — целых сто мэз. Ну так вот: на пятьдесят долларов я могу купить столько пива, сколько нужно для того, чтобы целую роту напоить допьяна, столько, что, если бы мне вздумалось топиться, я мог бы утонуть в пиве. Ну так вот теперь мне хочется спросить тебя: считаешь ты меня способным продать тебя за десять золотых? А? Скажи, считаешь?

Майкл учащенными ударами хвостом по полу и пронзительным лаем силился доказать своему стюарду, что он согласен со всем, что бы тот ни сказал.

— Ну а если за двенадцать золотых? Сумма — еще побольше. Ну, как ты думаешь, за двенадцать продал бы я тебя? А? Да никогда! Ну, а если дадут пятнадцать? Что ты на это скажешь? Ведь это уже было бы интереснее, а сотня соверенов это уже совсем интересно. Ну? Ведь на сто золотых пива, да ведь этого количества было бы достаточно, чтобы утопить в нем эту старую калошу до самой верхней ее мачты. Но вот что интересно: кто же это мне в Сям-Хилле предложит эти сто соверенов? Хотелось бы мне хоть одним глазком посмотреть на этого человека. И знаешь зачем? Хочешь скажу тебе? Хочешь? Ну хорошо, я шепну тебе это на ухо. Я хотел бы его видеть для того, чтобы сказать ему: проваливай к дьяволу! Ей богу, Киллени-Бой, только для того... О, я очень вежливо предложил бы ему прогуляться на своей собственной паре туда, где ему не приходили бы такие дикие фантазии.

Любовь Майкла к стюарду переходила всякие границы, это было прямо какое-то помешательство. О характере же отношения стюарда к Майклу можно судить по тому разговору, который он имел о Майкле с капитаном Денканом.

— Конечно, сэр, ничего другого нельзя предположить, как то, что он последовал за мной на пароход, — так закончил свой, не совсем правдивый рассказ капитану Денкану Дотри. — Но я об этом не подозревал. Единственный раз, что я его видел — он стоял на берегу, а потом, не знаю как, он очутился на моей койке. Как он туда попал? Как он мог найти мою каюту? Об этом уж я предоставляю догадываться вам, сэр. Я лично нахожу, что это какое-то чудо!

— Это при том, что у сходней стоял дежурный матрос? — фыркнул капитан.— Точно я не знаю все ваши фокусы, стюард. Никакого тут чуда не было. Самая обыкновенная кража. Последовал за вами на палубу? Да этот пес попал на пароход совсем не с той стороны. Попал он прямо через иллюминатор и, конечно, не по своему желанию; пари держу, что этот ваш негр — вам тоже помогал. Ну, да не будем себе ломать над этим голову. Отдайте мне собаку, и я вас больше ни словом не упрекну за кошку.

— Если вы верите в то, что говорите, сэр, вам остается только начать против меня уголовное дело,— живо ответил Дотри и сдвинул брови, как всегда в тех случаях, когда он твердо решил стоять на своем.— Что касается меня, сэр, ведь я только стюард, и для меня быть арестованным за покражу собаки уж не так-то страшно. А вот если бы такое дело коснулось вас, капитана такого парохода, не знаю, как бы это вам понравилось, сэр? Нет, сэр, что касается меня,

то я считаю разумным оставить при себе собаку, которая сама ко мне пристала и прибежала за мной на пароход.

— Я готов заплатить вам за нее десять фунтов, — пробормотал капитан.

— Нет, это неудобно... вам, капитан, неудобно, — несколько раз повторил Дотри и, мрачно опустив голову, прибавил: — К тому же я знаю, где можно достать вам в Сиднее ангорскую кошку. Ее хозяин уезжает за город и не знает, что с ней делать. С вашей стороны было бы даже очень хорошо, капитан, дать ей постоянное пристанище на «Макамбо».

ГЛАВА VIII

Новый фокус, которому стюарду удалось научить Майкла, так поднял престиж последнего в глазах капитана Денкана, что он предложил за него стюарду пятнадцать фунтов, прибавив при этом, что о кошке стюард может не беспокоиться. Сначала этот фокус Дотри проделывал частным образом, только при участии старшего механика и плантатора с Шортландских островов. И только тогда, когда он окончательно убедился в том, что Майкл все проделывает в совершенстве, он решился выступить с ним на палубе публично.

— Представьте себе, что вы полицейские, или сыщики, — объяснял Дотри второму и третьему офицеру команды, — а я преступник, совершивший какое-нибудь страшное преступление. Затем представьте себе, что единственным для вас способом раскрыть преступление является Майкл, который находится в вашем распоряжении. Если он при встрече узнает во мне своего хозяина, он тем самым предаст меня вам. Теперь уведите его и ведите обратно по палубе на веревке так, чтобы он воображал, что идет по улице. Если он, встретив меня, узнает меня, вы меня арестуете, если не узнает, вы меня не арестуете. Идите!

Офицеры увели Майкла и через несколько минут появились снова, ведя его на веревке. Майкл натягивал веревку, словно отыскивая следы Дотри.

— Что вы хотите за эту собаку? — спросил Дотри офицеров, когда они с ним поравнялись,— это был пароль, которому он обучил Майкла. Майкл потянул веревку и пошел дальше, не только не помахав своим хвостом, но даже не взглянул на своего обожаемого стюарда.

Офицер остановился около Дотри, подтянул к себе Майкла и сказал:

— Эта собака потерянная.

— Мы ищем ее хозяина, — прибавил другой офицер.

— А все-таки, сколько вы за нее возьмете? — критическим взглядом оглядывая Майкла, спросил Дотри. — Какого она нрава?

— Попробуйте сами, погладьте ее, — ответил офицер.

Стюард положил на голову Майкла руку, но тотчас же поспешил ее отдернуть, так как собака ощетинилась, зарычала и оскалила зубы.

— Не бойтесь же, вас он не укусит, погладьте его, — кричали восхищенные пассажиры.

Но на этот раз Майкл чуть не вцепился в руку Дотри, прыгнув к нему настолько, насколько позволяла веревка.

— Ну, кто подумает, что он меня когда-либо раньше видел? — сказал торжествующий Дотри. — Сам я этого фокуса никогда не видел, но много о нем слышал. В прежнее время этот трюк проделывали в Англии со своими охотничьими собаками браконьеры. И никогда ни один лесничий не мог узнать браконьера по его собаке. «Мим», был их пароль. И чего он только не знает этот Киллени. Он отлично понимает по-английски. Да вот сейчас, если ему открыть дверь так, чтобы он мог попасть в мою каюту, он принесет вам оттуда все, что хотите. Что хотите: сапоги, туфли, полотенце, щетку, кисет? Скажите и он принесет.

Пассажиры стали сразу называть различные предметы, каждый кричал свое.

— Пусть кто-нибудь выберет что-нибудь одно.

— Туфли, — сказал капитан Денкан, и все зааплодировали.

— Одну или обе? — спросил Дотри.

— Обе.

— Киллени, сюда — позвал Дотри. Он хотел нагнуться к собаке, но тотчас же отпрянул, и челюсти Майкла сомкнулись у самого носа стюарда.

— Это я виноват, — сказал Дэг Дотри, — я забыл сказать ему, что та игра кончена. Теперь попробуйте уловить то, как я ему дам понять, что та игра окончена.

Никто ничего не увидел и ничего не услышал и, тем не менее, Майкл с радостным визгом, весь извиваясь от восторга, кинулся к своему стюарду. Он карабкался к нему на колени, лизал те самые любимые руки, на которые только что скалил зубы и пытался лизнуть своего белого бога в лицо. Это была реакция напряженных нервов — ведь нелегко было Майклу скалить зубы и угрожать обожаемому стюарду.

— Не может еще в себя прийти от той игры, — объяснил Дотри и, поглаживая собаку, старался ее успокоить.

— Ну, а теперь, Киллени, принеси туфли. Стоп, одну, две туфли, понял: две туфли.

Майкл насторожил уши и глядел глазами полными восторга, напрягая все свои умственные силы, чтобы понять то, что ему приказывает его стюард.

— Две туфли, принести, живо — повторил приказание Дотри.

Майкл помчался так, что тело его казалось распластывалось на палубе, спустился, падая передними лапами, за которыми следовали и задние, по ступенькам лесенки и скрылся, но уже через несколько мгновений он снова появился на палубе. В зубах он нес пару туфель, которую и положил к ногам своего стюарда.

— Чем больше я смотрю на собак, тем больше они меня удивляют,— говорил, допивая последнюю, перед тем, чтобы идти спать, бутылку пива, Дотри в тот же вечер плантатору с Шортландских островов.— Ну вот возьмите хотя бы Киллени-Боя. Ведь все, что он проделывает, все эти фокусы, он проделывает их не механически, как автомат и не только потому, что его выучили их проделывать. Нет, он их проделывает так из любви ко мне; почему я это думаю — объяснить вам не могу, но я чувствую, что он проделывает это все из любви

ко мне, и не только чувствую, но и знаю. Может быть оттого он это все делает, что не может как мы с вами высказывать свою любовь словами. А любит он меня каждым своим волоском. Дело то значит больше, чем слово, вот он мне свою любовь и высказывает тем, что проделывает все эти штуки. Так это наверно и есть.

И все те красивые слова, которые люди говорят друг другу, наряду с его делом ничто. Конечно, у людей дар слова, а у него нет. И все-таки я уверен, так же крепко уверен, как в том, что искра летит вверх, что, проделывая всякие трюки для меня, Киллени так же счастлив, как человек, которому удается поддержать своего друга в какой-нибудь схватке или влюбленный, укутывающий любимую девушку в свою куртку, чтобы предохранить ее от холода...

Тут Дэг Дотри запнулся, как бы стараясь уловить мелькающую в его возбужденном пивными парами мозгу мысль и, запнувшись два раза, продолжал:

— Вся беда в том, что Киллени не дано владеть разговорной речью. Мысли то у него там внутри в голове есть, они и в его чудесных карих глазах светятся, но он не имеет возможности сказать их мне. Я вижу, как он временами просто из себя выходит, старается что-то сказать мне. Между ним и мной — громадная пропасть, и через пропасть эту может быть только один мостик — это разговорная речь, которой он не владеет, и потому не может перейти ко мне. А мыслит он так же, как я.

И знаете, ближе всего мы друг к другу, когда я играю на гармонике, а он подвывает. Музыка — это мостик, правда, воздушный, но все-таки мостик. Это у нас настоящая песня без слов. Я не умею объяснить вам, как это выходит, но всякий раз, как мы допоем нашу песню до конца, у меня такое чувство, будто мы с ним высказали друг другу очень много такого, что в словах не нуждается. И вот что я еще скажу: когда мы так с ним поем — это что-то божественное... мы точно уносимся в небо... это что-то громадное, великое как океан, как небо, как звезды. Я вдруг начинаю чувствовать, что все мы братья, что все мы одинаковы, что все мы из одного материала сделаны: и вы, и я, и Киллени-Бой, и горы, и песок, и соль, и вода, и червяк, и комар, и мерцающая звезда и сияющие кометы.

Дэг Дотри занесся слишком высоко и не находил больше слов. Чтобы скрыть свое смущение, он еще раз похвалился своим Майклом.

— Такие собаки как он не каждый день родятся. Я его украл — это верно. Он мне сразу приглянулся. А если бы мне пришлось его снова украсть теперь, когда я его знаю, я бы своей собственной ноги не пожалел на это дело. Вот это какая собака!

ГЛАВА IX

Утром в тот день, когда «Макамбо» пришел в Сидней, капитан Денкан сделал еще попытку приобрести Майкла. В то время, как лодка портового врача подходила к пароходу, капитан Денкан кивком головы подозвал к себе проходившего мимо по палубе Дэга Дотри.

— Стюард, я дам вам двадцать фунтов.

— Нет, сэр, благодарю вас, сэр, — ответил Дотри, — я не могу расстаться с этой собакой.

— Двадцать пять я дам, больше не могу. К тому же ведь на свете не один этот ирландский терьер, есть и другие.

— Вот именно, сэр: есть и другие. И я здесь же в Сиднее достану вам терьера, и вам это не будет стоить ни одного пенса, сэр.

— Да, но я-то хочу иметь именно Киллени-Боя, — настаивал капитан.

— И я — тоже. В том-то и беда, что и я — тоже, к тому же получил-то ведь его я.

— Но ведь двадцать пять соверенов — это большие деньги за собаку, — сказал капитан Денкан.

— Да, но ведь и Киллени-Бой, — удивительная собака за такие деньги, — ответил стюард. — Да что, сэр, отбросив всякие там чувства, разве все фокусы, которые он проделывает, не стоят громадных денег? Один этот фокус с неузнаванием меня в тех случаях, когда я этого не желаю, стоит фунтов пятьдесят по крайней мере. А счет, а пение, а все остальные его фокусы? Ну, хорошо, каким бы я там способом ни приобрел его, ведь в тот момент он ничего этого не умел проделывать. Ведь это все мое. Всему этому его научил я. Разве он такой, каким он пришел сюда? Я ему дал так много своего, что продавать теперь его было бы то же, что продавать часть самого себя.

— Я дам за него тридцать, — назвал последнюю свою цену капитан.

— Нет, сэр, благодарю вас, сэр, — решительно отказал Дотри.

Капитан Денкан повернулся и пошел встречать входившего на пароход врача.

«Макамбо», на котором только что окончился врачебный осмотр, направлялся из гавани в док, когда к нему подъехала лодка военного судна и по трапу вбежал на палубу лейтенант в полной военной форме; он тотчас же сообщил капитану Денкану содержание своей миссии. Британский крейсер второго ранга «Альбатрос», на котором он был лейтенантом четвертого ранга, со специальной миссией к комиссару Южноокеанских английских колоний заходил в Тулаги. Так как он пришел туда через двенадцать часов после ухода оттуда «Макамбо», комиссар и капитан Келлар полагают, что собака последнего могла быть увезена только на «Макамбо». Так как капитан «Альбатроса» знал, что «Альбатрос» будет заходить в Сидней, он обещал сделать все, чтобы найти собаку там. И вот он прислан узнать, имеется ли на пароходе «Макамбо» собака, ирландский терьер, отвечающий на кличку «Майкл»?

Капитан Денкан честно сознался, что имеется, но, выгораживая Дэга Дотри, повторил невероятную историю последнего о том, что собака на пароход пришла сама. Теперь вопрос был в том, каким способом вернуть собаку капитану Келлару, потому что «Альбатрос» дальше направлялся к Новой Зеландии. Капитан Денкан решил так:

— Через восемь недель «Макамбо»,— сказал он лейтенанту,— будет заходить в Тулаги, и я постараюсь лично передать собаку ее владельцу. Пока же мы здесь о ней заботимся. Наш стюард очень к ней привязался, и она будет в хороших руках.

— Как видно этой собаке не быть ни моей, ни вашей, — покорно сказал Дэг Дотри, когда капитан Денкан рассказал обо всем.

Но когда Дотри повернулся и пошел по палубе, брови его так упрямо сдвинулись, что попавшийся ему навстречу плантатор недоумевал, что такое неприятное мог сказать стюарду капитан.

Несмотря на свои шесть кварт в день и легкий взгляд на некоторые вещи, Дэг Дотри по своему был честен. Он без зазрения совести мог украсть собаку или кошку, но в сделках своих он был честен, такова уж была его натура. Он не мог, например, получать жалование и не делать своего дела, честно и аккуратно исполнять все свои обязанности стюарда. Поэтому, хотя голова его была занята выработкой нового плана действий, в течение нескольких дней, пока «Макамбо» стоял в доке, он тщательно наблюдал за приведением в порядок кают после сошедших на берег пассажиров и приготовлением их для ожидаемых новых, запасшихся билетами для посещения коралловых островов и островов людоедов.

Среди этих занятий он отлучался всего три раза: один раз на ночь и два раза по вечерам. Ночь он провел в Народном Доме, где проводят свое время матросы и где всегда можно узнать последние новости о судах и людях в плавании.

И тут Дотри удалось за бутылкой пива собрать такие сведения...

И тут Дотри удалось за бутылкой пива собрать такие сведения, что на следующий день к вечеру он нанял за десять шиллингов лодку и отправился в гавань, на стоявшую там красивую трехмачтовую американскую шхуну «Мэри Тернер».

Взойдя на палубу, Дэг Дотри объяснил причину своего появления, и его провели в кают-компанию, где он предстал перед группой из четырех лиц, которых он тотчас же мысленно окрестил «сбродом чудаков».

Так как Дэг Дотри предварительно имел довольно продолжительную беседу с только что покинувшим это судно стюардом, он, согласно характеристикам последнего, сразу узнал этих четырех господ. Вот этот, что сидит в глубине отдельно, старик с выцветшими бледно-голубыми, почти белыми глазами, это, конечно, так называемый «Старый Моряк». Лицо его было обрамлено ореолом из длинных серебристых всклокоченных волос.

Он имел худой изможденный вид. Щеки его провалились и под нависшей мешками кожей не чувствовалось ни мяса, ни мускулов; особенно странно висела кожа на шее, совсем прикрывая адамово яблоко, которое только изредка высовывалось и тотчас же снова скрывалось в сухих, как кожа мумии мешках.

«Настоящий старый морской волк, — подумал Дотри. — Ему можно так же легко дать и семьдесят пять, и сто пять и сто семьдесят пять».

Страшный шрам от самого правого виска перерезал всю правую щеку, углубляясь в провале на щеке и теряясь в нависших складках кожи на шее. В дряблых ушах его висели золотые, как носят цыганки, серьги. На его худых, как у скелета, пальцах правой руки было не меньше пяти колец, особо ценных, за которые, по мнению Дотри, можно было бы взять большие деньги. На левой руке колец у него не было, потому что не было и пальцев, на которых их можно было бы носить. На этой руке у него уцелел только один большой палец, остальные так же, как и часть руки, были точно срезаны вкось, очевидно тем же оружием, следы которого видны были на лице.

Старый Моряк посмотрел на Дотри своими выцветшими глазами так пронзительно, что последнему стало не по себе, и он, невольно, отступил на несколько шагов. Почувствовал он себя так потому, что стоял перед этими людьми в качестве нанимающегося служащего и чувствовал себя перед ними, как преступник перед судьями. Взгляд этого старца смущал его до тех пор, пока, вглядевшись пристально, он не разобрал, что взгляд этот направлен вовсе не на него, что глаза эти подернуты дымкой мечты и ничего кроме этой мечты своей не видят.

— На какое жалование вы рассчитываете? — спрашивал его, между тем, совершенно непохожий на моряка, капитан, маленький, крепко сложенный, живой, похожий на дельца человек.

— Он в доходах не участвует, — сказал другой, широкоплечий, сырой человек, в котором по его, похожим на окорока рукам, он, согласно описанию прежнего стюарда, узнал калифорнийского фермера.

— На всех хватит, на всех хватит, — визгливо загоготал Старый Моряк. — Сколько угодно: и в бочках, и в сундуках, и в бочках, и в сундуках, там на несколько саженей закопано в песках...

— В каких доходах? — спросил Дотри, хоть отлично знал, о чем идет речь, так как прежний стюард клял свою судьбу за то, что ушел из Сан-Франциско на процентных условиях, а не на определенном жаловании. — Я за это не стою, — поспешил он сказать и прибавил: — три года назад я проделал путешествие на таком китобойном судне на процентных условиях и выручил всего один доллар. Мое жалованье — шестьдесят золотом в месяц, учитывая то, что вас всего четверо.

— Пятый штурман, — прибавил капитан.

— Согласен, пятый штурман и никакого участия в прибылях.

— Но вы, — заговорил четвертый, большой, грузный, жирный человек, армянский еврей, ростовщик из Сан-Франциско, как его определил Дотри прежний стюард. — Имеете вы бумаги, — рекомендации, аттестации, которые выдаются при уходе с места?

— Собственно и я, сэр, мог бы поинтересоваться вашими бумагами,— нагло ответил Дэг Дотри.— Потому что ведь это судно не зарегистрировано ни как грузовое, ни как пассажирское; так же, как и вы сами не представляете из себя настоящую зарегистрированную компанию с конторой и ведущую регулярно свои дела. Я не могу даже быть уверен в том, что вы действительно являетесь владельцами этого судна. Можете быть, это судно было вами зафрахтовано, и срок давно истек, и вам сейчас предъявят иск. Разве я могу быть уверен в том, что вы меня не высадите где-нибудь на пустынном берегу, не заботясь о том, что со мной будет дальше? — И, не давая еврею разыграть комедию оскорбленной невинности, он разыграл ее сам,— а, впрочем, вот вам мои бумаги...

Быстрым движением он глубоко запустил руку во внутренний карман своей куртки и выбросил на стол целую кипу собранных им за сорок пять лет плаванья бумаг. На всех бумагах этих были печати и марки, и последняя из них носила дату за пять лет назад.

— Я ваших бумаг у вас не спрашиваю, я требую только аккуратной выплаты мне жалованья первого числа каждого месяца, шестьдесят долларов золотом.

— Не сосчитать, не сосчитать богатства, золото, золото и дороже золота, в бочках и в ящиках, в бочках и в ящиках, на саженной глубине зарыты в песке, — и Старый Моряк как бы старался своим этим кудахтаньем в чем-то убедить Дотри. — Мы все короли, принцы-властелины, самый ничтожный из нас. Всего, чего угодно, всего, чего угодно. И ширина, и долгота мне известны.

— Желаете подписать условие? — прервал болтовню старика еврей, обращаясь к Дотри.

— Из какого порта вы начали ваш рейс? — спросил последний.

— Сан-Франциско.

— В таком случае я подпишу их, как будто я вышел с вами из Сан-Франциско.

Еврей, капитан и фермер кивнули головой.

— Но есть еще некоторые условия, которые должны быть приняты, — сказал Дотри. — Прежде всего я должен иметь свои шесть бутылок каждый день. Я к ним привык и слишком стар, чтобы менять свои привычки.

— Спирта, конечно? — насмешливо спросил еврей.

— Нет, пива, хорошего английского пива и, я оговариваю вперед, я должен иметь их каждый день, как бы долго не продолжалось плаванье; вы должны всегда иметь здесь на судне достаточный запас.

— Что еще? — спросил капитан.

— Еще, — ответил Дотри, — еще у меня имеется собака, которую я должен иметь здесь при себе.

— Может быть, еще что-нибудь, жена или семья? — спросил фермер.

— Нет, ни жены, ни семьи у меня нет. Но у меня есть негр, совсем хороший негр, его я тоже должен иметь при себе. Он может подписать на десять шиллингов в месяц, если вы желаете, чтобы он работал на вас. Если же он будет работать только на меня, я разрешу ему подписать на два с половиной.

— Восемнадцать дней на баркасе, — вдруг пронзительно закричал Старый моряк, так пронзительно, что Дотри вздрогнул от неожиданности. — Восемнадцать дней адового пекла.

— Ваш старик так нервы дергает, что тут у вас без основательного количества пива мне не обойтись.

— Как видно, стюарды народ требовательный, — забывая о старике, сказал фермер.

— Ну, а что, если мы не подпишем условий со стюардом, который привык путешествовать с таким комфортом? — спросил еврей, обмахивая свой воротничок концом цветного, шелкового носового платка.

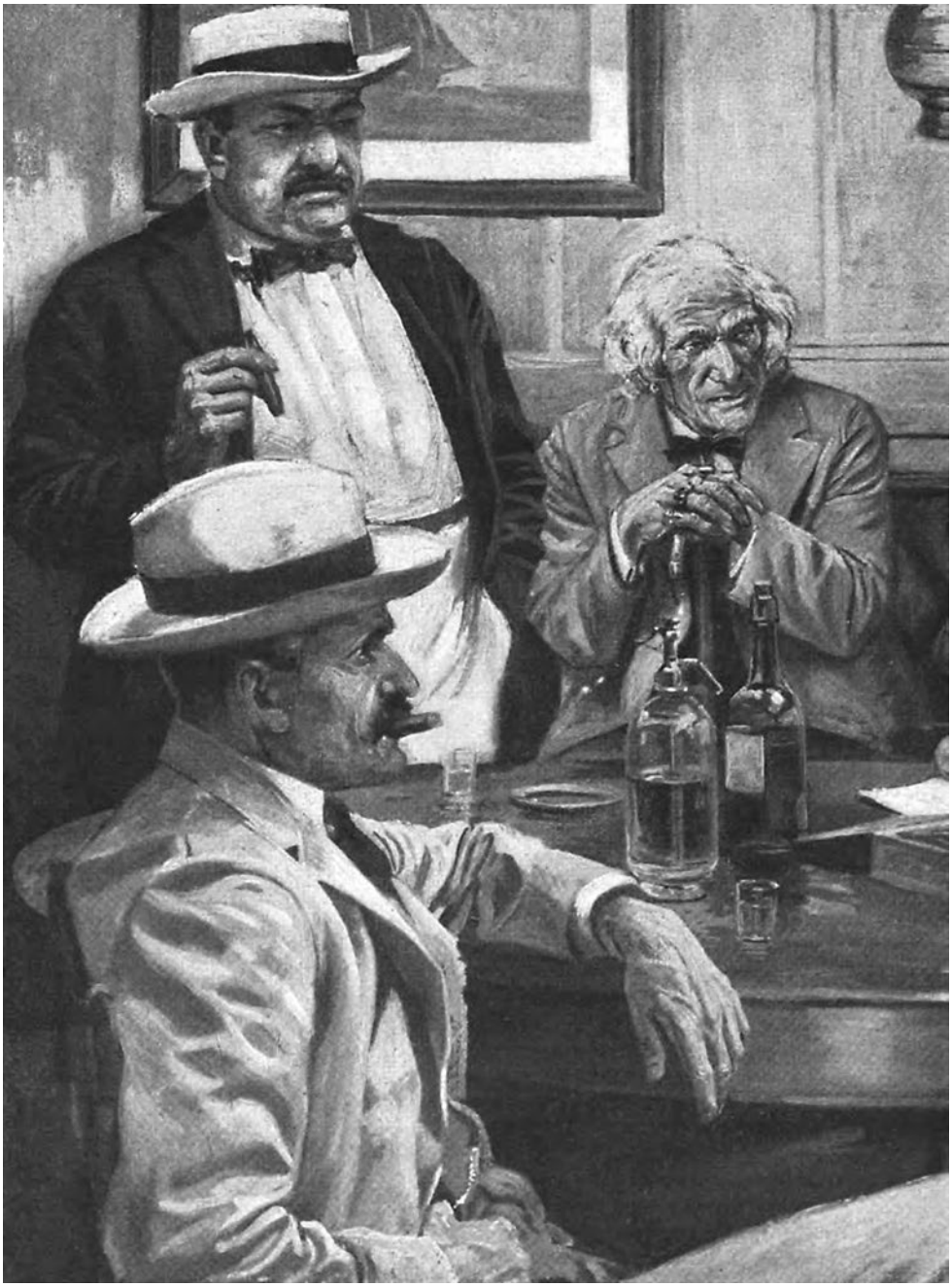
— А то, что в таком случае вы никогда не узнаете, какого хорошего стюарда вы упустили, — шутливо сказал Дотри.

— Я полагаю, что в Сиднее на набережной можно найти еще сколько угодно свободных стюардов, — резко сказал капитан. — Я не в первый раз нанимаю, отлично помню, их столько было к моим услугам, сколько грязи на улице.

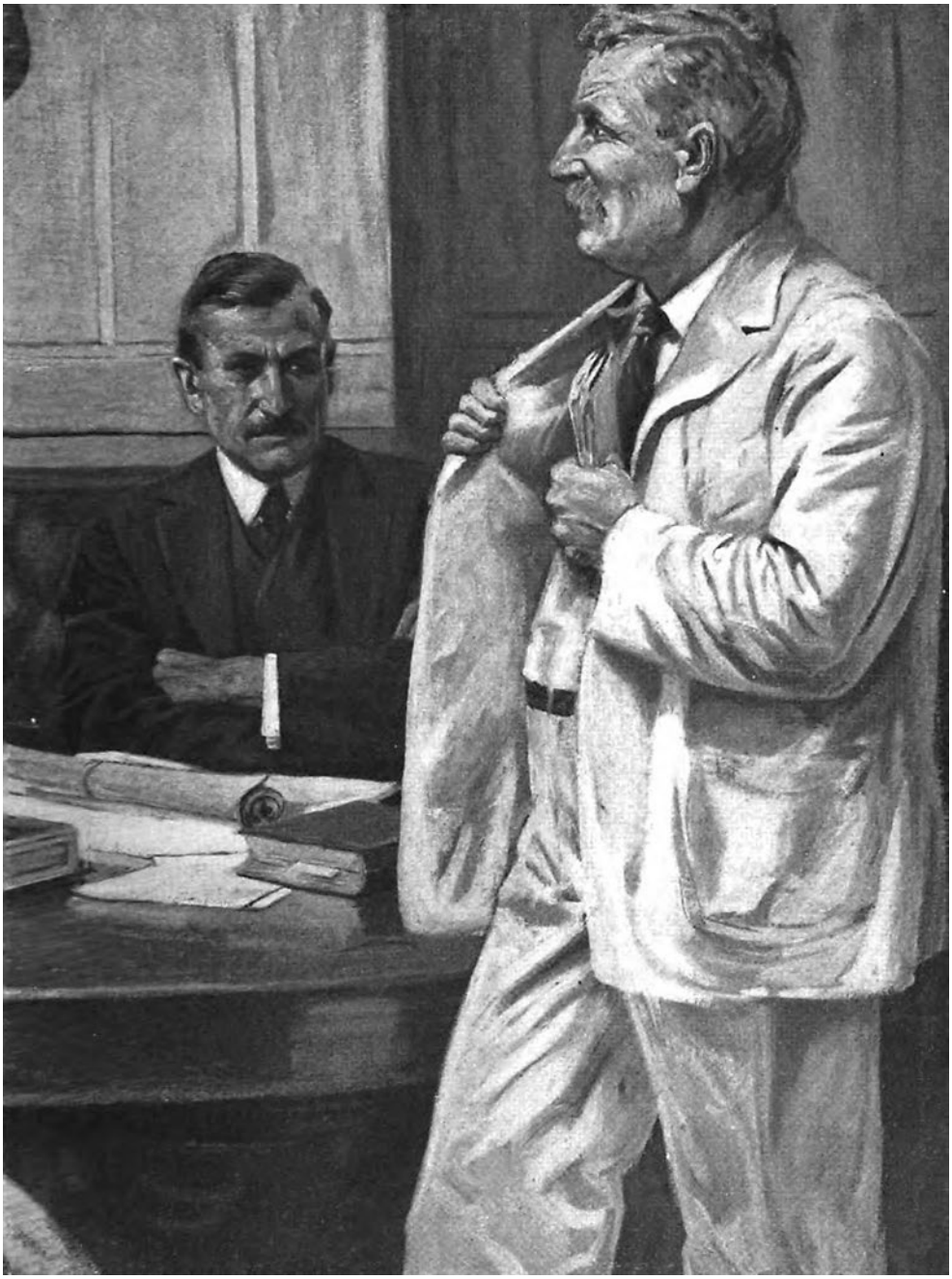
— Благодарю вас, господин стюард за то, что вы о нас подумали, — со слащавой дерзостью подхватил мысль капитана еврей, — но к нашему великому сожалению, мы не в состоянии удовлетворить все ваши требования.

— И на моих глаза все пошло ко дну в песок на сажень глубины, там где увядают мангиферы и растут кокосовые орехи, и земля поднимается к Львиной Голове.

— Придержите ваш язык,— с некоторым раздражением сказал фермер, но обращаясь не к Старому Моряку, а к капитану и к еврею.— Кто снаряжает эту экспедицию? Или уже мое слово тут ничего не значит? Моего мнения и не спрашивают? Мне этот стюард нравится. Я нахожу, что он нам вполне подходит. И он, как видно, может исполнять приказания без рассуждений. И ко всему тому он далеко не глуп.



— Завтра, в три часа пополудни, — сказал еврей и спросил:
— Когда вы думаете вступить в отправление своих служебных обязанностей?
— Когда вы думаете уйти отсюда, сэр?



— Послезавтра на рассвете.
— В таком случае я явлюсь на пароход и вступлю в отправление своих обязанностей завтра в течение ночи.

— Вот в этом-то и загвоздка, Гримшау, — успокоительным тоном сказал еврей, — принимая во внимание необычность нашей... экспедиции нам было бы спокойнее иметь не такого умного стюарда. Замечу еще одно, прошу вас не забывать, что вы на эту экспедицию дали ровно столько же, сколько и я, ни одного медяка больше.

— Ну, а что бы вы оба делали без меня? — задорно сказал капитан.— Что бы вы делали без моего знания, не говоря уже о той закладной на мой дом и на самое красивое из построенных после землетрясения в Сан-Франциско зданий?

— Ну, а кто и сейчас прикладывает к тому, что было вложено всеми, я вас всех спрашиваю? — и фермер нагнулся вперед, положив руки на колени так, что его длинные пальцы, как казалось Дотри, свисали до половины его ноги. — Вы, капитан Доан, не можете выжать из вашего имущества ни одного пенни больше. Мои же поля всё еще дают мне пшеницу, которую я и пускаю в оборот. Вы же, Симон Нишиканта, не дадите больше ни копейки, хоть ваши конторы продолжают делать великолепные дела, отдавая за бог знает какие проценты деньги взаймы пьяным матросам. И сейчас вы задерживаете экспедицию здесь, в этой дыре только потому, что ждете денег, которые должен перевести по телеграфу мой агент, продав мою пшеницу. Ну так вот что: или мы подпишем условие с этим самым стюардом, или я пересяду на ближайший скорый пароход, идущий в Сан-Франциско.

При этих словах он решительно встал и оказался такого роста, что Дотри невольно посмотрел: не стукнется ли он головой о потолок.

— Надоели вы мне все, — сказал фермер. — Или мы дело делаем, или мы его не делаем. Завтра мои деньги будут здесь, и мы должны быть готовы к отплытию, а для этого нам необходимо иметь стюарда, который был бы у нас стюардом. Пусть везет с собой хоть две семьи, мне это безразлично.

— Я полагаю, что вы совершенно правы, Гримшау, — успокоительным тоном сказал Симон Нишиканта. — Мы все начинаем нервничать. Прошу извинить, если я чем-нибудь задел вас. Мы, конечно, возьмем этого стюарда, если он вам нравится. Я только опасался, что он для нас слишком избалован и требователен, — затем, обращаясь к Дотри, заметил:

— Вы понимаете, что чем меньше будет о нас разговора там на берегу, тем лучше.

— Я понимаю, сэр. Я умею держать язык за зубами. Хотя должен вам заметить, что уже и сейчас о вас там много толков.

— О цели нашей экспедиции? — живо спросил еврей.

Дотри кивнул головой.

— А вас соблазнило ехать с нами именно это?

Дотри отрицательно покачал головой.

— Если вы будете аккуратно давать мне мое пиво, я в вашу охоту за кладами со дна морского вмешиваться не буду. — Дотри готов был поклясться, что при этих его словах в затуманенных дымкой мечты глазах Стараго Моряка блеснул тревожный огонек. — Я должен сказать вам, — небрежно прибавил он, говоря то, чего говорить не собирался, говоря только потому, что заметил тревогу в глазах Старого Моряка. — Я должен сказать вам, что Южный океан кишит

всякими богатствами и в бочках, и в ящиках и все эти несметные богатства только и ждут того человека, который знает, где они погребены.

На этот раз Дотри уже без всякого сомнения мог бы поклясться, что прочел в снова подернувшихся дымкой мечты глазах Старого моряка облегчение.

— Но меня, сэр, богатства не интересуют, меня интересует только пиво. Можете охотиться за вашими этими богатствами сколько вам угодно, лишь бы я имел свои шесть кварт пива в день. Но, прежде чем подписать условие, я вас предупреждаю, сэр: как только пиво иссякнет, я начну интересоваться вашими делами. Как видите, я играю начистоту.

— А пиво ваше мы тоже должны оплачивать? — спросил Симон Нишиканта.

Это было так хорошо, что просто не верилось. Конечно, надо было воспользоваться удачным моментом размолвки еврея с ожидающим денег фермером.

— Само собой, — это один из пунктов нашего условия, — ответил Дотри.

— В какое время завтра после полудня вам будет угодно подписать условие в агентстве? — спросил он.

— В бочках и в ящиках, в бочках и в ящиках, несчетное множество, на саженной глубине зарыты в песке, — снова залопотал Старый Моряк.

«Все вы тут помешанные, — ухмыльнулся про себя Дотри. — А впрочем, мне это безразлично. Лишь бы вы мне давали мое пиво, платили аккуратно мое жалованье первого числа каждого месяца и как следует рассчитались со мной по окончании путешествия в Сан-Франциско. Пока вы исполняете все эти обязательства, я готов плавать с вами сколько угодно и куда угодно и любоваться на то, как вы будете выкапывать бочки и клады из песков со дна морского. Мне важно только уйти отсюда на подходящих мне условиях», — думал Дотри.

Симон Нишиканта вскинул на него глазами, Гримшау и капитан кивнули головой.

— Завтра, в три часа пополудни, — сказал еврей и спросил:

— Когда вы думаете вступить в отправление своих служебных обязанностей?

— Когда вы думаете уйти отсюда, сэр?

— Послезавтра на рассвете.

— В таком случае я явлюсь на пароход и вступлю в отправление своих обязанностей завтра в течение ночи.

Выходя из кают-компании, он мог слышать, как Старый Моряк снова залопотал: — «Восемнадцать дней на баркасе, восемнадцать дней адового пекла»...

ГЛАВА X

Майкл покинул «Макамбо» тем же путем, каким и появился — через иллюминатор. И дело также происходило ночью, и тот же Квэк принял его на руки. Все это было проделано очень быстро и смело под покровом только что спустившейся ночи. Квэк был спущен в ожидавшую его внизу лодку с палубы,

на канате. Покончив с ним, Дэг Дотри спустился к себе и у самой своей каюты наткнулся на капитана Денкана, который счел нужным предостеречь его.

— Пожалуйста, чтобы не было никаких фокусов с Киллени-Боем, стюард. Он должен быть нами доставлен в Тулаги.

— Да, да, конечно, сэр — сказал Дэг Дотри — я потому и держу его под замком у себя в каюте, мало ли что может случиться. Хотите взглянуть на него, сэр?

Чрезмерная предупредительность, с которой было сделано это предложение показалось капитану Денкану подозрительной и в голове его невольно мелькнула мысль: уж не успел ли этот похититель собак припрятать Киллени-Боя где-нибудь на берегу.

— Да, пожалуй, я и в самом деле был бы непрочь с ним поздороваться, — неожиданно ответил капитан.

Каково же было его изумление, когда он, войдя в каюту стюарда, увидал лежащего свернувшись клубком на полу и пробуждающегося от сна Майкла. Однако он был бы удивлен до ужаса, если бы мог через закрытую дверь взглянуть на то, что происходило в той же каюте, как только он из нее вышел. Через иллюминатор Дэг Дотри сплошным потоком сыпал кому-то на руки все содержимое своей каюты. Уходило все, что принадлежало Дотри, не исключая черепаховых пластинок, фотографий, настенного календаря. Майкл, строго исполнявший данный ему наказ не лаять, исчез последним. В каюте остались только пустой ящик и два чехла от парусов, тоже пустые, но слишком громоздкие для того, чтобы возможно было их передать через узкое отверстие иллюминатора.

Затем Дотри вышел на палубу, пошатался по ней без дела, остановился поболтать с таможенным досмотрщиком, сказал несколько слов стоявшему у сходней дежурному матросу и стал спускаться по сходням на берег. В эту минуту капитану Денкану и в голову не могло придти, что он, случайно остановившимся на стюарде взглядом своим, видел последнего, увы, в последний раз. В ту минуту он отметил только то, что стюард сходит на берег с пустыми руками и, против обыкновения, Майкл не бежит по его пятам. И, успокоенный, стал прохаживаться вдоль набережной в свете электрических фонарей.

Минут десять спустя после того, как капитан Денкан в последний раз видел спину своего стюарда, тот в баркасе, нагруженном всем его скарбом и державшим курс к бухте Джексона ласкал своего Майкла. В то же время Квэк тихо и радостно что-то напевал очевидно, он был счастлив сознанием, что тут при нем все, что только дорого ему на этом свете. Несколько раз нащупывал он в боковом карманчике своего легонького пиджака свой любимый варганчик для того, чтобы убедиться в том, что он не забыл его случайно на «Макамбо».

Недешево обошелся Майкл Дэгу Дотри и даже очень дорого он ему стоил. Между прочим, не желая возбуждать подозрений, он не дополучил от компании «Берн, Филип К°» свое жалованье. На причитавшиеся ему еще двадцать фунтов он махнул рукой, а это была как раз та сумма, которую в ту ночь на берегу

в Тулаги он мечтал выручить за Майкла. Он украл его, что бы продать, а теперь потратил на него ту сумму, которая тогда побудила его украсть.

Верно кто-то сказал: лошадь принижает низкого и облагораживает благородного. То же и собака. Кража Майкла с целью выручить за него деньги была нравственным падением Дотри, причиной которого являлся Майкл. Но тот же Майкл побудил его, не задумываясь, истратить деньги ради него и, таким образом, явился причиной нравственного возвышения Дотри. И тот Дотри, который сейчас плыл под южным, усеянном звездами небом, готов был жизнь отдать, отбивая ту самую собаку, которую украл для обмена на несколько дюжин пива.

«Мэри Тернер», выведенная из бухты буксиром, ушла на рассвете, и Дотри, Квэк и Майкл простились с Сиднеем навсегда.

— Довелось мне все-таки еще раз увидеть эту прекрасную гавань, — бормотал, стоя подле них, Старый Моряк. И Дотри не мог не заметить, как насторожились и обменялись многозначительными взглядами фермер и еврей.

— Это было в 1852-ом, в 52-ом вот в такой же день, как сегодня. С вином и песнями отплывали мы из Сиднея на «Уайд Эуеке». Прелестное было судно, быстроходное, красивое. Команда бравая, все молодежь, старше сорока не было, дружная, веселая компания. Капитан был пожилой человек лет двадцати восьми, старшему офицеру было не больше восемнадцати, столько же и другому, еще с пушком на щеках, которых еще не касалась бритва. Этот тоже умер на баркасе. А капитан испустил свой последний вздох на безвестном острове, под пальмами, среди темнокожих дев, которые оплакивали его и овевали опахалами, чтобы ему легче было дышать.

Что рассказывал дальше старик, Дэг Дотри не слышал, так как ему надо было идти заниматься своими повседневными обязанностями. Перестилая чистым бельем койки и наблюдая за тем, как чистит давно немытые палубы Квэк, Дэг Дотри вдруг тряхнул головой и сказал: «Нет, он не так глуп, как кажется, смышленый старик, смышленый».

Шхуна «Мэри Тернер» имела острые обводы, что объяснялось тем, что это было китобойное судно. По той же причине палуба ее была очень просторная. Кубрик[1] был рассчитан на двенадцать коек, из которых только восемь были заняты матросами-шведами. Охотники за кладами, Старый Моряк и штурман помещались в так называемых офицерских каютах. Штурман не то русский, не то финн, был добродушный малый. Звали его Джексон, так как никак не могли выговорить его настоящего, записанного в судовых книгах имени.

Передняя, в кормовой части, каюта отделялась от капитанской толстой перегородкой и имела выход на палубу через кают-компанию. На этой же верхней палубе помещался и камбуз[2]. Помещавшаяся в носовой части судна каюта второго класса была просторнее даже кают-компании. Тут было устроено только шесть коек и все они были нижние. Койки были широкие и с занавесками.

---

[1] Каюта матросов под баком.

[2] Кухня.

— Знатная каморка, не правда ли, Квэк, — сказал Дотри, обращаясь к своему темнокожему папуасу, которому в его семнадцать лет можно было дать сто, благодаря его сморщенному лицу, скелетообразным ногам и рукам. — Ну, Квэк, что ты об этом скажешь?

Квэк, опасаясь сказать лишнее, красноречиво заморгал глазами.

— Господин нравится мой койка? — спросил Дотри кок[1], пожилой китаец, и при этом сделал приглашающее, подобострастное движение рукой, указывая на свою койку.

Дотри отрицательно покачал головой. Он давно знал, что с коками следует обращаться осторожно, потому что они легко воспламеняются и тогда пускают в ход кухонные ножи, сечки и другие свои инструменты. К тому же по другую сторону каюты была такая же просторная хорошая койка как та, которую занимал китаец повар. Ее Дотри и занял. Койку, ближайшую к койке кока, Дотри назначил Квэку. Таким образом вся правая сторона каюты оставалась в его распоряжении. Ближайшую к себе койку он назвал койкой Киллени-Боя, на что обратил внимание Квэка и повара. Последний, имя которого оказалось А Мой, по-видимому, остался не очень доволен таким распределением мест. Дотри это последнее обстоятельство только позабавило, потому что он объяснил его себе тем, что китаец считает для себя унизительным помещаться в одной каюте с собакой.

Когда через полчаса, приведя в порядок другие каюты, Дотри зашел к себе послать Квэка за бутылкой пива, он заметил, что А Мой перенес свои пожитки на третью, свободную койку с его стороны. Таким образом Квэк оставался на противоположной стороне один.

— Этот китайский малый, что с ним? Не хочет почему быть с твоей койка рядом, почему? Черт возьми, почему? Китайский малый очень раздражать меня.

— Он бояться, что я ему резать буду,— фыркнул Квэк.

— Сейчас узнаем в чем дело,— сказал стюард. — Вот что: ты перенеси его вещи моя койка, я переносить моя вещи его койка.

Таким образом А Мой, Квэк и Майкл оказывались на правой стороне каюты, а Дотри один на левой.

Когда через некоторое время Дотри снова зашел в каюту, вещи А Моя переехали уже обратно на левую сторону каюты, там, где теперь помещался и он, но койку А Мой занял не ту, которую перед тем занимал Квэк, а третью, свободную.

— Этот прощелыга, кажется, возымел ко мне особую симпатию, — усмехнулся про себя Дотри, не догадываясь, почему А Мой старается быть подальше от Квэка.

— Я менять, всегда менять,— объяснял ему растерянно и заискивающе глядя ему в глаза старый китаец, уклоняясь от прямого ответа на вопрос.— Я так любит менять, все менять, вы знает?

---

[1] Судовой повар.

Дотри ничего не «знает», и не понял, потому что сейчас не мог прочесть в косых глазах китайца того страха и беспокойства, с которым последний смотрел раньше на безнадежно согнутые два пальца на руке Квэка и на его лоб, на котором в промежутке между бровями кожа потемнела и стала толще и определенно намечались те три черты, которые придают этой части лица что-то львиное, «львиную голову», как называют это врачи-специалисты, занимающиеся проказой.

В течение последующих дней стюард ради шутки, особенно после своих шести кварт пива, принимался заниматься всеобщим переселением с койки на койку, стараясь при этом сделать так, чтобы Квэк очутился рядом с китайцем. И каждый раз неизменно А Мой сейчас же переносил свои вещи на другую сторону и, чего Дотри не отметил, он ни разу не занял той койки, на которой хоть раз помещался Квэк.

Не догадался ни о чем Дотри даже тогда, когда А Мой, после того как Квэк успел побывать на всех шести койках, устроил себе гамак, подвесил его под потолком и тут же спокойно, никем не тревожимый, свободно раскачивался.

Дотри просто бросил об этом думать, объяснив себе все это своеобразностью характеров и привычек китайцев. Однако он, казалось бы, не мог не заметить того, что вход Квэку в кухню был строго воспрещен. Но его больше поражала утрированная чистоплотность китайца, который все мыл и тер горячей водой. «Никогда еще не видал такого чистюли, — говорил Дотри, — если он не занят стиркой самого себя и своего платья, он трет и моет в крутом кипятке тарелки и блюда. Готов поклясться, что он каждую неделю кипятит свои простыни».

То, что Дотри так легко отнесся ко всему этому, объяснялось тем, что голова его в это время была занята другим. Изучение пяти субъектов, помещавшихся на противоположном конце шхуны, и попытка разобраться в характере их отношений между собой заняли у Дотри немало времени.

Интересовал его тоже вопрос о том, куда именно держит курс «Мэри Тернер», потому что всякий бывалый моряк желает знать направление, по которому идет судно и ближайший порт куда оно должно зайти.

«Как будто мы должны сейчас идти вдоль линии, проходящей несколько севернее Новой Зеландии», — рассуждал Дотри, в сотый раз глядя в бинокль. Но это и было все, что он мог себе уяснить относительно направления взятого судном, потому что капитан Доан все наблюдения и вычисления производил сам, не подпуская к ним даже своего помощника, и запирая все свои карты и таблицы на ключ. Дотри знал, что в кают-компании происходят горячие споры о том, на какой долготе и широте находится судно и двигается ли оно вперед или назад, но больше ему ничего узнать не удавалось, потому что с самого начала было предписано не входить в кают-компанию, когда там идет совещание; единственно что он мог умозаключить это то, что совещания эти переходят в настоящее сражение, потому что господа Доан, Нишиканта и Гримшау всегда

кричат во всю глотку и двигают столом, за исключением тех моментов, когда они довольно нетерпеливо, но все же вежливо, о чем то допрашивают Старого Моряка.

«Нашел себе козу», — решил про себя Дэг Дотри, но от самого старика, как ни пытался, ничего выпытать не мог.

Звали Старого Моряка Карл Стоу Гринлиф, это все, что он узнал от него самого; вообще же старик только бесился на жару, на какой-то баркас и повторял свои слова о зарытых на саженной глубине в песках на дне морском сокровищах.

«Среди нас одни ведут игру, а другие смотрят на эту игру и удивляются, — сказал себе однажды стюард, — все что происходит здесь эти последние дни именно похоже на забаву, которая меня все больше и больше удивляет».

Старый Моряк смотрел в глаза Дотри своим безразличным, безжизненным взглядом.

— У нас, на «Уайд Эуеке» все стюарды были молодые, почти мальчишки, — пробормотал он.

— В самом деле, сэр? — любезно заговорил Дотри, — но изо всего, что вы рассказывали, я вижу, что на «Уайд Эуеке» была хоть и молодая, но надежная команда, а не такая, как здесь у нас. Я уверен, что та молодежь не проделывала таких умных шуток, какие проделываются на этом судне. Я только что удивлялся тем приемам, которыми они при этом пользуются, сэр.

— Я вам что-то скажу, — ответил старик таким таинственным тихим шепотом, что Дотри даже нагнулся, чтобы лучше расслышать.

— Ни один из стюардов на «Уайд Эуеке» не умел так приготовлять напитки, как вы. Правда, тогда еще не знали ни коктейля, ни других таких составных, пили только шерри и английскую горькую. Хорошие были также ликеры, аперитивы очень хорошие.

— Я вам вот еще что скажу, — продолжал он, хотя казалось, что больше ему совершенно нечего сказать, и он только хочет помешать Дотри сделать третью попытку что-нибудь выведать об истинном положении вещей на «Мэри Тернер» и характере его участия в них. — Сейчас около пяти и было бы очень хорошо попробовать один из ваших прекрасных коктейлей прежде, чем позовут к обеду.

После этого эпизода Дотри стал еще подозрительнее относиться к поведению старика. Однако по мере того, как время шло и ничто не менялось, он начинал приходить к заключению, что Карл Стоу Гринлиф просто дряхлый наивный старик, который сам искренно верит в скрытые где-то на дне морском, глубоко в песках богатства.

Однажды, в то время как он чистил медные поручни у кают-компании, ему удалось подслушать рассказ Старого Моряка о происхождении шрама на его лице. Рассказывая, старик тыкал пальцами в Гримшау и в армянского еврея, которые все время подливали ему крепкие напитки, рассчитывая таким способом развязать его язык.

— Это произошло в баркасе,— кудахтал старческий голос.— Баталия разыгралась на одиннадцатый день. Мы там стояли против них. Нас охватило какое-то безумие. От голода мы страдали, но от жажды мы просто сходили с ума. Из-за воды все и началось. Дело в том, что мы имели обыкновение высасывать росу из рукоятки весла, ружейного древка, поперечных сидений и внутренней деревянной настилки. Каждому из нас была предоставлена какая-нибудь определенная часть предмета, из которой он имел право высасывать утреннюю влагу. Таким образом верхушка руля и часть дощатой переборки с правой стороны шлюпки оказалась во владении старшего офицера, которое он разделял с младшим офицером, красивым бравым юношей лет восемнадцати. У них была даже проведена соответствующая демаркационная линия, которую никому бы из них и в голову не пришло перейти. Эти оба были слишком честны. Но были и такие, которые из-за этих росинок способны были вступать в драку и даже пырять друг друга ножом, уличая в краже росы. В ту ночь я напряженно ожидал падения росы, боялся упустить хоть каплю. Вдруг я услышал, что кто-то высасывает росу очень близко к моим владениям. Этот звук вернул меня к действительности — и я стал прислушиваться. Он приближался все ближе и ближе,— я было замечтался о полноводных реках, я уже слышал, как он передыхает и всасывает в себя ночную влагу. Это был такой же звук, как на пастбище, когда животные рвут траву, все приближаясь. Вышло случайно так, что у меня в руках был ковш, в который я надеялся собрать хоть несколько капель росы. Кто подползает, я не знал, но, когда он переступил за свою линию и начал, задыхаясь от наслаждения, высасывать мое, я ударил его ковшом по носу. Увы, это был боцман, и тотчас же началась свалка. Боцман полоснул меня ножом по лицу и отхватил мне пальцы. Младший офицер, восемнадцатилетний бравый юноша, вступился и бился рядом со мной. Он спас мне жизнь, нам удалось выкинуть боцмана за борт, и я потерял сознание.

В каюте задвигали ногами, и приостановивший свою работу Дотри снова принялся чистить медные части перил. «Всем им можно выдать свидетельства об умственной несостоятельности. Чтобы такое бывало...» — говорил он про себя.

— Но, — отвечал кому-то своим фальцетом старик, — сознание я потерял не от ран, а от потери сил. Я был страшно слаб. Крови я потерял немного, потому в моем организме вообще было очень мало влаги. Но самое удивительное было то, что я очень быстро оправился. Младший офицер зашил мне на следующее утро мои раны иглой, сделанной из зубочистки, и ниткой, скрученной из волокон, надерганных из парусинового чехла фуражки.

— Могу я спросить вас, господин Гринлиф, на обрубленных пальцах ваших в эту ночь были кольца? — услышал вдруг Дотри вопрос, заданный Старому Моряку Симоном Нишиканта.

— Да, одно было великолепное, я нашел его потом на дне баркаса. Это был громадный бриллиант, заплатил я за него сто восемьдесят гиней английско-

му матросу из Барбадоса. И то только потому, что он его украл, а то мне пришлось бы заплатить за него много дороже. Это была вещь исключительно ценная. Я подарил его позже экспортеру сандалового дерева, который спас меня, но он получил его не только за то, что спас мне жизнь, потому что он, кроме того, с головы до ног одел меня и купил мне билет до Шанхая.

— Нет, при помощи этих его колец от него ничего не выведаешь, — эти слова, сказанные Симоном Нишиканта фермеру, услышал Дотри случайно как-то вечером и стал прислушиваться к разговору этих двух охотников за кладами. Они стояли в темноте на корме. «Теперь таких не делают, это старые, очень старинные кольца. Это не те, что носят теперь джентльмены, такие кольца носили когда-то знатные вельможи. Желал бы я, чтобы что-нибудь подобное попало мне в заклад. Эти кольца стоят больших денег!..»

— Я вот что тебе хочу сказать, Киллени-Бой, возможно, что прежде, чем окончится это наше плаванье, и у меня явится желание работать тут не на жалованье, а на прибылях, — допивая свою шестую бутылку делился своими мыслями с Майклом стюард в то время, как Квэк снимал с него сапоги. — И верь мне, Киллени, этот джентльмен знает, что говорит, он в свое время делал дела! Даром люди пальцев на руках не теряют и лицо свое под нож не подставляют, и колец, от которых у закладчика-ростовщика слюнки текут, не раздаривают.

ГЛАВА XI

Сидя как-то в трюме среди бочек с пресной водой, Дэг Дотри хохотал до упаду и перекрестил шхуну «Мэри Тернер» в «Корабль Пяти Полоумных».

Случилось это через несколько недель после отплытия шхуны из Сиднея. Все это время Дэг Дотри так безукоризненно исполнял свои обязанности, что даже капитан Доан не мог сказать ни слова.

Особенно старательно обслуживал Дотри Старого Моряка. Он не столько полюбил этого старика, сколько восхищался им. Старый Моряк так мало походил на своих компаньонов. Те искали только наживы, у них все низводилось к погоне за долларами. Сам по натуре своей человек широкий, Дотри не мог не оценить широкую натуру Старого Моряка, который, несомненно, когда-то вел жизнь расточительную, и сейчас готов был делиться кладами, которые должны были прийтись на его долю.

— Вы получите свою долю, стюард, хотя бы мне пришлось выделить ее из своей,— уверял он Дотри, особенно в тех случаях, когда последний проявлял в отношении его особое внимание.— Ведь там такие несметные богатства! А у меня ни близких, ни родных, и жить мне осталось недолго! Так много ли мне надо?

Итак, «Корабль Пяти Полоумных» плыл все вперед. При этом потихоньку одни дурачили других, и в общем все дурачили друг друга, начиная с опьяненного ожиданием обещанных кладов штурмана, который, подобрав ключ

к столу капитана Доана, ежедневно выкрадывал у него табличку записей о положении в море шхуны, и кончая поваром А Мой, который всячески ограждал себя от соприкосновения с Квэком, но никого не предупреждал о той заразе, которой подвергаются все в общении с человеком, пораженным такой страшной болезнью.

Что касается самого Квэка, то болезнь его мало беспокоила; он даже и не думал о ней. Он знал, что эта болезнь у некоторых людей бывает, боли от нее он не испытывал, а о том, что его господин о ней ничего и не подозревает, ему и в голову не приходило. Вот почему не догадывался он и о том, что именно заставляло А Моя избегать его близости.

Не было у Квэка и никаких других забот. Он чувствовал себя как в раю всюду, где бы он ни был вместе со своим обожаемым господином, которого боготворил больше всех своих богов.

Той же любовью, что и Квэк, любил своего господина, своего стюарда и Майкл.

Для Майкла не было большего удовольствия, как часами сидеть со своим стюардом и петь с ним песни или подвывать, когда тот что-нибудь напевал.

Бог господ Доана, Нишиканты и Гримшау был бог подземный, и имя этому богу было — золото. Бог же Квэка и Майкла был бог живой; они могли его и видеть, и слышать, и чувствовать прикосновение его теплой руки, и в каждом слове, в каждом движении его они чувствовали его живое сердце.

Для Майкла не было большего удовольствия, как часами сидеть со своим стюардом и петь с ним песни или подвывать, когда тот что-нибудь напевал. От природы очень одаренный, он легко запоминал мотивы и мог выть, вернее петь (потому что выл очень нежно и мягко), все, что находил доступным для его регистра стюард. Простенькие песенки он мог петь даже и один, поощряемый на то стоящим на некотором расстоянии стюардом,— он поднимал свою морду и пел американские песенки «Шегадоа» и «*Roll me down to Rio*» [1].

Украдкой заставлял его, при помощи своего первобытного инструмента, петь дикие свои родные мелодии и Квэк. Но вот явился еще один учитель пения, который возымел над Майклом громадную власть. Имя этого учителя было Кокки. Так он представился Майклу при первом знакомстве. «Кокки» — заявил он громко и смело, не делая ни малейшей попытки улететь от бросившегося на него Майкла. Озадаченный Майкл даже присел на задних лапах: маленькая беленькая птичка говорила, как человек. Майкл быстрым взглядом окинул палубу, понюхал воздух, но нет, человека тут нигде не было ни видно, ни слышно... и только одна эта маленькая белая птичка, маленький попугайчик, дерзко сбоку смотрел на него и повторял все то же «Кокки»!

Что цыплят не только нельзя трогать, но надо защищать их, это было внушено Майклу еще когда он был щенком. Но это существо совершенно не было похоже на цыпленка; оно скорее походило на диких птиц лесной чащи, охотиться за которыми является самым разлюбезным делом для любой собаки. Но вместе с тем эта птичка говорила, как человек.

Вдруг даже затараторила по-китайски, и до того похоже на А Моя, что Майкл невольно опять оглянулся, отыскивая говорящего, но тут уже Кокки просто разразился громким хохотом.

Итак Кокки, эта маленькая в несколько унций весом, прикрытая горсточкой перьев птичка своим мужеством и человеческим голосом покорила Майкла и стала не только его другом-приятелем, но и повелителем.

Кокки Майкл позволял по отношению к себе такие вольности, какие он не разрешил бы, например, Квэку.

Ни одна собака, с самого сотворения первой собаки в мире, не разрешит никому коснуться того куска мяса, на который она раз положила свою лапу. С невероятным усилием над собой разрешал это Майкл своему стюарду. Квэк никогда бы не дерзнул этого сделать, зная, что это ему даром не пройдет. Кокки же теперь мог самым безнаказанным и беззастенчивым образом выхватывать из миски Майкла лучшие куски. При этом у Кокки были свои особые приемы: он умел и командовать, и ласкаться, как первая женщина Эдема, или как послед-

---

[1] «Отвези меня в Рио»

няя в своем роде. Когда Кокки, стоя на одной ножке, другой теребил шерстку Майкла у шеи и нежно припадал к его уху, Майкл имел глупо-блаженный вид и готов был исполнить все, чего бы от него Кокки ни потребовал.

Сближению Майкла с Кокки способствовало также и то, что хозяин последнего, А Мой, увидав однажды Кокки сидящим на согнутых пальцах Квэка, получил полное к нему отвращение и, несмотря на то что заплатил за него матросу, у которого купил его в Сиднее, целых восемнадцать шиллингов, решил с ним расстаться.

— Вы любит он? Вы хочет он? — спросил он Квэка.

— Мена вы хочет? — в свою очередь, спросил Квэк, уверенный в том, что китаец хочет меняться, и опасаясь только того, чтобы последний не потребовал у него за свою птицу его любимый варганчик.

— Я мена не хочет, — ответил А Мой. — Вы хочет он? Взять он?

— Вы давай он, а я что давай вы?

— Я мена не хочет настоятельно повторил китаец. — Вы взять он.

Итак, рожденная в девственных лесах острова Санто, прошедшая через много рук птица от китайца А Моя перешла наконец в руки Квэка.

Еще одного приятеля нашел себе на шхуне Майкл, хоть Кокки на эту дружбу взирал без особенного сочувствия.

Кокки же теперь мог самым безнаказанным и беззастенчивым образом выхватывать из миски Майкла лучшие куски.

Этим новым приятелем Майкла был косолапый щенок ньюфаундленд Скрэпс. Как он попал на шхуну, не знал никто, и по всей причине никто не считал его своим, в частности, а заботились о нем все, как о принадлежности всей шхуны «Мэри Тернер». Так, Джексон грозил задать потасовку повару А Мою, если он не будет кормит Скрэпса как следует, матрос Хальверсен задал потасовку матросу Иерстену за то, что тот осмелился толкнуть путавшегося в ногах его Скрэпса. Когда же однажды Симон Нишиканта пустил в Скрэпса своим складным табуретиком за то, что неуклюжий щенок толкнул его мольберт, Гримшау с такой силой схватил ростовщика за плечо, что тот с неделю ходил в синяках.

Несмотря на то, что Майкл уже давно вышел из щенков, он, по своей природной веселости и игривости, страшно любил возиться с щенком Скрэпсом. Сильный и неутомимый, он то и дело загонял щенка ньюфаундленда, и тот, запыхавшись, ложился и только отмахивался передними своими лапами от продолжавшего на него наскакивать Майкла. Майклу же эти игры были во всех отношениях только полезны.

ГЛАВА XII

Так шла жизнь на «Корабле Пяти Полоумных», как назвал шхуну Дэг Дотри. Майкл возился со Скрэпсом, подчинялся капризам и ласкам Кокки, подвывал пенью своего обожаемого стюарда. Последний выпивал аккуратно свои шесть кварт пива ежедневно, аккуратно получал свое жалованье каждое первое число, и все больше интересовался Старым Моряком, который все больше и больше ему нравился и которого он считал самым почтенным на шхуне человеком. Квэк по-прежнему обожал своего господина, а кожа на лбу его по мере того, как развивалась его страшная болезнь, становилась все темнее и толще. А Мой по-прежнему избегал близости чернокожего папуаса, беспрестанно мылся и каждую неделю кипятил свои одеяла. Капитан Доан правил судном и терзался заботами о своих домах в Сан-Франциско. Гримшау, положив на свои громадные колени свои похожие на окорока руки, подсмеивался над ростовщиком Нишиканта, предлагая ему доложить в их предприятие еще такую же сумму, какую доложил он, Гримшау, из доходов со своей пшеницы. Симон Нишиканта обтирал грязным шелковым платком свою шею и малевал бесконечные акварели, достоинством не выше тех, какими балуются в пансионе подростки.

Штурман упорно выкрадывал капитанские пометки, а Старый Моряк наслаждался своими любимыми напитками и курил душистые дорогие — по три на один доллар — гаванские сигары, закупленные в счет будущих богатств. При этом он твердил все то же: об адовом пекле на баркасе, о тяжелом кресте, выпавшем на его долю, и несметных богатствах, зарытых в песках.

На взгляд Дэга Дотри пространство, в котором двигалась сейчас шхуна, ничем не отличалось от всякого другого в океане. В центре «Мэри Тернер»,

кругом непрерываемый ни единой полоской земли горизонт. Магнитная стрелка компаса указывала на точку, вокруг которой вращается «Мэри Тернер». Солнце неизменно всходило на востоке и заходило на западе, и по небу свершали свой путь ночные светила.

Однако именно на этом пространстве вахтенные часовые дежурили на мачтах с рассвета до сумерек, когда «Мэри Тернер» на ночь ложилась в дрейф. По мере того как время шло и Старый Моряк начинал как будто бы чуять близость желанного искомого пункта, все три охотника за кладами стали сами взбираться на мачты.

Гримшау становился на селенги грот-мачты, капитан Доан забирался выше, до клотика[1] фок-мачты, а Симон Нишиканта забросил свои акварели и при помощи двух дюжих матросов водружался на бизань-мачте и при посредстве лучшего из оставшихся у него в закладе бинокля, вперял свой алчущий золота взор в беспредельные пространства сверкавшего на солнце океана.

— Странно, очень странно, — бормотал Старый Моряк. — Я тому офицеру, молодому, верю безусловно. Ему было всего восемнадцать лет, но он управлял судном лучше всякого капитана. Разве он не смог найти должного курса тогда, после восемнадцатидневного пребывания в баркасе, не имея при этом компаса? Он умер, но перед смертью успел дать мне направление так правильно, что уже через день после того, как я опустил его труп в море, я смог выбраться туда, куда надо.

Капитан Доан пожал плечами и вызывающим взглядом ответил на брошенный ему, полный сомнения и недоверия взгляд Симона Нишиканта.

— Ведь не мог же он провалиться этот остров, — поторопился прервать неприятную паузу Старый Моряк. — Ведь это была не какая-нибудь отмель! Риф Львиная Голова имел около четырех тысяч футов высоты! Я сам видел, как капитан и старший офицер производили измерения.

— Тут я обследовал все вдоль и поперек, я как частым гребнем все здесь прочесал, — резко прервал Старого Моряка капитан Доан, — а зубцы моего гребня настолько часты, что риф в четыре тысячи футов никак не мог бы проскользнуть.

— Странно, очень странно! — не то про себя, не то обращаясь ко всем, пробормотал Старый Моряк; потом вдруг просветлел, точно от озарившей его внезапно мысли.

— Ну да, конечно, мы не учли тех изменений, которые могли произойти здесь, в море. Ведь это может изменить все наши расчеты. Насколько я понимаю, хоть я и не ученый-мореплаватель, ведь в те времена и сами приборы измерений были не так точны и...

— Долгота всегда была долготой и широта широтой, — отрезал капитан, — изменения принимаются во внимание при определении направления и исчислениях по лагу.

---

[1] Клотик — круглая репообразная деревянная крышка на верху мачты.

Симон Нишиканта, для которого весь этот спор был китайской грамотой, почему-то решил принять сторону Старого Моряка.

Старый Моряк, как ловкий политик, соглашался то с тем, то с другим.

— Очень обидно, что у вас имеется только один хронометр. Может быть, он неверно показывает? Почему вы взяли с собой только один хронометр?

— Ведь я же предлагал взять два, — сказал ростовщик, обращаясь к Гримшау, как бы в чем-то оправдываясь.

— Да, но вы не соглашались на то, чтобы их было здесь три.

— Но раз два хронометра не лучше одного, как вы сейчас изволили сказать, чему свидетелем может быть Гримшау, то почему же три лучше двух?

— Если вы имеете только два хронометра, и они показывают по-разному, как вы можете сказать, который из них врет? — не без иронии ответил капитан Доан.

— Но если вы не можете разобрать, который из двух хронометров врет, когда их только два, как же вы разберетесь, который из двух дюжин хронометров показывает правильно? — снова возразил ростовщик.

— Но разве вы не понимаете?

— Я понимаю, что все это ваше мореплавание чистый вздор. Мои четырнадцатилетние клерки лучше вас разберутся во всем вашем мореплавании, и уж если вы их спросите, что лучше: иметь два хронометра или один,— они, не задумываясь, ответят вам, что лучше иметь два доллара, чем один, и что если тысячу хронометров не лучше иметь, чем один хронометр, то также не лучше иметь тысячу долларов, чем иметь один доллар. Ведь так говорит простой здравый смысл.

— Все равно вы неправы по существу,— вмешался Гримшау.— Ведь я тогда же говорил, что мы берем в компанию капитана Доана только потому, что без капитана мы обойтись не можем, так как ни вы, ни я в морском деле ровно ничего не смыслим. И вы тогда же сказали: «Конечно», а как только дело дошло до покупки хронометров, оказалось, что вы все понимаете лучше капитана только потому, что вы испугались расхода на лишний хронометр. Ваш жалкий ум не мог усвоить себе того, что это было необходимо. И вы пустились на охоту, пустились откапывать десятки миллионов долларов дешевой лопатой второго сорта.

Дэг Дотри не мог случайно не подслушать подобные, скорей похожие на сведение личных счетов, чем на совещание, разговоры. Кончались подобные стычки тем, что Симон Нишиканта часа четыре после этого ходил злой, ни с кем не разговаривал, пытался развлечься своим малеваньем акварелью и, когда ему это не удавалось, рвал и бешено топтал свои рисунки, хватался за свое крупнокалиберное автоматическое ружье и отправлялся на палубу. Тут он усаживался на носу и принимался стрелять в морских свиней, дельфинов и альбатросов. Ему как будто доставляло великое наслаждение всадить пулю в красиво сверкающее над поверхностью воды тело играющей рыбы, остановить эту блестящую игру чешуи навсегда, пустить это только что живо игравшее, убитое им существо в морскую пучину.

Для него было величайшим удовольствием своей пулей причинить боль какому-нибудь молодому киту, если случайно к шхуне таковой подплывал. Ружейные пули стегали кита как бичом и он, взвившись, как взвивается на дыбы от удара хлыстом молодой жеребенок, взмахивал хвостом и стремительно нырял в воду; затем, вынырнув на некотором расстоянии, стремительно плыл прочь от шхуны, вздымая бурлящую белую пену воды.

Глядя на эти упражнения ростовщика, Старый Моряк только укоризненно, печально качал головой. Дотри тоже возмущало это бессмысленное мучительство невинных зверей и он, как бы выражая сочувствие свое Старому Моряку, по собственному почину приносил ему свежую сигару.

Гримшау кривил губы и говорил:

— Скверная забава! Мерзавец этакий! Ни один человек, у которого есть хоть немного человеческого чувства, не станет заниматься таким делом — мучить безвредных животных. Он из тех, которые, почему-либо на вас разозлившись, способны ткнуть вашу собаку, украсть ее у вас вам назло или даже просто отравить. В доброе старое время у нас в Калузе таких молодцов просто вздергивали, чтобы очистить немножко воздух.

Но капитан Доан, тот уже открыто протестовал.

— Послушайте, Нишиканта,— бледнея и дрожа от негодования говорил он.— Это безобразное занятие, и ничего, кроме безобразия, из него не выйдет! Я знаю, что я говорю. Вы не имеете права рисковать нашей жизнью ради этой вашей забавы. Или вам неизвестно, что лоцманское судно «Анни-Майн» было потоплено таким китом у самых Золотых Ворот. А я так знаю, что, плавая в качестве младшего офицера на судне «Бернкастль», недалеко от Хакодате мне пришлось нести двойное дежурство только благодаря тому, что в судно это ударился кит. Разве прекрасно оснащенное китобойное судно «Эссекс» не затонуло вблизи Золотого берега только потому, что в него, у самой топки и паровых котлов, ударила головой кит-матка.

А Симон Нишиканта, даже не удостаивая капитана ответом, продолжал свою жестокую забаву.

— Эту историю с «Эссексом» я припоминаю, — сказал Старый Моряк Дотри. — Его потопили кит-матка и ее детеныши; судно было на две трети нагружено, а ко дну пошло меньше, чем в час времени. Одна из спасательных шлюпок исчезла бесследно.

— А другая шлюпка с этого судна не дошла ли она до Гавайских островов, сэр? — почтительно спросил Старого Моряка Дотри. — Я спрашиваю потому, что лет тридцать назад на острове Гонолулу мне случилось видеть одного пожилого человека, который рассказывал, что он служил на китобойном судне и что судно это было потоплено китом невдалеке от берегов Южной Америки. Это все, что я об этом слышал; и вот сейчас, когда вы заговорили об «Эссексе», я вспомнил. Может быть, этот человек был на этом самом «Эссексе»? Как вы думаете, сэр?

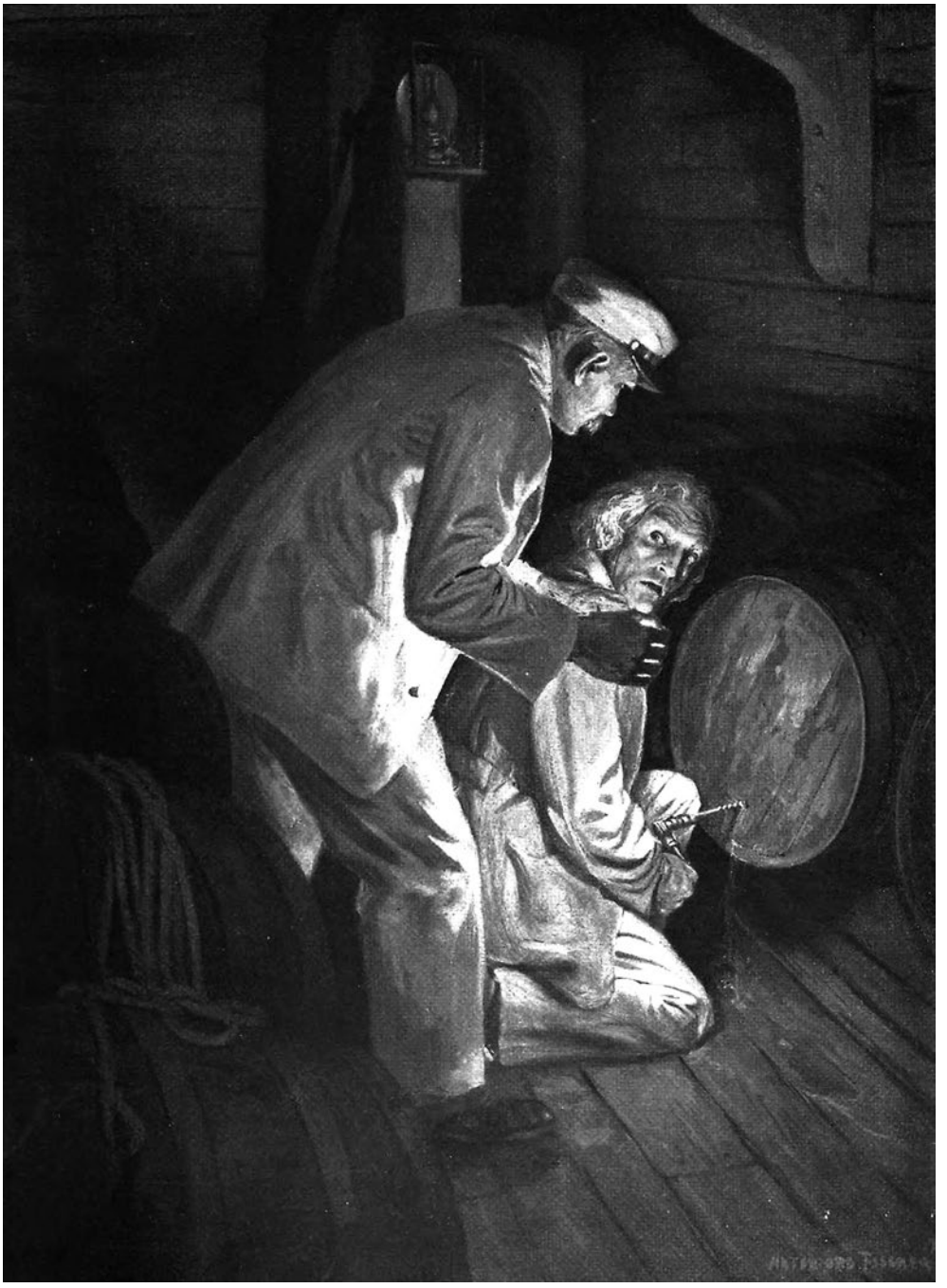
— Вероятно, если только почти одновременно не было потоплено китами два различных судна. Что «Эссекс» погиб от кита, об этом спорить не приходится, это исторически известно. Возможно, что человек, о котором вы говорите, был именно с «Эссекса».

ГЛАВА XIII

В один из этих дней Дэгу Дотри вздумалось подсчитать, сколько еще остается в нижнем трюме специально для него, согласно подписанному условию, запасенного пива. Ящиков с пивом оказалось так мало, что Дотри, не доверяя себе, еще раз пересчитал их. Когда их оказалось ровно столько же, сколько и при первом подсчете, он обшарил весь трюм, но больше не нашел ни одного ящика. Это обстоятельство настолько взволновало его, что он около часу просидел под самым трапом, погруженный в размышления по этому поводу. Конечно, это проделал с ним ростовщик! Ведь пожалел же он денег на лишний хронометр! Но, с другой стороны, ведь о шести квартах была особая статья в их условии, и он эту статью подписал. Дотри еще раз пересчитал ящики, но их всего было только три, а так как каждый из них вмещал всего по две дюжины кварт, а он в день выпивал шесть кварт, то выходило, что этих трех ящиков с трудом хватит на двенадцать дней. Ну а будет ли достаточно двенадцати дней для того, чтобы добраться до ближайшего порта, где можно было бы сделать новый запас, это еще вопрос!

Придя к такому заключению, Дэг Дотри решил действовать без промедления. На часах было без четверти двенадцать, когда он, спустив трап, поднялся наверх накрывать стол к обеду. Обед он подавал как ни в чем ни бывало, хотя ему пришлось делать над собой невероятное усилие, чтобы не запустить миской горохового супа в голову ростовщика. Ему удалось сдержать себя благодаря тому, что еще там, внизу, у ящиков с пивом, у него созрел определенный план мести.

В три часа пополудни, когда предполагалось, что Старый Моряк отдыхает у себя в каюте, а капитан Доан, Гримшау, Нишиканта и половина вахты восседают на мачтах, стараясь взором своим вызвать из сапфировых вод океана желанный остров, Дэг Дотри спустился в главный трюм, где хранились бочки с пресной водой. Вынув из-за пазухи специально приспособленный им инструмент, он стал на колени и пробуравил дно крайней бочки первого ряда. Вода хлынула толстой струей, разлилась по полу и, журча, побежала по желобку вниз, в подводную часть судна. Дотри работал быстро. Он пробуравливал бочку за бочкой, постепенно отходя от освещенной окном в трапе части трюма в полутемную. Дойдя до последней бочки первого ряда он остановился, прислушиваясь к журчанию убегающей воды, и вдруг своим острым слухом он расслышал тот же звук журчащей убегающей воды с другой стороны трюма. Он насторожился и скоро, среди журчания воды, услышал звук пробиваемого дерева.



Дотри чиркнул спичкой и осветил лицо этого не пытавшегося от него увернуться человека. На него смотрел Старый Моряк...

Еще минута и, быстро спрятав свой инструмент, он кого-то держал за плечо, — кого, он в полутьме сразу разобрать не мог. Но человек этот стоял на коленях и старательно долбил дно бочки. Дотри чиркнул спичкой и осветил лицо этого не пытавшегося от него увернуться человека. На него смотрел Старый Моряк...

— Как же это так!? — пробормотал озадаченный стюард. — Черт возьми, чего ради вы-то уничтожаете пресную воду?!.

Нервная дрожь пробежала по телу старика и Дотри стало жаль его.

— Ничего, не беспокойтесь, — поторопился он успокоить его. — Меня вам опасаться не надо. Сколько бочек вы уже пробуравили?

— В этом ряду все, — ответил старик шепотом. — А вы... вы не донесете?.. Не скажете тем... другим?

— Я, доносить на вас? — Дотри тихо рассмеялся. — Видно, мы с вами одну игру играем, и не знаю только, зачем вам эта игра понадобилась. Я только что выпустил воду из всех бочек первого ряда с правой стороны. Теперь вот что, сэр: я вам советую выбраться отсюда сейчас же, потому что сейчас вы это можете сделать незаметно, — они все там наверху. А тут я все обделаю один. Оставить пресной воды надо будет дней на двенадцать! Как?!.

— Я хотел бы поговорить с вами... объяснить вам... — прошептал старик.

— Само собой, сэр. Не скрою от вас, что мне безумно любопытно узнать, в чем дело. Я приду к вам в каюту, скажем, минут через десять... и мы с вами, может быть, еще затеем настоящую игру. Во всяком случае, чтобы вы ни затеяли, я с вами. С вами потому, что, во-первых, сейчас мы, очевидно, стремимся к одной цели — поскорей попасть в какой-нибудь порт, а, во-вторых, потому, что полюбил вас и очень уважаю. А теперь скорей выбирайтесь отсюда! Через десять минут я буду у вас в каюте.

— Я вас очень люблю, стюард, — пробормотал старик.

— Я вас тоже, и чертовски больше, чем всех этих искателей кладов. Но об этом после, а сейчас выбирайтесь отсюда, а я покончу здесь с этим нашим делом.

Через четверть часа, в то время как искатели кладов все еще сидели на своих мачтах, Чарльз Стоу Гринлиф у себя в каюте потягивал свой любимый шотландский напиток, а Дэг Дотри, стоя по другую сторону стола, прямо из бутылки тянул свое пиво.

— Вы, может быть, не догадались, что это четвертое мое путешествие за этими кладами?

— Вы хотите сказать, что... — спросил Дотри.

— Вот именно. Этих кладов не существует так же, как не существует и никогда не существовал остров Львиная Голова, и вся эта история с баркасом и адовым пеклом? Ничего всего этого и не было!

Озадаченный Дотри взъерошил свои седеющие виски и сказал:

— Ну, сэр, должен сказать, что вы и меня провели. Ведь и я поверил в существование всех этих несметных богатств, на саженной глубине зарытых в песках.

— В свою очередь должен сознаться, стюард, что мне очень приятно это слышать от вас, потому что раз я мог провести такого человека, как вы, это зна-

чит, что я еще на что-то годен. Ничего не стоит провести людей, которые полны жаждой наживы. Вы же совсем другое дело. В вашей душе этого нет. Я наблюдал за нами, когда вы бываете с вашей собакой, вашим мальчиком-негром, или когда пьете ваше пиво. И вот именно потому, что вы не сгораете от желания добраться до этих кладов, вас поймать на удочку гораздо труднее. Тем же, кто одержим жаждой наживы, достаточно обещать лишних сто процентов, чтобы они кинулись, как голодная щука на приманку. Обещайте им тысячу, десять тысяч, и они из кожи полезут. А я, видите ли, человек старый, очень старый, и мне хочется дожить свой век в приличной обстановке, с комфортом, пользуясь известным уважением...

— И далекие путешествия вы любите. Теперь я начинаю понимать, в чем дело, сэр. Как только они подходят близко к тому месту, где должны находиться обещанные клады, маленькая водяная катастрофа загоняет их обратно в какой-нибудь порт, и затем все начинается сначала?

Старый Моряк кивнул головой. Его выцветшие глаза заблестели.

— Шхуну «Эмма-Луиза» я такими водяными и подобными им катастрофами продержал в плавании восемнадцать месяцев! Кроме того, до выхода в море они в течение четырех месяцев оплачивали мое содержание в одном из самых дорогих — в Новом Орлеане — отелей и дали мне еще хорошую, основательную сумму в виде аванса.

— Расскажите все поподробнее. Меня это страшно интересует, — сказал Дэг Дотри и допил бутылку. — Это прекрасная выдумка! Надо у вас поучиться.

Приняв из рук стюарда наполненный своим любимым шотландским напитком стакан, Чарльз Стоу Гринлиф стал рассказывать повесть своей жизни.

Кто знает, быть может, и мне это на старости лет пригодится! Но даю вам слово, что, пока вы живы, я вашей идеей не воспользуюсь. А придумали вы это хорошо! Верно говорю, хорошо!

— Прежде всего надо найти людей с деньгами, с такими деньгами, чтобы они смело могли рискнуть известной суммой, не опасаясь за свое благосостояние, в случае если предприятие не удастся. Таких богачей и заинтересовать всегда легче.

— Это уж известно, у кого много — хочет еще больше!

— Вот именно. Во всяком случае, даже если они и потеряют известную сумму денег, они будут не в убытке, потому что самое морское путешествие принесет им громадную пользу в смысле здоровья.

— Скажите, ну, а как же вот этот шрам у вас на лице и отсеченные на руке пальцы?!. Но позвольте ваш стакан, сэр, я налью вам еще.

Приняв из рук стюарда наполненный своим любимым шотландским напитком стакан, Чарльз Стоу Гринлиф стал рассказывать повесть своей жизни.

— Прежде всего вы должны знать, стюард, что я джентльмен. Фамилия моя пользовалась исторической известностью в Соединенных Штатах еще до того, как они стали Соединенными Штатами. Я окончил университет,— какой именно,— не назову. Кстати скажу, что и фамилия, которую я сейчас ношу, конечно, не моя. Молодым человеком я служил во флоте, только не на «Уайд Эуеке», потому что «Уайд Эуек» — это корабль моей фантазии, построенный мной уже на старости лет. Что же касается шрама, о котором вы спрашиваете, то получил я его в спальном вагоне. Ехало много народа, так что я смог получить только верхнюю койку. Было это всего несколько лет тому назад. Ехали мы из Филадельфии. На высоком мосту произошло столкновение поездов, и несколько вагонов перевернулось и скатилось вниз с высоты в девяносто футов в высохший заливчик, среди которого оставалась только одна неглубокая, футов в восемнадцать в диаметре, лужа. И вот как все произошло. Я только что собрался вставать, надел сапоги и, полуодетый сам, спустил ноги. И только хотел я спрыгнуть вниз, где проводник успел уже опустить противоположную койку и убрать постели, как в этот самый момент произошло столкновение паровозов. Я с края своей верхней койки вспорхнул от толчка, как птица, и, пробив головой своей окно, вылетел из вагона. Сколько раз я перевернулся в воздухе лучше и не вспоминать. Каким-то чудом пролетев эти девяносто футов вниз, я попал в лужу с водой. Изо всего нашего вагона уцелел, таким образом, я один! Вагон скатился на некотором расстоянии от меня, но оттуда вынули только мертвые тела. Меня же подобрали в моей луже живым, и после того, как хирург проделал надо мной все, что надо, я оказался с этим шрамом на лице, без пальцев на левой руке и без трех ребер... Не будете ли вы так добры, стюард, налить мне еще стаканчик.

Дэг Дотри налил и от волнения, вызванного в нем рассказом Старого Моряка, выпил лишнюю кварту пива сам.

— Дальше, дальше,— лихорадочным шепотом просил Дэг Дотри! — А как же все это с кладами? Я умираю от любопытства, сэр. Я перед вами прямо преклоняюсь, сэр!

— Надо вам сказать, стюард, что родился я, так сказать, с серебряной ложкой во рту. Ложка эта у меня довольно скоро растаяла и я очутился в положении блудного сына. Но я родился не только с серебряной ложкой, но и с большим запасом гордости. И если ложка моя растаяла, то гордость нет. Гордость моя растаять не пожелала. Благодаря этому, моя семья предоставляла мне умирать с голоду, а я предоставлял ей наслаждаться своими достатками. Но они передо мной не были виноваты. Потому я перед ними никогда и не хныкал, и не жаловался. Я попытался пустить в оборот остатки своей серебряной ложки, и каких только у меня не было предприятий! Однако кончилось все это тем, что мне не раз приходилось ночевать в ночлежном доме и терять сознание от голода.

— И вы ни разу не обратились к вашим родным за помощью? — восторженно глядя на старика спросил Дэг Дотри.

Старый Моряк гордо выпрямился, откинул голову назад, потом опустив ее, сказал:

— Нет, я никогда ничего у них не попросил. Я пошел в рабочий дом, вернее на «рабочую ферму». Там в течение шести месяцев я жил ужасной животной и безнадежной жизнью. И вдруг меня осенила мысль... Я нашел выход! Я принялся строить свой «Уайд Эуек». Я строил его день за днем. Я находил капиталистов для его оборудования и мысленно уже путешествовал по южным морям с теми самыми кладами, которые мы ищем и теперь. Все, все это я строил в уме своем, сидя в этом ужасном рабочем доме.

Лицо Старого Моряка вдруг потемнело и в нем появилось что-то свирепое. Он схватил руку Дотри и сжал ее, как клещами.

— Вы не знаете, как тяжело, как трудно было мне строить мой маленький «Уайд Эуек»,— сказал он.— Вы не знаете, сколько времени мне пришлось терпеть эту тяжелую, эту ужасную жизнь в рабочем доме прежде, чем мне удалось скопить достаточно денег для моей авантюры и выбраться из этой тюрьмы. Знаете, какую работу я исполнял в рабочем доме? Целых два года я работал в прачечной, сортируя грязное белье и складывая простыни и наволочки одной своей рукой при помощи другой, лишенной пальцев. Сколько раз я думал, что переломится моя старая спина, не выдержит... И за этот груд я получал всего полтора доллара в неделю. Вот вы, стюард, еще молодой человек.

Дотри усмехнулся и указал на свои седеющие виски.

— Вы — еще молодой человек, стюард,— раздраженно настаивал старик.— Молодой потому, что не знаете, что значит быть из жизни изъятым. В рабочем доме вы не жили, а там не только не считаются с вашим возрастом, но просто вас там и за человека не считают. Как вам это объяснить. Там вы еще не мертвый, но уже и не живой. Вы еще не умерли, но уже и не живете. Там вы представляете собой что-то, что жило прежде, а в данный момент находится в состоя-

нии умирания. Так относятся к прокаженным, к сумасшедшим. Одним словом, вы не то, что все. Вас еще не похоронили, но вы и не живете. Вот как вы себя чувствуете в рабочем доме! С вами там обращаются как с животным. А как вас там кормят! Какая там грязь! И я два года в такой обстановке работал — в прачечной, за полтора доллара в неделю! И это я, который сумел прожить целое состояние и основательное состояние! И можете вы себе представить, стюард, что я со своими старыми больными костями, со своим изнеженным изысканным столом желудком, привыкший с молодости щедрой рукой бросать деньги направо и налево,— я принялся копить эти несчастные доллары, как какой-нибудь скряга. Я из этих полутора доллара не истратил ни одного пенса на табак. Я ни разу не побаловал ничем свой страдавший от грубой неудобоваримой пищи желудок. Я таскал скверный, дешевый табак у слабых, умирающих стариков, своих товарищей по рабочему дому. Когда на стоявшей рядом с моей койке умер Самуэль Мерриваль, я прежде, чем объявить об этом, обшарил его карманы, где я знал, у него осталось немного дешевого табака — все от него остающееся имущество. Я над своими долларами дрожал. Понимаете вы, ведь я был узник! А эти доллары были моей маленькой стальной пилкой, которой я выпиливал себе свободу, как узник выпиливает прутья решетки в окне. И я выпилил себе свободу.— В голосе старика зазвучали торжествующие нотки, когда он повторил: — Стюард, я выпилил себе окно свободы!

Дэг Дотри поставил на стол бутылку, которую держал в руке, и сказал серьезно и торжественно:

— Салютую вам, сэр!

— А я благодарю вас, стюард, за то, что вы поняли меня, — и Старый Моряк, глядя прямо в глаза Дотри, просто и с достоинством чокнулся своим стаканом о бутылку последнего!

— Я понял, сэр, — с искренним восхищением заговорил Дотри, — ваша тоненькая пилка постепенно выросла в целый лом, которым вы должны были пробить себе окно в жизнь.

Выцветшие глаза Чарльза Стоу Гринлифа сияли, когда он, подняв свой стакан, сказал:

— Салютую вам, стюард, вы поняли меня! И вы хорошо это сказали. Я именно должен был снова ломиться в жизнь. И эта несчастная, собранная двумя годами пытки сумма денег была тем ломом, которым я ломился в жизнь. Да, я, как вор, взламывал себе дверь в жизнь. И прежде всего я отправился в Бостон. Вы красиво, картинно выражаетесь, стюард, салютую вам за это.

И опять собеседники чокнулись бутылкой и стаканом и каждый пил свой напиток, глядя друг другу прямо в глаза, и твердо знал при этом, что смотрит в глаза честного и способного все понять человека.

— Но это был очень тоненький лом, стюард. И я не мог сразу поставить дело с надлежащей широтой. Я занял номер в небольшом, но солидном, поставленном на европейский лад отеле. Это было, как я, кажется, уже сказал, в Бостоне. Но как же я берег свой маленький лом. Я ел ровно столько, сколько

было нужно моему телу для того, чтобы его не покинула душа. Но зато я угощал других самыми дорогими изысканными напитками и делал это с таким видом, как будто для меня это сущие пустяки. Это создавало мне известное положение, мне начинали верить. Вместе с этими напитками они глотали и мои сказки о «Уайд Эуеке», баркасе, нестерпимых страданиях и кладах, зарытых в песках. Я играл на психологии. Эти рассказы давали вину привкус моря, пиратов... Вы обратили внимание на этот брелок из самородка золота? Я всегда ношу его на цепочке от часов. В то время я, конечно, ничего подобного приобрести не мог, но зато я говорил о золоте, о несметном количестве золота! Приходилось тогда обходиться только словами, литературой. Позже, после первого моего путешествия из Бостона, я мог уже приобрести этот брелок — настоящий самородок. На эту прекрасную приманку люди шли и клевали, как клюет на приманку рыба. Эти кольца тоже приманка. Их я приобрел позже. Таких вы теперь нигде не найдете, и я мог приобрести их, только уже совсем поправив свои средства. Теперь представьте себе, что я рассказываю свои истории и машинально играю этим брелком, и вдруг этот брелок бросается мне в глаза. Я тотчас же, как будто под этим впечатлением, начинаю рассказывать историю о баркасе, о всех наших мытарствах, о молодом офицере, щеки которого еще не коснулась стальная бритва, и тут как бы случайно упоминаю, что вот этот самый брелок служил ему грузилом при рыбной ловле. Но вернемся к Бостону... Итак я рассказывал сказки всем этим моим, так называемым, милым знакомым, которых я презирал, как пустых дураков. Но молва бежит, и в один прекрасный день ко мне явился молодой репортер для интервью по поводу кладов и «Уайд Эуека». Я, конечно, с негодованием отказался принять его. Не пугайтесь, стюард! Ведь я отлично знал, что он все уже во всех деталях знает от моих, так называемых, приятелей. На другой же день утром, в газете, появилась длинная, в два столбца, статья под громким заголовком. Ко мне стали являться разные лица. Я их тщательно изучал. У большинства из этих, готовых пуститься в поиски кладов людей не было никаких средств, и я старался от них отделаться. Поджидая настоящих капиталистов, я все сокращал свои личные расходы, так как мой маленький капитал все таял и таял. И вот он явился, наконец, мой молодой веселый доктор — доктор философии! Он был и очень состоятельный при этом человек. Сердце мое взыгралось, как только я его увидел. Ведь у меня в кармане оставалось всего двадцать восемь долларов и, если бы они вышли, мне оставалось бы одно из двух: или возвратиться в Рабочий Дом или умереть. Я, конечно, уже мысленно решил последнее. Однако ни возвращаться в Рабочий Дом, ни умирать мне не пришлось. От моих рассказов о Южных морях вся кровь заиграла в жилах моего молодого доктора. Ему мерещились острова с пальмовыми лесами, его опьянял аромат тропических цветов, он бредил муссонами и пассатами. Он был весел, как молодой щенок. Великодушен, беззаботно расточителен, неустрашим, как молодой львенок, красив и гибок, как леопард, и чуть-чуть сумасшедший, если судить по его дьявольским фантазиям и причудам. Вот что я вам, напри-

мер, расскажу, стюард. Перед самым нашим отплытием на «Глостере» (это была рыболовная шхуна, походившая на яхту, которую приобрел себе мой доктор) — он пригласил меня к себе для того, чтобы я помог ему выбрать все необходимое для его личной экипировки. Мы разбирали груды платья в его гардеробе, когда он вдруг сказал мне:

— А интересно, как отнесется к моему продолжительному отсутствию моя дама сердца? Как вы думаете — не взять ли и ее с собой?

Я и не подозревал, что у него есть жена, или там дама сердца, и потому посмотрел на него с удивлением и недоверчиво.

— А вы не верите, что я возьму ее с собой? — и он расхохотался, как безумный, прямо в мою удивленную физиономию. — Пойдемте, я познакомлю вас с ней.

И он повел меня прямо в свою спальню и подвел к самой своей кровати. Он откинул одеяло, и что же я увидел? — В кровати лежала и спала все тем же сном, каким она уже спала тысячелетия, мумия египетской девушки. И она, эта египетская девушка, проделала с нами все путешествие... Даю вам слово, стюард, в конце концов и я полюбил ее...

Старый Моряк, задумавшись, смотрел на свой стакан, а Дэг Дотри воспользовался этой паузой, чтобы спросить:

— Ну, а как принял молодой доктор то, что никаких кладов не оказалось?

Лицо Старого Моряка радостно засияло.

— Он обнял меня и назвал очаровательным старым обманщиком. Знаете, стюард, я полюбил этого молодого человека больше, чем можно любить родного сына. Все так же обнимая меня, он сказал мне, что догадался о том, что никаких кладов нет еще в самом начале нашего путешествия, и в голосе его при этом звучало что-то большее, чем простая доброта. Смеясь и ласково похлопывая меня по плечу, указал он мне на все несообразности в деталях моих рассказов, (все это я потом исправил, стюард, и благодаря ему, хорошо исправил!). Он сказал также, что это путешествие было очень удачное и что он за это у меня навсегда в долгу.

Что же мне в ответ на это оставалось делать? Я рассказал ему всю правду. Ему я даже назвал свое настоящее имя, которое скрывал, чтобы себя не позорить. А он... он обнял меня и...

Тут спазма в горле помешала старику говорить дальше и две выступившие на глазах его слезы покатились по его щекам.

Дэг Дотри молча чокнулся с ним. Старый Моряк выпил глоток вина и, оправившись, заговорил снова.

— Он сказал, что я должен поселиться у него. И в самом деле, как только мы вернулись в Бостон, он увез меня в свой великолепный дом. Он уверял, что поговорит со своими адвокатами и усыновит меня. Эта мысль страшно его занимала. — Я усыновлю вас вместе с Изар, — так он называл свою мумию-девушку. Итак, я вернулся в жизнь, стюард, и, казалось, благополучие мое готово было упрочиться раз и навсегда. Но жизнь ведь великая обманщица! Через

восемнадцать часов мы нашли его мертвым в постели, рядом со своей маленькой мумией, — разрыв сердца или каких-то сосудов в мозгу! Я никогда не мог узнать точно. Я умолял его родных похоронить девушку-мумию вместе с ним, но они были люди холодные и сухие, новоанглийского покроя, все эти его кузины, кузены и тетки. Они пожертвовали мумию в музей, а мне предложили выехать из дома в течение недели. Но я выехал в тот же час, причем они сочли нужным обыскать весь мой небольшой багаж.

Я отправился в Нью-Йорк и повел ту же игру. Но, так как теперь у меня было больше денег, я поставил свое дело на более широкую ногу. То же я проделал в Новом Орлеане и в Гельверстоне. И, наконец, приехал в Калифорнию. Это мое пятое путешествие. Этих троих мне не легко было убедить. Я почти совсем прижился, когда мне, наконец, удалось подписать с ними условие. Вели они себя при этом как настоящие жмоты. Самая мысль, дать мне хоть что-нибудь авансом, им казалась совершенно невозможной, несмотря на то что я потратил на них столько времени, и счет мой в гостинице возрос до основательной суммы. Перед самым отъездом я заказал хорошенький ассортимент своих любимых напитков и сигар, а счет велел представить им на шхуну. Все трое, конечно, пришли в бешенство и чуть не рвали волосы на своей голове и... на моей. Они отказались уплатить по счету, тогда я внезапно заболел. Я сказал, что они расстроили мне нервы и я совершенно болен. И чем больше они бесились, тем больше разбаливался. Наконец они сдались, и я тотчас же начал поправляться. А теперь вот мы с вами вышли сухими из воды и направляемся, по всей вероятности, к Маркизовым островам наполнять наши бочки. Затем они снова пустятся на поиски.

— Вы думаете, сэр?

— Я буду помнить теперь еще одну, еще более для меня важную дату, стюард!

Старый Моряк улыбнулся, потом, отвечая на вопрос Дотри, сказал:

— Без всякого сомнения они снова пустятся искать. О, я таких знаю! Это глупые, тупые и жадные дураки.

— Дураки! Они дураки! Корабль дураков! — восклицал Дэг Дотри, повторяя то, что уже приходило ему в голову, когда он сидел в трюме среди бочек с пресной водой и, прислушиваясь, как последняя убегала, узнал, что он ведет со Старым Моряком одну игру.

ГЛАВА XIV

На другое утро пришедшие за водой для кухни и кают матросы обнаружили утечку воды из большинства бочек, о чем тотчас же доложили штурману. Джэксон настолько взволновался, что сейчас же сообщил о случившемся капитану Доану, который в свою очередь привел в полное смущение Гримшау и Ниишканта, рассказав им о случившемся несчастье.

За утренним завтраком все были очень возбуждены, что очень забавляло Стараго Моряка и Дотри, тогда как охотники за кладами рвали и метали. Особенно взволнован был капитан. Симон Нишиканта же нещадно громил, угрожая самыми жестокими карами неизвестному злодею, выпустившему пресную воду из бочек. Гримшау только молча сжимал кулаки, точно желая удушить кого-то.

— Это, кажется, было в сорок седьмом, нет... кажется, в сорок шестом... Да, в сорок шестом году, — болтал между тем Старый Моряк. Мы попали в такое, даже в худшее положение. Нас в баркасе было шестнадцать человек. Мы держали курс на Глистер-Риф, так этот риф был назван после того, как открывшая его наша немногочисленная команда на этом же рифе сложила свои кости. Этот риф находится в группе Адмиралтейских островов... Если я ошибаюсь, капитан Доан меня поправит.

Никто, однако, не слушал болтовни Старого Моряка, кроме Дотри, который усиленно угощал его пирожками и слушал с восхищением. Вдруг Симон Нишиканта, оторвавшись от своих мрачных мыслей, раздражился на этот новый поток болтовни старика и злобно заорал:

— Замолчите вы! Заткните свой рот! Вы мне надоели своими вечными воспоминаниями!

Старый Моряк, озадаченный этим грубым окриком, совершенно искренно подумал, что в его рассказе чего-то не поняли и заговорил снова:

— Да нет же, уверяю вас, вы не поняли меня! Это все мой старый язык виноват. Ведь я уж говорю не о «Уайд Эуеке», а о другом судне, — о «Глостере». Мне кажется, я и не упоминал о «Уайд Эуеке» сейчас. Нет, на этот раз это было на «Глостере», на прекрасном, новеньком, быстроходном судне. Мы шли на нем из Нью-Йорка вдоль северо-западного берега, шли с секретными приказами... и...

— Ради самого бога, замолчите! Довольно! Я с ума сойду от ваших рассказов! Смилосердствуйтесь надо мной! Прошу вас. На кой черт мне знать о вашем «Глостере» и каких-то там приказах!..

Это, положительно, был день всевозможных открытий. Так, капитан Доан застал помощника штурмана в момент похищения последним мореходных записей из его стола. Произошла неприятная сцена, ограничившаяся лишь неприятным разговором, потому что внушительная фигура штурмана не возбуждала желания мериться с ним силой. Итак, капитан Доан ограничился внушением, словами, на что виновный отвечал короткими: «Да, сэр», «Нет, сэр», «Очень сожалею, сэр».

Самым же важным открытием в тот день было открытие, сделанное Дэгом Дотри, хоть он сам в этот момент и не придал этому открытию никакого значения, не сознавая всей его важности. Произошло это уже в то время, как «Мэри Тернер», переменив курс, на поднятых парусах шла, как по секрету сообщил ему Старый Моряк, на Тауохэ, гавань на одном из Маркизовых островов. Это сообщение приподняло настроение Дэга Дотри и он спокойно продолжал

бриться, хоть его и смущал немного вопрос: можно ли будет в такой гавани, как Тауохэ, достать его возлюбленное пиво. Он уже намылил лицо и собирался сделать первый взмах бритвой, когда ему бросилось в глаза темное пятнышко у него на лбу между бровями.

Окончив бриться, он притронулся пальцем к этому пятнышку, удивляясь, что на таком и только на этом месте мог появиться у него загар. Еще больше удивило его то, что он не почувствовал прикосновения к этому месту своего пальца, точно оно совсем онемело.

— Странно, — подумал он, обтер свое лицо и скоро совершенно забыл об этом своем открытии.

Дэг Дотри не понял, какое это зловещее пятнышко. Не знал он и того, что косые глаза китайца А Моя это пятнышко заметили уже давно и каждый день с ужасом следят, как оно увеличивается.

«Мэри Тернер» определенно шла к Маркизовым островам, чему почти все на шхуне были чрезвычайно рады. Матросы, люди на жаловании, были довольны зайти в порт под предлогом наполнить бочки пресной водой. Мрачны были только охотники за кладами, особенно Симон Нишиканта, который открыто насмехался над капитаном Доаном, выражая сомнение в том, чтобы он сумел найти Маркизовы острова.

В каюте второго класса тоже все были довольны. Общим хорошим настроением проникся и Майкл, изучавший со своим стюардом уже пятую американскую песенку. В пении этой собаки, которое было, собственно, воем, обработанным под голос, звучали ноты тоски по чему-то давно утраченному. То была тоска по своре, своре, в которой жили его предки прежде, чем они подошли к очагу человека, прежде даже, чем человек стал строить себе очаг и, значит, стал человеком.

Тоска была заложена в Майкла от рожденья, потому что, родившись недавно, прожив на свете всего два года и не зная своры, он обрести этой тоски сам по себе не мог. Он просто подчинялся законам бытия, которые, руководя каждым мускулом и нервом, целым рядом поколений собак выработали его из первобытного типа его предков, бегавших дикой сворой по девственным лесам. И вот эта-то прошлая жизнь в сворах его первобытных предков и всплывала по временам в его подсознании, иногда во сне, когда она казалась ему чем-то реальным, о чем он, однако, совершенно забывал при пробуждении. Как во сне, так и во время пения в нем пробуждалась эта бессознательная тоска по утраченной своре, к которой он чувствовал безотчетное, атавистическое тяготение.

И наяву, собственно, Майкл имел свою свору, состоявшую из стюарда, Квэка, Кокки и Скрэбса. С этой сворой он бегал и играл так же, как бегали и играли со своей сворой его предки. Каюта, в которой помещался Майкл, была его и его своры логовищем, а «Мэри Тернер», находящаяся в постоянном движении в бесконечном морском пространстве, была для Майкла всем внешним миром.

Но обитатели каюты Майкла для него имели значение не только своры.

Человек рано выдумал себе бога. Видел он его то в камне, то в чурбане, то в огне, находил его среди деревьев, гор и звезд. Произошло это потому, что человек понял, что вне родового начала, вне семьи, вне среды себе подобных, он существовать не может. Устрашенный жуткой неизвестностью, в которую погружается человек умирая, он создал воображением лучший мир, в котором он будет с себе подобными вечно, в этом лучшем мире все будет гораздо значительнее, светлее, радостнее, и этот свой лучший мир человек назвал словом «небо».

Но Майклу никогда не приходило в голову создавать себе бога в виде своей тени, по образу и подобию своему — четвероногого какого-нибудь «бога». Он, вообще, не был склонен поклоняться теням и невидимым неосязаемым образам. Он боготворил нечто реальное, поклонялся «богу», несомненно существующему, «богу» во плоти и во крови, «богу», не по его собственному образу созданному, покрытому шерстью и четвероногому, а белолицему, во всей своей красе перед ним стоящему стюарду.

ГЛАВА XV

Если бы на другой день после того, как решено было переменить курс и идти к Маркизовым островам, не спал вдруг попутный ветер; если бы в этот день за обедом капитан Доан не принялся снова ворчать на то, что у него всего один хронометр; если бы это последнее обстоятельство не раздражило бы Симона Нишиканта настолько, что он счел нужным сорвать на ком-нибудь свою злобу и не отправился бы для этого на палубу стрелять в ничем неповинных рыб и птиц; если бы ему при этом подвернулось какое-нибудь безобидное животное, рыба, или птица, а не кит-матка со своим детенышем; если бы из всей этой цепи событий выпало хоть одно звено — «Мэри Тернер», наверно благополучно дошла бы до Маркизовых островов, наполнила бы там свои бочки пресной водой и снова пустилась бы на поиски кладов. А вместе с тем, совершенно иначе и далеко не так трагично сложилась бы и вся дальнейшая судьба Майкла, Дотри, Квэка и Кокки. Шхуна «Мэри Тернер» шла среди мертвой тишины безбрежного морского пространства; чуть поскрипывая своими снастями, скользила она по зеркально гладкой поверхности, когда Симон Нишиканта всадил пулю в близко подплывшего вместе со своей маткой китенка. Каким-то чудом пуля эта для китенка оказалась роковой. Он тотчас же перестал играть, он лежал на поверхности воды, и все тело его содрогалось. Через секунду после того, что пуля поразила его, кит-матка была уже около него. Ее горе и отчаяние были ясны для всех, стоявших у борта и смотревших вниз на нее и на ее издыхающего детеныша.

Она то пыталась подталкивать его своим гигантским плечом, то описывала вокруг него круги. Потом она снова подплывала к нему и то с одной, то с другой стороны поддерживала его своим плечом.

На шхуне все стояли вдоль борта и с затаенным страхом и беспокойством смотрели на этого громадного кита-самку.

— А что, если она вздумает проделать с нами то же, что проделала та — кит-самка с «Эссексом»? — сказал Дотри Старому Моряку.

— Это нам будет только по заслугам, — ответил тот. — Ведь это был ровно ничем не вызванный жестокий поступок.

Майкл, чуя, что что-то происходит особенное, чего он не может видеть из-за высокого борта шхуны, вскочил на крышу капитанской рубки и, при виде страшного чудовища, принялся отчаянно лаять. Все обратили на него свои испуганные глаза, а стюард тихим шепотом дал ему знак молчать.

— Чтобы это было в последний раз! — с трудом сдерживая злобу, проскрежетал Гримшау Симону Нишиканта.— Если вы еще хоть раз во время нашего совместного путешествия попробуете стрелять в кита, я вам шею сверну! Я вам глаза вышибу!

Ростовщик криво усмехнулся и пробормотал:

— Ничего с нами не случится. Я не верю, чтобы «Эссекс» погиб из-за кита.

Между тем издыхающий китенок, побуждаемый матерью, делал тщетные усилия поплыть; он барахтался в воде, переворачиваясь с боку на бок.

Кружась вокруг своего детеныша, кит-матка задела плечом левый борт шхуны, и «Мэри Тернер» так сильно качнулась вправо, что корма ее обнажилась на целый ярд. Дело не ограничилось этим невольным и сравнительно легким толчком. Озадаченная прикосновением постороннего предмета, кит-матка взмахнула хвостом и так ударила им в фальшборт[1], что в последнем образовалась громадная щель и вся его обшивка потрескалась. И сделано это было так легко, как будто это был не борт шхуны, а коробка из-под сигар.

Теперь на палубе все уже с ужасом и в глубоком молчании созерцали убитое горем чудовище.

В то время как шхуна старалась хоть немного отойти от китов, издыхающий китенок сделал еще несколько попыток поплыть, потом он вдруг задрожал, завертелся и стал дико бить хвостом.

— Это предсмертные судороги, — сказал Старый Моряк.

— Издох-таки, черт возьми, — через пять минут воскликнул капитан Доан, — и кто бы мог подумать, что это возможно! Ведь это все равно, что убить слона дробинкой. Ну теперь молите судьбу, чтобы она хоть на полчаса послала нам попутного ветра и дала возможность выбраться из этого неприятного соседства.

— Дешево отделались! — сказал Гримшау.

В ответ на это капитан Доан покачал головой и вскинул озабоченный взгляд на вяло висящие паруса; потом он все тем же озабоченным взглядом окинул окружающее водяное пространство, стараясь уловить на поверхности его хоть малейший намек на движение. Но поверхность воды была безнадежно зеркально-гладкая.

---

[1] Фальшборт — ограждение по краям наружной палубы судна,.

— Ничего, — пытался подбодрить себя и других Гримшау.— Видите, кит уже уплывает.

— Да, конечно, ничего и не будет, — уже с задором проговорил Симон Нишиканта и прибавил с насмешкой. — Хороши вы все, какой-то рыбы испугались!

— Ну положим, я заметил, что и у вас будто желчь отлила, и вы стали бледнее и не так желты, как обыкновенно, — ядовито сказал ему Гримшау.

Капитан Доан вздохнул с облегчением. Он был еще настолько взволнован, что ему было не до этих препирательств.

— Ведь вы насквозь пропитаны желчью, — продолжал Гримшау. — Вот это человек! — указал он ростовщику на Старого Моряка. — Вот в нем ни капли желчи нет. Он ведь и глазом не моргнул, хоть лучше нас всех знал, какая нам угрожает опасность. Если бы мне пришлось спасаться на необитаемом острове, я предпочел бы быть там с ним, а не с вами. В тысячу раз предпочел бы! А если бы...

Его прервал отчаянный возглас матросов.

— Силы небесные, — вырвалось у капитана Доана.

Кит повернул и шел по самой поверхности воды и прямо на шхуну. Он шел с невероятной быстротой и прорезал носом воду, как какой-нибудь дредноут или океанский пароход.

— Держись крепче,— громко крикнул капитан Доан.

Все приготовились принять удар. Генрих Иерстен — рулевой — расставил ноги, слегка присел и крепко вцепился в штурвал [1]. Кое-кто перебежал на ют, кое-кто из матросов бросился к вантам [2]. Дэг Дотри одной рукой ухватился за поручни, другой же крепко обхватил за талию Старого Моряка.

Держались все. Кит ударил шхуну в носовую часть сразу за фок-вантами [3]. И в ту же секунду произошло несколько неуловимых по быстроте событий. Один из матросов сорвался и полетел головой вниз с концом [4] в руках; благодаря тому, что он зацепился за что-то ногой подоспевший товарищ вовремя подхватил его и не дал разбиться о палубу.

Сама шхуна задрожала и так качнулась на правый борт, что волна хлынула на палубу. Майкл соскользнул с покатой крыши капитанской рубки и исчез где-то на корме. Ванты с левой стороны фок-мачты [5] вырвались, и фор-стеньга [6], как пьяная, закачалась над палубой.

— Это называется удар! — сказал Старый Моряк.

— Мистер Джэксон, мерьте воду в трюме! — скомандовал капитан.

---

1 Рулевое колесо на палубе.

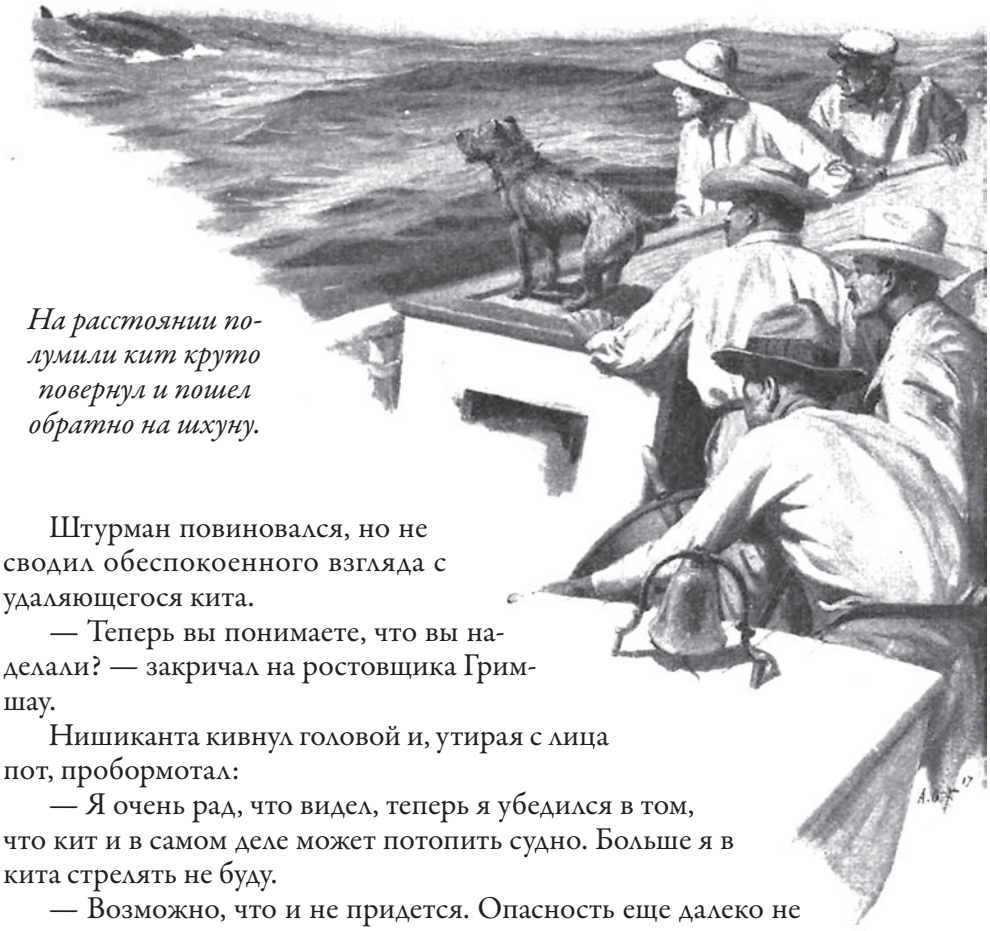
2 Тросы, удерживающие мачту с боков.

3 Ванты, удерживающие фок-мачту.

4 Концами называют всякие канаты, веревки.

5 Мачта в носовой части судна.

6 Верхняя, приводная часть фок-мачты.



На расстоянии полумили кит круто повернул и пошел обратно на шхуну.

Штурман повиновался, но не сводил обеспокоенного взгляда с удаляющегося кита.

— Теперь вы понимаете, что вы наделали? — закричал на ростовщика Гримшау.

Нишиканта кивнул головой и, утирая с лица пот, пробормотал:

— Я очень рад, что видел, теперь я убедился в том, что кит и в самом деле может потопить судно. Больше я в кита стрелять не буду.

— Возможно, что и не придется. Опасность еще далеко не миновала, — сказал капитан. — Кит, атаковавший «Эссекса», налетал на него раз за разом, а я полагаю, что нравы китов за несколько лет измениться не могли.

— Воды нет, сухо! — отрапортовал капитану штурман.

— Идет обратно! — крикнул Дотри.

На расстоянии полумили кит круто повернул и пошел обратно на шхуну.

— Вы там, на носу, отойдите! — крикнул капитан только что вынырнувшему с котомкой в руках из кубрика матросу, над головой которого качалась фор-стеньга.

— Собрался бежать! Как крыса с тонущего корабля, — шепнул Дотри на ухо Старому Моряку.

— Все мы крысы, — ответил тот, — я убедился в этом там, когда был в Рабочем Доме.

Общее волнение и беспокойство передались и Майклу. Он снова забрался на крышу капитанской рубки; в то время, как другие готовились принять новый удар, он глядел на приближающееся чудовище и рычал.

На этот раз кит ударил «Мэри Тернер» перед самыми бизань-вантами, она качнулась вправо, и в то время как Майкл летел с крыши рубки, на палубе раздался треск ломающегося дерева. Ударом в руль выбит был штурвал, в который судорожно вцепился Генрих Иерстен и последний вместе с ним полетел прямо на капитана Доана, оторванного от поручней силой того же удара. Оба покатились по палубе. Нишиканта, проклиная все и вся, стоял прижавшись к рубке; отрываясь от поручней, он сорвал себе все ногти на руках.

— Вся эта катастрофа дело ваших рук и, если вы вздумаете поднять руку на мою собаку, вам не видать конца истории!

Дотри привязал Старого Моряка концом к бизань-мачте[1] и дал ему конец в руки. Капитан Доан, едва переводя дыхание, подполз к поручням, ухватился за них и поднялся на ноги.

— И принесло же ее! — хрипло пробормотал он и, прижимая руку к боку, чтобы утихомирить боль, крикнул штурману:

— Измерить воду в трюме и продолжать измерять, не переставая!

Несколько матросов, пользуясь спокойным моментом, не обращая внимания на качающуюся над головами их фор-стеньгу нырнули под бак укладывать свои пожитки. Увидав поднимающегося на палубу со своим круглым чемоданом повара А Моя, Дотри приказал Квэку собрать и их вещи.

— Воды нет, — снова рапортовал капитану штурман.

— Продолжать мерить, — приказал капитан, уже оправившись от своего столкновения с рулевым. — Мерить не переставая! Кит опять идет! Ни одна шхуна не выдержит такой бомбардировки!

Между тем Дотри удалось подхватить Майкла под мышку, свободную же руку он держал наготове, чтобы вовремя ухватиться за ванты...

Поворачивая обратно, кит настолько потерял ориентировку, что пронесся в футах двадцати от кормы. Однако поднятое им волнение было настолько велико, что «Мэри Тернер» низко присела и поклонилась морю.

— Если бы попала... — начал капитан Доан.

— То был бы нам каюк, — договорил Дотри.

Отплыв ярдов двести кит снова повернул и, на этот раз не промахнувшись, ударил шхуну в нос с правой стороны. Он задел спиной форштевень и казалось только чуть царапнул мартингик[2] и, тем не менее, нос ее так сильно поднялся, что вода доходила до поручней кормы. Но это было не все, — ватерштаг[3], мартингик все было снесено так же, как и все леера[4] с правой стороны до самого бушприта[5], последний отклонился под прямым углом влево, затем приподд-

---

1 Мачта в кормовой части судна.

2 Мартингик — распорка у бушприта.

3 Ватерштаг — цепи, идущие от бушприта к форштевню

4 Леер — туго натянутая веревка с закрепленным концом.

5 Бушприт — толстое рангоутовое дерево, выдающееся с носа судна.

нялся на еще не сорванных штагах стеньги, стеньга отделилась от фок-мачты и грохнулась на палубу, бушприт при этом глубоко нырнул в воду, вынырнув, поплыл рядом с бортом.

— Уберите куда-нибудь вашу собаку, — в бешеной злобе крикнул Нишиканта Дотри, — если вы не...

Майкл на руках Дотри рычал и угрожал не только киту, но и всей этой грозной вселенной, которая поселяет такую панику среди двуногих богов его плавучего мирка...

— Вот за это, — зарычал на ростовщика Дотри, — я дам ему ворчать, лаять и выть, сколько ему будет угодно! Вся эта катастрофа дело ваших рук и, если вы вздумаете поднять руку на мою собаку, вам не видать конца истории! Вы мерзкий ростовщик, извольте это помнить!

— Правильно! Правильно! — одобрял Старый Моряк. — Как вы думаете, стюард, не найдется ли какого-нибудь куска паруса или одеяла, а то канат мне больно режет в том месте, где у меня не достает трех ребер.

Дотри бросил Майкла на руки старика.

— Подержите его, сэр, и, если этот ростовщик хоть пальцем его тронет, плюйте ему в лицо, кусайте его, что хотите делайте с ним. Я обернусь в один момент; он вас обидеть нс успеет. А собака пусть рычит и лает сколько ей угодно. Один ее волосок дороже миллиарда таких поганых ростовщиков.

Стремительно помчавшийся в каюты Дотри через минуту был уже снова на палубе с подушкой и тремя простынями в руках. Он устроил старика так, чтобы ему было удобно и мягко и взял у него собаку.

— Появилась вода! — отрапортовал капитану штурман. — Шесть, нет, семь дюймов, сэр!

Матросы, прыгая через обломки фор-стенги, побежали в кубрик укладывать свои вещи.

— Изготовить шлюпку с правого борта, мистер Джэксон,— не сводя глаз с уплывающего для нового разбега кита приказал капитан Доан.— Изготовить! Не спускать. а то при следующем набеге кит может ее разбить. Команда! Укладывать вещи и выносить на палубу припасы, бочки с пресной водой.

Тотчас же были развязаны найтовы, лодка была приготовлена к спуску, и люди побежали собирать свои вещи.

На этот раз кит ударил «Мэри Тернер» в бок, наискось, в самую середину, так что с кормы можно было и видеть, и слышать, как весь левый борт шхуны вогнулся и снова выгнулся. Шхуна качнулась вправо, вода хлынула через борт с такой силой, что работавшим у шлюпки матросам она оказалась по колено.

— Живей, шлюпку за борт!

Шлюпка повисла над водой, у борта шхуны.

— Десять дюймов, сэр, вода быстро прибывает! — рапортовал штурман.

— Иду за своими приборами, — сказал капитан и на пороге своей рубки он обернулся и сказал по адресу Симона Нишиканта, — и за своим собственным хронометром.

— Полтора фута и прибывает! — крикнул вслед капитану штурман.

— Надо и нам укладываться, — сказал Гримшау и пошел вслед за капитаном в каюты.

— Стюард, — сказал Нишиканта, — спуститесь вниз и соберите мою постель, остальные вещи я уложу сам.

— Убирайтесь вы к черту, мистер Нишиканта, со всеми вашими пожитками! — ответил Дотри и, сейчас же обернувшись к Старому Моряку, сказал: — Подержите Киллени, сэр, я о ваших вещах позабочусь. Есть у вас что-нибудь, чем вы особенно дорожите, сэр?

Джэксон присоединился к укладывавшим в каюте свои вещи, и в это самое время кит нанес «Мэри Тернер» новый удар. Захваченных врасплох в каюте людей отбросило к стене, и из каюты Симона Нишиканта послышались отчаянные вопли и проклятия, и заявления о том, что он разбил себе ребра о перила койки. Невероятный грохот и треск покрыл его голос.

— Одни щепки останутся от этого судна, одни щепки! — говорил капитан Доан, поднимаясь на палубу со своим хронометром в руках.

Передав хронометр на хранение одному из матросов, капитан Доан снова сошел в каюту, откуда Дотри помог ему вынести наверх сундучок. В свою очередь капитан помог Дотри вынести вещи Старого Моряка. После этого капитан Доан при помощи растерянных матросов и при содействии Дотри стал вытаскивать на палубу провиант: ящики с рыбой и мясом, с банками варенья, с бисквитами и всевозможными консервами, одним словом со всеми патентованными продуктами питания в жестяных банках, какими только располагают теперь уходящие в дальнее плавание суда.

Последними наверх на палубу вышли Дотри и капитан Доан. Оба невольно посмотрели на верх, где еще за минуту перед тем была на своем месте крюс-стеньга. Теперь там было пусто и в следующий момент, на глазах капитана и стюарда крюс-стеньга, прорвав контра-бизань, поддерживаемая в вертикальном положении толстым парусом, раскачивалась взад и вперед, все больше и больше разрывая последний, в то же время грот-стеньга рухнула на палубу и легла поперек, загородив проход в переднюю каюту.

Пользуясь тем, что в своем горе разрушающий судно кит уплыл для нового разбега, все бросились к готовой для спуска шлюпке. На палубе у самого борта была уже навалена порядочная груда ящиков, бочек с водой, сундуков и чемоданов. Принимая во внимание, что кроме всего того в шлюпке должны были еще поместиться и все снующие по палубе растерянные люди, можно было опасаться, что шлюпка эта будет очень перегружена.

— Матросы нам нужны, нам нужны гребцы, — сказал Симон Нишиканта.

— А вот нужны ли вы нам, это еще вопрос! — мрачно проговорил в ответ на это заявление Гримшау. — Вы занимаете слишком много места и к тому же большая скотина.

— Полагаю, что я нужен и у меня есть средство убедить вас в этом, — ответил ростовщик и, от поспешности отрывая пуговицы своей нижней рубашки

показал большой ревельвер Кольта. Он держал его наготове, под мышкой левой руки на голом теле так, чтобы в случае надобности правой спустить курок.
— Теперь я полагаю, что вы согласитесь с тем, что мне в этой лодке место быть должно, так же как его не будет для всех тех, кого я сочту нам непригодными.

— Раз вы настаиваете так категорически, — с насмешкой согласился Гриммшау, но в то же время его рука делала жест задушить кого-то. — Кого же вы считаете для себя непригодным? — все также насмешливо спросил он ростовщика, — вероятно негра, у него ведь нет револьвера.

Но эти его слова покрыл невероятный грохот. Новым ударом в корму кит снес руль и рулевые снасти.

— Как вода? — спросил штурмана капитан Доан.

— Три фута, сэр. — Я полагаю, сэр, что самое разумное будет сейчас же погрузиться и тотчас же после следующего удара отойти.

Капитан Доан кивнул головой в знак согласия.

— Ну-с, живо, стюард прыгайте в лодку, я вам передам хронометр.

Нишиканта воинственно приподнял свою толстую физиономию и, показывая револьвер, сказал:

— Всем в лодке места не будет. Без стюарда мы можем обойтись. Извольте помнить, что стюард один из тех, кого мы не берем.

Капитан спокойно посмотрел на револьвер, потом вспомнил свои дома в Сан-Франциско и пожал плечами.

— Да, лодка будет перегружена во всяком случае. Ну, полезайте вперед, если сами желаете идти на этой шлюпке. Но извольте и вы помнить, что моряк я и, если вы хотите еще раз увидеть вашу ростовщическую контору в Сан-Франциско, вы меня должны всячески беречь. Стюард!

Дотри подошел.

— Вам не будет в этой шлюпке места... вам и еще двум-трем... я очень сожалею...

— Благодарю вас, сэр, я только одного и боялся — это того, что вы потребуете, чтобы я ехал с вами. Квэк, носить мой вещи шлюпка лево!

Квэк побежал исполнять приказ. В это время штурман, в последний раз вымеривший трюм, отрапортовал, что вода поднялась на три с половиной фута. Матросы грузили последние мелкие вещи.

Долговязый, худой, узкоплечий молодой матрос-скандинавец, с бледно-голубыми, почти белыми глазами, таким же цветом лица и волосами побежал помогать Квэку.

— Долговязый Джон, куда вы? Ваше дело у этой лодки, — окликнул его штурман.

Скандинавец слабо улыбнулся и смущенно ответил:

— Я бы хотел идти на одной шлюпке с коком.

— Да пусть едет где хочет, чем меньше нас будет в этой шлюпке, тем лучше, — вмешался Нишиканта. — Может быть, кто-нибудь еще пойдет в ту лодку? — спросил он.

— Мое пиво, если, конечно, вы не вздумаете из-за него со мной сражаться, — насмешливо сказал Дотри.

— Из-за двух-то центов, — прошипел Нишиканта.

— Из-за двух биллионов не решитесь вы со мной сразиться, вы, кровопийца вы этакий! Их вы оседлали, но я-то вам цену знаю. Джон, тащите пиво и вообще половину этих припасов к ним в шлюпку. Ну, что,— обратился он снова к ростовщику,— посмеете что-нибудь возразить?

Симон Нишиканта и не посмел и не знал, что ему предпринять и, к тому же, в эту самую минуту раздался возглас:

— Кит идет!

И каждый поторопился за что-нибудь ухватиться. «Мэри Тернер» зашаталась, послышался треск ломающегося дерева.

— Спускать! Живо!

Приказ был быстро исполнен, и лодка, на секунду вздернутая вверх, опустилась на воду у самого борта шхуны, с которой в нее посыпались остатки провианта и вещей.

— Раз вы так спешите, сэр, позвольте вам помочь, — сказал капитану Дэг Дотри и взял у него хронометр с тем, чтобы передать его ему прямо в лодку.

— Гринлиф, идите же! — крикнул Старому Моряку Гримшау.

— Очень благодарен, сэр, но я думаю, что мне в другой шлюпке будет свободнее.

— Кок должен ехать с нами, — крикнул устроившийся на лучшем месте, на корме лодки, Нишиканта. — Ну, вы там, желтая обезьяна, прыгайте скорей.

Но маленький старый А Мой еще не решил. В голове его происходила сложная работа. С одной стороны перед ним торчало дуло револьвера ростовщика, с другой была проказа Квэка и Дотри; взвесив также перегрузку одной лодки и легкий груз другой, А Мой сказал:

— Мой пошел та лодка, — и потащил свои пожитки на другую сторону палубы.

— Отчаливай! — скомандовал капитан.

Ньюфаундлендский щенок Скрэбс, принимавший все просходящее за игру, увидав, что столько людей попрыгали в лодку, тоже перемахнул через борт и очутился на груде багажа.

Шлюпка покачнулась, Нишиканта поднял револьвер и заорал:

— Назад! Бросьте этого щенка обратно на палубу!

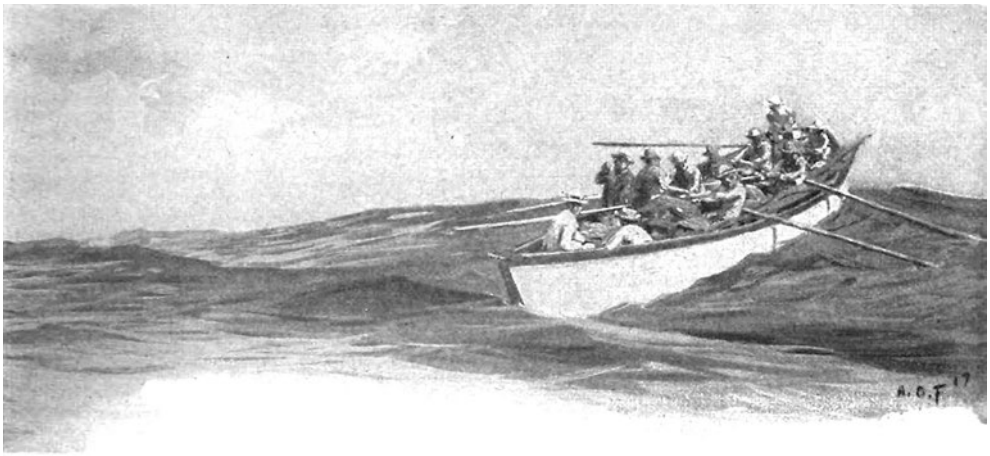
Матросы повиновались и озадаченный Скрэбс перелетел через борт и упал на палубу тонущей шхуны. Но и это он принял за грубую шутку и в ожидании, что с ним проделают еще что-нибудь, весело катался по палубе. Однако, когда он докатился до стоявшего тут же на свободе Майкла, тот, в ответ на его товарищеское приветствие, строго зарычал.

— Придется и его взять с собой, — сказал Дотри и погладил щенка по голове, за что последний благодарно облизнул ему руку.

— Дайте мне курс на Маркизовы Острова! Какое расстояние от этого места?

Ни один первоклассный стюард не может быть первоклассным стюардом не будучи расторопным. А Дэг Дотри был первоклассным стюардом. Пристроив Старого Моряка в безопасном уголке, приставив долговязого Джона к работе у шлюпки, он послал Квэка наполнять бочки оставшейся в баках пресной водой, сам же при помощи А Моя принялся собирать и таскать к шлюпке скудные остатки оставленного первой шлюпкой провианта.

Перегруженная людьми, провиантом и всяким багажом первая шлюпка на веслах спешно отходила от центра опасности, каковым сейчас являлась шхуна «Мэри Тернер». Однако, едва она отошла на сто ярдов, как кит, благополучно миновав шхуну, так близко и на всех парах промчался около шлюпки,



— Северо-северо-восток, — четверть румба на восток,
— послышался едва слышный ответ.

что чуть-чуть не столкнулся с ней. Он проплыл так близко, что гребцы задели его веслами. Поднятое китом волнение с такой силой качнуло лодку, что она зачерпнула воды. Стоявший у своего удобного места на корме Симон Нашиканта, желая удержать равновесие, невольно выпустил из рук и уронил в воду свой револьвер.

— Ха, ха! — залился торжествующим смехом Дотри. — Ну, теперь вы можете его оседлать, теперь он у вас в руках, теперь он в полном вашем распоряжении, можете с ним делать все, что хотите! Когда у вас дело дойдет до голодовки, можете его скушать прежде всего. Мясо у него, конечно, вонючее, потому ведь он грязное животное, но ничего, вы его перед тем, как будете кушать, посолите на ночь.

Занимавший на носу лодки не очень-то удобное место Гримшау, так же, как и Дотри, сразу оценил изменившееся положение. Он вскочил со своего места, схватил ростовщика за шиворот и швырнул его лицом вниз на дно лодки.

— Ха-ха! — на расстоянии ста ярдов, стоя на палубе шхуны, смеялся Дотри.

Гримшау, заняв освободившееся удобное место на корме, крикнул Дотри:

— Хотите ехать с нами?

— Нет, благодарю вас, сэр. Я тут не один, и мы лучше устроимся в другой шлюпке.

В то время как шлюпка с отчаянно гребущими матросами быстро уходила, Дотри вместе с А Моем забирали последние остатки провизии. Они были внизу, когда кит снова ударил шхуну с левой стороны, в середину и хлестнул ее при этом хвостом так, что ванты, поручни, цепи, все у бизань-мачты оказалось сорванным. Сильной волной качнуло шхуну, и бизань-мачта рухнула.

— Опять ударил, — выскочив наверх и глядя на новые разрушения сказал Дотри сопровождавшему его А Мою.

В то время как А Мой побежал забрать остатки провизии в кухне, Дотри, Квэк и Долговязый Джон приготовили к спуску вторую шлюпку.

— После следующего удара спустим, побросаем все, что можно в шлюпку и отчалим,— сказал Дотри Старому Моряку.— У нас еще много времени, быстрей, чем сейчас, шхуна погружаться в воду не будет.

Однако уже и сейчас шпигат был на уровне воды, хотя шхуна и в самом деле опускалась очень медленно.

— Эй! — во весь голос крикнул, вспомнив что-то важное, Дотри по направлению удаляющейся первой шлюпки, капитану Доану. — Дайте мне курс на Маркизовы Острова! Какое расстояние от этого места?

— Северо-северо-восток, — четверть румба на восток, — послышался едва слышный ответ. — Правлю на Нука-Хива. Около двухсот миль. Держитесь по северо-восточному ветру, ошибки не будет.

— Благодарю вас, сэр, — ответил Дотри и побежал отвинчивать подзорную трубу и компас, чтобы отнести их в лодку.

Новый удар кита заставлял себя ждать, и остающиеся на шхуне уже начинали думать, что, быть может, чудовище и вовсе больше к шхуне не вернется. «Мэри Тернер» между тем торжественно и медленно погружалась в воду.

— Пожалуй, можно рискнуть... — начал было говорить Долговязому Джону Дотри, но в эту минуту откуда-то снизу раздался жалобный голос:

— Кокки! Кокки! — и сейчас же тот же голос сердито закричал: — Черт возьми! Черт возьми!

— Нет, конечно, нет! — крикнул Дотри и, с трудом пробираясь через груды всевозможных обломков, поспешил спуститься в каюты. Там, на краешке койки сидела белоперая маленькая птичка с розовым хохолком и самым настоящим человеческим голосом проклинала этот беспокойный мир с его судами и людьми на этих судах.

Дотри приглашающе протянул ей свой указательный палец, и она тотчас на него вспорхнула, потом пробралась вверх по его рукаву к нему на плечо, ухватилась лапками за воротник его рубашки так, что ее коготки больно царапали ему шею и, прижавшись к его щеке, склонилась к его уху, и голосом, полным благодарности и освобождения, сказала:

— Кокки, Кокки!

— Ах ты, важная птица!

— Ах ты, важная птица!

— Слава вам, слава, — ответила птичка голосом, до того похожим на голос Дотри, что он удивился.

— Ах ты, важная птица,— повторил он и, прижавшись щекой к белой с розовым хохолком головке какаду, сказал:

— А есть люди, которые думают, что весь мир существует только для человека.

Кит все не возвращался, а между тем на палубе вода была уже по щиколотку. Дотри приказал спустить шлюпку. Первый в нее прыгнул А Мой. Но напрасно Дотри подумал, что он сделал это из трусости и поспешности оставить тону-

щую шхуну, — он сделал это для того, чтобы занять место подальше от того, где будут сидеть Дотри и Квэк.

Благополучно погрузившись и расчистив себе среди вещей места, каждый занял свое. На носу на веслах сидел А Мой, на следующих веслах — Долговязый Джон и Квэк, ближе к корме — Дотри с Кокки на плече. На самой корме, на груде ящиков и чемоданов стоял Майкл. Он сосредоточенно смотрел на «Мэри Тернер» и не переставая ворчал на глупого щенка Скрэбса, который хотел затеять с ним игру. Старый Моряк стал у руля и, когда все было готово, дал знак сделать первый взмах веслами.

Вдруг Майкл ощетинился и зарычал, и все сразу поняли, что кит не только приближается, но уже близко. Однако на шлюпку кит не обратил никакого внимания. Он описывал круги вокруг шхуны, как бы рассматривая своего противника.

— Пари держу, что у него у самого голова от всех этих ударов болит и он начинает это чувствовать, — сказал Дотри, чтобы развлечь и поддержать дух своих спутников.

Едва они сделали взмахов двенадцать веслами, как возглас Джона заставил всех посмотреть на бак шхуны, где, стремительно гоняясь за большой крысой, носилась судовая кошка: кое-где шныряли и другие крысы очевидно выгнанные на палубу подступавшей водой.

— Нельзя же оставить нашу кошку, — значительно сказал Дотри.

— Конечно, нельзя, — ответил Старый Моряк и круто повернул руль, направляя лодку обратно к шхуне. Но им не сразу удалось подойти к ней, им пришлось дважды приостанавливаться и пропускать кита, который продолжал описывать круги вокруг шхуны.

С этой шхуны был убит ее детеныш, и потому в своем отчаянии и горе она мстила ей, на лодку же она не обратила внимания даже тогда, когда последняя, забрав кошку, благополучно и окончательно отошла от тонущего судна. Кит опять спокойно поплыл в море готовиться к новому нападению на своего врага «Мэри Тернер».

— Ну, на этот раз ей не выдержать: она пойдет ко дну.

— Сейчас увидим, — сказал Дотри.

И это был последний и самый сильный из нанесенных китом «Мэри Тернер» ударов. Перила, обломки мачт, щепки, все взлетело в воздух; шхуна качнулась так, что половина ее корпуса обнажилась и мокрая заблестела на солнце. В то время как она медленно приподнималась, грот-мачта раскачивалась в воздухе, но не упала.

— Пробил дно, — сказал Дотри, глядя на бессмысленно плескающегося гигантскими брызгами кита.

— Шхуна тонуть вода, — сказал Квэк в ту минуту, как исчезли под водой борта «Мэри Тернер».

Теперь она быстро шла ко дну. Не прошло и нескольких секунд, как совершенно исчезла под водой и грот-мачта. На поверхности воды плавал один только кит.

— И нельзя будет даже похвастать, — произнес эпитафию «Мэри Тернер» Дотри. — Никто не поверит, чтобы кит мог потопить такое крепкое, такое основательное судно. Нет, сэр, не поверят. Ведь и я не поверил тому старику на Гонолулу, который рассказывал мне, что он один из спасшихся с потопленного китом «Эссекса». И нам тоже не поверят.

— Какая красавица шхуна! Какая шхуна! — горевал Старый Моряк. — Ни на одном трехмачтовом судне не видал я такой красивой оснастки.

А холостяк Дотри, всю жизнь дороживший своей свободой, смотрел на свою многочисленную, погруженную в эту лодку семью, за которую он теперь должен нести ответственность и которая состоит из Квэка, чернокожего папуаса, которого он спас от его воинственных сородичей, маленького китайца, старика А Моя, почтенного, любимого и уважаемого Старого Моряка, долговязого скандинава Джона, ростом гиганта, а умом младенца, чудо-собаки Киллени-Боя, невозможно-глупого щенка Скрепса, Кокки, белоперой птички, властной, как сталь, и обаятельно-ласковой, как ребенок и, наконец, из сидящей в ногах китайца-повара спасенной с бака тонущей шхуны кошки. А до Маркизовых островов целых двести миль, если идти с попутным ветром, который стих, но поднимется, — это так же верно, как и то, что утром на небе восходит солнце.

Стюард подавил невольный вздох. Ему вспомнилась сказка, которую он читал когда-то в детстве, сказка про старушку, которая жила в башмаке.

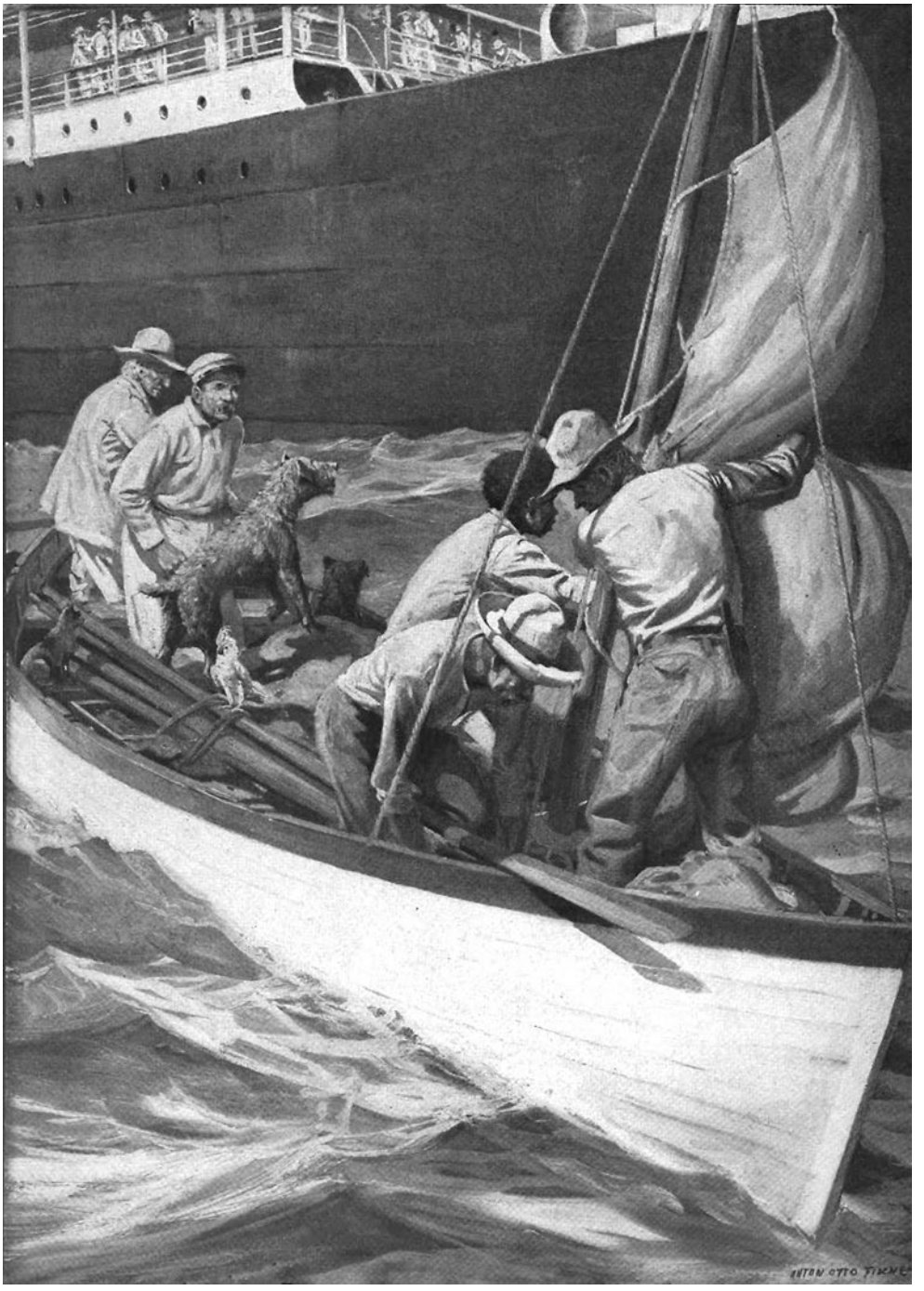
Он вытер обратной стороной руки со лба пот и при этом определенно почувствовал онемелое место у себя на лбу между бровями.

— Ну, дети мои, — сказал он, — хоть до Маркизовых островов нам на веслах и не дойти, потому что для этого нам требуется попутный ветер, все же положить между нами и этой сердитой самкой кита две-три мили не мешает. Может быть и ничего, а кто знает, что ей в голову взбредет. Все-таки лучше от нее подальше.

ГЛАВА XVI

Спустя два дня на совершавшем свой обычный рейс между Таити и Сан-Франциско пароходе «Марипоза» пассажиры вдруг бросили свои занятия и развлечения, и все кинулись на палубу, к борту, смотреть на подплывающую к ним лодку. Когда Большой Джон, при помощи А Моя и Квэка, спустил паруса и вынул мачту из степса, на пароходе раздался смех. То, что они увидели, было слишком мало похоже на то представление, которое каждый из них имел о шлюпке спасающихся от кораблекрушения в океане людей.

Эта шлюпка напоминала Ноев ковчег. Чего в ней только не было! И постельное белье, и куски какой-то ткани, и ящики с пивом, кошка, две собаки, белый какаду, и китаец, и чернокожий, и белокурый великан-матрос, и пожилой Дэг Дотри, и, наконец, старый моряк, который всем своим обликом уди-



Когда Большой Джон, при помощи А Моя и Квэка, спустил паруса и вынул мачту из степса, на пароходе раздался смех.

вительно подходил ко всей этой компании, как бы пополняя общую картину и завершая ее. Какому-то весельчаку, совершавшему морскую прогулку в виде отдыха от занятий, вздумалось назвать Старого Моряка Ноем. Так он его и приветствовал с парохода:

— Ну что, друг Ной, опять попал в потоп и решил отдохнуть у нас здесь на Арарате?

— На рыбную ловлю ездили? — крикнул другой юный шутник.

— Боже милостивый, да у них там пиво! И хорошее английское пиво! Уступите мне ящичек!

Вряд ли кто-либо видел более забавную компанию людей, удачно спасшихся после кораблекрушения. Молодежь так и объявила, что к ним на пароход явился Ной с остатками колен Израилевых, и принялась рассказывать пожилым дамам страшные истории и всякие небылицы, от которых у последних волосы становились дыбом.

— Я — стюард потонувшего парохода,— представился капитану парохода «Марипоза» Дэг Дотри.— Я был бы благодарен, если бы вы мне отвели койку, мне и другим служащим. Большого Джона можно поместить вместе с матросами, китаец был у нас на судне поваром, а негр состоит при мне. Что же касается мистера Гринлифа, то я должен предупредить вас, сэр, что это настоящий джентльмен и потому ему следует отвести одну из лучших ваших кают.

Когда стало известно, что это была горсточка людей, только что потерпевших крушение на пароходе, потопленном китом, этому рассказу так же мало поверили, как и тем небылицам, которыми молодежь старалась напугать пожилых дам.

— Капитан Говард, — спросила одна из последних капитана, — неужели вы думаете, что кит может потопить такой пароход, как наша «Марипоза», например?

— Ей еще никогда не приходилось тонуть таким образом, — добродушно ответил капитан.

— Я так и думала! — горячо ответила дама. — Разве пароходы строят для того, чтобы они тонули из-за каких-то китов? Разве я не правду говорю, капитан?

— Несомненно, — ответил капитан. — Однако все пять человек утверждают, что их судно потерпело крушение именно от кита.

— Но ведь моряки известны своей склонностью привирать, — изрекла довольно пошлую истину дама. — Не правда ли, капитан?

— Больших вралей я не знаю. Скажу даже больше: проплавав сорок лет по морю, я даже сам себе под клятвой верить перестал!

Спустя девять дней «Марипоза» прошла Золотые Ворота и подошла к Сан-Франциско. Компания потерпевших крушение на «Мэри Тернер» быстро разбрелась. Так, Большой Джон сейчас же направился в общежитие моряков, записался в союз, затем устроился грузчиком на паровую шхуну и скоро совершенно пропал из виду. А Мой, едва ступив на берег, побежал в эмиграци-

онную контору, при посредстве которой был отправлен в Китай на ближайшем почтовом пароходе. Захваченная в последнюю минуту со шхуны «Мэри Тернер» кошка пошла обратно к Таити на «Марипозе», один из матросов которой успел ее к себе приручить. Другой матрос свел на берег и оставил на попечении своей семьи в Сан-Франциско Скрэпса.

Что касается Дэга Дотри, то он, сойдя на берег со своей семьей, состоящей из Старого Моряка, Квэка, Майкла и Кокки, нанял две небольшие комнаты, так как сбережения его были невелики и более дорогого помещения он себе нанять не мог. Старому Моряку, однако, он не позволил оставаться у себя долго.

— Нам надо дело делать, сэр! — сказал он ему через несколько дней.— Нам надо заинтересовать и привлечь капитал, а сделать это можете только вы. Поэтому нам необходимо сегодня же купить два чемодана, с которыми вы сядете в автомобиль и шикарно подкатите к парадному подъезду «Бронкс-отеля». Это очень солидный и в то же время не такой уж дорогой отель; поставлен он на европейскую ногу, но при умении можно и там жить экономно. Комнату надо взять окнами во двор, но хорошую; экономить можно будет столуясь где-нибудь в более дешевом месте.

— Но, дорогой стюард, ведь у меня на все это нет денег! — запротестовал Старый Моряк.

— Это ничего не значит, сэр! За все платить буду я, пока у меня есть деньги.

— Но, мой милый, хоть я и старый плут, но обставлять вас я не намерен. Ведь вы — мой друг! Или вы этого не знаете?

— Знаю и чувствую, сэр, и очень вам за это благодарен, и потому-то я и хочу с вами работать дальше. Как только вам удастся заполучить новую компанию охотников за кладами, которые снарядят хорошенькое судно, вы возьмете меня в качестве стюарда, а вместе со мной и Квэка, и Киллени-Боя, и все наше семейство. Я так и считаю, что вы меня усыновили. Я ваш великовозрастный сын и потому извольте меня слушаться! «Бронкс-отель» это именно то, что нам нужно. Одно название чего стоит! Или, по-вашему, нет? Надо создать благоприятную обстановку. Ведь публика гораздо больше придает значение отелю, в котором вы живете, чем вам лично. Представьте себе только такую картину: вы сидите, этак развалившись, в кожаном кресле, с сигарой в зубах, а на столике рядом дорогой напиток. Ведь уж одно это имеет цену! Тут вам нельзя не поверить. Одним словом, сэр, если вы ничего не имеете против, мы с вами сейчас же пойдем и купим два чемодана.

И в самом деле вскоре Старый Моряк важно подкатил к «Бронкс-отелю» на автомобиле, зарегистрировал крупным красивым почерком свое имя: Чарльз Стоу Гринлиф — и принялся за дело, которое вот уже несколько лет давало ему возможность прилично существовать. Энергично принялся за поиски себе заработка и Дэг Дотри. Это было совершенно необходимо, так как расходы у него были немаленькие. Надо было давать кров и стол Квэку, Майклу, Кокки, тратить порядочную сумму на содержание в «Бронкс-отеле» Старого Моряка, а также ежедневно утолять жажду шестью квартами пива.

Между тем это был как раз момент промышленного застоя в Сан-Франциско; царила страшная безработица; предложение труда значительно превышало спрос; на каждое, например, место стюарда на любом судне являлось по крайней мере три кандидата. Ничего постоянного в смысле работы Дотри найти не мог, а случайные заработки не покрывали ежедневных расходов. Дня три удалось ему поработать заступом для городского управления, но затем эта работа ушла — пришлось уступить ее во имя справедливости более нуждающемуся.

Поставить на работу Квэка Дотри не мог при всем своем желании. Чернокожий Квэк за всю свою жизнь бывал только на родном своем острове Короля Вильгельма; видел еще Сидней, да и то настолько, насколько мог его видеть с палубы парохода. Потому на Квэка было возложено все несложное домашнее хозяйство. Он готовил и хозяйничал в двух маленьких комнатках, обслуживая Дотри, Майкла и Кокки. Для Майкла, привыкшего бегать по просторной палубе, на тропических плантациях и отлогих берегах коралловых островов, жизнь в этих комнатках казалась тюрьмой.

Иногда, по вечерам, сопровождаемый Квэком, следовавшим за ним на некотором расстоянии, Майкл бежал вслед за своим стюардом. Бесчисленное количество «белых богов» на тротуарах и улицах являлось для Майкла настоящим испытанием. Он даже несколько меньше стал уважать их, так что прежнее свое обаяние сохранял для него только обожаемый его стюард, которому он неизменно поклонялся и был бесконечно к нему привязан. Майкл чувствовал себя несколько потерянным среди этого множества белых неведомых богов, и потому Авраамово лоно стюарда казалось ему единственной надежной гаванью, где ему не грозят никакие житейские невзгоды и опасности.

«Не надо давать наступать себе на ногу», — этот лозунг двадцатого века Майкл себе усвоил очень скоро, научившись в буквальном смысле этого слова не давать наступать себе на ногу бесчисленным грубым кожаным, подбитым гвоздями, сапогам людей, которые вечно куда-то торопились и не признавали за ним, четвероногим существом, права идти по одной с ними дороге.

Вечерние прогулки со стюардом обыкновенно сводились к шатанью из одного кабачка в другой. Там, стоя у длинных прилавков или сидя за столиком, люди ели и пили. Пил там и стюард, который возвращался домой спать не раньше, чем выпьет свою порцию пива. Там же стюард, а вместе с ним, конечно, и Майкл, завели много новых знакомств. Посещались эти кабачки по преимуществу приезжающими и местными портовыми матросами, рабочими, грузчиками. Один из случайных таких знакомых Дэга Дотри, капитан Иергенсон, обещал ему взять его к себе на шхуну в качестве повара, если ему удастся разделаться с оказавшимся непригодным поваром Хенсоном. Но обещание это так и осталось обещанием. А между тем, если бы капитан Иергенсон свое обещание исполнил, и Майкл попал на его шхуну «Ховвард», вся последующая судьба его сложилась бы совсем иначе. Однако, в силу ли слепого случая, или целого ряда случайностей, дальнейшая судьба Майкла, стюарда и Квэка сложилась так, как им не могло это присниться в самом страшном кошмарном сне.

ГЛАВА XVII

Однажды ночью Дотри сидел в одном из таких кабачков. Положение его становилось более чем печальным. Все труднее становилось найти хоть какую-нибудь поденную работу, а, между тем, деньги его таяли. Несколько раньше, в этот же вечер, он имел разговор по телефону со Старым Моряком. Единственно, что последний мог сообщить ему, это то, что как раз сегодня довольно сильно клюнул доктор-шарлатан, оставивший практику.

— Стюард, позвольте мне заложить мои кольца, — не в первый раз упрашивал его по телефону Старый Моряк.

— Ни в каком случае, сэр,— упорно отвечал Дотри.— Эти кольца — наш основной капитал. Они создают атмосферу, они по-своему красноречивы. Я что-нибудь изобрету сегодня ночью и повидаю вас завтра утром! С кольцами не расставайтесь, а доктора ведите так, чтобы он сам к вам шел. Это единственный способ! И не волнуйтесь! Дэг Дотри еще никогда не пропадал.

Однако теперь, сидя за этим столиком, он сознавал, что близок к тому, чтобы пропасть. У него в кармане оставалось ровно столько денег, сколько было нужно заплатить за комнаты за неделю; он уже на три дня задержал уплату и хозяйка, женщина с довольно-таки неприятным, черствым лицом, добивалась этой уплаты шумно и настойчиво. Продуктов, при большой расчетливости, могло хватить всего на один день.

Скромный счет «Старого Моряка» в отеле не был уплачен уже за две недели, а в кармане его оставалось два доллара, которыми он должен был позвякивать, пуская пыль в глаза наклевывающемуся доктору. Но самое ужасное было то, что Дотри принужден был сократить свою ежедневную порцию пива с шести кварт на три. Иначе ему пришлось бы тронуть деньги, предназначенные на оплату квартиры, что было равносильно тому, чтобы он со всей своей семьей очутился на улице. Вот почему сейчас, сидя за столиком с капитаном Иергенсоном, он придумывал выход из своего положения. Они уже выпили по две кружки пива, и капитан Иергенсон, по-видимому, собирался этим и ограничиться, так как откровенно зевал и поглядывал на часы.

Страстное желание выпить еще кружку пива внушило Дотри удачную мысль.

— Знаете, капитан, — сказал он, — ведь мой Киллени-Бой страшно умен, — он умеет считать не хуже нас с вами!

— Ну вот! — недоверчиво пробурчал капитан Иергенсон. — Знаю я эти фокусы и представления с дрессированными животными! Все это один обман. Собаки и лошади не могут считать!

— А я вам говорю, что эта собака умеет считать — уверенно настаивал Дотри. — И вы ее никак не обсчитаете. Хотите пари? Закажем сейчас лакею, громко, при Киллени, — так, чтобы он ясно слышал сколько, — две кружки пива, и затем шепнем лакею, чтобы он принес только одну, и вы увидите, какой ему Киллени за это устроит скандал.

— Ха, ха! На что-же мы будем держать пари?

Дотри нащупал в кармане свои последние десять центов. Если почему-либо Киллени окажется не на высоте, придется тронуть квартирные деньги. «Но нет, Киллени не подведет своего стюарда!» — решил Дотри и потому сказал:

— Держим пари на две кружки пива.

Сейчас же лакею была дана тайная инструкция принести вместо двух, которые ему будут заказаны громко кружек пива, одну. Затем Дотри подозвал к себе лежавшего у ног Квэка Майкла.

Когда стюард подозвал его к столу и, подвинув стул, предложил ему на него вскарабкаться, Майкл сразу понял, что стюард от него хочет чего-то особенного. При этом его занимало не то, что он должен для своего стюарда проделать, а то, что он должен это проделать для того, чтобы выявить стюарду свою к нему любовь. Для Майкла любить и служить тому, кого любишь, были два неразрывно связанные понятия. Любить для него значило служить.

— Человек! — громко позвал Дотри лакея. — Две кружки пива! — заказал он ему и, обращаясь к Майклу, повторил: — Ты слышал, Киллени: «две» кружки!

Майкл вскарабкался на стул, положил лапу на стол и лизнул в сторону наклоненного к нему лица Дотри.

— Он не забудет, что заказано две кружки пива, — сказал Дотри капитану.

— Забудет, если мы сейчас отвлечем его каким-нибудь громким разговором, — сказал капитан и предложил:

— Давайте болтать всякую всячину и погромче. Ну-с, начнем.

Дотри кивнул головой в знак согласия и завел с капитаном громкий спор, за которым Майкл следил с напряженным вниманием, то и дело переводя глаза с одного собеседника на другого.

— Пари выиграю я,— сказал капитан, увидев приближающегося к их столу лакея с кружкой пива на подносе.— Если ваш «Уоу-Уоу» и понял, когда вы заказывали, то теперь уже он наверно забыл. Он уверен, что мы тут ссоримся и это настолько его занимает, что в его мозгу эти кружки пива смыты так же, как вновь набежавшая волна смывает с песка то, что было намыто предыдущей.

— А я утверждаю, что он не забудет счета, какой бы вы тут шум ни подняли, — уверенно сказал Дотри; но сердце его тревожно забилось.

— Я ему даже никаких знаков делать не буду, — прибавил он все тем же уверенным тоном. — Вы увидите, как он все это проделает.

Большая кружка пива была поставлена перед капитаном Иергенсоном, и последний поспешно обхватил ее рукой. Майкл привстал на задние лапы и посмотрел на стюарда, ожидая, что тот даст ему какой-нибудь знак; но так как тот сидел неподвижно и никаких знаков ему не делал, он посмотрел на стол и, увидав вместо двух кружек пива одну, вдруг привскочил на стуле, положил на стол обе лапы и неистово залаял на лакея.

— Вы выиграли! — загремел капитан. — Человек! Еще одну кружку пива! Я плачу.

Майкл посмотрел на стюарда, как бы спрашивая: то ли он сделал, чего тот от него ожидал. Дотри в знак одобрения положил ему руку на голову.

— Попробуем еще раз, — предложил заинтересовавшийся и оживившийся капитан, утирая обратной стороной руки с усов пивную пену. — Допустим, что он умеет считать до двух, но уж до трех, или до четырех, наверно, нет.

— Нет, может! Он может считать до пяти и знает, что когда больше, то это значит, что предметов больше пяти, хоть названия цифр свыше пяти он и не знает.

— Хэнсон! — позвал с другого конца комнаты капитан своего судового повара. — Идите сюда выпить с нами кружку пива!

Хэнсон пододвинул к столику стул и сел.

— За пиво плачу я,— сказал капитан,— а заказывайте вы, Дотри. Вот видите ли, Хэнсон,— продолжал капитан,— этот «Уоу-Уоу» умеет считать лучше вас. Вот нас здесь трое. Сейчас Дотри закажет лакею три кружки пива, а я подниму два пальца и лакей принесет всего две кружки. Тогда этот «Уоу-Уоу» устроит лакею скандал. Сейчас увидите...

Все опять было проделано Майклом в совершенстве. Он не успокоился до тех пор, пока лакей не принес третью кружку пива.

— Он не считает, он лает просто потому, что видит, что нас трое, а пиво дано только двум. Он привык, чтобы пили все сидящие за столиком.

— Прекрасно, — сказал Дотри, — в таком случае я предлагаю вот что: закажем четыре кружки, тогда у каждого из нас будет стоять по кружке, и тем не менее, вы увидите, что он сделает лакею скандал.

Так и случилось — вполне вошедший в игру Майкл лаял до тех пор, пока лакей не принес четвертую кружку.

Вокруг их стола, между тем, уже собралась порядочная кучка народа, и каждый желал покупать пиво только ради того, чтобы испытать арифметические познания Майкла.

— Чудно, странно устроена жизнь! — философствовал Дотри. — Я только что умирал от жажды, а теперь они готовы утопить меня в пиве!

Многие просили даже продать им Майкла, предлагая при этом смехотворную цену в пятнадцать-двадцать долларов.

— Я вам вот что скажу, — говорил капитан Иергенсон, отведя Дотри в сторону. — Отдайте мне вашего «Уоу-Уоу» и я тут же, сейчас, рассчитаю Хэнсона и возьму на его место вас. Завтра же можете вступить в отправление служебных обязанностей.

Хозяин кабачка, в свою очередь, отвел Дотри в сторону, предлагая ему свою комбинацию.

— Я предлагаю вам пиво бесплатно и пятьдесят центов, если вы согласны проводить здесь у меня в кабачке все вечера и ночи, потому что это привлечет мне публику.

Эти предложения родили в голове Дотри блестящую мысль, которой он и поделился с Майклом, вернувшись домой в ту же ночь, в то время, как Квэк снимал с него сапоги.

— Вот в чем дело, Киллени! Раз трактирщик расценивает вас, друг мой, в пятьдесят центов плюс даровое пиво мне, то я, друг мой, расцениваю вас много дороже, потому что трактирщик ведь ищет только наживы, поэтому он и пиво свое не пьет, а продает. А в том, что вы на нас поработать не откажетесь, Киллени, в этом я уверен. Ведь нам нужны деньги, друг мой! Мы должны содержать Квэка, мистера Гринлифа и Кокки, не говоря еще и о нас двоих! И все мы поглощаем всего очень много. Тут и квартирная плата и все прочее. Чтобы вы сказали, сынок мой, если бы нам с вами завтра толкнуться туда-сюда и посмотреть, не сможем ли мы заработать таким способом малую толику денег?

А Майкл, сидя на коленях у стюарда, нос к носу и глаза в глаза, весь извивался от восторга, облизывался и махал хвостом. Что бы ни говорил стюард, это было прекрасно, раз это говорил стюард.

ГЛАВА XVIII

Пожилой стюард со своим ирландским терьером очень скоро стали весьма заметными фигурами в ночной жизни квартала «Барбари-Коост».

Дотри пришло в голову привлечь к арифметическим сеансам Майкла также и Кокки. Когда лакей приносил меньше кружек пива, чем было заказано, Майкл на это не обращал внимания до тех пор, пока, по тайному знаку Дотри, Кокки, став на одну ножку, другой не начинал теребить за шею Майкла и, наконец, припав к его уху, как будто что-то ему шептал. Тогда Майкл бросал взгляд на стол и сейчас же принимался делать лакею выговор неистовым лаем.

Но успех превзошел всякие ожидания, когда Майкл в первый раз спел со своим стюардом песенку «*Roll me down to Rio*» [1]. Случилось это в одном из посещаемых, главным образом матросами, увеселительных заведений с танцами, на улице Пасифик. Все сейчас же бросили танцевать и устроили Майклу шумную овацию. Хозяин заведения от прекращения танцев нисколько не пострадал, потому что не только никто не уходил, а напротив, толпа посетителей все росла и росла, по мере того как Майкл исполнял все номера своего вокального репертуара.

Из этого было ясно, что Дотри теперь обеспечено не только даровое пиво. Когда он уходил в этот вечер домой, хозяин заведения дал ему три серебряных доллара и стал просить, чтобы он и на следующий день пришел вместе со своей собакой.

— За такие-то гроши? — презрительно взглянув на деньги, сказал Дотри.

Сконфуженный хозяин заведения дал еще два доллара, и Дотри обещал прийти.

— Ничего, сынок мой Киллени, — укладываясь спать, говорил он Майклу, — пока ничего и так, хотя, конечно, мы с тобой заслуживаем гораздо больше

[1] «Отвези меня в Рио».

пяти долларов! Ведь ничего, подобного тебе, никто еще в жизни своей не видал! Собака, которая поет дуэтом со мной пять песен и с полдюжины песен может спеть совершенно самостоятельно! Певец Карузо получает по 1000 долларов за вечер; ты, конечно, не Карузо, но ты собака-Карузо, а такой другой на всем свете нет! Я теперь сделаюсь твоим антрепренером, твоим импрессарио, сынок мой, и, если нам не удастся вырабатывать здесь по двадцати долларов за вечер, мы с тобой перекочуем в другой квартал, побогаче. И тогда наш почтенный мистер Гринлиф займет в своем «Бронкс-отеле» лучшую комнату, окнами на улицу, а Квэку мы с тобой купим настоящую пару платья. Э, да мы так с тобой разбогатеем, дружок, что если Старому Моряку не удастся завлечь в свои сети новых дураков, мы сами ему купим шхуну и пустимся искать несуществующие клады!

Квартал «Барбари-Коост» в Сан-Франциско жил особой портовой жизнью уже с давних времен. По мере того, как развивался и стал самым значительным на Тихом океане портом Сан-Франциско, развивался и этот квартал «Барбари-Коост», который стал жить за счет рабочего люда, широко тратившего здесь свои заработки. Но и среди зажиточного класса людей явилась мода приезжать в этот квартал в своих автомобилях и проводить время в увеселительных заведениях и кабачках.

Очень скоро Дэг Дотри стал получать за каждый свой сеанс с Майклом, — сеанс, продолжавшийся минут двадцать, по двадцать и более долларов. Пива при этом Дотри выпивал столько, сколько едва ли могла выпить дюжина страстно жаждущих людей. Никогда еще так он не процветал. Вполне счастлив своей новой жизнью, по-видимому, был и Майкл.

Майкл, собственно, являлся и кормильцем всей семьи Дотри, доставляя каждому ее члену все необходимое. Квэк щеголял в светло-желтых ботинках, панаме, сером пиджаке и свежевыутюженных брюках; он стал постоянным посетителем кинематографа и тратил на это удовольствие по двадцати, тридцати центов за вечер, просиживая по несколько сеансов подряд. Старый Моряк не только переехал в дорогую комнату, окнами на улицу, но и, по настоянию Дотри, вывозил в театр или концерт кого-нибудь из нужных ему людей, отвозя их из театра домой на автомобиле.

— Но ты не думай, милый мой Киллени! С тобой мы так работать долго не будем! Потерпим до тех пор, пока наш друг, мистер Гринлиф, не подберет достаточную компанию толстосумов-охотников до кладов. А там айда, сынок, на простор синего океана, под паруса славного какого-нибудь судна, под брызги морской волны! Не все же нам распевать: «Отвези меня в Рио»! Поедем сами! Ну их, с их проклятыми городами! Мы с тобой, Старый наш Моряк, Квэк и Кокки,— все мы созданы для жизни на море! Я здесь словно драгоценное время теряю. Меня тянет к делу, к настоящему моему делу... Истомился я, скучно мне! Просто захворать готов, что не слышу, как какой-нибудь почтенный джентльмен заказывает мне: «А не пора ли выпить, стюард, вот такой-то сорт коктейля»? Мы захватим и машинку для льда, чтобы хорошенько

замораживать напитки. Вот что мы сделаем! Да посмотри, сынок, и на Квэка. Ему этот климат прямо вреден! У него разовьется, наконец, чахотка от этой беготни по кинематографам. Да и для всех нас было бы самое лучшее поскорей бы сняться с якоря.

И в самом деле, ни на что до тех пор не жаловавшийся Квэк заметно таял. Едва заметная и совершенно безболезненная до сих пор опухоль под его правой рукой увеличивалась, и он все время ощущал в ней тупую боль, от которой он то и дело просыпался по ночам. Он чувствовал эту боль тогда, когда лежал на другом боку. Будь А Мой здесь, он мог бы объяснить Квэку, что означала эта усиливающаяся боль его опухоли; мог бы объяснить он и Дотри, что означает все увеличивающиеся границы онемения раскрывшегося у него на лбу, между бровями, темного пятна, равно как и линий, подобных тем, какие можно видеть на лбу льва; наконец, он мог бы пояснить и то, что с мизинцем левой руки Дотри творится что-то неладное. Сам Дотри сначала считал это каким-нибудь случайным повреждением, потом решил, что это хронический ревматизм, приобретенный в сыром климате Сан-Франциско. Потому, отчасти, он и стремился поскорей уйти в море, где в жарком тропическом климате все эти недомогания должны были пройти.

С представителями высшего круга общества Дотри приходилось встречаться в качестве стюарда. Но на равной ноге с этими людьми он очутился только здесь, в демократическом квартале Сан-Франциско. При этом не он искал их общества, а они жаждали встречи с ним. В каком бы разгульном кабачке ни давал Майкл своих представлений, эти люди старались подсесть к столику Дотри и наперерыв угощали его. Они готовы были платить за самые дорогие вина, но он упорно оставался верен только своему пиву. Многие из них приглашали его с его необыкновенной, распевающей песенки собакой, к себе, в свои особняки. Гордый за Майкла, Дотри, однако, от этих приглашений уклонялся, отговариваясь тем, что «их профессиональная жизнь настолько утомительна, что они себе не могут позволить подобные развлечения». Майклу же он при этом пояснял, что если бы эти господа предложили ему с ним постоянное жалованье в пятьдесят долларов в вечер, это было бы другое дело, и они, конечно, пошли бы к ним не задумываясь.

Среди множества знакомств, завязанных за это время в кабачках Дотри и Майклом, двум суждено было очень скоро сыграть в их жизни роковую роль. Одно из этих знакомств было знакомство с врачом и политическим деятелем, доктором Уолтером Мерит Эмори. Доктор Эмори не раз сиживал за столиком Дотри вместе с сидевшим тут-же на стуле Майклом. Желая быть особенно любезным, доктор Эмори дал как-то Дотри свою визитную карточку и просил его, в случае надобности, обращаться к нему как для себя, так и для Квэка и Майкла; он будет лечить их бесплатно. Дотри считал доктора Эмори человеком очень умным, хорошим знатоком своего дела, но большим эгоистом, способным, ради исполнения какого-нибудь собственного желания, пойти решительно на все. В припадке грубой наивной откровенности так он и сказал ему однажды: «Вы,

Одно из этих знакомств было знакомство с врачом и политическим деятелем, доктором Уолтером Мериттт Эмори

доктор, удивительный человек! Раз вам чего-нибудь захочется, вы ни перед чем не остановитесь, все достанете, разве только если...»

— Разве только что? — спросил доктор.

— Разве только если то, чего вы захотите, окажется вдруг недосягаемым, — заколоченным, запертым под замком или денно и нощно охраняемым бдительной охраной.

— А у вас, как раз, есть то, чего я хочу,— значительно кивнув в сторону сидевшего тут же Майкла, сказал доктор Эмори.

— Брррр! — даже вздрогнул Дотри. — Вы меня пугаете, доктор! — И если бы я вам сейчас поверил, то не остался бы в Сан-Франциско и двух минут. — Дотри задумчиво опустил голову, глядя на стоявшую перед ним кружку пива, потом засмеялся и сказал с какой-то особой решительностью в голосе: — Эту собаку у меня взять не посмеет никто! Никогда! Потому что я такого человека убил бы! Убил бы на месте! И тот, кому я скажу это, поверит мне так же, как верите мне вы сейчас... Да, убил бы! Пусть это все знают... Потому эта собака... эта собака...

И, не умея выразить всю глубину охватившего его чувства яснее, Дэг Дотри оборвал свою речь и выпил свою кружку залпом.

Совершенно иного, чем доктор Эмори типа был другой, сыгравший роковую роль в жизни Дотри и Майкла их новый знакомый.

Звали его Гарри Дель Мар. Так, по крайней мере, он именовал себя на афишах, когда давал представления со своими дрессированными зверями. О том, что дрессировка животных и представления с ними были профессией Гарри Дель Мара, Дотри тогда ничего не знал, так как в этот период времени Гарри Дель Мар отдыхал и не выступал.

Как и доктор Эмори, он не раз сиживал за столиком с Дотри и Майклом. Молодой, — ему было не больше тридцати лет, — крепко сложенный, с боль-

шими, окаймленными длинными ресницами глазами, он был похож на херувима. Но наружность его была обманчивой. Это был человек деловой и очень практичный, и в разговоре его это чувствовалось сразу, как и в манерах и образе действий.

— Да ведь у вас и денег не хватит на то, чтобы купить его у меня, — сказал ему Дотри, в ответ на предложение повысить первоначально предложенную им за Майкла цену в пятьсот долларов до тысячи.

— Тысячу долларов я найду всегда, если вы только согласитесь, — сказал Гарри Дель Мар.

— Нет, — отрицательно покачал головой Дотри, — его вам не купить ни за какие деньги! Да и на что он вам? К чему?..

— Да просто потому, что он мне нравится. Вы хотите знать почему... Да почему вот тут собирается весь этот народ? Почему люди тратят деньги на вино, беговых лошадей, на женщин, увлекаются наукой, занимаются спортом?.. Да потому, что это им нравится. Так вот и я.

— А вы полагаете, что ваша собачка будет жить вечно? — со спокойной улыбкой сказал Дель Мар.

Все мы тянемся за тем, что нам нравится, часто даже не давая себе отчета, можем ли мы этого добиться или нет. А сейчас вот мне чертовски нравится ваша собака, и я хочу ее получить, хотя бы мне пришлось для этого заплатить вам тысячу долларов. Посмотрите вот на бриллиант у этой дамы. Видите? Почему он у нее? Да потому, что ей захотелось его приобрести во что бы то ни стало. Бриллиант для нее дороже всякой цены. Так вот и я... Мне нравится ваша собака и я...

— Да, но вы-то ей совсем не нравитесь, — решительно ответил Дотри. — И это очень странно, так как обыкновенно она готова ласкаться ко всем. На вас же она сразу ощетинилась и зарычала. А к тому, кто собаке не нравится — она не пойдет.

— Это неважно, — спокойно заметил Дель Мар. — Мне важно только то, что собака нравится мне. Что же касается до ее ко мне любви, то я уверен, что сумею добиться от нее всего, чего пожелаю.

При этих словах Дотри вдруг почувствовал, что под личиной херувима этого человека скрывается другой — человек жестокий, грубый, беспощадный, умеющий скрывать свои истинные мысли и побуждения. Дотри не смог бы выразить словами это свое впечатление, но почувствовал он это всем своим нутром.

— Здесь есть банк, который работает всю ночь. Я сейчас напишу чек, и вы получите деньги, — продолжал настаивать между тем Дель Мар.

Дотри отрицательно мотнул головой.

— Даже с точки зрения делового ваше предложение не выдерживает критики, — ответил он. — Перед вами собака, которая вырабатывает тридцать долларов в ночь; даже если она проработает в месяц двадцать пять дней, то это все-таки составляет месячный заработок в пятьсот долларов, а в год — шесть тысяч долларов. Принимая эту сумму, как ренту в пять процентов с капитала, мы получим капитал в сто двадцать тысяч долларов. Принимая в расчет мое жалованье и другие расходы по нашим с ним выступлениям и считая их примерно в двадцать тысяч в год, вычтем эту сумму из капитала в сто двадцать тысяч, и мы получим цену собаки в сто тысяч долларов. Даже если не торгуясь уступить ее за полцены, то и то выходит, что она стоит пятьдесят тысяч долларов, а вы, сударь, предлагаете мне всего одну тысячу.

— А вы полагаете, что ваша собачка будет жить вечно? — со спокойной улыбкой сказал Дель Мар.

Дотри нисколько не смутился.

— Если она проработает всего пять лет, то и тогда цена выходит, по моему расчету, в тридцать тысяч долларов; а если она проработает всего год, тогда выйдет шесть тысяч долларов, которые мы с ней выработаем шутя. Да, кроме того, если бы даже она ничего не зарабатывала, и потому цена ей была бы нулевая, то и тогда, для меня лично, она стоила бы миллионы долларов и, если бы кто-нибудь мне эти миллионы за нее предложил, я сейчас же бы поднял цену еще.

ГЛАВА XIX

— Я еще поговорю с вами об этом, — сказал Гарри Дель Мар в заключение в четвертый раз поднятого им разговора о покупке у Дотри Майкла.

Но Гарри Дель Мар ошибся, потому что ему не суждено было больше увидеться с Дотри, так как Дотри раньше увиделся с доктором Эмори.

Дотри обратил наконец внимание на то, что Квэк беспокойно спит по ночам, и на то, что источником этого неспокойного сна является опухоль под правой его рукой. Это открытие заставило Дотри прийти к заключению, что Квэк настолько болен, что его следует показать врачу.

И вот почему, в одно прекрасное утро, в одиннадцать часов, он с Квэком очутились в приемной доктора Уолтера Меритт Эмори.

— Я боюсь, не рак ли у него? — сказал Дотри доктору Эмори в то время, как Квэк снимал рубашку. — Он ни разу не пожаловался, это уж все они, негры, такие. Я ничего не замечал, пока он не стал меня будить своими стонами во сне. Посмотрите, доктор, что это по-вашему: рак или другая злокачественная опухоль?

Но от острого опытного взгляда специалиста по проказе, доктора Уолтера Меритт Эмори, не ускользнули скрюченные пальцы на руке Квэка. И тотчас же в мозгу его, одна за другой, промелькнули две мысли. Первая: «Когда встретишь прокаженного, ищи рядом другого», вторая: облюбованный ирландский терьер принадлежит Дотри, который находился в постоянном общении с Квэком». Однако именно потому, что обе эти мысли мелькнули у него в голове одновременно, он всячески постарался скрыть их от Дотри. Он, как бы для того, чтобы посмотреть на часы, обернулся к Дотри и взглянул на него.

— Я полагаю, что это просто результат нарушенного кровообращения, перемены жизненных условий. Я, конечно, сделаю исследование на рак и на саркому, но думаю, что они не дадут положительных результатов.

Так говорил доктор Эмори и в то же время смотрел на Дотри. Он сразу заметил на лбу последнего так называемую «львиную» маску, — явный признак проказы.

— Да и у вас вид неважный, — мягко сказал он ему.

— Да и мне бы скорей на море, к тропикам; тепло разгонит мои ревматизмы.

— А где у вас ревматизм, — небрежно спросил доктор Эмори, отворачиваясь от Дотри и как бы готовясь заняться осмотром Квэка.

Дотри протянул ему свою левую руку со слегка скрюченным мизинцем. Доктор взглянул как бы мельком, но отлично рассмотрел, что палец согнут, припух, и кожа на нем натянута и блестит, как атлас; и снова взгляд его скользнул по лбу Дотри, где определенно вырисовывались линии «Львиной головы».

— Ревматизм все еще недостаточно исследован; бывают такие индивидуальные формы, — говорил он в то же время. — Дотри, что вы ощущаете? Чувствуете онемение?

Дотри несколько раз покрутил свой мизинец и ответил:

— Да, сэр, как будто палец не так чувствителен, как прежде.

«Ага», — подумал доктор Эмори и, обращаясь к Дотри, сказал:

— Будьте любезны сесть в это кресло. Возможно, что я не буду в состоянии вас вылечить, но все же я смогу судить о том, какое вам следует избрать себе местопребывание. Мисс Джедсон!

И в то время, как опытная фельдшерица усаживала Дотри в эмалированное врачебное кресло, доктор Эмори смачивал кончики своих пальцев самым крепким антисептическим раствором, а в мозгу его мелькал образ облюбованного им ирландского терьера, который проделывал в кабачке такие занятные фокусы, и кличка которого была «Киллени-Бой».

— Ревматизм у вас не только в мизинце, он у вас должен быть и вот тут, на лбу. Простите, одну минуту... Скажите, если вам будет больно, потому что я не желаю вам делать больно; мне только надо установить правильность моего диагноза. Мисс Джедсон, обратите внимание, для вас это совершенно новая форма ревматизма!.. Вы видите, он ничего не чувствует; он думает, что я еще не начал.

Говоря это, он проделал то, что Дотри и во сне присниться не могло бы и глядя на что Квэку казалось, что он грезит наяву. Потому что доктор Эмори не только нащупал толстой иглой темное пятно на лбу Дотри, он проткнул этой иглой кожу, провел иглу под кожей параллельно лбу и вывел кончик иглы, проткнув кожу с другой стороны пятна. В продолжении всей этой операции Дотри был совершенно спокоен и неподвижен, так что изумленному Квэку казалось, что его господин ничего при этом и не почувствовал.

— Что же вы не начинаете? — нетерпеливо спросил Дотри. — Да ведь мои ревматизмы — это так, между прочим, пустяки. Дело в опухоли этого мальчика.

— Нет, я вам пропишу курс лечения. Ревматизм вещь серьезная, его не следует запускать, иначе он может принять хроническую форму. А теперь можете встать, и я займусь вашим чернокожим слугой.

И прежде чем Квэк сел в кресло, доктор Эмори набросил на последнего простыню, которая пахла так, точно ее насквозь прожарили.

Он сделал вид, что собирается осматривать Квэка, потом вдруг, как бы что-то вспомнив, вынул карманные часы, посмотрел, сделал удивленно-раздосадованное лицо и, обращаясь к своей ассистентке, с упреком сказал:

— Вы меня подвели, мисс Джедсон, вы не напомнили мне, что у меня в половине двенадцатого консилиум у доктора Хардлей, а теперь уже без двадцати двенадцать. Он меня теперь, наверно, клянет на чем свет стоит... Вы ведь знаете какой он!

Мисс Джедсон кивнула головой и разыграла полное смущенье, хотя в первый раз слышала о предполагавшемся в половине двенадцатого у доктора Хардлей консилиуме.

— Доктор Хардлей принимает в этой же квартире, — пояснил доктор Эмори Дотри. — Вы меня извините, но я вас задержу не больше, как на пять минут. Они там наверно все собрались и ждут меня. Я должен забежать хоть на минуту.

— Через пять минут я буду здесь, — крикнул он уже на пороге комнаты. — Мисс Джедсон, попросите пациентов в приемной подождать...

Он и в самом деле пошел на половину доктора Хардлея, но консилиума там никакого не было; не было даже и самого доктора Хардлея, и вообще никого. Он подошел к телефону и позвонил сначала председателю городского санитарного управления, потом начальнику полиции. По счастью, оба оказались на местах и он, разговаривая с ними запросто и называя их просто по именам, сообщил им что-то очень важное и секретное.

Вернувшись к себе, он стал с апломбом рассказывать своей ассистентке о том, какой диагноз он сейчас поставил на консилиуме. Затем спросил Дотри:

— Вам не помешает, если я закурю?

Дотри кивнул головой, и он закурил большую гаванскую сигару, продолжая, захлебываясь, рассказывать о своем триумфе на этом фиктивном консилиуме. Разговаривая, он, как бы в рассеянности, поднес кончик своей зажженой сигары к согнутым пальцам Квэка. В то же время он незаметно подмигнул мисс Джедсон, давая ей понять, что она не должна удивляться ничему, что бы он ни проделывал.

Доктор Эмори говорил, а кончик его сигары продолжал жечь пальцы Квэка и к дыму сигары, мало-помалу, стал примешиваться какой-то другой, иного цвета, и в комнате стал распространяться запах жареного мяса. И врач, и ассистентка этот запах чувствовали давно, но и вида не подавали, что чувствуют. Он знал, зачем он это делает, она же знала, что не должна ничему удивляться.

— Что-то горит, — сказал вдруг Дотри, нюхая воздух, и стал оглядывать комнату.

— Это не сигара, а какой-то капустный лист, — проворчал доктор Эмори, критически осматривая отнятую от руки Квэка сигару. — Один обман! Завтра же переменю марку, — сказал он и бросил недокуренную сигару в пепельницу.

А Квэк сидел в самом неудобном, в каком ему когда-либо приходилось сидеть, кресле и не подозревал, что кончики его пальцев прожжены на целый дюйм. Он только удивлялся тому, что доктор все еще болтает вместо того, чтобы заняться осмотром его опухоли.

И в это время, в первый и в последний раз в своей жизни, Дэг Дотри потерпел крах. Это было настоящее, безвозвратное крушение всей его жизни. Здесь, в этом кабинете, окончилась его свободная жизнь со всеми ее приливами и отливами счастья, здесь, в кабинете доктора Уолтера Эмори в то время, как мисс Джедсон смотрела своими бесстрашными глазами на то, что происходит, и удивлялась тому, что человек может не чувствовать, когда жгут его собственное тело...

Доктор Эмори закурил другую сигару и, несмотря на то что его приемная была переполнена ожидающими больными, принялся читать длинную и довольно занимательную лекцию о сигарах и табаках.

— Ну, а что же касается этой опухоли, — сказал он наконец, начиная свой сильно запоздавший и поверхностный осмотр Квэка, — то я бы сказал, что это не саркома, и не рак, и даже не нарыв, а...

Стук в дверь, которому он явно обрадовался, прервал его. Он сделал знак мисс Джедсон открыть дверь, и в комнату вошли два полицейских под командой сержанта и санитарный врач с гвоздичкой в петлице.

— Доброго утра, доктор Мастерс! Здравствуйте, сержант! Как живете, Тим? Вы как, Джонни? — приветствовал вошедших доктор Эмори; затем, как бы продолжая прерванный появлением вошедших осмотр Квэка, сказал:

— По-моему это самый определенный, самый ярко выраженный случай проказы, какой кому-либо из врачей Сан-Франциско удавалось демонстрировать санитарной комиссии.

— Прокаженные! — воскликнул доктор Мастерс, и все с ужасом отпрянули к двери. Мисс Джедсон чуть не вскрикнула и схватилась обеими руками за сердце. Дотри же, потрясенный, но не веря еще тому, что слышит, сказал:

— Что же вы нам пропишете, доктор?

— Стойте смирно, не двигайтесь! — повелительным тоном ответил ему доктор Уолтер Меритт Эмори. — Я хочу обратить ваше внимание на следующее явление, господа, — обратился он к остальным присутствующим, поднося кончик своей зажжённой сигары к темному пятну на лбу Дотри.

— Не двигайтесь! — снова приказал он Дотри.— Постойте еще минуту, я еще не кончил.

И растерянный, смущенный Дотри кротко стоял, удивляясь тому, что доктор все еще ничего с ним не делает, тогда как последний жег его тело своей сигарой до тех пор, пока не увидели все, какая струйка дыма поднимается в воздухе, и не услышали запаха жженого мяса.

Тогда он залился торжествующим смехом и отошел от Дотри.

— Ну-с, проделывайте со мной, что хотели,— ускоряя ход событий, сказал Дотри,— и когда кончите, будьте добры объяснить мне, что вы тут сказали о проказе и этом мальчике негре? Это мой мальчик, и вы не имеете права возводить такое на него и на меня!

— Вам же всем ясно, господа, что перед вами два неоспоримых случая проказы: слуга и хозяин, слуга в стадии более подвинутой, чем хозяин. Возьмите их и, я рекомендую вам, доктор Мастерс, основательно продезинфицировать вашу амбулаторию.

— Позвольте! — воинственным тоном начал было Дотри.

Доктор Эмори значительно взглянул на доктора Мастерса, — доктор Мастерс еще значительнее на сержанта, сержант уже повелительно на полицейских.

Однако полицейские не подскочили к Дотри. Напротив, они отступили и вытянули свои ружья так, чтобы не подпустить его к себе; и этот их жест был для Дотри убедительнее диагноза доктора Эмори.

Как только он шевельнулся, два ружейные ствола коснулись его ребер, и один из полицейских грозно сказал ему:

— Не подходить! Стоять смирно, пока не скажут идти.

— Оденьтесь и встаньте рядом с вашим господином, — внезапно приподнимая кресло и выбрасывая из него Квэка, приказал последнему доктор Эмори.

— Но объясните же, ради создателя, — начал было умолять доктора Эмори Дотри; но тот его не слушал и говорил доктору Мастерсу:

— Чумной барак у вас пустует с тех пор, как умер тот японец...

— Ради всего святого! — молил сразу утративший свою воинственность Дотри.

Он был ошеломлен сознанием, что болен такой страшной болезнью. Он потрогал свой мизинец, потом пятно на лбу, почувствовал запах жженого.

— Ради моего Киллени, не решайте так поспешно! Проказа, так проказа, с этим уж ничего теперь не поделаешь. Но ведь это еще не причина, чтобы мы с вами не могли сговориться как человек с человеком. Дайте мне два часа времени, и я уеду из вашего города навсегда, а через двадцать четыре часа меня не будет и в пределах вашей страны. Я сяду на пароход...

— И перезаразите там всех, — перебил его доктор Мастерс, которому уже мерещились сенсационные статьи в вечерних газетах, статьи, в которых его будут превозносить, как героя, как Георгия Победоносца, который спас своих сограждан, сразив копьем своим дракона проказы.

— Ну-с, уведите их! — сказал доктор Эмори, избегая взгляда Дотри.

— Ну-с, марш! — скомандовал сержант.

Полицейские, продолжая держать ружья направленными в бока Дотри и Квэка, сделали к ним шаг, и один из них скомандовал:

— Марш! Держаться на расстоянии, слушаться приказа! Не то голову расшибу! Ну-с, ступайте! И этот черный пусть не отстает от вас.

— Еще два слова, доктор, — умолял Дотри.

— Разговаривать больше нечего, — ответил тот.

И процессия, с санитарным врачом и сержантом во главе, двинулась.

На пороге комнаты Дэг Дотри, рискуя тем, что полицейский проткнет ему бок своим ружьем, обернулся и крикнул:

— Доктор, моя собака, вы знаете ее...

— Я вам ее доставлю, — живо согласился доктор Эмори. — Как ваш адрес?

— Комнаты 7 и 8, улица Клей. «Дом меблированных комнат «Баухад». Пришлите мне мою собаку туда, куда они поместят нас, прошу вас!

— Конечно, конечно, пришлю, — сказал доктор Эмори. — У вас, кажется, есть еще птица, какаду?

— Вы имеете ввиду Кокки? И его пришлите! Обоих пришлите нам! Пожалуйста, пришлите!

ГЛАВА XX

В общении с лошадью или собакой человек может проявить свои сокровенные, самые низкие свойства души. Будучи человеком ничтожным и низким, доктор Уолтер Эмори эти свои свойства и обнаружил в своем стремлении во что бы то ни стало и, не брезгуя никакими средствами, завладеть Майклом.

Не попадись на его дороге Майкл, он казался бы совсем другим человеком и с Дотри он обошелся бы совсем иначе, и так, как это ему предлагал сделать Дотри,— обошелся бы с ним как человек с человеком. Он сказал бы ему чем он болен и дал бы возможность уехать в Южные моря,— в Японию или другую какую-нибудь страну, где прокаженных не изолируют. Присутствие Дотри и Квэка в тех странах, раз таковы там обычаи, никого бы не пугало и не смущало, а они оба избегли бы того ада, которым только и можно назвать пребывание их в чумном бараке, куда они попали исключительно благодаря низости доктора Эмори. Если бы доктор Эмори поступил с Дотри по-человечески и Дотри и Квэк благополучно отбыли бы из Сан-Франциско, то с ними отбыл бы и Майкл.

Едва успели полицейские увести из его приемной Дотри и Квэка, доктор Эмори, забыв даже позавтракать, сел в мотор и помчался в квартал «Барбари-Коост», в дом меблированных комнат, где проживал Дотри. По дороге, благодаря своему значению в политических кругах, ему удалось захватить с собой агента сыскной полиции, что было необходимо для придания себе авторитетности в глазах хозяйки Дотри, которая могла оспаривать его право увести собаку ее жильца. Так как сыскной агент, Милекен, был ей хорошо известен, и она считала его лицом, охраняющим законы, содержания которых она, кстати сказать, не знала, она против увода Майкла доктором Эмори не возражала.

В то время, как Майкла выводили на веревке из комнаты, сидевший на краешке окна попугайчик старался жалобным криком привлечь на себя внимание.

Уолтер Меритт Эмори оглянулся и, после минутного колебания, сказал квартирной хозяйке:

— За птицей я пришлю потом!

Квартирная хозяйка, недовольная посещением этих нежеланных гостей, вышла вслед за ними на лестницу и, уходя, забыла плотно притворить дверь комнаты, где оставался Кокки.

Но в стремлении завладеть Майклом всю низость своей жестокой натуры проявил не один доктор Уолтер Меритт Эмори.

В местном яхт-клубе Гарри Дель Мар после сытного завтрака сидел полулежа в глубоком кожаном кресле, протянув ноги на другое такое же, и лениво читал положенные тут же на столике около него полуденные газеты. Случайно ему бросился в глаза жирным шрифтом напечатанный заголовок, под которым было всего несколько строк. Он тотчас же вскочил на ноги, что-то наскоро сообразил, нажал кнопку электрического звонка и, в ожидании появления лакея, еще раз перечитал взволновавшие его в газете строки.

Пока он мчался в автомобиле на «Барбара-Коост», в голове его мелькали картины одна заманчивее другой. Он видел груды золотых монет, кипы банкнот правительственных банков, всевозможных акций, с готовыми для получения дивидендов купонами, чековых книжек и много других, подобных этим, земных благ, на фоне которых вырисовывался образ поющего среди блестящего общества в ярко освещенном зале ирландского терьера. И пел этот терьер

приподняв свою маленькую морду, с повисшей на носу капелькой так, как еще не пела ни одна собака в мире.

На оставшуюся приоткрытой после ухода квартирной хозяйки дверь прежде всего обратил внимание Кокки и тотчас же подумал: не следует ли ему воспользоваться этой лазейкой, которая открывает ему доступ в более широкий мировой простор. Но в этот самый момент он с ужасом увидел, что к той же приоткрытой двери, с другой только стороны, прикован взгляд другого существа. Сквозь щель в дверях на Кокки смотрели два хищных зелено-желтых глаза. Вертикальные зрачки этих глаз, в зависимости от освещения в комнате, то сужались, то расширялись. Кокки сразу, при первом же взгляде этих глаз, почувствовал, что ему грозит опасность, и опасность смертельная. Однако он не шелохнулся, он только уставился одним своим глазом на дверь и выглядывающую из нее кошку.

Кошка, вся насторожившись, то вытягивалась, то сужалась; она как будто что-то соображала и быстрым взглядом обшаривала все освещенные и темные углы комнаты. Потом, вскинув глаза вверх, она увидела Кокки и, сразу съежившись, застыла, видимо определенно на что-то решившись.

Застыл на месте и Кокки. Ни одно перышко не дрогнуло на нем, хоть он совершенно ясно сознавал и представлял себе то, что должно с ним сейчас произойти.

Кошка и Кокки смотрели друг на друга тем напряженным взглядом, каким смотрят друг на друга хищник и его жертва. Но это продолжалось не больше минуты, потому что неожиданно голова кошки исчезла за полуоткрытой дверью. Если бы Кокки мог вздохнуть, то в эту минуту он вздохнул бы с глубоким облегчением. Но он не шелохнулся даже тогда, когда в коридоре послышались медленные шаги проходившего мимо человека. Но шаги эти, постепенно удаляясь, замерли, и в расщелине двери снова появилось страшное видение.

На этот раз кошка просунула не только свою хищную голову: она проскользнула в комнату вся и уселась на полу против Кокки, снова в упор уставившись на него глазами. Туловище ее было совершенно неподвижно, и только хвост ее однообразно, зловеще покачивался справа налево и слева направо. Затем, не сводя своих хищных блестящих, как алмазы, глаз с Кокки, она стала тихо красться вперед.

Сознавать что такое смерть так, как человек, Кокки, конечно, не мог. Однако, он всем своим существом сейчас же почувствовал, что его ждет роковая развязка. Кошка присела, готовясь к прыжку. Храбрый Кокки и тут не изменил себе. Он громко и жалобно крикнул:

— Кокки! Кокки! — кричал он глухим, бесчувственным стенам. Но это был его призыв ко всему миру, одушевленному и неодушевленному, ко всем четвероногим и двуногим существам, мир населяющим и, прежде всего, к стюарду, Квэку и Майклу. Своим криком он словно хотел сказать им всем: «Ведь это я, маленький, хрупкий Кокки, и вот это страшное чудовище хочет поглотить меня. А я люблю свет и простор, люблю весь этот мир. Мне хочется жить. Я ма-

ленький, но сердце у меня доброе, и нет у меня сил бороться с этим злым, кровожадным существом, которое хочет пожрать меня. Помогите же мне, если можете! Ведь я Кокки! Все знают меня. Я Кокки».

Вот, что звучало в возгласе Кокки. Но каменные стены остались глухи к этому возгласу. И никто не откликнулся на его призыв, ни с лестницы, ни с улицы. И поддавшийся минутной панике Кокки умолк. Не шевелясь, сидел он на подоконнике и смотрел на своего извечного врага.

Человеческий голос Кокки озадачил кошку и задержал ее прыжок. Она прижала уши и еще ниже пригнулась к полу. Среди жуткой тишины в комнате раздавалось только жужжанье бившейся об оконное стекло большой синей мухи. И в этом жужжании чувствовалась своя трагедия рвущегося на простор и к свету существа, к свету, который ослепил его сквозь это непроницаемое прозрачное стекло.

Свою трагедию переживала и бездомная облезлая кошка. Она было голодна и нечем ей было питать своих маленьких, еще слепых и едва двигающихся котят. Она вспомнила о них в эту минуту; в ней заговорил инстинкт матери, и она снова приготовилась сделать решительный прыжок. Но Кокки опять вдруг закричал:

— Черт возьми! Черт возьми!

Он кричал так громко и воинственно, что кошка снова прижалась к полу и беспокойными глазами искала притаившегося где-то тут поблизости человека.

В наступившей тишине слышно было снова лишь как билась о стекло синяя муха. Но, оправившись от смущенья, кошка сообразила, что человеческий голос исходит от сидящей на подоконнике белой птицы и, неожиданно решившись, сделала, наконец, свой прыжок и очутилась на том самом месте, где четверть секунды раньше сидел Кокки. Она хотела схватить его лапой, но он прыгнул вверх и замахал в воздухе давно отвыкшими летать крыльями. Кошка села на задние лапы и протянула одну из передних так, как протягивает руку ребенок, стараясь поймать своей шляпой бабочку. Но в лапе кошки было много силы, и когти ее были цепки. Эта кошачья лапа схватила маленького Кокки в воздухе, и он, смятый, растерзанный ее когтями, упал на пол, осыпаемый своими белыми, как снежные хлопья, перьями, которые, медленно крутясь в воздухе, ложились и на спрыгнувшую вслед за своей жертвой кошку. Своим прикосновением они теребили ее натянутые нервы, и она беспокойно озиралась.

ГЛАВА XXI

В комнате Дэга Дотри — в доме меблированных комнат «Баухэд», Гарри Дель Мар нашел только несколько беленьких пёрышек на полу, а хозяйка этих комнат сообщила ему, что Майкла увел доктор Эмори. Это сообщение заставило Гарри Дель Мара тотчас же вскочить в ожидавший его у подъезда таксомотор

и помчаться обследовать резиденцию доктора Эмори. Убедившись в том, что Майкл в самом деле находится там и заперт в сарайчике, находящемся в глубине двора, Гарри Дель Мар поспешил заказать себе каюту на отходящем в тот же день на рассвете в порты Сиэтл и Поджит-Соу пароходе «Юматилла». Затем он велел подать себе счет и уложил свои вещи.

Между тем в кабинете доктора Эмори происходил словесный бой.

— Ведь человек головой об стенку бьется! — говорил доктор Мастерс. — Ведь его связать пришлось! Он вне себя от того, что ему не отдают собаку. Это недопустимо, это слишком жестоко! Вы не имеете права выкрадывать у него таким образом собаку, к тому же и собака эта может быть источником заразы!

— Нет, сколько ни старались прививать проказу собакам, лошадям, кроликам, мышам, крысам и обезьянам — из этого ровно ничего не выходило. Собаки проказой не заражаются.

— Пусть даже и так! Это не меняет того, что хозяин собаки обречен на пожизненное заключение в чумном бараке, а что это за ужасная дыра — вы сами отлично знаете. Он эту собаку страшно любит, и с вашей стороны прямо бессовестно и жестоко отнимать у него и это утешение. Я не могу допустить этого!

— Допустите! — спокойно и холодно сказал Уолтер Меритт Эмори. — И я вам объясню, почему вы это допустите. — И Уолтер Меритт Эмори сказал доктору Мастерсу такие вещи, какие ни один врач не сказал бы другому врачу, не знай они друг о друге таких дел, о которых ради сохранения чести государства и престижа муниципального управления не следует знать большой публике.

Итак, доктор Эмори настоял на своем, и на радостях, что ему удалось заполучить Майкла, поехал с женой обедать в ресторан, оттуда в театр; но когда он, вернувшись домой около часу ночи, в пиджаке, отправился еще раз перед сном взглянуть на Майкла, — Майкла не оказалось...

Чумной барак в Сан-Франциско помещался, конечно, в самой отдаленной, пустынной и неприглядной части города. Со стороны океана эта часть города была плохо защищена и потому тут, среди песчаных дюн, постоянно уныло завывал ветер, а нередко стоял и густой туман. Никому не приходило в голову ездить сюда веселым пикником; не видно было и мальчишек, которые любят на просторе разорять птичьи гнезда и играть в диких индейцев. Единственно кто мог бы забрести сюда в поисках соответствующего своему настроению пейзажа, — это какой-нибудь самоубийца. Но раз покончив с собой, он этой своей прогулки повторить не мог бы, а потому появление здесь постороннего человека должно было быть явлением весьма редким.

Вид из окон тоже был не из приятных. По крайней мере на четверть мили по всем направлениям не было видно ничего, кроме песчаных холмов; издали виднелись сторожевые будки часовых, готовых при первой попытке заключенного бежать, уложить его на месте только для того, чтобы не дать ему подойти близко к себе. Со всех сторон барак был обсажен чахлыми эвкалиптовыми деревьями.

Наконец, в один прекрасный день Дотри написал: Если мне не вернут мою собаку, я убью доктора Эмори!

Дотри и Квэку разрешалось переступать демаркационную линию, проведенную за сто ярдов до часовых будок. К этой демаркационной линии сторожа приносили необходимую пищу, стараясь при этом возможно скорей убежать. Тут же стояла большая черная доска, на которой Дотри мог писать мелом свои требования и желания, — писать крупно и четко, чтобы прочесть их можно было издали.

И в течение многих дней Дотри просил не пива, которого его внезапно совсем лишили, а ответа на следующие вопросы:

Где моя собака?
Она ирландский терьер.
Имя ее Киллени-Бой. Она жесткошерстная.
Я требую свою собаку!
Я желаю говорить с доктором Эмори!
Скажите доктору Эмори, чтобы он написал мне, что с моей собакой?

Наконец, в один прекрасный день Дотри написал:

Если мне не вернут мою собаку, я убью доктора Эмори!

Так томились в своем однообразно ужасном заключении Дотри и Квэк, когда в один прекрасный день в жизни их совершенно неожиданно произошло нечто новое. В корзинке с фруктами, переданной якобы от воспитанниц высшей школы мисс Футс, Дотри нашел ловко спрятанную в самой сердцевине яблока записочку. В записочке этой их просили держать свое окно освещенным всю ночь в ближайшую пятницу. И вот, в эту самую ближайшую пятницу около пяти утра к ним явился гость.

Гость этот был не кто иной, как Чарльз Стоу Гринлиф собственной своей персоной.

Около двух часов пробирался Старый Моряк, то и дело увязая в песках среди эвкалиптового леса и, наконец, совершенно изнемогший, чуть не упав, припал к дверям барака, так что открывший дверь Дотри принял его прямо в свои объятия вместе с порывом холодного ветра и брызгами проливного дождя. Подхватив своего неожиданного гостя, Дотри понес было его на руках к креслу, но вдруг, вспомнив о своей проказе, выпустил из рук; старик упал, по счастью, прямо на кресло.

— Как же это вы так, сэр, в такую погоду?! Квэк, — гость мокрый, быть может надо снять с гостя сапоги, — сказал Дотри.

Квэк поспешно опустился на колени и только что хотел взяться за шнурки сапога, как Дотри, вспомнив, что и Квэк зараженный, быстрым движением отстранил его от Старого Моряка.

— Что же мне теперь делать? — бормотал он, беспомощно озираясь

— Как я счастлив, что снова вижу вас!
— говорил между тем Старый Моряк приветливо протягивая Дотри руку.

кругом. Он вспомнил, что все, решительно все, здесь заражено проказой — и кресло, в котором сидит старик, и самый пол под его ногами.

— Как я счастлив, что снова вижу вас! Чрезвычайно счастлив, что опять вижу вас! — говорил между тем Старый Моряк приветливо протягивая Дотри руку.

— Как дела? Навернулись вам охотники за кладами? — спросил Дотри, уклоняясь от протянутой руки старика.

Старый Моряк кивнул головой, потом чуть отдышавшись, но слабым голосом, почти шепотом, сказал:

— Сегодня утром, в семь, мы все отплываем. Шхуна уже наготове, прелестное суденышко, название «Вифлеем». Прекрасно оборудованная шхуна, просторные, удобные каюты. Продукты запасены самые лучшие, я сам за всем наблюдал. Не скажу, чтобы мне нравился капитан; он хороший, видно, моряк, но, несомненно, прирожденный пират и вообще старик невысокой нравственности. Ну, да и хозяин шхуны, капиталист наш, тоже из таких — человек средних лет и совсем не похож на порядочного джентльмена! Но денег зато у него уйма. Наколотил себе состояние сначала торговлей — торговал калифорнийскими маслами, потом вовлек себе в компанию какого-то искателя приключений для каких-то предприятий в Британский Колумбии; нагрел его основательно и на этом удвоил свое состояние. Вообще весьма несимпатичный и неприятный субъект. Но он верит в свою счастливую звезду, уверен, что на этом нашем предприятии он заработает не меньше пятидесяти миллионов и рассчитывает обсчитать меня, недодать из причитающейся мне доли. Одним словом, такой же пират, как и приглашенный им капитан.

— Я глубоко тронут, мистер Гринлиф, — сказал Дотри, — тронут тем, что вы не побоялись в такую страшную погоду ночью придти сюда к зараженным проказой только для того, чтобы проститься перед отъездом с Дэгом Дотри, который старался все устроить, как можно лучше, но которому судьба изменила.

Так говорил Дэг Дотри, а в голове его мелькали мысли о том, какое великое счастье быть свободным. Воображению его рисовалась плывущая по Южному морю красивая шхуна, и сердце его болезненно сжималось от сознания, что все это для него потеряно безвозвратно, и он обречен доживать свою несчастную жизнь здесь, в этом чумном бараке, среди песчаных дюн и чахлых эвкалиптов.

Старый Моряк чуть не привскочил и выпрямился в своем кресле.

— Вы обидели меня, сэр! Вы меня больно обидели! До глубины души моей обидели! — сказал он.

— Я... я... и в помыслах не имел обижать вас, сэр... — бормотал Дотри, совершенно не понимая, каким образом он мог обидеть мистера Гринлифа.

— Или вы забыли, что я ваш друг, сэр? — говорил между тем Старый Моряк серьезным, торжественным тоном.— Я ваш друг, а вы изволите воображать, что я сюда пришел только для того, чтобы проститься с вами перед отъездом? Я сюда пришел за вами, сэр, за вами и за вашим негром. На шхуне ждут вас! Все устроено, вы зарегистрированы как служащие на шхуне. Все сделано по фор-

ме. При подписании условий в агентстве за вас расписались подставные лица; я нанял за пять долларов матроса, и за такую же сумму негра...

— Но, мистер Гринлиф, вы как будто не сознаете, что мы оба, и он, и я, — прокаженные!

Старый Моряк вскочил как от электрического тока. Его лицо горело негодованием оскорбленной в своих лучших чувствах души.

— Нет, это вы, сэр, как будто не хотите понимать того, что вы мой друг, что я ваш друг, — закричал он; потом замолк и, протянув Дотри руку, сказал:

— Стюард Дотри, мистер Дотри, сэр,— мне все равно как назвать вас,— но вы должны понять, что то, что я вам сейчас говорю, не какая-нибудь сказка о зарытых кладах, муках на баркасе! Это правда, это истинная правда! И, правда то, что у меня есть сердце и то, что вот это,— он замахал своей рукой перед самым носом Дотри,— вот это — моя рука! И вам сейчас остается сделать только одно: взять эту руку и пожать так же сердечно, как пожму вашу я.

— Но... но... — растерянно бормотал Дотри.

— Если вы этого не сделаете, я отсюда не двинусь и так и умру в этом кресле. То, что вы больны проказой, я знаю, вы ничего нового мне не сообщили. И, тем не менее — вот моя рука. Возьмите ее и пожмите. Вы должны наконец понять, что я человек, и порядочный человек, и умею быть другом и настоящим товарищем. Животного страха я не знаю. Я живу душой своей и головой, а не этой жалкой, временной оболочкой своей. Берите протянутую вам руку, а потом поговорим об остальном!

Дэг Дотри нерешительно протянул свою руку.

Старый Моряк схватил ее и до боли крепко пожал ее своими старческими слабыми пальцами.

— Теперь мы можем разговаривать,— сказал он.— Я все основательно обдумал. Сегодня утром мы уйдем отсюда на «Вифлееме». Когда наш негодяй-капиталист додумается до того, что он из обещанных богатств не получит ни пенни, мы с ним расстанемся, и он будет стараться от нас отделаться. Мы же,— вы, я и ваш негр,— высадимся на Маркизовых Островах, где прокаженные гуляют на свободе,— я сам это там видел. И мы с вами будем там жить совершенно свободно. Жизнь же там — не жизнь, а рай. Обзаведемся мы с вами там хозяйством. В нашем полном распоряжении будут и берег, и море, и горы. Вы будете кататься под парусом, ловить рыбу, охотиться. Там на горах есть дикие курочки, и козы, и другие звери... Бананы и райская смоква будут зреть над нашими головами; красный перец будет расти у самых дверей нашего жилища; разведем мы всякую домашнюю птицу, и яиц у нас будет сколько угодно. Квэк будет стряпать. И пива мы для вас запасем! Ведь я давно заметил, что ваша жажда неутолима. Будете иметь ваши шесть кварт ежедневно, и даже больше шести, если хотите.

Ну-с, а теперь пора, живо собирайтесь в путь! Да, мне очень грустно, что я должен огорчить вас тем, что собаку вашу я, как ни старался, найти не мог. Я заплатил большие деньги этим разбойникам-сыщикам. Доктор Эмори украл

вашу собаку, но через двенадцать часов она была в свою очередь украдена у него. Я все вверх дном перевернул, но, очевидно, Киллени-Бой покинул этот отвратительнейший из городов, также как его покинем скоро и мы. Автомобиль ждет меня там, на дороге, за лесом. Шоферу хорошо заплачено и он предупрежден, что в случае, если бы ему вздумалось мне изменить, я его убью. Ну-с, идемте, после наговоримся, а то, смотрите, уже светать начинает! Не надо, чтобы нас заметили сторожа.

И так они выступили в эту бурную ночь. Квэк шел впереди, и сердце его прыгало от радости, что он на свободе. Дотри сначала старался держаться от Старого Моряка на некотором расстоянии, но при первом же сильном порыве ветра, который сбивал с ног старика, ему пришлось поддержать его, а дальше, даже всем своим телом, помогать ему преодолевать песчаные холмы и продвигаться вперед...

— Благодарю вас, стюард, благодарю вас, друг мой! — среди порывов ветра, пользуясь секундой затишья, говорил ему Старый Моряк.

ГЛАВА XXII

Когда Гарри Дель Мар во мраке ночи уводил Майкла, последний не оказал сопротивления, несмотря на то что Дель Мар ему был определенно несимпатичен. В сарайчик на заднем дворе дома, где жил доктор Эмори, Дель Мар проник как вор: он принял все меры, чтобы его никто не заметил. Он не взял с собой даже карманного электрического фонаря, и не зажег ни одной спички. Взломав замок, он вошел и стал искать Майкла, стараясь нащупать его жесткую шерстку.

Сообразительный Майкл только глухо зарычал, но залаять не залаял. Он тихонько обнюхал вошедшего и узнал. Хотя, как уже сказано, Дель Мар ему не нравился, он все же дал ему обмотать свою шею веревкой и покорно последовал за ним во двор, а оттуда на улицу, где Дель Мар, повернув за угол, подошел к поджидавшему его автомобилю.

Ход мыслей Майкла, если вообще не отказать ему в способности мыслить, был прост: человека, который сейчас уводил его, он не раз видел в компании стюарда, с которым этот человек был даже дружен, так как Майкл сам видел, как они вместе сидели за столиком и пили. Стюард, увы, исчез, и где его искать Майкл не знал. К тому же самого его заперли на каких-то задворках, в каком-то странном помещении. То, что случалось раньше, — раз оно случалось, — могло случиться и теперь. Раз случалось то, что он, Майкл, сидел со своим обожаемым стюардом и с этим, уводящим его сейчас человеком за одним столиком, отчего бы им и опять не очутиться, в этом же составе, в каком-нибудь ярко освещенном кабачке, где Майкл оказался бы на стуле, рядом с тем же своим возлюбленным стюардом? Что именно эти соображения руководили Майклом в ту минуту, как Дель Мар уводил его, подтверждается всем его дальнейшим поведением, которое иначе было бы необъяснимо.

Выразить все эти свои соображения словами Майкл, конечно, не мог. Такое слово, например, как «дружба», в сознание его не укладывалось. Вообще все соображения его слагались из наскоро воспринятых впечатлений, наскоро связывались между собой, и вскрыть их настоящее значение, конечно, мог бы только человек. Во всяком случае ясно одно: Майкл что-то сообразил и действовал согласно сделанному им заключению.

Как бы там ни было, но сейчас, лежа у ног Дель Мара в автомобиле, Майкл не проявлял по отношению к последнему ни особой ласковости, ни своей определенной к нему антипатии. Низменность души Дель Мара, все низкие свойства ее, Майкл почувствовал сразу, при первой же с ним встрече. Он ощетинился и зарычал на Дель Мара, как только тот попробовал положить ему руку на голову. В этой руке Майкл сразу почувствовал фальшь. В прикосновении этой руки было что-то небрежное, несмотря на то что лицо Дель Мара в тот момент было ласково. В этом прикосновении не было ни теплоты, ни доброжелательной сердечности. Чувства, проводником которых была рука этого человека, шли не от сердца и были нехорошие чувства, и вот почему прикосновение это заставило Майкла зарычать и ощетиниться.

Яркие электрические фонари, мокрая набережная, груды ящиков, шумная работа грузчиков и матросов, пронзительно-хриплые свистки пароходов, стюарды в белых костюмах, с мелкими саквояжами пассажиров в руках, вахтенные матросы у сходней большого парохода «Юматилла», праздно болтливая толпа пассажиров на палубе,— все это возвращение к морю и на пароход дало Майклу надежду на то, что здесь он снова встретится со своим стюардом. Ведь в этой обстановке, кроме последних кошмарных дней, проведенных им в этом проклятом городе, Майкл привык себя видеть в обществе своего стюарда. И наряду со стюардом воскресали в голове Майкла и милые образы Квэка, и Кокки, и он завывал и изо всех сил натягивал ремень, на котором его вели. В своем нетерпении поскорей увидеть всех этих милых его сердцу лиц, Майкл не заботился даже о том, чтобы ему не отдавили его нежные маленькие лапки обутые в грубую кожу человеческие ноги, которые, ни с чем не считаясь, сновали во всех направлениях по палубе.

С тем, что ему не удалось сразу увидеть здесь дорогих ему лиц, Майкл примирился, потому что с тех пор, как в нем пробудилось сознание, его учили терпеть и ждать. Терпеливо ждал он, пока его возлюбленный стюард допьет свое пиво и поведет его наконец домой, терпеливо позволял он привязывать к своему ошейнику веревку, терпеливо сидел запертый в четырех стенах, когда дверь была закрыта и он не мог сам ее открыть. Терпеливо приходилось ему ждать и теперь. И Майкл терпеливо ждал своего стюарда, сидя в крошечной заваленной сундуками и чемоданами каморке между двумя палубами. Но вместо стюарда пришел какой-то слуга, отвязал его и передал лакею Дель Мара, который привел его в роскошную каюту последнего. Майкл был уверен, что его ведут к стюарду; увидев вместо него Дель Мара, он решил, что это значит, что он должен ждать еще и решил терпеть сколько хватит сил, лишь бы в конце

концов все-таки увидеть того, кого он считал лучшим из всех ему известных белых богов.

Войдя в каюту, Майкл помахал хвостом, опустил уши и пошел обнюхивать все углы, чтобы убедиться в том, что «его» стюарда здесь нет. Убедившись в том, что это так, он лег. Когда Дель Мар заговорил с ним, он молча внимательно на него посмотрел.

— Ну-с, мой милый, теперь пойдет совсем другое, — сухо и холодно сказал ему Дель Мар. — Я из тебя должен сделать актера и кое-чему научить... Прежде всего поди сюда!.. Поди сюда!

Майкл, не спеша, повиновался.

— Эти манеры, милый мой, ты брось. Когда я приказываю, ты должен живо исполнять, — и Майкл почувствовал в голосе Дель Мара угрозу.

Он заиграл другую песенку, но Майкл продолжал молчать.

— Ну-с, а теперь посмотрим, будешь ли ты со мной все так же проделывать то, что проделывал со своим прокаженным. — Вынув из кармана маленькую гармонику, Дель Мар поднес ее к губам и заиграл знакомую Майклу песенку.

Услыхав знакомые звуки, Майкл весь задрожал. Ему страшно захотелось петь, но в то же время петь для этого человека он не хотел и потому он сделал над собой усилие и воздержался. От этого человека ему нужно было только одно, — получить обратно своего стюарда.

— Ого, да ты я вижу упрямый,— сказал Дель Мар. — Что петь ты умеешь, я знаю, и породу вашу собачью тоже знаю, а потому можешь упрямиться сколько хочешь, а петь я тебя всё-таки заставлю. Будешь на меня работать, также как работал на своего прокаженного. Ну, начинай.

Он заиграл другую песенку, но Майкл продолжал молчать. Когда же Дель Мар неожиданно заиграл его любимый «Край Родной», он не выдержал — приподнял свою морду и запел. И опять в мелодичном вое этой собаки звучала тоска по своей утраченной своре.

— Ага, — с торжеством воскликнул Дель Мар, совершенно не понимая, что именно заставляет Майкла петь.

Однако громкий стук из смежной каюты дал Дель Мару понять, что его музыкальный сеанс мешает соседу спать.

— Хорошо, — сказал Дель Мар, обращаясь к Майклу, который перестал петь, как только он перестал играть, и прибавил, — ты не воображай, пожалуйста, что позволю тебе спать здесь у меня и разводить тут всяких блох.

С этими словами он нажал кнопку звонка и передал Майкла вошедшему лакею, который отвел его все в ту же заваленную чемоданами и сундуками каморку.

За несколько дней, проведенных на «Юматилле», Майкл составил себе определенное представление о том, что за человек Гарри Дель Мар, хотя и ровно ничего не знал из его прошлого. Не знал он, например, того, что имя этого человека вовсе не Гарри Дель-Мар, а Персифаль Гренский, не знал он и того, что он, не окончив своего образования, поступил на службу к некоему Гарри Коллинсу, который зарабатывал громадные деньги, дрессируя животных для публичных представлений. Майкл не имел даже понятия о том, в чем именно заключается это искусство дрессировки зверей, которому Гарри Дель Мар обучался у Коллинса в течение целых шести лет. Для Майкла было несомненно только одно — это то, что по сравнению со стюардом, капитаном Келларом и мистером Хэггином Гарри Дель Мар человек совершенно невоспитанный, нечестный и фальшивый, которой при людях там наверху, на палубе, говорит с ним совсем не тем голосом и тоном, каким говорит у себя в каюте с глазу на глаз.

И кончились такие умозаключения Майкла тем, что в последнюю ночь на пароходе он, наконец, вышел из себя, а так как вышел из себя и Дель Мар, то между ними произошло сражение, в котором потерпел поражение Майкл. Гарри Дель Мар недаром шесть лет практиковался в школе Коллинса. Ког-

да Майкл на него бросался, он его хватал за нижнюю челюсть, переворачивал в воздухе и бросал спиной об пол с такой силой, что казалось собака должна тут же издохнуть. Но окончательно сразил Майкла Дель Мар, схватив его пальцами за шею, причем он крепко сдавил ему сонную артерию. Майкл потерял сознание, когда же он снова пришел в себя Дель Мар спокойно чиркал спичкой, закуривая сигару, и искоса поглядывал на свою жертву.

В Сиэтле Майкла свели с парохода на берег, причем он делал страшные усилия, чтобы высвободить шею из туго затянутого ремня, озирался, тянулся ко всем углам и закоулкам, обнюхивал всех прохожих, тщетно стараясь напасть на след своего стюарда, но стюарда нигде не было.

В гостинице «Нью-Вашингтон» Майкла привязали посреди вестибюля около груды сундуков и чемоданов, которые то уносили, то приносили, но количество которых оставалось все тоже. Затем его сдали на попеченье швейцару и слугам. Последние очень с ним сдружились и все время угощали громадным количеством оставшегося на тарелках гостей жареного мяса. Но Майкл его не ел и даже отворачивался, он слишком был расстроен, он терял надежду найти своего стюарда. Увидав однажды валяющиеся перед Майклом куски мяса, Дель Мар устроил целый скандал швейцару за нарушение данных насчет кормления его собаки инструкций.

Тотчас же по приезде в Сиэтл, Гарри Дель Мар отправил две телеграммы. Одну своему бывшему патрону Коллинсу, другую заведующему театральными его делами распорядителю.

Первая телеграмма, адресованная Коллинсу, гласила:

«Продайте всех моих собак. Что они умеют делать, и какая им цена, вы знаете. Мне они больше ненужны. За постой их удержите из денег, вырученных от продажи. Остающуюся сумму оставьте у себя до моего возвращения. Я нашел собаку, какой еще не видел свет. Все, чему мы обучали собак, меркнет перед тем, что умеет она. Экземпляр высшей марки».

Телеграмма к распорядителю была следующего содержания:

«Пустите дело в ход. Не стесняйтесь рекламы. Невероятная удача.

Имею экземпляр высшей марки — вне конкурса. Рекламируйте вовсю. Вы знаете, что я не ошибаюсь. Успех этой собаки обеспечен всегда и всюду».

ГЛАВА XXIII

В комнату, где у груды багажа сидел на привязи Майкл, принесли клетку. Так как принес ее Дель Мар, Майкл сейчас же сообразил, что клетка эта предназначается для него. И он не ошибся. Не прошло и минуты, как Дель Мар предложил ему войти в эту самую клетку. На это предложение Майкл ответил

определенным отказом. Тогда Дель Мар схватил Майкла за шею, приподнял в воздухе и бросил в клетку. Однако это ему не совсем удалось, так как Майкл попал туда только частью своего тела, упершись передними ногами о край клетки. Но Дель Мар, как опытный дрессировщик, не задумываясь ударил Майкла по ногам кулаком; последний невольно приподнял лапы и тотчас же очутился в клетке. В бессильном возмущении и злобе кидался он на решетку клетки в то время, как Дель Мар спокойно замыкал ее дверцу.

Потом клетку с Майклом водрузили на крышу омнибуса вместе с другим багажом, и около него оказалось из живых существ только два совершенно незнакомых ему человека.

Клетка была настолько мала, что Майкл не мог в ней свободно стоять, ему приходилось держать свою голову на уровне шеи, и все-таки при каждом толчке он больно ударялся головой о крышу клетки. Кроме того, клетка была настолько коротка, что нос Майкла упирался в ее боковую стенку. Неожиданно выскочивший из-за угла автомобиль заставил кучера омнибуса сразу осадить лошадей; при этом Майкл больно ударился носом о стенку клетки и зубами раскровянил себе губы.

Майкл попробовал лечь и как будто в этом положении почувствовал себя несколько лучше. Однако впереди его ожидало нечто более неприятное. Плохо умещаясь в тесной клетке, он нечаянно высунул одну из своих лап между прутьями клетки и положил на крышу омнибуса. Сильный толчок подбросил близлежащий сундук, и последний, падая обратно, раздавил лапу Майкла. Майкл завизжал от боли и неожиданности и стал тянуть свою лапу из-под

Не прошло и минуты, как Дель Мар предложил ему войти в эту самую клетку.

сундука, чем только усиливал боль, так как выдернуть свою лапу из под тяжелого сундука, он, конечно, не мог. И в этот момент его охватил безотчетный ужас, охватил страх, свойственный не только животным, но и людям, — страх «западни».

Теперь он уже не визжал; он безмолвно метался, бросался на прутья решетки, пытаясь перегрызть их, чтобы добраться до этого страшного чудовища, которое держит в плену его лапу. Наконец, новый толчок снова подбросил сундук, и Майклу удалось наконец высвободить свою израненную лапу.

На вокзале, в то время как клетку с Майклом вместе с другими вещами ставили на тачку, чтобы нести к вагону, к тачке подошел Дель Мар.

— Что, брат, лапу искалечили тебе? Ну, что ж, это научит тебя не высовывать лапы из клетки.

— Коготок-то пропал, — сказал один из носильщиков, нагнувшись к клетке, чтобы хорошенько рассмотреть разбитую лапу собаки.

— Не только коготь, но и весь большой палец! — сказал в свою очередь рассмотревший лапу Майкла Дель Мар.

Он вынул из кармана перочинный нож, открыл его и сказал:

— Сейчас мы сделаем маленькую ампутацию, помогите немножко!..

Он открыл клетку, вытащил оттуда Майкла несмотря на то, что последний, сопротивляясь, извивался и бил в воздухе всеми своими четырьмя лапами, усиливая этим боль поврежденной.

— Подержите ногу, — сказал Дель Мар носильщику, — это вопрос одной секунды.

И в самом деле, операция продолжалась не больше секунды, после чего Майкл был тотчас же водворен обратно в клетку, причем на ногах его уже было одним большим пальцем меньше, чем от рождения.

Он зализывал свою рану и был полон самых мрачных предчувствий. Никогда никто еще не позволял себе так с ним обращаться. А эта тесная клетка доводила его до безумия, напоминая западню. Да он и в самом деле попал в западню, и потому понятно, что его охватило чувство какой-то безнадежности. С его стюардом случилось самое ужасное, что только может случиться: его поглотило, вероятно, то же «Небытие», которое ранее поглотило «Мэриндж», «Евгению», «Соломоновы острова», «Макамбо», «Австралию» и «Мэри Тернер».

Невероятный и все приближающийся гам заставил Майкла насторожиться и, в ожидании какой-нибудь новой катастрофы, он ощетинился.

Этот гам производила целая свора собак.

— Черт возьми, это опять эти проклятые дрессированные собаки! — проворчал приемщик багажа. — Следовало бы законом воспретить эти представления с дрессированными животными, — прибавил он, обращаясь к своему помощнику, — потому это черт знает что!

— Это труппа Петерсона. Я их принимал неделю назад, когда их привезли. Одну вынули из клетки околевшей.

Между тем тачку с этими собаками подкатили к тачке, на которой стояла клетка с Майклом, и он увидел, что вся тачка была нагружена клетками с собаками. Их и в самом деле было не меньше тридцати пяти! И все они были полукровки самого несчастного вида. Одни выли, другие пищали, третьи рычали и бесились, бросаясь на решетки клеток, мешавшие им друг в друга вцепиться. Некоторые из них страдали молча и молча зализывали свои раны. Маленькие собачки были запиханы по две, по три в одну клетку.

— Вы только посмотрите, в каком виде их перевозят! — возмущался багажный приемщик. — Этот Петерсон не желает приплачивать за багаж и потому напихивает их в клетку, как сельдей в бочку. Они стоять в своей клетке не могут! Эти переезды из города в город должны быть для них настоящей пыткой!

Багажный приемщик не знал еще того, что и по приезду в город пытка эта продолжается; собак продолжают держать в тесных клетках и они остаются несчастными узниками до самой своей смерти. Из клетки же их выпускают только для того, чтобы вывести перед публикой на арену.

С точки зрения делового предпринимателя хорошо содержать полукровок нет никакого расчёта; потому гораздо выгоднее заменять их новыми, раз это товар дешевый.

Еще меньше знал приемщик багажа об условиях жизни этих собак. Майкл же сразу почуял, что удел этих животных страдать и мучиться и смутно почувствовал, что удел этот ожидает и его самого.

В вагоне Майкл очутился вместе с собаками Петерсона и в этом собачьем аду провел день и две ночи. Затем собак Петерсона на какой-то из станций выгрузили, и он мог продолжать свое путешествие в более спокойных условиях, хотя ампутированная лапа его все еще ныла и страдала от каждого толчка вагона.

Вопросами: отчего, зачем, и почему его держат в этой тюрьме — Майкл даже и не задавался. Он был способен понимать только то, что происходит в действительности и понимал отчасти, как именно оно происходит. Понимал он это так же, как понимал то, что вода мокрая, огонь горячий, железо твердое, мясо вкусное. Он принимал все это так же, как принимают смену дня и ночи.

В Чикаго его погрузили на крышу другого омнибуса. Через весь этот громадный шумный город перевезли его на другой вокзал и опять он очутился в вагоне. Промелькнуло мимо него еще порядочное количество незнакомых носильщиков, багажных приемщиков и, наконец, из Нью-Йорка он был отправлен к некоему Гарри Коллинсу на «Лонг-Айленд».

Тут следует отметить в жизни Майкла два важных факта. Первый — это его вступление в Звериный Ад, во главе которого стоял Гарри Коллинс. Второй — это то обстоятельство, что Гарри Дель Мара ему больше уже не суждено было видеть. Гарри Дель Мар ушел не только из жизни Майкла, но из жизни вообще. Случайное столкновение вагонов подъемной дороги погрузило его в то небытие, которое люди называют смертью.

ГЛАВА XXIV

Гарри Коллинсу было пятьдесят два года. Он был строен, гибок и очень подвижен. В наружности и обращении его было столько мягкости и нежности, что можно было подумать, что это человек самой высокой добродетели. На первый взгляд его можно было бы принять за учителя воскресной школы, директора женской гимназии или председателя Человеколюбивого Общества.

Цвет лица у него был белый, розовый, руки нежные, как у его собственной дочери, и весил он не более ста двенадцати фунтов.

Гарри Коллинс боялся своей жены, боялся физической боли, боялся воров и, единственно, чего он не боялся — это животных, хотя бы самых диких и страшных. Он не боялся ни львов, ни тигров, ни леопардов, ни ягуаров. Он был великим мастером укрощать зверей. Запершись в клетке со львом, он мог укротить последнего, имея в распоряжении только одну простую палку.

Искусство это он унаследовал от отца, под руководством которого он его изучил. Отец его был еще меньше ростом и еще больше боялся всего, кроме зверей. Ноель Коллинс был известен как отличный дрессировщик зверей сначала в Англии, потом в Америке, где он основал в «Седеруальде» академию для дрессировки животных. Унаследовав отцовское дело, Гарри Коллинс значительно расширил его и повел так удачно, что его школа славилась, как единственная в своем роде, по благоустройству, чистоте и порядку. Все, кто посещал ее, приходили в восторг от организации дела, от обилия света в помещениях и общих условий, в которых содержались животные. Но никому из посетителей не разрешалось присутствовать при дрессировке животных. Иногда, и то очень редко, посетителям демонстрировали какое-нибудь уже вполне выдрессированное животное, и подобная демонстрация только еще усиливала благоприятное впечатление от академии Коллинса. Но если бы те же посетители видели, как дрессируют в этой академии животных-новичков, их впечатления о Гарри Коллинсе были бы совсем другие. Очень возможно даже, что они бы пришли в негодование, которое выразилось бы в шумных протестах.

Школа Гарри Коллинса, собственно говоря, представляла из себя маленький зоологический сад, в котором количество зверей постоянно менялось, так как, кроме зверей, принадлежавших самому Коллинсу, — зверей, которых он покупал, дрессировал и продавал, тут были и животные, собственники которых находились в данный момент без ангажемента, или еще только организовывали свой цирк. Во всяком случае, в каждый данный момент Коллинс располагал достаточным количеством дрессированных зверей самого разнообразного калибра, начиная от мыши и кончая гиппопотамом для того, чтобы снабдить любого покупателя.

Когда прогорел в один из неудачных зимних сезонов цирк братьев Серклин, Коллинс начал с того, что взял к себе на постой весь его живой инвентарь, за что выручил пятнадцать тысяч долларов в три месяца. Затем он заложил все свое имущество, и когда этот живой инвентарь прогоревшего цирка стали прода-

вать с аукциона, он купил всех дрессированных лошадей, несколько жирафов, слона, пони, и с представлений с этими зверями в течение шести месяцев выручил еще пятнадцать тысяч долларов. Кроме того, пони он продал несколько месяцев спустя за две тысячи долларов. Вообще эта операция с банкротством цирка братьев Серклин была одним из самых блестящих финансовых подвигов Коллинса, который вообще никогда не упускал случая нажить хотя бы самую ничтожную сумму денег. Так, например, посылая находящихся у него временно на содержании чужих животных на ипподром, на выставку он часть призов оставлял себе; отдавая же таких зверей напрокат для кинематографических съемок, он нередко удерживал всю полученную за прокат сумму.

Коллинс славился не только своим богатством, но и своим великим мастерством дрессировать животных. Его называли «Королем Дрессировки».

И только те, кто видели, как он дрессирует, знали, что души у этого человека нет. Зато жена, дети, родственники и добрые знакомые его, считали его сердечнейшим и добрейшим человеком в мире, потому что ни разу не видали его за работой.

Большинство издевательств над животными производили помощники Коллинса. Сам он только руководил ими, учил что и как делать иногда на животных, представлявших для него особый интерес, он демонстрировал свои приемы ученикам. Помощники и ученики его были по большей части совсем юнцы. Они у него проходили полный курс дрессировки. А выбирать себе учеников способных он умел, каким-то особым чутьем угадывая их пригодность именно к такому делу. Самообладание, сообразительность, хладнокровие и жестокость,— вот те свойства, которых требовал Коллинс от своего ученика. Чувствительных молодых людей, а также горячих, склонных проявлять благородные порывы, он считал совершенно для своего дела непригодными. Деловой день в школе Седеруальда начинался минута в минуту по часам и заканчивался последним ударом бича. Одним словом, можно смело сказать, что биологические лаборатории всего мира, со всеми своими вивисекциями, доставляли, вероятно, животным меньше мучений, чем Гарри Коллинс со своей школой.

И вот в этот-то звериный ад попал Майкл, безостановочно проехавший в клетке три тысячи пятьсот миль. В дороге его из этой ужасной тесной клетки, в которую его посадили в отеле «Нью-Вашингтон» в Сиэтле, ни разу не выпустили, ни разу не дали немножко размять ноги и переменить положение. При этом он не видел ничего, кроме самого жестокого обращения. В клетке его развелась страшная грязь, и он сам был полон блох. Рана на его ампутированной ноге могла затянуться в таких антигигиенических условиях только благодаря его крепкой здоровой натуре.

Кто когда-либо бывал в Седеруальде может сказать, что кроме звериного ада, устроенного там Гарри Коллинсом, там были зеленые бархатистые лужайки, прекрасные прогулки как в самом Седеруальде, так и в его окрестностях, масса цветов и красивых дорожек среди невысоких, тонущих в зелени домов.

Но этого всего Майкл не видал. Гарри Коллинс не поехал получать его сам. Прочитав у себя в конторе телеграмму Гарри Дель Мара, он тотчас же написал записку своему секретарю. В записке этой он отдавал последнему приказание поехать принять отправленную Дель Маром с назначением в Седеруальд из Сиэтла, собаку в клетке.

Длиннолицый юный секретарь Коллинса принял Майкла по накладной, дал на чай провожатому и привез клетку с Майклом в особую сводчатую комнату, где сильно чем-то пахло, но все было химически чисто и продезинфицировано.

Эта обстановка произвела на Майкла скорей хорошее впечатление. Менее понравился ему бледнолицый восемнадцатилетний юноша.

Последний, прежде чем открыть клетку, засучил рукава и надел огромный клеенчатый передник. Майкл с видимым удовольствием вышел из клетки и стал, пошатываясь, прохаживаться и разминать ноги после столь долгого сиденья в одной и той же позе. Новый белолицый «бог» в клеенчатом переднике показался ему не особенно интересным. Он показался методичным, как машина, и бездушным, как сводчатые стены комнаты, в которую его, Майкла, водворили. Нарядившись в свой передник, бледнолицый этот «бог» принялся мыть, чистить и дезинфицировать Майкла, все это проделывая тщательно и аккуратно, потому Гарри Коллинс соблюдал у себя в школе все требования гигиены; Майкл был продезинфицирован по последнему слову науки; при этом обращались с ним не очень жестоко, но и без особых церемоний.

Что именно с ним проделывают Майкл понимал, конечно, только отчасти. Может быть он считал, что в довершение пережитых им уже испытаний (настоящих истязаний и пыток он еще не знал) его привели в эту пустую комнату, с цементным полом и каким-то едким химическим запахом специально для того, чтобы вот этот самый бледнолицый юноша-«бог» погрузил его в то небытие, которое уже поглотило всё, что он в своей жизни знал и любил. Но что Майкл несомненно чувствовал, так это то, что все тут проникнуто чем-то жутко зловещим и все необычно и странно. Пока юноша мыл и тер его, Майкл терпел, когда же он направил на него струю воды из какой-то кишки, он не вытерпел — разозлился и запротестовал. Юноша, согласно установленным правилам, надел на него намордник, одной рукой приподнял его с пола, а другой направил ему в рот струю воды, постепенно при этом увеличивая ее напор. Майкл всячески сопротивлялся и тем самым только сам себя наказывал, так как весь вымок и чуть не захлебнулся; после этого он несколько успокоился и дал себя обмыть и вычистить при помощи той же кишки, большой колючей щетки и едкого карболового мыла, пена которого кусала ему глаза и ноздри так, что слезы у него лились ручьем и он неистово чихал. Ожидая еще каких-нибудь операций и зная, что бледнолицый юноша без церемоний будет над ним проделывать все для него приятное и неприятное, Майкл терпеливо переносил, что бы с ним ни проделывали. Наконец, вымытого, вычищенного Майкла водворили в чистую, просторную, огороженную решеткой каморку, где он скоро уснул и забылся.

Комната, в которой помещался сейчас Майкл, была изоляционным пунктом, в котором животные должны были проводить первую неделю по приезде. Никаких зачатков какой-либо болезни за этот период у Майкла не обнаружилось и вообще ничего особенного с ним за это время не произошло, кроме того, что его регулярно и хорошо кормили, поили чистой питьевой водой и держали в этом, изолированном от всего учреждения, помещении. При нем находился и обслуживал его только этот бледнолицый юноша-«бог» Самого Гарри Коллинса Майкл еще не видал, но он познакомился уже с ним по его голосу, который он слыхал часто.

Этот негромкий, но строгий голос, несомненно принадлежал главному здесь «богу». Это Майкл почувствовал сразу, потому что только самый главный «бог» мог так властно приказывать.

ГЛАВА XXV

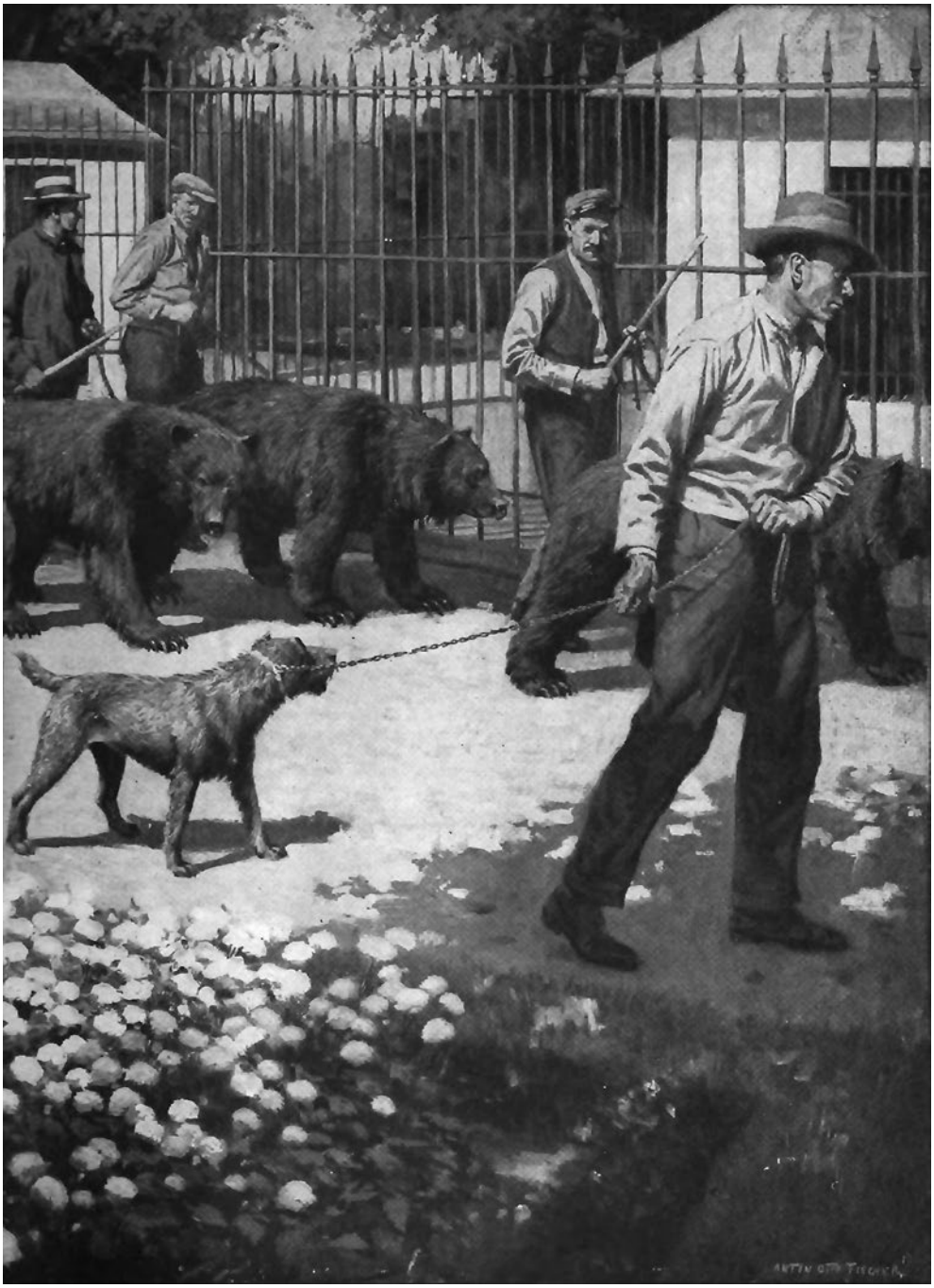
Было одиннадцать часов утра, когда бледнолицый «бог» надел на Майкла ошейник и на цепочке вывел из карантинного отделения. Он передал его другому, черноволосому «богу», и тот, не теряя времени на какие-либо по адресу прибывшего Майкла приветствия, повел его дальше.

Очевидно туда же, куда вели Майкла, вели также на цепочке трех никогда еще невиданных Майклом зверей. При виде этих трех чудовищ — медведей, Майкл ощетинился и глухо зарычал, потому что наследственным инстинктом почуял, кто они, — почуял также, как корова чует при первой же встрече волка, — исконного врага себе подобных.

Майкл уже слишком много в жизни видал и знал и к тому же, от природы, был слишком умной собакой для того, чтобы на этих неведомых зверей броситься. Он спокойно шел на цепочке и только усиленно внюхивался в воздух, наполненный целым букетом незнакомых ему запахов. Позже он во всех этих запахах разобрался и установил, что они принадлежали львам, леопардам, обезьянам, тюленям, морским львам и павианам. Но в этот момент, не обладая способностью видеть сквозь стены, он только чуял их, и ему казалось, что он очутился в какой-то новой чаще девственных лесов.

При входе на арену он опять зарычал и ощетинился при виде шедших ему навстречу слонов. Их было пять и все они были небольшие, но ему они казались чудовищно-громадными. Слоны на Майкла не обратили никакого внимания, они уходили с арены так, как их научили эго делать: каждый держал своим хоботом хвост того, который шел перед ним.

Усыпанная опилками арена отличалась от обыкновенной — цирковой тем, что вокруг нее не было мест для публики, а в центре была устроена беседка, крытая стеклом. Никакие зрители и никакая публика сюда никогда не допускалась. Кроме самого Гарри Коллинса и его помощников, входить сюда могли только покупатели и продавцы зверей; профессиональные же дрессировщики



При виде этих трех чудовищ — медведей, Майкл ощетинился и глухо зарычал.

учились тут тому, как надо мучить зверей для того, чтобы публика разевала рот от удивления, глядя на те фокусы, которые те проделывают.

На секунду Майкла заняли пестро выкрашенные, громадные, такие, на каких может смело сидеть слон, бочки. Сейчас эти бочки какие-то люди выкатывали с арены. Черноволосый «бог», который привел Майкла, приостановился, и тут внимание Майкла обратил на себя маленький пони. Лошадка лежала на опилках, на ней сидел человек; время от времени пони поворачивал голову и целовал человека в губы.

Это все, что Майкл видел и, тем не менее сразу почувствовал, что тут есть какой-то обман, какая-то фальшь и что тут проделывается что-то жестокое. И в самом деле, то, чего Майкл не видел, а только чуял, заключалось в следующем: в руке человека, сидевшего на маленьком пони, была длинная острая булавка. Время от времени человек вонзал эту булавку в голову лошадки, и та невольно, рефлексом, поворачивала к нему голову: в то же время он наклонялся и касался губами ее морды. Публика же должна была дивиться тому, как маленькая лошадка умеет высказывать свою любовь «обожаемому» хозяину. На некотором расстоянии, совсем уже что-то странное, происходило с другим маленьким пони. К передним его ногам были привязаны толстые веревки; каждую веревку держал человек; третий человек стоял спереди и, в то время как он, коротким бичом ударял пони по коленям,— двое других изо всей силы, дергали веревки, и несчастная лошадка падала на колени. Маленькому пони эта игра, очевидно, совсем не нравилась. Он, то и дело, упирался, расставлял ноги и валился на бок. Но все его протесты ни к чему не приводили, потому что его тотчас же поднимали, причем двое дергали его ноги за веревку, а третий нещадно бил его по коленям. Необходимо ведь было, на удивление публики, выучить его становиться на колени! Глядя на все, что происходит па этой арене, Майкл приходил к заключению, что здесь учат при помощи истязания. И в самом деле, Седеруальдскую академию животных можно было смело назвать «Школой Истязаний».

Гарри Коллинс подозвал к себе черноволосого юнца и вопросительно посмотрел на Майкла, которого тот держал па цепочке.

— Дель Маровская собака, сэр, — сказал юнец.

Глаза Коллинса загорелись, и он, уже внимательнее посмотрев на Майкла, спросил:

— Вам известно, что эта собака умеет делать?

Юнец отрицательно покачал головой.

— Гарри был знаток! — пробормотал не то про себя, не то обращаясь к юнцу, Коллинс.— Он аттестовал эту собаку, как нечто сверхъестественное. Но теперь вопрос в том, что же она такое умеет особенное проделывать. Бедный Гарри умер, а мы не знаем, что она умеет. Спустите его с цепи!

Майкл смотрел на этого старшего «бога», ожидая, что с ним будут делать дальше. Что именно с ним будут делать, он смутно почуял, так как с другого конца арены раздался в этот момент вой медведя, которого дрессировали, и он, несомненно, выл от боли.

— Сюда! — приказал Майклу своим сухим холодным тоном Коллинс.

Майкл подошел.

— Ложись!

Майкл, не торопясь и тем самым выражая свою неохоту повиноваться, лег.

— Чистокровный! — с насмешкой сказал Коллинс. — Придется тебе поддать перцу! Не беспокойся, брат, об этом мы позаботимся! Встань! Ложись! Встань! Ложись! Встань!

Коллинс произносил слова отрывочно, словно выпаливал их из револьвера. Майкл исполнял приказания, но все также, нехотя и не торопясь.

— По-английски он во всяком случае понимает. Интересно знать, быть может, он умеет проделывать двойные курбеты в воздухе? — высказал Коллинс предположение, которое являлось заветной мечтой каждого дрессировщика

— Вам известно, что эта собака умеет делать?

и циркача. — Идемте, попробуем! Наденьте цепочку, Джимми, а также подпругу и веревку!

Другой юнец обхватил ремнем тело Майкла у задних ног и привязал затем к ремню тонкую бечевку.

— Ну-с, поставьте его прямо! Готово? Начинайте!

И тут с Майклом сотворили нечто возмутительно оскорбительное и непонятное. При слове «Начинайте», — одновременно, один из юнцов дернул цепочку вверх и назад, а другой дернул веревку вверх и вперед, а Коллинс своей короткой палкой ударил Майкла под нижнюю челюсть.

Имей Майкл хоть малейшее понятие о том, чего от него хотят, вся эта операция прошла бы менее для него болезненно, потому он просто сам прыгнул бы вверх и откинулся назад. Теперь же ему казалось, что его раздирают на части. Резким движением, перевернутый в воздухе, он упал прямо на затылок. Весь в опилках, он ощетинился, оскалил зубы и бешено зарычал. Ему хотелось запустить свои зубы в тело этого «бога» — хозяина! Но юнцы знали свое дело. Один из них натянул цепь, другой веревку, и Майкл оказался беспомощно распластанным на полу арены. Все, что он мог делать, — это неистово рычать в своей бессильной злобе.

Если для Майкла все это было сильным, новым переживанием, для Гарри Коллинса, это была самая обыкновенная вещь; он совершенно спокойно оглядывал своим хозяйским взглядом арену и ожидал пока Майкл уймется.

— Ну, что, чистокровный ты пес? Спустите его с цепи!

Как только Майкл почувствовал себя свободным, он бросился на Коллинса, но тот ловким движением опытного дрессировщика ударил его рукой под нижнюю челюсть и отбросил в опилки.

— Растяните его! — приказал Коллинс.

Юнцы тотчас же снова распластали Майкла.

Коллинс посмотрел на другой конец арены, куда вводили две нары лошадей тяжеловозов, за которыми шла молодая, одетая в сшитый по последней моде элегантный костюм для гулянья, женщина.

— Я полагаю, что курбетов он никогда не делал, — возвращаясь мыслями к Майклу, изрек Коллинс. — Снимите с него подпругу, Джимми, и идите помогать Смиту! Джонни, отойдите с собакой в сторону и, смотрите, — берегите свои ноги! А сейчас мы будем репетировать номер мисс Мэри. Она будет проделывать его в первый раз.

Заинтересованный юнец, вместе с Майклом, остановился невдалеке, так что Майкл видел все. Но из того, что происходило на его глазах, он не понял ничего, кроме разве того, что и эта несчастная молодая женщина находится тоже во власти этих «богов», которые и с ней, очевидно, обращаются жестоко.

И в самом деле, этот номер с лошадьми ей очень не хотелось проделывать. Она храбрилась до самой последней минуты. Но, когда по обе стороны ее, поставили по паре этих громадных лошадей, у нее душа ушла в пятки: — эти лошади должны были, якобы, раздирать ее в обе стороны, а она должна была

сдерживать их, якобы, своей силой, зацепив крюки обоих дышл, крюками продетых под ее рукавами проволок; проволоки эти были прикреплены к пружине аппарата, пристроенного под жакеткой у нее на спине.

Она закрыла лицо руками и, обращаясь к моложавому, полному мужчине, ее мужу, молила:

— Нет, нет, Билликенс, я не могу! Я боюсь, боюсь!

— Вздор! — вмешался Коллинс. — Бояться решительно нечего! Это необыкновенно удачно придумано, и вы на этом номере наживете состояние. Одну минуту! Стойте смирно!

Он ощупал ее плечи и спину под жакеткой и сказал:

— Все в порядке, аппарат в полном порядке, — и он провел руками по ее рукавам. — Теперь спустите крюки! — он потряс ее рукава и из-под кружевных манжет выскользнули железные, прикрепленные в тоненькой стальной проволоке крюки.

— Нет, так нельзя. Не надо, чтобы их видела публика! Уберите их назад! Теперь спустите! Вы должны спускать их так, чтобы они были незаметны у вас в ладонях: Вот так, смотрите! Вот, вот, именно так!

Бедная женщина делала над собой невероятные усилия, чтобы владеть собой, и старательно исполняла приказания, хотя взгляд ее, полный мольбы, был все время обращен к стоявшему тут-же и недовольно на нее глядевшему мужу.

Люди, выведшие лошадей, приподняли дышла так, чтобы мисс Мэри могла сцепить крюки на дышлах со своими. Она, было, сделала движение, но страх снова одолел ее, и она беспомощно опустила руки.

— Если аппарат ваш не выдержит, я останусь без рук!

— Какой вздор! В худшем случае, пострадает ваша жакетка, и публика будет над вами смеяться, так как секрет будет разоблачен. Но ничего такого не случится, все должно сойти прекрасно, потому что аппарат в полном порядке. Слушайте, я еще раз объясню вам в чем дело. Ведь лошади тянут к себе вовсе не ваши руки, а друг друга. Это только публика должна думать, что они тянут вас. Ну-с, попробуйте еще раз! Беритесь за дышла, выпускайте и незаметно сцепляйте крюки. — Ну-с!

Он говорил резко. Она выпустила крюки, но за дышла взяться не решалась.

Коллинс отвернулся, чтобы скрыть досаду, и посмотрел в ту сторону арены, где только-что закончили дрессировку целующегося пони и пони, умеющего становиться на колени.

Муж мисс Мэри пришел в бешенство.

— Послушай, Юлия, если ты меня подведешь!..— начал он.

— Нет, нет я постараюсь... я уже... уже не боюсь, — и она схватилась руками за дышла.

По лицу Коллинса скользнуло что-то вроде улыбки. Он подошел и обследовал ее руки, чтобы убедиться, что крюки сцеплены.

— Теперь приготовьтесь! Стойте прямо, ноги расставые! — И Коллинс поправлял ей руками плечи и ноги, стараясь придать нужную позу.

— Не забывайте: как только лошади начнут тянуть, вы должны сразу вытянуть руки так, чтобы они, вместе с вашими плечами, образовали одну прямую линию. Ну-с, готовы?

— Одну минутку, — попросила она и переменила позу.

Я сделаю, все-все сделаю только... только, Билликенс, ты должен поцеловать меня перед этим. Тогда мне будет все равно, даже если эти лошади вырвут у меня руки.

Юнцы на арене фыркнули. Коллинс же пробормотал:

— Пожалуйста! Только помните, что самое важное, с первого же раза, проделать этот фокус чисто. Потом уж не будут смотреть так внимательно и недоверчиво. Билл, приласкайте вашу жену перед началом!

Смущенный Билликенс, сердито и холодно, поцеловал жену. Это была хорошенькая, маленькая женщина, лет двадцати, не больше. Личико у нее было детское, сложена она была очень хорошо и весу в ней было фунтов сто сорок.

— Поцелуй мужа, — ободрил ее Коллинс. Она стиснула зубы и пробормотала:

— Я готова.

— Начинайте! — скомандовал Коллинс.

И понукаемые возницами лошади начали тихонько тянуть.

— Подстегните лошадей! — заорал Коллинс.

Под ударами бичей лошади вскинулись на дыбы, потом, опустившись, подняли целую тучу опилок своими большими, как тарелки, копытами.

При виде жены в таком страшном положении, Билликенс потерял всякое самообладание и на лице его отразился настоящий ужас. Выражения ее лица сменялись, как в калейдоскопе. В первый момент это было лицо христианской мученицы, брошенной на растерзание льва, но тотчас же выражение страха сменило выражение удивления, — ее удивляло то, что ей совсем не больно и, наконец, выражение удивления перешло в выражение гордого торжества. Она нежно улыбнулась мужу и он, в свою очередь, с облегчением вздохнув, улыбнулся ей улыбкой самой нежной любви.

— Улыбки здесь неуместны! Перестаньте улыбаться! — закричал им Коллинс.— Ведь публика думает, что лошадей сдерживаете вы. Вы должны делать вид, что напрягаете все ваши силы. На вашем лице каждый мускул должен выражать страшное напряжение воли! Расставьте ноги! Все сквозь юбку должны чувствовать, как напряжены мускулы ваших ног. Чуть-чуть подавайтесь то в одну, то в другую сторону. Шире ноги. Играйте лицом! Ведь вас вот-вот разорвут на части! Вот что должно быть написано на вашем лице! О, это прекрасно придумано! Билл, это необычайно удачный будет номер. Ну-с, сильней подстегивайте лошадей!

И удары бича градом сыпались на спины лошадей-гигантов, и это было одно из тех зрелищ, от которых публика должна была прийти в безумный восторг.

Еще бы! Каждая из этих лошадей весила не меньше тысячи восьмисот фунтов и, значит, семь тысяч двести фунтов раздирали на части одетую в нарядный

костюм маленькую женщину, весом не более ста сорока фунтов. Это было одно из тех зрелищ, при виде которых женщины в цирке вскрикивают и отворачиваются.

— Сдавайте! — крикнул Коллинс возницам; потом, словно обращаясь к публике, объявил, как это делают цирковые распорядители:

— Мисс Мэри победительница! Билл, у вас в руках целый клад! — прибавил он, обращаясь к мужу мисс Мэри. — Мисс Мэри, расцепляйте крюки!

Мисс Мэри не заставила себя просить и, расцепив крюки, даже не убрав их в рукава, кинулась на шею мужу.

— О, Билликенс, я знала, я все время знала, что сумею все это проделать! Ведь я хорошо держалась?!. Правда хорошо?

— Непростительная забывчивость! Как вы могли забыть убрать крюки в рукава? — прервал ее резким тоном Коллинс.— Вы забыли, что публика не должна знать о их существовании. Вы их должны убирать в ту же секунду! И не забывайте, что вы не должны иметь по окончании вида, будто все, что вы проделали, для вас было легко. У публики должно быть впечатление, что вам это все, напротив, было очень трудно. По окончании вы должны едва стоять на ногах, вам вот-вот сделается дурно, и вас, совершенно терявшую сознание, должен кто-нибудь подхватить, чтобы не дать вам упасть! Все, что вы можете,— это слабо улыбнуться публике и послать ей воздушный поцелуй. Публика заерзает на местах от сочувствия к вам, она обожать вас будет! Ведь ей будет казаться, что у вас всю душу вытянули. Постарайтесь все это себе усвоить и растолковать ей, Билл. Ну-с, еще раз! Готовы? Начинайте...

И номер был повторен семь раз подряд. В то же время Коллинс успел послать к себе в контору за телеграммой Дель Мара.

— Теперь, Билл, займитесь с ней сами, — уже с телеграммой в руках говорил Коллинс, — заставьте ее проделать все это еще с полдюжины раз. Это не номер, а клад! Будь я помоложе, я сам бы с ним выступил, поехал бы на гастроли.

Читая телеграмму Дель Мара, Коллинс поглядывал на Майкла.

— Дель Мар был знаток. Даром он такой телеграммы мне не послал бы. Но что же эта собака умеет проделывать? Курбетов она, видимо, не делала никогда, двойных тем более. Что же такое? Напрягите ваш умственный аппарат, Джонни, и выскажите какое-нибудь предположение.

— Может быть она умеет считать, — нерешительно предложил Джонни.

— Ах, эти арифметические собаки теперь не имеют на рынке никакой цены! Во всяком случае можно попробовать.

Но, умевший безошибочно считать, Майкл здесь считать отказался.

— Во всяком случае он должен уметь ходить на задних лапах! Попробуем!

И Майкла снова подвергли унизительному испытанию. Джонни ставил его на задние лапы, а Коллинс бил его палкой снизу по нижней челюсти и сверху по коленям. Майкл бесился и пытался укусить Коллинса. Но каждый раз, как он бросался, Джонни вздергивал его на цепочке вверх.

— Довольно! — сказал Коллинс. — Раз он не умеет ходить на задних лапах, он не может проделывать фокуса с бочкой. Помните, как прекрасно это проделывала Руфь? Вот была собака! Только Каренс не умел с ней обращаться и сгубил ее раньше времени.

— Может быть, этот пес умеет вертеть на носу тарелки, — высказал новое предположение Джонни.

— Да как же он будет вертеть тарелки на носу, раз он не умеет стоять на задних лапах,— совершенно справедливо ответил Коллинс.— Да кроме того в этом фокусе нет ничего сверхъестественного. Пет, у этой собаки должна быть какая то совершенно особая специальность. Она проделывает нечто необыкновенное и проделывает в совершенстве. Наше дело теперь установить, что именно она проделывает в совершенстве. Надо же было Гарри умереть так не вовремя и задать мне такую головоломную задачу! Мне придется теперь заняться им специально. Отведите ему пока «номер восемнадцатый»! Позже мы его поместим отдельно...

ГЛАВА XXVI

Отделение № 18 в длинном ряду клеток было довольно просторное, удобное и снабженное всем необходимым помещение. Оно было даже настолько просторно, что в нем смело можно было бы поместить целую дюжину таких ирландских терьеров как Майкл. Гарри Коллинс был человек просвещенный, свою же специальность он изучил досконально! Собакам, находившимся в Седеруальдской Академии на отдыхе или временном постое, после тяжелой работы, полученных ушибов и увечий, здесь, в течение шести месяцев и более, предоставлялись все удобства и делалось все возможное, чтобы они могли оправиться. Вот почему Седеруальдская школа была так популярна среди владельцев все возможных животных; они спокойно их туда отправляли на отдых, когда самим им приходилось ехать куда-нибудь отдыхать или по делам. Гарри Коллинс содержал животных в безупречной чистоте, в здоровых условиях, и всячески оберегал их от какой-либо заразы. Одним словом, у него эти временные постояльцы-животные возрождались и обновляли свои силы для новых публичных выступлений в цирке или другом каком-нибудь театре.

Налево от Майкла, в отделении № 17, томились пять причудливо остриженных французских пуделей. Видел Майкл этих пуделей только в те редкие моменты, когда его вынимали и сажали обратно в клетку; но он все время слышал и чуял их. С самым большим из пуделей, состоявших в этой группе,— пуделем на ролях клоуна Педро, Майкл заводил даже нечто вроде ссоры, огрызаясь и ворча на него из-за перегородки. Оба они являлись среди остальных собак в своем роде аристократами, и потому эти их ссоры были скорее не ссорами, а простым желанием завязать какие-нибудь сношения и поиграть друг с другом. Если-бы их поместили вместе, они, наверно, сейчас же подружились бы.

Но, томясь от скуки этой однообразной монотонной жизни, они точно сознательно разжигали в себе взаимную злобу, отлично в то же время сознавая, что никакой у них, в сущности, злобы друг к другу нет.

В отделении №19, от Майкла направо, помещалась унылая компания дворняжек, гладких, без пятен на шерсти, собак. Это был сырой, недрессированный материал, который держался на случай необходимости заменить издохшую или выбывшую из строя по той или иной причине собаку.

Этих своих соседей Майкл игнорировал совершенно. Они могли его обнюхивать, воинственно рычать на него, огрызаться, но он никакого на них внимания не обращал, тая симпатию только к игривому, находящемуся с ним в кажущейся вражде, пуделю Педро.

На арену Майкла выводили чаще и держали там дольше, чем всех остальных собак.

— Не могу допустить, чтобы Гарри мог в этой собаке ошибиться, — повторял про себя Коллинс, тщетно стараясь докопаться до того, что именно могло привести в такой восторг от Майкла его компаньона Дель Мара.

В поисках специальности Майкла, последнего подвергали самым гнусным оскорбительным испытаниям. Испытывали его на скачки с препятствиями, на уменье ходить на одних задних и одних передних лапах, заставляли ездить на пони, а также проделывать клоунские выходки с другими собаками. Пробовали еще заставлять его вальсировать. При этом к ногам его привязывали веревки, за которые дергал человек, руководя его движениями. Для того, чтобы он держался прямо, ему надевали ошейник с гвоздями. Сопровождались все эти упражнения ударами плетки и длинной бамбуковой палки. Наконец, однажды его втащили на верхнюю ступеньку приставной лесенки и заставили оттуда нырнуть в бассейн с водой.

Сделали также попытку заставить его проделать известный американский трюк «Loop the loop». Его пускали по наклонной плоскости вниз, подгоняя его при этом плетками. Он бежал с такой невероятной скоростью, что, будь у него на то желание, он с разбега легко мог бы взлететь вверх внутри специально устроенной петли, пробежать некоторое время как муха по потолку головой вниз и, снова спустившись по той же петле, благополучно выбежать из нее на арену. Но он не терпел насилия, а потому каждый раз, как ему не удавалось соскочить еще по дороге к петле, он вылетал уже из последней, причем больно ушибался, падая на арену, где его в наказание тут же били плеткой.

— Нет, это все не то, что имел ввиду Гарри в своей телеграмме, — говорил после каждого такого сеанса Коллинс. — Тем не менее приходится проделывать с ним все эти трюки — это единственный путь найти его специальность. Гарри не мог ошибиться, у этой собаки есть свое призвание.

Из любви к своему стюарду Майкл наверно постарался бы и одолел бы все трудности большинства этих трюков. Но здесь в Седеруальде он ни от кого не видел ни ласки, ни любви, по принуждению же он как всякая чистокровная собака, ничего делать не желал. Вот почему у него с Коллинсом то и дело

происходили горячие схватки. Однако Майкл скоро понял, что в этой борьбе он всегда будет побит. Все его попытки запустить зубы в ногу Коллинса или Джонни предупреждались каким-то ловким приемом. У Майкла было достаточно здравого смысла, чтобы понять, что при подобных условиях сражаться не только бесполезно, но и вредно. И он просто ушел в себя, стал угрюмой и необщительной собакой. Он по-прежнему всегда был готов огрызнуться и ощетиниться, чтобы показать, что он себя побежденным не считает, но от припадков бешеного гнева он уже воздерживался.

Через некоторое время с него сняли цепочку, и Джонни перестал сопровождать его, так как теперь он должен был почти весь день проводить с Коллинсом на арене.

Он всюду ходил за Коллинсом, но делал это с ненавистью. И ненависть эта отравляла его. Его здоровый организм подорвать она не могла, но она отравляла мозг его и отражалась на всех его мыслях, настроениях и впечатлениях. Он становился все мрачнее и мрачнее, и это тот самый Майкл, который всегда был веселее, задорнее и добродушнее своего родного брата Джерри. У него пропала всякая охота играть, бегать, возиться. И тело, и мозг его находились в том состоянии глубокой апатии, в каком они находятся у узников, сидящих долго в тюрьме и осужденных на вечную каторгу. Он мог часами неподвижно стоять около Коллинса и, опустив голову, смотреть, как тот дрессируя мучает и истязает зверей.

Многое довелось за это время увидеть Майклу. На его глазах мучали собак разных пород. Все они из кожи лезли, чтобы дать все, что могут, но Коллинс требовал, чтобы они давали еще больше. Он добивался какого-то чуда, если только можно назвать чудом то, что собака, надрываясь, делает нечто, что превосходит ее силы. То, что животные старались изо всех своих сил, было естественно, но то, чего от них добивался человек, было неестественно и потому убивало их или сокращало им жизнь. Прыгая, например, с трамплина собака должна была сделать курбет в воздухе, для того чтобы она прыгала при этом выше, чем может, внизу у трамплина стоял человек и ударял ее, летящую в воздухе, бичем. Понятно, что для того, чтобы избежать этого удара, собака пыталась прыгнуть еще выше и надрывала себе сердце.

— Без принуждения никогда ни одна собака не прыгнет достаточно высоко, — поучал своих помощников Коллинс. — В этом вся соль и вся разница между собаками, которых дрессирую я, и теми, которых дрессируют любители.

Коллинс вообще всегда любил все объяснять и пояснять. Поэтому ученики его школы и служившие у него люди, имевшие от него рекомендательные письма, в мире дрессировщиков и содержателей цирков имели большой авторитет и ставились очень высоко.

— От природы ни одна собака не ходит на одних передних и тем более на одних задних лапах; но надо, тем не менее, уметь заставить ее ходить так, как вам нужно! — проповедовал Коллинс. — Весь секрет нашего мастерства и заключается в умении «заставлять». Задача всякого дрессировщика и укротите-

ля — это «уметь заставить». Кто этого не умеет, тому у меня здесь места нет. Зарубите себе это на носу и действуйте соответствующим образом.

Между прочим, Майклу довелось видеть, как при дрессировке мула применяли седло с колючими гвоздями. При первых своих появлениях на арене мул этот казался крайне добродушным, толстым, жирным и забавным животным. Раньше он принадлежал семье, в которой его очень любили, особенно дети, которые постоянно с ним возились. Но, на горе его, он приглянулся Коллинсу, который сразу оценил в нем крепкое сильное сложение и связанную с этим долговечность. Оценил он так же и его комическую внешность и забавно подвижные уши.

При первом же выходе на арену его прежде всего перекрестили и дали ему имя Барней Барнато. С этого же момента на него посыпались и другие сюрпризы. Седло, с торчащими с внутренней его стороны острыми концами гвоздей, ему и во сне не могло присниться. Теперь же ему казалось, что гвозди эти впиваются в его тело даже тогда, когда никто на седле не сидел. Когда же Самуэль Бэкон, клоун-негр, усаживался на седло, гвозди и в самом деле впивались в тело несчастного мула. Но, раз испытав это на своей спине, Барней Барнато в последующие разы принимал свои меры. Едва Сэм успевал вскочить на седло, мул выгибал спину, брыкался и сбрасывал его на землю. И делал он это так решительно и забавно, что даже Коллинс приходил в восторг.

— Так-так? — одобрительно говорил он комически ловко падавшему в опилки Сэму.— Тебя придется дать в придачу к мулу, когда я буду продавать его, а то ведь весь этот трюк пропадет. Эффектный номер! Хорошо бы подыскать еще пару таких же, как ты крепких и так же умеющих падать. Ну, ну, упражняйся! Продолжай!

И Барней в буквальном смысле слова испытывал на своей спине весь ужас этих ежедневных упражнений. Впрочем, седло с торчащими гвоздями ему пришлось терпеть недолго. Упражнения стали производиться несколько иначе. Сэм вскакивал на его неоседланную спину с плоской колючей метлой. Когда он хватался за шею мула, то иглы впивались в спину последнего, и он опять-таки брыкался и сбрасывал негра на арену.

Мало-помалу спина мула стала до того чувствительна, что он начинал брыкаться каждый раз, когда кто-нибудь на его спину взглядывал. Ему казалось, что глядевший имеет намерение вскочить к нему на спину. Помня о гвоздях, при первой же попытке кого-либо сесть на него, он начинал волноваться, брыкаться и тотчас же сбрасывал седока.

Недели четыре спустя, для приезжего, худощавого, с нафабренными усами француза было дано полное представление с Барнеем, при участии Сэма и двух приглашенных на то же, что и у негра, амплуа белых юнцов. Результатом этого представления было то, что француз, не торгуясь, приобрел Барнея с Сэмом и обоими юнцами. Коллинс устроил это представление так, как устроил бы его в цирке для большой публики. Все роли были в точности распределены и заучены, и сам Коллинс выступил в качестве циркового распорядителя. Будущий владелец изображал публику.

Вывели толстого, лоснящегося от жира и очень забавного Барнея и, поставив его в огороженное перилами место, сняли с него повод. Он сразу заволновался и положил уши.

— Не забудьте самого главного,— говорил Коллинс французу-покупателю: — если вы купите Барнея с тем, чтобы показывать его в цирке, вы должны строго следить за тем, чтобы он нечаянно не укололся, и самое важное это то, чтобы вы сами его ни разу не укололи. Раз он будет уверен, что вы сами его никогда не уколете, он вам позволит себя трогать и вы будете легко управлять им. Нрав у него прекрасный, и вообще это благороднейший мул, какого я когда-либо имел в своем деле. Мне кажется, что вас он уже полюбил, тех же троих молодцов он прямо ненавидит. Еще один совет: если он почему-либо испортится и станет кусаться, выдерните ему зубы и кормите мягкой пищей,— пропаренным растертым зерном, например. Я вам, кстати, дам рецепт слабительного, которое в таком случае придется прибавлять ему в пишу. Ну, а теперь, внимание!

Коллинс вошел в огороженное место и поласкал Барнея, на что последний как будто радостно реагировал и замотал головой, попятился, зная, что его вслед за этой лаской ожидает.

— Как видите, — важным тоном начал Коллинс, — ко мне у него полное доверие. Он знает, что я его ни разу ничем не уколол и напротив, каждый раз спасаю от других, являюсь, так сказать, для него милосердным самаритянином. И вы, если вы его купите, старайтесь быть для него таким же самаритянином. Теперь начнем представление! Вы, — если вы его купите, конечно, — можете вести представление несколько иначе, — что-нибудь прибавить и вести его, одним словом так, как вам нравится.

Коллинс вышел из-за загородки, сделал шаг вперед, посмотрел наверх, вниз, оглянулся назад, как бы обводя взглядом всю воображаемо-присутствующую публику, и заговорил:

— Милостивые государыни и милостивые государи! Перед вами Барней Барнато; это величайший фокусник среди мулов... но в то же время и животное, необычайно мне преданное. Внимание, господа!

Коллинс подошел к загородке, протянул руку и сказал:

— Поди сюда, Барней! Поди и покажи присутствующим, кого ты больше всего любишь.

Барней засеменил копытами, покосился на раскрытую ладонь Коллинса, подошел ближе, провел мордой по всей его руке, обнюхал плечи и медленно потянулся к загородке, как бы пытаясь обнять Коллинса. На самом же деле этим движением он, несомненно, молил своего повелителя вывести его из-за этой загородки и избавить от ожидающих его мучений.

— Вот что значит ни разу не уколоть его! — наставительно сказал Коллинс французу с нафабренными усами и торжествующим взглядом обвел пустые партер, ложи и раек.

Потом он заговорил снова:

— Милостивые государыни и милостивые государи, Барней Барнато великий шутник. Он знает сорок всевозможных фокусов и никому не позволит просидеть на своей спине дольше шестидесяти секунд. Я, господа, никого пока не уговариваю проверить мои слова. В самом деле, чего, казалось бы проще просидеть шестьдесят секунд, или, иначе говоря, одну шестидесятую часа на спине такого милого, спокойного мула, как Барней. Но, может быть, есть все-таки желающие попробовать? Каждому, кто усидит на нем минуту, я плачу пятьдесят долларов, тому, кто усидит две, — пятьсот долларов. Есть желающие?

В ответ на это, согласно уговору, как бы из публики, вышел Самуэль Бэкон. Пройдя по арене вплоть до огороженного места, он остановился, нерешительно переминаясь с ноги на ногу, с глупой улыбкой на лице.

— Вы застраховали свою жизнь? — спросил Коллинс.

Сэм осклабился и отрицательно мотнул головой.

— Как же вы в таком случае рискуете?

— Ради денег! Мне нужны деньги для дела моего, — ответил Сэм.

— А какое у вас дело?

— Не ваше дело, — и Сэм ухмыльнулся своей собственной дерзости, но потом, переминаясь с ноги на ногу, прибавил: — я все равно, что покупаю у вас лотерейный билет. Весь вопрос только в том, получу ли я деньги.

— Разумеется, получите, если вам удастся усидеть на этом кротком муле. Встаньте вот тут в сторонке и обождите минутку.

— Милостивые государыни и государи! — снова обратился Коллинс к отсутствующей публике. — Извиняюсь за то, что заставляю вас ожидать... Но, быть может, есть еще желающие? Повторяю, пятьдесят долларов за шестьдесят секунд, почти по доллару за секунду! Детям и женщинам я предлагаю даже шестьдесят долларов, хотя здесь все равноправны, все подают голоса без различия пола и возраста. Для всех дам это прекрасный случай заткнуть за пояс своих мужей, братьев, сыновей и девушек. Предельного возраста тоже нет! Быть может, вы, бабушка, желали бы попробовать? — обратился он к пустому месту, где в кресле первого ряда сидела воображаемая почтенная леди.

Затем, обратившись к покупателю французу, Коллинс сказал:

— Я даю вам образец того, как вы должны обращаться к публике перед началом представления. С двух репетиций вы прекрасно себе это усвоите. Можете прорепетировать тут же! Я за это ничего не возьму, — зачту в счет общей покупной платы.

В то время как он говорил, как бы из публики вышли на арену два других участника представления, состоявшие на тех же ролях, что и Сэм.

— Конечно, в деревнях, поблизости от тех городов, где вам придется гастролировать, вам всегда удастся найти молодцов, которые с удовольствием откликнутся на ваше приглашение, если бы вам вздумалось привлечь к этому представлению большее количество таких горе-наездников, как Сэм.

Сказав еще несколько слов публике, Коллинс начал самое представление. Попытка Сэма вскочить на спину мула оказалась неудачной сразу. Едва он кос-

нулся Барнея, тот сбросил его с такой силой, что клоун кубарем покатился по арене. Снова и снова, раз шесть подряд, пытался Сэм вскочить на спину мула, но безуспешно. На седьмой раз ему удалось продержаться на спине Барнея около десяти секунд, после чего ему пришлось сделать презабавное сальто-мортале через голову мула.

Потирая якобы больно ушибленные бока и качая головой в знак того, что он отчаивается в возможности усидеть на спине этого животного, Сэм отошел в сторону. Тогда к загородке подошли два другие участника представления и стали делать попытки вскочить на спину Барнея. Но им это так же плохо удавалось, как и Сэму. Барней сбрасывал их самыми небывалыми и для их костей, казалось, сокрушительными толчками. Между тем, как бы несколько оправившийся Сэм снова подошел к мулу и тут произошла соединенная атака Барнея всеми тремя горе-наездниками. Они становились с разных сторон мула и одновременно пытались вскочить ему на спину, причем каждый раз он всех их отбрасывал с необычайной легкостью и силой, и они кубарем катились по арене, падая и кувыркаясь друг через друга.

— Не забывайте только, — говорил между тем Коллинс французу, — что вы не должны давать ему забывать об уколах! Он должен жить в постоянном ожидании их! Он должен помнить о них и бояться их! Если вы пропустите упражнения с колючим седлом или щетками два-три дня, то перед самым представлением, так или иначе, напомните ему о них, продолжайте эти упражнения основательнее и подольше. Если вы не сделаете этого, он забудет, и когда кто-нибудь влезет на него, преспокойно пойдет своей иноходью. Не забудьте моего совета! Всегда можно прикрепить что-нибудь незаметное колючее к ноге или к руке. Вы на этом деле много заработаете. Публика будет со смеху умирать. Ну-с, а теперь финал! Вы, двое там, готовьтесь! Сэм, готовы вы? Начинайте!

В то время как юнцы, став по обе стороны мула отвлекали его внимание, делая вид, что намереваются вскочить к нему на спину, Сэм, якобы в порыве охватившего его отчаяния, бросился на Барнея спереди, обхватил его за шею руками и ногами и прижал свою голову к голове мула. Так как и руки и ноги Сэма были полны скрытых колючек, Барней взвился на дыбы.

— Это совсем не опасно, — заметил Коллинс. — Если даже мул перекинется назад, Сэм бросит его шею и шлепнется в опилки! Но Барней слишком умен, чтоб кувыркаться, — говорил Коллинс в то время, как несчастный мул тщетно махал в воздухе передними ногами и старался сбросить с шеи Сэма.

По окончании представления Барнея вывели из-за загородки и подвели к французу.

— О, этот мул сто лет прожить может! Вы только посмотрите на него, — расхваливал товар Коллинс. — У вас ведь будет полная труппа, считая вас, четырех участников и мула! Прибавьте еще добровольных любителей из публики и хоть сейчас печатайте афиши! Готовое дело. И покупаете вы его за самую пустую цену, — за какие-то несчастные пять тысяч долларов!

Француза от этой суммы покоробило.

— Ну, рассчитайте сами,— сказал Коллинс.— На этом деле вы свободно заработаете тысячу долларов в неделю: чистых у вас останется, по крайней мере, восемьсот. Значит, в шесть недель вы вернете затраченную сумму сполна. А вы можете проработать с этим трюком недель сто, а то и больше. Будь я моложе и предприимчивее, я бы, не задумываясь, пожертвовал бы всем остальным и сам отправился бы с этим трюком. Я бы себе тут целое состояние сколотил!

И так был продан Барней. Продан и предан на потеху посетителей цирков и увеселительных театров всего мира. Из страшного застенка Седеруальдской школы дрессированных животных он попал в рабство к человеку, который должен был напоминать ему о гвоздях и колючих щетках...

ГЛАВА XXVII

— Дело в том, Джонни, что собаку, которая должна выступать перед публикой, лаской учить всяким трюкам нельзя, — говорил Коллинс своему помощнику. — Конечно, можно и лаской научить собаку ложиться и вставать по приказу, также и кататься по полу, или изображать убитую, — и она прекрасно будет проделывать все это при вас, но, как только вам вздумается демонстрировать все эти ее фокусы своим друзьям, она заволнуется, сконфузится и у нее ровно ничего не выйдет Это совершенно то же, что и с детьми. При других они конфузятся, теряют голову, забывают все, чему их учили, и подводят вас в лучшем виде. Раз собака должна выступать публично, ее надо вести строго! Она должна чувствовать, что она обязана проделывать все самые ей ненавистные трюки, что с тем, что хочется ей их проделывать или не хочется — никто считаться не будет. Или вам придется за нее извиняться перед публикой каждый раз, как она будет почему-либо не в настроении проделывать то, что ей не нравится. На сцене все рассчитано минута в минуту, и собака всегда должна быть готова выступить где угодно, когда угодно и столько раз подряд, сколько это окажется нужным. За собакой нельзя ухаживать, уговаривать, просить ее! Она должна знать, что раз вы от нее чего-нибудь требуете, вы на своем требовании настоять сумеете!

— Собаки — умные животные, отлично понимают, когда от них требуют всерьез или когда можно и не подчиняться, — заметил Джонни.

— Само собой разумеется, как только вы их подтягиваете, и они в работе подтягиваются; стоит вам чуть-чуть опустить вожжи, и они сейчас же начнут делать ошибки. Вы должны их держать в постоянном трепете! Иначе ничего не выйдет! Только зря потратите время и труд...

Полчаса спустя Майкл, хоть и не понимал, но слушал следующие умозаключения Коллинса, которые он излагал другому своему помощнику:

— Скрещенные породы и ублюдки — это самый подходящий материал, Чарльз. Из десяти чистокровных обыкновенно пригодной оказывается всего одна, и то только в том случае, если она по натуре своей труслива. Чистокров-

ные собаки — это то же, что и чистокровные скаковые лошади. Кровь горячая, самолюбивые и, главное, гордые. Эта самая их гордость и есть главный камень преткновения в нашем деле. Вы слушайте то, что я говорю, Чарльз, потому что я, можно сказать, на этом деле родился, на этом деле рос, всю жизнь этим делом занимаюсь и веду его, как видите, с успехом. А успех этот объясняется исключительно моими знаниями. Знание тут необходимо. Иметь дело с полукровками и скрещенными куда предпочтительнее! Они, во-первых, дешевле, а потом с ними можно не стесняться,— не вынесет дрессировки, подохнет,— не жаль, легко заменить другой. А дрессировать можно совсем шутя, потому что внушить им трепет ничего не стоит. Зато чистокровным вы никакого трепета не внушите! Их вы ничем не запугаете! Побейте полукровку, и она вам же станет лизать руки, у ног ползать будет и послушно исполнит все, что прикажете. У них натура рабская! Они трусливы, а это-то при дрессировке и нужно. Смелость для собаки, которую надо дрессировать для цирка и публичных выступлений, решительно ни к чему не нужна. Вы только попробуйте побить собаку чистокровную! Знаете, что из этого выйдет? Бывали случаи, когда чистокровные собаки издыхали только потому, что не могли снести оскорбления. У меня лично бывали случаи. А если и не сдохнет, то заупрямится еще больше или станет люто злой, иногда и то и другое вместе. Иногда они после того, как их побьют, начинают кусаться и бросаться с пеной у рта. А упрямы становятся так, что их ничем не одолеешь. И что, пожалуй, самое худшее,— это их, как я называю, пассивное сопротивление! Они упорны, как христианские мученики, которые давали сжигать себя и бросать в кипящее масло. Они и не защищаются от побоев, только твердо стоят на своем и скорей умрут, чем сделают то, чего делать не желают... И умирают. У меня были такие примеры... и они отбили у меня всякое желание возиться с чистокровными собаками. Вам их не переупрямить. Пустая трата времени и больше ничего! Вот, возьмите этого терьера! — Коллинс кивнул на Майкла, который стоял в нескольких шагах от него с самым мрачным, угрюмым видом и созерцал то, что происходит на арене.— Эта собака обладает всеми отрицательными свойствами чистокровных псов и потому с ней ничего не поделаешь. Она способна сражаться с вами не на жизнь, а на смерть. Я ее ни разу, как следует, не бил, да и не стану бить, потому что это совершенно бесполезно. Она будет сопротивляться до последнего издыхания; если же вы ее совсем не будете подбадривать, она опять-таки не станет ничего проделывать, раз ей это не нравится. Я бы сейчас же сбыл ее с рук, если бы не знал, что Дель Мар ошибиться не мог. Бедный Гарри знал, что у этой собаки есть какая-то своя, совершенно выдающаяся специальность, и я должен добиться и узнать, что это за специальность.

— Может быть, она из тех, что играют со львами, — высказал Чарльз еще новое предположение.

— Возможно, что она не боится львов, — согласился Коллинс.— Но вопрос в том, что именно она проделывает с ними? Может быть, кладет голову

в пасть льва? Ведь такого трюка еще не бывало. Может быть, это и есть? Это мысль. Мы можем попробовать. Все остальное, кажется, уже перепробовано.

— У нас есть старый лев Аннибал, — сказал Чарльз. — Он проделывал этот трюк с женщиной, которая клала ему свою голову в пасть, помните, когда он был в группе старого Спикера?

— Да, но старик Аннибал за последнее время перестает быть смирным, кротким львом,— возразил Коллинс.— Я за ним давно наблюдаю и думаю о том, как бы мне его поскорей сбыть с рук. Терпенью всякого животного ведь есть предел, дикого же животного тем более. Ведь они здесь жизнь ведут совершенно для себя ненормальную и, раз они теряют терпенье, пропало дело! В лучшем случае вы поплатитесь только вашим карманом, а можете поплатиться и жизнью, если вы человек недостаточно опытный.

И Майкл мог бы быть подвергнут этому новому испытанию со львом и сложить свою голову в громадной пасти последнего, если бы его не выручила счастливая случайность.

Не успел Коллинс договорить, как к нему подошел надзиратель за тиграми и львами и спешно доложил:

— Старый Аннибал взбесился.

— Вздор! — сказал на это Коллинс. — Не Аннибал взбесился, а вы стареете и теряете над ним власть! И я вам это сейчас докажу. Идемте! Мы приостановим занятия на четверть часа, и вы увидите то, чего еще не видали никогда. Это будет зрелище, на котором можно было бы заработать не меньше десяти тысяч в неделю, где угодно... только в продолжение короткого периода времени, так как старик Аннибал долго этого проделывать не станет из самолюбия и гордости своей. Пусть все идут смотреть. Объявить общий перерыв занятий на четверть часа.

Майкл пошел за Коллинсом, перед которым шествовал надзиратель за тиграми и львами. Последний был человек лет сорока, но дать ему можно было все шестьдесят, и лицо его было прорезано глубокими вертикальными морщинами или рубцами от ран, нанесенных лапой зверя.

Замыкала направлявшееся к клетке льва шествие толпа служащих и профессионалов. Всем было известно, что Гарри Коллинс дает это представление только для избранных представителей своей профессии.

Когда надзиратель увидал, что его хозяин собирается войти в клетку со львом вооруженный только одной рукояткой метлы, он принялся энергично протестовать. Хоть Аннибал был и старый лев, все же он считался самым большим из заключавшихся когда-либо в клетку львов, и до сих пор не потерял еще ни одного своего зуба. Теперь он безмолвно ходил взад и вперед по своей клетке, ступая при этом грузно и царственно, как всегда, когда у клетки появляются непрошенные зрители. Однако он как будто никого не замечал и продолжал свою прогулку по клетке, мотая головой из стороны в сторону и слегка оборачиваясь при поворотах в конце клетки. Он имел вид существа, определенно что-то надумавшего.

— Вот уже два дня, как он вот так ходит, не останавливаясь ни на минуту, — сказал надзиратель, — а как только подходишь, он хватает лапой. Вот посмотрите, как он меня отделал! — и надзиратель протянул свою руку. Рукава его верхней и нижней рубашки были истерзаны в клочья, а на руке были видны параллельные, окрашенные кровью, полосы, определенные следы львиной лапы.

— А я еще и в клетку к нему не входил. Только начал снаружи чистить ее. А он просунул лапу между прутьев и хватил,— продолжал пояснять надзиратель.

— Дайте ключ от клетки! — приказал Коллинс. — Отлично. Теперь впустите меня и закройте клетку на ключ! Ключ можете вынуть, куда-нибудь забросить, хоть совсем выбросить, — я смело могу подождать, пока вы найдете другой и отопрете мне клетку.

И Гарри Коллинс, этот небольшой человек, как огня боявшийся своей супруги — матери своих детей, которую считал способной запустить ему в голову миской горячего супа, здесь, перед лицом своих служащих и строгих судей-профессионалов, вошел в клетку со львом, вооруженный только рукояткой метлы. Клетку за ним замкнули, и он, не сводя пристального взгляда с Аннибала, еще раз повторил свое приказание вынуть ключ из замка и куда-нибудь забросить.

Не обращая никакого внимания на вошедшего, лев продолжал ходить взад и вперед. Он прошелся так уже раз шесть, когда Коллинс вдруг стал ему поперек дороги. Аннибал тотчас же безмолвно поднял лапу, но прежде, чем он успел опустить ее, Коллинс предупредил направленный на него удар, ловко ударив льва палкой по самой мягкой чувствительной части носа. Аннибал поспешно отступил, слегка зарычал и снова занес лапу. И опять его удар был предупрежден, и новый удар по носу заставил его отступить еще

— Что, приходится голову склонить? Так-то получше, — тихим, сдержанным голосом пробормотал Коллинс. — А не желаете? В таком случае получите еще.

Взбешенный Аннибал только что присел и, готовясь сделать прыжок, приподнял голову. Новый удар палкой по носу заставил его склонить голову к полу. Он глухо зарычал и, с клокотаньем в груди, снова отступил.

— Ну-с, пошевеливайся, пошевеливайся! — и частыми ударами палкой по носу Коллинс заставил льва отступить до самой стенки.

— Человек берет верх над львом, потому что мозг его мыслит скорей, чем мозг льва. А раз это так, он, человек, может подумать и привести в исполнение свою мысль раньше, чем лев приведет в исполнение свою. Вот посмотрите, как я его сейчас окончательно оседлаю! Он вовсе не такой страшный, каким он желает казаться. И то, что он себе вбил это в голову, надо из него выбить! Он должен знать, что мне он вовсе не страшен и что я это ему внушу при помощи вот этой рукоятки метлы. Смотрите, теперь я его забью в угол!

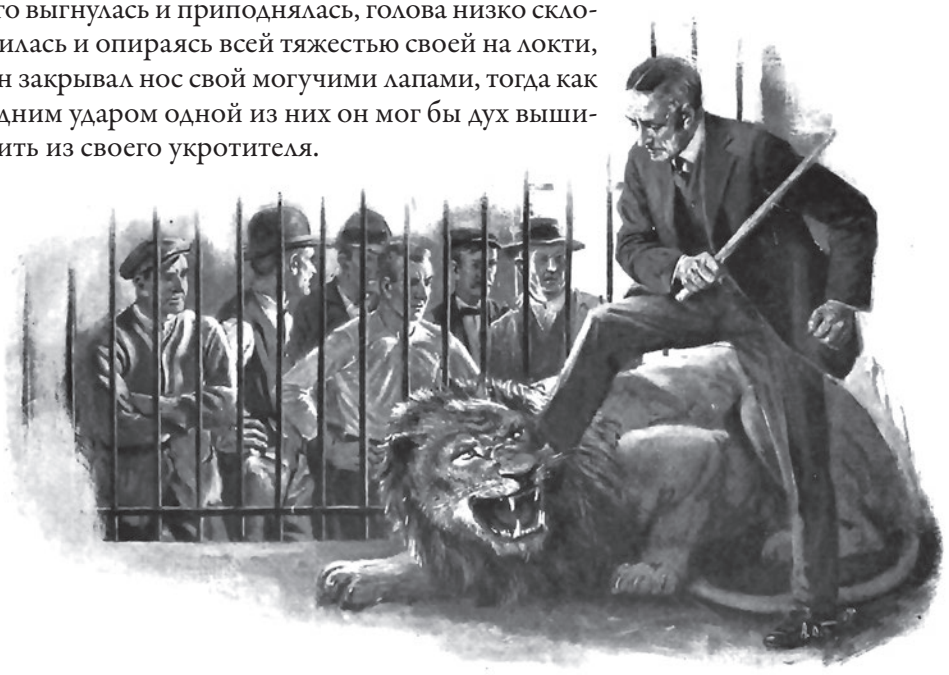
И в самом деле Аннибал с глухим рычанием забился в угол, весь съежился, стараясь сделаться совсем маленьким, и, не смея поднять носа, только лапами

отбивался от палки. Потом он, сидя в самой безопасной позе, вдруг приподнял голову и зевнул.

— Вот это значит укротить! — сказал Коллинс.— И раз лев в разгаре сражения зевает, это значит, что он и не думал беситься. Будь он бешеный, он не зевал бы, а прыгал и бросался бы на меня. Он себя чувствует побежденным, и этот его зевок означает, что он сдался. Он хочет сказать мне: «Я сдаюсь, ради всего на свете, оставьте меня в покое,— у меня очень болит нос. Я бы с удовольствием растерзал вас сейчас, но не могу. Я готов сделать все, что вам угодно, и вести себя очень хорошо, только, пожалуйста, оставьте в покое мой нос». Человек, однако, не должен так легко прощать; он должен основательно вбить ему в голову, что властитель он — человек, и что то, что он, лев, ему сдался, еще не может удовлетворить его. Мало того, что он проглотил лекарство, надо его заставить еще и ложку облизать! Надо его повергнуть во прах, заставить себе ноги целовать, палку, которой били,— лизать! Вот, смотрите!

И Аннибал, самый большой из когда-либо посаженных в клетку львов, Аннибал, не потерявший еще ни одного своего крепкого зуба, Аннибал, уже взрослым львом пойманный в чаще девственных лесов, этот царь зверей склонился перед ручкой метлы в руке незначительного маленького человека, каким был Коллинс!..

Он сидел теперь забитый в угол, и в позе его не было ничего общего с той, какую принимает лев, готовясь к прыжку. Спина его выгнулась и приподнялась, голова низко склонилась и опираясь всей тяжестью своей на локти, он закрывал нос свой могучими лапами, тогда как одним ударом одной из них он мог бы дух вышибить из своего укротителя.



— Будешь вести себя так, как подобает хорошему льву? — спросил Коллинс, грубо ероша ногой шерсть льва.

— Но и этого мало, он, быть может, притворяется! Поэтому надо его заставить поцеловать ногу и палку. Смотрите!

Коллинс протянул свою левую ногу и быстро и смело поставил ее на шею льва. Аннибал вскинул голову, оскалил зубы, но опять мысль и движение человека предупредили мысль льва, и ему не удалось запустить свои страшные челюсти в обутую в шелковый носок и туфлю ногу Коллинса. Удар палкой по носу заставил льва опустить голову. Он спрятал нос у себя на груди и прикрыл его лапами.

— И не думал он беситься! Если бы он был бешеный, он со мной считаться бы не стал и мне не удалось бы предупреждать его движения! Он разнес бы в конце концов клетку в щепы и меня вместе с ней.

Коллинс принялся тыкать льва концом палки, но перед каждым тычком делал палкой движение ударить льва по носу. И громадный лев лежал забитый в угол, беспомощно рычал и при каждом тычке все выше поднимал голову. Наконец он высунул язык, лизнул не очень ласково поставленную на его шею ногу, а потом и палку, которой его били.

— Будешь вести себя так, как подобает хорошему льву? — спросил Коллинс, грубо ероша ногой шерсть льва. Аннибал не выдержал и зарычал, выражая всю свою ненависть к этому человеку.

— Будешь вести себя, как подобает хорошему льву? — повторил свой вопрос Коллинс и еще сильнее заерзал ногой по шее льва.

И Аннибал еще раз приподнял голову, высунул язык и лизнул обтянутую шелковым чулком ногу, которую мог бы шутя уничтожить своими крепкими, сильными зубами.

ГЛАВА XXVIII

Одного друга приобрел себе Майкл среди животных Седеруальдской школы. И очень странная и печальная то была дружба. Ее звали Сарой, эту маленькую зеленошерстную южноамериканскую обезьяну. Она была от природы истерична и невеселого характера.

Постоянно сопровождая Коллинса на арену, Майкл довольно часто видал ее там. Ее приводили дрессировать, учить всевозможным фокусам, проделывать которые она если и могла, то не хотела. Иногда заставляли ее также играть какую-нибудь пассивную роль в представлениях других животных.

В последних случаях она устраивала форменный скандал своим визгом, криками и стычками, приводя в полное замешательство остальных зверей. Как только ее заставляли что-нибудь делать, она сердилась и упиралась; если же ее хотели принудить силой, она поднимала такой крик, что вся арена приходила в волнение и работа останавливалась.

— Ничего, — говорил Коллинс, — мы ее сбудем в ближайший обезьяний оркестр!

Это была самая ужасная для обезьяны участь: попасть в марионетки, всеми движениями которой руководит, дергая за привязанные к рукам и ногам ее проволоки, скрытый где-нибудь человек.

Но Майкл познакомился с ней прежде, чем эта несчастная участь успела ее постигнуть. При первой встрече на арене она бросилась на него с визгом и криком и, как настоящий маленький дьяволенок, угрожала ему и зубами и ногтями Погруженный в самую мрачную апатию Майкл и ухом не повел. Он посмотрел на нее совершенно равнодушно и даже, к крайнему ее разочарованию, отвернулся. Такое отношение ее озадачило. Если бы Майкл, как это делали другие собаки в таких случаях, зарычал или как-нибудь иначе выразил свое негодование, она бы подняла скандал, стала бы кричать, царапаться, звать на помощь, приглашать всех в свидетели того, как ее незаслуженно обижают.

И такое необычное поведение Майкла очаровало ее. Она нерешительно подошла к нему. Державший ее на цепочке мальчик отпустил ее.

— Пусть этот пес перегрызет ей хребет! — высказал он жестокое пожелание. Он эту Сару терпеть не мог.

Сара облюбовала Майкла именно потому, что он на нее не обратил никакого внимания.

Ему хотелось состоять при львах или при слонах, а не бегать за какой-то сварливой обезьяной женского пола, с которой сладу не было.

Сара облюбовала Майкла именно потому, что он на нее не обратил никакого внимания. Не прошло и минуты, как она уже обнимала его за шею руками, и, прижавшись головой к его голове, не переводя дыхания, рассказывала ему бесконечную печальную повесть своей жизни. Во всяком случае, такой это имело вид. Это, казалось, была какая-то сплошная жалоба на те издевательства, которые ей приходится терпеть, жалоба на все ее тяжелые переживания. Возможно, что жаловалась она и на свое плохое здоровье, так как все время чихала и кашляла, то и дело прижимая руку к груди, которая у нее, очевидно, болела. Но по временам она вдруг прерывала свои жалобы и принималась любовно, матерински ласкать Майкла, причем издавала похожие на пение звуки.

Это была единственная рука в Седеруальде, которая Майкла приласкала. Рука эта ни разу не ущипнула его, ни разу не дернула за ухо. Вот почему и он стал единственным ее здесь другом. И он стал искать встреч с ней по утрам на арене, несмотря на то что эти встречи всегда оканчивались скандалом, который она устраивала пытавшемуся увести ее мальчику. Ее возмущенные крики волновали других зверей и возбуждали смех людей, которых и удивляла, и забавляла эта любовная история обезьянки и ирландского терьера.

Гарри Коллинс, однако, не только терпел, но и поощрял эту дружбу:

— Они понимают друг друга и находят в этом утешение. Теперь у них по крайней мере есть интерес в жизни, а это всегда прекрасно отражается на физическом состоянии животного! — говорил он. — Но, помяните мое слово, рано или поздно она что-нибудь с ним выкинет, и вся их дружба полетит к черту.

Коллинс говорил все это тоном прорицателя и, хотя Сара ничего не выкинула с Майклом, тем не менее в книгах судеб уже отмечен был день, когда их дружбе должен будет настать страшный конец.

— Ну вот, так я говорю вам, что тюлени — животные, слишком умные для подобного с ними обращенья! — читал импровизированную лекцию группе своих учеников Коллинс. — Если вы хотите от них чего-нибудь добиться, вы должны бросать им рыбу во время самого представления. С собаками же подобные приемы ни к чему. На них нельзя действовать лакомствами. А вот с поросятами, например, опять-таки можно — во время представления надо держать спрятанным в руке рожок с молоком. Тогда с поросятами можно проделывать всевозможные фокусы. Советую вам хорошенько продумать все, что я вам говорил. Главное не забудьте, что собак надо не подманивать на гостинцы, а заставлять. Вот посмотрите, как там Билли Грин занимается!..

Билли Грин в этот момент дрессировал маленькую кудрявую неопределенной породы собачку. Его номер состоял в том, что он выходил на сцену с маленькой собачкой, которую обыкновенно вынимал из своего кармана; затем он брал собачку за задние ноги, подбрасывал ее в воздух, и она должна была сразу становиться на передних лапах к нему на ладонь, причем задние ее лапы должны были торчать в воздухе. Он уже переломал спину одной со-

бачке и теперь работал над второй. Сейчас, стоя среди арены, он проделывал этот фокус раз за разом, бесчисленное количество раз! Замирая от страха, маленькая собачка, то и дело падала к нему на руки, несколько раз чуть не упала на землю, и раз так ушиблась, что можно было думать, что она не встанет. Но владелец воспользовался этим моментом, чтобы утереть пот со своего лба, и в то же время носком сапога толкал собачку до тех пор, пока та с трудом не поднялась на ноги.

— Разве какая-нибудь собака будет проделывать что-нибудь подобное ради куска мяса? — продолжал свою лекцию Коллинс. — Точно так же вы ни одну собаку не выучите ходить на передних лапах, если не дадите ей тысячу ударов палкой по приподнятым задним. На этот же трюк Билли Грина советую вам обратить особое внимание. В самом деле, это очень мило выходит!..

Маленькая собачка, такая маленькая, что ее в карман можно спрятать,— и так доверчиво относится к своему хозяину, что дает бросать себя в воздух! Это всегда имеет громадный успех,— у женщин в особенности. Доверчивость и преданность, черт возьми! При чем тут они, когда все дело в умении внушить страх?.. А во время самого представления можно вынуть из кармана и дать собаке какой-нибудь гостинец. Это всегда производит на публику впечатление. Ведь публика любит думать, что животные проделывают все эти фокусы ради собственного удовольствия, и что хозяин обожает их, как собственных детей. Черт возьми, если бы публика узнала, что тут у нас происходит за кулисами,— все наши фокусы были бы тотчас же запрещены к представлению! Пришлось бы изобретать что-нибудь новое еще. А иногда приходится проделывать жестокие штуки на сцене же, но так, чтобы публика не замечала. Никто так не умел дурачить в этом отношении публику, как некая Лотти. Она выступала с дрессированными кошками. Публике казалось, что она их обожает, и особенно ласкова она бывала с теми кошками, которым что-нибудь не удавалось. Она сейчас же брала такую кошку на руки, ласкала и, казалось, нежно целовала. На самом же деле, она в этот момент кусала кошке нос. Когда она снова опускала ее на землю и та проделывала все, как следует, публика награждала громом аплодисментов не столько кошку, сколько хозяйку, ее, проявившую столько «гуманного» чувства к животному. Элеонора Павало переняла этот трюк у Лотти, и то же проделывала со своими собачками. А сколько собак работает на сцене в ошейниках с торчащими внутрь гвоздями! Незаметно ущипнуть собаку на сцене за нос сумеет всякий опытный дрессировщик! Но это все неважно! Важно то, чтобы животное боялось того наказания, которое ждет его в случае неудачного исполнения после представления. Вспомните капитана Робертса и его громадных догов! Хоть это были и не чистокровные доги, но все же собаки с норовом, упрямые, каких я никогда не видал. У него их было не меньше дюжины; они были здесь у меня на постое раза два и чуть не загрызли мне мальчика-мексиканца, которого я к ним приставил. Он тоже был упрям, и они его чуть-чуть не сгрызли совсем. Доктор должен был наложить ему сорок швов и сделать пастеровскую прививку. Он всю жизнь будет хромать на правую ногу. Вот как

его отделали эти собаки! И в то же время эти самые собаки давали представления вне конкурса. Все в зале с ума сходили, когда поднимался занавес, и капитан Робертс выходил на сцену, окруженный громадными догами, которые прыгали на него так, как будто обожают его, на самом же деле эти радостные прыжки объяснялись тем, что у капитана Робертса в карманах были куски жареного, обмакнутого в анисовое масло мяса. На самом деле эти собаки ненавидели его! Я видел, как он расправлялся с ними здесь, в Седеруальде, при помощи здоровой палки. Но такие фокусы на сцене проделывать можно только с большими собаками; с маленькими это выходит смешно и нехорошо. Капитан Робертс тоже говорил, что искусство дрессировать собаку заключается в искусстве внушать собаке страх. Один из его помощников рассказывал мне про него жестокие вещи. Однажды у них был перерыв в представлениях в течение месяца, и капитан Робертс задался целью за это время выдрессировать одну собаку так, чтобы она на горлышке бутылки от шампанского балансировала бы серебряным долларом. Вы думаете, лаской возможно обучить собаку подобному трюку? Его помощник говорил мне, что он на этот трюк потратил столько же собак, сколько и палок, и уморил полдюжины собак. Он их покупал попарно, так, чтобы в случае, если одна околеет во время дрессировки, другая была бы наготове. Наконец на седьмой собаке ему этот трюк удался. Она выучилась балансировать на горлышке бутылки серебряным долларом, но через неделю после первого представления издохла от нарывов в легких, вызванных ударами палкой при дрессировке. А то вот еще,— когда я мальчиком был, сюда приезжал один англичанин. У него были обезьяны, собаки и пони, так он своих обезьян кусал за ухо, так что во время представления стоило ему сделать движение, и они делали все, что ему надо. У него был один шимпанзе. Так вот это был номер, я вам скажу! Он по четыре раза подряд кувыркался на спине скачущего пони. Но этому шимпанзе ему приходилось задавать настоящую порку по два раза на одной неделе. Иногда он уж слишком жестоко избивал обезьяну так, что ей приходилось лежать, и она на неделю выбывала из строя. Потом он вышел из этого затруднительного положения, наказывая ее регулярно, перед каждым представлением, но не так больно. Ему этот прием удавался, но были случаи, что после побоев обезьяна становилась еще упрямее и окончательно отказывалась что-либо делать...

В этот самый день Коллинс дал очень ценный совет одному дрессировщику львов, три льва которого находились на временном постое в Седеруальде. Номер с этими львами обыкновенно приводил публику в содрогание. Львов выводила на арену стройная маленькая женщина. Львы вокруг нее прыгали и скакали, и она укрощала их только, якобы, своей неодолимой смелостью и маленьким хлыстиком.

— Беда в том, что они уж слишком привыкли к этому трюку! А Айседоре не удается больше провоцировать их уколами.

— Староваты они у вас и довольно унылы. Возьмите вашего старика Серка, — ему столько раз стреляли холостыми зарядами в уши, что он совсем оглох!

А ваш Селим. Он совсем приуныл с тех пор, как этот португалец вышиб ему зубы. Слыхали вы про эту историю?

— Да, горячая была схватка!

— И очень даже горячая! Португалец действовал железным прутом. Селим чего-то разозлился и замахнулся на него лапой, а он хватил его по морде как раз в ту минуту, как он открыл свою пасть. Он сам мне рассказывал, как зубы Селима посыпались, как костяшки домино из ящика. Во всяком случае и он на них прогорел.

— Да, эти три льва много не заработают, — вздохнул владелец. — Самое ужасное то, что они не хотят проделывать финальной сцены, когда они должны скакать и рычать около Айседоры и, в конце концов укрощенные, ползать у ее ног. Эта сцена всегда имела ошеломляющий успех. Что вы мне советуете сделать? Ликвидировать их? Купить молодых львов?

— Айседоре безопаснее работать с стариками, — заметил Коллинс.

— Да уж слишком безопасно! — заметил со вздохом муж Айседоры. — Конечно, с молодыми мне больше работы, но что же делать? Как-нибудь надо существовать. А эти три льва — один прогар!..

Гарри Коллинс покачал головой.

— А вы что-нибудь придумали? Есть у вас какая-нибудь идея? — живо спросил Коллинса «Человек со львами».

— Судя по тому, как они хорошо освоились с жизнью в клетке, надо полагать, что ваши львы проживут еще долго. Если же вы заведете молодых, еще неизвестно, удастся ли вам с ними справиться. Быть может, придется перепродавать их себе в убыток. По-моему, вам надо последовать совету, который я вам дам...

Коллинс не договорил, но как только собеседник его открыл рот, чтобы что-то сказать, он поспешно закончил фразу:

— ... Совет я вам дам... Скажем, за триста долларов.

— Как, за один совет? — изумился муж Айседоры.

— Да, потому что успех гарантирован. Вы только посчитайте,— сколько вам пришлось бы заплатить за трех львов! А тут вам вся история обойдется в триста долларов, потому что то, что я посоветую, проще простого. Я вам могу дать этот совет в двух словах. Одно из этих слов...

— Нет, для меня это слишком дорого! — прервал его «Человек со львами». — Ведь мне же жить надо! — прибавил он.

— И мне тоже,— сказал Коллинс: — иначе я не стоял бы здесь с вами. Я специалист, и вы мне платите за консультацию. Когда вы узнаете, как просто то, что я вам посоветую, вы с ума сойдете от восторга! Я, собственно, удивляюсь, что вы сами этого не знаете.

— А если ваше средство не подействует? — продолжал сомневаться «Человек со львами».

— Тогда вы мне ничего не заплатите. Вот и все!..

— Хорошо!

— Электризуйте клетку!

В первую минуту «Человек со львами» как будто не понял, потом, начиная соображать, спросил:

— Вы хотите сказать...

— Вот именно, — кивнул головой Коллинс. — И устроить это очень просто.

— Лучше всего взять сухие элементы,— их можно прекрасно пристроить под полом клетки,— и стоит только Айседоре в нужный момент нажать ногой кнопку, ток тотчас же ударит львам в лапы, и, если они тотчас же не запрыгают, не заскачут и не зарычат так, что рев их покроет целый духовой оркестр, вы можете не только не заплатить мне ни пенса, но еще с меня же потребовать триста долларов. Я знаю, что говорю! Я сам видел, как это делается. Эффект гарантирован. Львы танцуют в клетке, как на раскаленной сковородке. Обжигаются об пол, прыгают вверх, падают обратно и опять обжигаются! Только сильный ток надо пускать не сразу,— предостерегал Коллинс.— Сначала вы поставите слабую батарею, а потом, вплоть до самого представления, будете ток все усиливать. Я покажу вам, как это делается. К этому львы привыкнуть уж никак не могут! До конца жизни своей будут прыгать так же бойко, как и в первый раз. Ну, что вы на это скажете?

— Да ваш совет стоит трехсот долларов! Желал бы я так легко зарабатывать деньги!

ГЛАВА XXIX

— Нет, положительно мне придется на нем поставить крест! Дель Мар, конечно, не ошибался, считая эту собаку «вне конкурса». Но раз я не могу найти ключ к тому, что такое особенное она умеет проделывать, мне она ни к чему! — сказал как-то Коллинс Джонни.

Разговор этот имел место после того, как между Майклом и Коллинсом произошло жестокое сражение. Майкл уже давно стал собакой мрачной, теперь же он становился все раздражительнее и злее и наконец не выдержал и бросился на своего мучителя. Укусить его ему, как и раньше, не удалось, но зато сам он получил несколько ударов под нижнюю челюсть.

— Эта собака все равно, что лежащая на недосягаемой глубине золотая жила. Загубить ее непростительно, а, с другой стороны, она с каждым днем становится все злее. Ну, с чего она сегодня на меня бросилась? Кажется, я с ней никогда жестоко не обращался? Этак она когда-нибудь и совсем взбесится, — рассуждал про себя Коллинс.

Несколько минут спустя к нему пришел один из клиентов, под его наблюдением занимавшийся дрессировкой леопардов, и стал просить одолжить ему для занятий подходящую собаку.

— У меня осталась только одна, а для безопасности я должен иметь двух, — пояснил он свою просьбу.

— А что же случилось с другой вашей собакой?

— Альфонсо, самый большой из леопардов, самец, сегодня утром разъярился и стал раздирать ее на части. Несчастная собака была в таком виде, что мне оставалось только ее прикончить. Леопард выпустил ей все внутренности. Но меня она спасла. Если бы не она, Альфонсо меня бы прямо изувечил. Последнее время на Альфонсо довольно часто находит такая полоса. Вот уже вторая собака погибает, спасая меня от него.

Коллинс покачал головой.

— То, что, собственно, вам нужно, я вам предоставить не могу, так как не имею. Но я вам могу предложить вот этого ирландского терьера. У него должны быть те же свойства. Он, так сказать, двоюродный брат той собаке, которая нужна вам. Я говорю про эту... — и Коллинс указал на Майкла.

— Во всяком случае вы можете попробовать, я ей не дорожу, она слишком своенравна и зла. Если она вам подойдет, я с вас дорого не возьму.

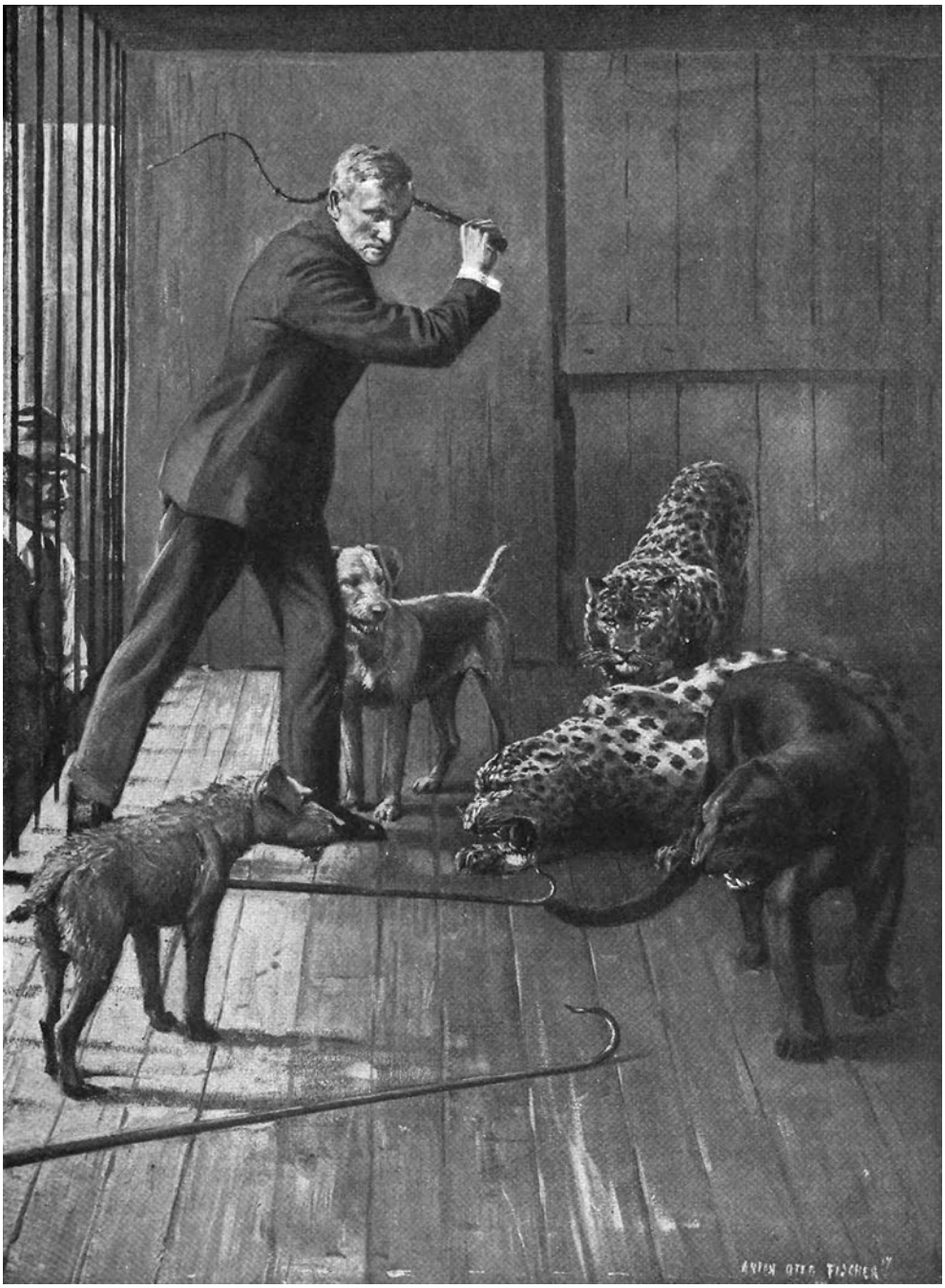
— А если она вздумает показывать свой нрав леопардам? Ведь они ее прикончат! — сказал Джонни Коллинсу, тогда как «Человек с леопардами» уводил Майкла.

— Ну что же! Возможно, что в таком случае цирковая арена лишится большого светила,— пожав плечами, ответил Коллинс.— Но держать ее у себя я больше не хочу. Раз собака способна беситься и кусаться хронически,— она для меня пропала. С такой собакой ничего не поделаешь. У меня немало таких перебывало.

А Майкла повели знакомить с единственной уцелевшей в клетке леопардов собакой — Джеком. Участь этого Джека Майкл теперь должен был разделять и ежедневно проводить с ним несколько часов в клетке леопардов. В леопарде, в этой большой пятнистой кошке, Майкл сразу почуял исконного врага всех себе подобных животных. Его еще не успели бросить в клетку, как он почувствовал, что кожа на шее его невольно съеживается и шерсть становится дыбом. Момент водворения новой собаки в клетку леопардов — момент очень жуткий, не только для самой собаки, но и для всех принимающих в этой операции участие. Тупоголовый укротитель леопардов, сценическое имя которого было Рауль Кастельмон, тогда как в жизни друзья называли его просто Ральфом, находился уже в клетке. С ним там был уже и Джек. Снаружи же и у клетки стояло несколько вооруженных железными прутьями и вилами людей, дабы в нужный момент, просунув это оружие в клетку, оказать укротителю должное содействие.

Леопарды тоже сразу почуяли присутствие Майкла, они зафыркали, замахали своими длинными хвостами и приседали, готовясь к прыжкам. Укротитель бросал повелительные окрики и грозно потрясал в воздухе бичом. Люди снаружи приподняли свои пруты и просунули их в клетку. Почувствовав прикосновение холодного железного прута, леопарды как бы смирялись и ложились на пол, но продолжали угрожающе бить и махать хвостами в воздухе.

Майкл был не трус. Он и не подумал прятаться за спину укротителя, но он был слишком умен, чтобы броситься на такого внушительного врага, как леопард.



Леопарды тоже сразу почуяли присутствие Майкла, они зафыркали, замахали своими длинными хвостами и приседали, готовясь к прыжкам.

Он ограничился тем, что гордо прошелся по клетке, глядя опасности прямо в глаза. Потом он подошел к Джеку, который приветствовал его добродушным фырканьем и обнюхал.

— Он годится, — сказал укротитель странно-напряженным голосом. — Его они, пожалуй, и не посмеют тронуть!

Положение было серьезное, и Ральф действовал с большой осторожностью. Он избегал резких движений, поминутно взглядывал то на леопардов, то на собак, то на людей у клетки. Но вот он решил наконец начать, и, по его грозному приказу, Джек и, по собственной инициативе, Майкл стали прохаживаться между леопардами. Собаки шли твердо, но соблюдая осторожность.

Вдруг один из леопардов, Альфонсо, бросился на Майкла. Майкл не испугался. Он ощетинился, оскалил зубы и чуть слышно зарычал. В эту минуту просунутый снаружи толстый железный прут заставил леопарда отвести свои желтые глаза от Майкла; но потом он снова уставился на него...

Первый день был самый опасный. В следующий раз леопарды, как бы уже привыкнув к Майклу, относились к нему так же, как к Джеку. Симпатии или попытки завязать дружбу не было проявлено, конечно, ни со стороны Майкла, ни со стороны леопардов. Майкл довольно быстро сообразил, что тут человек и собака идут против леопардов и что потому ему надо держаться вместе с укротителем и Джеком. Каждый день теперь Майкл проводил в клетке леопардов часа два. Вся его и Джека обязанность во время этих дежурств заключалась в том, чтобы все время быть наготове вступиться за человека, дрессирующего леопардов. Иногда, в те дни, когда леопарды казались благодушно настроенными, Ральф предлагал собакам лечь. Свободное время Майкл проводил в обществе Джека, с которым помещался теперь в одной конурке. Уходом обе собаки, как и все животные в Седеруальдской школе, пользовались хорошим.

Джек, несмотря на то что ему было только три года, был собакой очень спокойной. Играть и резвиться он или не умел совсем, или разучился. В обращении с другими он был всегда приветлив и, в противоположность Майклу, был совсем не строптив. И Майкл в общении с ним стал мягче и уступчивее. Их дружба ни в чем особенном не проявлялась. Им просто нравилось часами лежать вместе, сознавая присутствие и близость друг друга.

Иногда Майкл слышал отдаленные жалобные крики Сары и знал, что это она зовет его. Однажды Саре удалось вырваться из рук сопровождавшего ее мальчика в тот момент, когда Майкла выводили из клетки леопардов. С пронзительным радостным криком кинулась она к нему, села на спину и, склонившись, к его уху, стала повествовать ему своим истерическим голосом о всех горестях, которые ей пришлось пережить за время их разлуки. Укротитель зверей к этой сцене отнесся снисходительно и предоставил Саре изливаться, но состоящий при ней мальчик оторвал ее от Майкла. Она отчаянно сопротивлялась и визжала, как только могла. Когда же мальчик все-таки схватил ее и понес, она укусила его за палец и в кисть руки.

Вся эта сцена вызвала громкий взрыв смеха присутствовавших людей, а громкие вопли не унимавшейся Сары возбудили и привели в раздраженное состояние леопардов, которые начали прыгать и рычать в своей клетке, тогда как стоящие снаружи люди усердно действовали железными просунутыми в клетку прутами. Когда же, наконец, Сару стали уносить, она разрыдалась, как горько обиженный маленький ребенок.

Несмотря на то, что Майкл проявил себя в своем новом амплуа вполне пригодным, Раулем Кастельмоном он куплен у Коллинса не был. И вот почему.

Однажды утром арена Седеруальдской школы была приведена в полное смятение доносившимися из клеток шумом, дикими криками и рычаньем.

В самой же клетке происходило что-то невероятное. Альфонсо, Джек и Майкл катались одним тесно связанным клубком.

Вызвано это было выстрелами из револьвера, после которых зарычали львы и неистово залаяли собаки. Все занятия на арене приостановились, так как животные сразу точно оцепенели. Несколько человек с Коллинсом во главе бросились к клеткам.

— Что-нибудь Альфонсо натворил! Пари держу, что он! — крикнул на ходу Коллинс одному из своих помощников. — Если так, Ральфу несдобровать!

Коллинс подбежал к клетке в тот момент, когда Кастельмона вытащили из нее и поспешно опустили на землю, чтобы скорей захлопнуть дверцу клетки. В самой же клетке происходило что-то невероятное. Альфонсо, Джек и Майкл катались одним тесно связанным клубком. Два уже выбывшие из строя леопарда

Два уже выбывшие из строя леопарда в отдаленном углу клетки зализывали полученные в бою раны.

в отдаленном углу клетки зализывали полученные в бою раны. По клетке же метались просунутые снаружи железные шесты, которыми стоящие снаружи люди пытались разнять сцепившихся животных. Появление на сцену Сары и все, что вслед за этим появлением произошло, было дело нескольких секунд. Волоча за собой брошенную мальчиком цепочку, маленькая зеленошерстная обезьянка, умевшая, как и женщина-человек, любить беззаветно, бросилась к клетке и проскользнула в нее между прутьями решетки. При ее появлении происходившее в клетке смятение достигло крайнего своего предела. Отброшенный к стенке клетки Майкл тщетно пытался встать на ноги, обливаясь кровью, струившейся из его укушенной леопардом ноги. Сара бросилась прямо к нему, обвила его шею своими длинными лапками и с материнской нежностью прижала его к своей худой, плоской, волосатой груди. Майкл снова сделал попытку подняться, а Сара, озираясь кругом, как будто взывала о помощи и не то упрекала Майкла за неуместную кротость, не то пыталась удержать его от порыва вступить в новый бой.

Устремленный на Альфонсо взгляд ее был полон злобы, проклятия и ненависти. Но внимание леопарда было поглощено в эту минуту просунутым в клетку железным ломом. Он грозно хватил его лапой и принялся грызть холодное железо своими страшными зубами. При новой попытке человека отстранить его этим ломом Альфонсо одним прыжком очутился у самой решетки и своей могучей лапой разодрал державшую лом руку. Человек бросил лом и отскочил от клетки. Тогда Альфонсо бросился на своего слабого противника Джека и растерзал его прежде, чем тот успел пискнуть. Между тем Майклу кое-как удалось приподняться и теперь он пытался высвободиться из объятий удерживавшей его Сары. Бешеный леопард в одно мгновение очутился на них обоих, но был тотчас же отброшен вновь просунутым в клетку ломом. Тут уж леопард бросился на решетку клетки так, что она вся зашаталась.

В клетку снаружи просунуто было еще несколько железных прутьев, но, как усердно ни действовали ими люди, остановить разъяренного зверя им не удавалось. Он повернулся к Саре... Она все продолжала неистово-злобно на него кричать. Коллинс выхватил из рук близстоящего своего помощника револьвер.

— Не убивайте его! — останавливая его за руку, крикнул Кастельмон.

Укротитель сам находился в самом плачевном состоянии. Одна его рука висела как плеть, глаза были залиты кровью нанесенной ему на черепе раны, и он утирал их о плечо Коллинса для того, чтобы что-нибудь увидеть.

— Ведь Альфонсо моя собственность! — протестовал он.— Он стоит дороже целой сотни таких обезьян и кривоногих терьеров. Дайте лучше я попытаюсь вытащить их оттуда. Позвольте мне... Кто-нибудь вытрите мне глаза! Я ничего не вижу. У меня не осталось ни одного холостого заряда. Есть здесь у кого-нибудь холостые патроны?

Один момент Сара как будто собиралась броситься между Майклом и леопардом, отвлекаемым снаружи железными прутьями, но потом, повернувшись к страшному зверю, вдруг неистово завизжала, надеясь этим, очевидно, его устрашить и заставить отступить.

Майкл с Сарой на спине рычал и скалил зубы, с трудом сделав два-три шага по направлению к своему врагу, но, почувствовав страшную боль, опустился на пол. И тут Сара свершила свой великий подвиг любви. В последний раз, пронзительно взвизгнув, она вскочила прямо на морду разъяренного леопарда и принялась злобно и неистово кусать и царапать ее. Бешеный зверь, озадаченный этим неожиданным нападением, взвился на дыбы и старался сбросить с морды своей этого маленького, крепко в него вцепившегося чертенка.

Борьба и жизнь маленькой зеленошерстной обезьянки продолжались всего несколько секунд, но и этого было достаточно для того, чтобы Коллинс успел приотворить дверцу клетки и выхватить из нее Майкла за задние ноги.

ГЛАВА XXX

Не будь Майклу оказана в Седеруальде скорая и довольно хорошая медицинская помощь, он, наверно, не выжил бы. Настоящий хирург, искусный и смелый, сделал ему операцию и при этом проделал над ним такие опыты, какие над человеком он проделывать бы, конечно, не решился. Однако Майклу эти опыты оказались не во вред.

— Он всегда будет хромать, — сказал доктор, вытирая руки. — При малейшем напряжении у него поднимется температура, и тогда кончено. Во сколько вы его цените?

— Он ровно ничего не умеет проделывать, — сказал Коллинс. — Поэтому больше пятидесяти долларов за него никто не даст. А теперь не дадут и этого! Хромые собаки для дрессировки не годятся.

Время, однако, показало, что эти два собеседника ошиблись. Хромым Майкл не сделался, хоть еще много времени спустя правая его нога побаливала в сырую погоду, и тогда он действительно чуть прихрамывал, чтобы не растравлять боль. Ошибся Коллинс и в том, что Майкл потерял всякую цену. Очень скоро после этого он стал звездой большой величины, и цена его достигла максимума того, что может стоить собака.

Но это все еще было впереди. Пока же Майкл коротал долгие скучные дни, лежа в гипсовых повязках и без движения, которое могло вызвать подъем температуры. Уход за ним был прекрасный, что объяснялось, конечно, не любовью к нему, а принятой в седеруальдской школе системой, обеспечивавшей школе добрую славу и хорошие доходы. Когда Майкла вынули из гипса, он лишен был возможности зализывать свои раны, так как последние оказались старательно затампонированными и перебинтованными. Когда же сняли и бинты, то ран не оказалось — чувствовалась только боль в ноге, потребовавшая месяцев особого лечения.

Никакой дрессировкой, никакими упражнениями Коллинс больше Майкла не утруждал и в один прекрасный день условно дал его на подержание некоему Уильтону Девису, который вместе с женой своей выступал с труппой дресси-

рованных собак. У них только что околели три собаки, и они нуждались в пополнении своей труппы.

— Если он вам окажется пригодным, можете получить его за двадцать долларов, — сказал Девису Коллинс, передавая Майкла.

Итак, Майкл был посажен в клетку и увезен из Седеруальда. Было бы лучше, если бы этого не случилось, потому что Уильтон Девис был в своем кругу известен как человек, исключительно жестоко обращающийся со своими собаками. Еще немного лучше обращался он с собаками, которые умели проделывать какие-нибудь фокусы, с теми же, которых он держал только для пополнения труппы, он совершенно не стеснялся. За таких собак денег выручить было нельзя! Майкл же, с его точки зрения, не стоил ничего, и ему было бы нисколько не обидно, даже если бы он подох, так как заменить его, по мнению Девиса, было очень легко.

Вначале, в начинавшейся новой полосе жизни Майкла не было ничего ужасного, кроме того, что ему было очень тесно в клетке, которую переносили из вагона в вагон, погружали и выгружали, причем от толчков давала себя чувствовать едва зажившая его рана. По приезде в Бруклин он был тотчас же сдан в один из второстепенных цирков, так как Девис, пользовавшийся животными второго сорта, не мог добиться ангажемента в какой-нибудь первоклассный цирк.

Тяжелые условия жизни начались для Майкла с того момента, когда его тесную клетку поставили в ряду других таких же клеток с собаками в большой комнате, расположенной недалеко от арены. Его новые товарищи по труппе были собаками самого жалкого вида. Все они были измучены и истощены, у многих виднелись болячки и раны — следы побоев, которыми их часто награждал Девис. На болячки эти никто не обращал никакого внимания, и только в дни представлений их засыпали каким-то порошком, не в виду гигиены, конечно, а для того, чтобы скрыть их от публики. Некоторые из этих собак время от времени принимались долго и жалобно выть, другие, напротив,— вдруг разражались громким лаем. В этом печальном собачьем хоре не принимал участия один Майкл. С тех пор, как он стал мрачен и угрюм, он совершенно перестал лаять. Он был теперь слишком необщителен для того, чтобы принять участие в этом демонстративном концерте. Не следовал он примеру и тех задорных собак, которые просовывали свои морды между прутьями клетки и рычали, выискивая случай с кем-нибудь сцепиться. Озлобленность Майкла была слишком глубока для того, чтобы он стал искать ссор с кем попало. Единственно, чего он желал, это того, чтобы его оставили в покое. И таким одиноким покоем ему было предоставлено наслаждаться первые сорок восемь часов по приезде.

Уильтон Девис приехал со своей труппой слишком заблаговременно. Первое его выступление должно было состояться не раньше, как через пять дней. Решив воспользоваться свободными днями, чтобы навестить родственников своей жены в Нью-Джерси, он за особую плату попросил позаботиться о его собаках циркового служителя. Последний, конечно, и поил бы, и кормил бы

их, если бы с ним не случилось в эти самые дни несчастья. Он поссорился из-за какого-то пустяка с содержателем соседнего бара и последний в пылу драки ранил его в голову, после чего его пришлось отправить на излечение в больницу. К довершению всего, как раз в эти дни театр на три дня закрыли совсем для производства в нем каких-то противопожарных работ.

По этим причинам к клетке Майкла никто не подходил, и он довольно скоро начал чувствовать жажду и голод. Голодные, оставшиеся без пищи и питья собаки к ночи начали выть и лаять. Ночью этот вой и лай перешли в одно сплошное стенание, похожее на плач. Один Майкл не издал ни звука, молчаливо перенося свои страдания среди общего бедлама. Начался рассвет второго дня. Потом тянулся томительный день, и снова наступила ночь. Ужасы, пережитые несчастными собаками в эту ночь, не сравнятся со всеми ужасами, каким подвергаются во время дрессировки собаки всего «цивилизованного» мира. Видел ли эти ужасы Майкл наяву, или они ему только снились, сказать трудно. Вернее, что он в своем полусонном, ослабленном от голода и жажды состоянии и не замечал их, отдаваясь воспоминаниям своей прошлой жизни.

— Этакое несчастье, черт возьми! — воскликнул Девис, увидав своих собак в таком отчаянном состоянии.

— И всегда так будет, если будешь доверяться какому-то пьянице, — наставительно сказала ему жена. — Не удивлюсь, если половина из них у нас теперь околеет.

— Разговаривать не время! Надо браться за дело, — ответил Девис, снимая свой пиджак. — Прежде всего их надо напоить. Сейчас наполню цинковый ушат, — и он принялся цедить из крана воду.

Услышав звук бегущей из крана воды, собаки стали визжать и лаять от нетерпения. Некоторые же, выпущенные им из клетки, бросались даже лизать мокрые руки Девиса своими распухшими от жажды языками. Совершенно ослабевшие с трудом ползли к ушату; те, что посильнее, оттесняли их лапами, так как всем места у ушата не хватало.

Майкл, толкаемый со всех сторон, толкая и других, ухитрился сделать несколько больших глотков живительной влаги.

— Как здесь скверно пахнет, — с брезгливой гримасой заметила жена Девиса, припудривая свой нос. — Надо сейчас же перемыть всех собак!

И началось мытье, грубое и жестокое. Девис хватал первую попавшуюся под руку собаку, швырял ее в тот самый ушат, из которого поил, и если собака упрямилась, он совал ее морду в мыльную, грязную воду, приговаривая: «Попей еще, попей, проклятая!» Он точно считал их ответственными за все случившееся и за все те ужасы, которые им только что пришлось пережить.

На следующий день на арене цирка состоялась первая репетиция. Еще до поднятия занавеса все двадцать собак были усажены полукругом на стульях, и им было приказано сидеть смирно, не шевелиться и не издавать ни звука. Но тотчас же после того, как занавес поднимется, они должны были одновременно, хором все залаять.

Как статист, Майкл в самом представлении не участвовал. Он должен был только смирно сидеть на своем стуле. В то время как он, по приказу Девиса, вскакивал на стул, Девис больно ударил его по голове и по морде. В ответ на это Майкл грозно рычал.

— Ого,— недовольно ворчал Девис.— Новичок, а какие претензии! Присмотри-ка, моя милая,— обратился он к жене,— за остальными собаками, а я пока дам первый урок вот этой новой.

О том, каким побоям подвергся вслед за этим Майкл, лучше и не говорить. Сначала он пытался сражаться, но это ни к чему не привело, и он, избитый и окровавленный, уселся, наконец, на свой стул.

Он был так расстроен, что соблюдать требуемое до поднятия занавеса молчание ему было только желательно, когда же, после поднятия занавеса, собаки залаяли, он в этом хоре участия принять не захотел.

Другие собаки, соскочив со стула, в одиночку или попарно проделывали обычные свои фокусы, как, например: ходили на задних и передних лапах, вальсировали, кувыркались в воздухе и т. п. При исполнении всех этих номеров Девис проявлял крайнюю требовательность и жестокость.

На следующих трех репетициях Майкл уже покорно прыгал на свой стул и сидел, сохраняя полное молчание.

— Видишь, как моя палка подействовала — с торжеством говорил жене Девис. Однако ни он сам, ни жена его никак не ожидали того скандала, который преподнесет им Майкл во время первого представления.

На сцене были уже сделаны все необходимые приготовления. Собаки тихо и смирно сидели на своих местах. Супруга Девиса стояла тут же и угрожающими жестами поддерживала абсолютное молчание. На авансцене же, перед занавесом мистер Дик и миссис Дэзи Белл услаждали публику своим пеньем и танцами.

Все пока шло благополучно. В зале никому и в голову не могло прийти, что за занавесом уже сидит целая свора собак. Но вот мистер Дик и миссис Дэзи запели под аккомпанемент оркестра «Отвези меня в Рио».

И тут Майкл удержаться не мог. Знакомые сладкие звуки захватили его всего и, движимый какими-то тайными силами, он, несмотря на все свое мрачное настроение, невольно завыл в такт оркестру и певцам, — запел во все свое собачье горло.

В зрительном зале захихикали сначала дети и дамы, а потом и весь зал разразился хохотом, заглушая голоса Дика и Дэзи. Уильтон Девис бросился на Майкла с кулаками и проклятьями, но заставить его замолчать не мог. Не унималась также и заливавшаяся хохотом в зале публика, и только удар плеткой заставил Майкла взвизгнуть и на минуту умолкнуть.

— Заткни ему глотку, Уильтон — посоветовала мужу миссис Девис.

И тут между Уильтоном и Майклом разыгралось генеральное сражение. В зрительном зале было ясно слышно, как за занавесом щелкает бич и рычит собака. Занятые тем, что происходит за занавесом, зрители окончательно пе-

рестали слушать Дика и Дэзи. Весь эффект их номера пропал. Полное фиаско потерпел также и следующий номер — выступление Девиса с его собаками. Так, по крайней мере, заявил ему антрепренер.

Выходка Майкла необычайно потешила зрительный зал, и он долго не мог успокоиться от преподнесенного ему приятного сюрприза.

— Ничего, дорогой мой, не волнуйся! — тихим шепотом тут же на сцене успокаивала мужа миссис Девис. — Мы ликвидируем эту собачонку и найдем другую, получше. А Дэзи Белл это поделом! Ты еще не знаешь, какие она про меня говорила гадости моей же приятельнице на прошлой неделе.

Когда опустили занавес, Уильтон Девис спустился с лестницы и пошел разыскивать Майкла. Вместо того, чтобы забиться куда-нибудь в угол, Майкл, весь дрожа от пережитых волнений, стоял у ног циркового служителя, готовый вступить в новый бой со своим оскорбителем.

По дороге Девис наткнулся на чету Дика и Дэзи. Первый принялся неистово его ругать, вторая изливала свое негодование и отчаяние в слезах.

— Нечего сказать! Хорошо вы умеете дрессировать зверей! — кричал взбешенный Дик.

— Ничего подобного вы не сделаете, — спокойным голосом сказал цирковой служитель, у ног которого стоял Майкл.

— Пропустите меня, или я вам покажу! — размахивая железным прутом крикнул Девис. — Дайте мне только расправиться с этой проклятой собачонкой. Ведь вот проклятая! Черт бы ее драл! Разве я мог знать, что она завоет?

— Можно сказать, что вы устроили сегодня настоящий скандал, — с раздражением сказал Девису антрепренер в ту минуту, как тот двинулся с железным прутом на зарычавшего на него Майкла.

— То, что я устроил, ничто по сравнению с тем, что я устрою сейчас, — ответил Девис, крепче сжимая в руке своей железный прут. — Я убью эту собачонку! Убью сейчас вот тут, у вас на глазах! — И он взмахнул прутом.

Майкл, почуяв опасность, присел для прыжка и не сводил глаз с угрожавшего ему оружия.

— Ничего подобного вы не сделаете, — спокойным голосом сказал цирковой служитель, у ног которого стоял Майкл.

— Он моя собственность! — заорал с полным сознанием своей правоты Девис.

— И тем не менее здравый смысл должен подсказать нам, что от того, что вы его прикончите одним ударом, толку будет очень мало. Собака есть собака, как человек есть человек, но что вы за существо — это я уж и не знаю! Бить собаку железным прутом вы не смеете! Вы забываете, что собака эта в первый раз очутилась на сцене и двое суток перед тем голодала. Нет, нет, вы этого не посмеете сделать!

— Ведь если вы собаку убьете, вам придется заплатить доллар за то, чтобы ее отсюда унесли, — сказал Девису антрепренер.

— И с удовольствием заплачу! — крикнул Девис, снова замахиваясь прутом.

— Если так, то знайте, — заговорил цирковой служитель: — как только вы ударите эту собаку, я вас так исколочу, что меня из цирка прогонят, а вас отправят в больницу.

— Но, но, Джэксон! Потише! — угрожающе попытался остановить служителя антрепренер.

— Я вас не боюсь! Я готов пойти на все! — ответил служитель и твердо, спокойно продолжал: — Я готов потерять место, но, повторяю, если этот негодяй посмеет хоть пальцем тронуть эту собаку, я с ним расправлюсь как следует! Не могу я больше смотреть на то, как вы истязаете зверей! У меня сердце рвется на части, на все это глядя!

Антрепренер пожал плечами и, обращаясь к Девису, сказал:

— Бросьте это, Девис! Потерять такого слугу, как Джэксон, я не желаю, а вам нет никакого расчета лежать в больнице. Отошлите лучше собаку Коллинсу обратно. Он в претензии не будет. Джэксон,— обратился он к служителю, — ведь вы не откажетесь все это устроить?

Джэксон кивнул в знак согласия головой.

— Черт с ним, пусть отправляют, — сказал Девис, поворачиваясь на своих каблуках и как бы про себя прибавил: — Бывают же дураки, которые так любят собак. А вот повозились бы с ними, как я...

ГЛАВА XXXI

«Ваша собака мне не подходит. Она слишком любит петь»,— объяснил в открытке причину обратной присылки Майкла Коллинсу Девис. Этими словами он, собственно, бессознательно давал ключ к тому, чего так доискивался Коллинс. Но Коллинс, очевидно, не обратил на эти слова должного внимания, так как тут же сказал Джонни:

— Если судить по следам побоев, которыми он награждал эту собаку, тому, что она у него пела, — удивляться не приходится. В том-то и беда с этими дрессировщиками зверей, что они совершенно не умеют обращаться с своей собственностью. Колотят без пощады, по голове, и удивляются, что звери после этого не становятся кроткими ангелами. Возьмите собаку, Джонни! Вымойте ее хорошенько и аккуратно наложите пластыри везде, где нужно. Я сам с ней возиться не стану, я сплавлю ее при первой же возможности.

Две недели спустя Гарри Коллинс совершенно случайно узнал наконец то, что так тщетно стремился узнать — особый талант Майкла. В свободную минуту он послал за Майклом, чтобы показать его покупателю, которому нужна была собака-статистка. Майкл проделал на арене перед покупателем только все то, что он вообще соглашался здесь проделывать, то есть: ложился, вставал, подходил и уходил по приказу. После этого сам Коллинс отошел на другую сторону арены, где шла репетиция оркестра обезьян. Перепуганные обезьяны были привязаны к стульям и к своим инструментам, и из-за кулис их дергали за проволоки, привязанные к разным частям их тела. Дирижер, раздражительная старая обезьяна, был крепко привязан к подвижному стулу. В тот момент, как поднимался занавес, его из-за кулис ударяли длинным прутом, и он приходил в бешенство, в то же время проведенными из-за кулис веревками начинали вращать его стул во все стороны. На публику это должно было производить впечатление, что он сердится на то, что врут его музыканты. Публике этот его бешеный гнев, конечно, должен был казаться очень забавным. Так, очевидно, думал Коллинс.

— Обезьяний оркестр всегда имеет успех,— сказал он.— На нем всегда заработать можно, потому что он возбуждает смех, а за смех охотно платят деньги. Люди любят смеяться над обезьянами, потому что сами на них похожи и в то же время чувствуют свое над ними превосходство. Представьте себе, например, что мы с вами идем рядом по улице и вы поскользнулись и упали. Конечно, я рассмеюсь,— рассмеюсь потому, что почувствую свое над вами превосходство: вы упали, а я нет. То же самое будет, если, например, у вас сорвет с головы ветром шляпу. Я, конечно, буду хохотать, глядя на то, как вы за ней бежите, и буду чувствовать свое над вами превосходство, так как моя шляпа осталась у меня на голове. То же и с этим оркестром обезьян. Глядя на все глупости, которые они тут выделывают, мы чувствуем свое превосходство и хохочем. Совершенно не сознавая того, что мы нисколько не умнее их, мы готовы платить деньги за то, чтобы забавляться над их глупостью.

Обезьяний оркестр, собственно, не требовал дрессировки обезьян, дрессировать скорей приходилось людей, которые дергали их из-за кулис за проволоки. Этим сейчас Гарри Коллинс и занялся.

— Оркестр должен исполнять настоящее музыкальное произведение. Вы должны дергать за проволоки соответственно мелодии. Ну-с, над этим стоит поработать. Возьмите что-нибудь, что вы все хорошо знаете и что знакомо публике.

Он так увлекся этой идеей, что оторвал от работы акробата, специальность которого была играть на скрипке, стоя на скачущей лошади и кувыркаться на трапециях, непрерывно водя смычком по струнам. Коллинс заставил его медленно играть самые известные простые песенки для того, чтобы, следуя мотиву и темпу, приставленные к проволокам люди соответственно дергали руки обезьян.

— Если оркестр сфальшивит, вы все, сейчас же, одновременно, дергайте за веревки, вертите стулом дирижера, незаметно ударьте его прутом. Публика должна подумать, что он вне себя от того, что его оркестр врет. Успех будет сокрушительный.

Среди этих занятий к Коллинсу подошел с Майклом Джонни.

— Покупатель сказал, что он и даром его не возьмет, — доложил Джонни.

— Хорошо, уведите его, — приказал Коллинс. — Ну-с, — сказал он, возвращаясь к обезьяньему оркестру. — Готовы вы? Давайте «Край Родной». Фишер, скрипка, начинайте! Вы, господа, сразу полным оркестром... и соблюдайте ритм... вот... вот... Скорей, вы, Симон, отстаете!

И в этот момент все и произошло. Джонни, вместо того чтобы сразу увести Майкла, задержался, чтобы посмотреть на обезьяний оркестр. Скрипач, сидя на корточках на расстоянии одного ярда от того места, где стоял Майкл, затянул «Край родной», громко, отчетливо и звучно.

И Майкл не мог удержаться. Эта мелодия слишком тесно была связана в его памяти с обожаемым стюардом. Поэтому, раскрыв бессознательно свою пасть, он запел, передние же его лапы стали делать беспокойные движения, словно он хотел бежать куда-то. Да, мысленно он в эту минуту и бежал, бежал назад к своему стюарду, и, через пространство веков, к своей утраченной своре, своре первобытных своих предков, которые носились по снежным равнинам и девственным чащам лесов, добывая себе пищу.

Удивленный скрипач перестал играть. Люди задергали проволоки, как сумасшедшие, дирижер-обезьяна завертелся на своем стуле. Джонни хохотал. Коллинс же насторожился. Он слушал, как Майкл пел, пел безошибочно, следуя ритму и тону, и при этом, несомненно, не выл, а именно пел.

Все замолкло. Дирижер-обезьяна перестал вертеться на своем стуле, веревки и проволоки повисли в руках приставленных к ним людей, остальные участники обезьяньего оркестра тихо дрожали в ожидании нового над собой издевательства. Скрипач сидел, раскрыв рот от удивления. Джонни все еще заливался смехом. Но Гарри Коллинс задумчиво почесывал свой затылок.

— Скажите, ведь я же не мог ошибиться, я же слышал, слышал, как эта собака пела, и пела верно! Разве вы не слыхали? Ведь не показалось же мне это, черт возьми! Вот что, это надо выяснить. Уберите обезьян! Господин скрипач, сыграйте нам еще раз «Край Родной» и при этом, пожалуйста, то ускоряйте, то замедляйте темп, и играйте то громче, то тише. Теперь всех прошу слушать. Или я с ума сошел, или эта собака в самом деле певец. Слышите? Что вы скажете? Или нет?

И двух мнений быть не могло. Майкл опустил свою нижнюю челюсть, пасть его раскрылась, и он снова запел.

Гарри Коллинс подошел к нему совсем близко и стал петь с ним в унисон.

— Гарри Дель Мар был прав, называя эту собаку — собакой «вне конкурса» и продав всех своих остальных собак. Он знал, что эта собака — собака-Карузо. Это не то, что собаки воющего хора, с которыми выступал Кингман. Это настоящая собака-певец, солист! Теперь понятно, почему она не желала учиться другим фокусам. У нее была своя специальность! И подумать только, что я ее отдавал на погибель этому убийце собак, Девису. Хорошо, что она уцелела, и он прислал ее обратно. Джонни, пожалуйста, ходите за ней с особым вниманием. После обеда приведите ее ко мне на квартиру, я ей устрою настоящее испытание. Моя дочь играет на скрипке. Надо выяснить репертуар этой собаки. Это не собака, говорю вам я, а клад!

Итак, таланты Майкла были признаны. Послеобеденная репетиция прошла с большим успехом. На выяснение репертуара Майкла пришлось потратить не- мало времени. Новых мелодий Майкл упрямо учить не желал, но все мелодии, заученные им со стюардом, он не мог не петь. Наконец, Коллинс выяснил, что в репертуаре Майкла пять песенок имеется во всяком случае и решил:

«Пяти песен совершенно достаточно, он с ними будет всюду делать полные сборы. Это не собака, а клад! Черт возьми, будь я помоложе и свободный человек, я бы сам стал с ним выступать!»

ГЛАВА XXXII

В конце концов Коллинс продал Майкла некоему Якову Хендерсону за две тысячи долларов. «Я вам его даром отдаю», — говорил при этом Коллинс. «Если вы не откажетесь за него взять шесть тысяч через шесть месяцев, это будет значить, что я ничего в своем деле не понимаю. Если же вы его не застрахуете за пятьдесят тысяч долларов, как только он получит известность, то я скажу, что вы дела делать не умеете! Да, будь я помоложе и свободный человек, я бы сам с ним выступал».

Хендерсон был совершенно не похож на всех предыдущих хозяев Майкла. Это было какое-то безличное существо, — ни злое, ни доброе, ни умное, ни глупое и бесцветное, как вся его наружность и манера одеваться.

И Майкл и не любил его и не ненавидел. Он просто мирился с ним. Они объездили вместе все Соединенные Штаты, ни разу не поссорившись. Хендерсон ни разу не поднял на Майкла голоса, и Майкл, со своей стороны, ни разу на него не зарычал и не заворчал. Они существовали вместе просто потому, что их свела жизнь. Никакой душевной связи между ними, конечно, не было. Прояви Хендерсон по отношению к Майклу какое-нибудь дружеское чувство, Майкл, наверно, отозвался бы на него, но для Хендерсона Майкл был только источником заработка и сам по себе ничего не значил в его жизни, так же как и сам он ничего не значил в жизни вообще.

Работа Майкла была нетрудная, но очень однообразная. За исключением времени, которое уходило на утомительную и подчас в зимнее холодное время очень неприятную скачку по железным дорогам из города в город, Майклу приходилось выступать перед публикой семь раз в неделю по вечерам и, сверх того, два раза в неделю принимать участие в программах дневных спектаклей. Занавес поднимался, и он, совершенно один, оказывался перед переполненным публикой залом, что обеспечивало его хозяину полный сбор. Сам Хендерсон только стоял за кулисами и смотрел. Оркестр играл четыре песенки, которым Майкла выучил стюард, и Майкл пел. И это в самом деле было настоящее пение! По требованию публики, он обыкновенно повторял только одну из песенок, а именно «Край родной», после чего, под неистовые аплодисменты восторгавшейся собакой-Карузо публики, выходил Хен-

Клетка, комната и прогулка на цепочке — вот все, что он имел.

дерсон; он раскланивался со стереотипной приятно-благодарной улыбкой, положив свою правую руку на голову Майкла, что должно было выражать их, якобы, товарищеские отношения, а затем и он, и Майкл кланялись еще раз, пока спускался занавес.

И все же Майкл был узник, узник на всю свою жизнь. Его прекрасно кормили, держали в чистоте и порядке; но свободы он не знал.

Ни одной минуты не давали ему побегать на свободе. Клетка, комната и прогулка на цепочке — вот все, что он имел. Другие собаки на улице вокруг него бегали, играли или дрались друг с другом. Если же они подходили к Майклу, Хендерсон тотчас же решительно их отгонял.

Вечному узнику, прикованному к своему бездушному стражу, Майклу жизнь стала казаться беспросветно-серой и неинтересной.

В течение двух лет Майкл объездил все Соединенные Штаты, и его слава, а вместе с ней состояние Хендерсона быстро росли. Успех Майкла был настолько велик, что Хендерсон отказался от самых лестных для него предложений выступить по ту сторону океана, в Европе. Отдыхал за все это время Майкл всего один раз, во время затянувшейся на три месяца болезни Хендерсона.

Эти три месяца в Чикаго Майкл провел в хороших условиях, но все так же взаперти в «доме животных» некоего Мулькачи, одного из самых способных учеников Коллинса.

В то время, как Майкл отдыхал в «доме животных» Мулькачи, там, кроме обычных ежедневных истязаний было два случая такой невероятной жестокости, которая должна была производить на всех это видевших и слышавших животных такое же удручающее впечатление, какое должны производить на людей, сидящих в преддверии ада, вопли и стоны их товарищей по несчастью.

Первый случай — было укрощение индийского тигра. Звали тигра Бен-Больт и, несмотря на то, что он весь закостенел за две недели путешествия в тесной клетке, он, казалось, приехал неукротимым и непримиримым. Мулькачи следовало бы приняться за него сейчас же, но первое время ему было не до тигра, так как он праздновал свой медовый месяц. Тигр же за это время в своей просторной клетке расправил свои члены, а ненависть его к двуногим существам, которые так хитро сумели привести его в такое беспомощное состояние, только возросла. Поэтому он был готов и даже желал посчитаться с ними.

И они пришли, вооруженные железными вилами и силками. Сквозь решетку было брошено к нему в клетку на пол пять веревочных петель. В следующий момент та петля, в которую он поставил свою заднюю ногу, была крепко, до боли затянута. Он обезумел от бешенства, зарычал, сделал прыжок и, принялся рвать канат из затянувшей петлю руки и даже не заметил, как в это время то же было проделано с его передней ногой. Он заметался еще сильнее. Но он был глуп и нетерпелив, а люди были терпеливы и умны. Поэтому очень скоро и две другие его ноги оказались крепко затянутыми в капкан и на веревке в руках у

людей. Последние, подтянув веревки, повалили его на пол, и он был самым позорным образом подтащен к решетке, сквозь которую вытянуты были его страшные, могучие лапы.

Тогда Мулькачи, щупленький на вид человечек, смело вошел в клетку и вплотную подошел к тигру. Тигр сделал попытку вскочить и броситься на дерзкого, но не мог выдернуть ни одной из своих четырех лап из туго затянутых петель. Мулькачи опустился около него на колени, «посмел» опуститься и набросил пятую петлю тигру на шею, после чего и голову тигра, как и ноги, подтянули к решетке. Теперь Мулькачи трогал его за голову, касался его ушей и даже носа, а он мог только рычать и задыхаться, так как петля давила ему горло.

Весь дрожа от гнева, — не от страха, — Бен-Больт дал надеть на себя ошейник, к которому привязана была толстая веревка. Затем Мулькачи вышел из клетки, и тогда очень ловко с ног и головы тигра были сняты затянутые петли, и он очутился снова свободным в пределах своей клетки. Он сделал страшный прыжок и зарычал. Потом стал хватать лапой раздражавшую его, волочащуюся по полу веревку ошейника; пытался рвать с себя ошейник, падал, катался по полу, где прикосновение к веревке еще больше раздражало его, и в полчаса совершенно изнемог в этой бесполезной борьбе с неодушевленными предметами. Так укрощают тигров.

К его изумлению, — если только тигры вообще способны изумляться, — вдруг дверь его клетки открылась. Он посмотрел на нее, готовый к борьбе, но с опасением какой-нибудь новой ловушки со стороны двуногих. Однако снаружи его стали гнать просунутыми сквозь решетку вилами и в то же время под самой его клеткой громко кричали и щелкали бичами.

Волоча за собой веревку, уже не помышляя о бегстве и мечтая только о том, чтобы добраться до врага, он выбежал в коридор, идущий вдоль всех неподвижных клеток. Тут никого не было, но в конце коридора он увидел свет, бросился туда и, под визг, вой, писк и рычание зверей и птиц в других клетках пробежав по коридору, очутился в новой клетке. Это была не обыкновенная клетка, это была, собственно, большая, обнесенная со всех сторон решетками арена.

С полчаса он обретался на этой арене один. Потом между прутьями решетки просунут был железный прут с крючком на конце; крючком этим была захвачена веревка его ошейника, которая и очутилась в руках стоящих снаружи десяти человек. И в ту же минуту в клетку-арену вошел Мулькачи. Бен-Больт приготовился сделать прыжок, но не сделал его. Перед ним стоял маленький, хрупкий человек, и человек этот не бежал, а, напротив, ждал его, и тигр, словно изучая, смотрел на своего противника. Мулькачи был вооружен длинным бичом и острозубыми вилами. За поясом у него был заряженный холостыми патронами револьвер.

Пригнувшись к полу, Бен-Больт подползал к нему, крадучись, как кот к мыши.

— Теперь уж нечего, мой милый, надо покоряться, — мягко и ласково сказал ему Мулькачи и сделал к нему шаг, вытянув вперед вилы.

Это окончательно взбесило тигра. Он коротко и глухо зарычал, прижал уши, взмахнул лапами и выпустил когти. Однако человек не двинулся, и тигр на него набросился.

В тот момент, как он привскочил в воздухе, привязанная к ошейнику веревка дернула его так, что он описал круг и тяжело грохнулся на пол.

Прежде чем он успел вскочить на ноги, Мулькачи уже был на нем. «Вот как мы из него выбьем желанье с нами спорить»! — крикнул он своим людям. Он бил тигра железными вилами по ребрам, рукояткой бича по носу, хлестал его нещадно по самым чувствительным местам его тела.

Каждый раз, как Бен-Больт делал попытку приподняться, веревка снова притягивала его к земле. И снова сыпались удары, и наносившее эти удары существо было так же страшно и ужасно, как сам тигр, даже страшнее и грознее, потому что это был вооруженный умом человек. И в несколько минут, потрясенный сознанием невозможности растерзать человека, нещадно его избивающего, тигр, подавленный и смущенный, позорно обратился в бегство. Он прыгал, кидался к решеткам, чтобы избежать этого маленького человека, который оказался сильнее и страшнее его — громадного бенгальского тигра.

Мулькачи преследовал тигра, осыпая его ударами и сквозь зубы приговаривая: «Будешь рассуждать, будешь рассуждать со мной! Вот тебе! Вот тебе! Получай! И еще, и еще»!

— Теперь он будет меня бояться! Это самое важное. Теперь с ним будет справляться легко, — объявил он своим людям, с трудом переводя дыхание после своей напряженной работы вилами и бичом, тогда как великан-тигр, весь вздрагивая, полз от него вглубь клетки-арены.

— Теперь немного терпения и упорной работы над ним, и он будет проделывать все, что нужно! Я его оседлал!..

Прошло две недели, и в самом деле внутри Бен-Больта точно что-то надломилось. Настал день, когда по приказу Мулькачи, поощряемый ударами вил, Бен-Больт, в котором уже не было ничего царственного, как побитая кошка, плелся к громадному чугунному креслу в клетке-арене, жалко трепетал, влезал и усаживался в нем, как человек. И теперь его считали «воспитанным» тигром. Вид его, так трагически похожий на человека, сидящего в кресле, производил на публику впечатление зрелища, имеющего «воспитательное значение».

Второй происшедший в «доме животных» выдающийся случай был случай с медведем, прозванным Сент-Элиасом. На этот раз побежденным оказался Мулькачи. В такое положение Мулькачи попадать случалось очень редко, хоть все и уверяли, что в данном случае выйти победителем не смог бы никто. Сент-Элиас был громадное чудовище с Аляски, скорее добродушный и, по-своему, веселый и забавный медведь. Но он был медведь своенравный и невероятно упрямый. Его можно было уговорить что-нибудь сделать, заставить же силой никогда. Но в мире дрессированных животных, где все должно идти по часам, на уговоры времени не тратят. Животное должно проделывать свои фокусы

быстро и хорошо. Публика не пожелает ждать, пока животное будут уговаривать исполнить свой номер — дать представление, за которое она, публика, заплатила деньги.

Потому и Сент-Элиасу был дан урок принуждения. Но это был первый и последний подобный урок; и дан он был у него в клетке, так что до дрессировки на арене дело не дошло.

Прежде всего с ним проделали все то же, что и с Бен-Больтом, бенгальским тигром. Его перевязали по всем ногам, накинули на шею тесную петлю, подтащили к решетке и снаружи обрезали ему когти, причем каждый огромный его коготь вырезался с мясом. Затем в клетку вошел Мулькачи и прорезал ему нос. Это была операция нелегкая, потому что Мулькачи при этом просверлил дыру в одной громадной ноздре животного и выхватил из нее кусок живого мяса. Мулькачи знал, как обращаться с медведями, знал, что для того, чтобы заставить медведя себя слушаться, надо, чтобы у последнего было какое-нибудь уязвимое место. Самыми доступными в этом отношении частями тела медведя были уши, нос и глаза. Так как глаза приходилось исключить, оставались уши и нос.

Просверлив дыру в ноздре, Мулькачи тотчас же просунул в нее металлическое кольцо; к кольцу он прикрепил длинную веревку. Теперь участь Сент-Элиаса была определена: всю жизнь, до последнего своего вздоха, он должен был носить в носу это кольцо и ходить на привязанной к кольцу веревке.

После этой операции ноги и шея медведя были высвобождены, и он оказался на свободе в своей клетке, но с кольцом в ноздре, к которому он теперь должен был привыкать. И в самом деле, встав на задние лапы, он зарычал и пытался ознакомиться с кольцом при помощи своей могучей передней лапы. Он дергал и рвал кольцо так же, как стал бы срывать с себя кусающихся пчел на какой-нибудь пасеке. И кончилось эго тем, что он вырвал кольцо, разодрав при этом ноздрю.

Мулькачи разразился проклятиями. Снова была проделана операция с обвязыванием ног, вытаскиванием их сквозь решетку, и снова на шею его набросили веревку, а Мулькачи, прорезав и просверлив медведю вторую ноздрю, продел в нее кольцо с веревкой. Но не успели еще ему освободить задние ноги, как он передней лапой выдрал кольцо из второй ноздри.

Мулькачи бесился от досады:

— Изволь быть разумным, слышишь?! — внушал он медведю.

На этот раз разумность эту он внушил Сент Элиасу, просверлив ему обе ноздри сразу и вдев кольцо через хрящ, их разделяющий. Но Сент-Элиас был медведь неразумный. В противоположность Бен-Больту у него внутри не было чего-то того, что может надломиться. Поэтому, как только его освободили от веревок, он выдрал себе вместе с кольцом полноса. Мулькачи просверлил ему правое ухо — Сент-Элиас разодрал его в клочья. Мулькачи просверлил левое — он разодрал и левое. Тогда Мулькачи сдался. Ему больше ничего не оставалось.

— Мы побиты! Он неуязвим теперь!

Позже, когда Сент-Элиас был обречен всю свою жизнь оставаться просто зверем в клетке, Мулькачи, глядя на него, всегда ворчал:

— Самый глупый медведь, какого я когда-либо видел! Ничего не мог с ним поделать.

ГЛАВА XXXIII

Это было в театре «Орфеум» в Окленде в Калифорнии. Гарлей Кеннан протянул руку, чтобы достать из-под своего кресла шляпу.

— Но ведь это еще не антракт, — остановила его жена. — Еще один номер...

— С дрессированными собаками,— сказал он, считая это объяснение достаточным, так как выходить из зрительного зала на время представления с дрессированными животными было в его привычках вообще.

Вилла Кеннан взглянула на программу.

— В самом деле, — сказала она, но потом прибавила, — но эта собака поет, собака-Карузо. И тут есть ремарка, что собака на сцене выступает самостоятельно, совершенно одна. Знаешь, останемся... один раз ничего! Мне хочется сравнить эту собаку с нашим Джерри.

— Какое-нибудь несчастное животное, из которого вымучивают вой! — проворчал Гарлей.

— Но раз она на сцене одна? — возразила Вилла. — Да, наконец, если неприятно будет смотреть и слушать, мы всегда можем уйти. Я выйду с тобой, но мне бы хотелось посмотреть, насколько наш Джерри лучше поет, чем эта собака. К тому же это тоже терьер...

И Гарлей Кеннан остался. Занавес поднялся, и на сцену спокойно вышел терьер, подошел так же спокойно почти к самой рампе и стал напротив дирижера оркестра. На сцене он, как было сказано в программе, был один.

Оркестр заиграл вступительные такты. Собака зевнула и села. Оркестру было строго наказано повторять эти вступительные такты до тех пор, пока собака не запоет, и тогда строго следовать за ней. На третьем повторении она открыла свою пасть и запела, потому что воем это назвать было никак нельзя. Она пела не только строго соблюдая ритм, она ни разу не ошиблась, ни разу не взяла фальшивой ноты.

Но Вилла Кеннан уже и не слушала ее.

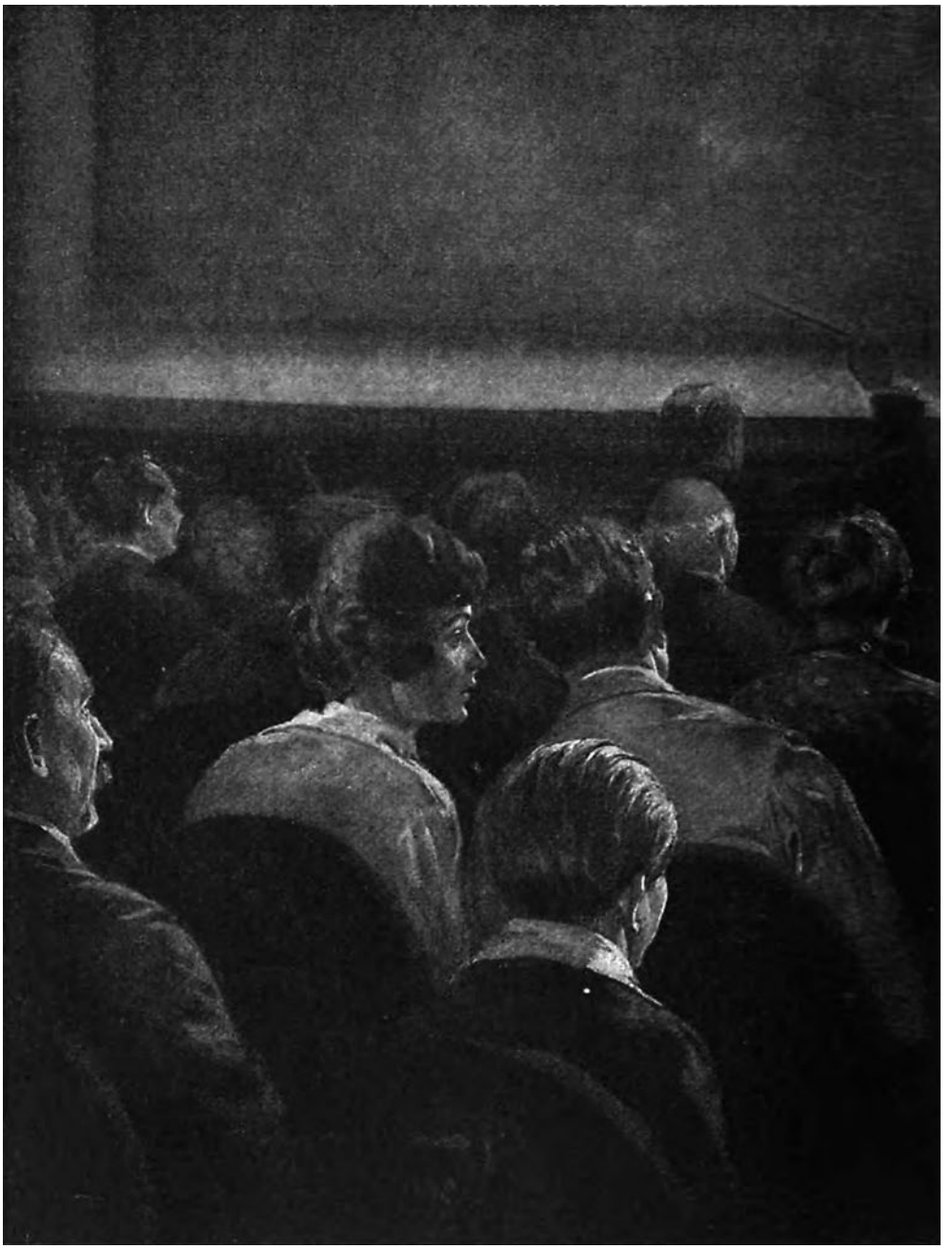
— Да, эта собака даст Джерри сто очков вперед... — прошептал жене Гарлей.

— Послушай, — взволнованно шепнула она ему. — Припомни, где ты раньше эту собаку видел?

Гарлей отрицательно покачал головой.

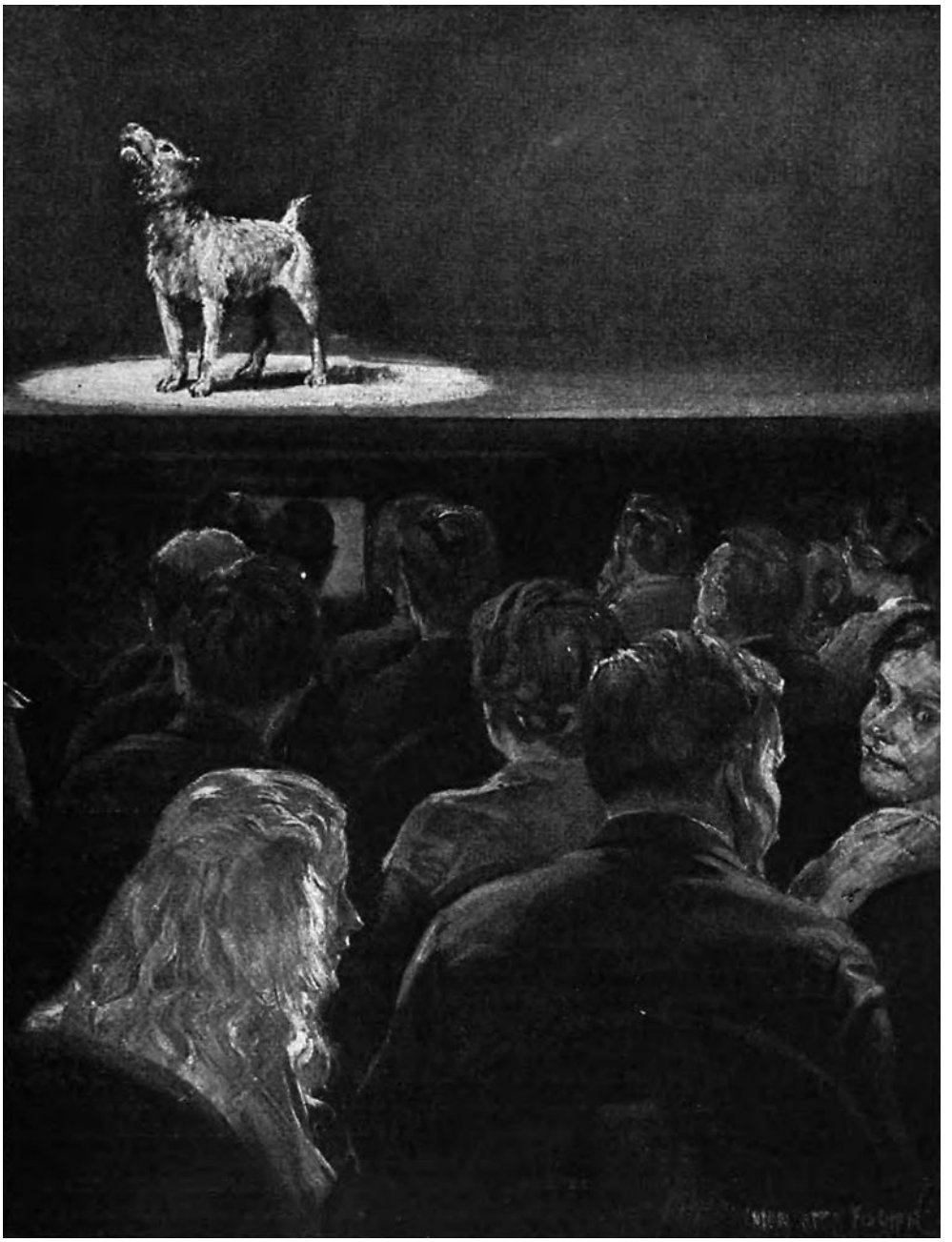
— Ты видел ее, — настаивала она. — Взгляни на ее сморщенное ухо! Вспомни, постарайся припомнить!

Но муж ее все отрицательно качал головой.



— Да, эта собака даст Джерри сто очков вперед... — прошептал жене Гарлей.

— Послушай, — взволнованно шепнула она ему. — Припомни, где ты раньше эту собаку видел?



— И еще! — рассуждала Вилла. — Сколько мы видали поющих собак? Только одного нашего Джерри. Ясно, что поющие собаки большая редкость, и они, значит, должны принадлежать к одной семье.

— Вспомни Соломоновы острова,— подсказывала она.— Вспомни «Ариэль». Помнишь, когда мы вернулись с Малаиты, где мы подобрали Джерри в Тулаги, оказалось, что там у него был брат — натасканная на негров собака. Она была там на шхуне...

— И звали ее Майкл. Ну, и дальше что?

— И у нее было именно такое сморщенное ухо, и это был родной брат нашего Джерри. Джерри — наш глупый певун. И эта собака поет, и ухо у нее сморщенное и зовут ее, наверно, Майкл...

— Не может быть этого! — ответил Гарлей.

— Жизнь только тогда и кажется ценной, когда невозможное оказывается возможным, — ответила она. — И это такой именно случай — невозможное окажется возможным. Вот ты увидишь, что я права!

В это время собака запела английский национальный гимн.

— Ну вот тебе новое доказательство, что я права! — заявила Вилла. — Какой американец станет учить собаку петь английский гимн? Эта собака принадлежала прежде англичанину, который и научил ее петь это. Соломоновы острова находятся ведь в британском владении.

— Ну, это еще не доказательно! А вот это ухо меня, действительно, смущает. Я начинаю припоминать, что я его действительно видел. Я помню, как я с Джерри стоял на набережной в Тулаги, а его брат сошел с китобойного судна «Евгения», и у этого его брата, действительно, было такое же сморщенное ухо.

— И еще! — рассуждала Вилла. — Сколько мы видали поющих собак? Только одного нашего Джерри. Ясно, что поющие собаки большая редкость, и они, значит, должны принадлежать к одной семье.

— Да, у него было такое ухо, — рассуждал Харлей. — Я помню, я обратил на это внимание, когда он бежал по набережной рядом с Джерри.

— Если бы Джерри был здесь, и их можно было бы поставить рядом, ты бы сейчас же убедился в том, что это Майкл.

— Правда, что не только они пели, но и их родители — Терренс и Бидди — пели тоже. Но с другой стороны,— то было на Соломоновых островах, а мы сейчас в Америке.

— А разве Джерри не попал с Соломоновых островов в Калифорнию? Нет, ты только послушай...

Собака в эту минуту повторила на бис «Край родной». Как только она кончила, на сцену, под гром аплодисментов, вышел Хендерсон и раскланялся. Вилла и Гарлей сидели молча. Но вдруг Вилла ни с того ни с сего сказала:

— Я вот сижу и страшно радуюсь одному обстоятельству.

Муж вопросительно на нее посмотрел.

— Тому, что мы так безобразно богаты.

— Иначе говоря, вы желаете получить собаку, должны ее иметь во что бы то ни стало? И будете иметь по той простой причине, что я вам это удовольствие в состоянии доставить, — поддразнил жену Гарлей.

— Потому что вы не в состоянии не доставить мне его! — ответила она.

— Но мы все-таки должны раньше убедиться в том, что это брат Джерри. Иметь хоть намек на доказательство, что это так!

— Это я имею, — сказал Гарлей. — Это, конечно, не Майкл, но, с другой стороны, почему бы этой собаке и не быть Майклом? Пойдем за кулисы и попытаемся это выяснить.

«Наверно агенты общества защиты животных от жестокого обращения», — подумал Хендерсон, когда в его тесную уборную за кулисами театра антрепренер привел господина и даму. Майкл дремал, лежа на стуле, и не обратил на вошедших никакого внимания. Пока Гарлей разговаривал с Хендерсоном, Вилла рассматривала Майкла: последний чуть приоткрыл глаза и тотчас же снова закрыл их. Слишком много горечи накопилось в нем против людей для того, чтобы при его мрачном настроении вообще он мог, как прежде, радостно отзываться на всякую мимолетную ласку людей, которые приходили, ласкали его, говорили разные глупые слова и уходили навсегда.

Разочарованная такой неотзывчивостью, Вилла оставила Майкла в покое и стала слушать то, что рассказывал ее мужу Хендерсон. Некий Гарри Дель Мар подобрал эту собаку в Сан-Франциско и увез ее с собой на восток. По дороге в Нью-Йорк Гарри Дель Мар погиб от несчастного случая, не успев никому сказать об этой собаке, направленной им к некоему Коллинсу, которому он, Хендерсон, за нее заплатил две тысячи долларов и считает это наилучшим помещением денег, какое он когда-либо в жизни делал.

Вилла снова обратилась к Майклу.

— Майкл! — ласково шепотом сказала она.

И Майкл вздрогнул, глаза его открылись и уши насторожились.

— Майкл! — снова повторила она.

На этот раз он поднял голову, растопырил уши и посмотрел на нее широко раскрытыми глазами. Этим именем его никто не называл с тех пор, как он покинул Гулаги. С молниеносной быстротой пронеслись в мозгу Майкла вызванные этим тихим окликом Виллы воспоминания. Перед ним снова встал образ капитана Келлара с «Евгении», это был последний человек, который называл его так. Он видел мистера Хеггина, и Дерби, и Боба, и плантации Мэринджи, и Бидди и Теренса, а также и брата своего Джерри, и словом все это куда-то ушедшее от него прошлое.

Но навсегда ли оно ушло? Имя, которое он не слыхал целые годы, он вдруг услышал сейчас. Оно вошло сюда, в эту комнату, вместе с этими людьми, мужчиной и женщиной. Конечно, всего этого Майкл не передумал, но действовал он дальше так, как будто он именно так и рассуждал.

Он соскочил со стула и побежал к женщине. Подбежав к ней, он понюхал ее руку; в то время, как она ласкала его, обнюхал ее платье, узнал и словно взбесился. Он носился как сумасшедший по комнате, обнюхивал все углы, залезал под умывальник, чтобы обнюхать и там, потом снова, вне себя от восторга, бросился к женщине и снова визжал.

Хендерсон смотрел на все это с некоторым недовольством.

— Никогда этого с ней не бывало! Это очень спокойная собака. Может быть, у нее начинается какой-нибудь припадок, хотя у нее никогда никаких припадков не бывало.

В чем дело — не понимал никто, кроме самого Майкла. Он искал того, что, казалось, должно было из ушедшего из его прошлой жизни вернуться к нему так же, как вернулось его прежнее имя. Раз вернулось оно, раз вернулась из небытия и эта женщина, которую он видел на берегах Тулаги, должно было вернуться и другое. Раз она вот тут стоит, в этой комнате, здесь где-нибудь должны быть и капитан Келлар, и мистер Хеггин и Джерри! Здесь или за дверью!

Он с визгом кинулся к двери и стал ее царапать, стараясь открыть.

— Может быть, он думает, что там кто-нибудь есть? — сказал Хендерсон.

Но за дверью никого не оказалось, и разочарованный Майкл вернулся к женщине, которая ласкала его и называла Майклом.

Она-то во всяком случае была здесь налицо. Затем он подошел к мужчине, обнюхал и его, признал в нем того, кого видел на «Ариэль», и снова заволновался.

— О, Гарлей! Я не сомневаюсь в том, что это он. Нельзя ли как-нибудь еще испытать его, еще что-нибудь сделать, чтобы ты убедился, — взволнованно говорила она.

— Но каким способом? — задумался Гарлей. — Имя свое он узнал, и это, несомненно, его волнует. И нас он как будто узнал, хоть видел только мельком. И мы его волнуем. Если бы он только умел говорить...

— Ну скажи, ну скажи,— молила Вилла Майкла, схватив его за голову и поворачивая ее из стороны в сторону.

— Будьте осторожны, мадам, это собака угрюмая, она не позволяет с собой бесцеремонно обращаться.

— Мне позволяет, — взволнованно и смеясь от радости, ответила Вилла. — Позволяет потому, что она знает меня!..

Она не договорила, потому что в эту минуту ее осенила новая мысль.

— Гарлей! — воскликнула она. — Я знаю, как ее испытать. Слушай! Ведь Джерри, до того, что мы его купили, был натаскан на чернокожих, и Майкл — тоже. Поговори на жаргоне «*beche de mer*», говори так, будто ты сердишься на какого-нибудь негра, и посмотрим, что он будет делать.

— Ну, не знаю, помню ли я что-нибудь из этого жаргона, — одобряя идею, сказал Гарлей.

— А я пока отвлеку его, — сказала она.

И она взяла собаку так, что голова ее оказалась спрятанной у нее на груди и стала его раскачивать и что-то напевать, так, как это она привыкла делать с Джерри. И Майкл не только не протестовал, но сам начал тихонько напевать то же, что и она. Тогда она сделала мужу знак глазами.

— Черт знает, малый этот быть, я сердит он, — начал Гарлей громко и сердито, как бы обращаясь к приоткрытой двери.

— Эй, Майкл! Хватать черный, там дверь малый!.. — крикнул Гарлей.

При первых же словах Майкл ощетинился, вырвался из рук Виллы, обернулся, грозно заворчал, но не увидал того негра, которого ожидал видеть. Гарлей посмотрел на дверь, и тут уже для Майкла не было сомнения в том, что этот негр стоит за дверью.

— Эй, Майкл! Хватать черный, там дверь малый!.. — крикнул Гарлей.

И Майкл зарычал и со всех ног кинулся к двери и толкнул ее с такой силой, что она распахнулась. Но за дверью опять никого не оказалось, и он, разочарованный и расстроенный, уныло пошел обратно и вернулся в комнату.

— Ну-с, теперь поговорим о деле... — сказал Хендерсону Гарлей.

ГЛАВА XXXIV

Когда поезд прибыл в Глен-Эллен, в Лунную Долину, Гарлей Кеннан сам пошел к багажному вагону получать Майкла, который в первый раз ехал без клетки, просто на цепочке. В ожидавшем их автомобиле Майкл увидал Виллу Кеннан и как только с него сняли цепочку, уселся около нее, между нею и Гарлеем.

Как только Гарлей Кеннан выскочил из подъехавшего к подъезду автомобиля, из-за дома раздался радостный визг и лай, в которых удивленному Майклу почудилось что-то знакомое. Но этот веселый лай перешел в подозрительно-ревнивое рычание, когда в гладившей его руке Гарлея Джерри почувствовал запах какой-то другой собаки. В следующий момент он уже увидел эту другую собаку и вскочил в автомобиль. Майкл, в свою очередь, зарычал и бросился навстречу Джерри, который тотчас же сшиб его с ног, и оба катались на дне автомобиля.

Слушаться голоса своего хозяина, даже в пылу сражения, есть свойство, присущее специально ирландским терьерам. Обладали этим свойством и Майкл и Джерри, поэтому, как только Гарлей Кеннан окликнул их, они тотчас же отскочили друг от друга; выскочив из автомобиля, они глухо зарычали, но новой борьбы не затевали. Их встреча произошла так быстро и неожиданно, что узнать друг друга в эти несколько секунд они не успели. Узнали они друг друга только сейчас, после того, как выскочили из автомобиля и, все еще ощетинившись и насторожившись, презабавно обнюхивали друг друга нос к носу.

— Они узнали друг друга! — воскликнула Вилла. — Интересно посмотреть, что они будут дальше делать!

Майкла возвращение Джерри из небытия нисколько не изумило. Он принял его, как непреложный факт.— Такого рода вещи начали на его глазах совершаться довольно быстро одна за другой. И поражало его не то, что они совершаются, а то, что они вытекают одна из другой. Так этого господина и даму он когда-то видел в Тулаги, и там же видел и Джерри, и раз сначала они, а потом Джерри вернулись из небытия, могло случиться, что оттуда вернется теперь и обожаемый стюард.

И, перестав обнюхивать Джерри, Майкл стал оглядываться по сторонам, ожидая увидеть где-нибудь тут и стюарда. Джерри же высказал свое первое дружеское приветствие приглашением побегать вместе с ним. Он прыгал и лаял вокруг него, потом отбегал, как бы приглашая следовать за собой, снова возвращался, игриво трогал его лапой, потом снова с лаем бежал от него и так далее.

Майкл так давно отвык бегать и резвиться, что вначале даже не понял, чего от него хочет Джерри. Но такой способ выражать друг другу дружеские чувства приглашением вместе побегать настолько собакам свойственен, что на повторное приглашение Джерри Майкл не мог не ответить. Когда последний, снова подбежав к нему, погладил его своей лапой, задорно залаял и побежал, Майкл не очень стремительно, но последовал за ним. Но Майкл при этом не залаял; он сделал несколько прыжков, потом вдруг остановился и вопросительно посмотрел на Гарлея, словно прося его разрешения.

— Можно, Майкл, можно,— поощрил его Гарлей, помогая Вилле сойти с автомобиля. Майкл подскочил к Джерри, обнял его за шею лапой, на что Джерри ответил тем же, и оба приятеля, почувствовав прилив давно не испытанной радости, побежали рядом, плечом к плечу.

Но радость Джерри проявлялась шумнее и живее, чем радость Майкла. Джерри бежал с сокрушительной быстротой, он то обгонял Майкла, то умышленно отставал от него, то и дело на него наскакивал, пронзительно при этом взвизгивал и добродушно лаял. То же проделывал и Майкл, но он при этом не издавал ни звука.

— Прежде он лаял, — заметила Вилла.

— Гораздо больше, чем Джерри, — прибавил Гарлей.

— У него, верно, отбили охоту лаять, — решила Вилла. — Наверно ему пришлось пережить много ужасного, раз он даже лаять перестал.

— И все он чего-то ищет, все ему чего-то недостает, — заметил Гарлей. — Что бы это могло быть? Может быть, он потерял кого-нибудь?

Майкл и в самом деле напряженно искал, искал своего обожаемого стюарда. Но Небытие поглотило его и крепко держало у себя. Однако, если бы Майклу удалось совершить десятидневный переезд по южным морям и очутиться на Маркизовых островах, он снова встретил бы там своего стюарда, Квэка и Старого Моряка. Все трое жили там, как в раю, наслаждаясь прекрасным климатом на берегах Тайохе. И в их крытом тростником домике, в сени великолепных окружающих его деревьев, он мог бы видеть всевозможных облюбованных ими зверей и птиц. Он увидал бы там кошек, котят, свиней, ослика, пони, много певчих птиц, пару обезьян, но ни одной собаки, ни одного какаду. Потому что Дэг Дотри раз и навсегда, даже в несколько резких выражениях, запретил и говорить о собаках. После Киллени-Бой для него, как говорил он, собаки перестали существовать. Квэк же, ничего не говоря, не покупал себе нового попугая, хотя к тому была полная возможность, так как их постоянно продавали заезжие матросы.

Но долго и тщетно искал Майкл своего стюарда. Бегая по откосам гор, карабкаясь, залезая в тростники, всюду искал он его и в трепетном ожидании встречи всегда был готов со всех ног броситься к своему стюарду.

— Все он чего-то ищет, все ищет, — говорил про себя Гарлей, когда Майкл, сопровождая его на прогулках, сновал в разные стороны, словно отыскивая кого-то.

— Джерри, тот выслеживает кроликов и лисиц, Майкла же они, по-видимому, вовсе не интересуют. Значит, он ищет чего-то другого. Похоже на то, что он потерял что-то для себя очень доброе и теперь не знает, где ему это искать, — рассуждал, глядя на Майкла, Гарлей.

Резвясь и бегая с Джерри, Майкл снова познакомился с вольной жизнью полей и лесов. Эти совместные с братом прогулки явились единственным его развлечением, потому что играть он уже вовсе не играл. От этого он слишком, давно отвык. Конечно, он уже не был той мрачной, угрюмой собакой, какой он был тогда, когда выступал на сцене в цирках и театрах и подвергался всяческим истязаниям в школе Гарри Коллинса. Он просто был умудрен тяжелым жизненным опытом и потому слишком уже трезво относился к жизни. Он состарился раньше времени. Подобно тому, как на плече его навсегда остался след нане-

Резвясь и бегая с Джерри, Майкл снова познакомился с вольной жизнью полей и лесов. Эти совместные с братом прогулки явились единственным его развлечением, потому что играть он уже вовсе не играл.

сенной леопардом раны, в мозгу его запечатлелись навсегда пережитые им муки и страдания. Джерри он любил, всегда был ему рад и с удовольствием бегал с ним вместе. Но во всех таких веселых предприятиях зачинщиком всегда был Джерри. Когда же дело шло о чем-нибудь серьезном, инициатива принадлежала Майклу. Так, например, по причине разных эпидемий на животных, вход в усадьбу Кеннан посторонним собакам был строго воспрещен. Майкл это понял очень скоро и, не задумываясь, по собственному почину, гнал всех подходивших к нему незнакомых собак; при этом он не лаял, не ворчал, а молча отгонял их. Если же собака не повиновалась ему сразу, он на нее бросался, опрокидывал на землю, кусал и добивался того, что она убегала. Все это напоминало ему его былую службу, когда он должен был сторожить негров на плантациях, и готов был теперь опять служить «богам», которые к нему относятся любовно.

Такой беззаветной любовной страсти, какую он питал к своему Стюарду, к Вилле и Гарлею Майкл не питал. Но он все же любил их и любил с каждым днем все больше и больше. Это была искренняя, но трезвая, спокойная привязанность. Выражалась эта привязанность у него не так, как у Джерри: он не визжал, не прыгал, не махал хвостом. Он просто был безмолвно рад присутствию Виллы и Гарлея и тому, что они, приласкав Джерри, ласкали и его. Минутами же наивысшего для него наслаждения были те, когда он, сидя около них у камина, клал голову свою кому-нибудь из них на колени, а они гладили его и слегка теребили его сморщенное ухо.

— Не могу понять! — сказала как-то Вилла.— Он раньше был такой веселой собакой, резвился до бешенства. Мне кажется, он был глупее Джерри, легко сердился, а уж шуму он производил гораздо больше, чем Джерри! Мне думается, что если бы он мог говорить, он рассказал бы нам что-то ужасно страшное, что произошло в его жизни с тех пор, как мы видели его в Тулаги и до того времени, как мы его увидали в театре «Орфеум».

— Вот это, вероятно, только жалкий намек на то, что ему пришлось пережить, — сказал Гарлей, указывая на след раны, нанесенной Майклу леопардом.

— Я знаю, я наверное знаю, что он лаял! — повторяла Вилла Кеннан. — Отчего он мог перестать лаять?

А Гарлей, снова указывая на след раны, нанесенной Майклу леопардом, сказал:

— Это одна из разгадок его прошлого; возможно, что есть сотни других следов пережитых им мучений, только для нас они остаются загадкой, так как видеть их мы не можем.

Но когда настал момент, когда надо было на деле доказать свою благодарность людям, которые спасли его от клетки и театральной рампы и дали ему покой и желанную свободу, которой он пользовался среди полей и лесов Лунной Долины, Майкл сумел это сделать и без всякого лая.

ГЛАВА XXXV

В Лунной Долине наступила, как всегда, приятная зима. Отцвели последние лилии на выжженных солнцем лугах, и лето Калифорнийской Индии скрылось в красноватых туманах неподвижного воздуха, тишину которого нарушили, наконец, теплые проливные дожди. Снег выпал на верхушках Сономских гор. На усадьбе Кеннанов по утрам воздух был свежий, но уже к полудню приходилось искать тень и среди зимы на открытом воздухе цвели розы и зрели апельсины, виноград, золотились на солнце лимоны. В глубине же долины, лежавшей на тысячу футов ниже, по утрам все было бело от ночных заморозков.

И в это самое время совершил свой подвиг Майкл.

В горах, между отвесных скал скрывался человек. Как горный лев скитался он, лазая по крутым утесам, и только ночью решался спускаться и пробираться через населенную фермерами долину. Как и горный лев, он был враг человеку, и все люди были его врагами, потому что они гнались за ним, чтобы отнять у него жизнь, которую он загубил злодейством, худшим, чем все злодеяния горного льва, так как последний убивал только телят и то для своего пропитания.

Как и лев, человек этот был убийца. С целью грабежа вырезал он целое семейство, убил почтмейстера, его жену и их трех детей в их квартирке над почтовой конторой в деревне Хрисхольм.

Вот уже две недели, как он благополучно ускользал от преследовавших его людей. Вот уже два дня, как он притаился в недоступных высотах у самых границ усадьбы Кеннанов. Он много спал, в смысле же пропитания у него было мясо украденной у Гарлея Кеннана ангорской козы и остатки кофе, который он утащил при последнем своем налете. Он падал от изнеможения и усталости, засыпал тяжелым кошмарным сном и просыпался только чтобы утолить свой голод козлиным мясом и залить жажду невероятным количеством выпиваемого им кофе.

Между тем цивилизация со всеми своими рациональными средствами, пользуясь всеми своими изобретениями до электричества включительно, налагала на него свою руку. Разговорная речь загнала его на самую верхушку гор, по склонам которых были ею же рассеяны целые группы блюстителей порядка и вооруженных фермеров. Для всех этих людей этот человек, убивающий человека, был страшнее всякого льва, и они не желали иметь его вблизи своего жилья. Телефон в усадьбе Кеннанов и во всех других усадьбах в округе работал почти непрерывно, организуя погоню за убийцей.

Вот почему последнему, почуяв приближение погони, пришлось, несмотря на яркий дневной свет, устремиться вниз к долине и по дороге наткнуться на выехавшего на своем горячем коне Гарлея Кеннана.

Гарлей выехал из дома вовсе не с целью преследовать и разыскивать скрывшегося в пределах его владений убийцу, хотя о том, что убийцу ищут в горах, он знал от группы его преследователей, которые ужинали у него на усадьбе накануне вечером. Потому встреча Кеннана с убийцей была совершенно не-

преднамеренная. Кеннан был не первый человек, на которого наткнулся в этот день убийца. Ночью он заметил поблизости огни костров и потому на заре сделал попытку проскользнуть вниз мимо них и при этом наткнулся ни больше ни меньше, как на целых пять отрядов, высланных из разных усадеб и вооруженных винчестерами. В то время, как он бежал, спасаясь от них, они, преследуя его по пятам, дали залп; убить его они не убили, но в спину его попало несколько дробинок.

В своей поспешности скрыться, плохо разбирая куда он мчится, он налетел на стадо молодых коротконогих бычков. Они были больше перепуганы этим столкновением, чем он сам, и, в своем смятении опрокинули его на землю, помяли своими копытцами, прыгая на него и через него, и вдребезги разбили его ружье. Затравленный, безоружный, со спиной, ноющей от ушибов и ранений, блуждал он по тропинкам, доступным только козам, наконец выбрался на тропу, по которой может проехать всадник, и тут и наткнулся на репортера газеты.

Репортер был горожанин и к охоте на человека не привычный. Разбитая на обе ноги лошадь, которую он взял напрокат внизу в долине, остановилась и не шелохнулась, пока наскочивший на него человек дикого вида выбивал его из седла. Репортер попробовал было ударить дикого человека хлыстом, но за это получил такую потасовку, какие он очень ловко описывал в своих фельетонах, посвященных описанию нравов ночных кабачков, в которых дерутся матросы, но которых на себе никогда не испытал.

К крайнему своему разочарованию и возмущению, человек не нашел на репортере никакого оружия, кроме карандаша и записной книжки. С досады он еще несколько раз ударил репортера, вскочил на его лошадь и, подбодряя ее ударами репортерского хлыста, поехал дальше по той же тропе.

Джерри бежал быстрей Майкла и потому в это утро он бежал перед лошадью Кеннана, тогда как Майкл следовал за ней. Вот почему начала катастрофы Майкл не видал так же, как и его хозяин Гарлей.

Вдруг Гарлей и его лошадь были озадачены появлением неожиданно прямо на них из-за кустов выскочившего наездника. И в то короткое мгновение, когда Гарлей, чтобы избегнуть столкновения дернул свою лошадь за уздечку, стараясь отскочить в сторону, он успел заметить, что глаза наскочившего на него всадника горят, как у затравленного зверя, что платье его разодрано в клочья, кожа расцарапана и сам он густо оброс волосами.

Наемная лошадь репортера не сумела проскочить мимо крутившегося на месте горячего чистокровного жеребца Кеннана и, со всего маху ударившись о него плечом, свалила его на землю. Нога упавшего вместе с лошадью Гарлея оказалась под лошадью, которая билась о землю и этим своим движением невольно разбивала ногу своего всадника и переломила в ней кость.

К своей крайней досаде, преследуемый вооруженными людьми человек и на Гарлее, как и на своей первой жертве, не нашел никакого оружия. Соскочивши с лошади, он с досады ударил ногой беспомощно лежащего под лошадью

человека. Не успел он взмахнуть ногой для второго удара, как Майкл запустил в эту приподнятую ногу свои зубы.

Он чертыхнулся и, вырывая свою ногу из зубов собаки, разодрал себе и мясо и штаны.

— Малодец Майкл, так, так, бери его — кричал собаке беспомощный Гарлей. — Хватай его. Эй, Майкл, хватай белый человек, скачивший лошадь кусты, — переходя на жаргон «beche de mer» подстрекал собаку Кеннан.

— Я тебе за это голову расшибу, — заскрежетал зубами человек.

Несмотря на все свое бешенство, он готов был разрыдаться. Борьба со всем вооружившимся против него человечеством, которому он нанес преступное зло, надломила его. Он был окружен врагами. Мальчишки стреляли в него из рогаток, быки и те топтали его своими копытами и уничтожили его ружье. А теперь еще вот эта собачонка разодрала ему ногу. Он вдруг, как никогда, ясно почувствовал, что конец его близок. Все было против него. Он впал в истерическое состояние, а в таком диком человеке это состояние проявляется в самых жестоких, невыразимо ужасных поступках. Сам Кеннан, собственно, ровно ничего ему не сделал. Он, напротив, напал на Кеннана, опрокинул его с лошадью на землю и таким образом разбил ему ногу. Но дело было в том, что Гарлей Кеннан был человек, а все люди теперь были его враги. Сам близкий к смерти, он рад был пролить кровь, убить первого попавшегося человека.

Но прежде, чем он успел ударить Гарлея, Майкл был снова около него и вцепился ему в другую икру. И опять нога убийцы была разодрана так же, как и его штаны. Однако ему удалось ударить Майкла в грудь, так что тот перелетел через дорогу и повис на аршин от земли, зацепившись телом, как на вилке, в ветвях колючих кустов мандзаниты.

— Ну, теперь я с тобой расправлюсь, — грозно проворчал убийца, подступая к Гарлею.

— Но что я вам такое сделал? — спросил его Гарлей. — Я не боюсь смерти, но я желал бы знать, за что меня убивают?

— За то, что вы преследуете меня и хотите убить меня, — прорычал человек. — Знаю я вас. Вы все против меня. И единственный случай расправиться хоть с одним из вас я не упущу.

Гарлей ясно сознавал всю опасность своего положения. Первый удар, направленный убийцей прямо ему в лицо, он парировал рукой, и прежде, чем убийца успел нанести второй, на сцену внезапно выступил Джерри, без какого-либо со стороны своего хозяина приказа и поощрения он бросился, высоко подпрыгнул и вцепился в штаны человека у самой талии. Тела его он зубами не коснулся, но весом своим он его отдернул и чуть не повалил на землю.

И в припадке нового бешенства человек бросился к Джерри. Положительно весь свет был против него. Собаки на него сыпались прямо с неба.

В этот момент внимание его отвлекли крики преследовавших его людей, доносившиеся со всех склонов гор. Это была сама преследующая его смерть, и от нее он должен был бежать. Ударив наскоро кулаком Джерри, он вскочил

на репортерскую лошадь, которая все время спокойно стояла там, где остановилась, и бесстрастно взирала на все происходящее.

Лошадь пошла неохотно, тихой рысцой. Джерри неотступно следовал за ней и так высоко подпрыгивал, рычал и лаял, что всадник чуть не закричал от отчаяния.

— Ничего, Майкл, даст бог, нас с тобой скоро теперь кто-нибудь выручит из нашего беспомощного положения, — успокаивал Гарлей собаку.

Но одна из слабых веток, на которых повис Майкл, не выдержала, надломилась, и он упал на землю. Не прошло и секунды, как он уже был на ногах и мчался по тому направлению, откуда доносился лай Джерри. Вдруг этот лай сменился визгом, очевидно получившей удар собаки, и Майкл еще быстрее помчался на выручку брата, через которого перескочил, так как тот, отброшенный ударом, катился по земле ему навстречу. Дело было в том, что репортерская лошадь споткнулась и неуклюжим движением ноги копытом наступила Джерри на его переднюю лапу и раздавила ее.

Обернувшийся всадник, увидав Майкла, вообразил, что это еще новая собака преследует его. Но собак он не боялся. Он боялся только людей, которые своими ружьями и другими огнестрельным оружием могли нанести ему смертельный удар. Но все его ноги были искусаны в кровь собаками, и потому сейчас он ненавидел и собак.

— Еще собака, — с злобной горечью подумал он и хлестнул Майкла прямо по морде.

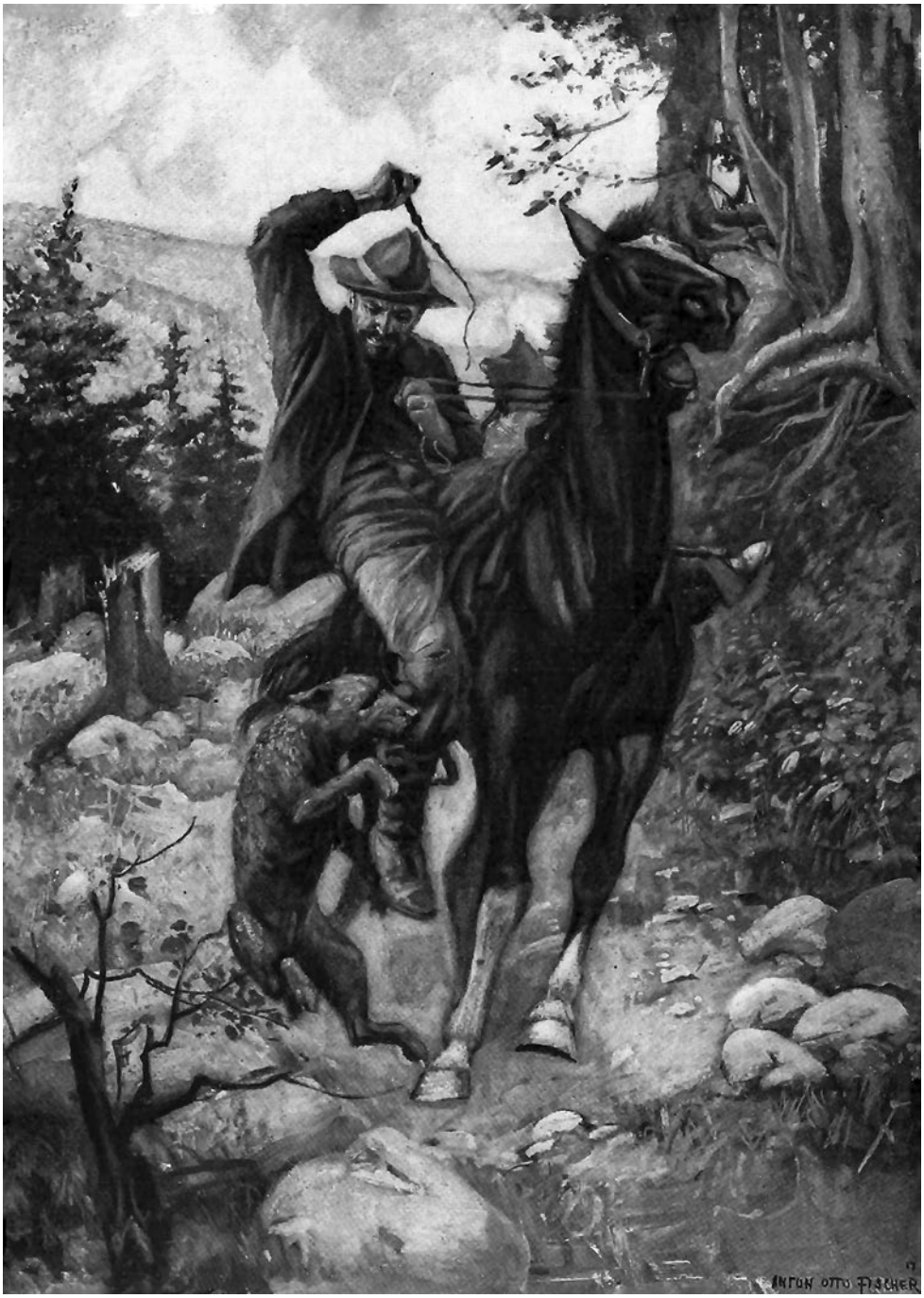
К его крайнему удивлению, собака и глазом не моргнула и не взвизгнула от боли. Она даже не залаяла и не зарычала. Она продолжала скакать за ним, как ни в чем не бывало, не обращая внимания на хлыст, которым он от нее отмахивался. В тот момент, как Майкл подпрыгнул, чтобы вцепиться ему в правую ногу, он ударил его хлыстом вертикально по морде, по прямой линии между глазами и носом. Отклоненный ударом Майкл не отставал и готовился сделать новый прыжок.

Однако человек заметил нечто, что поразило его еще больше. Собака не только не отскочила, уклоняясь от направленного на нее удара, она глазом не моргнула. Это уже было совсем странно и совершенно для него ново. Майкл снова прыгнул и опять не сморгнул от удара.

Тогда человека охватило совершенно новое чувство жуткого страха.

Неужели ему суждено погибнуть от этой собаки? Неужели этот терьер нанесет ему тот смертельный удар, которого не смогли пока еще нанести люди? Ему казалось теперь, что эта собака не настоящая собака. Может быть, это был какой-нибудь ужасный посланец из потустороннего мира, который должен был совершить над ним акт возмездия здесь на этой дороге, которая, он знал, должна быть дорогой его смерти.

Еще раза два ударил он так же по морде Майкла хлыстом и после того, что оба раза собака все так же принимала его удар, не сморгнув, он, отказавшись дальше сражаться с ней, стал отчаянно нахлестывать свою бессильную лошадь



Собака не только не отскочила, уклоняясь от направленного на нее удара, она глазом не моргнула.

и так пришпоривал ее своими каблуками, что она поскакала так, как не скакала уже многие годы. Но все же ход ее был не настолько быстрый, чтобы Майкл остался позади. И последний, правда, не так часто, но все же ухитрялся на бегу подпрыгивать, стараясь вцепиться в ногу всадника, отмахивавшегося от него хлыстом.

Нежданным свидетелем этой охоты собаки за человеком оказался Энрико Пикколомини, и это самое единственное в жизни его событие оказалось источником его обогащения и дало ему материал для рассказов, которого хватило на всю его жизнь. Энрико Пикколомини был дровосеком в усадьбе Кеннана. Стоя на пригорке над дорогой, он прежде всего услыхал стук копыт скачущей лошади и удары хлыста по ее ребрам. Затем он увидел скачущего человека и атакующую его на бегу собаку. В ту минуту, как всадник, лошадь и собака очутились на дороге под ним, на расстоянии двадцати от него футов, собака, подпрыгнув, запустила зубы в ногу всадника и весом своим чуть не стащила последнего с седла. Стремясь удержаться, всадник натянул уздечку так, что лошадь не то запнулась, не то споткнулась и окончательно выбила из седла всадника, который, на глазах Пикколомини, упал вслед за собакой на землю.

— И тут они оба, как животные, — рассказывал много лет спустя, за стаканчиком вина в своей собственной гостинице в «Глин-Эллене» Пикколомини, — они сцепились.

— Собака отпустила ногу человека и прыг ему к горлу. А человек перекатился через нее и хвать ее за горло обеими руками. Собака ни звука и не то, чтобы оттого, что горло ей сдавили, она просто никогда, ни прежде, ни после, никогда не лаяла и не лает, и не визжит. А лошадь стоит себе, как стояла, смотрит и кашляет. Очень все это мне странно так показалось. А тот, человек-то словно сумасшедший. Только сумасшедший и может такое сделать, что он сделал. Вдруг, вижу, оскалил он на собаку зубы, совсем как она, и, поверите ли, начал он ее кусать и в лапу, и в нос, и в спину. Он ее в нос, а она его тут же в щеку. И тут, скажу я вам, начался настоящий ад. Собака ноги вверх, как кошка, поднимала, пошло такое сражение, какое только в аду может быть. Собака бросалась на человека, как кошка, рубашку с него так и рвала когтями, словно кошка, грудь ему драла, а он рычал, как дикий горный лев, и лаял, как собака. И вижу я, что собака-то мистера Кеннана собака, а мистер Кеннан очень благородный человек, я у него два года проработал. Так вот это, как я увидал, что это его собака, так и подумал: «Не могу же я дать этому человеку, что сражается, как горный лев, растерзать собаку мистера Кеннана. Сбежал я тут с холма да на горе со спеху-то топор свой забыл прихватить. Бегу это я с холма, вот так, как от этой, значит, двери до той,— футов двадцать-тридцать расстояния, не больше, будет,— а собака-то уж совсем того,— язык висит, глаза в поволоке, а все задними своими лапами человека так и царапает, так и царапает, а тот все на нее, как горный лев, рычит. Что мне тут делать, ведь топора-то у меня нет. Убьет человек собаку, как пить дать, убьет. Смотрю, нет ли камня здорового поблизости,— на грех нет ни одного, ищу дубину,— и дубины нет. А человек

вот-вот собаку прикончит. Так как вы думаете, что я такое сделать надумал? Я, ведь, тоже не дурак. Я взял да хватил человека. Я в то время тяжелые сапоги носил, не такие легкие, дорогие, как сейчас. Так вот, я его этим-то тяжелым, гвоздями подбитым сапогом как хватил по шее, так он собаку из рук и выпустил. Смотрю, лежит он смирно, глаза закрыл и рот открыт; собака, видно, опять дышать начинает, отдышалась и снова на человека, вижу, броситься хочет и ему горло перегрызть. А я говорю: «Нельзя». А человек тем временем, вижу, оживает, открыл глаза и смотрит. на меня, как горный лев, и опять рычать начинает. И страшно мне... и человека боюсь и собаки боюсь, и что мне делать дальше — не знаю. Топор, ведь, забыл я прихватить. И знаете, что я сделал? Взял, да еще раз человека сапогом по шее ударил. Потом, значит, снял с себя пояс, платок носовой из кармана вытащил и связал ими человека. Сначала руки связал, потом и ноги связал, и все время собаку, значит, сдерживаю, что, значит, нельзя ей человека трогать. Она на меня смотрит и словно понимает, что я, значит, свой человек и видит, что врага-то ее я связываю. И меня она, значит, не трогает, а боялся я ее в ту минуту очень, потому собака эта, я вам скажу, была престрашная, ведь у меня же на глазах она человека с лошади чуть не стащила, да и какого еще человека, на него посмотреть, так он на горного льва похож был. Ну, тут уж люди подоспели. Они-то все вооруженные, у кого револьвер, у кого ружье, у кого пистолет. И сразу я-то и не разобрал, чего они на меня-то разозлились. Подумал было, за то, что человека я бил, да нет, арестовать меня не арестуют, а только ругательски ругают и сердятся за что-то. Тут слышу, что-то они насчет того, будто я их ограбил, трех тысяч долларов лишил. Я говорю: — Неправда это, никогда я ни у кого ни одного цента не украл, а они расхохотались, и я, значит, того, несколько в себя пришел и соображаю. Это они, значит, про те три тысячи долларов говорят, что обещаны были от казны, как премия, тому человеку, который убийцу поймает, и вот, значит, деньги-то эти теперь мне, потому как я его своим поясом и платком связал. Так и получил я три тысячи долларов за то, что сначала ударил человека по башке, а потом связал ему руки и ноги. И вот уж больше я на мистера Кеннана не работаю. Я сам теперь богатый человек. Получаю я от государства три тысячи долларов, и мистер Кеннан следит за тем, чтобы мне их аккуратно выдавали.

— Вот так-так, вся наша усадьба превратилась в больницу, — выходя на широкую веранду, где, вытянувшись, лежали Гарлей с ногой в лубке и Джерри с лапой в гипсе, сказала Вилла Кеннан. — Посмотрите на Майкла, — продолжала она, — по-видимому, кости поломаны не только у вас двоих.

И в самом деле, нос вошедшего вслед за ней на веранду Майкла распух и имел очень комичный вид, когда он подошел понюхаться носами с Джерри и помахать обрубком своего хвоста в виде приветствия Гарлею.

— Это его во время сражения этот малый, должно быть, так отделал. Пикколомини говорит, что он его бил хлыстом, а раз он подпрыгивал, то удары, несомненно, попадали ему по носу.

— И Пикколомини говорит, что он ни разу не взвизгнул и только упорно не отставал и продолжал прыгать, — сказала Вилла и восторженно прибавила: — Подумай только, Гарлей, такая маленькая собака, как Майкл, и стащила с лошади преступного убийцу, которого не могли поймать целые отряды вооруженных людей.

— Для нас с тобой он сделал нечто несравненно большее. Я глубоко уверен в том, что, если бы не Майкл, а также и Джерри, этот сумасшедший разбил бы мне череп, как он мне угрожал.

— Да хранит их судьба, наших славных собак, — с загоревшимися глазами воскликнула Вилла и нежно пожала мужу руку и, стараясь скрыть навернувшиеся на глаза ее слезы, прибавила: — еще не сказано последнее слово о тех чудесах, которые способны совершать собаки.

— Это последнее слово никогда не будет последним, — отвечая жене нежным пожатием руки сказал Гарлей.

СЫН СОЛНЦА

(Рассказы южных морей)

Перевод *М. Ковалевской* и *Е. Уткиной*

СЫН СОЛНЦА

I

«Уилли-Уо» стоял в проливе за внешним рифом; тихо рокотал ленивый прибой, а узкая защищенная полоса воды, шириной не более ста ярдов, считая от рифа до белого берега, усыпанного коралловым песком, была гладкой как зеркало.

«Уилли-Уо» стоял на самом мелком месте узкого пролива. Его якорная цепь растянулась футов на сто в длину и была видна сверху донизу над кораллами дна.

Точно исполинская змея вилась она в воде океана, оканчиваясь бесполезным якорем. Крупная треска, темная и пятнистая, осторожно проплывала между кораллами. Другие рыбы причудливых форм и окраски были дерзко равнодушны даже тогда, когда громадная акула лениво скользила мимо них и загоняла треску в ее любимые расщелины.

На носовой палубе двенадцать чернокожих неуклюже скребли перила из тикового дерева. Они возились с неловкостью обезьян. Они и вправду походили на обезьян крупной доисторической породы. Жалобно, по-обезьяньи моргали их глаза; лица их были даже более асимметричны, чем у четвероруких, и их голые тела, лишенные шерсти, казались более нагими, чем тела обезьян. Зато разукрашены они были, как никогда не снилось обезьянам. В их ушах виднелись короткие глиняные трубки, черепаховые кольца, деревянные палочки, заржавленные гвозди и пустые патроны от винтовок. Самые маленькие отверстия в ушах соответствовали калибру винчестерской винтовки; самые большие имели до дюйма в диаметре. В ином ухе было от трех до шести отверстий. Иглы и шпильки из полированной кости или окаменелых ракушек пронзали их носы. У одного на груди висела белая дверная ручка, у другого — осколок фарфоровой чашки, у третьего — колесико от будильника. Они забавно щебетали пискливыми голосами, а вся их суета едва ли равнялась работе одного белого человека.

На корме под тентом сидели двое белых. Они были одеты в шестипенсовые фуфайки, опоясанные шерстяными поясами. У каждого за поясом был револьвер и кисет с табаком. Пот выступил на их коже тысячами мелких капелек. Капельки сливались кое-где в маленькие ручейки и, падая на раскаленную палубу, моментально испарялись. Худощавый человек с черными глазами смахнул мокрыми пальцами со лба едкие струйки пота и отряхнул пальцы с ленивым ругательством. Устало и безнадежно смотрел он на море через внешний риф и на вершины пальм, росших на берегу.

— Восемь часов, а настоящее адское пекло начнется в полдень, — жаловался он. — Хоть бы какой-нибудь ветерок! Неужели мы никогда не выберемся отсюда?

Другой человек, стройный немец, лет двадцати пяти, с широким лбом ученого и выдающимся подбородком дегенерата, не побеспокоил себя ответом. Он сыпал порошок хинина в папиросную бумагу. Завернув гран пятьдесят в плотный комочек, он сунул лекарство в рот и проглотил, не запивая водой. Четверть часа продолжалось молчание.

— Если бы достать немножко виски! — проговорил первый.

Прошло еще около четверти часа, и немец ни с того ни с сего сказал:

— Меня грызет лихорадка. Я брошу вас, Гриффитс, как только мы придем в Сидней. Довольно мне тропиков! Нужно было мне побольше разузнать о них, когда я подписывал с вами контракт.

— Неважный вы штурман,— возразил Гриффитс, слишком распаренный зноем, чтобы говорить более резко.— Когда на Гувутском берегу узнали, что я беру вас, все подняли меня на смех. «Что? Вы берете Якобсена? — говорили они.— Вы от него не спрячете не только ни одной бутылки джина, но даже и серной кислоты... сейчас же унюхает». И вы, разумеется, прекрасно оправдали вашу репутацию: вот уже две недели, как у меня во рту не было ни капли,— все запасы иссякли.

— Если бы вас так же трепала лихорадка, как меня, вы бы поняли, — простонал помощник.

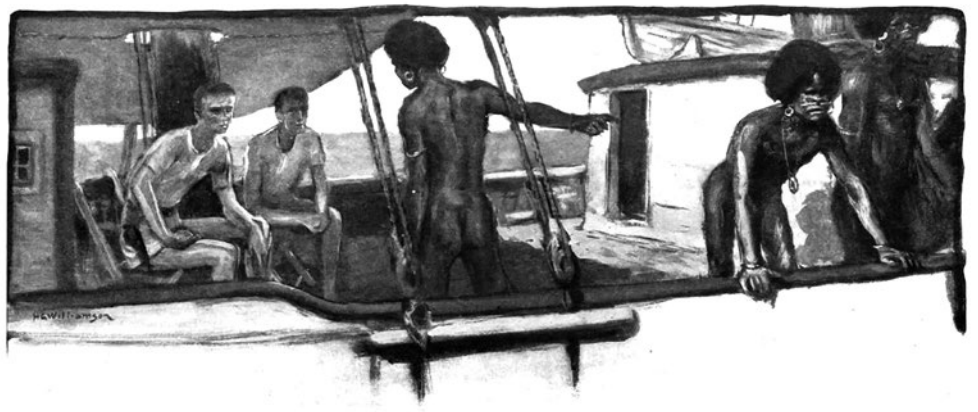
— Я не корю вас, — отвечал Гриффитс, — я только говорю: послал бы Бог выпить малость или ветерок бы, что ли, подул. Чувствую, завтра начнет меня озноб трясти.

Помощник предложил ему хины. Скатав пилюлю в пятьдесят гран, Гриффитс сунул ее в рот и проглотил, ничем не запивая.

— Господи, Господи! — стонал он. — Как я мечтаю о такой стране, где не знают хины. Проклятое изделие ада! На своем веку я проглотил ее целые тонны.

Опять он уставился в море, надеясь заметить хоть какие-нибудь признаки ветерка. Обычных пассатных облаков не было, и солнце, поднимаясь все выше, превращало небо в пламенеющую медь. Зной не только ощущался, но его можно было видеть, и напрасно вглядывался Гриффитс в береговую линию, ища облегчения. Белый раскаленный берег резал глаза острой болью.

В полной неподвижности стояли пальмы, вырисовываясь на блеклой зелени джунглей, как декорация, вырезанная из картона. Маленькие чернокожие маль-



— Белый хозяин с ребятами из Гума, — сказал чернокожий.

чики, совершенно голые, играли в этом ослепительном блеске песков и солнца, и Гриффитсу, страдающему от солнца, было оскорбительно и больно глядеть на них. Гриффитс испытал своего рода облегчение, когда один из мальчиков, разбежавшись, внезапно споткнулся, упал и пополз на четвереньках к теплой морской воде.

Восклицание среди чернокожих, работавших на палубе, заставило двух белых взглянуть в сторону моря. Длинный черный челнок выплывал из-за рифа.

— Гумские ребята из соседней бухты, — решил помощник.

Один из чернокожих прошел на корму, ступая по горячей палубе с непринужденностью, показывавшей, что его босые ноги не чувствовали ожогов. Это тоже оскорбило Гриффитса, и он закрыл глаза. В следующее мгновение он их, однако, широко открыл.

— Белый хозяин с ребятами из Гума, — сказал чернокожий.

Оба белых, встав, пристально глядели на челнок. На корме ясно виднелось сомбреро, принадлежавшее белому. На лице помощника мелькнула тревога.

— Это Гриф, — произнес он.

Гриффитс внимательно вгляделся и с раздражением выругался.

— Что ему тут надо? — спросил он у помощника, у сверкающих моря и неба, у немилосердно палящего солнца, у всей сверхнакаленной неумолимой вселенной, с которой сплелась его судьба.

Помощник захихикал:

— Я говорил вам, что вы не уйдете от этого.

Но Гриффитс не слушал.

— Со всеми своими деньгами он так и ходит кругом да около, точно сборщик податей, — продолжал Гриффитс в порыве злобы. — Он засыпан деньгами, он набит деньгами. Он чуть не лопается от денег. Вернейший факт, что он продал свои плантации в Иринге за триста тысяч фунтов. Сам Белл сказал мне это, когда в последний раз мы кутили в Гувуту. У него миллионы и миллионы,

а он как Шейлок пристает ко мне из-за ломаного гроша. Ведь вы мне это говорили, — набросился он на помощника. — Ну, что же, продолжайте, говорите! А что, собственно, вы мне сейчас хотели сказать?

— Я говорил вам, что вы его не знаете, если думаете, что можете удрать с Соломоновых островов, не заплатив ему. Гриф — дьявол, но в нем есть прямота и своя справедливость. Я знаю. Я говорил вам, что ради потехи он готов сорить тысячами, а из-за каких-нибудь шести пенсов будет драться, как акула из-за ржавой жестянки. Говорю вам, что я знаю его. Разве он не отдал «Балакулы» Квинслендской миссии, когда она потеряла «Вечернюю звезду» в Сан-Кристобале? А «Балакула» стоила три тысячи фунтов, а не два-три пенса. И не избил ли он Строзерса так, что тот две недели лежал в постели, за недостачу двух фунтов десяти шиллингов при расчете?

— Хоть бы я ослеп! — закричал Гриффитс в бессильной злобе.

Помощник продолжал свои разъяснения:

— Говорю вам, только такой же прямой человек, как он сам, смог бы стереть его в порошок, но на Соломоновых островах еще не было такого человека. А нам с вами не одолеть его. Мы чересчур прогнили — до самого нутра. У вас внизу более тысячи двухсот фунтов. Заплатите ему, и делу конец.

Но Гриффитс стиснул зубы и плотно сжал тонкие губы.

— Я одолею его, — пробормотал он, обращаясь скорее к самому себе или раскаленному медно-красному солнцу, чем к помощнику. Гриффитс отошел от перил и хотел сойти вниз, но снова вернулся. — Смотрите, Якобсен, он будет здесь через четверть часа. Вы за меня? На моей стороне?

— Конечно, я буду за вас. Я выпил весь ваш запас виски, не так ли? А что вы думаете делать?

— Если возможно, постараюсь обойтись без убийства, но платить не стану, — это факт.

Якобсен пожал плечами, спокойно покоряясь судьбе, а Гриффитс спустился в каюту.

II

Якобсен внимательно следил за шлюпкой, выплывавшей из-за низкого рифа и входившей в пролив. Гриффитс, со следами чернил на большом и указательном пальцах правой руки, вернулся на палубу. Через четверть часа шлюпка подплыла. Человек в сомбреро встал.

— Хэлло, Гриффитс! — сказал он. — Хэлло, Якобсен! — Придерживаясь правой рукой за поручни, он обернулся к своим чернокожим спутникам. — А вы, ребята, ждите меня в лодке.

Гриф перепрыгнул через перила на палубу с кошачьей легкостью, хотя весил он, видимо, немало. На нем почти не было одежды, как и на двух других белых. Дешевая майка и повязка вокруг бедер не скрывали его фигуру. При всей массивности его мускулатуры он не казался грузным. Мускулы были мягко-

Гриф перепрыгнул через перила на палубу с кошачьей легкостью, хотя весил он, видимо, немало.

округленные, и, когда он двигался, они плавно скользили под гладкой загорелой кожей. Знойное солнце сожгло его кожу, и она стала темной, как у испанца; светлые усы выглядели нелепо на его смуглом лице, а голубые глаза поражали, как неожиданность. Трудно было поверить, что кожа этого человека была когда-то белой.

— Откуда вас принесло? — спросил Гриффитс, когда они пожали друг другу руки. — Я думал, что вы в Санта-Крусе.

— Я уже побывал там, — ответил новоприбывший. — Переезд мы сделали быстро. «Уондер» находится теперь в бухте Гоома, дожидаясь попутного ветра. Бушмены сообщили мне, что здесь стоит судно, и я приехал взглянуть на него. Ну, как дела?

— Неважно! Навесы для копры почти пусты, а кокосовых орехов не собрали и шести тонн. Женщины бегут с работы из-за лихорадки, и мужчины не могут загнать их обратно в болота. Они все больны. Я бы предложил вам выпить, но мой штурман прикончил последнюю бутылку. Хоть бы послал бог ветерок!

Гриф беззаботно посмотрел на того и другого и рассмеялся.

— А я рад штилю,— сказал он.— Благодаря ему я мог застать вас здесь и повидаться с вами. Мой судовой приказчик откопал ваш маленький счет, и я захватил его с собой.

Штурман вежливо отошел в сторону, предоставив своему шкиперу выкручиваться из затруднения.

— Мне очень жаль, Гриф, чертовски жаль, — сказал Гриффитс, — но у меня нет денег. Повремените еще немного...

Гриф оперся на перила ведущего вниз трапа; он был, видимо, удивлен и огорчен.

— Как, однако, чертовски врут у нас на Соломоновых островах! Ни от кого не добьешься правды. Капитан Йенсен не лучше других. Я был убежден в его честности. А он пять дней назад сказал мне... Желаете знать, что он сказал мне?

Гриффитс облизал губы:

— Продолжайте!

— Он сказал мне, что вы все продали, со всем покончили и собираетесь отплыть на Новые Гебриды.

— Проклятый лгун! — с горячностью воскликнул Гриффитс.

Гриф кивнул головой:

— Я сказал бы то же самое. Он был настолько бессовестен, что уверял меня, будто он сам купил у вас две станции — Маури и Кахулу и заплатил вам тысячу семьсот золотых соверенов за всякий скарб, инвентарь, тару, товары и копру.

Глаза Гриффитса сузились, в них помимо его воли сверкнул огонек, и Гриф заметил это, рассеянно поглядывая на собеседника.

— И Парсонс, ваш агент в Хикимаве, говорил мне, что Фулкрумская компания купила у вас эту станцию. Зачем ему нужно было все это выдумывать?

Гриффитс, измученный солнцем и болезнью, не выдержал. Вся накипевшая в нем горечь отразилась на его лице, скривив его губы.

— Послушайте, Гриф! Зачем вы затеваете со мной эту игру? Вы все знаете. И я знаю, что вы знаете. Так будем говорить начистоту. Да, я продал все и уезжаю. Что вы сделаете с этим?

Гриф пожал плечами. Судя по его лицу, он ни на что не решался. Казалось, он находился в полнейшем недоумении.

— Здесь нет законов, — перечислял Гриффите свои выгоды. — До Тулаги от нас сто пятьдесят миль. У меня в исправности все нужные документы для таможни, и я нахожусь на своем собственном судне. Ничто не помешает мне отплыть. Вы не можете задержать меня из-за ничтожной суммы, которую я вам должен. И клянусь — вы не задержите меня. Намотайте это себе на ус!

Лицо Грифа выражало все большее и большее удивление.

— Вы хотите надуть меня на тысячу двести фунтов, Гриффитс?

— Вот именно, старина. И никакие сильные слова не помогут вам. Поднимается ветер. Лучше отправляйтесь восвояси, пока я стою на месте, или я потоплю ваш челнок.

— В самом деле, Гриффитс, вы говорите почти правильно. Я не могу задержать вас. — Гриф порылся в кошельке, висевшем на поясе для револьвера, и вытащил оттуда измятую бумагу — по-видимому, официальный документ. — Быть может, это остановит вас? Это придется уже вам намотать себе на ус.

— Что это такое?

— Адмиралтейский приказ. Вас не спасет бегство на Новые Гебриды. Приказ действителен повсеместно.

Гриффитс молча прочел документ. Нахмурив брови, он обдумывал новое положение. Затем внезапно поднял глаза, и лицо его прояснилось.

— Вы умнее, чем я думал, старина, — сказал он. — Вы меня связали по рукам и ногам. Мне следовало бы заранее знать, что вас не объедешь. Якобсен говорил мне, что у меня ничего не выйдет, но я не захотел его слушать. Он был прав; вы тоже правы. У меня есть внизу деньги. Пойдем и кончим дело.

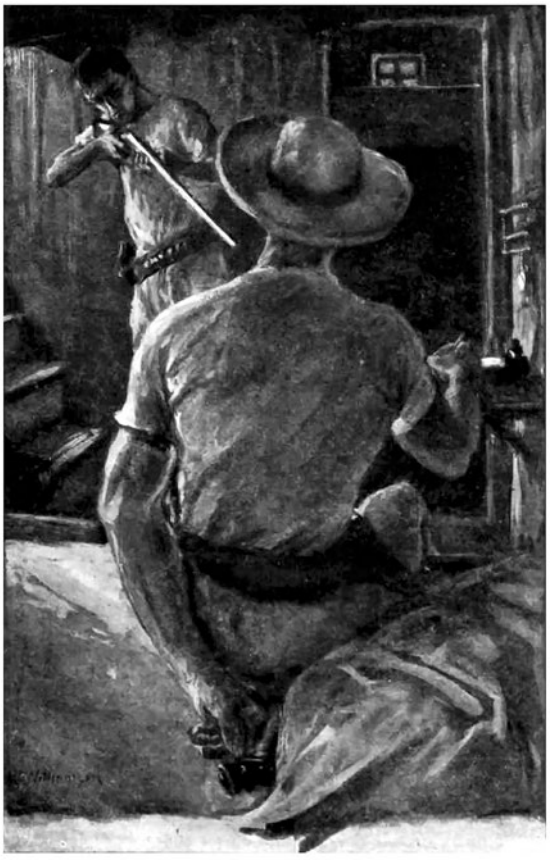
Он направился вниз, но потом отошел немного в сторону и пропустил вперед гостя. В то же время он взглянул на море, которое покрылось темною рябью от набежавшего ветра.

— Приготовьтесь, — сказал он помощнику. — Поднимайте паруса, скоро снимемся с якоря.

Когда Гриф сел на край койки помощника перед маленьким столиком, он случайно заметил слегка высунувшийся из-под подушки револьвер.

На столе, приделанном к перегородке, находились письменные принадлежности и потрепанный корабельный журнал.

— Ну и пусть меня уличают в мошенничестве, — сказал вызывающе Гриффитс. — Я слишком долго пробыл в тропиках. Я совершенно болен, я чертовски болен. Виски, солнце и лихорадка сделали меня даже и морально нездоровым. Теперь мне все нипочем; я понимаю негров, которые едят друг друга, снимают головы и делают тому подобные вещи. Я и сам готов сделать то же самое. И то, что я хотел проделать с вами, — по-моему, просто милая шутка. С удовольствием предложил бы вам выпить.



— Смирно, не двигаться, — скомандовал он.

Гриф не возражал. Гриффитс между тем отпирал большую кассу со сложным замком. С палубы доносились визгливые голоса, скрип и треск блоков: команда чернокожих поднимала грот. Гриф следил за большим тараканом, который полз по засаленной стене. Гриффитс яростно выругался и понес кассу к трапу, где было значительно светлее. Он стоял, наклонившись над кассой, спиной к своему гостю. Вдруг он схватил винтовку, прислоненную к лестнице, и в то же мгновение обернулся.

— Смирно, не двигаться, — скомандовал он.

Гриф улыбнулся, с недоумением поднял брови и повиновался. Его левая рука осталась на койке, правая лежала на столе. Револьвер его висел у правого бедра. Но он все время помнил о другом револьвере — под подушкой.

— Ух, — издевался Гриффитс, — вы загипнотизировали всех до единого на Соломоновых островах, но не меня, позвольте вам сказать! А теперь я хочу выставить вас с моего судна вместе с вашим адмиралтейским приказом, но перед этим вы должны сделать одну вещь. Поднимите-ка этот журнал.

Гриф с любопытством посмотрел на книгу, но не шевельнулся.

— Я вам говорю, что я больной человек, Гриф, и я так же легко могу пристрелить вас, как раздавить таракана. Поднимите этот журнал, говорю вам!

У Гриффитса был действительно больной вид; его худое лицо нервно подергивалось от плохо сдерживаемого бешенства. Гриф поднял книгу и отложил ее в сторону. Под книгой лежал исписанный листок бумаги.

— Прочтите! — скомандовал Гриффитс. — Прочите вслух!

Гриф послушался, но во время чтения он незаметно, чрезвычайно тихими и выдержанными движениями начал вытаскивать из-под подушки оружие.

— «На борту кеча «Уилли-Уо», остров Анна, Соломоновы острова, — читал он. — Сим удостоверяю, что я получил сполна всю сумму долга с Гарриссона Д. Гриффитса, который уплатил мне сегодня тысячу двести фунтов стерлингов».

— Когда я заполучу эту расписку, — усмехнулся Гриффитс, — ваш адмиралтейский приказ не будет стоить даже той бумаги, на которой он написан. Подписывайте!

— Это ни к чему не поведет, — заметил Гриф. — Документ, подписанный насильно, недействителен перед законом...

— В таком случае, почему вам не хочется подписать его?

— Пожалуйста! Но я избавлю вас от многих неприятностей, если не подпишу его.

Пальцы Грифа добрались до револьвера. Правая рука его играла ручкой пера, а левая медленно и незаметно подвигала к себе оружие. Наконец он взял револьвер всей рукой. Средний палец коснулся спуска, а указательный палец охватил дуло револьвера, но Гриф сомневался, посчастливится ли ему выстрелить как следует левой рукой.

— Не беспокойтесь обо мне, — насмехался Гриффитс. — И запомните, Якобсен обещал подтвердить, что я при нем уплатил вам. А теперь подписывайтесь тут вот, снизу — Дэвид Гриф, — и проставьте число.

С палубы слышался лязг блоков и шелест парусов. Сидя в каюте, они почувствовали, как «Уилли-Уо» накренился и снова выпрямился. Дэвид Гриф все еще колебался. С носовой части судна доносился шум от трения канатов переднего паруса о блоки. Судно вновь сильно накренилось, и сквозь стены каюты был слышен плеск воды.

— Пошевеливайтесь! — закричал Гриффите. — Якорь уже поднят.

Гриф решился действовать, когда дуло винтовки, на расстоянии четырех футов, оказалось направленным прямо на него.

При первых неравномерных толчках судна от ветра винтовка дрогнула в руках Гриффитса, старавшегося сохранить равновесие. Гриф, пользуясь качкой,

сделал вид, будто хочет подписать бумагу, и в то же время с ловкостью кошки пригнулся к стулу, потом прыгнул вперед и спустил курок в тот момент, когда выдернул свою левую руку из-под стола. Гриффитс тоже ни секунды не промедлил. Винтовка и револьвер выстрелили одновременно.

Гриф почувствовал, как пуля обожгла его плечо. Он знал, что промахнулся, и бросился на Гриффитса, прежде чем тот выстрелил вторично, обхватил его и прижал обе руки, еще державшие винтовку. Левой рукой Гриф держал револьвер, уткнув его в живот противника. Вне себя от бешенства и боли в плече, он хотел было спустить курок. Но волна гнева прошла, и он овладел собой. Через люк доносились негодующие крики гумских матросов.

Все произошло в течение нескольких секунд. Схватив Гриффитса, он стремительно бросился с ним вверх по ступенькам. Наверху ослепительный солнечный свет ударил в глаза. Чернокожий, посмеиваясь, стоял у рулевого колеса. «Уилли-Уо», подгоняемый ветром, летел вперед, вспенивая воду. Гумская шлюпка оставалась позади, будучи не в состоянии догнать шхуну. Гриф повернул голову. Помощник бросился к нему со средней палубы с револьвером в руке. В два прыжка, все еше держа в руках беспомощного Гриффитса, Гриф оказался у перил и бросился за борт.

Противники, вцепившись друг в друга, стали тонуть, но Гриф надавил коленями на грудь врага и отцепился от него. Он толкал его, стараясь погрузить поглубже в воду, напирал обеими ногами на его плечи, а затем стал выбираться на поверхность. Едва Гриф высунул голову на солнечный свет, как два всплеска воды, быстро последовавшие один за другим на расстоянии фута от его лица, убедили его в том, что Якобсен умеет владеть револьвером. Можно было надеяться, что третьего выстрела не последует, потому что Гриф, набрав в легкие как можно больше воздуха, нырнул.

Под водой он находился до тех пор, пока не увидел над собой своей шлюпки. Когда он вскарабкался в лодку, «Уилли-Уо», описав дугу, стал против ветра, чтобы повернуть назад.

— Наддавай, наддавай! — закричал Гриф своим матросам. — Правь к берегу, живо!

Без ложного стыда он бежал от врагов, спеша найти убежище на берегу.

«Уилли-Уо», вынужденный изменить направление, чтобы подобрать своего капитана, дал Грифу возможность уплыть. Шлюпка на полном ходу врезалась в отмель; все сидевшие в ней выскочили и бросились через песчаную косу к деревьям. Прежде чем они достигли рощи, выстрелы три раза взрывали позади них песок. Наконец спасение было обретено в зеленой чаще джунглей.

Гриф следил за «Уилли-Уо». Судно вышло из пролива, ослабило шкоты и направилось к югу, подгоняемое попутным ветром. Обогнув мыс и почти скрывшись, судно подняло верхний парус.

Один из гумских чернокожих, лет пятидесяти, с отвратительными застарелыми язвами и болячками от накожной болезни, посмотрел, ухмыляясь, в лицо Грифу.

— Честное слово, — сказал он, — этот шкипер что-то уж больно сердит на тебя.

Гриф засмеялся и направился по пескам к челноку.

III

Никто на Соломоновых островах не знал, сколько миллионов у Дэвида Грифа. Его владения и предприятия были рассеяны по всему югу Тихого океана.

Плантации Грифа простирались от Самоа до Новой Гвинеи, и даже к северу от экватора встречались его владения. У него были концессии по добыванию жемчуга в Паумоту. Он фактически возглавлял и немецкую компанию, работавшую на Маркизских островах, на тех из них, которые принадлежали Франции, хотя имя его официально там не упоминалось. Его фактории находились на всех группах островов. В его распоряжении было множество судов, занятых торговыми операциями. У него имелись островки, такие мелкие и отдаленные, что его самые мелкие шхуны и суденышки лишь раз в год приходили туда по делам к одиноко живущим агентам.

В Сиднее, на Каслри-стрит, его контора занимала три этажа. Но он редко бывал там. Он предпочитал скитаться где-нибудь на островах, изыскивал новые возможности, разбираясь в старых делах, переживая забавные и странные приключения. Он чуть не даром приобрел большой пароход «Гавонн», потерпевший крушение, почти невероятным образом спас его и нажил на этом деле четверть миллиона.

Он первый основал в Луизиадах плантации каучука, а на Бора-Бора он прекратил разработку южного хлопка и заставил веселых туземцев заняться насаждением какао. Это он захватил пустынный остров Лалло-Ка, населил его полинезийцами с Онтонг-Явы и на четырех тысячах акров насадил кокосовые пальмы. Он прекратил раздоры между племенами на Таити и начал добычу фосфатов на острове Хики-Ху.

Его собственные суда вербовали ему рабочих. Из Санта-Круса они привозили юношей на Новые Гебриды, с Новых Гебрид — на Банкские острова, а людоедов, охотящихся за черепами,— с острова Малаиты на плантации Новой Георгии. От Тонги до Гилбертовых островов и к отдельным Луизиадам странствовали, набирая людей, его вербовщики. Кили его кораблей резали воды океана во всех направлениях. У него было три парохода, делавших регулярные рейсы по островам, но он предпочитал более трудный и более примитивный способ передвижения с помощью ветра и парусов.

Гриф достиг по крайней мере сорока лет, но на вид ему казалось не больше тридцати.

Старожилы помнили, как он появился на островах лет двадцать назад, когда на его губах только пробивались белокурые шелковистые усы. В отличие от других белых в тропиках, он жил там потому, что ему это нравилось. Кожа Грифа оказалась чрезвычайно хорошо приспособленной к этому климату. Он

был рожден для солнца. На десять тысяч человек он один мог так переносить солнце. Его лучи не доставляли ему страданий. Кожа других белых не защищала их от солнца. Оно проникало внутрь, разрушая ткани и нервы, вызывая болезни души и тела. Белые дичали, превращались в животных, допивались до смерти или начинали так бесчинствовать, что приходилось посылать военную силу для их усмирения.

Но Дэвид Гриф был истинным сыном солнца. Он процветал под его лучами. С годами он становился все темнее, и цвет его загара отливал золотом полинезийца. Только глаза оставались по-прежнему голубыми и усы желтыми, а черты его лица не изменили тех характерных особенностей, которые столетиями живут в людях английской расы. По крови он был англичанином. Однако те, кто думал, что хорошо знают его, настаивали, что Гриф родился все же в Америке. В противоположность другим, он отправился в Южные моря не для того, чтобы разбогатеть. Он приехал сюда уже богатым.

Вначале Гриф появился на Паумоту. На маленькой яхте, полновластным ее хозяином прибыл этот юный искатель приключений к омытым солнцем тропикам. Его загнал сюда ураган, вздымавший исполинские волны. Они выбросили его, яхту и все, что было при нем, в гущу кокосовых деревьев, отстоявших на триста ярдов от линии прибоя. Шесть месяцев спустя его подобрал катер, искавший жемчуг. Но Гриф уже сжился с солнцем. В Таити, вместо того чтобы отправиться на пароходе домой, он купил шхуну, нагрузил ее разными товарами, взял с собой водолазов и отправился крейсировать по опасному архипелагу.

Покрывая его лицо золотым загаром, солнце стало стекать с концов его пальцев жидким золотом. Все, к чему он прикасался, превращалось в золото. Но он вел игру не ради драгоценного металла, а ради самой игры. Это была мужественная игра. Ему приходилось наталкиваться на грубость и жестокость людей одной с ним крови и на жестокость всяких других выходцев из Европы и всего остального мира. Прекрасная игра. Но выше всего была для него любовь к тому, что наполняет жизнь скитальца по Южным морям,— аромат рифов, бесконечная изысканность растущих кораллов в зеркальной ясности лагун; изумительные солнечные восходы, горящие яркими красками в необъятных сочетаниях; поросшие пальмами островки среди лазурных глубин; бодрящее вино пассатов; тяжелое и равномерное колыхание моря; движущаяся под ногами палуба и распростертые над головой паруса; увитые гирляндами цветов, отливающие золотистым блеском юноши и девушки Полинезии, полудети-полубоги, и даже завывающие дикари из Меланезии, охотники за черепами, людоеды, звероподобные полудемоны.

И вот это излюбленное дитя солнца, этот переполненный энергией и радостью жизни человек, этот обладатель миллионов прервал свое дальнее плавание, чтобы посчитаться с Гаррисоном Д. Гриффитсом из-за ничтожной суммы. Это было его прихотью, его капризом, выявлением самого себя и солнечного зноя, лившегося через него. Это была забава, шутка, задача, маленькая игра, в которой он шутя рисковал жизнью, отдаваясь наслаждению игры.

IV

Ранним утром «Уондер» находился у берегов Гвадалканара. Он лениво двигался по воде; замиравший ветерок дул с берега. Тяжелые облака на западе обещали возобновление юго-западных пассатов, сопровождаемых сильными порывами ветра и ливнями. Небольшое, едва заметное судно держало тот же курс, что и «Уондер». Это не был «Уилли-Уо». Капитан Уорд с «Уондера» посмотрел в бинокль и сообщил, что это «Каури».

Гриф, стоявший на палубе, вздохнул и с сожалением заметил:

— Жаль, что не «Уилли-Уо»!

— Вы не выносите, чтобы вас побеждали, — сочувственно сказал судовой приказчик Дэнби.

— Конечно! — Гриф помолчал и засмеялся с неподдельной веселостью. — Гриффитс — мошенник. Он вчера поступил со мной преподлым образом. «Подписывайтесь, — сказал он. — Подписывайтесь полностью внизу и проставьте число». А Якобсен, крысенок, был на его стороне. Сущие пираты! Вернулись времена Булли-Хейса.

— Если бы вы не были моим хозяином, мистер Гриф, я бы вам кое-что посоветовал, — сказал капитан Уорд.

— Выкладывайте, — ободрил его Гриф.

— Хорошо. Так вот... — Капитан замялся, прочищая кашлем горло. — Имея ваши деньги, только сумасшедший рискнул бы связываться с этими двумя негодяями. Для чего вам это нужно?

— Говоря по совести, и сам не знаю. Просто оттого, что так хочется. А разве вы можете мне указать какое-нибудь лучшее объяснение ваших поступков?

— В один прекрасный день вам непременно прострелят вашу буйную голову, — проворчал капитан Уорд в ответ. Он подошел к нактоузу и начал определять по компасу положение вершины, выплывавшей из-под облаков, покрывавших Гвадалканар.

Ветер с суши усилился. «Уондер» быстро понесся по волнам, догнал «Каури» и начал обходить его. С обеих шхун раздались приветствия.

— Не знаете ли вы, где находится «Уилли-Уо»?

Капитан в широкополой шляпе и с босыми ногами затянул покрепче пояс и сплюнул за борт табачную жвачку.

— Знаю, — ответил он. — Прошлой ночью Гриффитс находился в Саво, он забрал свиней, ямс и пресную воду. По-видимому, он собирается в дальнее плавание. А что, вы хотели его видеть?

— Да. Но если вы его увидите раньше меня, не говорите ему обо мне ничего.

Капитан утвердительно кивнул, соображая. Он зашагал по палубе к носу своего судна, держась поближе к обгоняющей шхуне.

— Слушайте! — крикнул он. — Якобсен говорил мне, что они будут сегодня к вечеру в Габере, останутся там на ночь и заберут бермудский картофель.

— Из всех Соломоновых островов только в Габере имеются сигнальные огни, — сказал Гриф, когда его шхуна далеко опередила другое судно. — Это действительно так, капитан Уорд?

Капитан утвердительно кивнул головой.

— А маленькая бухта у мыса не годится для стоянки?

— Негде бросить якорь. Всюду коралловые рифы, отмели и опасный прибой. Три года назад в этом месте разбилась вдребезги «Молли».

Гриф уставился на капитана потускневшими глазами и смотрел так с минуту; казалось, он прислушивается к чему-то внутри себя. Затем глаза его прищурились, а концы желтых усов приподнялись в улыбке.

— Мы бросим якорь в Габере. Вы на ходу спустите меня в вельботе. Дайте мне шестерых людей с ружьями. Я вернусь до рассвета.

Лицо капитана выразило подозрение, а затем упрек.

— О, просто маленькие шутки, капитан, — продолжал Гриф с видом школьника, уличенного старшим в шалости.

Капитан Уорд что-то проворчал, но Дэнби оживился.

— Мне хотелось бы присоединиться к вам, мистер Гриф, — произнес он.

Гриф кивнул в знак согласия.

— Принесите несколько топоров и садовых ножей, — сказал он. — И захватите два-три фонаря. Взгляните, есть ли в них масло...

V

За час до захода солнца «Уондер» подошел к маленькой бухте. Ветер свежел, и море начало волноваться. Рифы, поднимавшиеся около берега, покрылись белой пеной. Дальних рифов уже нельзя было разглядеть, только вода около них была более бледной. Шхуна встала против ветра, и с нее спустили вельбот. В него сошли шестеро негров, вооруженных винтовками. Дэнби, несший фонари, прыгнул на корму вельбота. Гриф задержался у перил.

— Молите Бога, чтобы ночь была потемнее, шкипер! — проговорил он.

— Так и будет, — ответил Уорд. — Луны нет, небо в тучах. Ночью надо ждать дождя и сильного ветра.

Свет от фонаря упал на лицо Грифа, и золотистый цвет его загара стал еще заметнее. Он соскочил в лодку и сел рядом с Дэнби.

— Отчаливай! — приказал капитан Уорд. — Поднимай паруса! Поворачивай руль! Так! Готово! Держи этот курс!

«Уондер» поставил паруса и, обогнув мыс, понесся к Габере, в то время как шестивесельный вельбот, управляемый Грифом, направился к берегу. Гриф с большой ловкостью провел его через узкий извилистый пролив, куда не могли пробраться более крупные суда. Наконец отмели и островки остались позади, и вельбот вошел в спокойные прибрежные воды.

Весь последующий час был посвящен работе. Гриф отмечал деревья, бродя между дикими кокосовыми пальмами и в зарослях джунглей.

— Рубите вот это дерево, а потом это, — говорил он своим чернокожим. — А этого дерева не трогайте, — прибавил он.

Наконец среди джунглей было очищено местечко в форме клина. Около берега осталась высокая пальма; у вершины клина другая. Стемнело. Зажгли фонари, которые укрепили на этих двух деревьях.

— Фонарь на крайнем дереве висит слишком высоко, — сказал Гриф, критически разглядывая свою работу. — Спустите его, Дэнби, на десять футов ниже.

VI

«Уилли-Уо» стремительно мчался по волнам, точно собака, убегающая с костью в зубах.

Порывы стихавшего шторма были еще довольно сильны. Чернокожие поднимали большой грот, который был спущен во время бури, когда ветер бушевал с особенной яростью. Якобсен, отдав приказание, прошел на подветренную сторону носовой части судна, где находился Гриффитс. Они всматривались в непроницаемую тьму, сквозь которую мчалось судно, их уши улавливали плеск прибоя о невидимый берег. Этот звук указывал им направление.

Ветер слабел; пелена облаков редела, кое-где разрывалась. При слабом мерцании звезд едва намечался поросший джунглями берег. Впереди показался остроконечный утес.

— Это мыс Эмбой, — объявил Гриффитс, — здесь достаточно глубоко. Беритесь за руль, Якобсен, пока мы наметим курс. Ну, скорей.

Босой, с голыми бедрами, едва прикрытый незатейливой одеждой, с которой стекала дождевая вода, помощник сменил у руля негра.

— Какое направление? — крикнул Гриффитс.

— Юго-запад!

— Держите на юго-запад-запад. Готово?

— Готово!

Гриффитс соображал, как изменилось положение мыса Эмбой после изменения курса.

— Еще на полрумба на запад!

— Еще на полрумба на запад, — последовал ответ.

— Держите так!

— Держу так! — Якобсен отдал руль чернокожему. — Правь хорошо, понял? — предупредил он его. — Нехорошо — твой проклятый башка чик-чик.

Он опять отправился на нос и присоединился к Гриффитсу. Тучи снова сгустились, звезды исчезли; налетал новый шквал.

— Смотри за гротом! — закричал Гриффитс в ухо помощнику, наблюдая в то же время за ходом судна.

Оно неслось, накренившись подветренным бортом к воде, в то время как Гриффитс вычислял направление и силу ветра. Теплая морская вода, в которой по временам зажигались фосфорические искры, достигала брызгами его икр

и коленей. Ветер завыл в более высоких тонах, корпус судна заскрипел ему в ответ. «Уилли-Уо» мчался, то поднимаясь, то опускаясь на волнах.

— Долой грот! — закричал Гриффитс, быстро прыгая к снастям.

Он оттолкнул чернокожего и сам принялся за работу. Якобсен работал рядом, помогая капитану. Громадный парус упал, и чернокожие с криком и визгом кинулись к хлопающему полотну. Помощник увидел, что один из чернокожих спрятался в темноте, и ударом кулака по лицу заставил его приняться за работу.

Шторм свирепствовал. «Уилли-Уо» не замедлял хода несмотря на то, что шел под малыми парусами. И опять капитан и помощник стояли и тщетно всматривались в непроницаемую пелену дождя.

— Все в порядке, — сказал Гриффитс. — Дождь когда-нибудь кончится. Мы можем держать наш курс, пока не увидим огней. Якорь здесь опускается на тринадцать фатомов, но в такую ночь лучше пустить цепь длиною в сорок пять. Уберите грот. Он нам больше не нужен.

Через полчаса его утомившиеся глаза заметили два огонька.

— Вот они, Якобсен. Я пойду к рулю. Следите за парусами, и пусть негры поторапливаются.

На корме Гриффитс, стоявший у руля, продолжал держать тот же курс, пока огоньки не оказались на одной линии. Тогда он резко изменил курс и направился прямо на огни. Он слышал рев прибоя, но решил, что шум доносится из Габеры.

Раздался испуганный крик помощника, и Гриффитс изо всей силы старался повернуть руль, но «Уилли-Уо» уже на что-то налетел. В ту же самую минуту грот-мачта свалилась на нос. В продолжение пяти минут на судне царило дикое смятение: все старались за что-нибудь уцепиться, судно терлось о коралловые рифы, кроша их собой; теплая морская вода окатывала палубу. Однако судно сползло с отмели и вошло в сравнительно спокойный пролив.

Гриффитс сидел, опустив голову на грудь. В нем кипели безмолвное бешенство и горечь. Еще раз поднял он голову, чтобы взглянуть на два огонька, горевших один над другим на одной линии.

— Вот они огни! — сказал он. — Но это не Габера. Кой же черт это, если так?

Хотя прибой еще ревел и через отмели неслись на судно пена и брызги, ветер стихал, и на небе показались звезды. Со стороны берега послышался плеск весел.

— Что у вас случилось? Землетрясение? — закричал Гриффитс. — Дно совершенно изменилось. Я сто раз приставал здесь, и глубина была тринадцать фатомов. Это вы, Уилсон?

Показался вельбот, из него кто-то вылез и взобрался на борт. При слабом свете Гриффитс увидел направленное ему прямо в лицо дуло кольта. Присмотревшись, он узнал Дэвида Грифа.

— Нет, вы здесь раньше никогда не приставали, — смеялся Гриф. — Габера не тут, она за мысом, где я буду, как только получу свою небольшую сумму —

тысячу двести фунтов; о расписке нам нечего заботиться. Ваша квитанция при мне, я просто верну ее вам.

— Это вы все наделали! — закричал Гриффитс, вскочив в бешенстве. — Это вы, вы устроили здесь сигнальные огни! Вы погубили мое судно!

— Осторожнее, осторожнее, — сказал Гриф холодным и угрожающим голосом. — Я немного побеспокоил вас из-за этих тысячи двухсот фунтов! Пожалуйста!

Гриффитс почувствовал себя совершенно ослабевшим. На него нашло глубочайшее отвращение — отвращение к этим солнечным странам с их солнечными болезнями, ко всем своим тщетным предприятиям, к этому голубоглазому человеку с золотистым загаром — человеку необычайной силы, разбившему все его замыслы.

— Якобсен,— сказал он,— пожалуйста, откройте мой денежный ящик и уплатите этому... этому кровопийце тысячу двести фунтов.

ГОРДОСТЬ АЛОИЗИЯ ПЕНКБЕРНА

I

Дэвид Гриф обладал большим чутьем ко всему, где пахло приключением. Он всегда был готов к тому, что из-за ближайшей кокосовой пальмы предстанет перед ним что-нибудь неожиданное. Тем не менее при взгляде на Алоизия Пенкберна он не ощутил никакого предчувствия. Встретились они на маленьком пароходе «Берта». Предоставив своей шхуне идти за ним вслед, Гриф решил совершить на «Берте» короткий переезд от Райатеи до Папеэте. В первый раз он увидел Алоизия Пенкберна, когда этот джентльмен, уже несколько навеселе, молча сидел за коктейлем в крошечном буфетике, находившемся около парикмахерской. И когда полчаса спустя Гриф вышел из парикмахерской, Алоизий Пенкберн все еще торчал в буфете и все еще пил.

Нехорошо человеку пить в одиночестве, и Гриф быстро, но внимательно оглядел Пенкберна. Он увидел молодого человека лет тридцати, хорошо сложенного, с правильными чертами лица, чисто одетого, — словом, «джентльмена», применяя общепринятое определение. Но по некоторым черточкам неряшества, по дрожанию руки, когда он наливал рюмку, по нервному миганию глаз Гриф прочитал в нем несомненные признаки хронического алкоголизма.

После обеда Гриф снова встретился с Пенкберном, на этот раз на палубе. Молодой человек, цепляясь за перила и заливаясь пьяными слезами, смотрел на смутные очертания мужчины и женщины, разместившихся на двух тесно сдвинутых палубных креслах. Гриф заметил, что мужчина охватил рукой стан женщины. Алоизий Пенкберн смотрел на них и плакал.

— Не стоит горевать об этом, — сказал сочувственно Гриф.

Пенкберн взглянул на него и залился горькими слезами из глубокой жалости к самому себе.

— Это тяжко, — рыдал он. — Тяжко, тяжко! Этот человек мой управляющий. Я его нанимаю. Я плачу ему хорошее жалованье. И вот как он его зарабатывает.

— Если так, то отчего же вы не прекратите это?

— Не могу. Она отнимет у меня виски, ведь она сиделка при мне.

— Прогоните ее и пейте, сколько влезет.

— Не могу. У него все мои деньги. Если я это сделаю, он мне не даст и шести пенсов на виски.

Возможность такого несчастья вызвала новые потоки слез. Гриф был заинтересован. Вот так положение! Ничего похожего на это ему даже никогда и в голову не приходило.

— Они наняты, чтобы заботиться обо мне, — продолжал безудержно рыдать Пенкберн, — предохранять меня от пьянства. И что же они делают? Заткнули всем рты и предоставили мне напиваться хоть до смерти. Это неправильно. Говорю вам, неправильно! Их как раз для того и послали со мной, чтобы не давать мне пить, а они предоставляют мне напиваться как свинье, лишь бы я оставил их в покое. А если я жалуюсь, они угрожают не давать мне больше ни капли. Что я могу сделать, черт меня побери? Пусть моя смерть падет на их головы, вот и все. Пойдемте-ка вниз со мной — выпьем.

Он отнял свои руки от перил и сейчас же упал бы, если бы Гриф не поддержал его. Внезапно он преобразился, как-то окреп, его подбородок воинственно выдвинулся вперед, и суровые огоньки засверкали в глазах.

— Я не позволю себя уморить. И они спохватятся. Я им предлагал пятьдесят тысяч — разумеется, не сейчас, а со временем. Они смеялись. Они не знают. Но я-то знаю кое-что! — Он что-то нащупал в кармане своего пиджака и вытащил какой-то предмет, который блеснул в полумраке. — Они не знают, что это за штука. Но я-то знаю! — Он посмотрел на Грифа с внезапной подозрительностью. — Ну что же, поняли вы что-нибудь из моих слов? Я спрашиваю вас: поняли?

Перед Дэвидом Грифом на мгновение предстала картина: дегенерат-алкоголик медным костылем приканчивает жизнь двух молодых влюбленных, так как он держал в руках медный костыль, корабельный крюк старомодного образца.

— Моя мать думает, что я отправился сюда лечиться от пьянства. Она ничего не знает. Я подкупил доктора, чтобы он предписал мне путешествие. Как только мы приедем в Папеэте, мой управляющий зафрахтует шхуну и мы отправимся. Но они не представляют себе в чем дело. Они думают, что я пьяница. А я знаю. Я один знаю. Покойной ночи, сэр. Я отправляюсь спать, если только... может быть... вы не присоединитесь ко мне выпить на сон грядущий. Знаете, последний глоток!..

II

В продолжение следующей недели у Грифа в Папеэте было несколько странных встреч с Алоизием Пенкберном. Впрочем, встречал его не только Гриф,— все население маленькой столицы острова было взволновано поведением пьяницы. За все эти годы ни набережная, ни гостиница Лавинии никогда

не были так скандализованы. Как-то раз в полдень Алоизий Пенкберн пробежал по главной улице с непокрытой головой, раздетый, в одних купальных трусиках, от гостиницы до самого моря. Он предложил кочегару с «Берты» помериться силой в боксе. Согласились на четыре тура бокса, но уже на втором туре Алоизий лежал на земле. Он, словно сумасшедший, старался утопиться в луже глубиной в два фута. Спьяну он очень удачно прыгнул в воду с пятидесятифутовой мачты «Марипозы» и зафрахтовал катер «Торо» за сумму, превышавшую всю его стоимость. Пенкберна выручил управляющий, отказавшись утвердить сделку и уплатить деньги. Затем Пенкберн купил у прокаженного слепца на рынке плоды хлебного дерева, смокву и бермудский картофель и стал продавать их по такой низкой цене, что пришлось позвать жандармов, чтобы разогнать туземцев, сбежавшихся на дешевую распродажу. По этим причинам жандармы три раза арестовывали Пенкберна за нарушение общественного спокойствия, и три раза его управляющий отрывался на некоторое время от своей любовной идиллии, чтобы уплатить штрафы, налагаемые бедствующей колониальной администрацией.

После этого «Марипоза» отплыла в Сан-Франциско; в парадных ее апартаментах находились новобрачные — управляющий и приставленная к Алоизию сиделка. Перед отъездом управляющий позаботился передать Алоизию восемь пятифранковых билетов. Неизбежным следствием этого оказалось то, что через несколько дней Алоизий был весь разбит и находился в состоянии, близком к белой горячке. Лавиния, известная своим добрым сердцем даже среди отъявленных мошенников и негодяев южных областей Тихого океана, приняла его на свое попечение и выходила его. Когда он начал приходить в себя, она позаботилась, чтобы у него не возникало и мысли о том, что при нем нет ни управляющего, ни денег на отъезд и на уплату за стол и квартиру.

Однажды вечером, несколько дней спустя после этого происшествия, Дэвид Гриф лежал под навесом задней палубы «Киттиуэка» и лениво просматривал тощие столбцы «Папеэтской газеты»; внезапно он приподнялся и готов был протереть себе глаза. Это было совершенно невероятно, и все-таки это было действительностью. Старая романтика Южных морей еще не умерла. Он прочитал:

«Желают — взамен половины спрятанных ценностей на сумму в пять миллионов франков обеспечить себе проезд на один из неизвестных островов Тихого океана, а также обратный переезд с кладом. Спросить Фолли[1] в гостинице Лавинии».

Гриф взглянул на часы. Было еще рано — только восемь часов.

— Мистер Карлсен, — крикнул он в ту сторону, где светился огонек трубки. — Снарядите вельбот. Я отправляюсь на берег.

На носу раздался хриплый голос помощника-норвежца; полдюжины стройных парней с острова Рапа прекратили пение и спустили вельбот.

---

[1] Фолли *(англ.)* — безумие, сумасбродство.

— Мне нужно видеть Фолли... мистера Фолли, полагаю, — заявил Дэвид Гриф Лавинии.

Лавиния повернула голову и крикнула на местном наречии в видневшуюся через две комнаты кухню какое-то приказание.

Гриф заметил по глазам Лавинии, что она заинтересована. Через несколько минут медленно подошла туземная босоногая девочка и покачала головой.

Разочарование Лавинии было очевидно.

— Вы находитесь на «Киттиуэке», не правда ли? — спросила она.— Я скажу ему, что его спрашивали.

— Так это мужчина? — спросил Гриф.

Лавиния кивнула.

— Я надеюсь, что вы что-нибудь устроите для него, капитан Гриф. Я всегда готова помочь, но ведь я простая женщина. Он кажется порядочным человеком, — может быть, он говорит и правду. Я в этом ничего не понимаю. Ну да вы это разберете. Вы — это не то, что я, дура с чувствительным сердцем. Приготовить вам коктейль?

III

Вернувшись на свою шхуну, Дэвид Гриф дремал в кресле на палубе над журналом, вышедшим три месяца назад. Он проснулся, так как откуда-то снизу слышались шум и барахтанье. Он открыл глаза. На чилийском крейсере, стоявшем за четверть мили от шхуны, пробило восемь склянок. Это означало полночь. За бортом снова послышались всплески и шум от барахтанья. Грифу казалось, что это не то амфибия, не то человек, жалующийся на свои горести себе самому, а может быть, и всему миру.

С большим трудом он вытащил на палубу голого Алоизия Пенкберна.

Одним прыжком Дэвид Гриф очутился у низких перил. В том месте, откуда исходили жалобные звуки, поверхность волновалась и фосфоресцировала. Нагнувшись, он схватил под мышки какого-то человека. С большим трудом он вытащил на палубу голого Алоизия Пенкберна.

— У меня не было ни гроша... Я отправился вплавь и не мог най-

ти вашего трапа... Очень несчастливо... Извините. Если дадите какую-нибудь тряпку опоясаться и глоток чего-нибудь покрепче, я приду в себя. Я мистер Фолли, а вы, я полагаю, капитан Гриф. Это вы заходили, когда меня не было дома? Нет, я не пьян и не озяб. Я дрожу не от холода... Лавиния дала мне всего-навсего за целый день два стаканчика. Но я дошел до предела — вот и все, сплошной ужас,— и когда я не мог найти вашего трапа... мне начала мерещиться всякая нечисть... Я буду вам чрезвычайно благодарен, если вы отведете меня в каюту. Только вы один и откликнулись на мое объявление...

Несмотря на теплую ночь, Пенкберн непрерывно дрожал. Внизу Гриф, прежде чем прикрыть его тело, поторопился дать ему полстакана виски.

— Ну, теперь выпаливайте! — сказал Гриф, когда его гость был облачен в рубашку и полотняные штаны. — Что значит ваше объявление? Я слушаю.

Пенкберн посмотрел в сторону бутылки, но Гриф покачал головой.

— Правильно, капитан, хотя, уверяю вас всем тем, что осталось от моей чести, что я не пьян... ничуточки. И поверьте, все, что я расскажу вам,— сущая правда. Я расскажу вам все кратко, так как я вижу, что вы человек деловой и энергичный. И мозг ваш, надо полагать, в порядке. Алкоголь в вашем теле не превращается в миллион червей, грызущих каждую клеточку... Вы никогда не были в аду... Я в нем сейчас... Я весь в огне... Теперь слушайте.

У меня есть мать... Она англичанка. Родился я в Австралии. Получил образование в Нью-Йорке и Йельском университете. Я бакалавр искусств, доктор философии и... ни на что не годен. Кроме того, я алкоголик. Я был атлетом. В свое время я проплывал под водой сто десять футов. Я побил немало любительских рекордов. Я плавал как рыба. Я проплывал без перерыва тридцать миль по бурному морю. Но у меня есть и другой рекорд. Я истребил виски больше, чем кто-либо из людей моих лет. Я готов украсть у вас шесть пенсов на виски. И все-таки я расскажу вам истинную правду.

Мой отец — американец из Аннаполиса. Во время междоусобной войны он был мичманом. В шестьдесят шестом году лейтенантом на «Сювани» у капитана Поля Ширли. В шестьдесят шестом году «Сювани» грузила уголь на одном из островов Тихого океана. Как он назывался, я пока не скажу. В те времена остров еще не находился под протекторатом,— чьим протекторатом, я тоже пока не скажу. На берегу за стойкой трактира мой отец увидел три медных костыля — три корабельных костыля.

Дэвид Гриф спокойно улыбнулся.

— Ну, а теперь я могу сказать вам название угольной станции и чей протекторат был установлен там впоследствии, — сказал он.

— И о трех костылях тоже скажете? — спросил Пенкберн с таким же спокойствием. — Говорите дальше, так как костыли теперь у меня.

— Ну, конечно. Они находились в Пеено-Пеенее, за стойкой у немца Оскара. Их принес туда Джонни Блэк со своей шхуны как раз в ту самую ночь, как он умер. Блэк только что вернулся из долгого плавания, —- он был на Западе, торговал сандалом. Все побережье знает эту историю...

Пенкберн покачал головой.

— Продолжайте, — сказал он.

— Это случилось, понятно, еще до меня, — пояснил Гриф. — Я только передаю то, что слышал. Вскоре пришел эквадорский крейсер, тоже с Запада, направляясь домой. Его офицеры признали костыли. Джонни Блэк был уже мертв. Они захватили его помощника и корабельный журнал. Крейсер отправился обратно на Запад. Шесть месяцев спустя, направляясь домой, крейсер появился в Пеено-Пеенее. Он потерпел неудачу, а история о кладе получила огласку.

— Когда революционеры наступали на Гваяквиль, — подхватил Пенкберн, — офицеры Федерации, решив, что защищать город безнадежно, захватили всю государственную казну, что-то около миллиона долларов английскими монетами, и поместили деньги на американскую шхуну «Флерт». Они собирались отплыть на рассвете. Но капитан-американец отчалил в полночь. Продолжайте!

— Это старая история! — заметил Гриф. — В гавани не было других судов. Вождям Федерации не удалось бежать. Им пришлось защищать город. Рахас Сальсед явился из Кито форсированным маршем и снял осаду. Революция была разбита, и в погоню за «Флертом» отправили старый пароход, составлявший весь государственный флот Эквадора. Он захватил «Флерт» между группой Банкских островов и Новыми Гебридами. «Флерт» лежал в дрейфе и вывесил сигнал о бедствии. Капитан накануне скончался от гнилостной лихорадки.

— А помощник? — вызывающе спросил Пенкберн.

— Помощника за неделю до того убили туземцы на одном из Банкских островов, куда послали шлюпку за пресной водой. Не осталось никого, кто мог бы управлять судном. К матросам применили пытку. Международное право здесь не имело значения. Они готовы были признаться, но ничего не знали. Они рассказали про три костыля на деревьях побережья, но на каком острове это было — не могли сказать. Где-то на Западе, далеко на Западе — вот все, что они знали. Дальше эта история рассказывается в двух вариантах. По первому варианту — они умерли во время пыток. По другому варианту — они были повешены на реях. Как бы то ни было, эквадорский крейсер пришел домой без клада. Джонни Блэк привез три костыля в Пеено-Пеенее и оставил их немцу Оскару, но как и где он их нашел, он никогда не рассказывал.

Пенкберн упорно смотрел на бутылку с виски.

— Хоть бы два глотка! — простонал он.

Поразмыслив, Гриф налил немного. Глаза Пенкберна заблестели, он снова ожил.

— Ну, а теперь я дополню ваш рассказ, — сказал он. — Джонни Блэк все-таки проговорился. Он рассказал моему отцу. Написал ему из Левуки, прежде чем вернулся умереть в Пеено-Пеенее. Отец спас ему жизнь как-то ночью в притоне Вальпараисо. Один торговец жемчугом, объезжая по торговым делам местность к северу от Новой Гвинеи, выменял у негра эти три костыля. Джонни Блэк купил их по весу как медный лом. Каких-либо надежд, связанных с судьбой этих костылей, у него было не больше, чем у торговца жемчугом, но на обратном

пути он задержался из-за «морской черепахи» на том самом побережье, где, по вашим словам, был убит помощник с «Флерта». Но помощник не был убит. Банкские островитяне держали его в качестве пленника. Он умирал от омертвения челюсти, вызванного раной от стрелы во время сражения на побережье. Прежде чем умереть, он рассказал историю о кладе Джонни Блэку. Тот написал из Левуки моему отцу. Сам Джонни был при последнем издыхании от рака. Мой отец уже десять лет спустя (в то время он был капитаном на «Перри») добыл эти костыли у немца Оскара. От моего отца, согласно его завещанию, эти костыли достались мне вместе с соответствующими разъяснениями. Я знаю остров, знаю широту и долготу берега, на котором эти три костыля были вбиты в деревья. Костыли теперь там, у Лавинии. Широта и долгота в моей голове. Что вы думаете насчет всего этого?

— Ерунда, — сейчас же выразил свое мнение Гриф. — Почему ваш отец сам не отправился туда?

— Отцу это было не нужно. Его дядя оставил ему большое наследство. Отец ушел с морской службы, и моя мать развелась с ним. Она тоже получила наследство — около тридцати тысяч долларов дохода в год — и переехала в Новую Зеландию. Я принадлежал наполовину отцу, наполовину матери и жил то в Соединенных Штатах, то в Новой Зеландии, пока в прошлом году не умер мой отец. Теперь я нахожусь исключительно в распоряжении матери. Отец оставил мне несколько миллионов, но ввиду моей слабости к алкоголю моя мать учредила надо мной опеку. При своем значительном состоянии я не могу получить ни одного пенни сверх того, что мне выдают. Но старик, прослышав про мою страсть к пьянству, завещал мне три костыля и относящиеся к ним сведения. Сделал он это без ведома моей матери, через своих адвокатов. Он говорил, что это наилучшее страхование жизни и что если у меня хватит выдержки добыть клад, то после уже я до самой смерти могу полоскать свои зубы в виски. В руках моих опекунов — миллионы, груды серебреников у моей матери, которые будут моими, если она отправится в крематорий раньше меня, и еще миллион, ожидающий, когда его выкопают,— а пока что я с трудом выпрашиваю у Лавинии на два стаканчика в день. Адское положение, не правда ли? Особенно при моей жажде...

— Где находится остров?

— Далеко отсюда.

— Назовите его.

— Ни за что в жизни, капитан Гриф! Вы легко заработаете на этом полмиллиона... Плывите по моим указаниям, и, когда мы будем на пути, в открытом море, я скажу вам название острова, но не раньше...

Гриф пожал плечами, указывая, что разговор окончен.

— Я дам вам второй стаканчик и отправлю вас на шлюпке на берег, — сказал он.

Пенкберн смутился. Он не ожидал этого. Минут пять он колебался. Наконец облизнул губы и сдался.

— Если вы обещаете отправиться со мной, я назову остров.

— Разумеется, отправлюсь. Для того и спрашиваю. Назовите остров.

Пенкберн посмотрел на бутылку.

— Я выпью еще стаканчик, капитан?

— Нет, не выпьете. Эта порция предназначалась вам, если бы вы отправились на берег. Если же вы собираетесь назвать остров, вы должны быть вполне трезвы.

— Остров Френсис, если вы этого желаете. Бугенвиль назвал этот остров — Барбура.

— Это самый уединенный остров на Малом Коралловом море,— сказал Гриф.— Я знаю его. Лежит между Новой Ирландией и Новой Гвинеей. Гнилая дыра теперь, но островок был недурным в те времена, когда там вбивали костыли с «Флерта», а торговец жемчугом выменивал их. Два года назад там вырезали команду парохода «Кастор», вербовавшего рабочих для плантаций в Уполу. Я хорошо знал капитана парохода. Немцы послали крейсер, бомбардировали остров, сожгли несколько деревень, укокошили двух-трех негров и стадо свиней — вот и все. Негры там всегда были ненадежны, но сорок лет назад они свирепствовали там. В то время они вырезали команду с китобойного судна. Как оно называлось? Постойте, я взгляну.

Гриф подошел к книжной полке, извлек обширный «Руководитель к плаванию по Южному Тихому океану» и перелистал несколько страниц.

— Да! Вот он! «Френсис, или Барбур, — бегло читал он. — Туземцы воинственны и вероломны... меланезийцы... людоеды. Китобойное судно «Уэстерн» уничтожено... Мели... мысы... якорные стоянки... А, Редскар; бухта Оуэн, бухта Ликикили... более подходящая... Глубокая выемка, хорошая стоянка в девять фатомов глубиной... Там, где белый выступ на скале смотрит на запад-юго-запад...»

Гриф обернулся.

— Это ваше побережье, Пенкберн, готов поклясться.

— Так вы отправитесь? — спросил тот в волнении.

Гриф кивнул.

— Историйка правдоподобная. Если бы речь шла о ста миллионах или какой-нибудь безумной цифре в этом роде, я ни на секунду не заинтересовался бы. Завтра мы и отправимся, но с одним условием. Вы должны абсолютно повиноваться моим приказаниям...

Пенкберн торжественно и радостно кивнул.

— И это значит — не пить.

— Это очень тяжко! — простонал Пенкберн.

— Таковы мои условия. Мои медицинские познания достаточны, чтобы знать, что вы от этого не пострадаете. На вас будет возложена работа — тяжелая работа матроса. Вы будете регулярно отбывать вахты и все прочее, хотя есть и спать вы будете вместе с нами на корме.

— Идет! — Пенкберн пожатием руки подтвердил свое согласие. — Только бы это не убило меня, — прибавил он.

Дэвид Гриф щедро налил ему виски и протянул стакан.

— Это ваш последний. Пейте!

Рука Пенкберна остановилась на полдороге. Внезапное решение боролось в нем с привычной слабостью. Он расправил плечи, поднял голову.

— Кажется, я не выпью, — начал он, но сейчас же ослабел, поддался палящему желанию и поспешно протянул руку к стакану, как бы боясь, что его уберут.

IV

Предстоял долгий путь от Папеэте, в группе островов Товарищества, до Малого Кораллового моря: от ста пятидесятого градуса западной долготы до ста пятидесятого восточной долготы. Если даже плыть так же прямо, как летают вороны, то это равнялось бы переходу через Атлантический океан. Но «Киттиуэк» шел не так, как летают вороны. Многочисленные предприятия Грифа много раз заставляли изменять курс судна. Он зашел на необитаемый остров Роза, чтобы посмотреть, нельзя ли его колонизировать и основать на нем плантации кокосовых пальм. Затем он посетил царька Туи-Мануа на Восточном Самоа и начал интригу, чтобы добиться права монопольной торговли на трех островах чахлого монарха. Из Алии он перевез торговых агентов и товары на Гилбертовы острова. Заглянул он и на островок Онтонг-Ява, осмотрел свои плантации на Изабелле, купил несколько участков земли у властителей северо-западного побережья Малаиты. И при всех этих странствованиях он сделал человека из Алоизия Пенкберна.

Этот жаждущий выпивки человек, хотя и помещался на корме, был вынужден исполнять работу простого матроса. И он не только стоял у руля и на вахте, не только возился с парусами и снастями, но на него взваливались самые грязные и тяжелые обязанности. Качаясь наверху, он скреб и мыл мачты, чистил палубы пемзой и гашеной известью. От этого болела спина и крепли дряблые мускулы. Когда «Киттиуэк» стоял на якоре и матросы-туземцы чистили кокосовыми мочалками его обшитые медью подводные части, причем приходилось нырять и работать под водой, то Пенкберна посылали на эту работу не реже всякого другого матроса из экипажа.

— Посмотрите на себя, — говорил Гриф. — С тех пор, как вы взошли на судно, вы стали вдвое сильнее. Вы ничего не пили и остались живы. Яд почти исчез из вашего организма. Все дело в работе. Это получше, чем няньки да управляющие делами. Здесь, если у вас жажда, прикладывайтесь вот к чему!

Несколькими ловкими ударами своего тяжелого ножа Гриф вырезал треугольное отверстие в скорлупе шероховатого кокосового ореха. Прохладная жидкость, похожая на молоко, зашипела и вспенилась у краев отверстия. Пенкберн, наклонившись, припал губами к чаше, созданной самой природой, а затем запрокинул голову и оставался в таком положении, пока скорлупа не оказалась пустой. Он каждый день опустошал изрядное количество кокосовых орехов. Чернокожий повар, старик лет шестидесяти с Новых Гебрид, и его помощник,

одиннадцатилетний мальчик с острова Ларка, заботились, чтобы у Пенкберна постоянно были кокосовые орехи.

Пенкберн не уклонялся от тяжелой работы. Он набрасывался на нее, никогда ни от чего не отказываясь, и всегда опережал туземцев-матросов в исполнении приказаний. И поистине героически он переносил страдания в продолжение того времени, как из его организма исчезал алкоголь. Но и тогда, когда яд до последней капли исчез из его тела, навязчивая мысль о выпивке, как наваждение, оставалась в его мозгу. Так было, когда его под честное слово отпустили на берег в Алии, и он сделал все от него зависящее, чтобы опустошить трактир со всеми его запасами. В два часа ночи Дэвид Гриф нашел Алоизия перед дверью «Тиволи», откуда его за бесчинства вышвырнул Чарли Робертс. Алоизий, как и в прежние времена, взывал к звездам о своих горестях и необыкновенно ритмично швырял осколками кораллов в окна Чарли Робертса.

Дэвид Гриф увел его, а наутро он наставлял Пенкберна на путь истинный. Происходило это на палубе «Киттиуэка» и нисколько не походило на воспитательные приемы детского сада. Гриф просто-напросто молотил по Пенкберну кулаками и оттрепал его так основательно, как никто никогда еще не колотил его.

— Во спасение вашей души, — выразительно приговаривал Гриф при каждом ударе. — Во благо вашей матушки, во благо вашего будущего потомства. На благо мира, вселенной и всего человечества. А теперь, чтобы вы хорошенько усвоили урок, давайте начнем сызнова. Это во спасение вашей души, это во благо вашей матушки, это во благо маленьких детей, о которых вы еще не думали и которые не родились, во благо их матери, которую вы когда-нибудь будете любить ради этих детей, если только мне удастся восстановить в вас мужество моими заботами. Ну-ка, принимайте ваше лекарство, я еще не покончил с вами. Я только начал. Есть еще много других резонов, к пояснению которых я сейчас перейду.

Смуглые матросы, чернокожие повар и поварята смотрели и скалили зубы.

Для них эта сцена была одним из таинственных и непонятных поступков белого человека. Помощник Карлсен мрачно одобрял приемы лечения, которые применял его патрон, в то время как судовой приказчик Олбрайт просто забавлялся, смеясь в усы. Они оба были людьми моря, жили суровой жизнью. С алкоголизмом — как в себе, так и в других — им постоянно приходилось сталкиваться, это была проблема, которую они привыкли разрешать средствами, еще не изученными в лечебных заведениях на суше.

— Юнга! Ведро холодной воды и полотенце, — приказал Гриф, покончив с Пенкберном. — Два ведра и два полотенца, — прибавил он, посмотрев на свои руки.

— Хорош, нечего сказать, — обратился он к Пенкберну. — Вы все испортили. Я совершенно изгнал из вас яд, а теперь от вас изрядно несет спиртом. Придется проделать все сначала. Мистер Олбрайт, видели вы груду старых цепей на набережной около пристани? Разыщите их владельца, купите цепи

и перевезите на судно. Там около ста пятидесяти фатомов. Пенкберн! Завтра с утра вы займетесь очисткой цепи от ржавчины. Когда вы покончите с этим, вы отделаете цепь наждаком. После этого вы ее окрасите. И никакой другой работы вам не дадут, пока цепь не будет как новая.

Алоизий Пенкберн покачал головой.

— Отказываюсь. Провались остров Фрэнсис ко всем чертям со всем моим добром! Довольно с меня вашего рабовладельческого поведения. Будьте любезны немедленно высадить меня на берег. Я — белый. Вы не имеете права так обращаться со мной.

— Мистер Карлсен, присмотрите, чтобы мистер Пенкберн оставался на судне.

— Я готов вас избить за это! — закричал Алоизий. — Вы не смеете задерживать меня.

— Я могу вам дать еще новую потасовку, — возразил Гриф. — И слушайте вы, спившийся щенок, я буду дубасить вас, пока выдержат мои кулаки или пока вы сами не попроситесь отбивать ржавчину с цепи. Я взялся за вас, и я сделаю из вас настоящего человека. Хотя бы мне пришлось убить вас для этого. А теперь идите вниз и переоденьтесь. И сегодня же после обеда берите молоток. Мистер Олбрайт, поторопитесь доставить цепь на судно. Мистер Карлсен, пошлите за ней шлюпку. Наблюдайте за Пенкберном. Если он начнет качаться или дрожать, дайте ему глоток, но небольшой. После вчерашней ночи ему, пожалуй, без этого не обойтись.

V

В течение остального времени пребывания «Киттиуэка» в Алии Алоизий Пенкберн сбивал ржавчину с цепи. Сбивал он ее по десять часов в день. И во время долгого перехода до Гилбертовых островов он продолжал колотить ржавую цепь. Затем пришла очередь наждачной бумаги. Сто пятьдесят фатомов — это составляет девятьсот футов, и каждое звено этой длинной цепи было вычище-

Сбивал он ее по десять часов в день.

но и отполировано, как никогда раньше. А когда цепь вплоть до последнего звена была два раза покрыта слоем черной краски, Пенкберн заговорил.

— Подваливайте работу погрязнее, — объявил он Грифу. — Скажите только, и я примусь за работу над другими цепями. Вы можете не беспокоиться обо мне. Я больше не возьму в рот ни капли. Теперь я займусь тренировкой. Вы посбили с меня форс, когда меня отдубасили, но разрешите мне заметить вам, что ваш перевес временный. Тренировка! Я буду тренироваться, пока не стану во всех отношениях таким же крепким, таким же чистым, как эта цепь. И когда-нибудь, мистер Дэвид Гриф, где-нибудь и как-нибудь я вздую вас не хуже, чем вы меня. Я искромсаю вам физиономию до того, что ваши собственные негры не признают вас.

Гриф просиял.

— Теперь вы говорите как мужчина! — воскликнул он. — Единственная возможность для вас когда-либо вздуть меня — это сделаться настоящим мужчиной. И тогда, быть может...

Он сделал паузу, надеясь, что тот поймет его мысль. Алоизий задумался над его словами; внезапно глаза его загорелись.

— И тогда, вы думаете, я этого уже и не захочу?

Гриф кивнул.

— В этом-то и проклятие! — жаловался Алоизий. — Я хорошо знаю, что не захочу. Вижу и понимаю. И все-таки я буду крепиться и приведу себя в порядок.

Жаркий румянец на загорелом лице Грифа, казалось, вспыхнул еще сильнее. Он протянул руку.

— Пенкберн, вот за это я люблю вас.

Алоизий пожал его руку и грустно покачал головой.

— Гриф, — прошептал он с сумрачной откровенностью. — Вы сбили мою гордость, вы здорово сбили ее, и боюсь — надолго.

VI

В знойный тропический день, когда затихали последние порывы юго-восточного пассата и, сообразно времени года, наступала пора северо-западных муссонов, «Киттиуэк» шел около лесистого берега острова Фрэнсис. Гриф с помощью компаса и бинокля распознал вулкан Редскар; миновал залив Оуэн и при последних порывах затихавшего ветра был у входа в бухту Ликикили. Два вельбота взяли «Киттиуэк» на буксир, и судно медленно вошло в глубокую и узкую выемку берега. Отмелей не было. Деревья начинались от самой воды, за ними высились джунгли, прерывавшиеся там и сям остриями утесов. Наконец, в миле от входа, когда белый выступ скалы вырезался на западе-юго-западе, лот подтвердил правильность «Руководителя» и якорь загрохотал на глубине девяти фатомов. Весь остаток дня и следующий день до полудня все оставались на «Киттиуэке» и ожидали. Не было видно ни одного челна. Никаких признаков человеческой жизни. Плескались рыбы, кри-

чали какаду. Огромная бабочка, дюймов двенадцати в размахе, пролетела высоко над мачтами и направилась к джунглям.

— Нет смысла посылать лодку на явную гибель, — сказал Гриф.

Пенкберн отнесся к этому недоверчиво и хотел отправиться один вплавь, если ему не дадут маленькой шлюпки.

— Они не забыли германского крейсера, — объяснил Гриф. — Держу пари, что джунгли кишат людьми. Не правда ли, мистер Карлсен?

Ветеран островных приключений вполне согласился с ним.

На второй день после обеда Гриф приказал спустить вельбот. Он уселся на носу с папиросой во рту и шашкой динамита с коротким фитилем. По-видимому, он хотел наловить рыбы. Около гребцов лежало штук шесть винтовок. Олбрайт, севший на руль, положил около себя маузер. Лодка плыла вдоль зеленой стены растений. По временам гребцы переставали грести, и все вслушивались в глубочайшее молчание.

— Ставлю два против одного, что кустарник кишит ими, — прошептал Олбрайт.

Пенкберн прислушивался еще минуту и принял пари. Пять минут спустя они заметили стаю голавлей. Темнокожие гребцы налегли на весла. Гриф поджег короткий фитиль папироской и бросил шашку.

Фитиль был так короток, что шашка взорвалась тотчас же, как шлепнулась в воду. И в тот же самый момент прорвалась жизнь на побережье. Раздался дикий вой; черные голые тела запрыгали как обезьяны между деревьями. Каждая винтовка в вельботе была наготове. Некоторое время выжидали. Около сотни чернокожих, из которых некоторые были вооружены старыми снайдеровскими

Гриф поджег короткий фитиль папироской и бросил шашку.

винтовками, а по большей части томагавками, закаленными на огне дротиками, стрелами с наконечниками из рыбьих костей, расположились группами на корнях деревьев около воды. Не было произнесено ни одного слова. Каждая сторона наблюдала противника через расстояние в двадцать футов водной поверхности. Старый одноглазый чернокожий со щетиной на лице направил дуло своей старой винтовки на Олбрайта, который в свою очередь навел на чернокожего маузер.

Эта сцена длилась несколько минут. Оглушенная рыба всплыла на поверхность или билась едва живая в прозрачной глубине.

— Ну ладно, ребята,— сказал спокойно Гриф.— Бросайте винтовки и марш в воду. Мистер Олбрайт, киньте пачку табака этой одноглазой скотине.

В то время как островитяне ныряли за рыбой, Олбрайт кинул на берег пачку табака. Одноглазый туземец мотнул головой и старался придать своему лицу нечто вроде любезного выражения. Винтовки были опущены, тетивы луков ослаблены, и стрелы положены обратно в колчаны.

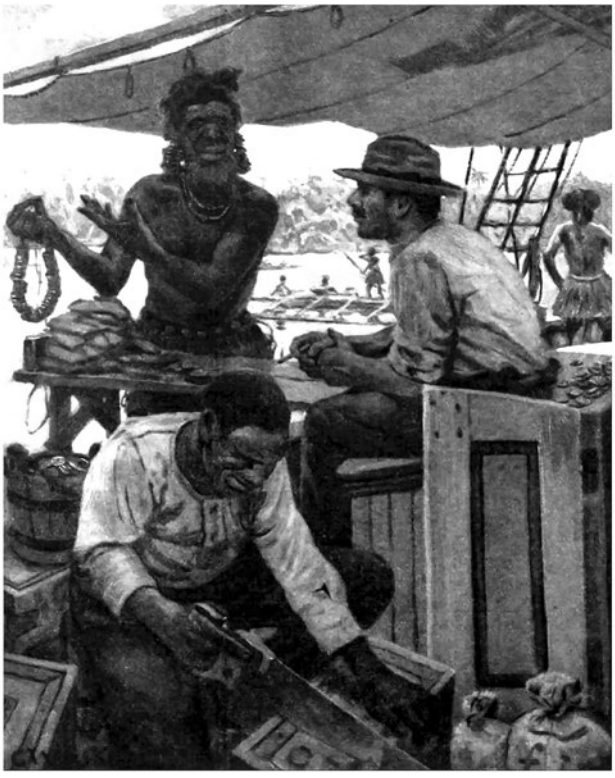
— Они знают, что такое табак,— сказал Гриф, когда матросы возвратились на борт.— Они навестят нас. Откупорьте ящик с табаком, мистер Олбрайт, и достаньте для обмена несколько ножей. Вот и челнок.

Старый одноглазый дикарь прибыл в челноке один, рискуя своей жизнью ради всего племени. Карлсен, нагнувшись, чтобы помочь ему перелезть через борт, повернул голову и заметил:

— Они выкопали деньги, мистер Гриф. Старый шут весь нагружен ими.

Одноглазый хромал по палубе и ухмылялся, стараясь скрыть свой страх.

На одной ноге у него была ужасная рана в дюйм глубиной, которая шла от бедра к колену. На нем не было никакой одежды, даже повязки; в носу было проделано около двенадца-



Пенкберн сейчас же начал производить мену. За пенни, торчавший из носа дикаря, он дал десять пачек табака.

ти отверстий, и в каждое отверстие вдеты костяные иглы, так что нос походил на ощетинившегося дикобраза. Вокруг шеи и на грязной груди висели золотые монеты. В ушах болтались серебряные полукроны, а с перепонки, разделявшей его ноздри, свисал большой английский пенни, потускневший и зеленоватый, но, несомненно, настоящий.

— Подождите, Гриф, — сказал Пенкберн с прекрасно разыгранной беспечностью. — Вы говорите, что они интересуются только бусами да табаком? Прекрасно. Вот что я вам скажу: они нашли клад. Нам придется выменять его. Соберите команду, и надо втолковать матросам, чтобы они делали вид, будто интересуются только одними пенни. Понимаете? Пусть золото ни во что не ценится, а серебро так себе. Самое интересное — пенни.

Пенкберн сейчас же начал производить мену. За пенни, торчавший из носа дикаря, он дал десять пачек табака. Каждая пачка стоила Дэвиду Грифу цент, так что мена была явно невыгодной. За полкроны Пенкберн давал только по одной пачке. Нитку соверенов он совсем не хотел брать. Чем решительнее он отказывался, тем настойчивее становился одноглазый. Наконец, с большим сомнением и неудовольствием, Пенкберн согласился дать две пачки за всю нитку, на которой было нанизано десять соверенов.

— Снимаю перед вами шляпу,— обратился вечером за обедом Гриф к Пенкберну.— Положение ясно. Вы произвели диаметральную переоценку ценностей. Они теперь воображают, что пенни необыкновенная драгоценность, тогда как соверены ничего не стоят. Пью за ваше здоровье, Пенкберн! Эй, юнга, еще чашку чая для мистера Пенкберна!

VII

Наступила настоящая золотая неделя. С рассвета до темноты флотилия челноков стояла на расстоянии двухсот футов от корабля. Это была пограничная линия. Ее охраняли матросы, вооруженные винтовками. Одновременно разрешалось приближаться к судну только одному челноку, и только одному чернокожему дозволялось перелезть через борт. Здесь, под тентом, четверо белых, чередуясь, были заняты меной. Торг происходил в том же соотношении, как он был совершен вначале Пенкберном и одноглазым. Пять соверенов шли за одну пачку табака, за сто соверенов — двадцать пачек.

Таким образом, случилось, что лукавый людоед, хитро посматривая на людей, выкладывал на стол тысячу долларов золотом и уходил, перелезая через борт, совершенно удовлетворенный, с табаком стоимостью в сорок центов.

— Только бы у нас хватило табака, — с сомнением пробормотал Карлсен, когда был вскрыт второй ящик.

Олбрайт засмеялся.

— У нас внизу пятьдесят ящиков, — сказал он, — а мне думается, что за три ящика мы получим сто тысяч долларов. Закопано было всего миллион долларов, так что на весь клад уйдет тридцать ящиков! Конечно, надо принять во

внимание лишние пачки табака за серебро и пенсы. Эти эквадорцы позапрятали все монеты, какие им только попались на глаза.

Пенсы и шиллинги встречались очень редко, несмотря на то что Пенкберн постоянно спрашивал о них. По-видимому, пенсы интересовали его больше всего, и, когда ему приносили их, он притворялся настолько заинтересованным, что даже глаза его загорались. И дикари в точности поступали так, как этого от них ожидали. Они первым делом решили спустить все золото как наименее ценную вещь. И вероятно, они собирались в своих логовищах в чаще джунглей, и мудрые седобородые старцы раздумывали о том, как поднять стоимость пенсов, когда они окончательно избавятся от ничего не стоящего золота. Кто знает, может быть, этот диковинный белый даст даже и двадцать пачек за драгоценные медяки...

К концу недели торг пошел хуже. Золото попадалось редко. Случайно затесавшийся пенни отдавали неохотно за десять пачек, тогда как серебра приносили на тысячи долларов.

На восьмой день утром вовсе не было никакой мены. Седовласые старики приводили в исполнение свой план: они просили за пенни двадцать пачек табака.

Одноглазый сообщил новые условия мены. Белые прослушали их с видимой серьезностью; они стояли кучкой и что-то обсуждали вполголоса. Если бы Одноглазый понимал по-английски, ему стал бы ясен весь их план.

— Мы получили немного больше восьмисот тысяч, не считая серебра, — сказал Гриф. — Это приблизительно все, что у них есть. Вероятно, остальные двести тысяч попали к другому племени. Вернемся через три месяца. Эти чернокожие выменяют деньги обратно. К тому времени они, конечно, уже будут без табака.

— Было бы грешно скупать пенни, — зубоскалил Олбрайт. — Я, как купец, не могу этого стерпеть.

— Начинается волнение от берегового ветра, — сказал Гриф, посматривая на Пенкберна. — Что вы скажете?

Пенкберн одобрил.

— Отлично! — сказал он.

Подставив щеку под ветер, Гриф убедился, что ветер слабый и неровный.

— Мистер Карлсен, спустите вельбот для буксирования. На такой ветер нельзя рассчитывать.

Он вытащил из ящика с табаком шестьсот или семьсот пачек табака, сунул их в руки Одноглазому и помог растерявшемуся дикарю перелезть через борт. Когда был поднят последний парус, вопль ужаса раздался на линии неподвижных челноков. А когда подняли якорь и пришел в движение нос «Киттиуэка», Одноглазый, пренебрегая направленными на него дулами винтовок, начал грести за судном и отчаянной жестикуляцией показывал, что его племя согласно покупать табак по расценке пенни за десять пачек.

— Юнга! Орех для питья, — крикнул Пенкберн.

— Мы с вами направляемся в Сидней. А дальше что? — сказал Гриф.

— Я вернусь вместе с вами за этими двумя сотнями тысяч. Кроме того, я займусь постройкой шхуны для плавания между островами. Затем я привлеку к суду моих опекунов. Почему они не передают мне наследства моего отца? По какой причине? Я докажу, что оно должно быть мне передано!

Пенкберн с гордостью напряг свои мускулы под тонкими рукавами рубашки, подхватил обоих чернокожих поваров и поднял их над своей головой, как две гимнастические гири.

— Вперед! На передние снасти! — скомандовал с кормы Карлсен, когда грот был поднят.

Пенкберн поставил на палубу поваров и ринулся вперед, опередив в два прыжка чернокожего матроса.

ЧЕРТИ НА ФУАТИНО

I

Из всех своих многочисленных шхун, кечей и катеров, сновавших между коралловыми островами Южных Морей, Дэвид Гриф больше всего любил «Раттлер» — шхуну, похожую на яхту, в девяносто тонн, такую быстроходную, что она прославилась в прежние дни, провозя контрабандой опиум из Сан-Диего в Пюджет-Саунд, делая набеги на становища котиков в Беринговом море и перевозя оружие на Дальний Восток. Она была предметом ненависти и отвращения для правительственных чиновников, радостью всех моряков и гордостью тех корабельных мастеров, которые ее выстроили. Даже теперь, когда уже прошло сорок лет со времени ее постройки, она была все тем же «Раттлером», с чудесной быстротой носившимся по морям. Моряк должен был видеть судно, чтобы поверить в возможность такой быстроты. Шхуна вызывала много споров и драк во всех портах, начиная от Вальпараисо до Манильской бухты.

Гриф больше всего любил «Раттлер» — шхуну, похожую на яхту.

В эту ночь паруса похлопывали на слабом ветру, грот неестественно свисал, и все-таки шхуна делала четыре узла при едва слышном шелесте ветра.

Дэвид Гриф уже с час стоял с подветренной стороны на носу судна, опершись на перила, и смотрел на фосфоресцирующий след судна. Легкое дуновение от колыхающихся передних парусов обдувало бодрящей прохладой его щеки и грудь, и он восторженно любовался своей прекрасной шхуной.

— Не правда ли, как она хороша, Таути! — обратился он к канаку, стоявшему на вахте, ласково поглаживая дерево перил.

— Да, шкипер, — отвечал канак густым грудным голосом, характерным для полинезийца. — Тридцать лет я плаваю на судах, но ни одного не было равного этому. Мы называем его на Райатее «Фанауало».

— «Дитя Зари», — перевел Гриф. — Кто назвал его так?

Вместо ответа Таути вдруг стал пристально глядеть вдаль. Гриф посмотрел в том же направлении.

— Земля, — сказал Таути.

— Да, Фуатино,— согласился Гриф. Его глаза продолжали всматриваться в одну точку, где на усыпанном звездами горизонте что-то чернело.

«Раттлер» скользил все дальше, и можно было уже не только видеть, но и ощущать близость острова,— был слышен ленивый рокот прибоя и блеяние коз, пасшихся на берегу, а ветерок, дувший с суши, приносил аромат цветов.

— Если бы этот проход не был узок точно щель, шхуна могла бы войти в пролив в такую ночь, как сегодня,— заметил с сожалением капитан Гласс, наблюдая за рулевым, поворачивавшим колесо.

«Раттлер» подошел к берегу на расстояние мили. Решили подождать рассвета, чтобы попытаться войти в этот опасный проход к Фуатино. Была чуднейшая тропическая ночь без малейшего намека на дождь или шквал.

Матросы с Райатеи заснули на баке, на том самом месте, где работали. На корме капитан, помощник и Гриф устроились на ночлег с такой же небрежностью. Они лежали на своих шерстяных одеялах, покуривая и лениво переговариваясь о Матааре, царице острова Фуатино, и о романе ее дочери Науму с неким Мотуаро.

— Здесь народ отличается романтическим характером, — сказал помощник капитана Броун, — как и мы, белые.

— Так же романтичны, как Пильзах, — засмеялся Гриф. — А это что-нибудь да значит. Сколько лет прошло с тех пор, капитан, как он ушел от вас?

— Одиннадцать, — хмуро ответил капитан.

— Расскажите мне об этом, — просил Броун. — Говорят, что с того времени он никогда не покидал Фуатино. Это действительно так?

— Верно, — пробурчал капитан. — Он влюблен в свою жену — маленькую шельму. Она похитила его у меня; он был самым лучшим моряком, какой когда-либо служил в торговом флоте, хоть он и голландец.

— Немец, — поправил Гриф.

— Это одно и то же, — последовал ответ. — В ту же ночь, как он вступил на берег и Нотуту взглянула на него, море потеряло прекрасного человека. Они,

видимо, сразу заинтересовались друг другом. И, прежде чем мы успели оглянуться, она надела ему на голову венок из белых цветов, а через пять минут они уже пробирались по берегу, держась за руки; они смеялись и скакали, точно козлята. Надеюсь, что он уничтожил этот коралловый выступ, — я всегда наталкивался на него и обдирал один или два листа медной обшивки.

— Продолжайте ваш рассказ, — сказал Броун.

— Вот и все. На этом и кончилось. В ту же ночь он женился и больше не появлялся на судне. Я пошел его искать на следующий день. И нашел этого белого дикаря в соломенном шалаше в лесу, босоногого, среди цветов. Он играл на гитаре, и вид у него был форменного осла. Он просил меня прислать ему его вещи. Я сказал ему, что предпочитаю видеть его провалившимся в тартарары. Вот и все. Завтра вы ее увидите. У них теперь трое козлят — пречудеснейших маленьких мошенников. Я везу для него граммофон и около миллиона пластинок...

— Вы сделали его торговым агентом? — спросил Грифа помощник.

— Как же мне было иначе поступить? Фуатино — остров любви, а Пильзах — Ромео. Кроме того, он очень хорошо знает туземцев, и вообще он один из лучших моих агентов. Он надежный человек. Завтра вы его увидите.

— Смотрите у меня, молодой человек! — грозным голосом сказал капитан Гласс своему помощнику. — Вы что, вы тоже романтик? Если да, оставайтесь, пожалуйста, на судне. Фуатино — это остров романтического безумия. Каждый в кого-нибудь влюблен. Они только и живут любовью. Эта зараза кроется не то в молоке кокосовых орехов, не то в воздухе, не то в море. История этого острова за последние десять тысяч лет повествует только о любовных делах. Мне это известно. Я говорил об этом со стариками, и если я увижу вас на берегу, идущим рука об руку...

Говоривший замолчал так внезапно, что товарищи невольно взглянули на него. Они проследили направление его взгляда мимо снастей и увидели загорелую руку, мускулистую и мокрую. За ней показалась другая рука, затем голова, обрамленная длинными кудрями, точно у русалки; наконец они увидели лицо с черными глазами, и вслед за этим послышался смех лесного дикаря.

— Боже мой! — тихо произнес Броун. — Это фавн, — настоящий морской фавн.

— Человек-козел, — сказал Гласс.

— Это Маурири, — прибавил Гриф. — Это мой названный брат, согласно священному обычаю этой страны. Его имя — мое имя. Мое имя — его имя.

Широкие плечи и прекрасно сложенная грудь показались над перилами, крупное тело легко и без усилий поднялось вверх, и человек бесшумно опустился на палубу. Броун, который мог сделать карьеру и получше должности помощника на шхуне, плавающей от острова к острову, восхитился. Все, что ему когда-либо пришлось прочесть о сходстве человека с фавном, вспомнилось ему при виде этого существа, явившегося из морской глубины.

— Но это печальный фавн! — сказал молодой человек, когда золотисто-коричневый лесной бог подошел к Дэвиду Грифу и протянул ему руку.

— Дэвид! — сказал Дэвид Гриф.

— Маурири, Большой Брат, — сказал Маурири.

И затем, следуя обычаю названных братьев, каждый из них называл другого не его собственным, а своим именем. Они заговорили друг с другом на полинезийском наречии, и Броуну оставалось только сидеть да угадывать, о чем шел разговор.

— Долго ты плыл, чтобы сказать мне «талофа»? — спросил Гриф, когда посетитель сел и вода потекла с него на палубу.

— Я тебя ждал много дней и ночей, Большой Брат, — сказал Маурири. — Я сидел на Большой Скале, где скрыт динамит, и охранял его. Я увидел, что ты подходишь к проливу, и побежал в темноту. Я знал, что ты подождешь здесь до утра, и последовал за тобой. С нами случились большие несчастья. Матаара много дней плачет, поджидая тебя. Она старуха, Мотуаро умер, и она тоскует.

— Он женился на Науму? — спросил Гриф, покачав головой и вздохнув, следуя установленному обычаю.

— Да. Они убежали и жили с горными козами, пока Матаара не простила их. Тогда они вернулись и стали жить с ней в Большом Доме. Но теперь он умер, и Науму тоже скоро умрет. Наши горести велики, Большой Брат! Умер и Тори, и Тати Тори, и Петео, и Нари, и Пильзах, и многие другие.

— Как! И Пильзах! — воскликнул Гриф. — Разве здесь свирепствовала какая-нибудь болезнь?

— Здесь было много убийств... Слушай, Большой Брат. Три недели назад пришла чужестранная шхуна. Я видел со своей Большой Скалы, как верхушки ее мачт поднимались над морем. Шлюпки вели ее на буксире, но им не удавалось обогнуть выступ, и они много раз задевали его. Теперь шхуна на берегу, и они стараются ее исправить. Там восемь белых. Они везут с собой женщин с какого-то острова — далеко на востоке. Женщины говорят на языке, похожем на наш, но все-таки не на нашем. Но мы можем их понять. Они говорят, что люди со шхуны похитили их. Правда ли это? Мы не знаем. Они поют и пляшут и, по-видимому, счастливы.

— А мужчины? — перебил Гриф.

— Они говорят по-французски. Я это знаю, так как у тебя на шхуне был давно когда-то помощник, который говорил по-французски. Среди них два главаря. Они не похожи на других. У них голубые глаза, как у тебя, и они настоящие черти. Один из них еще больший черт, чем другой. Шестеро остальных — тоже черти. Они не платят нам за наш ямс, таро и плоды хлебного дерева.

Они отнимают у нас все, а если мы начинаем роптать, они убивают нас. Они убили Тори и Тати Тори, и Петео, и других. Мы не можем сражаться,— у нас нет ружей — всего два-три старых ружья. Они обижают наших женщин. Из-за этого убили Мотуаро, который хотел защитить Науму. Теперь они взяли ее к себе на шхуну. По той же причине был убит Пильзах. В него стрельнул раз

главный из двух начальников, Большой Черт, со своего вельбота, и два раза он стрелял в него, когда тот взбирался на песчаный берег. Пильзах был храбрый человек, и Нотуту сидит в своем доме и плачет без конца. Очень многие так перепугались, что живут теперь в горах с козами. Но на вершинах гор не хватает для всех пищи. Они боятся сходить оттуда для рыбной ловли, они не обрабатывают садов, так как черти все отнимают. Мы хотели бы сражаться, Большой Брат,— нам нужны ружья и много патронов. Я сказал своим, когда собрался плыть к тебе, и меня ждут. Белые чужестранцы не знают, что ты пришел. Дай мне лодку и ружья, и я уйду до солнца. А когда ты придешь завтра, мы будем уже готовы и, по твоему слову, кинемся в битву с белыми чужестранцами. Они должны быть убиты. Большой Брат, ты всегда был нашим братом. Мужчины и женщины молили богов о твоем приходе. И ты пришел.

— Я пойду с тобой в лодку, — сказал Гриф.

— Нет, Большой Брат, — возразил Маурири. — Ты должен остаться при шхуне. Белые чужестранцы будут бояться шхуны, а не нас. У нас будут ружья, а они этого не будут знать. Они поднимут тревогу, когда увидят твою шхуну. Пошли с лодки этого молодого человека.

Броун был упоен романтическими грезами и жаждой приключений; он много читал о них в книгах, но в жизни с ними не встречался. Он поместился на корме вельбота, нагруженного винтовками и патронами. За веслами сидели четыре матроса с Райатеи, рулем управлял золотисто-коричневый морской фавн. Они помчались во мраке тропической ночи к этому полумифическому острову Фуатино, этому «острову любви», на который напали пираты двадцатого столетия.

II

Если провести линию от Джелуита в группе Маршальских островов к Бугенвилю Соломоновых островов, и если эту линию пересечь в двух градусах к югу от экватора другой линией, идущей от Юкуори Каролинских островов, то возвышенный остров Фуатино окажется в этой омываемой солнцем уединенной полосе океана.

На нем живет племя, родственное гавайцам, самоанцам, таитянам и маори. Остров Фуатино представляет вершину полинезийского треугольника, вклинившегося далеко на запад между Меланезией и Микронезией.

На следующее утро Дэвид Гриф увидел Фуатино в двух милях к востоку, на прямой линии к восходящему солнцу. Продолжал дуть легкий ветерок, и «Раттлер» скользил по гладкой поверхности моря с такой скоростью, которая была бы естественна для шхуны при ветре в три раза более сильном, чем этот.

Фуатино был не что иное как древний кратер, выступивший с морского дна при каком-то допотопном перевороте. Западная часть острова обвалилась и была размыта океаном. Она представляла проход к кратеру, превратившему-

ся в гавань. Таким образом, остров Фуатино являлся как бы грубым подобием подковы, своей задней стороной обращенной на запад. «Раттлер» направился к открытой его части. Капитан Гласс с биноклем в руках рассматривал карту, начерченную им самим. Она была разложена на крыше каюты. Одновременно и тревога, и покорность судьбе сквозили в выражении его лица.

— Вот она опять возвращается ко мне, — сказал он. — Лихорадка! Она продлится до завтра. Она жестоко трясет меня, мистер Гриф. Через каких-нибудь пять минут я потеряю сознание. Не примете ли вы управления шхуной? Эй, юнга, приготовь мою койку! Положи побольше одеял. Налей бутылочку горячей воды. Теперь очень тихо, мистер Гриф. Я думаю, что большой риф не помешает вам пройти. Ведите судно по направлению ветра и пустите его самым быстрым ходом. На всех Южных Морях это единственная шхуна, которая способна на такой маневр, а вы сумеете проделать это. Вы можете избежать большой скалы, точно следя за грот-гафелем[1].

Он говорил быстро, точно пьяный, его мутившийся мозг боролся с подступившим приступом лихорадки. Когда он спускался вниз, лицо его было пурпурного цвета и все в пятнах, точно от чудовищного воспаления или нагноения. Глаза стали стеклянными, руки тряслись, а зубы стучали от охватившего его озноба.

— Через два часа начну потеть,— бормотал он с искаженным лицом,— и еще через два часа буду здоров. Я знаю эту проклятую лихорадку до мельчайших подробностей... В...ы... во...озьмете... ш...ш...

Голос капитана перешел в слабое бормотанье, когда он доплелся до каюты. Гриф занял его место.

«Раттлер» в это время входил в пролив. На задней стороне подковы возвышались две скалистые вершины в тысячу футов высоты; каждая из них была почти оторвана от острова и соединялась с ним низкой и узенькой лентой земли. Между ними шла полоса воды длиной в полмили, вся загороженная коралловыми рифами, тянувшимися с южной части подковы. Проход, названный капитаном Глассом щелью, извивался между рифами, затем поворачивал прямо к северу и шел у подножья отвесного утеса. В этом месте грот-гафель судна почти касался скалы. Перегнувшись через правый борт, Гриф видел дно на глубине меньшей, чем в два фатома.

Вельбот вел шхуну на буксире, выравнивая ее ход, чтобы не налететь на скалы. Пользуясь береговым ветром, «Раттлер» проскользнул мимо большого кораллового рифа, слегка задев его, но так слабо, что не испортил медной обшивки.

Глазам Грифа открылась гавань Фуатино. Это было круглое водное пространство пяти миль в диаметре, окруженное белыми коралловыми берегами, за которыми виднелись покрытые зеленью откосы, круто поднимавшиеся

---

[1] Грот-гафель — дерево, идущее наклонно от нижней части грот-мачты, служит для прикрепления нижнего края косого паруса.

к грозным стенам кратера. Зубчатые стены его были похожи на пилы; пассатные облака ореолом окружали вулканические пики. Каждый выступ и каждая впадина, образованная выветривающейся лавой, служили опорой ползучим и вьющимся растениям и деревьям, покрывавшим скалу точно зеленой пеной. Шумные потоки воды, казавшиеся полосками тумана, извивались и падали с высоты ста футов. Теплый сырой воздух, напоенный ароматом желтых цветов кассии, довершал волшебную прелесть этого местечка.

«Раттлер», гонимый легким переменчивым ветерком, подходил к гавани. Гриф крикнул, чтобы вельбот подняли на борт, и стал рассматривать берег в бинокль. Там не видно было ни малейших признаков жизни. Все местечко погрузилось в сон, палимое знойными лучами тропического солнца. Решительно никто не встречал их. На северном берегу, где бахрома кокосовых пальм скрывала селение, Гриф разглядел черные носы пирог под навесами сараев. У берега стояла чужеземная шхуна. Ни на ней, ни около нее не было заметно никакого движения. Приблизившись к побережью на пятьдесят ярдов, Гриф бросил якорь на глубине сорока фатомов. Много лет назад он измерял здесь глубину, и лот, опущенный посреди гавани на глубину трехсот фатомов, не достиг дна. Когда цепь загремела, проходя через клюзы [1], он заметил на палубе неподвижной шхуны кучку туземных женщин, с чрезвычайно пышными формами, как это бывает только у полинезиек, в развевающихся ахус и увенчанных цветами. Но Гриф видел то, чего не видели женщины,— коренастую фигуру человека, спрыгнувшего с носа шхуны на песок и скрывшегося в зеленых кустах джунглей. Пока убирали паруса и лишние снасти, что всегда делают во время прибытия в гавань, Дэвид Гриф ходил по палубе и напрасно старался заметить какой-нибудь признак жизни на берегу, кроме женщин у шхуны.

Он услышал отдаленный выстрел в направлении Большой Скалы, но больше выстрелов не последовало, и он решил, что кто-нибудь охотится на диких коз. К концу второго часа приступа лихорадки капитан Гласс, лежавший под кучей одеял, перестал дрожать и невыносимо мучился от сильнейшей испарины.

— Через полчаса я буду здоров, — произнес он слабым голосом.

— Отлично, — отвечал Гриф. — Местечко совсем вымерло. Я выйду на берег, чтобы посмотреть на Матаару и узнать, что там происходит.

— Здесь берег очень крутой, будьте осторожны. Если вы не вернетесь через час — подайте весть.

Гриф сел у руля, а четверо матросов с Райатеи взялись за весла. Когда пристали к берегу, он с любопытством взглянул на женщин под тентом на палубе шхуны. Он приветственно помахал им рукой, и те, хихикая, ответили жестами.

— Талофа! — крикнул он.

Они поняли его приветствие и крикнули в ответ:

— Иорана!

---

[1] Клюзы — сквозные отверстия в борту для якорных цепей и кабельтов (*тросов толщиной от 6 до 13 дюймов*).

И он понял, что они попали сюда с группы Островов Товарищества. Один из гребцов с уверенностью сообщил название их острова — Хуахин. Гриф спросил женщин, откуда они приехали; те со смехом повторили:

— Хуахин.

— Эта шхуна похожа на шхуну старого Дюпюи, — сказал Гриф вполголоса по-таитянски. — Не смотрите слишком внимательно на нее. Как вам кажется? Мне думается, это «Валетта».

Когда гребцы вышли из вельбота и осторожно втащили его на берег, они украдкой, с разыгранной беспечностью взглянули раза два на шхуну.

— Это «Валетта», — сказал Таути. — Семь лет тому назад она сломала верхушку своей мачты. В Папаэтэ они сделали новую, короче на десять футов. Это она и есть.

— Идите, ребята, поболтайте с женщинами. С Райатеи почти виден Хаухин, и вы, наверное, знаете некоторых из них. Поищите знакомых. А если покажется кто-нибудь из белых, не ввязывайтесь в драку.

Армия крабов-отшельников разбежалась перед Грифом, когда он пошел по берегу, но под пальмами не хрюкали свиньи и не рылись в корнях. Кокосовые орехи валялись на том месте, куда упали с дерева, а навесы для копры были совершенно пусты. Все тростниковые хижины были разрушены. Гриф наткнулся на слепого, беззубого, иссохшего старика. Он сидел в тени и испуганно зашамкал, когда Гриф заговорил с ним. «Точно чума прошла по этой местности», — думал Гриф, когда наконец подошел к Большому Дому. Всюду было полнейшее разорение. Не видно было увешанных венками юношей и девушек, не возились смуглые ребятишки в тени авокадовых деревьев. На пороге сидела сгорбившись Матаара, старая королева, покачиваясь взад и вперед. Увидев Грифа, она заплакала, жалуясь на свои несчастья и на то, что некому оказать ему подобающее гостеприимство.

— И вот они взяли Науму, — проговорила она. — Мотуаро убит. Мой народ бежал и голодает вместе с козами. И здесь нет никого, кто бы мог открыть тебе кокосовый орех. О, брат мой! Твои белые братья — черти!

— Они не братья мне, Матаара,— утешил ее Гриф.— Они разбойники и свиньи, и я очищу от них остров.

Он внезапно замолчал. Его рука стремительно схватилась за пояс и снова выпрямилась, направляя большой револьвер Кольта в человека, который, согнувшись, бежал к нему из-за деревьев.

Гриф не успел выстрелить: человек упал к его ногам; послышался целый поток непонятных и ужасающих звуков. Гриф узнал того человека, который спрыгнул с «Валетты» и умчался в лес, но пока он не поднял его и не вгляделся в его губы, он решительно ничего не мог понять.

— Спасите меня, господин мой, спасите меня, — причитал тот по-английски, хотя, несомненно, его родиной были Южные Моря. — Я знаю вас... Спасите меня!

И опять раздались отчаянные вопли, пока Гриф, наконец, не схватил его за плечи и не начал трясти.

— Я знаю тебя,— сказал Гриф.— Ты был поваром во французском отеле в Папаэтэ два года тому назад. Тебя все называли Заячьей Губой.

Человек энергично закивал.

— Теперь я поваром на «Валетте», — зашепелявил он, стараясь говорить яснее и борясь со своим природным недостатком. — Я знаю вас. Я вас видел в отеле. Я видел вас у Лавины. Я видел вас на «Киттиуэке». Я видел вас и на верфях при постройке «Марипозы». Вы — капитан Гриф, и вы спасете меня. Те люди — настоящие черти. Они убили капитана Дюпюи. Они заставили меня убить половину экипажа. Двоих они застрелили на реях. Остальных они пристрелили на воде. Я знал их всех. Они похитили хаухипских девушек. Они набрали себе на помощь каторжников с Нумеи. Они ограбили агентов на Новых Гебридах. Они убили агента в Ваникори и увели оттуда двух женщин. Они...

Но Гриф больше не слушал. Со стороны гавани, за деревьями, раздались выстрелы из винтовок, и Гриф побежал к берегу. Пираты с Таити и каторжники из Новой Каледонии! Нечего сказать, хорошенькая компания! Они напали на его шхуну. Заячья Губа следовал за ним по пятам, бормоча про белых чертей.

Стрельба из винтовок смолкла так же внезапно, как и началась, но Гриф продолжал бежать, преследуемый ужасными опасениями, пока на повороте дорожки он не столкнулся с Маурири, мчавшимся к нему с берега.

— Большой Брат! — закричал человек-козел. — Я опоздал. Они захватили шхуну. Идем. Они теперь ищут тебя.

Он бросился по тропинке вглубь острова.

— Где Броун? — спросил Гриф.

— Он на Большой Скале. Я расскажу после, идем теперь.

— Но где мои люди с вельбота?

— Они вместе с женщинами на чужой шхуне. Они не убиты. Я говорю правду... Чертям нужны гребцы... Но тебя они хотят убить... Послушай!..

С воды донеслась французская охотничья песня, которую пел надтреснутый тенор.

— Они пристают к берегу. Они забрали твою шхуну... Я это видел... Идем!

III

Довольно беспечный ко всему, что касалось его личной безопасности, Дэвид Гриф не был, однако, склонен к ложной храбрости. Он твердо знал, когда нужно драться, когда — бежать, а что теперь спасаться бегством было необходимо — в этом он не сомневался. Он бежал по тропинке, мимо старика, прикорнувшего в тени, мимо Матаары, сидевшей сгорбившись на пороге Большого Дома. Он бежал по пятам Маурири, а следом за ним, как собака, ковылял Заячья Губа. Позади раздавались дикие крики, но Маурири несся, как ветер.

Широкая дорога становилась все уже, свернула вправо и стала подниматься вверх. Они миновали последнюю тростниковую хижину, продрались сквозь чащу высоких кассий и миновали рой крупных золотистых ос. Дорога вилась

все вверх и вверх, постепенно превращаясь в козью тропу. Маурири указал тропинку, извивавшуюся по обнаженному склону утеса.

— Пройдя ее, мы будем спасены, Большой Брат,— сказал он.— Белые черти не решаются туда взбираться, потому что мы сбросим им на головы каменные глыбы, а другой тропинки нет. Они всегда останавливаются здесь и стреляют, когда мы пробираемся по скале. Идем!

Четверть часа спустя они остановились на том месте, где тропинка начинала извиваться по обнаженному утесу.

— Отдохни немного, а потом иди как можно скорее, — сказал Маурири.

Он прыгнул на открытое место, ярко освещенное солнцем. Снизу послышалось несколько выстрелов. Пули засвистали вокруг него, поднялись столбы пыли, но он благополучно пробежал открытое место. Гриф последовал за ним. Одна из пуль пролетела от него на таком близком расстоянии, что пыль от удара пули в скалу осыпала ему щеку. Заячья Губа тоже остался невредим, хотя он перебегал через гребень гораздо медленнее. Весь остаток дня беглецы провели высоко в горах. Они залегли на лаве, где росли таро и дынное дерево. Здесь Гриф начертал дальнейший план действий и обдумал свое положение.

— Нам не посчастливилось, — сказал Маурири. — Совершенно случайно белые черти избрали эту ночь для рыбной ловли. Когда мы вошли в проход, было темно. Они были на шлюпках и в челноках. Винтовки всегда бывают при них. Они застрелили одного райатейца. Броун держал себя очень храбро. Мы попытались пробраться к задней части бухты, но они опередили нас, и мы оказались запертыми между Большой Скалой и деревней. Мы спасли ружья и все патроны, но черти завладели лодкой. Тогда они узнали о твоем приходе. Броун находится теперь на этой стороне Большой Скалы со всеми винтовками и патронами.

— Но почему же он не взобрался па Большую Скалу, чтобы подать мне оттуда сигнал, когда я показался с моря? — спросил Гриф.

— Никто не знает туда дороги. Знают только козы да я. А я забыл об этом. Я бросился в кусты, чтобы пробраться к воде и приплыть к тебе, но в кустах сидели белые черти и стреляли по Броуну и людям с Райатеи. За мной они охотились до рассвета, и утром они гоняли меня там, по низинам. Затем ты приплыл на твоей шхуне, и они следили за тобой, когда ты вышел па берег. Я пробирался сквозь кусты, но ты был уже на берегу.

— Так это ты стрелял?

— Да, чтобы тебя предостеречь. Но черти не глупы и не стали стрелять, а у меня не было патронов.

— Ну, рассказывай теперь ты, Заячья Губа, — сказал Гриф повару «Валетты».

Рассказ повара был длинен и мучительно подробен.

Целый год он плавал на «Валетте» от Таити до Паумоту. Старый Дюпюи был и владельцем, и капитаном судна. Во время своего последнего рейса он взял на судно двух человек из Таити, одного как помощника, другого как судового приказчика. Еще одного чужестранца он пригласил, чтобы назначить своим

агентом на Фанрики. Рауль Ван-Асвельд и Карл Лепсиус — таковы были имена помощника и приказчика.

— Они братья, я знаю. Я слышал, как они беседовали в темноте на палубе, когда думали, что никто не слышит, — объяснял Заячья Губа.

«Валетта» крейсировала среди мелких островов, собирая раковины и жемчуг на торговых пунктах, принадлежащих Дюпюи. Франс Амудсон, третий чужестранец, остался на Фанрики вместо Пьера Голлара, который перешел на судно, чтобы вернуться обратно на Таити. Туземцы Фанрики рассказывали, что у него была целая четверть галлона жемчуга для Дюпюи. В первую же ночь после отплытия из Фанрики в каюте послышались выстрелы. Затем тела Дюпюи и Пьера Голлара были выброшены за борт. Моряки с Таити убежали на бак.

Они оставались там в продолжение двух дней без еды, а «Валетта» лежала в дрейфе. Затем Рауль Ван-Асвельд подсыпал яду в пищу, приготовленную Заячьей Тубой, и велел ему отнести ее на бак. Половина матросов умерли.

— Он грозил пристрелить и меня. Что я мог поделать? — жаловался Заячья Губа.— Двое матросов из оставшихся в живых взобрались на реи, и их там застрелили. Остров Фанрики был на расстоянии десяти миль. Остальные матросы бросились вплавь. Их перестреляли на воде. Остался в живых только я, кроме двух белых чертей, потому что я был нужен им для стряпни. И в тот же день они с попутным ветром отправились назад в Фанрики и захватили с собой Франса Амундсона, так как он принадлежат к их шайке.

Затем Заячья Губа рассказал о кошмарной жизни во время длительного перехода шхуны на Запад. Он был единственным свидетелем всех событий и знал, что, конечно, убили бы и его, если бы он не был необходим, как повар. В Нумее к ним присоединились пять каторжников. Заячьей Губе не разрешалось выходить на берег во время стоянок, и Гриф был первым посторонним, с которым ему пришлось говорить.

— И теперь они убьют меня,— бормотал Заячья Губа, — так как они знают, что я говорил с вами. Но я вовсе не трус, и я останусь с вами, и умру вместе с вами.

Человек-козел покачал головой и встал.

— Лежи здесь и отдыхай, — сказал он Грифу. — Сегодня ночью будет большое плавание. А повара я возьму с собой в более высокие места, туда, где мои братья живут с козами.

IV

— Хорошо, что ты умеешь плавать как настоящий мужчина, Большой Брат, — прошептал Маурири.

Из образованного лавой ущелья они спустились вниз к бухте и вошли в воду. Они плыли тихо, без плеска; Маурири плыл впереди. Вокруг них поднимались черные стены кратера, точно они плыли на дне гигантской чаши. Над ними высилось небо с едва мерцающей звездной пылью. Впереди виднелись огни, указывавшие на место стоянки «Раттлера», и с его палубы раздавались

смягченные расстоянием звуки духовного гимна из граммофона, предназначавшегося для Пильзаха.

Оба пловца держались левее захваченной в плен шхуны. По окончании гимна послышалось пение и смех, потом снова заиграл граммофон.

— Нам нужно доплыть до пролива и пробраться на сушу у Большой Скалы, — прошептал Маурири. — Черти наблюдают за низкими местами... Слушай!

Выстрелы из полдюжины винтовок, последовавшие один за другим в неправильные промежутки времени, сказали им, что Броун еще не покинул своего поста на Скале, и что пираты стерегли узкий перешеек.

К концу второго часа они плыли под грозными выступами Большой Скалы. Маурири, нащупав дорогу, выбрался на берег по расщелине, от которой они проползли около ста футов до узкого выступа.

— Побудь здесь, — сказал Маурири. — Я пойду к Броуну. К утру я вернусь.

— Я хочу идти с тобой, мой брат, — сказал Гриф.

Маурири усмехнулся в темноте.

— Нет, Большой Брат, даже ты не можешь это сделать. Я — человек-козел, и только я один на всем Фуатино могу пробраться ночью к Большой Скале. Мало того, даже и я в первый раз решаюсь на это. Протяни свою руку, пощупай. Ты понял, что это? Здесь спрятан динамит Пильзаха. Ложись вплотную к стене, и ты можешь спать спокойно. Теперь я иду.

И под мерный шум прибоя, лежа на узеньком выступе скалы рядом с тонной динамита, Дэвид начал обдумывать план кампании. Затем, положив голову на руку, он заснул.

Утром, когда Маурири повел его к вершине Большой Скалы, Дэвид Гриф понял, почему он не мог вскарабкаться на нее ночью. Несмотря на закаленные нервы моряка, привыкшего к высотам и опасному лазанью, даже и среди белого дня он изумлялся, что одолевает этот переход. Были такие места, где Грифу приходилось, по указанию Маурири, перескакивать через провалы в сто футов глубиной, цепляться руками за противоположную стену, а затем медленно подтягивать на узкий выступ свое тело.

Один раз ему пришлось сделать прыжок над пропастью чуть ли не в полтысячи футов глубины. Нужно было пролететь десять футов, чтобы попасть на выступ скалы, такой узкий, что на нем было трудно стоять. Хладнокровие изменило Грифу на этом узеньком выступе в двенадцать дюймов ширины, где не за что было схватиться руками. Маурири, видя, что он теряет сознание, повис всем телом над бездной и перевел Грифа, в то же время сильно ударяя его по спине, чтобы прекратить головокружение. Тут Гриф понял, почему Маурири называли человеком-козлом.

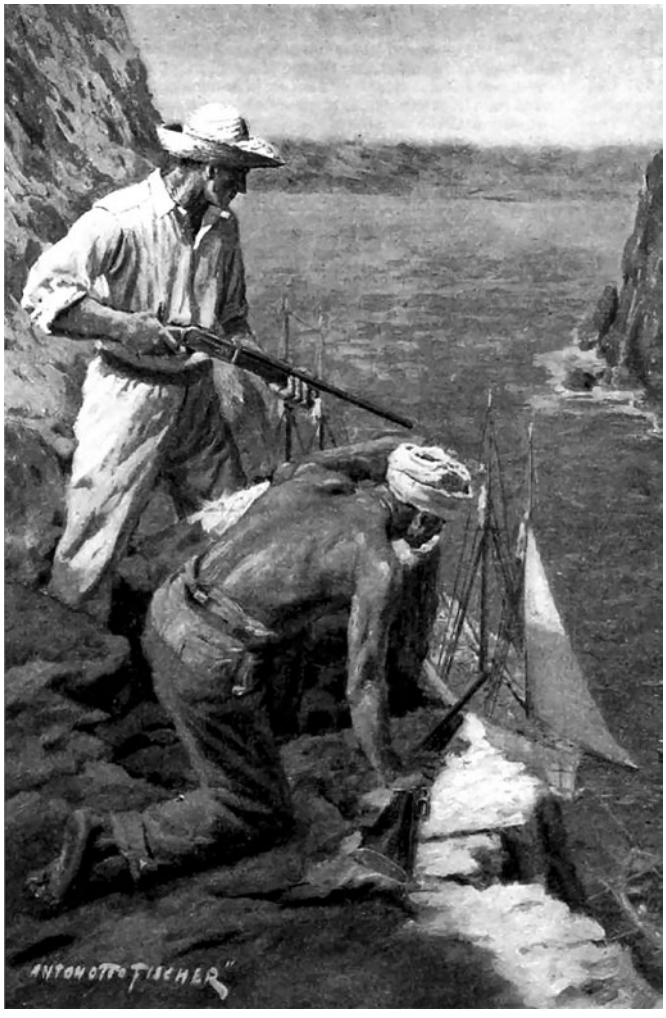
V

Крепость Большая Скала имела свои хорошие качества, но также и многие недостатки. Ее нельзя было взять приступом; ее могли защитить двое про-

тив десяти тысяч. Она охраняла проход к открытому морю. Две шхуны Рауля Ван-Асвельда и его сотоварищей оказались запертыми. Гриф был хозяином положения, — у него была целая тонна динамита, который он перенес постепенно на скалу. Преимущества своего положения он демонстрировал перед пиратами, когда шхуны собирались выйти в море.

«Валетту» вел на буксире вельбот, на котором работали пленники с Фуатино. Гриф и человек-козел смотрели вниз, спокойно стоя на каменной скале на высоте трехсот футов. Рядом с ними лежали их винтовки, тлеющий фитиль и большая связка динамитных патронов с фитилями и детонаторами. Когда вельбот оказался под ними, Маурири покачал головой.

— Это наши братья, мы не можем стрелять.



— Возвращайтесь обратно, или я взорву вашу шхуну.

На носу «Валетты» находилось много матросов Грифа из Райатеи. Один из них был на корме у руля.

Пираты или были внизу, или на другой шхуне, за исключением одного, который стоял посреди судна с винтовкой в руках. Чтобы защитить себя, он крепко прижимал к себе Науму, дочь королевы.

— Вон главный начальник чертей, — прошептал Маурири.— Его глаза такие же голубые, как твои. Он жестокий человек. Посмотри! Он держит Науму, чтобы мы не застрелили его.

Ветер дул с моря, и шхуна шла против течения очень медленно.

— Говорите ли вы по-английски? — крикнул Гриф вниз.

Человек пошевелился, приподнял винтовку, приведя ее почти в вертикальное положение,

и взглянул вверх. В его движениях было что-то быстрое, кошачье; на загорелом лице этого белокурого человека выражалась готовность к борьбе. Это было лицо убийцы.

— Да, — отвечал он. — Что вам нужно?

— Возвращайтесь обратно, или я взорву вашу шхуну, — пригрозил Гриф.

Он раздул горящее полено и прошептал:

— Скажи Науму, чтобы она вырвалась от него и бежала на корму.

С «Раттлера», шедшего следом за «Валеттой», раздались выстрелы, и пули защелкали по скале.

Ван-Асвельд вызывающе смеялся. Маурири крикнул женщине несколько слов на туземном наречии. Когда судно находилось как раз под ними, Гриф увидел, как женщина отскочила от державшего ее человека. В ту же минуту Гриф зажег пылавшей головней фитиль, подбежал к краю утеса и бросил вниз динамит. Ван-Асвельд поймал девушку и начал с ней бороться. Человек-козел направил на него винтовку и ожидал удобного момента.

Динамитный патрон стукнулся о палубу и откатился к шпигату на левой стороне судна.

Ван-Асвельд увидел это и остановился в недоумении. Потом он и девушка бросились на заднюю часть судна, спасая свою жизнь. Человек-козел выстрелил, но попал в угол камбуза. Стрельба с «Раттлера» усилилась, и двое стоявших на скале, пригнувшись к выступу, стали ждать. Маурири старался увидеть, что делалось внизу, но Гриф его удерживал.

— Фитиль был слишком длинен. — сказал он. — Следующий раз будет удачнее.

Через полминуты произошел взрыв. Они не могли видеть того, что произошло дальше, так как находившиеся на «Раттлере» стреляли по очереди, и огонь был непрерывный. Один только раз Гриф рискнул выглянуть, и две пули близко пролетели мимо него. Палуба и перила «Валетты» были разнесены вдребезги. Тонувшие остатки судна относило к гавани. Мужчины и хуахинские женщины, выскочившие из каюты «Валетты», карабкались на борт «Раттлера», доплыв до него под прикрытием огня. Фуатинцы, находившиеся на вельботе и тянувшие на буксире шхуну, бросили канат, шмыгнули в пролив и бешено гребли к южному берегу.

С перешейка раздались выстрелы из четырех винтовок и возвестили Грифу, что Броун и его люди пробились через джунгли к берегу и тоже начали действовать. Огонь по скале прекратился, и Гриф с Маурири открыли стрельбу из своих винтовок. Но их выстрелы не могли повредить врагу, так как с «Раттлера» стреляли под прикрытием палубных рубок, а ветер и течение относили все дальше шхуну. От «Валетты» не осталось и следа — она затонула в глубоких водах бухты.

Рауль Ван-Асвельд дважды выказал свою смелость и хладнокровие, чем привел в восторг Грифа. Рауль заставил стрельбой с «Раттлера» бежавших фуатинцев вернуться и сдаться.

В то же время он отправил половину своих пиратов на шлюпке с «Раттлера» на берег и занял перешеек, чтобы воспрепятствовать Броуну пробраться в центр острова. И в продолжение остальной части утра перемежающиеся выстрелы указывали Грифу на то, что Броуна оттесняли на другую сторону Большой Скалы. Положение не изменилось, за исключением потери «Валетты».

VI

Позиция на Большой Скале имела очень существенные недостатки.

Там неоткуда было добыть ни пищи, ни воды. Несколько раз Маурири в сопровождении одного из райатейцев отправлялся по ночам вплавь к заливу за продовольствием. Но раз ночью на воде показались огни, и послышались выстрелы. После этого Большую Скалу стали сторожить и со стороны моря.

— Забавное положение, — заметил Броун; ему, наконец, пришлось испытать одно из интересных приключений, которые, по его мнению, ожидали всегда моряков в Южных Морях. — Мы не пускаем наших врагов, но и сами не можем уйти; Рауль держит нас в осаде и тоже не может уйти. Он не может выбраться отсюда, и мы подохнем с голоду, сторожа его здесь.

— Если пойдет дождь, расщелины скал наполнятся водой, — сказал Маурири. Это были первые сутки, когда у них не было ни капли воды. — Большой Брат, сегодня ты и я достанем воды. Это могут сделать только сильные люди.

Когда наступила ночь, они взяли выдолбленные кокосовые орехи, крепко заткнутые, вместимостью в одну кварту, и Маурири повел Грифа вниз к воде, с той стороны Большой Скалы, где она примыкала к острову. Они проплыли не более ста футов. Они иногда слышали плеск весла или удары по челноку; временами они видели, как вспыхивала спичка, когда в стороживших шлюпках закуривали папиросу или трубку.

— Подожди здесь, — прошептал Маурири, — и держи сосуды. — Он повернулся и нырнул.

Гриф, наклонившись, смотрел, как затуманивался и, наконец, совсем исчез его фосфоресцирующий след. Прошла томительная минута, и Маурири бесшумно всплыл около Грифа на поверхность.

— Вот она! Пей!

Сосуд был полон, и Гриф пил прохладную пресную воду, которую тот принес из глубин соленого моря.

— Она течет из земли.

— По дну?

— Нет. Дно так же далеко внизу, как гора далеко вверху. Она течет на пятидесяти футах глубины. Нужно нырнуть и опускаться до тех пор, пока не почувствуешь прохладной воды.

Несколько раз вдохнув и выдохнув воздух, как это делают водолазы, Гриф нырнул и стал погружаться в воду. Губы его ощущали соленую влагу, а тело омывалось теплой водой, но, наконец, на большой глубине вода стала заметно

прохладней, а на вкус менее соленой. Вслед за тем он неожиданно попал в холодный поток. Он повернул маленькую пробку своего сосуда, и в то время, когда пресная вода наполняла сосуд, Гриф увидел фосфорическое мерцание громадной рыбы, медленно проплывшей мимо, точно дух моря.

Затем, держа в руках потяжелевшие сосуды, он остался на поверхности, а Маурири брал сосуды по одному, нырял и наполнял их.

— Здесь есть акулы, — сказал Гриф, когда они подплывали к берегу.

— Пустяки, — последовал ответ, — это акулы, которые едят рыб. Мы — фуатинцы — братья этих акул.

— Но тигровые акулы... Я встречал их здесь.

— Если они появятся здесь, у нас не будет воды для питья, пока не пойдет дождь.

VII

Неделю спустя Маурири и один райатеец приплыли с пустыми сосудами. В гавани появились тигровые акулы. На следующий день им пришлось терпеть жажду на своей Большой Скале.

— Надо попытать счастье, — сказал Гриф. — Сегодня вечером я отправлюсь с Маутау за водой. Завтра ночью, брат, ты пойдешь с Техаа.

Гриф набрал три кварты, когда появилась тигровая акула и прогнала его. На скале было шесть человек, а при нестерпимой тропической жаре для человека недостаточно лишь одной пинты воды в день.

В свою очередную ночь Маурири и Техаа вернулись без воды. И на следующий день Броун испытал муки жажды. Губы трескались до крови, рот наполнялся густой слизью и распухший язык с трудом помещался во рту.

Гриф с Маутау ныряли поочередно в темноте, прорывались через соленые струи к холодной пресной воде и пили ее всласть, пока наполнялись сосуды. Пришла очередь Маутау спуститься с последним сосудом, и Гриф, смотря с поверхности воды вниз, увидел мерцание морских призраков и по перемещению светящихся пятен понял, что происходила борьба. Он поплыл назад один, но не бросил своей драгоценной ноши — полных сосудов пресной воды.

Пищи у них было мало. На скале не было никакой растительности, а склоны, омывавшиеся приливом и покрытые моллюсками, были слишком недоступны вследствие своей крутизны.

Там и сям, где можно было пройти по расщелинам, осажденным удалось набрать несколько моллюсков и морских ежей. Иногда в их силки попадались фрегаты и другие морские птицы. Однажды выловили акулу, приманив ее мясом фрегата. После этого им не раз удавалось ловить акул. Приманкой служили куски мяса акулы, которые они сохранили специально для ловли акул.

Но больше всего они нуждались в воде. Маурири молил о дожде бога коз, Таути возносил мольбы миссионерскому богу, а два его товарища, островитяне, вспоминая прежнюю веру, призывали своих языческих богов. Гриф посмеивал-

ся и размышлял. А Броун, с дико блуждающим взглядом, с громадным почерневшим языком, проклинал все и вся. Особенно его злил граммофон, распевающий духовные псалмы на палубе «Раттлера». Один гимн — «Там, где нет ни смеха, ни слез» — приводил его в исступление. По-видимому, на шхуне он нравился больше всех остальных, и его беспрестанно играли.

Измученный голодом и жаждой, почти потерявший сознание от слабости, Броун мог еще кое-как переносить, лежа на камнях, бренчанье «укулеле», гитар и пение хуахинских женщин. Но когда звуки гимна святой Троице проносились над водой, он окончательно выходил из себя. Раз вечером надтреснутый тенор вторил граммофону:

Там, где нет ни смеха, ни слез,
Я буду скоро.
Там, где нет ни пробуждения, ни грез,
Я буду скоро.
Там, где не сеют, не жнут,
Я буду скоро, я буду скоро.

Тогда Броун поднялся. В слепом бешенстве, выстрел за выстрелом он направлял в шхуну. Раздался мужской и женский смех, с перешейка послышались ответные выстрелы, но хриплый тенор продолжал петь, а Броун продолжал стрелять, пока не кончился гимн.

В эту ночь Гриф и Маурири вернулись с одним сосудом воды. Кожа па плече Грифа была содрана на протяжении шести дюймов шершавой, как наждак, чешуей акулы. Ему удалось спастись от страшного морского хищника каким-то чудом.

VIII

Ранним утром одного дня, когда солнце еще не довело обычного зноя до полной силы, пришла весть от Рауля Ван-Асвельда с предложением о переговорах.

Ее принес Броун с передового поста, находившегося за сто ярдов от них среди скал.

Гриф сидел на корточках над небольшим костром, на котором он жарил кусок мяса акулы. За последние сутки им повезло. Они набрали морских ежей и водорослей. Техаа поймал акулу, а Маурири нашел громадного осьминога у подножья скалы, в расщелине которой был сложен динамит. Наконец, им дважды удалось благополучно набрать пресной воды, прежде чем их прогнали акулы.

— Он сказал, что хочет прийти и поговорить с вами, — объявил Броун. — Но я знаю, в чем тут загвоздка. Эта скотина хочет посмотреть, как мы здесь подыхаем с голода.

— Приведите его, — сказал Гриф.

— И мы убьем его, — закричал радостно человек-козел.

Гриф покачал головой.

— Но ведь он убийца, Большой Брат. Он зверь и дьявол, — возражал человек-козел.

— Его не следует убивать. Мы должны держать наше слово, это наше правило.

— Но это глупое правило!

— Таково наше правило, — отвечал Гриф серьезно, повертывая жарившуюся на углях акулу и ловя жадный взгляд Техаа.

— Не выказывай жадности, Техаа, когда придет Большой Черт, делай вид, будто ты совершенно незнаком с голодом. Вот приготовь этих морских ежей, а ты, Большой Брат, изжарь осьминога. Мы будем угощать Большого Черта. Не жалей ничего. Готовь все.

Гриф еще не кончил, когда подошел Рауль Ван-Асвельд, сопровождаемый ирландским терьером. Рауль был догадлив и не протянул руки.

— Хэлло, — сказал он. — Я слышал о вас.

— Я предпочитал бы ничего не слышать о вас.

— Также и я. Вначале я не знал, кто это здесь, и думал, что имею дело с заурядным капитаном торгового судна. Потому-то вам и удалось запереть меня.

— А я должен сознаться, к своему стыду, что оценивал вас слишком низко,— улыбнулся Гриф.— Я считал вас просто береговым воришкой, а не тем по-настоящему умным пиратом и убийцей, каким вы оказались. Поэтому я и потерял свою шхуну. Полагаю, теперь мы узнали друг друга.

Рауль сердито вспыхнул под своим загаром, но сдержался. Он впился взглядом в съестные припасы и сосуды с водой, стараясь скрыть свое удивление. Гриф вглядывался в лицо этого стройного высокого человека, стремясь разгадать его. Глаза Рауля выражали смелость и твердость, но были посажены слишком близко друг к другу, что не гармонировало с широким лбом, сильным подбородком, крепкими челюстями и крупными костями всей головы. От этого человека веяло силой. Да, силой. Но все-таки Гриф чувствовал, что чего-то ему недостает.

— Мы оба сильные люди, — сказал Рауль, кланяясь. — Лет сто назад мы, наверное, сражались бы за могущество империи.

Пришла очередь Грифу поклониться.

— Теперь же мы ведем борьбу из-за колониальных законов тех самых империй, вершителями судеб которых мы могли бы быть сто лет назад.

— Все рассыпается в прах, — заметил наставительно Рауль, садясь. — Продолжайте ваш обед, я не хочу мешать вам.

— Не хотите ли с нами пообедать? — пригласил Гриф.

Тот пристально посмотрел на него и затем согласился.

— Я весь пропотел, — сказал он. — Можно мне умыться?

Гриф утвердительно кивнул и велел Маурири принести сосуд с водой. Рауль пронзительно посмотрел в глаза человеку-козлу, но в них отражалось полное равнодушие к драгоценной кварте воды, расплескиваемой на землю.

— Я держу вас в тисках и не выпущу.

— Моя собака хочет пить, — сказал Рауль.

Гриф кивнул, и собаке принесли другую фляжку воды.

Рауль снова пристально взглянул в глаза туземцев, но не заметил в них никакой тревоги.

— Жаль, что нет кофе, — извинился Гриф. — Вам придется пить простую воду. Техаа, принеси еще воды. Попробуйте это мясо акулы. Потом будут осьминоги, морские ежи и салат из водорослей. Досадно, что сегодня нет фрегата. Мои ребята вчера заленились и не пошли на охоту.

Гриф был так голоден, что не отказался бы от гвоздей, помазанных салом, но ел он с видимой неохотой и бросал кусочки собаке.

— Боюсь, что не смогу привыкнуть к этому первобытному столу, — вздохнул Гриф, откидываясь назад. — На «Раттлере» много всяких консервов, и я мог бы угощаться прекрасными кушаньями, а вся эта гадость... — Он взял кусок жареного мяса с полфунта весом и бросил его собаке. — Надеюсь, что в конце концов привыкну, если вы не сдадитесь в скором времени.

Рауль натянуто рассмеялся.

— Я пришел предложить вам соглашение, — отчеканил он.

Гриф покачал головой.

— Ни о каком соглашении не может быть и речи. Я держу вас в тисках и не выпущу.

— Вы полагаете, что можете удержать меня в этой дыре? — закричал Рауль.

— Живым вам отсюда не уйти, разве только в двойных кандалах. — Гриф задумчиво посмотрел на Рауля. — Мне приходилось когда-то иметь дело с людьми, подобными вам. Мы основательно очистили от них Южные Моря. Но вы... как бы это яснее выразиться? Вы являетесь своего рода анахронизмом[1]. Вы человек прошлых времен, и нам нужно уничтожить вас. Я бы лично посоветовал

[1] Анахронизм — ошибка против времени, остаток старины, не вяжущийся с современным укладом жизни.

вам вернуться на шхуну и размозжить себе голову. Это единственный способ избежать угрожающей вам судьбы.

Переговоры произвели на Рауля впечатление полной для него безнадежности; ему казалось, что Гриф может продержаться еще годы, но если бы он увидел то, что произошло после его ухода, он бы переменил свое мнение. Техаа и райатейцы бросились собирать и пожирать объедки, которые не доела собака.

IX

— Мы голодаем, Брат, — сказал Гриф, — но лучше поголодать теперь, чем много дней в будущем. Большой Черт, поугощавшись с нами, поев и попив вдоволь, недолго останется в Фуатино. Он, наверное, уйдет даже завтра. Сегодня нам с тобой придется ночевать на вершине скалы, и Техаа, который очень ловко стреляет, тоже должен быть с нами, если только он решится взойти на скалу.

Из всех райатейцев один Техаа был способен взбираться по таким опасным местам, и на рассвете он карабкался по скалам в ста футах вправо от Грифа и Маурири.

Первым предостережением были выстрелы из винтовок, раздавшиеся с перешейка, — это Броун и его два райатейца подавали сигналы об отступлении врагов, за которыми они следовали через джунгли к берегу. Со своего орлиного гнезда на вершине скалы Грифу ничего не было видно, пока, наконец, не показался «Раттлер», идущий к проливу. Пленные фуатинцы тащили его на буксире. Как и раньше, Маурири, под руководством Грифа, кричал им наставления, когда они медленно проплывали мимо. Рядом с Грифом была сложена связка шашек динамита с чрезвычайно короткими фитилями.

Много матросов толпилось на палубе «Раттнера».

На носу, среди райатейских матросов, стоял с винтовкой один из негодяев; Маурири сказал, что это брат Рауля. На корме, около рулевого, находился другой. К нему была привязана Матаара, старая королева острова. По другую сторону рулевого стоял капитан Гласс с рукой на перевязке. Посреди судна, как и раньше, стоял Рауль, связанный с Науму.

— Доброе утро, мистер Дэвид Гриф! — закричал Рауль.

— Я же предупреждал вас, что уйти с острова вы можете только в двойных кандалах, — с печалью в голосе проговорил Гриф.

— Не можете же вы убить всех ваших, находящихся на моем судне! — последовал ответ.

Шхуна подвигалась очень медленно; люди, тянувшие ее на буксире, гребли неравномерно; наконец шхуна подошла под самую скалу. Гребцы, не переставая грести, сильно замедлили ход, и человек, стоявший на палубе, тотчас же красноречиво погрозил им своей винтовкой.

— Бросай, Большой Брат! — закричала Науму на фуатинском наречии. — Я наполнена горем и хочу умереть. У него наготове нож, чтобы перерезать ве-

ревку, но я буду крепко держать его. Не бойся, Большой Брат, бросай, бросай прямо в нас — и прощай.

Гриф колебался, затем опустил горящее полено, которое он только что сильно раздул.

— Бросай, — советовал человек-козел.

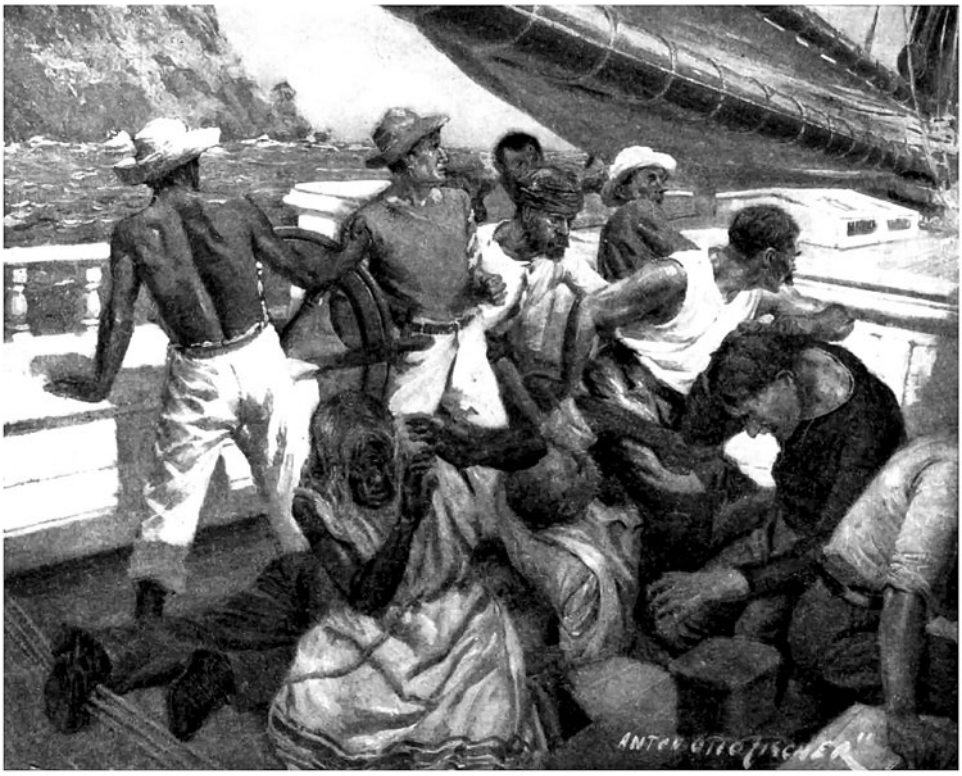
Гриф оставался в нерешительности.

— Если они уйдут в море, Большой Брат, Науму все равно умрет. А ведь есть еще много других. Что значит ее жизнь против многих?

— Если вы бросите динамит или выстрелите хоть один раз, мы убьем всех ваших, — закричал им Рауль. — Я поймал вас, Гриф. Вы не можете убить этих людей, а я могу. Эй, замолчи!

Последние слова относились к Науму, которая кричала на своем родном языке. Рауль схватил ее за шею и начал трясти, пока она не замолчала. Но она также схватила его обеими руками и умоляюще смотрела на Грифа.

— Бросайте, мистер Гриф, и черт с ними, — захрипел своим густым голосом капитан Гласс. — Они бесчеловечные убийцы, вся каюта битком набита ими.



Винтовка выпала из рук человека, на его лице отразилось невыразимое удивление, когда ноги под ним подкосились, и он упал на палубу, увлекая за собой царицу.

Негодяй, связанный со старой царицей, обернулся, чтобы погрозить капитану Глассу своей винтовкой, в то время как Техаа прицелился в него со скалы и спустил курок. Винтовка выпала из рук человека, на его лице отразилось невыразимое удивление, когда ноги под ним подкосились, и он упал на палубу, увлекая за собой царицу.

— Правь налево, как можно левее! — закричал Гриф.

Капитан Гласс и канак быстрее завертели колесо, и нос «Раттлера» повернулся к скале. Посреди судна Рауль все еще боролся с Науму. С носа шхуны к нему на помощь бежал его брат, ускользая от непрерывных выстрелов Техаа и человека-козла.

Когда брат Рауля приставил дуло своей винтовки вплотную к Науму, Гриф поджег головней расщепленный конец фитиля.

В ту минуту, как он обеими руками бросил динамит, раздался выстрел из винтовки, и Науму упала на палубу одновременно с падением динамита. На этот раз фитиль был достаточно короток. Взрыв раздался тотчас же, как динамит коснулся палубы, и та часть «Раттлера», на которой находился Рауль, его брат и Науму, была разрушена.

Бок шхуны был пробит, и она медленно начала тонуть. С носа райатейские матросы бросились через борт в воду.

Капитан Гласс встретил первого человека, выскочившего из каюты наверх через люк, сильным ударом в лицо, но бежавшие опрокинули его и смяли ногами. За негодяями выбежали хуахинские женщины; едва они успели попрыгать за борт, как шхуна начала погружаться в воду у самого подножия скалы.

Только верхушки мачт торчали над водой, когда «Раттлер» окончательно опустился на дно.

Гриф смотрел вниз и видел, что происходило в глубине. Он видел, как Матаара, находившаяся футов на шесть под водой, отвязалась от мертвого пирата, с которым была связана, и поднялась на поверхность. Когда ее голова показалась над водой, она увидела капитана Гласса: он не мог плыть и тонул в нескольких ярдах от нее. И королева, совсем старая женщина, но истая островитянка, подплыла к нему и поддержала его, ухватившись за выступавшую мачту.

На поверхности среди черных голов полинезийцев виднелось пять русых голов. Гриф с винтовкой в руках выжидал удобного момента, чтобы выстрелить. Через минуту человек-козел удачно выстрелил, и они увидели, как труп застреленного начал медленно погружаться в воду. Но райатейские матросы, крупные и мускулистые, чувствующие себя в воде как рыбы, сами сделались мстителями. Они быстро образовали цепь вокруг белокурых и русых голов.

Наблюдавшие с вершины скалы видели, как четырех оставшихся в живых негодяев схватили, начали толкать в глубь и потопили точно щенят.

В десять минут все было кончено. Хуахинские женщины, смеясь и кривляясь, цеплялись за края вельбота, тащившего прежде шхуну на буксире. Райатейские матросы ожидали приказаний. Все они собрались к верхушкам мачт, около которых держались капитан Гласс и Матаара.

— Бедный старый «Раттнер»! — горевал капитан Гласс.

— Ничего, — отвечал Гриф. — Через неделю мы поднимем его, починим и отправимся восвояси. — Он спросил королеву: — Как ты себя чувствуешь, Сестра?

— Науму нет, и Мотуаро нет, Брат, но Фуатино опять наш. День только нарождается. Надо послать весть нашим братьям, скрывающимся на высотах с козами. И сегодня вечером мы снова будем пировать и веселиться в Большом Доме, как никогда раньше.

— Шхуне давно уже следовало переменить бимсы[1], — сказал капитан Гласс. — Но хронометром нам не придется пользоваться до конца плавания.

[1] Бимсы — поперечные брусья корабля, связывающие его бока и служащие основанием палубы.

ШУТНИКИ НА НОВОМ ГИББОНЕ

I

— Я почти боюсь брать вас на Новый Гиббон,— сказал Дэвид Гриф.— Я добился кое-каких результатов только тогда, когда вы и англичане предоставили мне действовать по моему усмотрению и оставили остров.

Валленштейн, германский резидент из Бугенвиля, налил себе шотландского виски с содовой и улыбнулся.

— Мы преклоняемся перед вами, мистер Гриф, — сказал он по-английски, с прекрасным произношением. — Вы сделали чудеса на Новом Гиббоне. Мы и впредь не будем вмешиваться в ваши дела. Этот остров — просто чертов остров, а старый Кохо — самый свирепый из всех чертей. Мы никогда не могли сладить с ним. Он лгун, но не дурак. Это чернокожий Наполеон, охотник за черепами, Талейран, пожирающий людей. Я помню, как шесть лет назад я прибыл сюда на английском крейсере. Негры попрятались в кусты, но мы нашли несколько человек, которым не удалось убежать. Среди них была его последняя жена. Она была повешена за одну руку пожариться на солнце и висела двое суток. Мы сняли ее, но тем не менее она умерла. Затем мы нашли в холодной проточной воде трех женщин, погруженных туда по самую шею. Все их кости и суставы были переломаны. Это было сделано должно быть для того, чтобы они стали мягче для еды. Они были еще живы. Жизнеспособность у них замечательная. Самая старая из женщин прожила около десяти дней после того, как мы их вынули. Вот какую диету соблюдал Кохо! Ничего нет удивительного, он настоящее дикое животное. Мы совершенно недоумеваем, как вам удалось его приручить.

— Я бы не сказал, что я его приручил, — отвечал Гриф, — хотя он приходит и ест из рук.

— Вы достигли больше, чем мы с нашими крейсерами. Ни немцу, ни англичанину не приходилось его видеть. Вы были первым.

— Нет, первым был Мак-Тавиш, — возразил Гриф.

— Ах да, я помню этого маленького сухонького шотландца. — Валленштейн выпил виски. — Его прозвали Укротителем, не так ли?

Гриф кивнул.

— Они говорят, что вы платите ему больше, чем получаю я или британский резидент.

— Боюсь, что это так, — согласился Гриф. — Видите ли, не обижайтесь, пожалуйста, — он этого достоин. Он всегда там, где происходят непорядки. Он сущий колдун. Это при его посредстве я мог водвориться на Новом Гиббоне. Теперь он находится на Малаите, где разбивает для меня плантацию.

— Первую?

— На всей Малаите нет даже торговой станции. Вербовщики все еще пользуются крытыми лодками с колючей проволокой вокруг. Теперь там есть уже плантация. Мы доберемся через полчаса. — Он протянул своему гостю бинокль. — Слева от дома навесы для лодок, сзади бараки, а направо навесы для копры. Мы теперь ее просушиваем, хотя и в небольших количествах. Старый Кохо настолько цивилизовался, что уже может приказать своим подданным собирать кокосовые орехи. Вон устье той реки, в которой мы нашли тех трех женщин.

Мы доберемся через полчаса.
— Он протянул своему гостю бинокль.

«Уондер» шел прямо к месту стоянки. Он лениво колыхался на волнах, точно отлитых из синего стекла; около кормы шла легкая рябь.

Был конец того времени года, когда дуют муссоны, и воздух был тяжелый, насыщенный тропической влажностью; небо заволоклось свинцовыми бесформенными тучами. Сквозь разорванные клочья тумана и дождевых туч виднелась холмистая местность. Мрачно вырисовывалось побережье и горные вершины, находящиеся в глу-

бине острова. На одном мысе солнце жестоко обжигало землю, а на другом — на расстоянии мили — лил неистовый ливень.

Это был сырой плодородный дикий остров Новый Гиббон, лежавший за пятьдесят миль от Шуазеля. По своему географическому положению он относился к группе Соломоновых островов, но политически здесь соприкасались германские и английские влияния, делившие его пополам, вследствие чего он находился под общим контролем полномочных представителей обеих стран. Это двойственное управление Новым Гиббоном существовало только на бумаге, в колониальном делопроизводстве той и другой страны. На самом деле никакого контроля не существовало ни теперь, ни раньше.

Ловцы трепанга в прежние времена проходили мимо этого острова. Торговцы сандаловым деревом после неудачного опыта с жестокими последствиями тоже перестали посещать его. Вербовщикам чернокожих никогда не удавалось завербовать там хоть одного туземца, и после того, как на шхуне «Дорсет» вырезали весь экипаж, остров был предоставлен самому себе.

Одна германская компания пыталась устроить там плантацию кокосовых пальм, но единственным результатом было то, что нескольким управляющим, а также значительному числу рабочих отрезали головы, и предприятие было брошено. Немецким и английским крейсерам не удавалось завязать сношения с туземцами. Миссионерские общества четыре раза пробовали мирно завоевать остров, но все четыре раза принуждены были оставить его, гонимые болезнями и убийствами.

Новые и новые крейсера, новые и новые попытки усмирения не имели никакого успеха. Каннибалы скрывались в глубине зарослей и смеялись при бомбардировке гранатами. Когда военные суда уходили, дикари без особого труда восстанавливали свои сожженные соломенные хижины.

Новый Гиббон был довольно большим островом, миль полтораста длиной и семьдесят пять шириной.

Его наветренный берег недоступен — крут, скалист, без всяких пригодных для стоянки мест и населен несколькими вечно воюющими между собой племенами. Племена враждовали между собой, пока не появился Кохо, который, подобно Камехамеху, силой оружия и умелой политикой объединил разрозненные племена в один союз. Кохо был в высшей степени прав, запрещая своему племени какие-либо сношения с белыми и охраняя независимость своего народа; после посещения последнего крейсера он единолично управлял островом, пока Дэвид Гриф и Мак-Тавиш — Укротитель — не высадились на пустынном берегу, где когда-то были немецкие бунгало, бараки и дома английских миссионеров.

Последовали войны, фальшивые перемирия и опять войны. Маленький сухонький шотландец умел поднимать мятежи, так же как и усмирять их; он не удовлетворился властью над одним побережьем, он привез бушменов с Малаиты и вторгался на тропинки диких кабанов в чаще джунглей. Он сжигал деревни до тех пор, пока Кохо не наскучило их возобновлять, и, наконец, ког-

да забрали в плен старшего сына Кохо, старый вождь принужден был начать переговоры. Мак-Тавиш установил курс на черепа. За каждую голову белого он обещал снимать десять голов туземцев. Когда Кохо убедился, что шотландец крепко держит слово, впервые воцарился прочный мир.

Мак-Тавиш выстроил бунгало и бараки, очистил от джунглей берег и начал насаждать плантацию. После этого он отправился на островок Тасман, где начались беспорядки из-за эпидемии кори. Колдуны и знахари приписывали ее распространение плантациям Грифа. Год спустя он был вызван на Новый Гиббон, чтобы снова подтянуть туземцев. Кохо принужден был отдать белым двести тысяч кокосовых орехов; после этого он решил, что значительно выгоднее для него сохранять мир и продавать орехи. К тому же он за эти годы утерял свою юношескую пылкость. Он состарился и охромел на одну ногу, которую прострелила пуля из английской винтовки.

II

— На Гавайских островах я знавал одного парня,— сказал Гриф,— надсмотрщика на сахарной плантации; он пользовался для этого молотком и десятипенсовым гвоздем.

Они сидели на широкой веранде бунгало и наблюдали за Уорсом, управляющим плантациями на Новом Гиббоне, который был занят осмотром больных. Эти парни были из Новой Георгии, собралось их человек двенадцать, и последним оставался туземец, у которого болели зубы. Уорсу не удалась его первая попытка. Одной рукой он вытирал пот со лба, другой размахивал щипцами.

— И наверное, сломал немало челюстей, — мрачно возразил он.

Гриф покачал головой. Валленштейн улыбнулся и приподнял брови.

— Во всяком случае, он этого не говорил, — объяснил Гриф. — Наоборот, он уверял меня, что операция ему удается сразу.

— Я видел, как это делается, когда я был вторым помощником, — сказал капитан Уорд. — Наш старик-капитан пользовался колотушкой для конопачения и стальным драйком. С первого удара он выбивал зубы с корнем.

— Предпочитаю щипцы, — проворчал Уорс угрюмо, засовывая в рот чернокожего свой инструмент. Когда он начал тащить, дикарь заревел и привскочил. — Помогите мне кто-нибудь, подержите его, — просил управляющий.

Гриф и Валленштейн с двух сторон схватили чернокожего и крепко держали его. Он отбивался от них и стискивал зубами щипцы. Кучка людей вертелась во все стороны. От нестерпимой жары и от энергичных упражнений со всех лил градом пот. Дикарь обливался потом, но уже не от жары, а от невыносимой боли. Стул, на котором он сидел, был давно опрокинут. Капитан Уорд немножко приостановился, чтобы освежиться глотком виски, и старался ободрить несчастного. Уорс просил своих помощников еще подержать больного и продолжал свое дело, пока не послышался хруст; зуб был выдернут.

Гриф и Валленштейн с двух сторон схватили чернокожего и крепко держали его.

Никто не заметил маленького черного человечка, который пробрался по лестнице и смотрел на происходившее. Кохо был консервативен. Его отец не носил никакой одежды; так же поступал и он, даже не надевал набедренной повязки. Множество дырок в носу, губах и ушах говорило о его, теперь уже прошедшей, страсти украшаться. В мочках его ушей отверстия были разодраны, и полоски дряблого мяса свешивались до самых плеч. Теперь он рассматривал свои уши с точки зрения пользы: в одно из отверстий он вдел короткую глиняную трубку. Его стан был стянут дешевым поясом, и обнаженный клинок длинного ножа торчал между кожей пояса и его собственной. С пояса свешивалась бамбуковая коробочка. В руках он держал короткую снайдеровскую винтовку с широким дулом. Он был невообразимо грязен; тело пестрело шрамами; самый ужасный шрам был на левой ноге, куда попала пуля. На этой ноге икра была вдвое тоньше икры другой ноги. Его впалый рот указывал, как мало зубов у него осталось. Морщинистое лицо и тело казались иссохшими, но черные глаза, похожие на бусы, маленькие и близко посаженные друг к другу, ярко блестели, хотя по своему тревожному и жалобному выражению они скорее были похожи на глаза обезьяны, чем человека.

Он смотрел ухмыляясь, точно маленькая обезьяна. Удовольствие, которое он испытывал при виде страданий пациента, было совершенно естественно, так как он сам жил в мире страданий. Он сам перенес очень много тяжелого в жизни, но еще больше доставил страданий другим. Глаза старого Кохо радостно заблестели, когда зуб наконец был вырван и щипцы, прошедшие с треском по остальным зубам пациента, были вытащены изо рта; он весело смотрел

на несчастного чернокожего, который, распростершись в изнеможении на полу веранды, отчаянно завывал, охватив обеими руками голову.

— Мне кажется, ему сейчас сделается дурно,— сказал Гриф, наклоняясь над жертвой.— Капитан Уорд, пожалуйста, дайте ему немножко выпить. И вы, Уорс, непременно выпейте, вы дрожите, как лист.

— Пожалуй, я тоже выпью, — сказал Валленштейн, вытирая со лба пот. Его глаза заметили на полу тень Кохо, а затем он увидел и самого вождя. — Хэлло! Кто это там?

— Хэлло, Кохо, — сказал любезно Гриф, но не подал ему руки; он знал, что этого не следует делать. Это было одно из табу, наложенных на Кохо при рождении колдунами-знахарями. Он никогда не должен был прикасаться к телу белого. Уорс и капитан Уорд с «Уондера» приветствовали Кохо, но Уорс с неудовольствием заметил снайдеровскую винтовку; это было также одно из табу для бушменов — они не смели приходить с оружием на плантации. Бывали случаи, когда винтовки стреляли самым неожиданным образом в этом краю. Управляющий ударил в ладоши, и молодой чернокожий слуга, завербованный с Сан-Ристобаля, вбежал на веранду. По знаку Уорса он взял у посетителя винтовку и унес ее внутрь бунгало.

— Кохо, — сказал Гриф, указывая на германского резидента, — это большой хозяин из Бугенвиля, очень большой хозяин.

Кохо, вспомнив приезжавшие немецкие крейсера, усмехнулся; в глазах его вспыхнули недобрые огоньки.

— Не подавайте ему руки, — предостерег Гриф Валленштейна. — Вы ведь знаете их табу. — Затем он обратился к Кохо: — Честное слово, на тебе наросло много жиру. Не хочешь ли ты жениться на новой Марии? А?

— Мой слишком стар, — сказал Кохо, устало мотнув головой. — Мой не любит Марий. Мой не любит кай-кай (пищи). Мой скоро умрет.

Он значительно взглянул на Уорса, который, запрокинув голову, допивал стакан.

— Мой любит ром.

Гриф покачал головой.

— Это табу для черный товарищ.

— Тот черный товарищ не табу, — возразил Кохо, кивая головой в сторону воющего работника.

— Тот товарищ больной.

— Мой тоже больной.

— Ты большой обманщик, — засмеялся Гриф. — Ром — табу, всегда табу. Теперь, Кохо, нам нужно большой разговор про этот большой хозяин.

И вместе с Валленштейном и старым вождем они уселись на веранде, чтобы говорить о государственных делах. Они похвалили Кохо за сохранение мирных отношений; тот указывал на свою старческую дряхлость и клялся, что никогда не нарушит мира. Затем обсуждали вопрос об устройстве немецкой плантации на расстоянии двадцати миль отсюда. Эту землю надо было купить у Кохо,

и они назначили цену: вознаграждение должно было состоять из табака, ножей, бус, трубок, топоров, зубов морских свинок, денег из раковин — словом, всего, исключая рома. Во время беседы Кохо, взглянув в окно, увидел Уорса, составлявшего лекарства и расставлявшего в шкафу склянки с лекарствами. Кроме того, он увидел, как управляющий, заканчивая свою работу, налил себе шотландского виски. Кохо хорошо приметил бутылку. Он чуть ли не целый час топтался в комнате, после того как их разговор был окончен, но ему не удалось улучить ни одной такой минуты, чтобы в комнате никого не было. Когда Гриф и Уорс занялись деловой беседой, Кохо собрался уходить.

— Мой пойдет на шхуну, — объявил он и вышел.

— Как упало его могущество! — засмеялся Гриф. — Странно подумать, что это тот самый Кохо, который был самым свирепым и самым кровожадным убийцей на всей группе Соломоновых островов, — тот Кохо, который всю жизнь воевал с двумя величайшими государствами! А теперь он отправился на шхуну, наверное, для того, чтобы выпросить у Дэнби глоток виски.

III

Последний раз в своей жизни довелось судовому приказчику с «Уондера» поиздеваться над туземцами. Он находился в кают-компании и просматривал реестр товаров, выгруженных вельботами на берег, когда в каюту, прихрамывая, вошел Кохо и уселся за стол против него.

— Мой скоро умрет, — жаловался старый вождь. Все наслаждения уже утратили для него ценность. — Мой не любит кай-кай. Мой очень болен. Мой скоро кончен. — Последовало продолжительное грустное молчание; на лице Кохо читалась тревога; он похлопал себя по животу и сказал тихо и горестно: — Мой брюхо болен. — Он замолчал, чтобы Дэнби мог выразить ему сочувствие. Затем последовал заключительный и весьма продолжительный вздох, выражающий крайнюю измученность. — Мой любит ром.

Дэнби бессердечно рассмеялся. Старый людоед и прежде много раз просил дать ему выпить, но одним из строжайших табу, наложенных Грифом и Мак-Тавишем, было запрещение давать туземцам Нового Гиббона спиртные напитки.

Беда была в том, что Кохо уже распознал вкус спиртного. В свои молодые годы он испытал восторги опьянения, когда вырезал экипаж шхуны «Дорсет», но, к сожалению, в этом участвовали и его соплеменники, так что запасов хватило ненадолго. Впоследствии, когда он отправился разорять германскую плантацию, он поступил умнее и забрал все напитки себе. Результатом этого был поразительный напиток — смесь из дюжины разных крепких жидкостей; здесь было все, начиная с пива с хинином до абсента и абрикосовой водки. Этот напиток держался у него несколько месяцев, и от него осталась у Кохо жажда на всю жизнь. Как все дикари вообще, он был предрасположен к пьянству, и организм его требовал алкоголя. После выпивки у него шумело в ушах, ему

Спустя несколько секунд раздался резкий, удушливый кашель.

было приятно, что-то мягко и чудесно билось в мозгу, он чувствовал возбуждение и довольство.

Теперь, в его престарелые годы, когда женщины и пиршества только утомляли его, когда прежние порывы ненависти улеглись, он все больше и больше жаждал этого обновляющего огня, который являлся ему из бутылок, — из самых разнообразных бутылок, он помнил их хорошо. Он готов был часами сидеть на солнце, с печалью вспоминая ту великую оргию, которую он устроил после изгнания немецких колонистов.

Дэнби выразил ему сочувствие, расспросил о симптомах его болезни и предложил ему из аптечки таблетки от расстройства желудка, пилюли и разные другие невинные лекарства, облатки и капсулы. Но Кохо решительно отказался. Однажды, когда он напал на «Дорсет», он раскусил облатку с хиной, а двое его воинов наглотались какого-то белого порошка, упали и тотчас же умерли в ужасных корчах. Нет, он не доверял аптекарским снадобьям, он признавал только жидкости в бутылках; от них исходил огненный холод, они делали человека молодым, давали ему искрящееся тепло и сладкие грезы. Неудивительно, что белые так ценили их и не хотели давать.

— Ром хорошо, — повторял он снова и снова жалобным и старчески терпеливым тоном.

Дэнби сделал большую ошибку, сыграв с ним шутку. На глазах Кохо он встал, отпер аптечку и вынул оттуда четырехунцевую бутылочку, заключавшую в себе горчичную эссенцию. Он сделал вид, что вытаскивает пробку и пьет содержимое. В зеркале он видел, как Кохо неотступно следил за его движениями. Дэнби причмокнул губами и прокашлялся, ставя бутылку на место. Забыв запереть аптечку, он вернулся к своему стулу и, выждав некоторое время, поднялся на палубу. Он остановился около люка и прислушался. Спустя несколько

секунд раздался резкий, удушливый кашель. Дэнби усмехнулся и пошел назад. Бутылка стояла на прежнем месте, а старик сидел в той же позе, как и раньше. Дэнби изумился его железному самообладанию. Нос, губы, язык и слизистая оболочка должны были пылать. Старик задыхался и несколько раз подавлял кашель; слезы выступали из его глаз и текли по щекам. Обыкновенный человек кашлял и задыхался бы целых полчаса. Но лицо старого Кохо было угрюмо и спокойно. Он начал подозревать, что над ним подшутили, и в его глазах появилось выражение такой злобной, такой примитивной и безмерной злобы, что по телу Дэнби пробежала дрожь. Кохо встал.

— Мой ушла, — сказал он. — Прикажи дать мой лодку.

IV

Валленштейн видел, как Гриф и Уорс уезжали на плантацию; он сидел в большой комнате и занимался чисткой своего автоматического револьвера, протирая его тряпкой, смоченной машинным маслом. На столе стояла неизбежная бутылка шотландского виски и несколько бутылок содовой воды. Здесь была еще другая бутылка, неполная, тоже с этикеткой шотландского виски, но в ней была налитая Уорсом жидкая мазь для лошадей; он забыл ее убрать.

Во время работы Валленштейн взглянул в окно и увидел Кохо, шедшего по дорожке. Он шел очень быстро, но, когда подошел к веранде и вошел в комнату, его походка была медлительная и горделивая. Он сел и начал наблюдать за чисткой оружия. Хотя его рот, губы и язык горели, он не обнаруживал этого. Через пять минут он заговорил:

— Ром хорошо. Мой любит ром.

Валленштейн улыбнулся и покачал головой; бес шепнул ему сыграть над туземцем шутку, которая оказалась его последним дурачеством над дикарями. Сходство обеих бутылок толкнуло его на это. Он положил на стол части разобранного револьвера и приготовил себе основательную порцию напитка. Валленштейн стоял между столом и Кохо. Воспользовавшись этим, он переставил бутылки, одну на место другой, опорожнил свой стакан, сделал вид, что ищет что-то, и вышел из комнаты. Он услышал удивленный возглас, кашель и плевки. Когда он вернулся, старый вождь сидел по-прежнему. Но поверхность жидкости в бутылке с лошадиным лекарством понизилась и несколько колебалась.

Кохо встал, ударил в ладоши и, когда вбежал чернокожий мальчик-слуга, сказал ему, что хочет получить обратно свою винтовку. Мальчик принес оружие и, согласно обычаю, пошел впереди посетителя по дорожке. Только за воротами он передал винтовку владельцу. Валленштейн, стараясь подавить смех, следил за тем, как старый вождь торопливо шел по берегу по направлению к реке.

Когда Валленштейн пять минут спустя собрал свой револьвер, он услышал отдаленный выстрел. Он тотчас же подумал, что это Кохо, но затем отбросил свое предположение. Уорс и Гриф взяли с собой охотничьи ружья, — вероят-

но, это был один из их выстрелов по голубям. Валленштейн откинулся на своем стуле, покрутил, посмеиваясь, свои желтые усы и заснул. Его разбудил взволнованный голос Уорса, кричавшего:

— Звоните в большой колокол! Звоните что есть мочи! Звоните, чтоб чертям слышно было!

Валленштейн вышел на веранду как раз в то время, когда управляющий перескочил через низкую ограду и помчался к берегу за Грифом, который бешено несся впереди. Громкий треск и пробивавшийся сквозь чащу кокосовых пальм дым объяснили, в чем дело. Сараи для лодок и бараки были охвачены пламенем. Громадный колокол плантации бешено звонил. Германский резидент побежал к берегу. Он увидел, как от шхуны быстро отделился вельбот.

Бараки и сараи для лодок пылали. Гриф выбежал из кухни; он волочил за ногу труп чернокожего мальчика. Труп мальчика был без головы.

— Там кухарка, — сказал он Уорсу. — Она тоже обезглавлена. Она слишком тяжела, а мне надо было скорее убираться.

— Это моя вина, — сказал Валленштейн. — Все это наделал старый Кохо. Я дал ему выпить лошадиного лекарства.

— Я уверен, что он скрылся в зарослях, — сказал Уорс, вскакивая на лошадь. — Оливер был около реки. Надеюсь, Кохо не захватит его.

Управляющий помчался сквозь чащу деревьев. Спустя несколько минут, когда пылавшие бараки рухнули, послышался его крик, и все бросились к нему. Нашли его у реки. Он продолжал сидеть на лошади; лицо его покрылось мертвенной бледностью; он смотрел на что-то, лежавшее на земле.

То был труп его молодого помощника Оливера, хотя его было нелегко узнать: головы у него не было. Чернокожие работники прибежали с полей, задыхаясь от быстрого бега; они столпились вокруг трупа и затем, по указанию Грифа, наскоро сделали носилки для убитого.

Валленштейн переживал все случившееся, как истый немец, охваченный горем и раскаянием: он то жаловался, то ругался; в глазах у него стояли слезы. Когда он схватил ружье Уорса, на губах у него показалась пена.

— Бросьте эти глупости, — скомандовал Гриф внушительным голосом. — Возьмите себя в руки, Валленштейн! Не глупите!

— Да неужели вы позволите ему убежать? — в диком бешенстве кричал немец.

— Конечно. Он успел уже скрыться. Кусты начинаются у самой реки. Вы можете видеть то место, где он выбрался на берег. Теперь он уже на кабаньих тропинках. Он исчез, как иголка в стоге сена. Если мы пойдем за ним, мы можем попасть в руки дикарей. По кабаньим тропинкам раскиданы ловушки, западни и отравленные колючки. Только один Мак-Тавиш со своими бушменами может решиться на это, да и то в последний раз он потерял там троих. Пойдемте домой. Сегодня ночью вы услышите звон раковин и бой барабанов, настоящий адский концерт. Дикари не нападут на нас, но все же пусть слуги не отходят от дома, мистер Уорс. Идемте же!

Когда они возвращались по прежней тропинке, им навстречу выбежал чернокожий, отчаянно оравший.

— Заткни свою глотку, — закричал Уорс. — Какого черта ты поднимаешь такой шум?

— Кохо прикончил двух коров, — отвечал чернокожий, выразительно проводя пальцем по своей шее.

— Он зарезал коров,— сказал Гриф.— Это значит, что некоторое время у вас не будет молока, Уорс. Я постараюсь прислать вам двух коров с Уги.

Валленштейн был безутешен, пока наконец Дэнби, выйдя на берег, не признался в своей шутке с горчичным спиртом. После этого германский резидент несколько повеселел, хотя и продолжал с ожесточением закручивать свои желтые усы, проклиная Соломоновы острова на четырех языках.

На следующее утро с верхушек мачты «Уондера» было видно, что в лесу во многих местах поднимался сигнальный дым. От мыса к мысу и в самой чаще джунглей клубился дым горящих костров, передавая сигналы по острову. Даже самые далекие поселения, расположенные на возвышенностях, куда не добирался сам Мак-Тавиш, присоединились к этим тревожным переговорам. С реки раздавался сумасшедший звон в раковины, и на протяжении многих миль воздух был наполнен оглушительным треском военных барабанов — обрубков дерева, выжженных внутри и выдолбленных посредством орудий из камня и раковин.

— Вы находитесь в безопасности, пока вы все вместе,— сказал Гриф управляющему.— Я отправлюсь в Гувуту. Они не решатся атаковать вас на открытом месте. Но прекратите работы. Не расчищайте леса, пока все это не уляжется. Они будут нападать на ваши отдельные отряды рабочих. И что бы они тут ни предприняли, ни в коем случае не ходите искать Кохо. Если вы сделаете это, он вас поймает. Вы должны ждать Мак-Тавиша — вот и все. Я пошлю его к вам с отрядом его малаитских бушменов. Это единственный человек, который может осмелиться проникнуть внутрь острова. Итак, пока он не придет к вам, с вами останется Дэнби. Вы согласны, мистер Дэнби? Я пришлю Мак-Тавиша на «Ванде». Вы вернетесь на ней и присоединитесь к «Уондеру». Капитан Уорд в это время управится без вас.

— Я только что хотел предложить вам это,— отвечал Дэнби.— Я никогда не воображал, что вся эта кутерьма может подняться из-за какой-то шутки. Я считаю себя, безусловно, виноватым во всем этом.

— Так же и я, — вставил Валленштейн.

— Но я начал все это, — заметил приказчик.

— Возможно, но я продолжил.

— А Кохо закончил, — произнес Гриф.

— Во всяком случае, я останусь, — сказал немец.

— А я полагал, что вы отправитесь со мной в Гувуту, — возразил Гриф.

— Я думаю то же самое, но я должен быть здесь, отчасти по моей должности, а кроме того, я сделал глупость. Я останусь и постараюсь поправить дела.

V

Прибыв в Гувуту, Гриф послал инструкции Мак-Тавишу с кечем, вербовавшим рабочих. Кеч как раз направлялся на Малашу. Капитан Уорд на «Уондере» поплыл к островам Санта-Крус, а Гриф, получив от британского правителя вельбот и команду чернокожих, переплыл пролив к Гвадалканару, чтобы осмотреть поля позади Пендефрина.

Три недели спустя, на полных парусах, при попутном ветре, он миновал коралловые рифы и вошел в спокойные воды стоянки Гувуту. Бухта была пуста. Стоял лишь маленький кеч. Гриф узнал в нем «Ванду». Она, по-видимому, только что вошла через пролив Тулаги; чернокожие еще были заняты спуском парусов. Когда Гриф поравнялся с кечем, сам мистер Мак-Тавиш подал ему руку, помогая подняться на палубу.

— В чем дело? — спросил Гриф. — Разве вы еще не уезжали?

Мистер Мак-Тавиш кивнул:

— Уезжал и уже вернулся. На судне все в порядке.

— Как дела в Новом Гиббоне?

— Все так же, как и было, когда я видел его в последний раз; впрочем, зорким глазом можно заметить некоторые незначительные перемены в пейзаже.

Он был холодным и энергичным человеком, таким же маленьким, как Кохо, и таким же высохшим, с лицом цвета красного дерева и небольшими голубыми глазами без всякого выражения; они скорее походили на какие-то сверлящие инструменты, чем на глаза шотландца. Он никогда не испытывал ни страха, ни увлечения; на него не действовали ни климат, ни болезни, ни чувства. Он был сух, жесток и неумолим, как змея. Гриф отлично видел по его кислому виду, что он привез дурные вести.

— Ну, расскажите. Что случилось?

— Такие поступки достойны сурового осуждения. Бессовестно подшучивать над язычниками-неграми, — последовал ответ. — Кроме того, это обходится очень дорого. Идемте вниз, мистер Гриф. Вам будет приятнее слушать со стаканчиком виски в руках.

— Как вы устроили там дела? — спросил Гриф, едва они уселись в каюте.

Маленький шотландец покачал головой:

— Там нечего было устраивать. Все зависит от того, как посмотреть. Пожалуй, с известной точки зрения там было уже все в порядке, совершенно в порядке, раньше, чем я туда прибыл.

— Но плантация? Как обстоит дело с плантацией?!

— Нет никакой плантации. Ваш многолетний труд погиб. Вы вернулись к тому, с чего мы начали, с чего начали миссионеры, с чего начали немцы и чем они кончили. Не осталось камня на камне. Дома превратились в груды черного пепла. Деревья все срублены, дикие кабаны вырывают ямс и бермудский картофель. А молодцы из Новой Георгии, эти славные парни, которых было около

сотни и которые стоили вам столько денег, исчезли... ни одного не осталось в живых, чтобы рассказать вам о происшедшем.

Он замолчал и начал что-то отыскивать в сундучке под трапом.

— А как же Уорс? Как Дэнби? Валленштейн?

— Вот что я могу показать вам. Смотрите!

Мак-Тавиш вытащил мешок, сделанный из рисовой соломы, и высыпал его содержимое на пол. Дэвид Гриф содрогнулся и впился взглядом в головы троих, которых он оставил на Новом Гиббоне. Желтые усы Валленштейна уже не вились крутыми кольцами, а свисали с верхней губы.

— Как это случилось, я не знаю, — сухо проговорил шотландец. — Предполагаю, что они отправились в лес за старым чертом.

— А где Кохо? — спросил Гриф.

— Он ушел в лес и пьян как сапожник. Поэтому-то я и мог добыть эти головы. Он был слишком пьян, чтобы встать на ноги. Они вынесли его на своих спинах из деревни, когда я там появился. И если вы освободите меня от этих голов, я буду вам очень обязан. — Он замолчал и вздохнул. — Вероятно, их надо похоронить честь честью, зарыть в землю. Но, с моей точки зрения, это примечательные вещи. Всякий музей заплатит за них по сотне за каждую. Выпейте еще. Вы немного бледны. Теперь отставьте стакан, и если вам интересно мое мнение, мистер Гриф, вы должны строго наблюдать, чтобы не проделывались никакие шутки с неграми. Это всегда доставляет много беспокойств, и, кроме того, такое развлечение обходится очень дорого.

НЕБОЛЬШОЙ СЧЕТ, ПРЕДЪЯВЛЕННЫЙ СУИЗИНУ ХОЛЛУ

I

Бросив последний испытующий взгляд на гладкую морскую поверхность, Дэвид Гриф медленно и с удрученным видом спустился по вантам на палубу.

— Островок Лю-Лю затонул, мистер Сноу, — сказал он молодому встревоженному помощнику. — Если навигационная наука вообще чего-нибудь стоит, то, несомненно, остров находится под водой, и мы дважды проплыли над ним или над тем местом, где он должен быть. Если это не так, то либо врет хронометр, либо я сам перестал что-либо смыслить в навигации.

— Наверное, дело в хронометре, сэр, — убеждал помощник хозяина. — Вы знаете, что я делал свои отдельные наблюдения и что результат получился совершенно такой же, как у вас.

— Да, — пробормотал Гриф с досадой, — и там, где пересеклась ваша полуденная линия, как и моя, там должен находиться центр островка Лю-Лю. По-видимому, дело в хронометре. Может быть, испортилось зубчатое колесо или еще что-нибудь.

Он прошелся к перилам и обратно и с тревогой посмотрел на след «Онкл Тоби». Довольно значительный ветер дул шхуне в корму, и судно делало около девяти или десяти узлов.

— Поставьте-ка шхуну лучше по ветру, мистер Сноу. Убавьте паруса, и пусть она поработает на оба галса. Набегают облака, и я сомневаюсь, чтобы нам удалось произвести наблюдения над звездами сегодня ночью. Лучше всего будет держаться теперешнего курса, а завтра исследуем широту и будем искать Лю-Лю на его широте. Так поступали в прежние времена все старые моряки.

Широкий, тяжелый, с высоким бортом и отвесным голландским носом «Онкл Тоби» был самым медленным, нескладным, самым надежным и са-

мым испытанным судном из всех шхун, которыми владел Дэвид Гриф. Шхуна крейсировала между Банкскими островами и Санта-Крус, а также между многочисленными, разбросанными на северо-западе уединенными коралловыми островами, где туземным агентам удавалось получить копру, морскую черепаху, а иногда изрядное количество жемчужных раковин. Так как шкипер шхуны лежал в жесточайшем приступе лихорадки, то, отправляясь в свой обычный полугодовой рейс по островам, Гриф сам принял управление шхуной. Он решил плыть к острову Лю-Лю, находившемуся в самой отдаленной части океана, и теперь чувствовал себя потерявшимся среди моря благодаря хронометру, который сыграл с ним скверную шутку.

II

Ночью на небе не видно было ни одной звезды, и солнце на следующий день не показалось из-за туч. Было душно и безветренно, а иногда налетал шквал с жесточайшим ливнем. «Онкл Тоби» лег в дрейф, опасаясь уйти слишком далеко по ветру. В продолжение четырех дней и ночей небо было сплошь покрыто облаками. Солнце не появлялось, а в те короткие моменты, когда между облаками проглядывали звезды, их покрывала туманная дымка. Производить наблюдения было невозможно. Даже самый невежественный новичок мог бы понять, что стихии разойдутся вовсю. Гриф вышел на палубу, посмотрел на барометр, который продолжал непоколебимо стоять на 29,90. Гриф столкнулся с Джеки-Джеки. Его лицо было такое же сосредоточенное и тревожное, как небо и воздух. Опытный тонгайский моряк Джеки-Джеки был чем-то вроде боцмана и второго помощника среди разношерстного состава канаков.

— Придет большая погода, я думаю, — сказал он. — Моя видал такая погода пять или шесть раз.

Гриф кивнул:

— Совершенно верно, Джеки-Джеки, будет ураган. Барометр скоро совсем провалится. Того гляди, вышибет дно.

— Верно, — согласился тонгалец. — Начнется чертовский ветер.

Через десять минут на палубу вышел Сноу.

— Буря начинается, — сказал он. — Двадцать девять и восемьдесят пять; барометр падает, хотя не без колебаний. Вы замечаете, как невыносимо парит. — Он обтер рукой лоб. — Тошнит. Из меня прет мой завтрак.

Джеки-Джеки усмехнулся:

— Моя тоже. Нутро выворачивается. Так всегда перед погодой. Но «Онкл Тоби» хорош. Он выдержит.

— Поставьте штормовой трисель на грот и кливер тоже, — сказал Гриф помощнику. — Зарифьте паруса, прежде чем их убрать. Кто знает, что там будет нужно.

В продолжение следующего часа гнетущий зной все усиливался, безветрие продолжалось, и барометр упал до 29,70.

Молодой помощник уже терял терпение в ожидании дальнейших событий. Он перестал шагать взад и вперед и замахал руками.

— Если ураган неизбежен, так пусть уж скорее начинается! — воскликнул он. — Что толку в этом неопределенном состоянии! Если нам придется пережить тяжелые минуты, так уж лучше, чтобы они поскорее наступили. Приятное положение — блуждать по морю с испорченным хронометром и ожидать урагана, который никак не хочет начаться.

Покрытое тучами небо приняло оттенок меди и, казалось, все пылало, точно раскаленный котел. Ни один человек не остался внизу. Туземные моряки толпились посреди судна и на носу, разговаривали вполголоса и со страхом посматривали на зловещее небо и на такое же зловещее море, мерным дыханием поднимавшее низкие маслянистые волны.

— Точно керосин с касторкой, — проворчал помощник и с отвращением плюнул за борт. — Когда я был маленьким, моя мать угощала меня смесью вроде этой. Ого, как темнеет!

Зловещий медный блеск потух; небо, покрытое густыми тучами, как бы спускалось к воде, пока темнота не стала такой, как бывает в поздние сумерки. Дэвид Гриф, хорошо знавший свойства урагана, тем не менее читал и перечитывал «Правила шторма», с трудом различая буквы. Ничего не оставалось делать, как ждать наступления ветра, чтобы узнать, в каком положении находится судно к смертоносному центру урагана, летящего из мрака.

Было три часа пополудни. Барометр опустился до 29,45, когда начался ветер. Они увидели это по потемневшей поверхности морской глади, на которой появились белые барашки. Пока это были только легкие порывы ветра, и «Онкл Тоби», носом к ветру, делал по четыре узла под своими штормовыми парусами.

— Только-то и всего? — подтрунивал Сноу. — Это после таких-то грандиозных приготовлений.

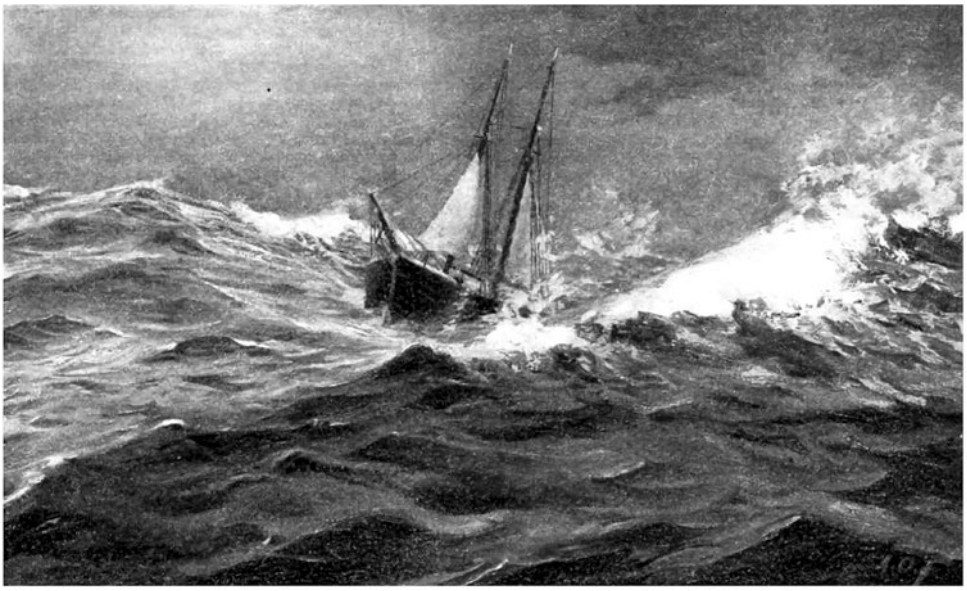
— Пока что ветер-малютка, — согласился Джеки-Джеки. — Но скоро он большой-большой. Вот увидите.

Гриф приказал поставить фок, не ослабляя рифов, и «Онкл Тоби» пошел скорее, подгоняемый усиливавшимся ветром. Вскоре ветер дорос до «большого», но на этом не остановился. Он дул все сильнее и сильнее, стихая перед каждым порывом для того, чтобы рвануться с новой свирепостью. Качка усиливалась, так что перила «Онкл Тоби» большей частью находились под водой, а на палубе зашумела вспененная вода, не успевавшая стекать в шпигаты.

Гриф наблюдал за барометром, продолжавшим падать.

— Центр урагана к югу, — сказал он Сноу. — Мы мчимся как раз ему навстречу. Теперь мы повернем и пойдем другим курсом. Это должно заставить барометр подняться. Уберите фок. Шхуна не может вынести такого напора ветра, попробуйте повернуть ее.

Маневр благополучно удался, и «Онкл Тоби» несся во мраке, почти таком же непроницаемом, какой бывает при наступлении ночи. Он мчался с безумной скоростью на север, среди рева урагана.



Океан представлял сплошные движущиеся горы воды.

— Ничего нельзя предугадать, — заметил Гриф помощнику через несколько часов. — Шторм идет по огромной кривой, но мы не можем вычислить эту кривую, — либо мы пересечем ее, либо центр урагана захватит нас. Хорошо еще, что барометр стоит на одном уровне. Все зависит от того, как велика кривая. Море слишком бушует, чтобы бороться с ним. Ложитесь в дрейф. Море все равно будет гнать нас.

— Я воображал, что знаю, какой бывает ветер, — прокричал Сноу на ухо своему хозяину. — Но это уже не ветер, это что-то немыслимое, невероятное! Мне думается, что он достиг девяноста или ста миль в час. Это форменная бессмыслица. Я и рассказывать об этом не стану. Можно ли было ожидать такой силы! А посмотрите на море. Я совершал восточные рейсы, но я нигде не видал ничего сколько-нибудь похожего на это.

Наступил день. Солнце уже с час как поднялось над морем, но от него исходил лишь слабый полусвет. Океан представлял сплошные движущиеся горы воды. Между громадными волнами зияли провалы шириной в треть мили. Их гигантские скаты, до которых не достигал ветер во всей своей бурной ярости, морщились мелкими волнами, покрытыми белыми барашками, но с гребня исполинских волн ветер сметал белые кудри, едва они образовывались. Эта пена вздымалась до вершин мачт и неслась над морем горизонтально по поверхности.

— Самое ужасное уже прошло, — сказал Гриф, — барометр все поднимается, но море будет волноваться еще сильнее, когда ветер начнет стихать. Я пойду отдохнуть. Следите за изменениями ветра. Они еще, наверное, будут. Позовите меня, когда пробьет восемь склянок.

К вечеру, после жестоких порывов, ветер стал уже не таким сильным, и на громадном просторе моря боцман-тонганец увидел шхуну, торчавшую вверх дном. «Онкл Тоби» пронесло около носа этой шхуны так, что нельзя было разглядеть ее название. Но вечером они столкнулись с маленькой шлюпкой с округлым дном и двумя рулями на обоих концах. На носу ее были видны белые буквы. Сноу, посмотрев на них в бинокль, прочел: «Эмилия Л. № 3».

— Это охотничья шхуна, — сказал Гриф. — Но что могут делать в этих морях охотники за котиками?

— А может быть, она ищет клад? — соображал Сноу. — «Софи Сезерлэнд» и «Герман» были тоже охотничьими шхунами; между тем, помните, их зафрахтовали в Сан-Франциско люди, руководствовавшиеся безошибочными картами, по которым никогда никуда не приходили.

III

После сумасшедшей ночи, в продолжение которой шхуна, без малейшего ветра, то вздымалась, то низвергалась по громадным волнам затихающего моря, а весь экипаж изнемогал от морской болезни, подул легкий ветер, и были отданы рифы. В полдень над гладкой поверхностью океана облака стали рассеиваться, небо прояснилось и выглянуло солнце. Наблюдения дали два градуса и пятнадцать минут южной широты. Определить долготу с поврежденным хронометром было невозможно.

— В каком месте нашей параллели мы находимся — неизвестно, — заметил Гриф, когда он и помощник наклонились над картой. — Мы можем ошибиться на пятьсот и на тысячу миль. Лю-Лю где-нибудь южнее. В этой стороне океана нет ни островов, ни рифов, при помощи которых мы могли бы выверить хронометр. Нам остается единственно только...

— Земля, шкипер! — крикнул с палубы тонганец.

Гриф быстро взглянул на пустое место карты, засвистел от удивления и в изнеможении опустился на стул.

— Что за история! Здесь не может быть никакой земли! Никогда не плавали мы так несуразно. Будьте добры, пойдите наверх, мистер Сноу, и посмотрите, что померещилось Джеки.

— На самом деле земля! — крикнул сверху помощник. — Она видна с палубы. Вон вершина кокосовых пальм. По-видимому, какой-то островок. Может быть, это все-таки Лю-Лю.

Гриф решительно потряс головой, взглянул на бахрому пальм; виднелись только одни вершины, точно поднимавшиеся из моря.

— Держите по ветру, мистер Сноу, держите круто по ветру и наблюдайте. Мы должны пройти южнее, если остров к югу расширяется, а то мы попадем в юго-западный угол.

С низкой палубы шхуны были видны пальмы, казавшиеся очень близкими, и хотя «Онкл Тоби» шел медленно, из-за моря быстро вставал невысокий остров, а все возрастающее количество пальм намечало круг островка.

— Красиво, — заметил помощник. — Точный круг... По-видимому, его диаметр около восьми или девяти миль... Неужели имеется и вход в лагуну... Кто знает? Может быть, это совершенно неведомый остров.

Они пошли вдоль западной стороны атолла. Смотря с вершины мачты, канак крикнул, что он видит лагуну и что в середине ее имеется маленький островок.

— Я знаю, о чем вы думаете, — сказал Гриф своему помощнику. Сноу, который что-то бормотал, покачивая головой, быстро и недоверчиво взглянул на него.

— Вы думаете, что проход в лагуну должен быть на северо-западе, — продолжал, как бы цитируя, Гриф, — что он шириной в два кабельтова и обозначается на севере тремя раздельно растущими пальмами, а на юге пандановыми деревьями. Лагуна — восьми миль в диаметре; по форме — правильный круг с островом в центре.

— Да, мне показалось, — признался Сноу.

— И вход как раз там, где он должен быть.

— И три пальмы, — почти прошептал Сноу, — и пандановые деревья. Если на острове есть ветряная мельница, то это остров Суизина Холла. Но этого не может быть. Кто только не отыскивал его за последние десять лет.

— Холл сыграл с вами когда-то злую шутку, не так ли? — спросил Гриф.

Сноу кивнул.

— Потому-то мне и пришлось служить у вас. Он разорил меня. Я был совершенно ограблен. На первые полученные из дома завещанные мне деньги я купил потерпевший крушение пароход «Каскад».

— Он разбился у острова Рождества — кажется, так?

— Да, на полном ходу, со всего размаху наскочил на берег глубокой ночью. Пассажиров спасли, также и почту. Потом я купил маленькую шхуну, приспособленную к плаванию среди островов; это съело мои последние деньги. Пришлось ждать, пока душеприказчики выплатят мне остаток моего наследства. А Суизин Холл отправился тем временем из Гонолулу, где он находился, прямым трактом на остров Рождества. Он не имел на то ни малейшего права. Когда я прибыл туда, от «Каскада» остались только корпус да машина. На пароходе был большой груз шелка. Он нисколько не попортился при крушении. Я впоследствии расспросил судового приказчика. Холл заработал на этом около шестидесяти тысяч долларов.

Сноу пожал плечами, сумрачно вглядываясь в гладкую поверхность лагуны, на которой маленькие волны плясали под лучами вечернего солнца.

— Пароход был мой; я купил его в затонувшем виде на аукционе. Я затеял крупную игру и проиграл. Когда я вернулся в Сидней, команда и купцы, предоставившие мне кредит, описали шхуну. Мне пришлось заложить часы и секстант и стать кочегаром. В конце концов я получил место на Новых Гебридах на восемь фунтов в месяц. Я попытал счастья в качестве самостоятельного торговца, но дело не пошло, тогда я поступил помощником на вербовочное судно

и отправился в Танну и на Фиджи; далее получил место надзирателя на германских плантациях в глубине Алии и, наконец, устроился на «Онкл Тоби».

— И вы никогда не видали Суизина Холла?

Сноу покачал головой.

— Отлично, а теперь, мне сдается, вы его увидите. Вон и ветряная мельница.

Когда они выплыли из пролива, то увидели посреди лагуны маленький остров, густо поросший деревьями; между ними виднелась большая голландская ветряная мельница.

— Как видно, никого нет дома, а то вы могли бы с ним посчитаться, — сказал Гриф.

На лице помощника появилось злобное выражение; он сжал кулаки.

— Легальным путем я ничего не могу с ним поделать. У него теперь слишком много денег. Но я выколочу из него свои шестьдесят тысяч долларов. Надеюсь, он дома.

— Я тоже надеюсь, — сказал Гриф с многозначительной улыбкой. — Полагаю, что вы от Бау-Оти получили понятие об этом острове.

— Да, так же, как и другие. Затруднение только в том, что этот Бау-Оти не мог указать ни широты его, ни долготы. Говорил только, что они долгое время плыли от Гилбертовых островов, — вот и все, что он знает. Хотел бы я знать, что с ним сталось!

— Я видел его год назад на Таити. Он говорил, что собирается плыть к Паумотским островам. Отлично! Вот мы и у цели. Опусти лот, Джеки-Джеки. Следите, мистер Сноу. По словам Бау-Оти, стоянка находится на западном берегу, на глубине девяти фатомов, а к юго-востоку идут коралловые рифы. Вот эти рифы. Сколько намерил, Джеки?

— Девять фатомов.

— Готово, мистер Сноу.

«Онкл Тоби» закачался на своей цепи; верхние паруса спустили, и канаки занялись уборкой.

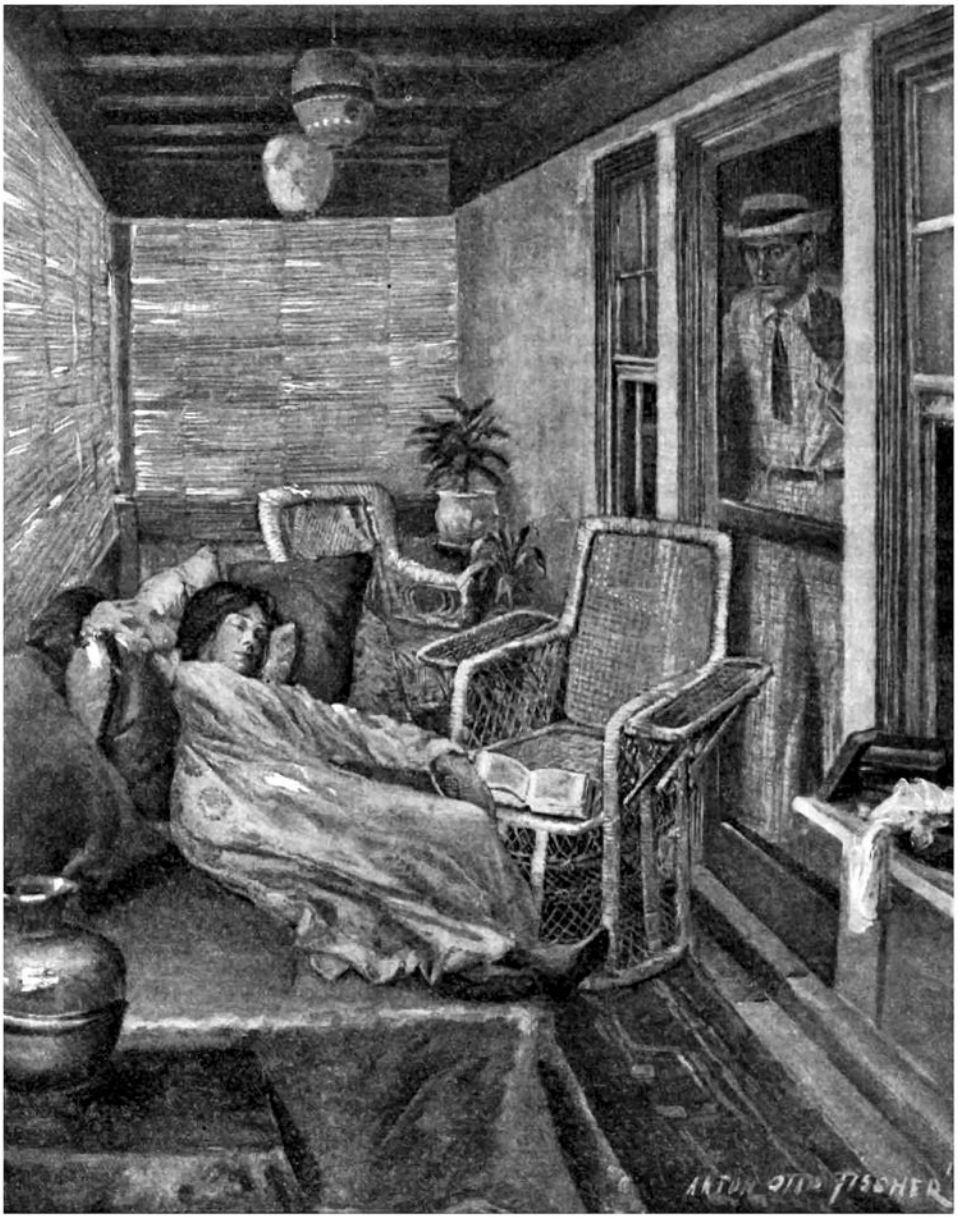
IV

Вельбот пристал к маленькой, сложенной из коралловых глыб пристани. Дэвид Гриф и его помощник вышли на берег.

— Вы думаете, что здесь никто не живет, — сказал Гриф, когда они шли по песчаной дорожке к бунгало. — Но я чувствую запах, который мне не раз приходилось обонять. Что-то тут происходит или мой нос — лгун. Лагуна усеяна раковинами. С ними возились не за тысячу миль отсюда. Слышите, попахивает?

Бунгало Суизина Холла не походило на обычные бунгало тропиков. По внешнему виду здание напоминало миссию. Решетчатая дверь была не заперта, и когда Гриф и Сноу вошли в комнату, они увидали, что и внутренняя обстановка выдержана в стиле миссии. Пол комнаты был устлан тончайшими самоанскими циновками. В комнате были диваны, кресла, уютные уголки для бесе-

ды, бильярд, стол для шитья и рабочая корзинка, в которой лежало тончайшее полотно с французской вышивкой и с воткнутой в него иголкой, что говорило о присутствии здесь женщины. Благодаря жалюзи и веранде комната были защищена от ослепительных солнечных лучей; в ней было прохладно; мягкий полусвет давал отдых зрению. В глаза Грифу бросились перламутровые кнопки.



На террасе спала на диване женщина.

— Клянусь Георгом, здесь электрические аккумуляторные батареи, заряжающиеся при помощи ветряной мельницы! — воскликнул он, нажимая кнопку. — И скрытое освещение!

Невидимые лампочки зажглись, и рассеянный золотистый свет распространился по комнате. По стенам виднелись многочисленные полки с книгами. Гриф заинтересовался заглавиями книг. Как любитель морских приключений, он был весьма начитанным человеком и удивился большому выбору книг и разносторонности вкуса владельца этой библиотеки. Он встретил на полках и старых друзей, и таких авторов, которых он никогда не читал, зная их лишь понаслышке. Тут было полное собрание сочинений Толстого, Тургенева и Горького; Купера и Марка Твена; Гюго, Золя и Сю; Флобера, Мопассана и Поль-де-Кока. Он с любопытством перелистал страницы Мечникова, Вейнингера и Шопенгауэра и с удивлением заглянул в тома Эллиса, Лидстона, Крафт-Эббинга и Фореля. Он держал в руках «Распространение рас» Вудрофа, когда Сноу вернулся, исследовав другие комнаты.

— Эмалированная ванна, отдельная комната для душа и сидячая ванна! — воскликнул он. — Здесь просто царская роскошь. Я уверен, что на это пошли и мои денежки. Тут, несомненно, живут. В кладовой я нашел только что откупоренные банки с маслом и молоком и свежее черепашье мясо. Пойду посмотрю, не найду ли еще чего.

Гриф тоже вышел из гостиной в противоположную дверь. Комната, в которую он вошел, несомненно служила спальней для женщины. Другая дверь вела на террасу, где царил полумрак от спущенных жалюзи. На террасе спала на диване женщина. При мягком освещении спящая женщина казалась необыкновенно красивой и походила на смуглую испанку. Около нее на стуле лежала раскрытая книга. Судя по цвету лица, Гриф заключил, что женщина недавно попала в тропические страны. Бросив на нее беглый взгляд, он осторожно отступил и вошел в гостиную одновременно со Сноу из разных дверей. Сноу тащил за руку старого морщинистого чернокожего, который испуганно ухмылялся и делал знаки, стараясь объяснить, что он нем.

— Я нашел его спящим в чуланчике, — сказал помощник. — Мне думается, он повар. Но я не могу выудить из него ни одного слова. А вы что нашли?

— Спящую принцессу. Тсс... Тут кто-то есть.

— Это Холл, — пробормотал Сноу, сжимая кулаки.

Гриф покачал головой:

— Не шумите! Здесь женщина. А если это Холл, то я постараюсь дать вам возможность посчитаться с ним.

Дверь отворилась и вошел крупный плотный мужчина; на поясе у него висел большой револьвер Кольта. Он быстро и тревожно взглянул на посетителей, и на его лице появилась любезная улыбка; он протянул руку.

— Милости просим, чужестранцы. Разрешите спросить вас, какими судьбами вы попали на мой остров?

— Мы сбились с пути, — отвечал Гриф, пожимая ему руку.

— Моя фамилия Холл, Суизин Холл, — сказал он, повертываясь к Сноу, чтобы пожать и его руку. — Представьте себе, вы мои первые посетители...

— А это и есть ваш таинственный остров, о котором толкуют годами на всех островах? — спросил Гриф. — Прекрасно, я знаю теперь, как найти его.

— Сломайте ваш хронометр, отдайтесь во власть шторма и затем смотрите во все глаза, пока из моря не покажутся пальмы.

— А как ваша фамилия? — спросил Холл, беззаботно рассмеявшись.

— Энстей, Фил Энстей, — тотчас же ответил Гриф. — Плыву на «Онкл Тоби» от Гилбертовых островов к Новой Гвинее и стараюсь найти свою долготу. Это мой помощник, мистер Грэй, лучший мореплаватель, чем я, но и он растерялся благодаря тому же хронометру.

Гриф не знал, почему он солгал, но почувствовал, что надо солгать, и сделал это. Он смутно догадывался, что в доме кроется нечто неладное, но не мог определить, в чем дело. Суизин Холл был толстый, круглолицый человек; его губы и уголки глаз улыбались. Но Гриф знал с молодых лет, как лживы бывают такого типа люди и как обманчивы иногда голубые глаза, которые шутливо-простодушно смотрят на окружающее, но в глубине таят совсем иное.

— Что вы делаете с моим поваром? Потеряли своего и хотите заполучить моего? — сказал Холл.— Лучше отпустите его, если хотите, чтобы у вас был ужин. Моя жена будет очень рада вас видеть за обедом, как она именует нашу вечернюю трапезу, утверждая, что я неправильно называю это ужином. Но я человек старинных правил. Мои служащие обедают всегда в полдень. Я тоже никак не могу отвыкнуть от этого раннего часа. Не хотите ли умыться? Я иду привести себя в порядок. Посмотрите, какой у меня вид. Я работал, точно собака, вместе с этими водолазами,— раковины, как видите. Вы, наверное, почувствовали, какой тут запах.

V

Сноу, сославшись на какие-то дела на шхуне, отправился на борт. Он не мог заставить себя обедать с человеком, который ограбил его; кроме того, надо было распорядиться, чтобы экипаж не выдал лжи Грифа. В одиннадцать часов Гриф вернулся на судно, где Сноу его дожидался.

— На этом острове Суизина Холла что-то нечисто, — сказал Гриф, покачивая головой. — Я не знаю, в чем тут дело, но я это чувствую. Что за человек вообще Суизин Холл?

Сноу пожал плечами.

— Я убежден, что он никогда не покупал ни единой книги из тех, что стоят у него на полках,— убежденно заметил Гриф.— И не он устроил это потайное освещение. Он приобрел легкий внешний лоск, а на самом деле он груб, как скребница. Он обходителен только по внешности. А его два

сотоварища, Уотсон и Горман,— они пришли, когда вас уже не было,— так они настоящие морские волки; они, видимо, прошли сквозь огонь и медные трубы. Мрачные и опасные субъекты. С оружием за поясом. И что меня удивило, они в приятельских отношениях с Суизином Холлом. А женщина! Она — настоящая леди. Наверное так. Она знает всю Южную Америку, а также и Китай. Я уверен, что она испанка, хотя она говорит по-английски совершенно свободно. Она много путешествовала. Мы говорили о бое быков. Она видела бой быков в Гваякиле, в Мексике и Севилье. Она знает толк в котиковых мехах. Но тут есть еще одно интересное обстоятельство. Она музыкантша. Я спрашивал ее об этом. Холл обставил свой дом, как дворец, но не выписал ей рояля. Затем еще другое: она говорит очень оживленно, а он следит за ней, сидит как на иголках, беспрестанно вмешивается в разговор и направляет его по-своему. Скажите, вы когда-нибудь слышали о том, что Суизин Холл женат?

— Понятия не имею! — возразил помощник. — Мне никогда не приходило в голову подумать об этом.

— Он отрекомендовал ее как миссис Холл. Уотсон и Горман называют его Холлом. Эти два человека составляют бесподобную парочку. Я тут вообще ничего не понимаю.

— А что вы думаете предпринять? — спросил Сноу.

— Да пока ничего, посмотрим. В бунгало есть несколько книг, которые я хотел бы прочесть. Я полагаю, что вы утром спустите вот эту стеньгу и вообще сделаете вид, что мы занимаемся починкой. Ведь мы перенесли ураган. На свободе вы пока займетесь приготовлениями к дальнейшему плаванию.

VI

На следующий день подозрения Грифа усилились. Он отправился на берег ранним утром и, блуждая по маленькому острову, подошел к баракам водолазов. Они как раз спускали лодки. Гриф был очень удивлен их поведением, — они гораздо больше походили на закованных в цепи каторжников, чем на канаков. Трое белых стояли возле, причем каждый из них был вооружен винтовкой. Холл поздоровался с ним довольно любезно, но Горман и Уотсон весьма хмуро и кратко пробормотали свое приветствие.

Минуту спустя один из канаков, спуская свое весло, осторожно и значительно мигнул Грифу. Лицо этого человека было ему знакомо — один из тысячи туземных матросов-водолазов, с которыми Грифу приходилось встречаться во время своих частых плаваний среди островов.

— Не говори ему, кто я, — сказал Гриф по-таитянски. — Ты когда-нибудь плавал у меня?

Человек кивнул, но едва он успел открыть рот, как Уотсон, мгновенно очутившийся на корме, свирепо крикнул:

— Молчать!

— Простите, пожалуйста, — сказал Гриф, — я не знал.

— Это пустяки, — вмешался Холл. — Беда в том, что они чересчур много говорят и мало работают. Надо содержать их в строгости, или они наберут так мало раковин, что не оправдают и самих себя.

Гриф сочувственно поддакнул:

— Знаю я их. У меня целое стадо этих ленивых свиней. Приходится подгонять их, как негров, чтобы они работали хотя бы половину дня.

— Что вы ему сказали? — спросил Горман напрямик.

— Я спросил, как идет ловля и глубоко ли приходится нырять.

— Изрядно, — отвечал Холл. — Мы работаем теперь на глубине десяти фатомов. Вон там, не дальше ста ярдов отсюда. Хотите посмотреть?

Гриф пробыл половину дня около лодок и завтракал в бунгало. После завтрака он наслаждался полным покоем, отдыхая в гостиной; кое-что почитал и с полчаса беседовал с миссис Холл. После обеда он играл на бильярде с ее мужем. Грифу не приходилось раньше встречаться с Суизином Холлом, но на побережьях от Левуки до Гонолулу носилась молва о его искусстве играть на бильярде. В этот вечер он играл неважно. Его жена выказала гораздо большее умение в обращении с кием.

Вернувшись на «Онкл Тоби», Гриф разбудил спавшего Джеки-Джеки, описал ему место, где находятся бараки, и приказал тонганцу осторожно подплыть туда и поговорить с канаками. Через два часа Джеки-Джеки вернулся. Стоя перед Грифом, он покачивал головой.

— Очень смешная вещь,— говорил он.— При них все время белый. Он с винтовкой. Он лежит в лодке на воде и сторожит. Часов в двенадцать пришел другой белый. Взял винтовку. Первый белый спать. Другой там с винтовкой. Это нехорошо. Мой не мог говорить с канаками. Мой вернулся.

— Клянусь Георгом, — обратился Гриф к Сноу, — тут попахивает чем-то другим, а не раковинами. Эти трое белых сторожат своих канаков. А человек этот такой же Суизин Холл, как и я.

Сноу свистнул, пораженный новой мыслью.

— Я понял! — закричал он.

— А я знаю вашу догадку, — произнес Гриф. — Вы думаете, что «Эмилия Л.» была их шхуной?

— Вот именно. Они добывают здесь раковины, а она отправилась за добавочными водолазами или за провиантом, а может быть, за тем и другим.

— Я с вами согласен,— Гриф посмотрел на часы, находившиеся в каюте, и, по-видимому, собрался идти спать.— Он, несомненно, моряк. Они все трое моряки. Но не островитяне. Они новички в этих водах.

Сноу опять свистнул.

— «Эмилия Л.» погибла со всем, что на ней было, — сказал он. — Мы это знаем. Они будут хозяйничать здесь, пока не вернется Суизин Холл. А тогда он сцапает их со всеми их раковинами.

— Или они захватят его шхуну.

— Надеюсь, что так, — сказал Сноу мстительно. — Кто-нибудь должен же ограбить его самого. Как бы я хотел быть на их месте. Я бы тогда отобрал свои шестьдесят тысяч.

VII

Прошла неделя.

«Онкл Тоби» приготовился к дальнейшему плаванию. Грифу удалось отвести от себя всякие подозрения со стороны людей, находившихся на берегу. Даже Горман и Уотсон верили, что он тот самый человек, за которого себя выдает. В продолжение всей недели Гриф просил и умолял их сообщить ему долготу острова.

— Ведь не хотите же вы, чтобы я здесь застрял навсегда, — сказал он наконец. — Я не могу пользоваться хронометром, не зная вашей долготы.

Холл, смеясь, уклонился:

— Вы слишком хороший моряк, мистер Энстей, чтобы не найти Новой Гвинеи или какой-либо другой земли.

— А вы тоже слишком хороший моряк, мистер Холл, — возразил Гриф, — чтобы не знать, что я могу найти ваш остров во всякое время, зная одну широту.

В последний вечер Гриф, по обыкновению явившись к обеду на берегу, увидел в первый раз жемчуг, набранный ими. Миссис Холл, воодушевившись, просила мужа показать самые крупные жемчужны. Она чуть не полчаса показывала их Грифу. Он восхищался и выражал свое удивление, как им удалось добыть такое богатство.

— Лагуна совершенно нетронутая, — объяснял Холл. — Вы сами видите, что большинство раковин крупные и старые. Но забавно, что самые ценные жемчужины мы нашли на маленькой отмели в продолжение одной недели. Это настоящая маленькая сокровищница. В каждой раковине — жемчуг. Мелочь собирали квартами, и самые лучшие из тех, что лежат здесь, тоже почти все добыты на этой маленькой отмели.

Гриф взглянул, оценивая стоимость, — каждая жемчужина от ста до тысячи долларов, а некоторые еще ценнее.

— Ах, какие они прелестные, какие прелестные! — воскликнула миссис Холл, внезапно наклоняясь над столом и целуя жемчуг.

Через несколько минут она встала и пожелала Грифу доброй ночи.

— Нет, попрощаемся, — сказал Гриф, — на рассвете мы отплываем.

— Так неожиданно? — воскликнула она, а в глазах ее мужа мелькнул радостный огонек.

— Да, — отвечал Гриф, — судно починено. Я никак не могу узнать от вашего мужа долготу острова. Впрочем, надеюсь, что он смягчится.

Холл засмеялся, покачав головой. Когда его жена вышла из комнаты, он предложил выпить на прощанье. Они сели и, покуривая, разговаривали.

— Как вы думаете, сколько они стоят? — спросил Гриф, указывая на рассыпанные по столу жемчужины. — То есть я говорю об их рыночной цене.

— Да так, тысяч семьдесят пять или восемьдесят, — небрежно заметил Холл.

— Боюсь, что вы цените их слишком низко. Я знаю толк в жемчуге. Возьмем, например, хоть эту. Она великолепна. Она стоит пять тысяч долларов, ни цента меньше. А какой-нибудь архимиллионер заплатит за нее вдвое больше, после того как она пройдет через руки посредников. Да еще мелкий жемчуг, который вы загребаете. Не пренебрегайте им. Он все больше входит в моду и с каждым годом дорожает.

Холл внимательно посмотрел на жемчуг, оценивая жемчужины и подсчитывая вслух общую сумму.

— Вы правы, — сказал он. — Они стоят не меньше ста тысяч.

— А сколько вам пришлось затратить на добывание этого жемчуга? — продолжал Гриф. — Во что вы цените время, затраченное вами, вашими двумя помощниками и водолазами?

— Расходы составят тысяч пять.

— Значит, вам останется девяносто пять тысяч?

— Да, вероятно, что-нибудь в этом роде. А почему вас это интересует?

— Почему? Я хотел бы... — Гриф замолчал и осушил свой стакан. — Я хотел бы устроить справедливую комбинацию. Предположим, что я доставлю вас и ваших людей в Сидней и затем дам пять тысяч долларов — нет, лучше семь тысяч пятьсот. Вы так много поработали.

Лицо Холла оставалось невозмутимым, ни один мускул не дрогнул, но весь он насторожился и напрягся, как пружина. Приветливость на его круглом лице мгновенно исчезла, как пламя погашенной свечи. В его глазах не было больше улыбки, из их глубины глядела суровая и опасная душа этого человека. Он сказал тихо и осторожно:

— Кой черт, что вы хотите этим сказать?

Гриф снова зажег свою сигару.

— Не знаю, как и начать, — сказал он. — Положение получилось очень... несуразное для вас. Вы видите, я хочу действовать открыто. Вы много работали, как я уже заметил вам, мне не хочется конфисковывать у вас жемчуг. Я хочу заплатить вам за ваше время, труды и расходы.

Судя по лицу Холла, он сразу и окончательно понял.

— А я думал, что вы в Европе, — пробормотал он. Но вдруг на мгновение снова возгорелся надеждой. — Постойте-ка, вы просто меня дурачите!.. Почем я знаю, что вы Суизин Холл?

Гриф пожал плечами:

— После вашего гостеприимства я не позволил бы себе такой шутки. Да и нелепо было бы, если бы на острове находились два Суизина Холла.

— Если вы Суизин Холл, кто же тогда я? Может быть, вы это тоже знаете?

— Нет, — беспечно ответил Гриф. — Но я хотел бы узнать.

— Ну, это вас не касается.

— Допустим. Дело не в этом. А кстати сказать, я знаю вашу шхуну и по ней могу узнать, кто вы сам.

— Как ее имя?

— «Эмилия Л.».

— Правильно. А я капитан Раффи, ее владелец и хозяин.

— Охотник за котиками? Я о вас слышал. Что же занесло вас в мои владения?

— Нужда в деньгах. Котиков почти нет.

— Кроме того, все места стали лучше охраняться, да?

— Вроде этого. Ну, вернемся к нашему делу. Я могу и побороться. Что вы думаете сделать?

— То, что я сказал. Даже больше. Сколько стоит «Эмилия Л.»?

— Она уже видала виды. Не более десяти тысяч. Большая сумма была бы грабежом. В бурю я всегда опасался, что из нее вывалится весь балласт через обшивку.

— Он уже вывалился, капитан Раффи. Я видел шхуну после бури вверх дном. Допустим, что она стоила семь тысяч пятьсот. Я заплачу вам за все пятнадцать тысяч и дам возможность уехать. Не снимайте рук с колен.

Гриф встал, подошел к нему и снял с него револьвер.

— Необходимая предосторожность, капитан. Теперь идемте со мной на судно. Я потом сообщу эту новость миссис Раффи и приглашу ее к вам.

— Вы обошлись со мной, мистер Холл, как нельзя лучше, должен признаться,— произнес капитан Раффи, когда вельбот подходил к «Онкл Тоби».— Но будьте осторожны с Уотсоном и Германом. Они порядочные негодяи. Кстати, вот еще что, мне очень неприятно говорить об этом, но вы видели мою жену. Я дал ей четыре или пять жемчужин. Уотсон и Горман не возражали.

— Пустяки, капитан. О чем тут говорить. Конечно, они останутся у нее. Это вы, мистер Сноу? Вот мой приятель, капитан Раффи. Позаботьтесь о нем. Я еду на берег за его женой.

VII

Дэвид Гриф сидел в гостиной бунгало за письменным столом и писал. Брезжил рассвет. Ночь у Грифа прошла самым деловым образом. Миссис Раффи с истерической торопливостью два часа собирала вещи своего мужа и свои собственные. Гормана захватили во время сна, но Уотсон, охранявший водолазов, пытался сопротивляться.

До стрельбы не дошло, но он решился присоединиться к своим товарищам на судне только после того, как понял, что дело их проиграно. Временно обоих заковали в кандалы и посадили в каюту помощника, миссис Раффи отправили в каюту Грифа, а капитана Раффи привязали к столу в кают-компании.

Гриф кончил свое писание и перечитал бумагу.

Суизину Холлу за жемчуг, найденный в его лагуне (согласно оценке) — Дол. 100 000

Герберту Сноу уплачено за пароход «Каскад» жемчугом (согласно оценке)— 60 000

Капитану Раффи в оплату труда и издержек по добыванию жемчуга — 7500

Капитану Раффи в возмещение стоимости его шхуны «Эмилия Л.», разбитой ураганом — 7500

Миссис Раффи, по соглашению, пять жемчужин (согласно оценке) — 1100

Проезд в Сидней четырех пассажиров по 120 дол. — 480

За окраску двух вельботов Суизина Холла в белый цвет — 9

Суизину Холлу оставляется сдача жемчугом (согласно оценке), который находится в ящике стола в библиотеке — 23 411

Дол. 100 000-100 000

Гриф подписался, проставил числа, но подумал и приписал:

«Взято три книги из библиотеки Суизина Холла: «Закон психических явлений» Хедсона, «Париж» Золя и «Проблемы Азии» Мэхэа. Означенные книги можно получить у нижеподписавшегося Дэвида Грифа, Сидней, Контора».

Он потушил электричество, захватил связку книг, старательно захлопнул за собой входную дверь и пошел к ожидавшему его вельботу.

НОЧЬ В ГОБОТО

I

Все купцы, приплывающие на своих шхунах, и все плантаторы, прибывающие с далеких диких берегов, все до единого надевают в Гобото башмаки, белые парусиновые штаны и вообще все, что полагается носить цивилизованному человеку.

В Гобото получается почта, производятся финансовые операции и газеты приходят не позже, чем через пять недель после их выхода. Суть в том, что остров, опоясанный коралловыми рифами, со своей удобной гаванью считается хорошим портом для судов и служит распределительным пунктом для всей широко разбросанной группы островов.

Кипучая, нездоровая и мрачная жизнь Гобото предрасполагает к алкоголизму, который здесь свирепствует более, чем в каком-либо ином месте земного шара. Правда, жители Гувуту, одного из самых диких Соломоновых островов, утверждают, что у них пьют даже в промежутках между двумя выпивками. Гобото этого не отрицает. Гобото только указывает на то обстоятельство, что в его летописях такие промежутки неизвестны. Вместе с тем из данных импортной статистики следует, что на каждую голову в Гобото приходится большее количество потребляемых спиртных напитков, чем в Гувуту. В Гувуту объясняют это тем, что на Гобото сильно развита деловая жизнь и что поэтому там много приезжих. Гобото возражает, что население его меньше, а приезжие обладают большой жаждой. И эти споры продолжаются без конца главным образом оттого, что спорщики умирают раньше, чем доходят до какого-нибудь решения.

Остров Гобото невелик — у него в диаметре всего четверть мили. Там находятся угольные склады адмиралтейства (в которых уже около двадцати лет лежит неприкосновенный запас угля в несколько тонн); бараки немногочисленных чернокожих рабочих; большой амбар и склад товаров за железными щитами; бунгало, в котором живет управляющий со своими двумя помощниками.

Кипучая, нездоровая и мрачная жизнь Гобото предрасполагает к алкоголизму...

Эти трое составляют белое население острова. Один из них непременно болен лихорадкой. Работа на Гобото очень тяжелая. Компания придерживалась той политики, что следует хорошенько угощать клиентов. Управляющий и его помощники должны были заниматься этим делом. В течение всего года прибывали на остров купцы и вербовщики из далеких, «сухих» плаваний и плантаторы из дальних и «сухих» мест, привозя с собой неутолимую жажду. Гоботo — это Мекка для весельчаков, и, хорошенько покутив, они снова уходят на своих шхунах или отправляются на плантации.

Наименее выносливые, отдыхая от попоек, приезжают вновь не раньше, как через шесть месяцев. Но для управляющего и его помощников не бывает таких промежутков. Каждую неделю муссоны и юго-западные ветры приносят к стоянке шхуны, нагруженные копрой, кокосовыми орехами, перламутровыми раковинами, морскими черепахами, с людьми, томимыми жаждой.

Работа на Гоботo чрезвычайно тяжела, поэтому там платят вдвое больше, чем на других станциях, и Компания выбирает служащих для этого острова крепких и неустрашимых. Они живут здесь год или около того, а потом, превратившись в полных инвалидов, уезжают в Австралию, или останки их зарывают в песок с той стороны островка, где свирепствует ветер. Джонни Бэссет, почти легендарный герой Гоботo, побил рекорд. Он обладал замечательным по крепости организмом и выдержал семь лет. Его предсмертная воля была в точности исполнена помощниками: они замариновали тело его в бочке с ромом, купленной ими на собственные деньги, и отослали к родственникам в Англию.

Несмотря на все это, служащие в Гоботo старались быть джентльменами. Если и можно было подметить у них некоторые изъяны, все же они были и оставались джентльменами. Вот почему существовал здесь великий неписаный закон, который требовал, чтобы приезжие облекались в брюки и баш-

маки. Трусики, лава-лава и голые ноги совершенно не допускались. Когда капитан Йенсен, самый необузданный из ловцов негров, хотя он происходил из старинной нью-йоркской семьи, создавшей торговлю купальными костюмами, явился на остров в нижней рубашке и набедренной повязке, с двумя револьверами и ножом за поясом, его задержали на берегу. Это было во времена Джонни Бэссета, строго следившего за исполнением этикета. Капитан Йенсен, стоя на корме своего вельбота, заявил, что на его шхуне нет штанов, и в то же время продолжал настаивать на своем желании выйти на берег. В Гобото его вылечили от огнестрельной раны в плечо и учтиво извинились перед ним, так как на его шхуне действительно не нашлось штанов. Однако в первый же день, когда он поднялся с постели, Джонни Бэссет вежливо, но непреклонно облек гостя в собственные брюки. Это было важным прецедентом. Во все последующие годы обычай никогда не нарушался. Белые люди и штаны составляли неделимое целое. Только негры бегали нагишом. Панталоны определяли касту.

II

В эту ночь все было, как обыкновенно, за исключением одного обстоятельства. Семь человек с очень блестящими глазами, но еще твердо державшиеся на ногах, увенчавшие головокружительным коктейлем день, посвященный шотландскому виски, сели обедать. На них были куртки, штаны и башмаки. В числе этих семерых находился управляющий Джерри Мак-Мёртрей, два его приказчика — Эдди Литл и Джек Эндрюз, капитан Стейплер с кеча «Мари», вербовавшего рабочих, плантатор из Тито-Ито — Дарби Шрайлтон, Питер Джи, полукитаец, скупщик жемчуга в районе от Цейлона до Паумоту, и Альфред Дикон, прибывший с последним пароходом. Вначале чернокожие подавали вино, но вскоре все предпочли виски с содовой, запивая им пищу, прежде чем она оказывалась в их луженых, обожженных алкоголем желудках.

Во время кофе они услышали грохот якорной цепи, что указывало на прибытие судна.

— Это Дэвид Гриф, — заметил Питер Джи.

— Вы почем знаете? — свирепым голосом спросил Дикон и продолжал язвительно: — Такие парни, как вы, всегда стараются пустить пыль в глаза новичку. Я немало плавал по морям и скажу, что назвать судно, когда оно появляется вдали маленьким пятнышком, или угадать, кто им управляет, по грохоту якоря — это просто возмутительное фанфаронство.

Питер Джи закуривал папиросу и не отвечал.

— Негры иногда удивительно ловко угадывают, — дипломатично вставил Мак-Мёртрей.

Поведение гостя в высшей степени не нравилось управляющему и остальной компании. С того момента, как появился сегодня после обеда Питер Джи, Дикон всячески издевался над ним. Он придирался ко всем его словам и вообще вел себя грубо.

Питер Джи, который белее самого белого.

— Может быть, это оттого, что Питер отчасти китаец, — предположил Эндрюз. — Дикон — австралиец, а вы знаете, что австралийцы очень чувствительны к цвету.

— Пожалуй, что так, — согласился Мак-Мёртрей. — Но все же нельзя сносить подобное обращение, особенно с таким человеком, как Питер Джи, который белее самого белого.

Управляющий был совершенно прав. Питер Джи считался выдающейся личностью. Этот человек со смесью европейской и азиатской крови был добр и умен. Честная и настойчивая китайская кровь сдерживала в нем беспечность и распущенность, полученные с английской кровью его отца. Он был образованнее всех находящихся здесь, лучше всех говорил по-английски, равно как и на нескольких других языках, и более чем кто-либо старался не отступать от идеала джентльмена. В довершение всего у него была мягкая, благородная душа. Он ненавидел насилие, хотя в свое время ему приходилось убивать людей, питал отвращение к спорам и раздорам, боялся их, как чумы.

Капитан Стейплер пытался поддержать Мак-Мёртрея:

— Я помню, когда я перешел на другую шхуну и отправился в Альтман, негры заранее угадали это. Меня совсем не ждали и ни в коем случае не могли предположить, что я буду на этом судне. А негры сказали агенту, что на шхуне капитаном я. Тот посмотрел в бинокль и не поверил им. Но они стояли на своем. Потом они говорили мне, что по всему облику шхуны знали, что именно я вел ее.

Дикон не слушал его и опять начал придираться к скупщику жемчуга.

— Как могли вы узнать по звуку якорной цепи, что на судне тот самый... как вы там назвали его? — язвил он.

— Признаков очень много, — отвечал Питер Джи, — очень трудно это объяснить. Для этого, пожалуй, понадобилось бы написать целое сочинение.

— Вот именно, — насмехался Дикон. — Немудрено дать такой ответ, который ничего не объясняет.

— Кто хочет играть в бридж? — спросил Эдди Литл, второй приказчик, смотря вопросительно на присутствующих и собираясь тасовать карты. — Хотите играть, Питер?

— Если он будет играть, значит, он хвастун, — отрезал Дикон. — Мне, наконец, надоело это фанфаронство. Мистер Джи, может быть, вы будете столь добры и расскажете, как вы узнали, кто бросил якорь? А после этого мы сыграем с вами в пикет.

— Я бы предпочел бридж,— отвечал Питер.— Что же касается до того, что вы спрашиваете, то извольте, кое-что скажу. По грохоту якоря можно узнать, что это маленькое судно. Не было слышно ни свистка, ни сирены — опять признак маленького судна. Оно бросило якорь близко от берега, что опять говорит о маленьком судне, так как пароход и крупные шхуны должны бросать якорь, не доходя до середины мелкого места. Вход в бухту очень извилистый. Ни один капитан не решится войти сюда ночью ни на вербовочном судне, ни на торговом. Никто из чужестранцев, разумеется, не рискнет на это. Могут быть два исключения. Во-первых, Маргонвилл, но он казнен верховным судом на Фиджи. Значит, остается другой — Дэвид Гриф. Он войдет в пролив днем или ночью, будь благоприятная погода или буря. Все это знают. Можно было бы еще допустить, что решился на это какой-нибудь молодой отчаянный мореплаватель, если бы появление Грифа было невозможно, если бы он находился где-нибудь вдали. Но, во-первых, о таком смельчаке не слышал ни я, ни вообще кто-либо; во-вторых, невдалеке крейсирует «Гунге», которая недавно покинула Каро-Каро. Я виделся с Грифом третьего дня в проливе Сэндфлай, он был на «Гунге». Он вез агента на новую плантацию и говорил, что сначала зайдет в Бабо, а затем отправится в Гобото. У него было достаточно времени дойти сюда. Я слышал грохот якоря. Кто же другой может быть здесь, кроме Дэвида Грифа? Шкипером на «Гунге» Доновен; его я знаю слишком хорошо, чтобы допустить, что он может один, без своего хозяина отважиться войти в бухту темной ночью. Через несколько минут Дэвид Гриф войдет в эту дверь и скажет: «В Гувуту пьют даже в промежутках между двумя выпивками». Я готов поставить пятьдесят фунтов, что в эту дверь сейчас войдет именно он и скажет эти самые слова: «В Гувуту пьют даже в промежутках между двумя выпивками».

В первое мгновение Дикон почувствовал себя уничтоженным. Затем его лицо побагровело.

— Вот вам и ответ, — рассмеялся Мак-Мёртрей. — Я, пожалуй, тоже поставлю несколько соверенов.

— Бридж! Кто начинает? — нетерпеливо крикнул Эдди Литл. — Идите сюда, Питер.

— Играйте, — сказал Дикон. — А мы с ним сразимся в пикет.

— Я бы предпочел бридж, — мягко сказал Питер Джи.

— А вы вообще играете в пикет?

Торговец жемчугом кивнул.

— В таком случае, давайте. Может быть, я покажу вам, что в этом я понимаю больше, чем в якорях.

— О, обождите! — начал Мак-Мёртрей.

— Играйте в бридж, — оборвал Дикон. — Мы предпочитаем в пикет.

Таким образом, Питер Джи был вовлечен в игру, которая, как он предчувствовал, вызовет новые неприятности.

— Только один роббер, — сказал он.

— Какая ставка? — спросил Дикон.

Питер Джи пожал плечами:

— Какая хотите.

— Сто очков — пять фунтов партия. Идет?

Питер Джи согласился.

— За двойную партию, конечно, десять.

— Хорошо, — сказал Питер Джи.

За другим столиком четверо углубились в бридж.

Капитан Стейплер, не любивший карт, наблюдал за играющими и подливал виски в их большие стаканы, стоявшие у каждого по правую руку. Мак-Мёртрей с едва скрываемым беспокойством поглядывал на играющих в пикет. Его товарищи англичане также были смущены поведением австралийца и боялись какой-нибудь выходки с его стороны. Было ясно, что его враждебность к метису рано или поздно кончится взрывом.

— Надеюсь, что Питер проиграет, — сказал тихим голосом Мак-Мёртрей.

— Не думаю. Разве только карта не будет идти, — ответил Эндрюс. — Он прекрасно играет в пикет. Знаю по собственному опыту.

Питеру Джи несомненно везло, — это было видно по тому раздражению, с каким Дикон беспрестанно наполнял свой стакан. Первую партию Дикон проиграл и, видимо, проигрывал и вторую, судя по его замечаниям, как вдруг дверь отворилась и вошел Дэвид Гриф.

— В Гувуту пьют даже в промежутках между двумя выпивками! — заметил он небрежно, прежде чем протянул руку управляющему.— Хэлло, Мак! Мой шкипер находится на вельботе. Он получил шелковую рубаху, галстук, туфли для тенниса — словом, всю обмундировку и просит вас прислать ему брюки. Мои оказались малы, а ваши будут ему как раз впору. Здравствуйте, Эдди! Как дела с нгари-нгари? А вы как, Джек? Сегодня чудо: ни у кого нет лихорадки, и никто не пьян до бесчувствия.— Он вздохнул.— Положим, ночь только начинается. Здравствуйте, Питер! Как вы выбрались из этого шквала, после того как мы с вами расстались? Нам пришлось бросить второй якорь.

Пока Гриф знакомился с Диконом, Мак-Мёртрей послал на вельбот слугу с брюками, и вскоре за тем появился капитан Доновен, одетый, как приличествует белому, — по крайней мере на Гобото.

Дикон проиграл вторую партию, что сейчас же обнаружилось по его громким ругательствам. Питер Джи закурил папиросу, сохраняя полное спокойствие.

— Как? Вы хотите кончить игру, потому что вы выиграли? — спросил Дикон.

Гриф вопросительно поднят брови, смотря на Мак-Мёртрея, который едва скрывал свое возмущение.

— Роббер кончился, — ответил Питер Джи.

— Роббер состоит из трех партий. Продолжаем. Мне сдавать.

Питер Джи не протестовал. Они начали третью партию.

— Щенок. Ждет кнута, — прошептал Мак-Мёртрей Грифу. — Вот что, друзья, прекратим пока игру. Мне хочется последить за ним. Если он зайдет слишком далеко, я выброшу его на берег, не посмотрю ни на какие инструкции Компании.

— Кто он такой? — спросил Гриф.

— Прибыл с последним пароходом. Компания рекомендует обращаться с ним любезнее. Он хочет вложить свои деньги в плантацию. У него аккредитив от Компании на десять тысяч фунтов. Он помешался на истинно белой Австралии. Он думает, что если у него белая кожа, а отец его был прокурором республики, так он может брехать, как собака. Вот почему он придирается к Питеру, а вы знаете, что Питер менее чем кто-либо склонен ссориться и затевать истории. Проклятая Компания! Я не брался нянчить ее детенышей с банковыми счетами. Доливайте ваш стакан, Гриф. Это человек вредный, вредный из вредных, вреднейший.

— Может быть, он попросту слишком молод, — предположил Гриф.

— Не может управлять собой, когда выпьет, — это несомненно, — сказал управляющий с гневом и отвращением. — Если он только поднимет руку на Питера, я вздую самолично этого балбеса.

Скупщик жемчуга выдернул из доски колышки, по которым он вел счет, и отодвинулся. Он выиграл третью партию. Взглянув на Эдди Литла, он сказал:

— Теперь я готов играть в бридж.

— А я хочу отыграться, — сердился Дикон.

— Право, я очень устал от этой игры, — уверял его Питер Джи со своим обычным спокойствием.

— Ну, ладно, играйте, — бушевал Дикон. — Еще одну. Нельзя же таким образом отбирать мои деньги. Я продул пятнадцать фунтов. Пусть я проиграю вдвое или расквитаюсь...

Мак-Мёртрей хотел вступить в разговор, но Гриф сделал ему знак глазами.

— Если эта партия на самом деле последняя, я сыграю, — сказал Питер, собирая карты. — Кажется, мне сдавать? Насколько я понял вас, ставка пятнадцать фунтов. Или вы будете должны тридцать, или мы будем квиты.

— Правильно, приятель, или квиты, или я плачу вам тридцать фунтов.

— Кажется, начинается жаркая схватка, — заметил Гриф, пододвигая стул.

Остальные стояли или сидели вокруг, и Дикону опять не везло. Он был хорошим игроком, несомненно. Но карта не шла. И было очевидно, что он не может равнодушно перенести свою неудачу. Он безобразно ругался и злился на невозмутимого метиса.

В конце партии Питер Джи подсчитывал свой выигрыш, а у Дикона не было и пятидесяти очков. Он молча смотрел на своего противника.

— Пахнет проигрышем, — сказал Гриф.

— Притом двойным, — заметил Питер Джи.

— Нечего мне разъяснять,— злился Дикон.— Я учился арифметике. Я должен вам сорок пять фунтов. Вот, берите!

То, как он швырнул девять пятифунтовых билетов, было уже оскорбительно. Но Питер Джи оставался спокойным и не показывал вида, что его оскорбили.

— Вам безумно везло, но вы не умеете играть в карты. Могу вас в этом уверить, — продолжал Дикон. — Я мог бы вас поучить, как надо по-настоящему играть.

Метис улыбнулся и утвердительно кивнул, складывая карты.

— Существует одна незатейливая игра — казино; очень удивительно, если вы никогда не слыхали о ней, — детская игра.

— Я видел, как в нее играют, — мягко заметил метис.

— Что такое? Может быть, вы думаете, что сумеете сыграть в нее?

— О нет, нисколько. Я опасаюсь, что у меня не хватит на это соображения.

— Это очень недурная игра. Она мне нравится, — любезно заметил Гриф.

Дикон не обратил на него никакого внимания.

— Я сыграю с вами по десяти фунтов партию — в тридцать одно очко, — продолжал он приставать к Питеру Джи, — и я покажу вам, как мало вы смыслите в картах. Начинайте. Где новая колода?

— Нет, благодарю вас, — отвечал метис, — меня ждут играть в бридж.

— Да, да, идите! — настойчиво просил Эдди Литл. — Идите, Питер, сейчас начинаем.

— Испугались такой простенькой игры, как казино, — злорадствовал Дикон. — Может быть, ставка слишком высока? Если это так, давайте играть на пенсы и фартинги.

Поведение этого человека, в конце концов, оскорбляло всех присутствующих, и Мак-Мёртрей не мог больше этого выносить.

— Достаточно, Дикон. Он сказал, что не хочет больше играть. Оставьте его в покое.

Разъяренный Дикон обернулся к хозяину дома, но прежде чем успел выругаться, вступился Гриф.

— Я бы с удовольствием сыграл с вами в казино, — сказал он.

— А много вы в этом смыслите?

— Не слишком. Но я хотел бы поучиться.

— Очень мне нужно учить из-за каких-то пенсов.

— О, это как вы хотите. Я согласен играть на какую угодно сумму. Понятно, в разумных пределах.

Дикон думал покончить с ним сразу.

— Сто фунтов партия, если вас это устраивает.

Гриф выразил полное удовольствие:

— Великолепно! Прекрасно! Начнем. Идут ли в счет суипсы?

Дикон был потрясен. Он воображал, что гоботский купец перепугается назначенной ставки.

— Идут ли в счет суипсы? — повторил Гриф.

Эндрюз принес новую колоду карт, и Гриф выбросил из нее джокера.

— Конечно, нет, — отвечал Дикон. — Это детская игра.

— Прекрасно. Я тоже не люблю детской игры.

— Вот как? Ладно! Предлагаю играть по пятисот фунтов.

И Дикон опять потерпел поражение.

— Согласен, — сказал Гриф, начиная тасовать карты. — На первом месте идут, конечно, козыри и пики, затем большое и малое казино, далее тузы в том же порядке, как в бридже. Правильно?

— Однако вы здесь препорядочные шутники! — засмеялся Дикон, хотя смех его был не совсем естественным. — Почем я знаю, есть ли у вас деньги!

— Так же, как я не знаю этого относительно вас. Мак, какой кредит окажет мне Компания?

— Какой хотите, — отвечал управляющий.

— И вы лично гарантируете это? — спросил Дикон.

— Понятно, — сказал Мак-Мёртрей. — Не сомневайтесь, Компания примет его расписку на сумму, превышающую ваш аккредитив.

— Младшая сдает, — сказал Гриф, кладя колоду перед Диконом.

Последний начал несколько колебаться и смотрел с тревожным недоброжелательством на присутствующих. Приказчик и капитан утвердительно кивнули.

— Я никого из вас не знаю, — проговорил Дикон, — как я могу быть уверен. Деньги на бумаге — это еще далеко не всегда реальная вещь.

Тогда Питер Джи вынул из кармана бумажник и взял у Мак-Мёртрея самопишущее перо.

— Я еще ничего не покупал, — объяснил метис, — так что вся сумма осталась нетронутой. Я сейчас переведу ее на вас, Гриф. Тут пятнадцать тысяч. Вот посмотрите.

Дикон схватил чек, когда Джи передавал его через стол. Он медленно прочел его и посмотрел на Мак-Мёртрея.

— Тут все в порядке?

— Да, такая же бумажка, как и ваша собственная, и столь же действительна. Бумаги, принадлежащие Компании, всегда верны.

Дикон снял колоду. Ему пришлось сдавать. Но несчастье продолжало преследовать его. Он проиграл.

— Еще партию, — сказал он. — Мы ведь не сговорились, сколько партий нам играть; вы не должны бросать игру, раз я проиграл. Я хочу продолжать.

Гриф стасовал карты и передал их, чтобы он снял.

— Давайте играть по тысяче, — сказал Дикон, когда проиграл во второй раз. А когда тысяча пролетела так же, как и две прежние ставки в пятьсот фунтов, он предложил поставить две тысячи.

— Ставки удваиваются на отыгрыш, — предостерег Мак-Мёртрей. Его встретил злобный взгляд Дикона. Но управляющий не унимался: — Вам нельзя соглашаться на такое повышение, Гриф, если вы только в здравом уме.

— Кто здесь играет в эту игру? — закричал запальчиво Дикон. Затем обратился к Грифу: — Я проиграл вам две тысячи. Хотите вы играть на две тысячи?

Гриф кивнул. Началась четвертая партия, и Дикон выиграл. Непорядочность его поведения была для всех очевидна. Хотя он из четырех игр проиграл три, все же он вернул свои деньги. Этой детской манерой удваивать ставки он достигал того, что одним выигрышем возмещал все потерянное, сколько бы партий он ни проиграл.

Несомненно, ему хотелось теперь прикончить игру, но он этого не высказал, и Гриф передал ему колоду для снимания.

— Как? — воскликнул Дикон. — Вы хотите еще играть?

— Ничего еще у нас не получилось, — капризно произнес Гриф, сдавая. — Ставка обычная, пятьсот фунтов. Не так ли?

Дикону стало совестно, и он отвечал:

— Нет, по тысяче. Подождите, вот еще что. Тридцать одно очко тянутся слишком долго. Не лучше ли — двадцать одно? Или это для вас слишком быстро?

— То есть это значит, что вы больше не желаете играть? — спросил Дикон.

— Превосходно. Недурная и быстрая игра, — согласился Гриф.

Повторилась прежняя история. Дикон проиграл две игры, удвоил ставку и отыгрался. Гриф не терял терпения, хотя та же хитрость повторялась несколько раз. Наконец случилось то, чего он ожидал. Дикон проиграл несколько раз подряд. Он хотел отыграть четыре тысячи и проиграл. Удвоил до восьми — и снова проиграл. Затем он предложил пойти до шестнадцати тысяч. Гриф покачал головой:

— Вы не можете этого сделать, вы сами знаете. У вас аккредитив на десять тысяч.

— То есть это значит, что вы больше не желаете играть? — спросил Дикон хриплым голосом. — Вы хотите оставить у себя в кармане мои восемь тысяч?

Гриф улыбнулся.

— Это просто грабеж, самый форменный грабеж, — продолжал Дикон. — Вы забираете мои деньги и не даете мне отыграться.

— Нет, вы ошибаетесь, я ничего не имею против того, чтобы вы отыгрались. У вас осталось две тысячи фунтов.

— Хорошо, хорошо, мы будем играть, — согласился Дикон. — Вам снимать.

Игра продолжалась в полном молчании, иногда только прерываемом раздражительными замечаниями и ругательствами Дикона. Присутствующие молча наполняли стаканы и осушали их. Гриф не обращал внимания на ругань своего партнера, погрузившись в игру. Он играл в карты с полной серьезностью. В колоде было пятьдесят две карты, за ними надо было внимательно следить, и он следил старательно.

Когда были сданы две трети колоды, он бросил карты.

— За мной, — сказал он, — у меня двадцать семь.

— А если вы ошиблись? — побледнев, грозно спросил Дикон.

— Тогда я проиграл. Сосчитайте.

Гриф передал ему карты, и Дикон дрожащими пальцами начал проверять. Он отодвинул свой стул от стола и осушил свой стакан. Посмотрел вокруг — и увидел недоброжелательные взгляды присутствующих.

— Я думаю, что со следующим пароходом я отправлюсь в Сидней, — сказал он спокойно и без обычного хвастовства.

Гриф потом говорил: «Если бы он стал жаловаться или шуметь, я бы не предоставил ему этой возможности; но он принял свое лекарство как мужчина, и я должен был сделать это».

Дикон взглянул на часы, притворно зевнул и приподнялся.

— Подождите, — сказал Гриф. — Не хотите ли еще сразиться?

Дикон опустился на стул, хотел заговорить, но не смог, — облизнул запекшиеся губы и утвердительно кивнул.

— Капитан Доновен отправляется на рассвете на «Гунге» в Каро-Каро,— как будто без всякой связи с предыдущим начал Гриф.— Каро-Каро представляет песчаное кольцо в море с несколькими тысячами пальм. Там растут также пандановые деревья; но ни сладкий картофель, ни таро не произрастает. Там

около восьмисот туземцев, царек и два главных министра, и только эти трое носят одежду. Это Богом забытая трущоба, куда я раз в год посылаю шхуну с Гобото. Вода для питья солоноватая, но старый Том Батлер уже двенадцать лет пьет ее. Он там единственный белый. У него пять человек ребят из Санта-Круса; они убежали бы от него или убили бы его, если бы могли. К нему посылают провинившихся на плантациях. Миссионеров там нет. Два учителя, уроженцы Самоа, были убиты, когда они высадились на берег несколько лет назад. Вы, конечно, удивляетесь, почему я вам так подробно об этом рассказываю. Но имейте терпение. Капитан Доновен, как я уже сказал, отправляется туда завтра на рассвете. Том Батлер состарился и стал почти беспомощным. Я пытался переправить его в Австралию, но он говорит, что хочет остаться на Каро-Каро и там умереть, и это, наверное, скоро случится, через год или вроде того. Он старый чудак. Мне необходимо послать туда какого-нибудь белого, чтобы заменить Тома. Может быть, вам подойдет эта служба? Прожить там надо два года. Подождите, я еще не кончил. Сегодня вечером вы частенько упоминали о том, как следует по-настоящему действовать, а какая же деятельность в том, чтобы проигрывать то, чего вы никогда не зарабатывали. Те деньги, которые вы мне проиграли, вы получили в наследство от вашего отца или какого-нибудь другого родственника, трудившегося в поте лица. Но два года службы на Каро-Каро в роли агента будут уже кое-что значить. Я поставлю десять тысяч фунтов, которые вы мне проиграли, против двухлетней службы на Каро-Каро. Если вы выиграете, деньги будут ваши. Если проиграете, то вы должны взять службу на Каро-Каро и отплыть туда на рассвете. И это можно будет назвать настоящей деятельностью. Хотите?

Дикон не мог говорить, у него пересохло в горле, и он только кивнул, взяв карты.

— Еще одно, — сказал Гриф. — Я могу сделать лучше. Если вы проиграете, два года вашей службы должны, конечно, принадлежать мне безвозмездно. Тем не менее я выплачу вам жалованье. Если ваша работа будет удовлетворительна, если вы будете выполнять аккуратно все инструкции и правила, я вам в течение двух лет буду платить по пяти тысяч фунтов в год. Эти деньги будут внесены на ваш счет в Компанию, и вы получите их с процентами, когда наступит срок. Вас это устраивает?

— Это слишком, — пробормотал Дикон. — Вы несправедливы к самому себе. Агент получает десять или пятнадцать фунтов в месяц.

— Пусть это будет в награду за вашу деятельность, — сказал Гриф. — Я заканчиваю разговор. Но, прежде чем начать игру, я напишу несколько правил. Если вы проиграете, вам придется повторять их каждое утро вслух. Это послужит вам на пользу. Когда вы их повторите в продолжение семисот тридцати утр, проведенных в Каро-Каро, они, я убежден, крепко засядут в вас. Дайте-ка ваше перо, Мак!

Он быстро и твердо набросал в несколько минут следующие строки, которые просил прочесть вслух.

«Я должен неизменно помнить, что каждый человек так же хорош, как и всякий другой, если только он не считает себя лучше других.

Как бы я ни был пьян, я не должен забывать, что я джентльмен. Джентльмен — тот, кто благороден и мягок. Примечание. Лучше не напиваться вовсе.

Когда я играю в мужскую игру с мужчинами, я должен играть как мужчина.

Хорошее ругательство сказанное кстати, и изредка, весьма полезно, но постоянная ругань сама ослабляет себя. Примечание. Ругательство не может ни изменить ход игры, ни заставить дуть ветер.

Никакой мужчина не имеет права унижать свое мужское достоинство. Десять тысяч фунтов не могут быть основанием для такой привилегии».

В начале чтения Дикон побледнел от злости. Потом все лицо его стало покрываться краской, постепенно разливающейся от шеи до корней волос.

— Ну вот и все, — сказал Гриф, складывая бумажку и кладя ее на середину стола. — Ну, как же, вы не раздумали играть со мной?

— Так мне и надо,— прерывающимся голосом пробормотал Дикон.— Я был ослом. Мистер Джи, прежде чем выяснятся результаты моей игры, я желал бы попросить извинения. Может быть, этому было виной виски, не знаю, но я вел себя, как осел, подлец, идиот, вообще мерзко.

Он протянул руку, и метис, просияв, пожал ее.

— Послушайте, Гриф, — воскликнул Джи. — Он славный малый. Бросим эту канитель, выпьем прощальный стакан и забудем обо всем.

Гриф колебался, но Дикон крикнул:

— Нет, не желаю. Я еще не расплатился. Если Каро-Каро, пусть будет Каро-Каро. Ни больше ни меньше.

— Правильно, — сказал Гриф, начиная сдавать. — Если он окажется подходящим человеком для Каро-Каро, то Каро-Каро ему не повредит.

Игра была сосредоточенной и серьезной. Они сыграли три партии, и три раза оба недобирали должного числа очков. В начале пятой, и последней сдачи у Дикона не хватило трех очков, а у Грифа четырех. Дикон внимательно следил за картами, соображал, высчитывал. Он больше не ворчал и не ругался и играл теперь лучше, чем прежде. Через его руки прошли два черных туза и туз червей.

— Я думаю, вы можете назвать карты, которые у меня на руках? — спросил он при последней сдаче и потряс свои карты.

Гриф утвердительно кивнул.

— Так назовите их.

— Валет пик, двойка пик, тройка червей и туз бубен, — отвечал Гриф. Стоявшие позади Дикона зрители, смотревшие в его карты, не сделали никакого знака. И все же Гриф назвал карты правильно.

— Мне кажется, вы играете в казино лучше меня,— заявил Дикон.— Я могу назвать только три ваших карты: валет, туз и большое казино.

— Неверно. В колоде не пять тузов. Трех вы уже сбросили, четвертый у вас на руках.

— Честное слово, вы правы, — проговорил Дикон. — Я сбросил трех тузов, и «карты» останутся за мной. А это все, что мне нужно. Я предоставлю вам взять малое казино. — Он смолк, погрузившись в расчеты. — Да, также и туза, а затем у меня будут «карты», и я выйду с большим казино. Ходите.

— «Карты» ничьи. Я выиграл! — воскликнул Дикон, когда игра была разыграна до конца. — Я выхожу с малым казино и четырьмя тузами. Большое казино и пики составят вам только двадцать.

Гриф потряс свою кучку карт.

— Боюсь, что вы ошиблись.

— Нет, — решительно объявил Дикон. — Я считал каждую карту. В этом-то уж я не сбился. У меня двадцать шесть, и у вас двадцать шесть.

— Пересчитайте, — сказал Гриф.

Старательно и медленно пересчитывал Дикон карты, пальцы его дрожали; у него было двадцать пять. Он пододвинулся к дальнему углу стола, взял бумагу, надписанную Грифом, сложил ее и положил в карман. Затем допил свой стакан и встал. Капитан Доновен взглянул на свои часы, зевнул и тоже поднялся.

— Вы на судно, капитан? — спросил Дикон.

— Да, — последовал ответ. — Когда мне прислать за вами вельбот?

— Я отправлюсь с вами сейчас же. Мы захватим мой багаж с «Билли», когда пойдем мимо. Я собирался утром отправиться на нем в Бабо.

Дикон пожал руки присутствующим. Все пожелали ему успеха на Каро-Каро.

— Том Батлер играет в карты? — спросил он Грифа.

— В солитер.

— В таком случае я научу его двойному солитеру.

Дикон повернулся к двери, у которой ждал его капитан Доновен, и проговорил со вздохом:

— Воображаю, как он облупит меня, если он играет так же, как вы, островитяне.

ПЕРЬЯ СОЛНЦА

I

Остров Фиту-Айва был последним независимым оплотом полинезийцев в Южных Морях. Три причины содействовали независимости Фиту-Айва. Первая и вторая — изолированное положение острова и воинственность населения. Но это не спасло бы острова, если бы Япония, Франция, Германия и Соединенные Штаты не направили сюда своих аппетитов одновременно. Это было похоже на свалку мальчишек из-за пенни. Один подставлял ножку другому. Спокойствие маленькой бухты Фиту-Айва было нарушено стоянкой боевых судов пяти держав. Возникли слухи о войне, нависла угроза войны. Весь мир за завтраком читал газетные столбцы о Фиту-Айва. Как резюмировал в то время положение один янки-матрос, все державы хотели влезть ногами в одно корыто.

Таким образом Фиту-Айва избавился даже от объединенного протектората, и король Тулифау, иначе Туи-Тулифау, продолжал творить высший суд и законодательствовать в своем бревенчатом дворце, построенном для него из калифорнийского красного дерева сиднейским купцом. Не только каждым дюймом своего тела Туи-Тулифау был королем, но и всякую секунду он пребывал королем. Процарствовав пятьдесят восемь лет и пять месяцев, он насчитывал себе от рождения пятьдесят восемь лет и три месяца. Таким образом, он процарствовал на пять миллионов секунд больше, чем существовал, так как был коронован за два месяца до своего рождения. Это был настоящий король, с царственной фигурой, ростом шести с половиной футов. Он не был слишком толст, тем не менее он весил триста двадцать фунтов. Это не считалось необычным для полинезийского вождя. Сэпели, его королева, была ростом шести футов трех дюймов и весила двести шестьдесят фунтов, между тем как брат ее, Уиллиами, командовавший армией в те периоды, когда его освобождали от поста первого министра, был выше ее на дюйм и тяжелее на пятьдесят фунтов. У Туи-Тулифау была душа нараспашку. Он любил хорошо поесть и выпить.

Добродушны были и его подданные, если их не сердить. Тех, кто их выводил из себя, они готовы была забросать дохлыми поросятами. При случае они сражались, как маори в прежние годы; в этом приходилось убеждаться на практике хищникам-торговцам сандаловым деревом и работорговцам.

II

Шхуна Грифа «Кантани» прошла два часа назад Скалистые Колонны и вползла в бухту при слабых дуновениях ветра, который никак не мог начать дуть по-настоящему.

Вечер был холодный; поблескивали звезды. Все толпились на корме, дожидаясь, пока, двигаясь со скоростью улитки, они дойдут до места стоянки. Вилли Сми, судовой приказчик, вышел из каюты, нарядившись в лучшую одежду для прогулки на берегу. Помощник посмотрел на его рубашку из тончайшего белого шелка и значительно усмехнулся.

— Должно быть, вы сегодня вечером собираетесь танцевать? — заметил Гриф.

— Нет, — сказал помощник. — Это для Таитуа. Вилли в нее влюблен.

— Какие пустяки! — воскликнул приказчик.

— Если не вы в нее, так она в вас. Все равно, — продолжал помощник. — Вы не успеете пробыть получаса на берегу, как у вас за ухом окажется цветок, на голове венок, а ваши руки будут обнимать Таитуа.

— Вы просто завидуете, — усмехнулся Вилли. — Вам бы хотелось самому завладеть ею, но вы не можете.

— Потому что я не могу найти такой рубашки, как у вас. Я готов заплатить вам полкроны, если эта рубашка окажется на вас, когда вы будете отплывать от Фиту-Айва.

— Если же Таитуа не удастся заполучить ее, то завладеет ею Туи-Тулифау, — предостерег Гриф. — Лучше не показывайтесь к нему в своей рубашке, а то не видать вам ее.

— Правильно,— согласился капитан Бойг, отворачиваясь от берега, куда он все время смотрел, наблюдая за горевшими в домах огнями.— Прошлый раз он отобрал у одного из канаков пояс и нож в ножнах,— Он обернулся к помощнику.— Вы можете отдать якорь хоть сейчас, мистер Маш. Ветра совершенно незаметно, и утром мы можем пристать против навесов для копры.

Минуту спустя загрохотал якорь. Спущенный вельбот стоял около шхуны, и собравшаяся на берег компания размещалась в нем. Кроме канаков в вельботе находились Гриф и судовой приказчик. На маленькой коралловой пристани Вилли Сми, пробурчав извинение, расстался со своим хозяином и скрылся в пальмовой аллее. Гриф пошел в другую сторону и завернул за старую церковь, принадлежавшую миссии.

Здесь между могилами танцевала молодежь, одетая в легкие ахус и лава-лава, украшенная венками и гирляндами с большими фосфоресцирующими цветами

гибиска. Гриф прошел дальше, мимо тростникового общественного дома, где сидели длинными рядами несколько десятков стариков и пели гимны, которым их когда-то научили забытые теперь миссионеры. Он прошел также мимо дворца Туи-Тулифау, где, судя по освещению и шуму, происходил обычный кутеж. Фиту-Айва был самым счастливым островом изо всех счастливых островов, находящихся в Южных Морях. Его обитатели пировали и ликовали по всякому поводу, при рождениях и на похоронах.

Гриф шел дальше по дроковой аллее[1], извивающейся между высокими зарослями цветов амораба с папоротникообразными листьями. Теплый воздух был напоен ароматом. Над головой поднимались к звездам отягченные плодами манго[2], стройные авокадо и перистые пальмы. Повсюду виднелись тростниковые домики. В темноте раздавались голоса и смех. На воде мелькали огоньки, и возвращавшиеся домой рыбаки пели приятными голосами хоровые песни.

Наконец Гриф сошел с дорожки, споткнувшись о свинью, которая негодующе захрюкала. Взглянув через открытую дверь, он увидел немолодого туземца, сидевшего на куче циновок. По временам он автоматическим движением обмахивал свои голые ноги опахалом из кокосовых волокон. Сквозь очки он с методическим видом читал какую-то книгу.

Гриф заранее знал, что это библия, так как читавший был его агент Иеремия, названный по имени пророка Иеремии.

Цвет кожи у Иеремии был более светлый, чем у туземцев Фиту-Айва, что было естественно для чистокровного самоанца. Миссионеры подготовили его к должности проповедника-мирянина. В таком духе он и работал на западных островах, где жили людоеды. В награду за это его послали на остров Фиту-Айва, который был настоящим раем. Все его жители были христианами, если не на всю жизнь, то хотя бы временно. Иеремия должен был возвращать отпавших в лоно церкви. К несчастью, он слишком расширил круг своих знаний. Случайный томик Дарвина, сварливая жена и хорошенькая туземная вдовушка совратили его самого с христианского пути. Впрочем, полного вероотступничества не было. Дарвин утомил его ум. К чему стараться понять сложный и загадочный мир, в особенности, когда жена твоя нестерпимейшая женщина? Иеремия постепенно становился все более небрежным к своему делу, и миссионерский совет все решительнее и решительнее грозил послать его назад на островки с каннибалами; в то же время язычок его жены становился все необузданнее. Туи-Тулифау был вообще монархом приятным; носились слухи, что когда он бывает пьян свыше меры, его жена-королева основательно его поколачивает. Туи-Тулифау не мог развестись с ней из-за политических мотивов,— она сама принадлежала к царствующему роду, а ее брат командовал ар-

---

[1] Дрок — род растений из семейства бобовых и подсемейства мотыльковых; кустарники или полукустарники, иногда колючие, с желтыми цветами.

[2] Плоды манговых деревьев величиной с гусиное яйцо или даже дыню; очень вкусные и потому находят разнообразное употребление.

мией,— но ему нетрудно было дать развод Иеремии, который тотчас же начал заниматься торговлей, а также избранницей своего сердца. Из самостоятельной торговли у него ничего не вышло, главным образом благодаря плачевному покровительству Туи-Тулифау. Веселому монарху нельзя было отказывать в кредите, так как отказ мог повлечь за собой конфискацию имущества; предоставить же ему кредит — значило неизбежно обанкротиться. После того как Иеремия целый год прошатался без дела на берегу, Дэвид Гриф взял его к себе на службу в качестве агента. Уже двенадцать лет он служил весьма исправно и честно, так как Гриф оказался первым человеком, умевшим благополучно отказывать королю в кредите; если же король все-таки что-либо получал в долг, то Гриф умел добиваться уплаты.

Иеремия серьезно взглянул поверх своих очков на вошедшего хозяина, тщательно заметил страницу в библии и отложил книгу в сторону; затем с той же серьезностью пожал Грифу руку.

— Как я рад, что вы прибыли собственной персоной, — сказал он.

— А как же иначе мог я явиться? — засмеялся Гриф.

Но Иеремия, не обладавший чувством юмора, не обратил внимания на его слова.

— Коммерческое положение острова дьявольски плохо, — сказал он, торжественно смакуя многосложные слова. — Баланс у меня позорный.

— Плохая торговля?

— Наоборот. Она была превосходной. Полки пусты, совершенно пусты. Но... — Глаза его гордо вспыхнули. — У меня еще много товаров в кладовых; я держу их под замком.

— Так значит Туи-Тулифау был разрешен слишком широкий кредит?

— Наоборот, он совсем не пользовался кредитом. Все старые счета были оплачены.

— Не понимаю, Иеремия, — признался Гриф. — В чем тут соль? Полки пусты, кредита не было, старые счета оплачены, кладовые с товаром тщательно заперты, — в чем же дело?

Иеремия ответил не сразу. Из-под кучи циновок он вытащил денежную шкатулку. Гриф с удивлением заметил, что она была отперта. Самоанец всегда заботливо сохранял деньги. Шкатулка, по-видимому, была наполнена бумажными деньгами. Иеремия взял сверху ассигнацию и передал ее Грифу.

— Вот вам ответ.

Гриф посмотрел на прекрасно сделанный банковый билет.

— «Первый государственный банк на Фиту-Айва уплачивает подателю сего по требованию один фунт стерлингов», — прочел он.

Посредине было нечто похожее на изображение туземной физиономии. Внизу стояла подпись Туи-Тулифау, а также Фулуалеа, канцлера казначейства, как было напечатано.

— Кой черт, что это еще за Фулуалеа? — спросил Гриф. — Он — фиджиец, вероятно? Фулуалеа по-фиджийски означает, кажется, «перья солнца».

— Вот вам ответ.

— Именно — «перья солнца». Так именует себя этот жалкий негодяй. Он пришел с Фиджи, чтобы в Фиту-Айва перевернуть все вверх дном — то есть в коммерческом отношении.

— По всей вероятности, Фулуалеа — один из этих ловких молодцов с Левуки?

Иеремия печально покачал головой.

— Нет, этот низкий прохвост белый. Настоящий подлец. Присвоив себе благозвучное и благородное фиджийское имя, он замарал его, преследуя свои низкие цели. Он напоил до бесчувствия Туи-Тулифау. Он все время спаивает его. Благодаря этому он сделал себя канцлером казначейства и облекся в разные полномочия. Он сфабриковал эту фальшивую ассигнацию и заставил народ принимать ее. Оп наложил большие налоги на копру и на табак. Введены портовые правила и налоги, а также другие налоги, но платит их не народ, а только торговцы. Когда на копру был введен налог, я понизил покупную цену. Тогда в народе началось недовольство, и Перья Солнца выпустил новый закон, восстанавливающий прежнюю цену и запрещающий кому-либо ее понижать. С меня он взыскал два фунта и пять свиней; всем было известно, что у меня их было именно пять. Вы найдете запись об этом в главной книге. У Хаукинса, агента Фулькрумской Компании, были отобраны сначала свиньи, затем джин, и так как он не унимался, против него послали военные силы и сожгли его склад. Вследствие того, что я приостановил продажу, Перья Солнца снова оштрафовал меня и пригрозил спалить склад, если я буду противиться. Тогда я продал все, что было у меня на полках, и вот моя денежная шкатулка набита ничего не стоящими бумажками. Мне будет неприятно, если вы уплатите ими мне жалованье, но это будет справедливо. И что же теперь делать?

Гриф пожал плечами.

— Во-первых, надо повидать этого Перья Солнца и вникнуть в положение вещей.

— В таком случае поспешите, — заметил Иеремия, — а то он насочинит вам множество всяких штрафов. Таким образом он отбирает все попадающиеся сюда монеты. Он здесь теперь уже завладел всеми, кроме тех, которые удалось зарыть.

III

Возвращаясь по дроковой аллее, у освещенного лампочками входа во дворец Гриф встретил коротенького кругленького джентльмена, гладко выбритого, в мягких парусиновых штанах и с очень ярким цветом лица. Он только что вышел из дворца. Его решительные и самодовольные манеры показались Грифу знакомыми. Гриф сейчас же узнал его. Он видел его раньше чуть не в дюжине портов Южных Морей.

— Какими судьбами? Корнелиус Дэзи? — воскликнул он.

— Да неужто это сам Гриф, старый черт! — ответил тот, пожимая протянутую руку.

— Если вы навестите меня на судне, то увидите, какой у меня ирландский виски, — пригласил его Гриф.

Корнелиус приосанился.

— Невозможно, мистер Гриф. Теперь я Фулуалеа. Прежние времена для меня более не существуют. Благодаря его величеству, милостивому королю Тулифау, я являюсь канцлером его казначейства, а также и верховным судьей, когда самому королю нежелательно забавляться правосудием.

Гриф свистнул от изумления.

— Так это вы и есть Перья Солнца?

— Я предпочитаю туземное наименование. Называйте меня, пожалуйста, Фулуалеа. Я помню прежние времена, мистер Гриф, и поэтому мне сердечно жаль, что приходится огорчить вас. Вы должны уплатить установленные законом импортные пошлины, как это обязан сделать всякий другой торговец, стремящийся обобрать кротких дикарей Полинезии на их коралловых островах. Итак, что я хотел сказать? Ах да, помню. Вы преступили закон. Вы вошли в порт Фиту-Айва с неблаговидными намерениями после солнечного захода, не осветив судна огнями. Не перебивайте меня! Я видел это собственными глазами. За это на вас налагается штраф в пять фунтов. Имеется ли у вас на судне джин? Да, вы совершили важный проступок. Вы подвергли риску жизнь моряков в нашем удобном порту, экономя какие-нибудь жалкие пенсы на керосин для освещения. Спрашиваю вас: есть ли у вас джин? Требует ответа сам начальник порта.

— Однако вы взвалила себе на плечи немалую тяжесть, — усмехнулся Гриф.

— Таков нелегкий долг белого. Подлые торговцы эксплуатировали несчастного Туи-Тулифау, наидобрейшего старого монарха из всех когда-либо восседавших на троне в Южных Морях и пивавших грог из королевских сосудов.

И вот я, Корнелиус Фулуалеа, я пришел сюда творить правосудие. Хотя мне и очень неприятно, что я принужден сделать это, но я, как начальник порта, обязан обвинить вас в нарушении карантина.

— Карантина?

— Таков порядок, установленный портовым врачом. Не допускается соприкосновения с берегом, пока судно не подвергнется осмотру и не получит разрешения. Какая неприятность доверчивым туземцам, если у вас на судне вдруг окажется ветряная оспа или коклюш! Кто же сможет защитить кротких, доверчивых полинезийцев? Я, Фулуалеа, Перья Солнца, свято творящий высокую миссию.

— Но кто же, черт возьми, здесь портовый врач? — спросил Гриф.

— Я, Фулуалеа. Ваш проступок весьма серьезен. Считайте себя обязанным уплатить в виде штрафа пять ящиков голландского джина первого сорта.

Гриф благодушно рассмеялся.

— Давайте устроим компромисс, Корнелиус. Идем на шхуну и выпьем.

Перья Солнца с достоинством отклонил предложение.

— Это называется подкупом. Я не согласен. Моя порядочность не допускает этого. А почему вы не представили ваших судовых документов? Как начальник таможни, я обязываю вас уплатить штраф в пять фунтов и прибавить еще два ящика джина.

— Послушайте, Корнелиус. Шутка шуткой, но вы зашли слишком далеко. Это вам не Левука. Мне уже почти хочется оттрепать вас за уши. Вам не одолеть меня.

Перья Солнца с опаской отступил.

— Пожалуйста без насилия,— пригрозил он.— Вы правы, это не Левука. С помощью Туи-Тулифау и королевского войска я могу скрутить вас, как только мне захочется. Вы немедленно заплатите все штрафы, или я конфискую ваше судно. Вы не первый. Питер Джи, этот китаец, скупающий жемчуг, тоже пробрался в гавань, преступив все правила и законы, и наговорил всяких дерзостей из-за каких-то ничтожных штрафов. Да. Он тоже не желал платить — и теперь сидит на берегу и размышляет обо всем этом.

— Уж не хотите ли вы сказать...

— Совершенно правильно. Я забрал его шхуну, как человек, исполняющий свой служебный долг. Пятая часть местных войск теперь охраняет ее; на этой неделе шхуна будет продана. В трюме погружено десять тонн жемчужных раковин. Я, пожалуй, могу поменяться ими с вами на джин. Обещаю вам выгодную сделку. Как вы сказали, сколько джина у вас на судне?

— Опять джин!

— Почему бы и нет? Для Туи-Тулифау джин — главный королевский напиток. Мне приходится постоянно заботиться, чтобы у него не было недостатка в нем. Все его придворные постоянно пьяны. Неприятное зрелище. Ну, как же, заплатите штраф, мистер Гриф, или я должен буду прибегнуть к более крутым мерам?

Гриф нетерпеливо повернулся на каблуках.

— Корнелиус, вы просто пьяны. Подумайте хорошенько и придите в себя. Старые времена на Южных Морях прошли; теперь нельзя шутить по-прежнему.

— Если вы думаете отправиться к себе на судно, мистер Гриф, то лучше не беспокойтесь. Я предвидел ваше упрямство и принял меры. Вы найдете ваш экипаж на берегу. На судно ваше наложен арест.

Гриф обернулся к нему, не вполне уверенный, что он говорит серьезно. Фулуалеа снова опасливо отступил. Рядом с ним из темноты появилась фигура дюжего человека.

— Это вы, Уиллиами? — проворковал Фулуалеа. — Вот еще другой морской пират. Заступись за меня, о брат мой, твоими руками Геркулеса.

— Мой привет тебе, Уиллиами, — сказал Гриф. — С каких это пор Фиту-Айва управляется левукским проходимцем? Он говорит, что моя шхуна арестована. Это правда?

— Это правда, — прогудел Уиллиами. — Нет ли у вас еще таких шелковых рубашек, как у Вилли Сми? Туи-Тулифау очень хочет получить такую рубашку. Он слышал о них.

Гриф вне себя замахнулся на Корнелиуса, который скрылся под защиту рослого Уиллиами.

— Это все равно, — прервал его Фулуалеа. — У короля будут и рубашки, и шхуна.

— Не слишком ли много загребаете, Корнелиус, — проворчал Гриф. — Это чистейший грабеж. Вы захватили мою шхуну, не предупредив меня.

— Без предупреждения? Не прошло и пяти минут, как здесь, на этом самом месте вы отказались уплатить штраф.

— Но судно было уже захвачено.

— Понятно, а почему бы и нет? Разве я не знал, что вы откажетесь? Все совершенно правильно, ничего не сделано против закона. Правосудие — сияющая звезда, перед священным алтарем которой преклоняет-

ся Корнелиус Дэзи, или Фулуалеа — что одно и то же. Убирайся прочь, мистер торговец, или я вышлю дворцовую стражу. Уиллиами, у этого купца отчаянный характер, позови стражу!

Уиллиами свистнул в свисток, повешенный на его голой груди на веревочке из кокосовых волокон. Гриф вне себя замахнулся на Корнелиуса, который скрылся под защиту рослого Уиллиами; около дюжины статных полинезийцев, не менее шести футов ростом, прибежали от дворца и выстроились позади своего начальника.

— Отправляйтесь, мистер торговец, — командовал Корнелиус, — разговор окончен. Завтра мы обсудим ваши дела. Явитесь во дворец в точности в десять часов, чтобы дать ответ на следующие пункты обвинения: нарушение мира; мятежное и изменническое поведение; покушение к насилию над высшим чиновником, с намерением зарезать его, поранить, нанести увечье, поколотить; нарушение карантина; нарушение портовых правил; грубейшее нарушение таможенных законов. Утром, мистер, утром совершится правосудие с быстротой падающего плода с хлебного дерева. И да будет бог милостив к душе вашей!

IV

Гриф постарался вместе с Питером Джи проникнуть к Туи-Тулифау раньше часа, назначенного для судебного разбора.

Окруженный дюжиной вождей, король лежал на циновке в тени авокадового дерева в саду около дворца. Хотя было еще рано, дворцовые служанки уже хлопотливо разносили большие сосуды с джином. Король был очень рад видеть своего старого друга Дэвида и очень досадовал, что его друг пострадал от новых постановлений. Помимо этих любезных слов, король старательно избегал делового разговора. Ограбленные торговцы напрасно спорили, — в ответ на все их протесты он угощал их джином.

— Выпейте, пожалуйста, — неизменно отвечал король, хотя один раз он высказал свое мнение о человеке, называемом Перья Солнца, назвав его замечательным человеком. Никогда еще государственные дела так не процветали. Никогда еще не вмещала в себе сокровищница столько денег, никогда еще не лилось столько джина. — Я весьма доволен Фулуалеа, — заключил он свою речь. — Выпейте, пожалуйста!

— Нам во что бы то ни стало надо выбраться из этой ловушки, — прошептал Гриф Питеру Джи через несколько минут, — или они нас живьем слопают. Меня будут сейчас судить за поджог, за ересь, за проказу, за все что угодно. Надо изворачиваться.

Когда они уходили от короля, мимо них мелькнула королева Сэпели. Она смотрела на своего царственного супруга и на его собутыльников, и ее недовольный вид дал Грифу намек на тактику. Лучше всего действовать через нее, когда будут обдуманы способы защиты.

В другом тенистом уголке большого сада Корнелиус вел судопроизводство. Он начал свои занятия очень рано. Когда подошел Гриф, дело Вилли Сми уже было кончено. Присутствовала вся армия, за исключением тех воинов, которые остались охранять конфискованные суда.

— Подсудимый, встаньте, — сказал Корнелиус; — выслушайте милостивое решение суда по поводу вашего безобразного и возмутительного поведения, совершенно недопустимого для судового приказчика. Подсудимый говорит, что у него нет денег. Прекрасно. Суд сожалеет, что здесь нет тюрьмы. Вместо этого, снисходя к бедственному положению подсудимого, суд приговаривает его уплатить штраф в размере одной белой шелковой рубашки, совершенно такого же сорта и покроя, как та, что на нем надета.

Корнелиус кивнул солдатам, они увели подсудимого за авокадовое дерево. Почти сейчас же он вышел оттуда без упомянутой части своего туалета и сел рядом с Грифом.

— За что вас судили? — спросил Гриф.

— Будь я проклят, если знаю. А вы какое совершили преступление?

— Следующее дело,— сказал Корнелиус своим напыщенно-судейским тоном.— Подсудимый Дэвид Гриф, встаньте! Суд рассмотрел ваше дело или, правильнее, ваши дела и постановил следующую резолюцию. Молчать! — закричал он громовым голосом, когда Гриф хотел его прервать.— Я говорю вам, что дело было рассмотрено, и всесторонне рассмотрено. Суд вовсе не желает усиливать своих взысканий с подсудимого, поэтому предупреждает его, чтобы он не позволял себе пренебрежительно относиться к суду. За явное и сознательное нарушение портовых правил и положений, за несоблюдение карантина, за непочтение к морским законам — шхуна подсудимого «Кантани» объявляется, в силу поименованных данных, конфискованной правительством Фиту-Айва и будет продана с публичных торгов через десять дней, считая от сегодняшнего дня, со всеми ее принадлежностями, снастями и грузом. Что же касается до личных преступлений подсудимого, заключающихся в буйном и наглом поведении и явном пренебрежении законами государства, он обязан уплатить штраф в сто фунтов и пятнадцать ящиков джина. Я не собираюсь спрашивать, можете ли вы что-нибудь сказать в свое оправдание. Я спрашиваю: хотите ли вы заплатить? Вот в чем вопрос.

Грнф покачал головой.

— Рассматривайте себя как арестованного на поруках. У нас нет тюрьмы, чтобы заключить вас. Сверх всего вышеизложенного суду стало известно, что сегодня рано утром подсудимый Гриф самовластно и с заранее обдуманным намерением послал канаков на рифы, чтобы наловить рыбы на завтрак. Несомненное вторжение в права рыбаков Фиту-Айва и нарушение правил о промыслах. Суд ограничивается пока строгим выговором подсудимому и предупреждает, что если подобный инцидент повторится, виновник или виновники будут немедленно отправлены на тяжелую принудительную работу по ремонту и очистке дроковой аллеи. Суд окончен.

Уходя из дворцового сада, Питер Джи подмигнул Грифу, чтобы тот взглянул на Туи-Тулифау, лежащего на циновках. Рубашка приказчика, натянутая на тучное королевское тело, готова была лопнуть по всем швам.

V

— Дело ясно, — сказал Питер Джи на совете, собранном в доме Иеремии. — Дэзи завладел всей звонкой монетой. Он спаивает короля и забирает наши суда. И как только ему удается, он укатит на вашей или на моей шхуне, спасая свои деньги и свою шкуру.

— Он низкий человек, — заявил Иеремия, затем он замолчал, протирая свои очки. — Он подлец и негодяй. Его недурно бы отдуть дохлым поросенком.

— Правильно,— сказал Гриф,— и он будет бит дохлым поросенком. Я ничуть не удивлюсь, Иеремия, если именно ты съездишь его по лицу особенно провонявшим дохлым поросенком. Будь спокоен и выбери самого что ни на есть провонявшего. Туи-Тулифау теперь раскупоривает ящик с моим шотландским виски. А я пойду во дворец и там займусь с царицей стряпней политики. Вы же принесите тем временем из амбаров некоторое количество товаров и разложите по полкам. Я вам дам в долг кое-какие товары, Хаукинс. А вы, Питер, займитесь немецким амбаром. Торгуйте, как только можете бойчее, продавая на бумажные деньги. Не забывайте, что я уплачу вам за убытки. Если я не ошибаюсь, через три дня у нас будет созван народный совет или разразится революция. Ты, Иеремия, пошли гонцов по всему острову к рыбакам и фермерам и вообще всюду, куда только возможно, даже в горы к охотникам на коз. Оповести их, чтобы они собрались ко дворцу через три дня, считая с сегодняшнего.

— Но как же солдаты? — возразил Иеремия.

— О них позабочусь я сам. Им уже не платили два месяца. Кстати, Уиллиами — это брат царицы. Не выставляйте на ваши полки слишком много товаров. Как только придут солдаты с ассигнациями, перестаньте торговать.

— В таком случае они сожгут склады, — сказал Иеремия.

— На здоровье. Царь Тулифау заплатит, если они это сделают.

— А заплатит ли он за мою рубашку? — спроспл Вилли Сми.

— Это уж личное дело между вами и Туи-Тулифау, — отвечал Гриф.

— Она уже начинает лопаться позади, — жаловался судовой приказчик. — Я заметил это еще сегодня утром, когда он не пробыл в ней и десяти минут. Она стоила мне тридцать шиллингов, и я успел надеть ее всего лишь один раз.

— Откуда же мне раздобыть себе дохлого поросенка? — спросил Иеремия.

— Зарежьте его, очень просто, — сказал Гриф. — Выберите какого поменьше.

— Небольшой поросенок стоит десять шиллингов.

— Запишите этот расход в расходную книгу, в графу непредвиденных расходов по предприятию. — Гриф на минуту замолчал. — Если вы хотите, чтобы поросенок хорошенько протух, его надо зарезать теперь же.

VI

— Вы дельно говорите, Дэвид, — сказала царица Сэпели. — Этот Фулуалеа принес с собой какое-то безумие, и Туи-Тулифау тонет в джине. Если он не разрешит собрать большой совет, я его исколочу. Это очень просто, когда он пьян.

Она сжала свой кулак, и, видя решительность, выражавшуюся на ее лице, Дэвид был уверен, что совет будет созван. Фиту-айванское наречие настолько походило на самоанское, так что он говорил на нем, как туземец.

— А ты, Уиллиами, — сказал он, — говорил, что солдаты требовали звонкой монеты и отказались принимать бумажные деньги, которые им предложили. Скажи им, чтобы они согласились на ассигнации, и устрой, чтобы им выплатили их завтра.

— Для чего вся эта тревога, — возразил Уиллиами. — Король пьян и совершенно счастлив. В кассе много монет. Я доволен. У меня в доме два ящика с джином и много товаров из кладовых Хаукинса.

— О, брат мой, ты настоящая свинья! — воскликнула королева Сэпели.— Разве Дэвид не говорил сейчас? Разве у тебя нет ушей? Когда в твоем доме кончится весь джин и все товары, к нам не приедут торговцы с джином и товарами, а Перья Солнца удерет в Левуку со всеми монетами. Что станем мы тогда делать? Звонкая монета отлита из серебра и золота, а бумага — бумага и есть. Народ ропщет, говорю я тебе. Во дворце нет рыбы. Ямс и бермудский картофель точно выродились, они больше не растут. Уже целую неделю горные жители не шлют нам диких коз. Несмотря на то, что Перья Солнца заставляет агентов покупать копру по прежней цене, народ не продает, потому что не хочет получать бумажные деньги. Сегодня я посылала гонцов в двадцать домов. Нигде не найдешь яиц. Уж не сглазил ли Перья Солнца всех кур? Не знаю. Я знаю только одно, что яиц нет. Еще хорошо, что тот, кто много пьет, ест мало. Иначе бы во дворце наступил голод. Скажи, чтобы солдаты получили свое жалованье. Пусть они получат его ассигнациями.

— И помни,— предостерег Гриф,— хотя лавки будут еще торговать, но когда придут солдаты, их тотчас же запрут. И через три дня соберут совет, а Перья Солнца будет таким же дохлым, как дохлый поросенок.

VII

Все население острова собралось в столицу в день созыва совета. Пять тысяч жителей Фиту-Айва прибыли туда, кто на вельботах и челноках, кто пешком, а кто верхом на ослах. Три дня, предшествовавшие этому событию, прошли в больших волнениях. Сначала шла весьма оживленная торговля, хотя в лавках товаров было немного. Но когда появились солдаты, им отказывались отпускать товары.

Пять тысяч жителей Фиту-Айва прибыли туда,
кто на вельботах и челноках, кто пешком, а кто верхом на ослах.

— Идите к Фулуалеа, — говорили им, — за звонкой монетой. Ведь на лицевой стороне ассигнаций сказано, что их меняют на золото по первому требованию.

Если лавки не были сожжены, то только благодаря авторитету Уиллиами. Но все-таки один из навесов для копры сгорел, и Иеремия поставил это в счет королю. Самого Иеремию ругали и издевались над ним, сломали его очки. У Вилли Сми была ободрана кожа на руке. Это случилось благодаря тому, что под кулаки Сми по очереди попали три солдатских челюсти, о которые он и ободрал руку. Капитан Бойг тоже не избежал ранений. Питер Джи оказался невредим, потому что для солдатских челюстей ему попалась под руки хлебная корзина.

Туи-Тулифау сидел рядом с Сэпели, окруженный своими придворными собутыльниками. Он возглавлял совет, собравшийся в большом саду. Правый глаз и правая щека его распухли, как будто ему тоже пришлось повстречаться с чьими-то кулаками. Во дворце болтали, что Сэпели учинила сегодня утром супругу хорошую головомойку. Во всяком случае, король был в трезвом виде, и его жир нелепым образом выпирал из прорех шелковой рубашки Вилли Сми. У него была жесточайшая жажда, и он то и дело прикладывался к кокосовым орехам, подносимым ему молодыми слугами. За оградой сада напирала сдерживаемая войском чернь.

Внутрь сада допускались только молодые вожди, деревенские девушки, деревенские франты и делегаты с их официальной свитой.

Корнелиус Дэзи, как занимающий высокий пост, сидел по правую руку короля. По левую руку королевы, напротив Корнелиуса сидел Иеремия, окруженный белыми торговцами, представителем которых он являлся. Он внимательно всматривался своими близорукими глазами, лишенными очков, в канцлера казначейства.

Делегаты с наветренного берега, делегаты с подветренного берега и делегаты из горных деревень по очереди вставали и произносили речи. Говорили они большей частью одно и то же. Все роптали на бумажные деньги. Дела шли неважно. Больше не сушили копры. Народ был настроен подозрительно. Происходили такие странные явления, что каждый хотел отдать долг, но никто не хотел его получать. Кредиторы бегали от своих должников. Деньги были дешевы. Цены поднялись, а товаров стало мало.

Курица стоила втрое дороже обычного, и притом такая жесткая и старая, что, казалось, она сейчас же подохнет, если ее не продать немедленно. Будущее представлялось в мрачных красках. Появились всякие знамения. В некоторых местностях свирепствует крысиный мор. Урожай плох. Яблоки уродились мелкие. Лучшие авокадовые деревья на наветренном берегу по каким-то таинственным причинам потеряли листья. Плоды манго стали совершенно безвкусными. Рощи смоковницы объедены червями. Рыба исчезла у берегов; появились тигровые акулы. Дикие козы скрылись на недосягаемых вершинах. В горах раздается завыванье, по ночам ходят духи, женщина из Пун-та-Пуны лишилась языка, а в деревне Эйхо родилась козочка с пятью ногами. И во всем этом были виноваты странные деньги Фулуалеа; таково было твердое убеждение собравшихся на совет крестьян.

Уиллиами говорил от лица армии. Его люди были недовольны и бунтовали. Несмотря на королевский декрет, торговцы отказывались принимать ассигнации. Ему не хочется говорить определенно, но, по-видимому, тут замешаны странные деньги Фулуалеа.

Затем говорил Иеремия, делегат от торговых агентов. Когда он встал, присутствовавшие обратили внимание, что у его ног стояла большая тростниковая корзина. Он расхваливал материю для одежд, привозимую купцами, ее разнообразие, красоту и прочность, во много раз превосходившую прочность туземной тапа, тяжелой, грубой. Теперь больше уже никто не носит тапа. Прежде все носили тапа, и только тапа, пока не появились белые купцы. Хороши также сетки от москитов. Самый что ни на есть искусный мастер туземец и в тысячу лет не сумеет сплести такую сетку, а стоит она сущие пустяки. А несравненные винтовки, топоры, стальные рыболовные крючки, наконец, белая мука и керосин. И он подробно и длинно говорил о прелести организации, порядка и цивилизации, пуская в ход всякие доводы, не всегда соответствующие истине, и утверждая. что купцы являются носителями цивилизации, и что где бы они ни появились, им всюду следует оказывать покровительство. На западных островах не хотели оказывать покровительство купцам. Какой же получился результат? Купцы не стали больше приезжать на эти острова, и жители превратились в диких животных. Они перестали носить одежду, не надевали шелковых рубашек (он подмигнул в ту сторону, где сидел король) и стали пожирать друг друга.

Дурацкие деньги Перья Солнца вовсе не деньги. Купцы знают, какие бывают деньги, и не хотят принимать бумажки. Если жители Фиту-Айва заставят

принимать их, купцы уедут и никогда больше не вернутся. И жители Фиту-Айва, уже разучившиеся ткать тапа, будут бегать нагишом и пожирать друг друга.

Он говорил еще долго, целый час, постоянно возвращаясь к тому, что случилось бы, если бы купцы больше не стали приезжать на остров.

— Если это случится, — восклицал он, — как станут называть жителей Фиту-Айва там, среди великого мира? Кай-канаки станут называть их! Кай-канаки, то есть пожиратели людей.

Туи-Тулифау говорил кратко.

— Мы дали высказаться народу, — сказал он. — Теперь пусть Перья Солнца выскажется и объяснит все. Нельзя отрицать, что своей финансовой системой он достиг чудесных результатов... Он много раз объяснял мне свою систему, — заключил свою речь Туи-Тулифау. — Теперь он объяснит свою систему всем вам.

— Это заговор белых купцов, — начал Корнелиус. — Иеремия был прав, восхваляя белую муку и керосин. Конечно, Фиту-Айва не хочет превратиться в страну людоедов — кай-канаков. Фиту-Айва жаждет цивилизации, все большей и большей цивилизации. Теперь я перейду к главному пункту, — продолжал Корнелиус, — к которому вы должны прислушаться повнимательнее. Бумажные деньги — отличительный знак высшей цивилизации. Поэтому Перья Солнца и ввел их в обращение, и потому-то и восстали против них купцы. Они не хотели и не хотят, чтобы Фиту-Айва цивилизовалась. Для чего переплыли они через океан и привезли свои товары на Фиту-Айва? Он, Перья Солнца, ответит перед лицом всего великого собрания. Купцы не могут брать в своих цивилизованных странах такую невероятную прибыль, какую они получают на Фиту-Айва. Если же этот остров тоже основательно цивилизуется, их дело будет проиграно. Тогда каждый житель на Фиту-Айва может сделаться самолично таким же купцом, если ему вздумается.

Вот почему белые купцы оспаривают бумажную систему, которую ввел он, Перья Солнца. Почему прозвали его — Перья Солнца? Потому что он принес с неба на землю яркий свет. Этот свет заключался в ассигнациях. А белые купцы, желавшие ограбить народ, не могли процветать при лучах этого света.

Он докажет это своему доброму пароду, и докажет это словами своих врагов. То, что во всех высококультурных странах введена бумажная денежная система, — вещь общеизвестная. Он спросит Иеремию — так ли это?

Иеремия не отвечал.

— Вот видите, — продолжал Корнелиус, — он не отвечает. Он не может отрицать правду. Англия, Франция, Германия, Америка — все великие страны Папалангов имеют бумажную денежную систему. Она действует уже столетия. Я спрашиваю тебя, Иеремия, как честного человека, ревностно служившего когда-то в вертограде господнем, я вызываю тебя, чтобы ты ответил мне — можешь ли ты отрицать, что в великих странах Папалангов действует вышеозначенная денежная система?

Иеремия не мог отрицать, и его руки нервно теребили застежки корзины, стоявшей между его колен.

— Вот видите, дело обстоит так, как я говорил вам, — продолжал Корнелиус. — Иеремия согласен, что это так. И вот теперь, мой добрый народ Фиту-Айва, я спрашиваю тебя — почему денежная система, годная для стран Папалангов, не подходит для Фиту-Айва?

— Это не одно и то же! — закричал Иеремия. — Бумаги Перья Солнца не такие, как в великих странах.

По-видимому, Корнелиус ожидал подобного возражения. Он вынул фиту-айванскую ассигнацию.

— Что это такое? — спросил он.

— Бумага, просто бумага, — послышался ответ Иеремии.

— А это?

Корнелиус держал в руках английскую банкноту.

— Это английская ассигнация, — объяснял он собранию, в то же время протягивая ее Иеремии, чтобы он Иеремия с неохотой кивнул.

— Ты сказал, что ассигнация Фиту-Айва просто-напросто бумага, а что же ты скажешь об этой английской ассигнации? Что это такое?.. Ты должен отвечать, как честный человек... Все ждут твоего ответа, Иеремия.

— Это... это... — начал заикаться Иеремия и беспомощно замолчал, не будучи в состояния выпутаться из такого мудреного положения.

— Бумага, просто бумага, — повторил его слова Перья Солнца.

По выражению лиц присутствовавших можно было заключить о победе Корнелиуса. Король с восхищением захлопал в ладоши.

— Все это ясно, совершенно ясно, — пробормотал он.

— Вы видите, теперь и Иеремия признает это. — В голосе Дэзи слышалось торжество. — Он не видит никакой разницы. И нет разницы. Это верное изображение ассигнации. Это сама ассигнация.

В это время Гриф шепнул что-то Иеремии, тот снова начал говорить.

— Всем хорошо известно, что английские ассигнации разменяваются на золото.

Торжество Дэзи было полнейшее. Он показал фиту-айванскую ассигнацию.

— Разве здесь этого не написано?

Гриф опять зашептал.

— Что Фиту-Айва платит за эти бумажки звонкой монетой? — спросил Иеремия.

— Да, конечно, тут так и написано.

Гриф зашептал в третий раз.

— По требованию? — спросил Иеремия.

— По требованию, — подтвердил Корнелиус.

— В таком случае я прошу обменять мне сейчас же на звонкую монету вот эти бумажки, — сказал Иеремия, вытаскивая маленькую пачку ассигнаций из своего кошелька, находящегося на поясе.

Корнелиус, быстро взглянув, оценил пачку.

— Отлично, — сказал он. — Я дам вам за них монетой. Сколько вам приходится?

— И вот мы все и увидим, как действует эта денежная система, — воскликнул король, разделяя торжество своего канцлера.

— Вы слышали? Он даст сегодня же звонкую монету! — крикнул Иеремия во весь голос, обращаясь к собранию.

В то же время он запустил обе руки в корзину, стоявшую меж его ног, и вытащил оттуда множество пачек ассигнаций королевства Фиту-Айва. Одновременно по собранию распространился какой-то странный запах от ассигнаций.

— У меня здесь тысяча двадцать восемь фунтов двенадцать шиллингов и шесть пенсов,— объявил Иеремия.— Вот мешок для звонкой монеты.

Корнелиус откачнулся. Он никак не ожидал увидеть такую громадную сумму, и повсюду, куда он только ни смотрел, он видел вождей и делегатов, вынимавших кипы ассигнаций. Солдаты, только что получившие свое двухмесячное жалованье, вышли вперед, а позади них все народонаселение острова заполонило сад, ожидая размена.

— Вы создаете банковый крах, — сказал Корнелиус Грифу с упреком.

— Вот мешок для звонкой монеты, — настаивал Иеремия.

— Надо несколько отложить уплату,— в отчаянии сказал Корнелиус.— В эти часы нет платежа.

Иеремия потряс пачкой ассигнаций.

— О времени тут ничего не говорится. Здесь только сказано об уплате по требованию. Вот я и требую.

— Назначь им явиться завтра, о Туи-Тулифау! — умолял Корнелиус. — Это не платежные часы.

Туи-Тулифау колебался, но его жена кинула на него такой взгляд, смуглые руки ее сжались в такие кулаки, что Туи-Тулифау затрепетал и тщетно старался отвести глаза от этого жутко-знакомого кулака. Он нервно откашлялся.

— Мы хотим видеть, как действует денежная система, — сказал король наконец. — Народ пришел сюда издалека.

— Ты требуешь, чтобы я выдал эти прекрасные монеты? — пробормотал Корнелиус тихим голосом, обращаясь к королю.

Сэпели услыхала слова Корнелиуса, и так страшно зарычала на короля, что он невольно отшатнулся.

— Не забудь про поросенка, — прошептал Гриф Иеремии; тот немедленно встал и жестом потребовал тишины.

— В древние времена, — сказал он, — на Фиту-Айва существовал весьма почтенный обычай. Когда человек оказывался несомненным негодяем, ему перешибали суставы дубиной, сажали на кол и выставляли во время прилива, чтобы его заживо сожрали акулы. К несчастью, эти дни миновали. Но у нас все-таки сохранился еще другой, тоже весьма древний и чтимый всеми обычай.

Вы все его отлично знаете. Когда человек оказывается лгуном или вором, его колотят дохлым поросенком.

Он опустил правую руку в корзину, вытащил оттуда что-то и несмотря на то, что был без очков, точнейшим образом попал прямо в канцлера. Поросенок был брошен с такой силой, что Корнелиус слетел со своего сидения. Прежде чем он успел опомниться, Сэпели налетела на него с таким неожиданным проворством, которого было трудно ожидать от женщины в двести шестьдесят фунтов весом. Одной рукой она схватила его за воротник рубашки, другой подняла поросенка и по-царски угостила его поросенком при восторженных кликах ликующего народа.

Туи-Тулифау оставалось только выражать радость при виде злоключений своего фаворита, и горы жира, выпиравшие во все стороны из его необъятной туши, лежавшей на циновках, сотрясались могучим смехом, достойным смеха Гаргантюа.

Не успела Сэпели бросить поросенка в канцлера, как ее уже сменил делегат с наветренного берега. Корнелиус бросился бежать, но поросенок долетел до него и ударился ему в ноги, и канцлер казначейства растянулся на земле. Народ и войско приняли участие в потехе со смехом и криками. Поросенок всюду настигал канцлера, куда бы он ни бросался. Наконец Корнелиус убежал, как испуганный кролик, в чащу авокад и пальм. Никто не бил его, и все расступались, давая ему дорогу, но продолжали его преследовать, и поросенок всюду настигал его.

Когда все исчезли, наконец, в дроковой аллее, Гриф повел купцов в царскую сокровищницу.

Был поздний вечер, когда последняя ассигнация была обменяна на звонкую монету.

VIII

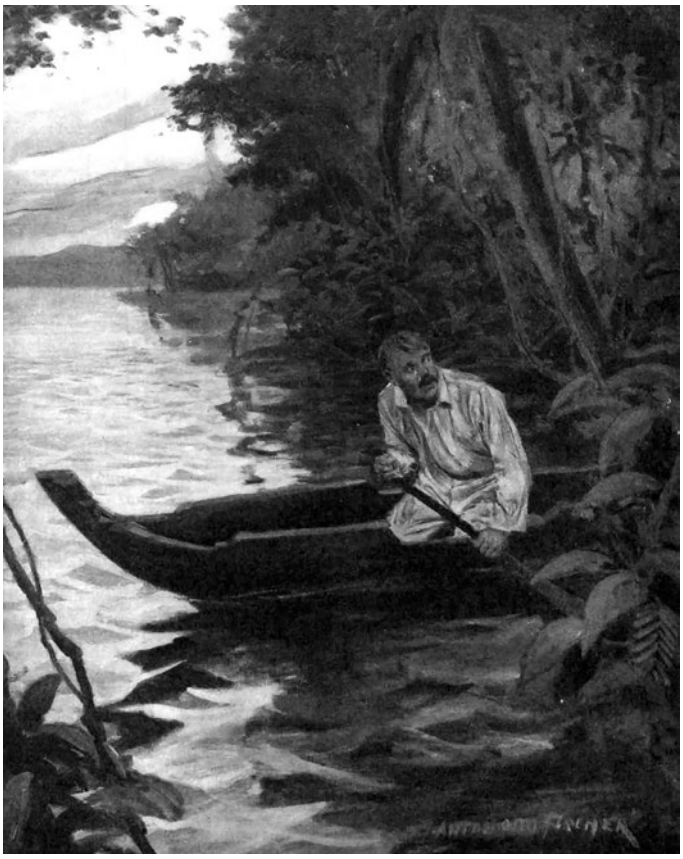
В мягких прохладных сумерках кто-то отчалил от джунглей и направился к «Кантани». Суденышко двигалось медленно, это была какая-то заброшенная лодка; приходилось ежеминутно останавливаться, чтобы отчерпывать воду. Канаки-матросы злорадно посмеивались, когда человек причалил и с трудом перешагнул через борт. Он был весь в грязи и казался полупомешанным.

— Можно мне поговорить с вами, мистер Гриф? — спросил он грустным, приниженным тоном.

— Хорошо. Но садитесь дальше, с подветренной стороны, — нет, еще дальше, — отвечал Гриф.

Корнелиус сел на перила и охватил голову руками.

— Да, это верно,— сказал он.— От меня идет зловоние, как от свежего поля битвы. Моя голова, кажется, треснет от боли. Шея избита. Зубы качаются. В ушах точно жужжит рой ос. Позвоночник вывихнут. Я пережил трус и мор, а с неба на меня падал дождь из дохлых поросят.— Он вздохнул, и его вздох



В мягких прохладных сумерках кто-то отчалил от джунглей и направился к «Кантани».

превратился в стон.— Я видел перед собой ужаснейшую смерть. Такую, о которой не снилось и поэтам. Было бы весьма неприятно быть съеденным крысами или изжаренным в горячем масле, или растерзанным дикими лошадьми. Но быть избитым до смерти дохлым поросенком...— Он содрогнулся.— Это превосходит всякое человеческое воображение.

Капитан Бойг громко зафыркал, отодвинув свой стул, обтянутый парусиной, подальше к наветренной стороне и снова сел.

— Вы направляетесь в Яп, мистер Гриф? — продолжал Корнелиус.— Я осмелюсь обратиться к вам с двумя просьбами: довезите меня на вашем судне до Япа и дайте мне глоток виски, от которого я отказался вчера вечером.

Гриф хлопнул в ладоши и приказал чернокожему слуге подать мыло и полотенце.

— Пойдите сначала на бак и основательно помойтесь. Юнга принесет вам штаны и рубашку. Скажите кстати, почему в сокровищнице оказалось звонкой монеты на большую сумму, чем вами было выпущено ассигнаций?

— Там были мои собственные деньги, которые я привез сюда для предприятий.

— Мы решили все расходы и убытки записать в счет Туи-Тулифау, — сказал Гриф. — Так что те деньги, которые превышают сумму долгов по ассигнациям, будут вам возвращены. Впрочем, за вычетом десяти шиллингов.

— За что?

— А вы думаете дохлые поросята растут на деревьях? Эти десять шиллингов внесены в ваш счет и проведены по книгам.

Корнелиус кивнул в знак согласия и снова вздрогнул.

— Я вам искренно благодарен за то, что этот поросенок стоил не пятнадцать и не двадцать шиллингов.

ЖЕМЧУЖИНЫ ПАРЛЕЯ

I

Канак, стоявший у руля, повернул колесо и «Малахини», скользнув под ветер, выпрямилась на киль. Ее передние паруса обвисли, раздалось тарахтение концов рифов и талей, шхуна накренилась и повернула на другой галс. Несмотря на то что было еще очень рано и дул холодный ветер, пять белых, лежавших на палубе, были едва одеты. Дэвид Гриф и его гость, англичанин Грегори Малхолл, пребывали в пижамах и в китайских ночных туфлях на босу ногу. Капитан и помощник были в нижних рубашках и мягких полотняных штанах. Судовой приказчик все еще держал в руках рубаху, не решаясь надеть ее. Пот проступил у него на лбу; он, видимо, жаждал освежить свою грудь ветром, но и ветер не давал прохлады.

— Ветер, а жарко, — жаловался он.

— А что делается там, на западе, хотелось бы мне знать! — присоединился к общим жалобам Гриф.

— Это будет продолжаться недолго,— сказал помощник, голландец Герман.— Ветер всю ночь менялся, пять минут дул отсюда, пять минут оттуда, а потом целый час еще из третьего места.

— Что-то готовится! Что-то готовится, — закаркал капитан Уорфилд, разглаживая пальцами свою бороду и подставляя под ветер подбородок в поисках прохлады. — Вот уже две недели, как погода точно с ума сошла. Третью неделю нет настоящего пассата. Все перепуталось. Барометр упал вчера и продолжает падать и теперь. Знатоки погоды говорят, что это ничего не значит, но я чувствую себя очень беспокойно, не люблю колебаний барометра. Это действует на нервы. Когда у нас погиб «Ланкастер», барометр так же колебался. Я тогда был юнгой, но все-таки я все помню очень ясно. Новое, четырехмачтовое, обшитое броней судно... в первый же рейс... Его гибель сокрушила старика. Он прослужил в Компании сорок лет. После этого он стал чахнуть и через год умер.

Несмотря на ветер и на ранний час, стояла невыносимая жара. Ветер нашептывал о прохладе, но не приносил ее. Можно было подумать, что он дует из самой Сахары, если бы не его чрезвычайная насыщенность влагой. Ни тумана, ни даже намеков на туман или мглу не было, но дали были как-то тусклы. Туч не было на небе, но какая-то пелена закрывала солнце, и лучи солнца не могли пробиться сквозь нее.

— К повороту! — скомандовал капитан Уорфилд медленно, но резко. Коричневые матросы-канаки в трусиках плавными, но быстрыми движениями устремились на снасти носовой части судна.

— Круто к ветру!

Рулевой быстро повернул рулевое колесо. «Малахини» грациозно устремилась по ветру.

— Черт возьми! Ваша шхуна — волшебница! — с одобрением воскликнул Малхолл. — Я не знал, что вы, купцы Южных морей, плаваете на яхтах.

— «Малахини» первоначально была рыболовным судном в Глостере, — объяснил Гриф, — а все тамошние суда по своей конструкции, такелажу и ходу являются яхтами.

— Если вы направляетесь к проливу, почему же вы не входите в него? — критически заметил англичанин.

— А ну-ка попробуйте, капитан Уорфилд, — предложил Гриф. — Покажите ему, как входить в лагуну при сильном отливе.

— В бейдевинд! — крикнул капитан.

— В бейдевинд, — повторил канак, поворачивая колесо на половину спицы.

«Малахини» направилась к узкому проливу, который вел в просторную лагуну длинного и узкого атолла. Атолл состоял как бы из трех атоллов, которые в период формации столкнулись и соединились. На песчаной полосе острова росли кокосовые пальмы; местами попадались в песке ямы, где песок сползал прямо в море. Через эти провалы можно было видеть защищенную лагуну, воды которой походили на слегка тронутую рябью поверхность зеркала. Эта неправильно очерченная лагуна вмещала в себя огромное количество воды, и во время отлива вся масса воды устремлялась в узкий канал. Канал был так узок, а напор воды так силен, что проход скорее напоминал речную быстрину, чем обыкновенный вход в атолл. Вода в проливе кипела, бурлила, образовывала водовороты и проскальзывала в море в белой пене стремительных волн. Каждая из этих мощных волн, ударявшая судно в нос, сбивала шхуну с ее курса и точно стальным клином отталкивала ее к берегу пролива. После того как часть пути была пройдена, близость к опасным коралловым рифам заставила шхуну повернуть. Переменив галс, она стала бортом к течению, и ее помчало течением в открытое море.

— Ну, теперь как раз кстати пустить в ход вашу новую дорогую машину, — добродушно посмеивался Гриф. Все знали, что эта машина была больным местом капитана Уорфилда. Он упрашивал и умолял купить ее, пока Гриф не дал своего согласия.

— Она еще окупится, — возражал капитан. — Со временем вы убедитесь. Это лучше всякой страховки, а ведь вы знаете, что страховые общества не отвечают за крушение в архипелаге Паумоту.

Гриф указал на небольшой катер, который позади них шел тем же курсом.

— Ставлю пять франков, что маленькая «Нухива» обгонит нас.

— Несомненно, — согласился капитан Уорфилд. — Она относительно сильнее нас. Мы по сравнению с ней настоящий океанский пароход. У нее десять лошадиных сил, и она так и скачет по волнам. Она могла бы, кажется, добраться до самой преисподней, и все-таки ей не одолеть этого течения. Скорость течения теперь десять узлов.

«Малахини» швыряло и качало на все лады, и со скоростью этих десяти узлов она вылетела в открытое море.

— Через полчаса станет тише, и тогда мы войдем в пролив,— сказал капитан Уорфилд с раздражением, которое объяснилось его словами: — Он же не имел права называть остров Парлей. Остров обозначен на адмиралтейских и на французских картах под названием Хикихохо. Остров открыл Бугенвиль и назвал туземным именем.

— Дело не в названии, — вставил судовой приказчик, воспользовавшийся разговором, чтобы остановиться с руками, уже наполовину засунутыми в рукава рубашки. — Важно то, что остров тут, под самым нашим носом, и что на нем сидит старик Парлей со своим жемчугом.

— А кто видел его, этот жемчуг? — спросил Герман, посматривая то на одного, то на другого.

— Да это всем известно, — ответил судовой приказчик. — Таи-Хотаури, — обратился он к рулевому, — что ты знаешь о жемчуге Парлея?

Канак был доволен, что к нему обратились, он с чувством собственного достоинства перебирал спицы рулевого колеса.

— Мой брат нырял для Парлея три-четыре месяца. Он много говорил о жемчуге. Хикихохо — очень хорошее место для жемчуга.

— И скупщикам жемчуга никогда не удавалось вытянуть у Парлея ни одной жемчужины, — вмешался в разговор капитан.

— Рассказывают, что, отправляясь на Таити, он вез Арманде целую шляпу жемчуга, — продолжал рассказывать приказчик. — Это было пятнадцать лет назад, а с тех пор он все копил и копил, собирал даже перламутр. Все видели этот перламутр — несколько сотен тонн. Говорят, что теперь из лагуны все выловлено дочиста. Может быть, поэтому он и объявил теперь аукцион.

— Если Парлей действительно распродаст свой жемчуг, то это будет наибольшая партия за целый год на всем Паумоту, — сказал Гриф.

— Скажите же, наконец, в чем дело? — вышел из себя Малхолл, как и все остальные, измученный влажным зноем. — Что все это значит? Что это за старый Парлей? Что это за жемчуг? Почему все это окружено такой таинственностью?

— Хикихохо принадлежит старому Парлею,— ответил приказчик.— У него целое состояние в жемчуге. Он собирал его всю жизнь. Несколько недель на-

зад он вдруг оповестил всех, что будет продавать его с аукциона. На завтра назначен аукцион для распродажи жемчуга. Посмотрите, сколько мачт видно внутри лагуны.

— Восемь, насколько я заметил, — сказал Герман.

— Что бы им тут делать, в таком ничтожном атолле? — продолжал приказчик.— Здесь за целый год не наберется копры для одной хорошей шхуны. Все они явились сюда на аукцион. Вот почему и маленькая «Нухива» прыгает сзади нас. Впрочем, я совершенно не понимаю, что она может купить. Ею владеет и управляет Нарий Эринг, наполовину туземец, наполовину английский еврей; все его имущество состоит из его нахальства, долгов и неоплаченных счетов за виски. По этой части он гений. У него столько долгов, что в Папаэте нет ни одного коммерсанта, который не был бы заинтересован в его благополучии; купцы бросают свои дела, чтобы помочь ему. Им приходится идти на это, а Нарию это на руку. Я вот никому не должен. И что же в результате? Если бы я упал на берегу в обморок, они предоставили бы мне спокойно лежать и умереть. Они от этого ничего не потеряли бы. Но Нарий Эринг! Чего бы они не сделали, чтобы спасти его. Ничего не пожалели бы. Он слишком связан с их деньгами, чтобы они дали ему умереть. Они взяли бы его к себе в дом и ухаживали бы за ним, как за братом. Поверьте, честно платить по счетам вовсе не такая хорошая штука, как об этом толкуют ханжи.

— Причем тут этот Нарий? — запальчиво спросил англичанин. — Что это за чепуха с этим жемчугом? — сказал он, обращаясь к Грифу. — Расскажите мне все по порядку.

— А вы помогайте мне припомнить, — обратился Гриф к остальным и начал рассказ.

— Старый Парлей очень характерен. Насколько я могу судить, он до известной степени помешанный, но тихий. Вот его история. Парлей — чистокровный француз; как-то он рассказал мне, что он родом из Парижа. У него настоящий парижский выговор. Прибыл он сюда в давние времена, занялся торговлей и всякими такими делами. Оттого-то он и попал на Хикихохо. Явился сюда торговать, когда меновая торговля действительно была прибыльным делом. На острове жило около сотни жалких паумотанцев, Парлей женился на их королеве — женился по туземному обряду. После ее смерти все перешло к нему. Появилась эпидемия кори; после нее осталось в живых не более десятка дикарей. Он кормил их, заставил их работать, был их королем. Перед смертью жена родила ему девочку. Эта девочка и есть Арманда. Когда ей исполнилось три года, Парлей отослал ее в монастырь в Папеэте. В возрасте семи или восьми лет он отправил ее во Францию. Видите, какая получилась ситуация. Наилучший и наиболее аристократический из монастырей Франции не был достаточно хорош для единственной дочери островного властителя и капиталиста. Как вы знаете, в доброй старой Франции не обращают внимания на цвет кожи. Дочь была воспитана, как принцесса; сама она думала, что она настоящая принцесса. Вместе с тем она считала себя вполне белой и совершенно не подо-

зревала о расовых перегородках и о своем сомнительном происхождении. Вот тут и начинается трагедия. У старика всегда были причуды и странности, и он так долго был властелином на Хикихохо, что в его голову запала мысль, что он и на самом деле король, а дочь его — принцесса. Когда Арманде исполнилось восемнадцать лет, он вызвал ее к себе. Денег у него было убийственно много. Он выстроил в Хикихохо громадный дом, а в Папеэте — чудесное бунгало. Арманда должна была прибыть из Новой Зеландии с почтовым пароходом, и он отправился на своей шхуне встретить ее в Папеэте. Возможно, что ему удалось бы спасти положение, несмотря на всю индюшачью спесь тамошней аристократии, если бы не ураган. Это случилось в тот самый год, когда затопило Ману-Хухи и погибло свыше тысячи ста человек туземцев.

Остальные кивнули, а капитан Уорфилд сказал:

— Я был на «Мегпай» во время этого шторма; все пассажиры были выброшены на берег со всем экипажем, поваром и вашим покорным слугой. Нас забросило на четверть мили в глубь кокосовой рощи, около бухты Тайохай, а она считается самой безопасной бухтой на случай шторма.

— Так вот,— продолжал Гриф.— Старик Парлей попал в этот самый шторм и прибыл в Папеэте со своей шляпой, наполненной жемчугом, с опозданием на три недели. Ему пришлось поднять шхуну на козлы и устроить для нее катки в полмили длиной, прежде чем попасть обратно в море. Это время Арманда провела в Папеэте. Никто не посетил ее. По французскому обычаю, она первая сделала визит губернатору и портовому доктору. Они приняли ее, но ни одной из их жен-наседок не оказалось дома и ни одна из них не отдала ей визита. Она не принадлежала к их обществу, она была вне касты, вне общества, хотя ничего не подозревала об этом, и они не нашли более деликатного способа, чтобы объяснить ей это. На французском крейсере был молодой жизнерадостный лейтенант. Он отдал ей свое сердце, но головы не потерял. Можете себе представить, какой это был удар для молодой, изящной, красивой женщины, воспитанной как аристократка, избалованной всем самым лучшим, что можно достать за деньги в старой Франции! Вы, конечно догадываетесь, чем это кончилось.— Гриф пожал плечами.— В бунгало находился слуга-японец. Он видел все и говорил потом, что она проделала это с хладнокровием самурая. Взяла стилет, без всякой торопливости направила острие стилета прямо в сердце и обеими руками медленно и глубоко вонзила его в себя. Старый Парлей со своим жемчугом прибыл уже после этого. Одна из его жемчужин, говорят, стоила не менее шестидесяти тысяч франков. Питер Джи видел ее и говорил мне, что сам предлагал ему эту сумму. Старик на некоторое время совсем спятил. Его два дня продержали в смирительной рубашке в Колониальном клубе.

— Дядя его жены, старик паумотанец, разрезал рубашку и освободил его, — вставил свое замечание приказчик.

— Тут-то старик Парлей и начал куролесить, — продолжал Гриф. — Всадил три пули в негодяя лейтенанта...

— Он пролежал три месяца в лазарете, — добавил капитан Уорфилд.

— Швырнул в лицо губернатору стакан с вином, с портовым доктором дрался на дуэли, избил своих слуг-туземцев, разнес вдребезги лазарет, переломал два ребра и одну ключицу санитару и удрал из больницы; побежал к своей шхуне с револьвером в каждой руке, издеваясь над начальником полиции и жандармами, пытавшимися его арестовать, и отплыл в Хикихохо. Говорят, что с тех пор он никогда не покидал острова.

— Это случилось пятнадцать лет назад, — прибавил судовой приказчик, — и с тех пор он не трогался с места.

— И все время собирал жемчуг, — сказал капитан. — Старик, конечно, помешан. Мороз по коже дерет. Он настоящий колдун.

— Это еще что такое? — спросил Малхолл.

— Он владычествует над погодой, по крайней мере так думают туземцы. Спросите хоть Таи-Хотаури. Ну-ка, Таи-Хотаури, как ты думаешь, что делает старик Парлей с погодой?

— Он все равно что великий демон погоды,— раздался ответ канака.— Я знаю. Он хочет большую бурю — делает большую бурю. Не хочет ветра — не приходит ветер.

— Настоящий старый колдун, — сказал Малхолл.

— Нехорош его жемчуг, нет счастья, — продолжал болтать Таи-Хотаури, зловеще покачивая головой. — Он говорит — он продает. Много шхун приходит. Тогда он делает большой шторм, всем конец, вы видите. Да. Все наши так говорят.

— Теперь как раз сезон ураганов, — мрачно усмехнулся капитан Уорфилд. — Туземцы в значительной степени правы. Что-то надвигается, и я был бы гораздо спокойнее, если бы «Малахини» была за тысячу миль отсюда.

— Да, он не совсем нормален,— резюмировал свой рассказ Гриф.— Я старался понять его точку зрения. Но у него в голове путаница. Восемнадцать лет все его мысли были направлены на Арманду. И теперь он очень часто воображает, что она жива и еще не вернулась из Франции. Это одна из причин, почему он так держится за свой жемчуг. Вместе с тем он ненавидит всех белых. Он не может забыть, что они убили ее, хотя часто забывает, что ее нет в живых! Хэлло! Куда же делся ваш ветер?

Над их головами безжизненно обвисли паруса; капитан Уорфилд возмущенно ворчал. Жара, и раньше нестерпимая, с прекращением ветра стала убийственной. Пот струился по лицам, и то один, то другой глубоко вздыхали, стараясь вобрать в себя побольше воздуха.

— Вот и снова подул — поворот на восемь румбов. На реи!

Канаки бросились исполнять приказания капитана. В течение пяти минут шхуна устойчиво держалась в проливе, даже преодолевала течение. Потом ветер снова стих. Через некоторое время он начал дуть в прежнем направлении и заставил моряков вновь переменить шкоты и тали.

— Вот идет «Нухива», — сказал Гриф. — Она пустила в ход свою машину. Смотрите, какая пена!

— Готово? — спросил капитан механика, португальца-метиса, голова и шея которого высовывались из небольшого люка, как раз перед рубкой; он вытирал пот с лица пучком грязной пакли.

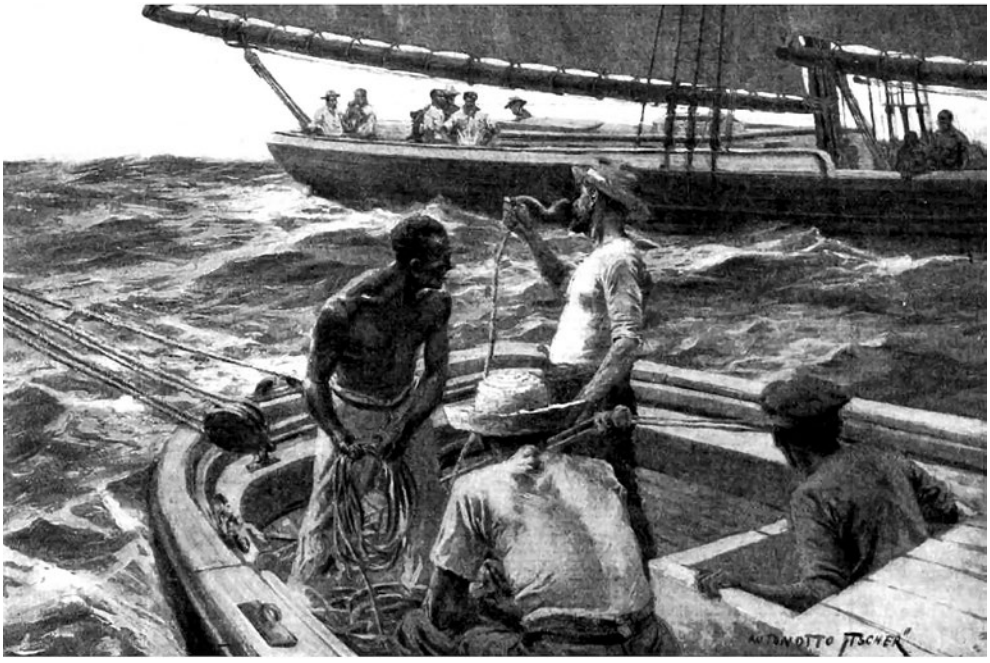
— Есть, — ответил он.

— Ну, так пускайте ее в ход.

Механик скрылся в своей берлоге, и через минуту где-то внизу закашлял и засипел глушитель. Но шхуна все же отставала от катера. Маленький катер проходил три фута, в то время как она проходила два фута, и вскоре поравнялся с ней, потом перегнал ее. На его палубе были одни туземцы да стоявший у руля человек, который помахал им рукой и с насмешкой поздоровался, а затем попрощался.

— Это Нарий Эринг,— сказал Гриф Малхоллу.— Этот высокий парень у руля самый значительный и самый бесстыдный негодяй во всем Паумоту.

Пять минут спустя радостные крики канаков на «Малахини» заставили Грифа и его собеседников обратить внимание на «Нухиву». Ее машина испортилась, и шхуна «Малахини» догнала ее. Матросы на «Малахини» вскарабкались на реи и насмехались над катером, в то время как шхуна обгоняла его; маленький катер, накренившийся от ветра, несся назад по течению, словно собака, убегающая с костью в зубах.



— Это Нарий Эринг,— сказал Гриф Малхоллу.— Этот высокий парень у руля самый значительный и самый бесстыдный негодяй во всем Паумоту.

— Машина-то наша какова! — похвалил машину Гриф, когда перед ними открылась лагуна, и курс был изменен, чтобы плыть прямо к стоянке.

Капитан Уорфилд был заметно польщен, хотя он проворчал только:

— Не беспокойтесь, она себя окупит.

«Малахини» вошла в самую гущу маленькой флотилии, прежде чем нашла место, куда опустить якорь.

— Здесь Айзекс на «Долли», — заметил Гриф, посылая рукой знаки приветствия. — А также и Питер Джи на «Роберте». Еще бы! Такая распродажа! А вот и Франчини на «Кактусе». Все скупщики собрались сюда. Старик Парлей может рассчитывать на хорошие цены.

— А они все еще не исправили своей машины, — злорадно буркнул капитан Уорфилд.

Он смотрел через лагуну в ту сторону, где сквозь редкие пальмы виднелись паруса «Нухивы».

II

Дом Парлея представлял собой двухэтажную постройку из калифорнийского леса, крытую оцинкованным железом. По своим размерам он так мало соответствовал узкому кольцу атолла, что казался чудовищным корытом на узкой полосе песка. Как только «Малахини» стала на якорь, прибывшие на ней, соблюдая долг вежливости, отправились на берег. В большой комнате дома уже находились капитаны и скупщики с других судов, рассматривая жемчужины, предназначенные для завтрашнего аукциона. Слуги-паумотанцы, туземцы с Хикихохо и родственники хозяина сновали между приезжими, предлагая виски и абсент. Сам Парлей, болтая и насмешливо хихикая, прохаживался среди этого странного сборища. Он был теперь лишь тенью самого себя — сильного, высокого человека, каким он был когда-то. Глаза его глубоко ввалились и блестели лихорадочным огнем, щеки были впалы, и кожа на них была вся изрыта. Волосы на голове торчали седыми кустиками, усы и эспаньолка поредели.

— Черт побери! — пробормотал Малхолл себе под нос. — Да это настоящий длинноногий Наполеон Третий, только обгоревший, прокаленный, растрескавшийся от жары; к тому же он еще и в коросте. Неудивительно, что он держит голову набок. Приходится сохранять равновесие.

— Будет буря, — приветствовал старик Парлей Грифа. — Вы, вероятно, очень интересуетесь жемчугом, если решились выйти в такую погоду.

— Что же! За вашим жемчугом можно пойти в преисподнюю, — засмеялся в ответ, не смущаясь, Гриф и пробежал глазами по выставленному на столе жемчугу.

— Кое-кто уже совершил из-за него это путешествие, — загоготал старый Парлей. — Взгляните вот хоть на эту! — указал он на крупную превосходную жемчужину, величиной с небольшой грецкий орех, лежавшую отдельно на кусочке замши. — Мне предлагали за нее на Таити шестьдесят тысяч франков.

Завтра мне дадут за нее еще больше, если покупателей не унесет буря. Эта жемчужина была найдена моим двоюродным братом по жене. Он был туземцем. Но он был и вором. Он ее спрятал, а она была моя. Его двоюродный брат, который был и моим двоюродным братом, — мы ведь все здесь родственники, — убил его из-за этой жемчужны и бежал на катере в Ноо-Нау. Я пустился за ним в погоню, но, прежде чем я захватил его, вождь Ноо-Нау убил его из-за той же жемчужины. Да, немало людей погибло из-за выставленного на этом столе жемчуга. Прошу вас выпить, капитан. Ваше лицо мне что-то незнакомо. Скажите, вы еще новичок на наших островах?

— Это капитан Робинзон с «Роберты», — сказал Гриф, представляя его. Малхолл тем временем здоровался с Питером Джи.

— Никогда не думал, что на свете так много жемчуга, — сказал Малхолл.

— Да, я никогда не видел одновременно такого количества жемчужин, — заметил Питер Джи.

— Что может стоить все это?

— Пятьдесят или шестьдесят тысяч фунтов — это для нас, скупщиков. В Париже... — Он только пожал плечами и поднял брови, указывая на чрезвычайные размеры суммы.

Малхолл вытер пот с век. Все присутствующие сильно вспотели и с трудом дышали. В напитках не было льда, виски и абсент приходилось проглатывать тепловатыми.

— Да, да, — гоготал Парлей. — Много покойников лежит на этом столе. Я хорошо знаю историю всех этих жемчужин. Посмотрите-ка на эти три. Не правда ли, прекрасно подобраны? Водолаз с острова Пасхи выловил мне их в одну неделю. На следующую неделю его самого выловила акула: она отцапала ему руку; антонов огонь доконал его. А вот эта, большая, неправильной формы, не очень ценная, я буду рад получить за нее завтра двадцать франков. Она добыта с глубины двадцати двух фатомов. Водолаз был с Раратонга. Он побил рекорд — добыл ее с глубины в двадцать два фатома. Я сам видел его. Не то в легких у него что-то лопнуло, не то он надорвался, только через два часа он умер. Ну и кричал он, — за несколько миль было слышно. Это был самый сильный туземец, какого только я встречал. Человек шесть моих водолазов умерли от судорог. И многие еще умрут, многие.

— Перестаньте каркать, Парлей, — возмутился один из капитанов. — Бури не будет.

— Если бы я был покрепче, не поддался бы я на удочку, убрался бы отсюда прочь подобру-поздорову, — возразил Парлей своим старческим фальцетом. — Если бы, конечно, я был достаточно крепким, любящим радости жизни. Но вы не таковы. Вы останетесь. Я бы и предупреждать вас не стал, если бы думал, что вы меня послушаетесь. Сарычей не отгонишь от падали. Выпейте-ка еще, мои храбрые моряки. Отлично, отлично. Чем только не рискнет человек из-за нескольких мелких, жалких устричных наростов! Вот они, красавицы! Аукцион завтра, ровно в десять. Старый Парлей распродается, сарычи уже слетелись,

а в свое время старый Парлей был покрепче любого из вас, да и очень многих из вас он еще увидит мертвыми.

— Подлая старая скотина! — прошептал Питеру Джи судовой приказчик с «Малахани».

— А даже если и будет шторм, — сказал капитан с «Долли», — Хикихохо еще никогда не затопляло.

— Тем больше оснований думать, что это случится, — возразил капитан Уорфилд. — Не очень-то я доверяю этому острову.

— Ну, а теперь кто каркает? — упрекнул его Гриф.

— Я очень боюсь, что мы лишимся нашей новой машины раньше, чем она окупит себя, — мрачно ответил капитан Уорфилд.

Парлей с изумительным упорством пробрался через переполненную людьми комнату и устремился к висевшему на стене барометру.

— А ну-ка посмотрите, мои уважаемые моряки! — воскликнул он ликующим тоном.

Капитан, стоявший ближе других к барометру, взглянул на него. Лицо капитана побледнело, так поразило его то, что он увидел.

— Барометр упал на десять делений. — Это было все, что он сказал, но на всех лицах появилось беспокойство; казалось, что каждому хочется немедленно убраться подобру-поздорову.

— Послушайте, — скомандовал Парлей.

Среди наступившей тишины шум прибоя казался необычайно сильным; слышен был громкий, раскатистый рев.

— Море начинает сильно волноваться, — сказал кто-то.

Все посмотрели в окна в сторону моря, видневшегося в промежутках между редкими кокосовыми пальмами. Правильно чередуясь, плавно катились громадные волны на коралловый берег.

Несколько минут все смотрели на это страшное зрелище и разговаривали вполголоса; казалось, что даже за эти несколько минут волны увеличились. Было что-то зловещее в этом росте морских волн; жутко было видеть при мертвом штиле волнующееся море; голоса людей в комнате стали невольно еще тише. Старый Парлей неприятно загоготал:

— Еще есть время уйти в море, уважаемые джентльмены. Лагуну вы можете пройти на буксире.

— Все обстоит благополучно, старина,— сказал Дарлинг, помощник с «Кактуса», крепкий двадцатилетний юноша.— Буря несется к югу и минует нас. Мы остаемся совершенно в стороне.

По комнате пронесся вздох облегчения. Разговоры возобновились, голоса зазвучали громче, некоторые из скупщиков возвратились к столу и продолжали рассматривать жемчужины. Снова послышалось тупое гоготанье Парлея.

— Вот это правильно, — подбадривал он. — Если бы даже наступил конец мира, и то вы продолжали бы заниматься торговлей!

— Не забудьте, джентльмены, — завтра, ровно в десять старый Парлей распродает жемчуг.

— Да, несмотря ни на что, завтра, несомненно, мы раскупим ваш жемчуг, — уверял его Айзекс.

— Наверное, придется вам торговать им уже в преисподней.

Взрыв недоверчивого смеха привел старика в бешенство. Он свирепо набросился на Дарлинга:

— С каких это пор дети стали разбираться в штормах! И кто может указывать урагану, как ему двигаться! В каких книгах вы это найдете? Я плавал здесь раньше, чем старший из вас появился на свет. Я-то знаю всю суть. На востоке ураган мчится по такому широкому кругу, что путь его кажется прямой линией. Здесь, на западе, он круто загибает. Припомните ваши карты. Как это могло случиться, чтобы штормом девяносто первого года были сметены Аури и Хиолау? Все дело в загибе, мой уважаемый мальчик, в загибе! Через часдва, самое большее — три обозначится ветер. Прислушайтесь-ка!

Раскатистый удар потряс все коралловое основание атолла. Дом задрожал. Слуги-туземцы с бутылками виски и абсента в руках столпились в кучу, как бы ища защиты друг у друга; с ужасом они таращили в окна глаза, глядя на могучую волну, хлынувшую далеко в глубь побережья, до одного из навесов для копры.

Парлей взглянул на барометр, загоготал и искоса поглядел на гостей. Капитан Уорфилд большими шагами подошел к барометру.

— Двадцать девять, семьдесят пять, — объявил он. — Ртуть опустилась на пять делений. Ей-богу, старый черт прав. Буря надвигается. Я отправляюсь на судно.

— Становится темно, — сказал вполголоса Айзекс.

— Черт побери, совсем как на сцене, — сказал Малхолл, взглянув на часы. — Десять часов утра, а на дворе сумерки. Огни тушат, трагедия начинается. Что же не слышно тихой музыки?

Как бы в ответ новый раскатистый удар потряс атолл и дом. Почти все бросились в панике к двери. В полумраке лица казались жуткими.

От удушливой жары Айзекс задыхался, как в астме.

— Что вы так торопитесь? — издевался Парлей над уходящими гостями. — Выпьем на прощание, уважаемые джентльмены!

Никто не обращал на него внимания. Когда они вышли на окаймленную раковинами дорожку, ведущую к берегу, он просунул голову в дверь и закричал:

— Не забудьте, джентльмены, — завтра, ровно в десять старый Парлей распродает жемчуг.

III

На берегу происходила любопытная сцена. Вельбот за вельботом поспешно наполнялся людьми и отчаливал. Стало еще темнее. Затишье продолжалось, но при каждом ударе волн о берег песчаная почва дрожала под ногами. Нарий Эринг не спеша прогуливался по песчаному берегу. Он смеялся над стремительной поспешностью капитанов и скупщиков. Его сопровождали трое из его канаков, а также Таи-Хотаури.

— Садись в лодку и бери весло, — приказал ему капитан Уорфилд. Таи-Хотаури подошел к капитану, тогда как Нарий Эринг и три его канака остановились футах в сорока и наблюдали.

— Я больше не работаю на тебя, шкипер, — громко и нахально заявил Таи-Хотаури. Он усиленно подмигивал капитану. — Ругай меня, шкипер, — прошептал он, снова многозначительно подмигивая.

Капитан Уорфилд понял его намек и вошел в свою роль. Он повысил голос и погрозил кулаком.

— Влезай в шлюпку, — заревел он, — или я семь шкур спущу с тебя!

Канак со свирепым видом отскочил назад, а Гриф стал между ними, чтобы успокоить капитана.

— Я теперь буду работать на «Нухиве», — сказал Таи-Хотаури, присоединяясь к другой группе.

— Пошел назад! — неистовствовал капитан.

На берегу происходила любопытная сцена. Вельбот за вельботом поспешно наполнялся людьми и отчаливал.

— Он свободный человек, шкипер, — заявил Нарий Эринг. — Он и прежде плавал со мной и теперь опять хочет ко мне вернуться, вот и все!

— Идите скорей, пора на судно, — настаивал Гриф. — Смотрите, как сгустилась темнота.

Капитан Уорфилд сдался, но, когда лодка отчалила, он, стоя на корме, продолжал грозить кулаками в сторону берега.

— Я еще посчитаюсь с вами, Нарий! — кричал он. — В этих местах вы единственный шкипер, сманивающий чужих матросов. — Наконец капитан уселся и проговорил, понизив голос: — Что задумал Таи-Хотаури? Он что-то затеял, но что же это такое?

IV

Когда шлюпка подошла к «Малахини», над перилами показалось встревоженное лицо Германа.

— Барометр падает черт знает как, — объявил он. — Надвигается шторм. Я велел спустить второй якорь со штирборта.

— Держите наготове также и большой якорь, — приказал капитан Уорфилд, принимая командование. — Втащите шлюпку, переверните ее на палубе вверх дном и привяжите покрепче ремнями.

На палубах всех шхун кипела работа. Слышен был резкий металлический звук спускаемых цепей, одно за другим все суда поворачивались и бросали второй якорь. Те из них, у которых, как у «Малахани», имелся третий якорь, готовились спустить его, как только выяснится направление ветра.

Рев прибоя все усиливался, хотя зеркальная поверхность лагуны продолжала оставаться спокойной. На песчаном берегу, где находился дом Парлея, не было заметно никакого признака жизни. Около навесов, где хранились лодки, копра и раковины, не было никого.

— С удовольствием я бы снялся с якоря и отчалил, — сказал Гриф. — Если бы перед нами было открытое море, я так бы и сделал. Но северные и восточные цепи атоллов держат нас в мешке. Нам лучше всего оставаться здесь. Как вы думаете, уважаемый капитан Уорфилд?

— Я согласен с вами, хотя лагуна и не мельничный пруд, чтобы разъезжать по ней. Хотелось бы знать, откуда начнется ветер. Смотрите-ка! Вот уж летит один из навесов Парлея для копры.

Видно было, как крытый соломой навес приподнялся и свалился, а вспененная волна перекатилась через песчаный гребень и скатилась вниз в лагуну.

— Брешь проделана, — воскликнул Малхолл. — Для начала это кое-что значит. А вот и еще волна.

Обломки сарая были подброшены кверху и брошены на песчаный холм. Третья волна увлекла обломки в лагуну.

— Хоть бы буря скорее, хоть бы охладиться немного, — ворчал Герман. — Я совершенно задыхаюсь. Проклятая жара! Я точно в раскаленной печке.

Своим складным ножом он вскрыл кокосовый орех и выпил кокосовое молоко. Остальные последовали его примеру, остановившись на минуту, чтобы взглянуть, как рушился один из навесов Парлея для раковин. Барометр теперь показывал 29,50.

— Должно быть, мы очень близко к центру полосы низкого давления,— беззаботно отметил Гриф.— Я еще никогда не попадал в центр урагана, да и для вас, Малхолл, это будет небезынтересно. Судя по скорости, с которой падает барометр, нам предстоит увидеть нечто величественное.

Капитан Уорфилд забурчал что-то, и все взоры обратились на него. Он смотрел в бинокль вдоль юго-восточной стороны лагуны.

— Вот и он, — сказал Уорфилд спокойно.

Им уже не было надобности смотреть через стекла. Быстро движущееся грозное облако, казалось, заволокло все над поверхностью лагуны. Одновременно вдоль атолла, как бы отмечая появление урагана, сгибались пальмы и неслись оторвавшиеся листья. Граница, которой достиг ураган на поверхности лагуны, была ясно отмечена темной, резко выделявшейся полосой вздымавшейся от ветра воды. Впереди этой полосы, словно застрельщики, двигались покрытые рябью участки. За этой полосой, в четверть мили шириной, лежала гладкая как зеркало, спокойная полоса. Далее следовала снова потемневшая от ветра полоса, позади которой лагуна была вся в волнах, клокотала и кипела.

— Что это за спокойная полоса? — спросил Малхолл.

— Штиль, — ответил Уорфилд.

— Но он движется с такой же скоростью, как ветер, — возразил Малхолл.

— Он должен двигаться, иначе ветер догнал бы его, и штиля уже не было бы. Это циклон с двумя центрами. Однажды я попал в такой же циклон в Саваи. Это — двойной ураган. Ну и хватило нас! Потом настало затишье, потом снова налетела буря. Держитесь крепче! Ураган уже над нами. Посмотрите на «Роберту».

«Роберту», лежавшую ближе к ветру, вдруг накренило, повернув точно соломинку. Затем ее встряхнуло, цепи натянулись, и она стала носом к ветру. Шхуна за шхуной, в том числе и «Малахини», были подхвачены первыми порывами ветра и сдерживались только якорными цепями. Малхолл и многие канаки свалились с ног, когда «Малахини» рванулась на своих цепях.

Затем наступило полное затишье. Полоса штиля надвигалась. Гриф зажег спичку; не защищенный ничем огонек горел ровно, — воздух был неподвижен. Темнело. Покрытое туманом небо, которое уже в продолжение нескольких часов низко висело над водой, казалось, совсем спустилось на океан.

Цепи «Роберты» натянулись, когда порыв урагана снова налетел на нее; то же самое по очереди происходило и с другими судами. Море побелело от яростно клокочущих волн. Палуба «Малахини» сотрясалась под ногами людей. Крепко натянутые фалы бились о мачты, и от снастей несся вой, точно их колотила чья-то гигантская рука. Невозможно было дышать, стоя лицом к ветру. Малхолл скрылся вместе с другими за выступы рубки; его легкие в одно

мгновение так сильно наполнились воздухом, что он не мог продохнуть, пока не повернул головы.

— Что-то немыслимое, — прокричал он, но никто его не слышал.

Герман и несколько канаков ползком стали спускать третий якорь. Гриф дотронулся до капитана Уорфилда и показал на «Роберту». Она двигалась, таща свой якорь. Уорфилд приблизил свой рот к ушам Грифа и крикнул:

— Мы тоже тащим якорь!

Гриф рванулся к рулевому колесу, энергично нажал на него, повернув «Малахини» влево. Третий якорь держал прочно, а «Роберта» прошла мимо на расстоянии ярдов двадцати. Гриф и Уорфилд помахали рукой Питеру Джи и капитану Робинзону, который с несколькими матросами работал на носу.

— Они сшибают якорные цепи, — закричал Гриф. — Пытаются проникнуть в пролив, пройти через него. Якоря не держат.

— Теперь мы держимся, — послышалось в ответ с «Роберты». — А вот «Кактус» летит на «Мизи». Им приходится плохо.

«Мизи» еще кое-как держалась, но «Кактус» сорвал ее с места, и, сцепившись, они понеслись по кипящим, побелевшим от пены водам. Видно было, как матросы пытались расцепить суда. «Роберта», лишенная своих якорей, с поставленным на носу куском брезента, шла к проходу в северо-западном конце лагуны. С «Малахини» было видно, как «Роберта» проскользнула в пролив и вышла в море. «Мизи» и «Кактус» никак не могли расцепиться; их выбросило на берег атолла в полумиле от пролива.

Тем временем ветер все крепчал и крепчал. Невозможно было устоять на ногах против его напора; после нескольких минут ползанья против ветра матросы чувствовали себя обессиленными. Герман со своими канаками продолжал упорно работать, подвязывая паруса.

Ветер рвал с матросов их тонкие рубашки. Матросы двигались медленно, как будто их тело весило целые тонны, и все время держались за что-нибудь обеими руками.

Малхолл дотронулся сначала до одного из матросов, потом до другого и показал на берег. Тростниковые сараи исчезли, а дом Парлея качался точно пьяный. Вследствие того, что ветер дул вдоль острова, дом оказался защищенным кокосовыми пальмами, росшими на протяжении нескольких миль, но гигантские волны подмывали и разрушали его фундамент. Дом уже почти съехал с песчаного откоса, он неминуемо должен был погибнуть. Деревья не качались. Согнутые ветром, они так и застыли в этом положении. Внизу, на берегу, клокотала белая пена. Шхуны ныряли и прыгали по волнам, как щепки. «Малахини» по временам черпала носом и даже боком, и палуба ее была залита водой.

— Теперь настало время пустить в ход вашу машину! — заревел Гриф, и капитан Уорфилд пополз к машине, отдавая приказание диким криком.

«Малахини» выправилась, когда машина заработала. Волны продолжали захлестывать палубу, но шхуна не так жестоко дергалась на якорных цепях. Все же невозможно было совершенно ослабить цепи. Вся работа машины в со-

рок лошадиных сил была достаточна только для того, чтобы заставить цепи натягиваться несколько меньше. А ветер все еще усиливался. Маленькой «Нухиве», стоявшей рядом с «Малахини» ближе к берегу, было плохо: машина была испорчена, и капитан остался на берегу. «Нухива» так глубоко погружалась в воду, что каждый раз возникал вопрос: сможет ли она вынырнуть. В три часа вечера она не успела еще выбраться из одной волны, как на нее нахлынула другая, и больше она не показалась на поверхности моря.

Малхолл посмотрел на Грифа.

— Залило трюм, — последовал ответ.

Капитан Уорфилд показал на «Уинифрид», маленькую шхуну, которая то поднималась, то опускалась на волнах около них, и что-то закричал Грифу на ухо. Слова раздавались неясно, по временам вовсе ничего не было слышно, так как воющий ветер относил слова.

— Жалкое, гнилое суденышко... держали якоря... Как оно только держится... Стара, как Ноев ковчег...

Час спустя Герман указал на «Уинифрид». Битенги, передняя мачта и большая часть носа были разрушены. Осталось пять судов, и из них только на одной «Малахини» работала машина. Боясь, чтобы их не постигла участь «Нухивы» и «Уинифрид», две шхуны последовали примеру «Роберты» и, разорвав якорные цепи, понеслись в пролив. «Долли» шла первой, но у нее тотчас же снесло штормовой парус, и она разбилась на подветренной стороне атолла, близ «Мизи» и «Кактуса». Несмотря на гибель «Долли», «Моана» все же рискнула повторить ее маневр, но и ее постигла та же участь.

— Отличнейшая машина, а? — крикнул капитан Уорфилд.

Гриф пожал ему руку.

— Она себя окупает,— крикнул он в ответ.— Ветер поворачивает к югу, и наше положение улучшается.

Медленно ветер поворачивал к югу или, вернее, к юго-западу, и три уцелевшие шхуны были прибиты к берегу. Остов дома Парлея был подхвачен ветром, брошен в лагуну и теперь несся прямо на шхуну. Миновав «Малахини», он налетел на «Папару», стоявшую на четверть мили дальше «Малахини». На палубе началась бешеная работа, и через четверть часа судно было очищено от обломков дома; передняя мачта и бушприт «Папары» были сломаны. Стройная и похожая на яхту «Тахаа» стояла ближе к берегу; на ней было слишком много мачт. Ее якорь держал ее, но капитан, видя, что ветер продолжается, решил срубить мачты, чтобы уменьшить напор ветра.

— Отличная машина, — поздравлял Гриф своего шкипера, — она спасет наши мачты.

Капитан Уорфилд с сомнением покачал головой. Благодаря переменившемуся ветру волны в лагуне быстро утихали, но зато волны, катившиеся с моря, хлестали через атолл. Деревья сильно поредели. Некоторые из них были сломаны, другие вырваны с корнем. С «Малахини» было видно, как за одно дерево цеплялись три человека, но оно переломилось и в вихре понеслось в лагуну.

Двое из находившихся на дереве отцепились от него и поплыли к «Тахаа». Как раз перед наступлением темноты Гриф увидел, как один из этих людей спрыгнул с борта шхуны и понесся к «Малахини» по белым волнам, от которых разлетались брызги.

— Это Таи-Хотаури, — решил Гриф. — Теперь мы узнаем новости.

Канак ухватился за канат, вскарабкался на нос судна, а с него пробрался на корму. После того как ему дали время отдышаться, он, примостившись за рубкой, начал рассказывать, говоря отрывочно и помогая себе знаками:

— Нарий... проклятый разбойник... он хотел украсть... жемчуг... Убить Парлея... Один человек убить Парлея... Ни один человек не знает этого человека... трое канаков... Нарий, я... Нарий подал знак... Пять бобов... шляпа... Нарий говорит, один боб черный... Никто не знает... Убить Парлея... Нарий — проклятый лгун... Все бобы черные... Пять черных... Темные навесы над копрой... Каждый получил по черному бобу... Подул сильный ветер... Не было удачи... Каждый бросился к дереву... этот жемчуг не принесет счастья, говорю вам... Не будет счастья...

— Где же Парлей? — крикнул Гриф.

— На дереве... трое из его канаков с ним. Нарий и еще один канак на другом дереве... Мое дерево унесло к черту, и я поплыл на корабль.

— Где же жемчуг?

— У Парлея, на дереве. Того и гляди, Нарий захватит его.

Рассказ Таи-Хотаури Гриф прокричал на ухо каждому. Капитан Уорфилд особенно рассвирепел и даже заскрежетал зубами.

Герман сошел вниз и вернулся с сигнальным фонарем, но едва только его подняли на уровень рубки, как ветер затушил его. Дело было удачнее с лампой от компаса, которая была зажжена после долгих усилий.

— Довольно приятная ночь с таким ветром, — крикнул Гриф на ухо Малхоллу. — Ветер становится все сильнее.

— Как велика его скорость?

— Сто миль в час, а может быть — и двести миль... Не знаю. Мне еще не случалось видеть такого сильного ветра.

Морские волны, хлеставшие в лагуну через атолл, все сильнее волновали ее воды. Несмотря на отлив, уровень воды в лагуне повышался, так как ураган гнал туда воду с нескольких сотен миль поверхности океана.

Луна и ветер как будто сговорились залить водой всего Южного океана островок Хикихохо. Капитан Уорфилд вернулся из машинного отделения, куда он ходил по временам, и сообщил, что машинист без сознания.

— Между тем машину нельзя останавливать, — беспомощно заявил он.

— Несите его на палубу; я заменю его, — сказал Гриф.

В машинное отделение можно было пробраться только через узкий проход около рубки, так как люк был закрыт. От жары и дыма там можно было задохнуться. Гриф быстро осмотрел машины и все приспособления в этом тесном помещении и задул лампу. Он работал в полной темноте, если не считать мерца-

ния огонька тех бесчисленных сигар, которые он бегал закуривать в рубку. Хотя он отличался хладнокровием, но скоро и в нем стало сказываться сильнейшее напряжение, которое охватывает людей, имеющих дело с этим чудищем техники, которое работало, стонало, тарахтело в жуткой темноте. Гриф был обнажен до пояса, покрыт грязью и нефтью, весь избит и исцарапан от толчков и качки; он натыкался на разные предметы; его голова кружилась от газов и ужаснейшего воздуха, которым ему приходилось дышать. Он работал час за часом, то с любовью благословляя машину, то жестоко проклиная ее и все к ней относящееся. Огонь стал вялым. Еще более вяло стало действовать водоснабжение, а хуже всего было то, что цилиндры начали нагреваться.

В рубке состоялся совет, на котором машинист-метис просил и умолял остановить машину на полчаса, чтобы она охладилась, и чтобы водоснабжение снова наладилось. Капитан Уорфилд был против всякого прекращения работы. Метис убеждал его, что машина рано или поздно остановится и при этом она настолько испортится, что ее нельзя будет исправить. Гриф со сверкающими глазами, весь грязный и избитый, громко кричал, посылая их обоих к черту, и начал отдавать приказания. Судовой приказчик, Малхолл и Герман были поставлены на рубку нагнетать газолин. В полу машинного отделения прорезали отверстие, и канак поливал водой из трюма цилиндры, тогда как Гриф смазывал маслом те части машины, которые находились в движении.

— Я не знал, что вы специалист по газолину, — восхищался Грифом капитан Уорфилд, когда Гриф вошел на минуту в рубку подышать несколько менее испорченным воздухом.

— Я купаюсь в газолине, — дико прорычал Гриф сквозь зубы. — Я глотаю его...

Какое еще было у него употребление газолина, так и осталось никому неведомым, потому что как раз в это мгновение всех находившихся в каюте швырнуло вперед, на переборку. «Малахини» глубоко погрузилась в воду.

В продолжение нескольких минут никто не был в состоянии встать на ноги, и все перекатывались взад и вперед, толкаясь о стены. На шхуну налетели три исполинские волны, и она затрещала, застонала и задрожала, опускаясь под тяжестью воды, залившей палубу. Гриф пополз в машинное отделение, а капитан Уорфилд пробрался на палубу по трапу.

Он вернулся только через полчаса.

— Вельбот снесло, — объявил он. — Камбуз снесло. Все снесло, кроме палубы и люков. А если бы машина не работала, мы бы погибли. Необходимо продолжать работу.

К полуночи легкие и голова машиниста в достаточной степени прочистились от газового смрада, и Грифа освободили. Он в свою очередь вышел на палубу проветрить свои легкие и голову и присоединился к остальным, которые находились за рубкой. Для большей надежности они привязали себя канатами к перилам. Все они образовали собой какую-то сплошную груду тел, так как место за рубкой было единственным убежищем для них и для канаков.

Некоторые из канаков прошли было в каюту, куда звал их Гриф, но дым и чад сейчас же выгнали их.

«Малахини» часто окуналась глубоко в воду, и им приходилось дышать воздухом, насыщенным брызгами и пеной.

— Довольно омерзительная погода, Малхолл, — крикнул Гриф своему гостю между двумя погружениями в воду.

Малхолл захлебывался и задыхался, он мог только кивнуть в ответ.

Шпигаты были недостаточно велики для стока всей воды. Вода плескалась через борт или неслась от одного борта к другому. По временам, когда нос шхуны был устремлен прямо в небо, вода бурным потоком затопляла корму. Она клокотала во всех проходах, заливала верх рубки, сшибая и захлестывая тех, кто цеплялся за рубку, и стремилась дальше, выливаясь за борт.

Малхолл первый увидел на палубе постороннего человека и обратил на него внимание Грифа. Это был Нарий Эринг. Скорчившись, он лежал там, где компасная лампа проливала свой тусклый свет. Эринг был почти голый; на нем был только пояс, и за поясом заткнут нож.

Капитан Уорфилд распутал свои канаты и стал протискиваться к нему сквозь сгрудившиеся тела. Все видели, что он что-то говорил, но ветер относил слова в сторону. Он не хотел прикасаться губами к ушам Нария. Он просто указал ему рукой за борт. Нарий Эринг понял. Оживленная и насмешливая улыбка обнажила его белые зубы. Он встал, обнаруживая свое великолепное сложение.

— Это убийство, — закричал Грифу Малхолл.

— Он сам хотел убить старика Парлея, — крикнул Гриф.

В эту минуту вода сбежала с палубы, и «Малахини» стала на ровном киле. Нарий смело пошел было к борту, но ветер сшиб его с ног. Тогда он пополз и скрылся в темноте; все были уверены, что он перескочил через борт.

«Малахини» глубоко нырнула, и, когда они выбрались из воды, Гриф приник к уху Малхолла.

— Он не пропадет. На Таити его называют человеком-рыбой. Он, наверное, хочет пересечь лагуну и выбраться на берег атолла с другой стороны, если только осталось еще что-нибудь от атолла.

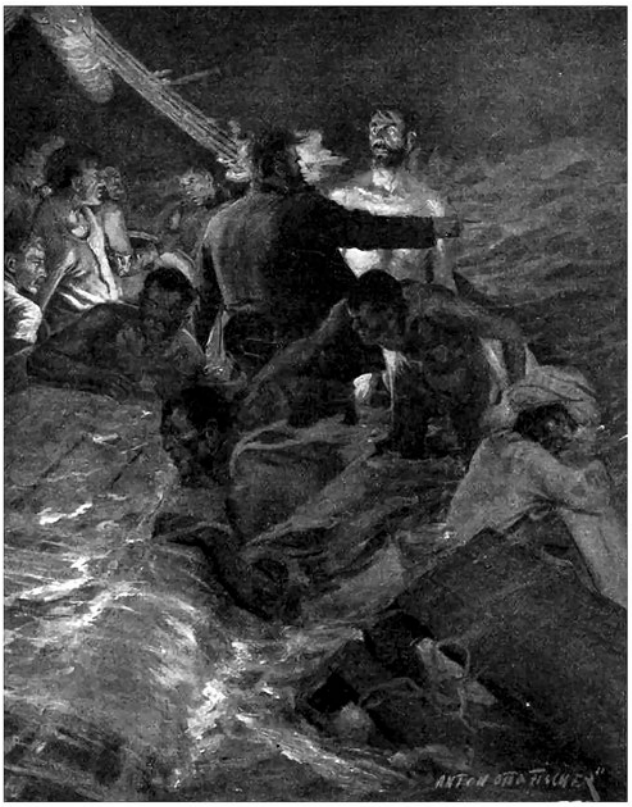
Минут через пять, когда вода снова нахлынула, с крыши рубки вместе с водой обрушилась целая куча тел. Матросы «Малахини» подхватили и держали их, пока не схлынула вода, затем снесли вниз и пытались опознать их. Старик Парлей лежал навзничь на полу, с закрытыми глазами и без движения. Двое других были его родственники-канаки. Все трое были голые и в крови. У одного из канаков беспомощно висела сломанная рука, у другого из ужасной раны на голове текла кровь.

— Это дело его рук? — спросил Малхолл.

Гриф покачал головой:

— Нет, они разбились о палубу и о крышу каюты.

Вдруг наступила какая-то перемена, совершенно их ошеломившая. Сразу никто не мог понять, что, собственно, произошло. Оказалось, ветра не было



Это был Нарий Эринг.

больше. Ветер точно был срезан быстрым взмахом меча. Шхуна колыхалась и ныряла. Она рвалась на своих якорных цепях, грохот, которых они теперь слышали. В первый раз услышали они плеск воды на палубе. Машинист затормозил, и машина стала работать медленнее.

— Мы попали в мертвый центр, — сказал Гриф. — Сейчас будет перемена. Но будет еще хуже. — Он посмотрел на барометр. — Двадцать девять, тридцать два, — прочел Гриф.

Он не смог сразу приспособиться говорить обыкновенным голосом, за несколько часов он привык орать что есть мочи, перекрикивая ветер; Гриф закричал так громко, что своим голосом оглушил окружающих.

— У него переломаны все ребра, — сказал судовой приказчик, ощупав Парлея. — Он еще дышит, но ему не выжить, он кончается.

Старый Парлей застонал, пошевелил рукой и открыл глаза. В них мелькнул проблеск сознания.

— Мои уважаемые джентльмены, — прошептал он прерывающимся голосом, — не забудьте... про аукцион... в десять часов... в аду...

Его глаза закрылись, и нижняя челюсть стала отвисать, но он преодолел агонию и в последний раз насмешливо хихикнул.

И тотчас же точно весь ад сорвался с цепи. Раздался снова знакомый рев ветра. Ветер со страшной силой задул шхуне в бок, она описала дугу, насколько это позволяли ей якорные цепи, и едва не опрокинулась, но затем резким толчком выпрямилась. Винт привели в действие, и машина заработала снова.

— Норд-вест! — закричал Уорфилд Грифу, когда они пришли на палубу.

— Теперь Нарию не удастся переплыть лагуну, — заметил Гриф.

— Тем хуже! Его опять отнесет к нам.

V

Барометр начал подниматься, как только пронесся центр урагана. Ветер стал быстро падать. Когда он стал нормальным, машина подпрыгнула в последних конвульсивных усилиях своих сорока лошадиных сил, сорвалась со своих устоев и опрокинулась набок; из трюма на нее хлынула вода, и поднялись целые облака пара. Машинист был крайне расстроен, но Гриф посмотрел с любовью на останки машины и пошел в каюту, чтобы стереть со своей груди и рук грязь остатками пакли.

Когда он вышел на палубу, солнце поднялось, легкий бриз ласково веял в воздухе. Гриф только что зашил рану на голове одному из канаков и другому перевязал руку. «Малахини» находилась вблизи берега. Герман и матросы вытаскивали якорные канаты. «Папара» и «Тахаа» скрылись; капитан Уорфидд отыскал в бинокль берег атолла.

— От всех шхун не осталось ни единой щепки, — сказал он. — Вот что случается, когда на судне нет машины. Их, вероятно, унесло еще до того, как переменился ветер.

На берегу, на том месте, где находился дом Парлея, не осталось никаких признаков жилья. На протяжении трехсот ярдов, где бушевало море, не осталось не только ни одного дерева, но даже пня. Вдали кое-где высились одинокие пальмы; большинство пальм были сломаны у самого корня. Таи-Хотаури уверял, что он видит, будто кто-то копошится в кроне одной из уцелевших пальм. У «Малахини» не осталось ни одной лодки, и они стали следить за тем, как Таи-Хотаури бросился вплавь к берегу и влез на дерево.

Он вернулся не один,— с ним была туземная девушка, принадлежавшая к штату прислуги Парлея. Прежде чем перелезть через борт, она подала наверх помятую корзину — в ней оказалось несколько штук слепых котят, только один из них был еще жив и чуть слышно мяукал.

— Хэлло, — сказал Малхолл. — Это еще кто такой?

Они увидели шедшего по берегу человека. Он шел свободно и небрежно, точно совершал утреннюю прогулку. Капитан Уорфилд заскрежетал зубами. Это был Нарий Эринг.

— Хэлло, шкипер, — окликнул его Нарий, — разрешите мне навестить ваше судно и позавтракать?

Лицо и шея капитана Уорфилда побагровели, он хотел заговорить, но задохнулся.

— За два цента... за два цента... — это единственные слова, которые он был в состоянии произнести.

ЯЗЫЧНИК

Впервые я встретился с ним в бурю, и хотя мы выдержали ее на одной шхуне, я взглянул на него, лишь когда судно было уже разбито в щепки. Несомненно, я и раньше видел его на борту, вместе с остальным канакским экипажем, но не обратил внимания на его присутствие, ибо «Petite Jeanne» была довольно-таки переполнена людьми. Кроме восьми или десяти канакских матросов, белого капитана, помощника, судового приказчика и шести каютных пассажиров, она везла из Ранжироа восемьдесят пять палубных пассажиров, жителей Паумоту и Таити; то были мужчины, женщины и дети, каждый со своими корзинами, не говоря уже о матрацах, одеялах и узлах с платьем.

В Паумоту кончился «жемчужный» сезон, и все рабочие руки возвращались на Таити; мы шестеро — каютные пассажиры — были скупщиками жемчуга. В эту полудюжину входили два американца, один китаец — А-Чун, самый белый из всех виденных мною китайцев, один немец, один польский еврей и я.

То был удачный сезон. Ни один из нас не имел причины жаловаться; довольны были и восемьдесят пять палубных пассажиров. Все хорошо поживились и теперь с надеждой смотрели вперед, предвкушая отдых и хорошее время в Таити.

Конечно, «Petite Jeanne» перегрузили. Вместимость ее была всего лишь семьдесят тонн, и шхуна никакого права не имела нести на себе и десятую долю того сброда, какой находился у нее на борту. Трюм под люками был битком набит жемчужными раковинами и копрой. Даже чулан был полон ими. Чудом казалось, что матросы могли справляться со шхуной. На палубах совсем не было движения. Матросам, чтобы добраться до нужного места, приходилось карабкаться вперед и назад вдоль перил.

В ночное время они прогуливались по спящим, которые, как ковром, устилали палубу. Могу поклясться, что они устилали ее двойным ковром! О, здесь были даже свиньи и цыплята и кульки с мясом, а всякое свободное местечко было разукрашено связками кокосов и кистями бананов! По обе стороны между фок- и грот-вантами протянули бурундук-тали так низко, чтобы унтер-лисель

мог свободно раскачиваться; а с бурундук-талей свешивалось по пятидесяти кистей бананов.

Плавание обещало быть не особенно спокойным, даже если бы мы и совершили переезд в два или три дня, что могло произойти лишь при сильных юго-восточных пассатах. Но ветер дул слабо. Спустя пять часов он затих после нескольких угасающих вспышек. Штиль продолжался всю ночь и следующий день; то был один из тех сияющих зеркальных штилей, когда одна только мысль открыть глаза и посмотреть на море причиняет головную боль.

На второй день умер человек — житель восточных островов, один из лучших водолазов в лагуне. Оспа — вот отчего он умер; хотя непонятным казалось, каким образом занесло оспу на борт судна: при нашем отплытии из Ранжироа о ней ничего не было слышно. Однако сомнений быть не могло — один человек умер и трое были больны. Делать было нечего. Мы не могли отделить больных, не могли и ухаживать за ними. Мы были набиты здесь, как сардины. После той ночи, какая последовала за первой смертью, оставалось только гнить и умирать, ибо в ту ночь улизнули на большом вельботе штурман, судовой приказчик, польский еврей и четыре туземца-водолаза. Больше мы о них не слыхали. Наутро капитан приказал продырявить остальные лодки, и мы застряли на судне.

В этот день умерло двое; на следующий день — трое, а затем число сразу возросло до восьми. Любопытно было наблюдать, как это действовало на нас. Туземцы стали добычей немого, тупоумного страха. Капитан — он был французом, а звали его Удуз — нервничал и болтал без умолку. Его даже стало трясти. Это был огромный, мясистый человек, весивший по крайней мере двести фунтов. Вскоре он стал походить на дрожащее желе из жира.

Немец, американцы и я насосались шотландским виски и решили напиться допьяна. Теория была великолепна: если мы пропитаем себя алкоголем, все проникшие в нас микробы оспы немедленно будут сожжены в пепел. И теория оправдала себя, хотя я должен сознаться, что и капитан, и А-Чун уцелели от оспы. Француз вовсе не пил, и А-Чун ограничивался одной выпивкой в день.

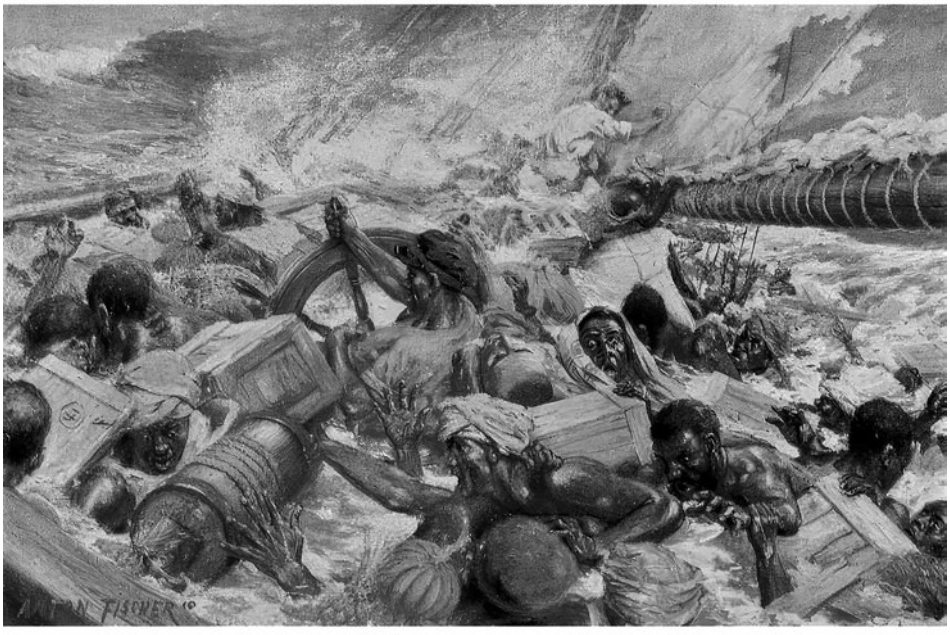
Ну и славное же было времечко! Солнце — на своем пути к Северному полушарию — стояло как раз над головой. Ветра не было, но часто налетали шквалы; через пять минут или через полчаса все затихало, а затем нас затоплял дождь. После каждого шквала грозно выглядывало солнце, поднимая с палуб облака пара. Пар был скверный. Нам он казался туманом смерти, насыщенным миллионами бацилл. Когда мы видели, как он поднимается над мертвыми и умирающими, мы всегда принимались пить; обычно мы из разных напитков приготовляли необыкновенно крепкую смесь. Кроме того, мы взяли себе за правило угощаться добавочной порцией всякий раз, когда сбрасывали мертвецов за борт к кишащим вокруг корабля акулам.

Так продолжалось с неделю. Затем вышло все виски. Это случилось кстати, ибо иначе я не остался бы в живых. Только совершенно трезвый человек мог пережить то, что затем последовало. Вы согласитесь с этим, когда узнаете, что выжили всего лишь двое. Выжили я и язычник, — так, по крайней мере, назвал

его капитан Удуз, когда я впервые его заметил. Но возвратимся назад. В конце недели, когда вышло все виски и скупщики жемчуга были трезвы, я случайно взглянул на висевший в кают-компании барометр. В Паумоту он обычно стоял на 29,90 и часто колебался между 29,85 и 30,00 или даже 30,05. Я же увидел его стоящим ниже 29,62: это могло протрезвить самого пьяного скупщика жемчуга, когда-либо испепелившего микробов оспы в шотландском виски.

Я обратил на это внимание капитана Удуза, но тот заявил, что вот уже несколько часов наблюдает падение барометра. Мало что можно было сделать, но, принимая во внимание все обстоятельства, это малое он выполнил превосходно. Он убрал часть парусов, оставив только штормовые, растянул лееры и ждал ветра. Но когда поднялся ветер, капитан сделал ошибку — он заставил шхуну лечь в дрейф на левый галс. Конечно, когда находишься к югу от экватора, такая мера правильна, если — вот в чем затруднение — если только ты не стоишь на пути урагана.

Да, мы были как раз на его пути. Я мог судить об этом по тому, как непрестанно усиливался ветер и падал барометр. По моему мнению, капитан должен был повернуть шхуну так, чтобы ветер дул с левого борта, а затем, когда барометр перестанет падать, лечь в дрейф. Мы спорили до тех пор, пока в голосе его не послышались истерические нотки, но уступить он не хотел. Хуже всего было то, что мне не удалось привлечь на свою сторону остальных скупщиков жемчуга. Мог ли я знать море, все его капризы, лучше, чем опытный капитан? Вот что они думали, и я это знал.



То был поток человеческих тел.

Конечно, поднялось страшное волнение. Я никогда не забуду первых трех волн, обрушившихся на «Petite Jeanne». Она накренилась, как накреняются все суда, ложась в дрейф, и первая волна хлынула на палубу. Поручни предназначались только для здоровых и сильных людей, но и им они не пригодились, когда женщины и дети, бананы и кокосы, свиньи и дорожные корзины, больные и умирающие были подхвачены волной и визжащей, стонущей массой понеслись вдоль палубы.

Вторая волна загромоздила палубы брусьями от поручней, а когда корма шхуны погрузилась в воду и нос высоко взметнулся к небу, несчастные люди со всем своим багажом съехали на корму. То был поток человеческих тел. Люди неслись кто головой вперед, кто вперед ногами, перекатывались, извивались, корчились, давили друг друга. Кое-кому удавалось ухватиться рукой за стойку или веревку; но тяжесть тел, напиравших сзади, заставляла разжать руку. Я видел, как один, летевший головой вперед, ударился о бимсы на штирборте. Голова его треснула, словно яичная скорлупа. Я понял, к чему клонится дело, вскочил на крышу кают-компании, а оттуда перелез на грот-мачту. А-Чун и один из американцев пытались последовать моему примеру. Но я опередил их на целый прыжок. Американец был смыт с кормы словно соломинка; А-Чун ухватился за штурвал и удержался на месте. Какая-то огромная женщина племени раратонга — налетела на него и обхватила рукой его шею. Она весила не меньше двухсот пятидесяти фунтов. Свободной рукой он уцепился за канакского рулевого, и как раз в этот момент шхуна легла на правый борт.

Поток человеческих тел, двигавшийся вдоль левого борта, между рубкой и поручнями, внезапно изменил направление и понесся на штирборт. Все были снесены — женщина, А-Чун и рулевой; могу поклясться, что я видел, как А-Чун, выпуская из рук поручни, усмехнулся мне с философской покорностью. Третья волна — самая большая — причинила меньше вреда. К тому времени почти все успели перебраться на такелаж. Внизу оставалось, может быть, человек двенадцать: несчастные, полузадохшиеся, оглушенные, захлебывающиеся люди катались по палубе или пытались забраться в какое-нибудь безопасное местечко. Их снесло за борт вместе с двумя оставшимися разбитыми лодками. В промежутках между волнами мне и другим скупщикам жемчуга удалось поместить пятнадцать женщин и детей в кают-компанию и закрыть люк. Но в конце концов это принесло им мало пользы. А ветер? Несмотря на весь мой опыт, я никогда не поверил бы, что ветер может дуть с такой силой. Он не поддается описанию. Разве можно описать кошмар? Так же точно немыслимо дать понятие об этом ветре. Он срывал с нас одежду. Я говорю: «срывал»,— именно так и было. Но я не прошу вас верить. Я лишь рассказываю то, что сам видел и чувствовал. Бывают минуты, когда я сам перестаю себе верить. Однако все это я пережил. Можно ли пережить встречу с таким ветром? Он был чудовищен, и самым ужасным казалось то, что он все усиливался и усиливался.

Представьте себе бесчисленные миллионы и биллионы тонн песка. Этот песок несется со скоростью девяносто, сто, сто двадцать и более миль в час. Далее

представьте себе, что он невидим, неощутим — и однако сохраняет плотность и вес песка. Представьте себе все это, и вы получите смутное представление о налетевшем на нас ветре.

Быть может, сравнение с песком неправильно. Сравним его с грязью, невидимой, неосязаемой, но тяжелой. Нет, и это слишком слабо! Считайте, что каждая молекула воздуха представляла собой грязевую отмель. Затем постарайтесь вообразить сплошную массу таких молекул. Нет, я не нахожу слов! Словами можно изобразить лишь обычные явления жизни, но язык становится бессильным перед таким чудовищным ветром. Гораздо лучше было бы, если бы я остался при своем первоначальном намерении и не пытался дать описание.

Но одно я должен сказать: волны, поднявшиеся на море, были разбиты, придавлены ветром. Мало того: казалось, ураган, разинув пасть, поглотил весь океан, заполнил то пространство, где раньше был воздух.

Конечно, паруса давно были сорваны. Но у капитана Удуза имелось на «Petite Jeanne» то, чего я никогда еще не видал на шхунах Южных морей,— морской якорь. То был конический парусиновый мешок, в отверстие которого был вставлен огромный железный обруч. Морской якорь, падающий в воду, походил на коршуна, взлетающего к небу, но была и некоторая разница: он оставался у самой поверхности воды и сохранял перпендикулярное положение. Длинный канат соединял его со шхуной. В результате «Petite Jeanne» поплыла носом к ветру и навстречу морю. Действительно, наше положение улучшилось бы, если бы мы не находились на пути шторма. Правда, ветер вырвал наши паруса из ревантов, сломал верхушки мачт, спутал все снасти, но все же мы, вероятно, выпутались бы благополучно, если бы не попали в самый центр шторма. Вот это-то и решило нашу судьбу. Я был оглушен, находился в состоянии какого-то оцепенения и ослабел от напора ветра. Я уже готов был сдаться и умереть, когда центр урагана захватил нас. Мы попали в полосу полного затишья. Не было ни малейшего дуновения ветерка. Это производило болезненное действие.

Вспомните, как сильно напряжены были у нас мускулы, когда мы боролись с чудовищным давлением ветра. И вдруг давление сразу прекратилось. Помню, у меня было такое чувство, словно я вот-вот распадусь, разлечусь на части. Казалось, все атомы моего тела отваливаются друг от друга и непреодолимо рвутся в пространство. Но это длилось одно мгновение. Гибель надвигалась.

В центре шторма не было ветра, и на море поднялось волнение. Волны прыгали, бились, взметались к самым облакам. Не забудьте: этот чудовищный ветер дул от каждой точки окружности в направлении центра штиля. Поэтому и волны стали надвигаться со всех сторон. В центре не было ветра, чтобы их остановить. Они вырывались, словно пробки со дна бочек; в их продвижении не заметно было ни системы, ни постоянства. То были сумасшедшие волны. Они вздымались по крайней мере на восемьдесят футов. Нет! То были вовсе не волны: ни один человек никогда не видел таких волн.

Скорее они походили на брызги, чудовищные брызги — вот и все! Брызги в восемьдесят футов вышиной. Восемьдесят футов! Больше восьмидесяти! Они перебрасывались через верхушки мачт. То был смерч, извержение. Они были пьяны. Они падали где и как попало. Сталкивались, налетали и обрушивались друг на друга или разлетались тысячами водопадов. Этот центр урагана не был океаном — ни одному человеку не снился такой океан. То был хаос, адский хаос — дьявольский кладезь взбесившейся морской воды.

А «Petite Jeanne»? Не знаю, что сталось с нею. Язычник говорил мне впоследствии, что и он также не знает. Она была буквально разодрана, расколота надвое, затем превращена в массу раздробленного горящего дерева и, наконец, уничтожена. Придя в себя, я увидел, что нахожусь в воде и плыву машинально, хотя — если можно так выразиться — я уже на две трети утонул. Не помню, как я очутился в воде. Я видел, как «Petite Jeanne» разлетелась на части, должно быть, в тот самый момент, когда я потерял сознание.

Теперь, когда я пришел в себя, мне оставалось только использовать все преимущества своего положения, но эти «преимущества» сулили мало хорошего. Снова дул ветер, волны уменьшились, и я понял, что выбрался из центра урагана. По счастью, вблизи не было акул. Ураган разогнал прожорливую стаю, которая окружала обреченное на гибель судно и кормилась мертвецами.

Было около полудня, когда «Petite Jeanne» разлетелась в щепки, и, должно быть, часа два спустя мне удалось уцепиться за крышку от люка шхуны. В то время лил дождь, и я совершенно случайно натолкнулся на крышку. Короткий обрывок бечевки болтался на ручке; я понял, что могу считать себя в безопасности по крайней мере в течение суток — в том случае, конечно, если не явятся акулы. Часа три спустя мне послышались голоса. Все это время я тесно прижимался к крышке и, закрыв глаза, сосредоточивал свое внимание на работе легких, стараясь вдыхать достаточное количество воздуха, чтобы не задохнуться и в то же время не наглотаться воды. Дождь перестал, а ветер и море затихли. Вот тогда-то я и увидел на расстоянии двадцати футов капитана Удуза и язычника, примостившихся на крышке от другого люка. Они боролись за обладание ею — во всяком случае, француз боролся.

— Paien noir![1] — завопил он и лягнул ногой канака.

Капитан Удуз потерял всю свою одежду, кроме тяжелых, грубых сапог. Язычнику он нанес жестокий удар по рту и подбородку и едва не оглушил его. Я думал, парень отплатит ему тою же монетой, но он удовольствовался тем, что уныло отплыл на десять футов в сторону. Всякий раз, как волна пригоняла его ближе, француз, руками цеплявшийся за крышку, лягал его обеими ногами и, лягаясь, называл канака черным язычником.

— Эй ты, белая скотина! — заревел я. — За пару сантимов я до тебя доберусь и утоплю!

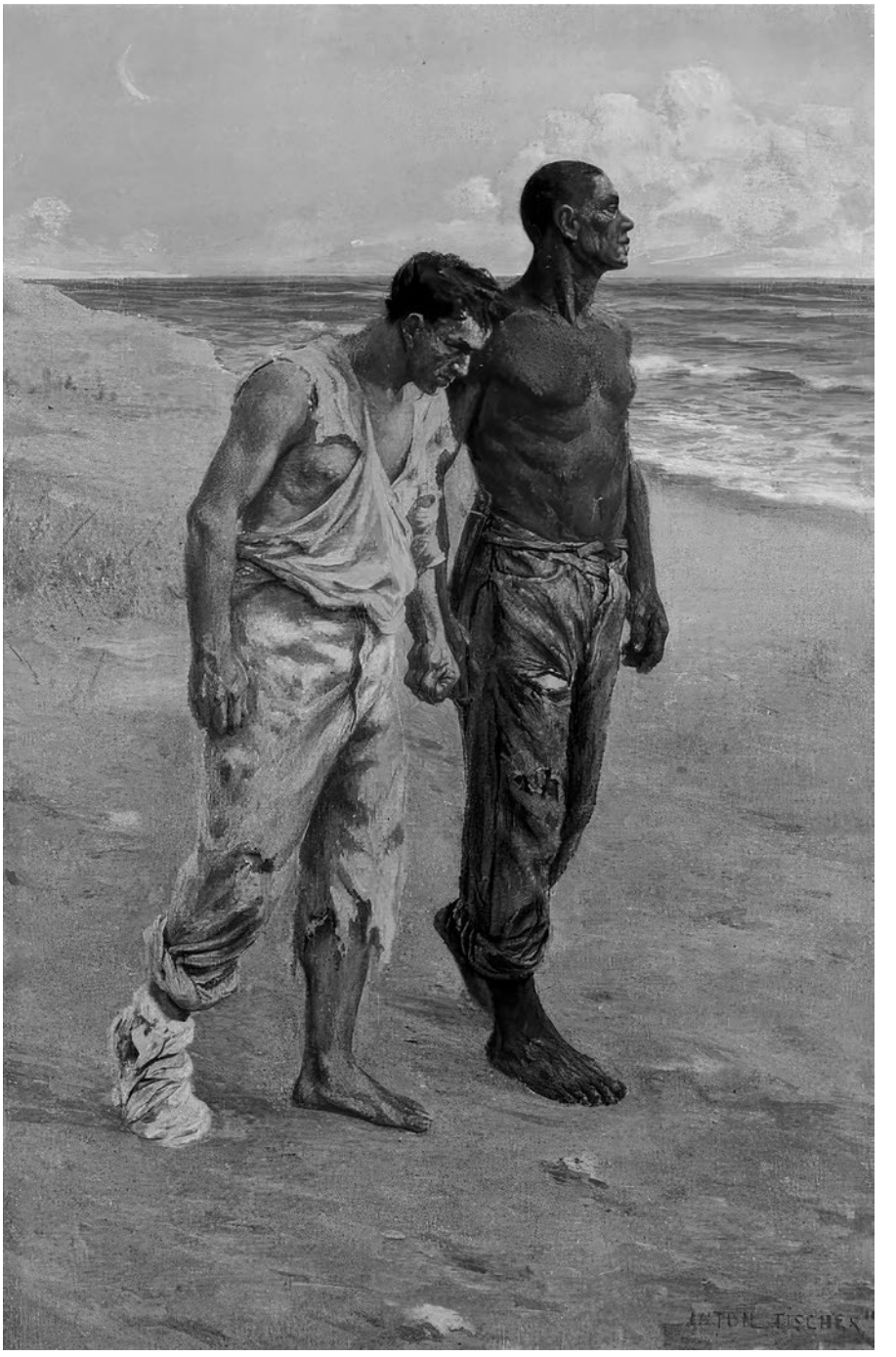
---

[1] Paien noir — (*фр.*) — черный язычник, безбожник.

Только сильная усталость помешала мне выполнить угрозу. Одна мысль об усилии, какое требовалось, чтобы переплыть к нему, вызывала тошноту. Поэтому я окликнул канака и решил разделить с ним люковую крышку. Отоо — так его звали (он произносил свое имя протяжно: «О-т-о-о») — сообщил мне, что он уроженец Бора-Бора, самого западного острова из группы Товарищества. Как я впоследствии узнал, он захватил люковую крышку первым, а затем, встретившись с капитаном Удузом, предложил ему воспользоваться ею; тот, в благодарность за эту услугу, отогнал его пинками.

Вот каким образом я впервые встретил Отоо. Он не был забиякой; он являлся воплощением кротости, мягкости и доброты, хотя и был шести футов ростом, мускулистый, словно римский гладиатор. Да, забиякой он не был, но не был и трусом. В его груди билось львиное сердце; в последующие годы я видел, как он шел на такие опасности, перед которыми я бы отступил. Я хочу сказать, что, избегая заводить ссору, он никогда не отступал перед надвигающейся бедой. А раз Отоо начинал действовать — тогда «берегись мели!». Я никогда не забуду, как он отделал Билла Кинга. Случилось это в германском Самоа. Билл Кинг был провозглашен чемпионом-тяжеловесом американского флота. То был человек-зверь, настоящая горилла, один из тех парней, что бьют здорово и наверняка умеют управлять своими кулаками. Он затеял ссору, ударил и дважды пихнул ногой Отоо, пока тот осознал необходимость драться. Думаю, бой закончился через четыре минуты; к концу этого времени Билл Кинг оказался несчастным обладателем четырех поломанных ребер, сломанной руки и вывихнутого плеча. Отоо понятия не имел о науке бокса. Он дрался по-своему, но Биллу Кингу пришлось пролежать три месяца, пока он не оправился от урока, полученного им на берегу Алии.

Мы поделили люковую крышку и поочередно пользовались ею.



Из всего экипажа «Petite Jeanne» спаслись только мы двое.

Но я забегаю вперед. Мы поделили люковую крышку и поочередно пользовались ею. Один лежал ничком на крышке и отдыхал, в то время как другой, по шею погрузившись в воду, придерживался за крышку обеими руками. В течение двух суток, без перерыва, то отдыхая на крышке, то погружаясь в воду, мы носились по океану. К концу второго дня я почти все время бредил; по временам мне случалось слышать, как бормочет и бредит Отоо на своем родном языке. Мы постоянно погружались в воду и благодаря этому не умерли от жажды, хотя морская вода и солнце для нас равносильны были рассолу и пеклу. Кончилось тем, что Отоо спас мне жизнь, ибо очнулся я на берегу, в двадцати футах от воды, защищенный от солнца листьями кокосовой пальмы. Конечно, не кто иной, как Отоо притащил меня сюда и укрепил надо мной листья, отбрасывавшие тень. Он лежал подле меня. Я снова потерял сознание. Когда я пришел в себя, была прохладная звездная ночь. Отоо прижимал к моим губам кокосовый орех. Из всего экипажа «Petite Jeanne» спаслись только мы двое. Капитан Удуз, должно быть, погиб от истощения, так как спустя несколько дней к берегу прибило его крышку от люка. Целую неделю Отоо и я прожили с туземцами атолла; затем нас подобрал французский крейсер и доставил на Таити. Тем временем мы совершили обряд обмена именами. В Южных морях этот обряд связывает людей крепче, чем братство по крови. Инициатива была моя, а Отоо пришел в восторг, когда я заговорил об этом.

— Вот это хорошо, — сказал он по-таитянски. — Ведь мы вместе провели два дня на устах смерти.

— А смерть не разжала уст, — с улыбкой ответил я.

— Ты совершил славное дело, господин, — сказал он, — и у смерти не хватило подлости заговорить.

— Зачем ты величаешь меня господином? — спросил я, прикидываясь оскорбленным.— Разве мы не обменялись именами? Для тебя я — Отоо, для меня ты — Чарли. И для меня ты на вечные времена будешь Чарли, а я для тебя — Отоо. Таков обычай. И даже после нашей смерти, если нам случится жить где-нибудь в надзвездном мире, даже тогда ты будешь для меня Чарли, а я для тебя — Отоо.

— Да, господин, — ответил он, и глаза его засверкали от радости.

— Ну вот, ты опять! — негодующе вскричал я.

— Разве важно то, что произносят мои уста? — возразил он. — Ведь это только уста. Мысленно же я всегда буду звать тебя Отоо. Когда бы я ни подумал о себе, я буду думать о тебе; и если кто назовет меня по имени, я вспомню о тебе. И в надзвездном мире, во все времена ты будешь для меня Отоо. Так ли я говорю, господин?

Я скрыл улыбку и кивнул ему головой.

Мы расстались в Папеэте. Я остался на берегу, чтобы оправиться от перенесенного потрясения, а он на катере отплыл к своему родному острову Бора-Бора. Спустя шесть недель он вернулся. Я очень удивился, так как раньше он рассказал мне о своей жене и заявил, что возвращается к ней и думает навсегда

отказаться от далеких путешествий. После первых приветствий он спросил меня, куда я собираюсь отправиться.

Я пожал плечами: то был трудный для меня вопрос.

— Я хочу странствовать по всему свету, — отвечал я наконец, — по всему свету: изъездить все моря, посетить все острова, какие только есть на земном шаре.

— Я еду с тобой, — просто сказал он. — Моя жена умерла.

У меня никогда не было брата, но, вспоминая отношения, какие мне приходилось наблюдать между братьями, я начинаю сомневаться — может ли брат относиться так, как относился ко мне Отоо. Для меня он был и братом, и отцом, и матерью. Знаю одно: благодаря Отоо я стал более справедливым и честным человеком. Я мало заботился о мнении других людей, но должен был оставаться честным в глазах Отоо. Помня о нем, я не осмеливался себя запятнать. Я был для него идеалом, и боюсь, что из любви ко мне он меня наделил несуществующими добродетелями.

Бывали минуты, когда я подходил к самому краю пропасти, и только мысль об Отоо удерживала меня от прыжка. Его гордость мной передавалась и мне; и не делать того, что подорвало бы его гордость, стало первым правилом моего кодекса чести.

Естественно, я не сразу понял, каковы были его чувства ко мне. Он никогда не критиковал, никогда не осуждал меня. Лишь мало-помалу мне открывалось его преувеличенное мнение о моей особе, и постепенно я стал понимать, как сильно его оскорбил бы поступок, недостойный моего лучшего «я».

В продолжение семнадцати лет мы не разлучались; в продолжение семнадцати лет он всегда был подле меня, бодрствуя во время моего сна, ухаживая за мной, когда я бывал болен, сражаясь за меня и получая раны. Он записывался на те же корабли, что и я, и вместе мы избороздили Тихий океан, от Гавайских островов до мыса Сиднея, от Торресова пролива до Галапагос. Мы занимались вербовкой чернокожих на всем протяжении от Ново-Гебридских островов и островов на экваторе до Луизианы, Новой Британии, Новой Ирландии и Нового Ганновера. Трижды мы терпели кораблекрушение: у островов Джильберт, Санта-Крус и Фиджи. Мы скупали и продавали все, что попадалось под руку — жемчуг, жемчужные раковины, копру, черепах,— и кое-как сводили концы с концами.

Это началось в Папеэтэ, сейчас же после того, как Отоо заявил мне о своем решении объездить со мной все моря и острова. В те дни в Папеэте имелся клуб, где собирались скупщики жемчуга, торговцы, капитаны и разношерстые авантюристы Южных морей. Игра шла азартная, пили много; боюсь, что я засиживался за карточным столом дольше, чем следовало бы. Но как бы поздно я ни уходил из клуба, всегда Отоо ждал меня, чтобы проводить домой.

Сначала я улыбался, затем пожурил его. Наконец сказал напрямик, что в няньке не нуждаюсь. С тех пор, выходя из клуба, я уже его не видал. Однако спустя неделю, я совершенно случайно обнаружил, что он по-прежнему про-

вожает меня до дому, скользя в тени манговых деревьев, окаймлявших улицу. Нимало о том не думая, я стал раньше возвращаться домой. В дождливые и бурные ночи, в самый разгар кутежа меня неотвязно преследовала мысль об Отоо, печально стоящем на страже под проливным дождем. Да, действительно, благодаря ему я изменился к лучшему. Однако он воздействовал на меня не строгостью. О христианской морали он не имел понятия. Все туземцы Бора-Бора приняли христианство, но Отоо был язычником — единственным неверующим человеком на всем острове подлинным материалистом, не сомневающимся в том, что смертью кончается все. Он верил только в честную игру. В его кодексе чести низость являлась едва ли не таким же серьезным преступлением, как и зверское убийство, и, думаю, он скорее стал бы уважать убийцу, чем человека, способного на подлые делишки.

Что же касается меня, то он всегда возражал против тех моих поступков, какие могли бы мне повредить. Игру он допускал; он сам был страстный игрок, но игру до поздней ночи считал вредной для здоровья. Ему случалось видеть, как люди, не заботившиеся о своем здоровье, умирали от лихорадки. Он не давал обета трезвости и в сырую погоду не прочь был глотнуть спиртного. Однако он знал, что спирт хорош лишь в умеренном количестве. Он видел, что, злоупотребляя им, многие гибли либо на всю жизнь оставались калеками. Отоо всегда заботился о моем благополучии. Он думал о моем будущем, обсуждал мои планы и интересовался ими больше, чем я сам. Сначала, когда я еще не подозревал о его интересе к моим делам, ему приходилось угадывать мои намерения, как, например, в Папеэте — там я размышлял о том, входить ли мне в компанию с одним плутом, моим земляком. Операция с гуано была рискованной. Конечно, тогда я не знал, что он мошенник; этого не знал и ни один белый в Папеэте. Отоо также не был известен этот факт, но он видел, как туго идет дело, и выведал все, не дожидаясь моей просьбы. Много моряков со всех концов света заглядывают на Таити, и Отоо, еще только подозревая, отправился к ним и терся среди них до тех пор, пока не собрал достаточно данных, подтверждающих его предположение. История была замечательная — с этим Рудольфом Уотерсом! Отоо рассказал мне ее, а я не поверил; но, когда я припер Уотерса к стенке, он сдался без ропота и на первом же пароходе уехал в Окленд. Признаюсь, сначала я сердился на Отоо за то, что он сует нос в мои дела. Однако я знал, что он не руководствуется какими-либо корыстными побуждениями, и вскоре мне пришлось признать его мудрость и осторожность. Моей выгоды он никогда не упускал из виду — глаза у Отоо были проницательные и дальнозоркие. Кончилось тем, что я стал с ним советоваться, и мои дела были ему известны лучше, чем мне самому. Объяснялось это тем, что мои интересы он принимал ближе к сердцу, нежели я. Я был молод и беспечен. Долларам я предпочитал романтику, спокойной жизни — приключения. Счастье, что нашелся человек, заботившийся обо мне. Знаю, что не будь Отоо, я бы давно погиб.

Позвольте вам привести один из многочисленных примеров. Еще до того, как я отправился в Паумоту за жемчугом, у меня был некоторый опыт в вербовке

чернокожих. Отоо и я застряли на берегу Самоа — «сели на мель», но тут мне посчастливилось поступить вербовщиком на один бриг; на тот же бриг записался матросом Отоо. В последующие шесть лет мы, часто меняя суда, избороздили всю Меланезию. Когда мне приходилось на лодке подплывать к берегу, Отоо всегда стремился занять место у рулевого весла. Обычно вербовщика высаживали на берег. Сторожевая лодка, всегда наготове, держалась на расстоянии нескольких сотен футов от берега, тогда как лодка вербовщика от берега не отходила. Когда я сходил со своим товаром на сушу, Отоо пересаживался на корму, где лежал прикрытый брезентом винчестер. Экипаж лодки был вооружен ружьями системы Снайлера, также скрытыми под брезентом. Пока я спорил и убеждал курчавых каннибалов наняться рабочими на плантации Квинсленда, Отоо стоял на страже. И часто-часто его тихий голос предупреждал меня о подозрительных действиях дикарей или о назревающей измене. Иногда первым предостережением мне служил неожиданный ружейный выстрел, сбивающий негра. И когда я подбегал к лодке, рука Отоо втаскивала меня на борт. Помню, однажды, когда мы служили на корабле «Санта-Анна», наша лодка села на мель, и в этот момент дикари взбунтовались. К нам на помощь ринулась сторожевая лодка, но до ее прибытия несколько десятков дикарей могли стереть нас с лица земли. Отоо одним прыжком очутился на берегу, запустил обе руки в товары и стал разбрасывать во все стороны табак, бусы, томагавки, ножи, куски коленкора.

Перед этими богатствами каннибалы устоять не могли; пока они дрались за обладание сокровищем, мы отпихнули лодку, вскочили в нее и отъехали на сорок футов. Через четыре часа я заполучил на этом берегу тридцать рекрутов.

Случай, особенно мне запомнившийся, произошел на Малаите — самом диком острове из восточной группы Соломоновых островов. Туземцы встретили нас удивительно дружелюбно; как могли мы знать, что в течение двух лет жители всей деревни собирали коллекцию голов, предназначенную для обмена на голову белого человека? Эти негодяи все охотятся за головами, а особенно ценят они головы белых. Тому, кто заполучит голову белого, должна была перейти вся коллекция.

Как я уже упомянул, встретили они нас очень дружелюбно; в тот день я отошел на сотню шагов от лодки. Отоо своевременно предостерег меня; разумеется, я попал в беду, как всегда бывало в тех случаях, когда я не слушался его совета.

О своей опасности я узнал лишь тогда, когда со стороны мангиферового болота показалась целая туча копий.

Штук двенадцать по крайней мере были направлены на меня. Я пустился бежать, но наткнулся на копье. Оно вонзилось мне в икру, и я упал. Дикари бросились ко мне. Все они размахивали своими томагавками на длинных рукоятках, намереваясь отрубить мне голову. Спеша завладеть добычей, они мешали друг другу. Воспользовавшись этой суматохой, я стал кататься по песку и избежал многих ударов.

В этот момент явился Отоо, Отоо-борец. Он раздобыл где-то тяжелую боевую дубину, в рукопашном бою оказавшуюся гораздо полезнее ружья, и ворвал-

ся в самую гущу дикарей. Благодаря этому они не могли пронзить его копьями, а томагавки, казалось, только им мешали. Он сражался за меня — сражался, как викинг. Своей дубиной он действовал поистине удивительно: черепа дикарей лопались, словно перезрелые апельсины. Разогнав толпу, он схватил меня на руки, пустился бежать и тогда только получил первые раны. Четыре копья задели его. Добежав до лодки, он схватился за винчестер, и ни одна пуля не пропала даром. Затем мы добрались до шхуны и стали залечивать раны.

Семнадцать лет мы прожили вместе. Он сделал меня человеком. Не будь его, я или отошел бы в небытие, или и по сей день оставался судовым приказчиком или вербовщиком.

Однажды он мне сказал:

— Ты растрачиваешь свои деньги, затем отправляешься на работу, добываешь еще больше. Теперь тебе нетрудно зарабатывать; когда же ты состаришься, деньги будут потрачены, а заработать ты уже не сможешь. Я это знаю, господин. Я изучал привычки белых; я видел много стариков, которые некогда были молоды и, как и ты, могли зарабатывать деньги. Теперь же они стары и нищи; им остается только ждать, чтобы какой-нибудь молодчик, вроде тебя, сошел на берег и угостил их рюмочкой. Чернокожий раб на плантациях. Он зарабатывает двадцать долларов в год. Он работает много; надсмотрщик работает мало и только разъезжает верхом, наблюдая за чернокожим. Он получает тысячу двести долларов в год. Я — матрос на шхуне. В месяц я зарабатываю пятнадцать долларов, так как считаюсь хорошим матросом. Я исполняю тяжелую работу. А у капитана на палубе натянут тент, и пиво он пьет из длинных бутылок. Я ни разу не видел, чтобы он тянул канат или работал веслом. Он получает сто пятьдесят долларов в месяц. Я — простой матрос; он — навигатор. Господин, я думаю, тебе следовало бы изучить навигацию.

И Отоо побуждал меня учиться. На первую мою шхуну он поступил вторым помощником и гораздо больше меня гордился моим командованием.

Затем он повел такие речи:

— Господин, капитану хорошо платят. Но судно находится на его попечении, и всегда лежит на нем бремя забот. Гораздо лучше платят судовладельцу, который проживает на берегу, держит много слуг и пускает в оборот свои деньги.

— Все это верно; но ведь шхуна стоит пять тысяч долларов, и притом старая шхуна, — возразил я. — Я состарюсь раньше, чем накоплю такую сумму.

— Белый может разбогатеть в самый короткий срок, — заявил он, указывая на берег, окаймленный кокосовыми пальмами.

В то время мы находились у Соломоновых островов и, плывя вдоль восточного берега Гвадалканара, нагружали наш корабль слоновыми орехами[1].

— Между устьями этой реки и следующей — расстояние в две мили, — сказал он. — Равнина тянется далеко в глубь страны. Сейчас эта земля ничего не стоит. Но кто знает? Быть может, через год или два за нее будут платить боль-

[1] Jury-nuts — орехи южноамериканской пальмы.

шие деньги. Здесь удобная якорная стоянка. Большие пароходы могут подходить к самому берегу. Старый вождь отдаст тебе эту землю, простирающуюся на четыре мили в глубь острова, за десять тысяч пачек табаку, десять бутылок водки и ружье; все вместе будет тебе стоить не больше ста долларов. Затем ты поручишь это дело комиссионеру, а через год или два продашь землю и обзаведешься своим собственным судном.

Я подчинился руководству Отоо, и слова его оправдались, но не через два года, а через три. Затем подвернулось дело с полями на Гвадалканаре — двадцать тысяч акров, аренда у государства на девятьсот девяносто девять лет по цене, обусловленной в договоре. Этот контракт я продержал у себя ровно девяносто дней, затем продал его за большие деньги одной компании. И, как всегда, Отоо все предусмотрел и не упустил случая. По его совету я взялся за ремонт «Донкастера», купленного мной на аукционе за сто фунтов и теперь, по погашении сделанных затрат приносящего чистой прибыли три тысячи. Он посоветовал мне приобрести плантацию на Саван и заняться торговлей кокосовыми орехами на Уполу.

По морю мы скитались теперь меньше, чем в былые дни. Я разбогател, женился и зажил широко; но Отоо остался все тем же Отоо старых дней; он бродил вокруг дома или топтался в конторе, не вынимая изо рта своей деревянной трубки; по-прежнему носил шиллинговую рубашку и четырех-шиллинговую повязку вокруг бедер. Мне никак не удавалось заставить его тратить деньги. Наградой ему могла быть только любовь, и мы на нее не скупились. Дети его обожали; а если бы можно было его избаловать, моя жена неминуемо сделала бы его другим человеком.

А дети? Поистине, он поставил их на ноги.

Он учил их ходить, ухаживал за ними, когда они болели. По мере того как они подрастали, он брал их с собой в лагуну и там превращал в амфибий. Он рассказывал им о жизни рыб и о том, как их ловить, больше, чем знал об этом я. То же самое можно сказать и о лесном царстве. В семь лет Том знал такие охотничьи уловки, о каких я и не подозревал. Шестилетняя Мэри бесстрашно карабкалась по скользкой скале, а я видел многих сильных мужчин, которые перед этим отступали. Шести лет Франк умел доставать шиллинг со дна моря, на глубине двадцати футов.

— Мой народ на Бора-Бора не любит язычников; все мои соотечественники — христиане; а я не люблю христиан Бора-Бора, — сказал он однажды, когда я убеждал его воспользоваться принадлежащими ему по праву деньгами и на одной из наших шхун посетить родной остров. Я надеялся, что это путешествие заставит его расходовать деньги.

Я говорю «на одной из наших шхун», хотя в то время все они по закону принадлежали мне. Долго спорил я с ним, уговаривая войти со мной в компанию.

— Мы — товарищи с того дня, как потонула «Petite Jeanne»,— сказал он наконец.— Но если этого желает твое сердце, оформим наше товарищество.

Работы у меня нет никакой, расходы огромные: я вдосталь ем, пью, курю, а ведь это, я знаю, стоит больших денег. Я не плачу за игру на бильярде, так как пользуюсь твоим бильярдом, но все же деньги уходят. Только богатый человек может позволить себе удовольствие удить рыбу на рифе. Страшно подумать, сколько стоят крючки и леса! Да, следует нам оформить наше товарищество. Деньги мне нужны. Я буду получать их у старшего клерка.

Итак, бумаги были написаны и засвидетельствованы, но через год я стал ворчать.

— Чарли, — сказал я ему, — ты старый, злой обманщик, скупердяй и жалкий краб! За этот год тебе причитается несколько тысяч. Эту бумагу дал мне старший клерк. Здесь сказано, что за год ты взял ровно восемьдесят семь долларов и двадцать центов.

— А разве мне следует еще что-нибудь получить? — спросил он с озабоченным видом.

— Говорю тебе — несколько тысяч.

Его лицо прояснилось, словно он почувствовал громадное облегчение.

— Это хорошо! — сказал он. — Смотри, чтобы старший клерк правильно вел записи. Когда-нибудь мне эти деньги понадобятся, и тогда вся сумма должна быть налицо, до последнего цента.

И, помолчав, свирепо добавил:

— Если же случится какая-нибудь недостача, то пострадает жатованье клерка.

Как я впоследствии узнал, все это время в сейфе американского консула хранилось завещание Отоо, составленное Каррутерами, по которому я являлся единственным наследником.

А затем наступил конец, обрывающий все дела человеческие. Случилось это на Соломоновых островах — там, где в дни необузданной юности мы столько вместе работали. И вот мы снова приехали сюда, главным образом для того, чтобы устроить себе праздник; затем нам нужно было наведаться в наши владения на острове Флорида; а кроме того, мы хотели разузнать, выгодно ли промышлять жемчугом в проливе Мболи. Мы бросили якорь у острова Саво, куда заглянули для покупки диковинных жемчужин. Море у берегов Саво кишит акулами. Обычай дикарей — бросать своих мертвецов в море, а это, естественно, привлекает сюда акул. Судьбе угодно было, чтобы маленькая перегруженная туземная пирога, на которой я плыл, перевернулась. Четверо дикарей и я уцепились за нее, а шхуна находилась на расстоянии сотни ярдов от нас. Я стал кричать, чтобы нам прислали лодку, как вдруг один из дикарей поднял вой. Он крепко держался за край кормы и несколько раз вместе с кормой погружался в воду — что-то тянуло его вниз. Затем он разжал руки и скрылся под водой. Акула утащила его.

Три оставшихся негра пытались вскарабкаться на перевернутую вверх дном пирогу. Я кричал, ругался, ударил кулаком ближайшего, но остановить их не мог. Они обезумели от ужаса, а ведь пирога едва ли могла выдержать

и одного из них. Под тяжестью троих она стала стоймя, потом опрокинулась на бок, и они снова очутились в воде. Тогда я бросил пирогу и поплыл к шхуне, надеясь, что лодка подберет меня. Один из негров решил отправиться со мной; молча плыли мы бок о бок, изредка ныряя и высматривая акул. Вопли негра, оставшегося у пироги, известили нас о его гибели. Пристально вглядываясь в воду, я заметил огромную акулу, скользнувшую как раз подо мной. Она была не меньше шести футов в длину — я разглядел ее прекрасно. Негра, плывшего бок о бок со мной, она схватила поперек туловища и поплыла вместе с ним; его голова, плечи и руки поднимались над водой, бедняга испускал душераздирающие крики. Таким образом акула тащила его на протяжении нескольких футов, а затем исчезла вместе с ним под водой. Я плыл вперед, надеясь, что это была последняя акула, болтавшаяся, так сказать, без дела. Но вскоре появилась еще одна. Была ли это та самая, что атаковала нас раньше, или же она в другом месте успела плотно позавтракать — я не знаю. Во всяком случае, она не особенно спешила. Теперь я не мог плыть так быстро, как раньше, ибо тратил силы на то, чтобы держаться позади нее, и наблюдал за ней, когда она перешла в наступление. По счастью, мне удалось обеими руками хватить ее по носу и оттолкнуть, причем она круто повернула и чуть не увлекла меня под воду. Затем она снова начала приближаться ко мне, все суживая круги. Вторично я от нее ускользнул, проделав тот же маневр. При третьей атаке неудача постигла обе стороны. Акула увернулась как раз в тот момент, когда я собирался ударить ее по носу. Шершавая, словно полировочная бумага, она содрала мне кожу с руки, от локтя до плеча — на мне была нижняя рубаха без рукавов.

К тому времени я был истощен борьбой и потерял надежду на спасение. Шхуна все еще находилась на расстоянии двухсот футов. Лицо мое было в воде, и я наблюдал за приготовлениями акулы к очередной атаке. В этот момент какое-то темное тело заслонило меня от акулы. То был Отоо.

— Господин, плывем к шхуне, — сказал он так весело, словно все это было одной лишь шуткой. — Я знаю акул. Акула — мне друг.

Я повиновался и медленно поплыл вперед. Отоо плыл возле меня, все время держась между мной и акулой, парируя ее нападения и подбадривая меня. «Такелаж на боканцах ни к черту не годится, и они прилаживают фалы», — пояснил он минуту спустя, а затем нырнул, чтобы отразить нападение. Шхуна находилась на расстоянии тридцати футов, когда я выбился из сил и едва мог плыть. С палубы нам бросали веревку, но она палата слишком далеко от нас. Акула, поняв, что ей не могут причинить вреда, осмелела. Несколько раз она едва меня не схватила, но в самый последний момент на помощь являлся Отоо... Конечно, сам он во всякое время мог спастись, но не хотел меня покинуть.

— Прощай, Чарли! Видно, пришел конец,— задыхаясь, выговорил я. Я чувствовал, что конец близок: через секунду я закину руки и пойду ко дну.

Но Отоо рассмеялся мне в лицо и сказал:

— Я покажу тебе новый фокус, и акуле от него не поздоровится.

Он отстал, заслонив меня от акулы, приготовлявшейся к новой атаке.

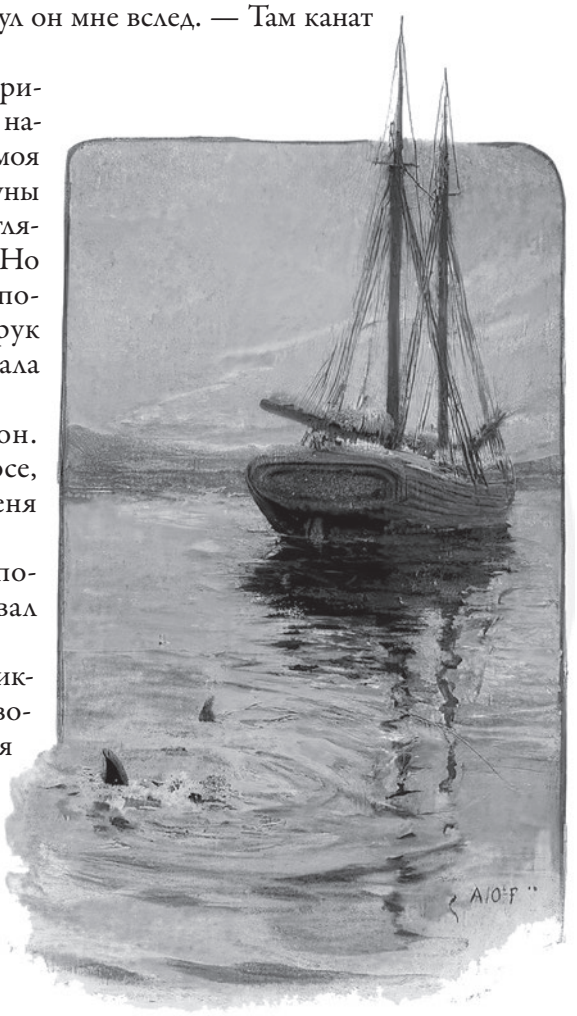
— Немного левее! — крикнул он мне вслед. — Там канат на воде. Левее, господин, левее!

Я повернул налево и слепо ринулся вперед. К тому времени я начал терять сознание. Когда рука моя схватилась за канат, с палубы шхуны донесся крик. Я повернулся и взглянул. Нигде не видно было Отоо. Но через секунду он вынырнул на поверхность воды. Кисти обеих рук его были оторваны, из ран хлестала кровь.

— Отоо! — тихо позвал он. И любовь, звучавшая в его голосе, светилась в устремленных на меня глазах.

Теперь — только теперь, в последнюю минуту жизни, он назвал меня этим именем.

— Прощай, Отоо! — воскликнул он. Потом он скрылся под водой. Меня подняли на борт, и я без чувств упал в объятия капитана.



Потом он скрылся под водой.

Так погиб Отоо — Отоо, который спас меня, сделал человеком и пожертвовал собой, чтобы еще раз спасти мне жизнь. Мы встретились с ним в пасти урагана, а расстались у пасти акулы; семнадцать лет дружбы протекло между этими двумя событиями; думаю, я с полным правом могу заявить, что никогда еще такая дружба не связывала двух людей — черного и белого. И если действительно око Иеговы всевидящее, то не последним в его царстве будет Отоо, язычник с острова Бора-Бора.

ВЕРНОСТЬ МЕЧТЕ

В самом конце XIX века главным редактором еженедельного американского журнала «Сатердей ивнинг пост» стал журналист, писатель и издатель Джордж Лоример. Журнал этот к тому времени существовал уже более полувека и успел снискать себе в США среди состоятельной читающей публики хорошую репутацию. На его страницах публиковали как сочинения известных писателей, так и рассказы из жизни простых американцев. Привлекала внимание читателей и колонка юмора. Однако Лоримеру этого оказалось мало, и он стал привлекать к оформлению журнала талантливых художников. В результате почти каждая иллюстрация в журнале становилась маленьким живописным шедевром. Такая политика дала свои результаты, и вскоре «Сатердей ивнинг пост» стал одним из самых широко распространенных и влиятельных американских журналов для среднего класса.

Среди художников, которых Лоример привлекал к сотрудничеству, был и Антон Отто Фишер. Особенно хорошо ему удавались рисунки на морские темы. Впрочем, это было неудивительно — самом конце XIX века Антон стал моряком торгового флота и не раз пересекал Атлантику. Юный Фишер подался в моряки не от хорошей жизни. Он появился на свет в Старом Свете, в Германии в конце февраля 1882 года и рано осиротел. Мальчика пристроили в приют при одном из монастырей, и со временем он мог бы стать священнослужителем. Однако размеренная скучная жизнь под сенью креста Антона совершенно не вдохновляла, и вскоре он просто сбежал от своих опекунов. В ближайшем порту Фишер нанялся на торговый корабль простым матросом, пообещав капитану два месяца отработать без всякой платы. Так началось его знакомство с морем.

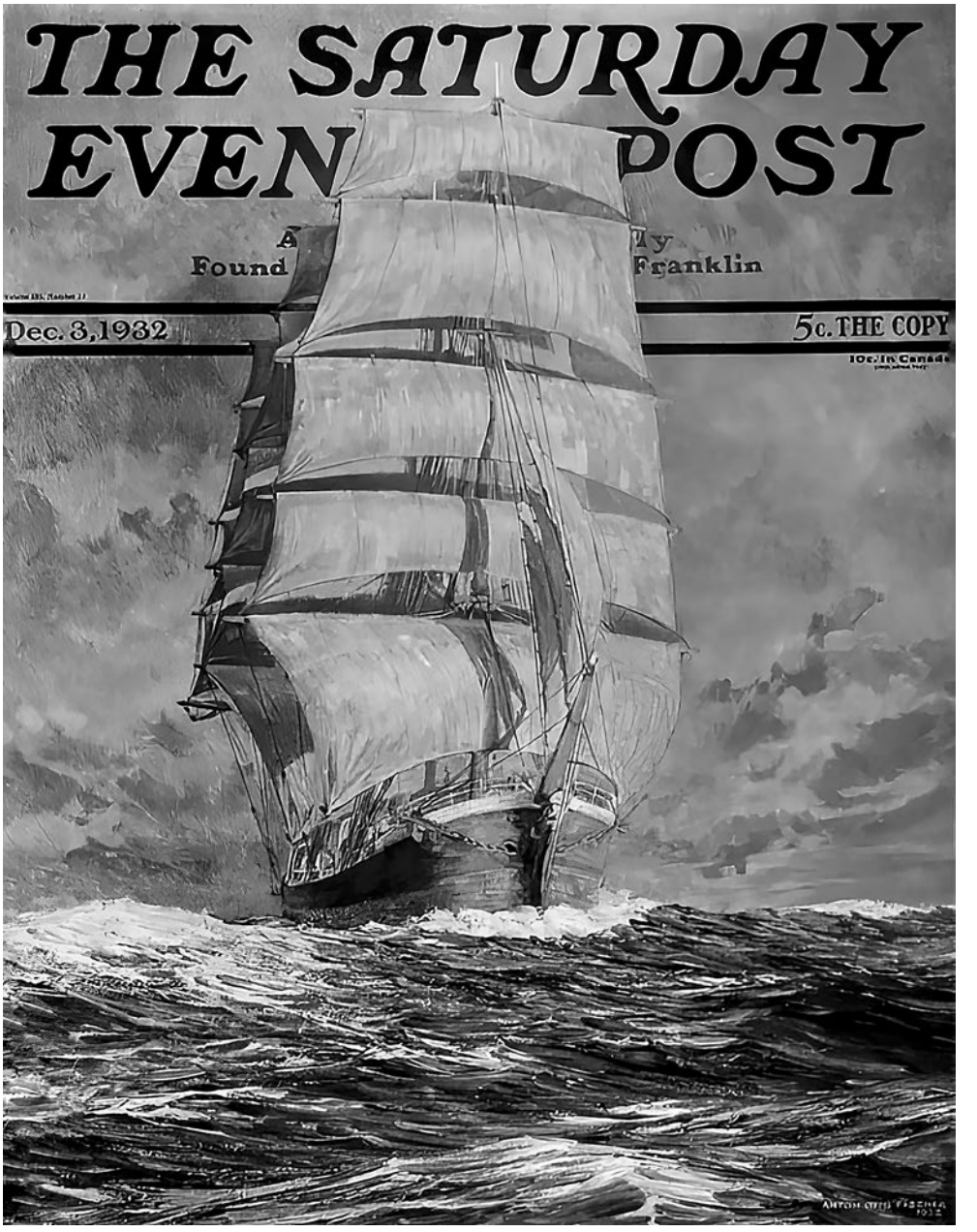
Возможно, сама романтика морской стихии произвела на юношу сильное впечатление, а может, проснулись в нем скрытые до поры врожденные таланты, но, так или иначе Антон взялся за карандаш и стал делать наброски. Конечно, он видел, что ему не хватает мастерства, но он не опускал руки и оставался верен своей мечте стать профессиональным художником. Однажды во

время очередного торгового рейса, а работал Фишер тогда уже на американских судах, ему попался журнальчик с серией рисунков, которые в наши дни назвали бы комиксами. Их автором был некий Артур Фрост, американец. Его работы Фишеру очень понравились, и он подумал, что хочет научиться рисовать не хуже.

Далее произошла почти невероятная история — во время очередного простоя на берегу Антон разыскал этого Фроста в Нью-Джерси и набился к нему в ученики. Фрост был на полвека старше Фишера и годился ему не то, что в отцы, а скорее в деды, да и обучением он не занимался, однако, художник вероятно вспомнил, что и сам был в юности самоучкой. К тому же Фишер пообещал, что будет бесплатно работать в доме мэтра в роли мастера на все руки. Такая своеобразная стажировка продолжалась чуть более года, и за это время Фишер многому у Фроста научился. А поучиться было чему, ведь Фрост уже успел прославиться своими иллюстрациями к сказкам Харриса про братца Кролика и братца Лиса.

Фрост показывал Фишеру альбомы с репродукциями французских живописцев и много рассказывал о парижских художниках. В результате в голове у Антона созрел честолюбивый план окончательно отточить свое мастерство в Париже, этой своеобразной художественной «Мекке». В результате осенью 1906 года Антон купил билет и взошел на палубу теплохода, отправлявшегося в Старый Свет.

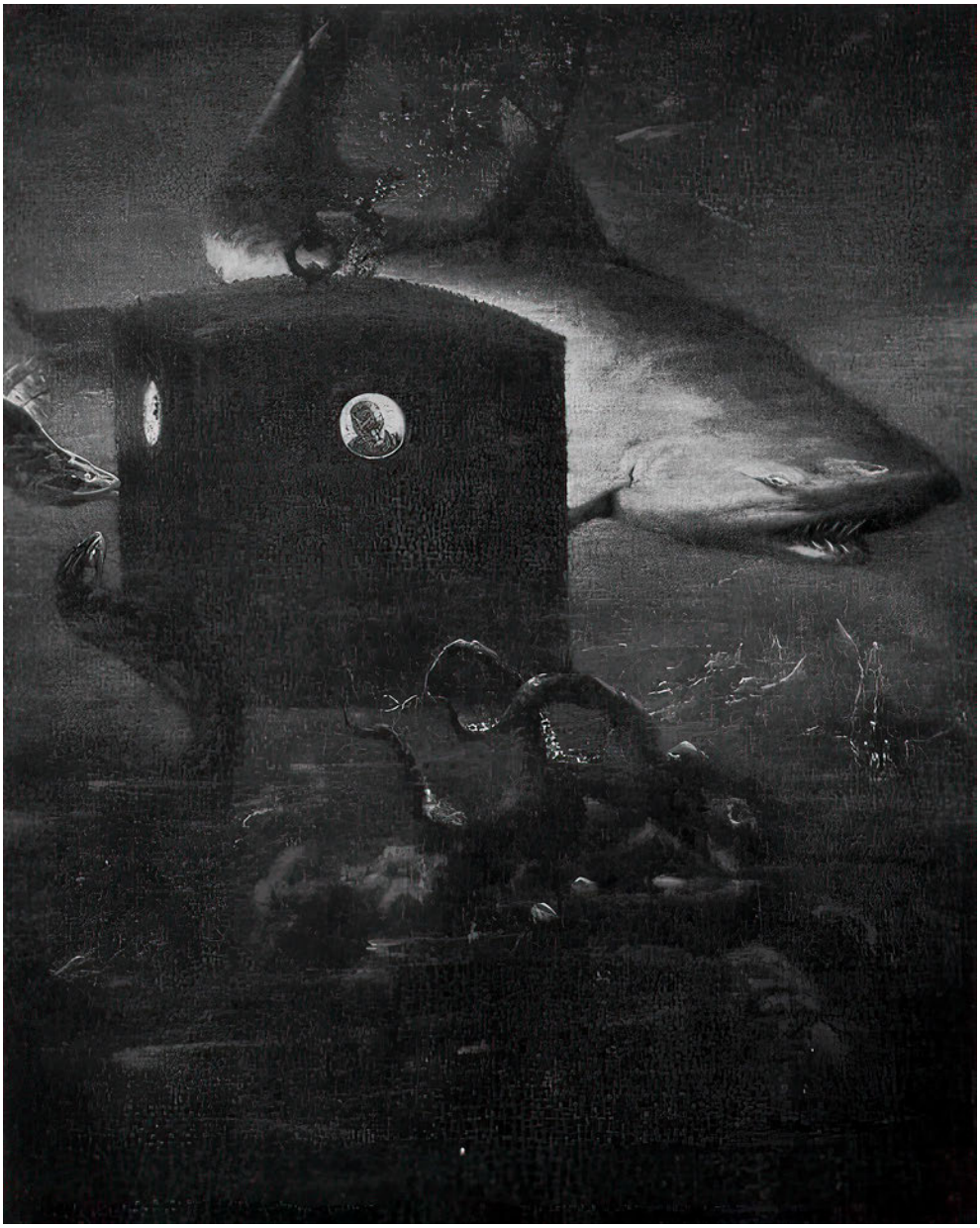
Во Франции Фишера проучился два года в известной частной академии Жюлиана, где его наставником стал художник-монументалист Жан-Поль Лоран. В США Антон вернулся уже сложившимся мастером, и через два года Джордж Лоример пригласил его поработать на «Сатердей ивнинг пост». Сотрудничество с этим журналом продлилось более четырех десятков лет. Мечта Антона Отто Фишера сбылась. Он стал профессиональным художником и создал более тысячи иллюстраций, в том числе к произведениям Роберта Стивенсона, Жюля Верна, Германа Мелвилла, Артура Конан Дойла и Джека Лондона.



Обложка журнала «Сатердей ивнинг пост» выполненная художником.

«Остров сокровищ»

«20000 лье под водой»



«Маракотова бездна»

ХУДОЖНИКИ-ОФОРМИТЕЛИ

Джерри-островитянин *(Jerry of the Islands)* 1917 г. Художник А. О. Фишер.

Майкл, брат Джерри *(Michael, Brother of Jerry)* 1917 г. Художник А. О. Фишер.

Сын Солнца *(A Son of the Sun)* 1911 г. Художник Х. Г. Вильямсон.

Гордость Алоизия Пенкберна *(The Proud Goat of Aloysius Pankburn)* 1911 г. Художник К. Эшли.

Черти на Фуатино *(The Goat Man of Fuatino)* 1911 г. Художник А. О. Фишер.

Шутники на Новом Гиббоне *(The Jokers of New Gibbon)* 1911 г. Художник К. Эшли.

Небольшой счет, предъявленный Суизину Холлу *(A Little Account with Swithin Hall)* 1911 г. Художник А. О. Фишер.

Ночь в Гобото *(A Goboto Night)* 1911 г. Художник А. О. Фишер.

Перья Солнца *(The Feathers of the Sun)* 1912 г. Художник А. О. Фишер.

Жемчуг Парлея *(The Pearls of Parlay)* 1911 г. Художник А. О. Фишер.

Язычник *(The Heathen)* 1909 г. Художник А. О. Фишер.

СОДЕРЖАНИЕ

Джерри-островитянин 7
Майкл, брат Джерри 167

СЫН СОЛНЦА
(*Рассказы южных морей*)

Сын Солнца 363
Гордость Алоизия Пенкберна 379
Черти на Фуатино 396
Шутники на Новом Гиббоне 419
Небольшой счет, предъявленный Суизину Холлу 432
Ночь в Гобото 448
Перья Солнца 462
Жемчужины Парлея 482
Язычник 503

Верность мечте (художник Антон Отто Фишер) 520

Джек Лондон

ДЖЕРРИ-ОСТРОВИТЯНИН
МАЙКЛ, БРАТ ДЖЕРРИ
СЫН СОЛНЦА

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Том 210

На основании п. 2.3 статьи 1 Федерального закона № 436-ФЗ от 29.12.2010 не требуется знак информационной продукции, так как данное издание классического произведения имеет значительную историческую, художественную и культурную ценность для общества

Верстка и работа с иллюстрациями
Д. Петерфельд

Дизайн обложки, подготовка к печати
А. Яскевича

Гарнитура Гарамонд Премьер Про
12 кегль

Сдано в печать 20.11.2023
Объем 33 печ. лист
Тираж 3100 экз.
Заказ № 26781

Бумага
Сыктывкарская книжная кремовая офсетная 60 г/м^2

ООО СЗКЭО
Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 365-40-44
E-mail: knigi@szko.ru
Интернет-магазин: www.сзкэо.рф

Отпечатано в типографии ООО «ЛД-ПРИНТ»,
196643, Россия, г. Санкт-Петербург, п. Сапёрный,
ш. Петрозаводское, д. 61, строение 6,
тел. (812) 462-83-83, e-mail: office@ldprint.ru.

Повести, вошедшие в эту книгу, — «Джерри-островитянин» и «Майкл, брат Джерри» — стали предпоследними крупными произведениями знаменитого американского писателя Джека Лондона. Они были опубликованы в 1917 году — позже вышел лишь роман «Сердца трех». Сам писатель прожил насыщенную, хотя и недолгую жизнь. В юности он занимался нелегальной добычей устриц в бухте Сан-Франциско, а позже с не меньшим энтузиазмом ловил своих бывших компаньонов. Лондон был матросом на шхуне, которая добывала у берегов Японии морских котиков; во время золотой лихорадки ему удалось побывать на Аляске. Эти и другие приключения давали автору богатый материал для впечатляющих повестей и рассказов. Однако времена бурной юности прошли, а возвращаться к старым темам не хотелось. В 1906 году из-под пера писателя вышла повесть «Белый Клык». Ее героем был не человек, а волк. Прием оказался удачным, и Лондон вернулся к нему через десять лет, сделав главными персонажами двух своих повестей ирландских терьеров Джерри и Майкла. Первому будет суждено оказаться на берегах далекой Океании, второму — в бродячих цирках США. Судьбы двух братьев-псов так различны, но обе повести объединяет одно — безусловный талант писателя.

Большинство произведений в издании украшают великолепные иллюстрации Антона Отто Фишера. Будущий художник появился на свет в Германии в конце зимы 1882 года. Он рано осиротел: мальчика пристроили в приют при одном из монастырей, и со временем он мог бы стать священнослужителем. Однако размеренная скучная жизнь под сенью креста Антона совершенно не вдохновляла. Вскоре он сбежал от своих опекунов и стал моряком торгового флота. Именно в это время Антон начал делать свои первые рисунки. Юноша понимал, что ему не хватает мастерства, поэтому во время очередного простоя на американском берегу он разыскал успевшего прославиться в США своими комиксными рисунками Артура Фроста и напросился к нему в ученики. Своеобразная стажировка продолжалась чуть более года. Затем Фишер оттачивал свое мастерство рисовальщика в Париже в известной частной академии Жюлиана. В США Антон вернулся уже сложившимся мастером и открыл свою студию. Через два года началось его сотрудничество с журналом «Сатердей ивнинг пост», где, в числе прочего, печатались рассказы популярных писателей. Среди них были Роберт Стивенсон, Жюль Верн, Герман Мелвилл и Джек Лондон. Для «Сатердей ивнинг пост», сотрудничество с которым продлилось более четырех десятков лет, Фишер создал более тысячи иллюстраций — некоторые из них включены в эту книгу.